

ТРЕТЬЕ ВРЕМЯ

Борис  
ХАЗАНОВ

Борис ХАЗАНОВ

ТРЕТЬЕ  
ВРЕМЯ



# **РУССКОЕ ЗАРУБЕЖЬЕ**

КОЛЛЕКЦИЯ ПОЭЗИИ И ПРОЗЫ



ИСТОРИЧЕСКАЯ  
КНИГА



Борис ХАЗАНОВ

# ТРЕТЬЕ ВРЕМЯ

Романы и повести

Санкт-Петербург  
АЛЕТЕЙЯ  
2010

УДК 821.161.1  
ББК 84(2Рос=Рус)6-4  
Х73

**Хазанов Б.**

Х73 Третье время / Борис Хазанов. — СПб. : Алетейя, 2010. — 448 с. — (Серия «Русское зарубежье. Коллекция поэзии и прозы»).

ISBN 978-5-91419-360-4

Время и место действия романов «Нагльфар в океане времен» и «Хроника N», повестей «Третье время» и «Час короля», вошедших во второй том Собрания сочинений Бориса Хазанова, различны: предвоенная Москва, провинциальный русский город второй половины века, районная больница в далеком тылу, вымышленное миниатюрное скандинавское государство в годы оккупации. Но все они связаны общей темой. Это достоинство суверенной личности — взрослого или подростка, монарха или бывшего заключенного — вопреки враждебному окружению, перед лицом злодейского Государства и абсурдной Истории.

**УДК 821.161.1**

**ББК 84(2Рос=Рус)6-4**

ISBN 978-5-91419-360-4



© Борис Хазанов, 2010  
© Издательство «Алетейя» (СПб.), 2010  
© «Алетейя. Историческая книга», 2010

НАГЛЬФАР  
В ОКЕАНЕ ВРЕМЕНИ

*Opus aggredior opimum casibus.*

Тас. Hist. 1,2

*Я приступаю к рассказу о временах,  
исполненных несчастий.*

Тацит. Истории, кн.1, гл. 2

*...Тогда спросил Ганглери: что рассказывают о Рагнареке? Я до сих пор о нем ничего не слышал. Отвечал Хох: повествуют о нем великое и разное. И прежде всего, что наступит зима, завоюют ветры со всех сторон, ударит мороз, и посыплется снег, и не будет солнечного света. Придут три зимы одна за другой, а лета между ними не будет.*

*Затем случится нечто совсем великое, волк пожрет солнце, а это тяжкий удар для людей. Другой волк похитит месяц. И придет третий волк, именем Фенрир. И змей Мидгард в гнев сожмется в кольца, и море ринется на землю.*

*Тогда сорвется с якоря корабль Нагльфар, построенный из ногтей мертвецов. Оттого надо быть осторожным и следить, чтобы кто-нибудь не умер с неостриженными ногтями; ибо каждый такой прибавляет материал, из которого будет выстроен Нагльфар. Боги и люди хотят, чтоб он не был готов как можно дольше. Но великие волны залили землю, и плывет в даль морей Нагльфар.*

Младшая Эdda

*Россия — игра природы, а не ума.*

Бесы

## 1. СЛЕДСТВИЕ

**П**редки Анатолия Бахтарева принадлежали к племени, которое некогда населяло обширные земли к востоку от Эльбы, позже распространило свои владения до Урала, проникло в Сибирь, в азиатскую степь и добралось до берегов Великого океана. В этом безудержном расползании вширь таилась опасность, так или иначе сказавшаяся много веков спустя на судьбе Бахтарева. О родителях Толи неизвестно ничего или почти ничего; сам он рано покинул родные места, очутился в столице и здесь завершил свои дни при обстоятельствах, которые лицам, проводившим дознание, в общем не казались загадочными. Если, согласно правилу Оккама, не следует без нужды изобретать новые сущности, то очевидно, что нет смысла изобретать и новые причины. В конце концов, переселение в лучший мир может произойти с медицинской точки зрения только по двум поводам: паралич сердца или остановка дыхания.

С точки же зрения криминалистической смерть бывает либо насильственной, либо добровольной, либо, наконец, происходит в силу естественных причин; к последним можно отнести несчастный случай. Следствие остановилось на третьем варианте, выяснив без особого труда, что гибель Бахтарева была результатом рискованной попытки вылезти из чердачного окна на покатую крышу.

Необъяснимая власть цифр заставляет нас оценивать по-разному почти одно и то же время: например, три часа — это глубокая ночь, а четвертый — уже раннее утро. Несчастье случилось ночью, так как незадолго до полуночи родственница покойного слышала его шаги, а около пяти часов утра тело было обнаружено дворником Федором Болдыревым. На вопрос, что могло побудить Бахтарева выйти на крышу, да еще в такое время, опрошенные дали различные, частью фантастические, но в целом не противоречащие друг другу ответы. Дворник Болдырев заявил, что Бахтарев и прежде имел склонность проводить время где не положено. «На крыше?» — спросил следователь. «Может, и на крыше», — сказал дворник. На вопрос, почему он, Болдырев, не препятствовал этим привычкам, свидетель ответил, сославшись на возраст, что у него кружится голова от высоты и что его



обязанность — убирать двор и тротуар перед домом, а о крышах-де пусть заботится управдом. «Зачем Бахтарев туда полез?» — спросил следователь. «Кто ж его знает, — возразил Болдырев, — должно, отдыхал. Может, воздухом подышать захотел». — «От чего это он отдыхал?» — «От работы», — сказал Болдырев. На вопрос следователя: известно ли свидетелю, что Бахтарев нигде не работал? — дворник ответил, что у нас господ больше нет, каждый должен трудиться, а не желаешь по-хорошему, так заставят. Но опять же следить не его обязанность, на то есть управдом. Видно было, что у него с управдомом свои счеты.

После этого следователь районного отделения милиции, уже располагавший данными обследования чердака, желая проверить достоверность свидетельских показаний, задал хитрый вопрос, а не может ли быть так, что Бахтарева кто-то убил. А потом, к примеру, выбросил тело из окошка. «Да кому он нужен», — сказал Болдырев. «Так как же?» — продолжал допытываться следователь. «Чего как же?» — «Как он там оказался?» — «По пьянке, — сказал Болдырев, — от чего же еще». Этот диалог мы воспроизводим по материалам архивного дела, любезно предоставленного в наше распоряжение преемником тогдашнего начальника отделения Ефимчука.

От Бахтаревой, упомянутой выше родственницы, которую следователь повторно допросил в больничной палате, новых данных получить не удалось; в качестве объяснения случившемуся она ссылаясь на «судьбу». Под этим словом малограмотная пожилая женщина подразумевала стечение обстоятельств, или, что то же самое, несчастный случай, подтвердив таким образом точку зрения следствия. Па вопрос, что могло заставить Бахтарева вылезти из чердачного окна, свидетельница отвечала плачем и причитаниями.

Наконец, проживающая в том же подъезде квартиросъемщица Иванова, известная у жителей дома под именем Раковая Шейка, подтвердила, что Бахтарев злоупотреблял спиртными напитками.

Было, правда, еще одно обстоятельство, грозившее спутать карты. Но и оно, если вдуматься, лишь подкрепляло вышеупомянутый вывод. Труп был обнаружен не совсем там, где ему полагалось лежать. Когда прибывший на место происшествия судебный эксперт осмотрел тело, он обнаружил на одежде следы, указывающие на то, что тело тащили по двору от места падения по направлению к черному ходу. При этом эксперт не исключал возможности того, что Бахтарев еще был жив. Таким образом, картина всего случившегося предстала в следующем виде: кто-то ночью услышал стоны, вышел во двор и увидел Бахтарева. Он попытался оказать пострадавшему помощь, возможно, хотел доставить его домой, искал монету, чтобы позвонить по телефону, а

тем временем умирающий умер. После чего, боясь влипнуть в историю, очевидец счел за благо исчезнуть, не поднимая шума, а на рассвете труп обнаружил Болдырев.

Учитывая сложность таких понятий, как случай, тем более — несчастный случай, мы не считаем себя вправе с порога дискредитировать эту версию. Возможно, следователь чего-то недоучел; не принадлежа к модной ныне психологической школе, он не ставил перед собой задачу досконального изучения личности погибшего; не располагая техническим оснащением современной криминалистики, он не имел возможности проверить свои умозаключения с помощью хитроумных лабораторных исследований, о которых и пишущий эти строки имеет крайне смутное представление. Метод, которым руководствовался следователь милиции, метод, основанный на принципе экономии мышления, сводился к отсечению неясностей, противоречащих принятой гипотезе, и в общем и целом отвечал ожиданиям начальства. Нелишне также заметить, что определенную роль здесь сыграла старинная и скрепленная общностью интересов дружба управдома Семена Кузьмича с товарищем Ефимчуком. Дружба эта способствовала тому, что, с одной стороны, движение следственных бумаг по инстанциям замедлилось, а с другой — ряд формальностей удалось упростить, так что, например, сам управдом и его дочь не были привлечены к неприятной процедуре дознания (впоследствии С.К. решительно отвергал факт знакомства Веры с Бахтаревым). Наконец, известное влияние на результаты следствия оказала очень кстати начавшаяся война.

## 2. АРХИВ

Вскоре после этого — кто из нас не помнит радостное возбуждение тех дней, трубный глас близкой победы, гремевший из репродукторов, и всеобщее чувство облегчения, словно душевные облака рассекла первая молния, кому не памятен этот гром Страшного суда, это вновь обретенное чувство истории? — итак, вскоре после объявления войны начались воздушные тревоги, люди с детьми на руках, с одеялами и подушками побежали к подземельям метро. Отдельным самолетам противника, говорилось в сводках, удалось прорваться в воздушное пространство города, — этот деловой язык означал, что судьбу населения взяли в свои руки высококвалифицированные специалисты, и в самом деле ничто так не ободряло, как этот деловой язык, — и первые бомбы полетели на притаившиеся во тьме крыши и улицы.

Одна бомба, как рассказывали, попала в оперный театр, пробила замечательный потолок с девятью музами и ухнула в оркестровую яму, откуда еще неделю тому назад прославленный маэстро взмахами

энергичных рук правил символическим полетом валькирий, — теперь они слетелись на самом деле. Другая разорвалась над посольством прибалтийского государства в переулке, по которому автор этих строк ходил в школу, но так как означенного государства уже год как не существовало, то о доме никто не жалел, и была даже какая-то логика в том, что он превратился в кучу щебня. Третий снаряд разнес дом, о котором пойдет речь в нашей хронике.

Так как бомба упала во двор, она произвела, по объяснению знающих людей, больше разрушений, чем если бы угодила прямо в дом. Три стороны четырехугольника повалились, как стороны карточного домика. Четвертая устояла, это была глухая кирпичная стена другого, уцелевшего здания. Вместе с домом, под его обломками, исчезла память о его обитателях, обо всем, что жило, дрожало, дремало и копошилось на лестницах и в квартирах, являлось в полумраке, снислось в снах, — память о любви, и радости, и ревности, и вожделинии, и тоске. Что касается Бахтарева, которого все эти новости, и музыка из репродукторов, и новые слова, наскоро сочиненные к старым песням, уже никак не касались, как не касаются и не интересуют перипетии драмы и вообще весь театр того, кто ушел со спектакля, — то единственное, что впоследствии удалось разыскать, было некоторое количество бумаг, к обозрению которых мы переходим.

Думается, нет нужды описывать официальные документы, как-то: выписку из домово́й книги, военный билет, удостоверения члена Осоавиахима, Союза воинствующих безбожников и Международной Организации Помощи Борцам Революции, наконец, книжечку, наименование которой вовсе не поддается переводу на современный язык. Кроме штемпеля общежития и пометки «Выселен согласно заявления», в ней нет никаких записей. Еще имеются личные заметки. Набросанные на чем попало (говорят, хозяин имел привычку писать даже на обоях), они не поддаются сколько-нибудь последовательной систематизации и, можно сказать, отражают вместе катастрофу времени и катастрофу души. Нами обнаружено несколько рисунков невысокого художественного достоинства, частью непристойных. Наконец, в архиве имеется беловая рукопись — Бахтарев пытался пробовать свои силы в литературе — с латинским эпиграфом (выуженным из лексикона цитат), которым автор украсил свое произведение и которым, в свою очередь, воспользовались мы. Что это было, роман, трактат или исторический эпос, сказать трудно, невозможно разобрать заглавие: что-то абсолютно нечитаемое, может быть, вовсе не заголовок, а проба рассеянного пера. Видно, что вслед за этим рука пишущего застыла в задумчивости и наконец начертала: «Глава первая». К сожалению, рукопись в буквальном смысле слова

беловая, так как за названием следуют чистые страницы. Вообще вся тетрадь пуста. И можно предполагать, что этот памятник молчания собственно и являет собой творческое наследие покойного Анатолия Бахтарева.

### 3. ЛИЦА

Несколько слов о фотографиях — тусклых отпечатках времени, на первый взгляд особой исторической ценности не представляющих. Но думается, тайный фокус фотографии, ее болезненное очарование — не в том, что она хранит частицу истории. Не в том, что, разглядывая старый снимок, я могу кое-что узнать о прическах и модах, получить представление, как выглядели Икс или Игрек (кстати, портретов самого Бахтарева не сохранилось). Секрет фотографии — в ее мистическом свойстве превращать время в вечность: это чувствуется, когда смотришь на карточку, не зная, кто там изображен, и вот отчего лица неведомых, безымянных, навсегда исчезнувших людей во сто раз сильнее завораживают, чем физиономия какой-нибудь знаменитости. Каково бы ни было искусство фотографа (в нашем случае весьма невысокое), снимок честно передает черты того, кто когда-то жил, что когда-то было действительностью, — а теперь стало сверхдействительностью, несмотря на то, что уже не действует, не дышит, не живет.

Воздержитесь от соблазна поцеловать эту спящую красавицу, не старайтесь представить живыми застывших перед аппаратом мужчин и женщин, представить себе облегчение, с которым они стирают с лица кукольные улыбки и опускают руки, картинно сложенные на животе, шум отодвигаемых стульев, реплики, смех... не пытайтесь воскресить эту жизнь. Люди на снимке так и остались там, в серебристо-серой вечности, до ужаса похожей на наш мир, потому что фотография — это нечто вроде того света, и оттуда они смотрят на нас. Чувство, похожее на то, когда вперяешь замороженный взгляд в фарфоровые медальоны на могильных памятниках, в портреты тех, кого больше нет, — вот что пробуждает обыкновенный фотографический снимок, и такое же чувство испытываешь под взглядом, который устремлен на тебя с твоей собственной карточки: так скончавшийся смотрит на живого. Так смотрели бы вы сами, если бы вас уже не было. И так же вы будете смотреть когда-нибудь из своей анонимной вечности на людей, которые вас не знали, не видели, понятия не имеют, кто был этот человек. Ибо фотография — это репетиция посмертного существования, некоторым образом смерть при жизни.

Фотография старухи на кухне. Видны бумажные фестоны на полках. Правой рукой она подперла голову, лицо ее сбоку освещено бью-

щим из окна солнцем, следовательно, если учесть расположение квартиры, было позднее утро; камера ослеплена, часть фотографии представляет собой темное пятно, блестит спинка носа, белеют костяшки пальцев. На другом снимке она явно позирует, на лице умильное выражение, руки, похожие на птичьи лапы, сложены на коленях. Что было дальше? Когда сделан снимок? Неизвестно, и не имеет значения; как уже сказано, фотография отменяет будущее.

Компания за столом. Лицо Бахтарева (если это он) заслонено чьей-то лысеющей головой, виден край лохматого абажура и настенный календарь, на котором невозможно прочесть дату. Рыцари Грааля, погруженные в вечную немоту среди бутылок и канделябров.

Далее наше внимание привлекает лицо молодой женщины, тоже в своем роде замечательное; его особенность состоит в том, что вы его ментально узнаете. Вы говорите себе: где я ее видел? Не далее как вчера она сидела напротив меня в трамвае. Слегка принаряженная, с сережками в ушах, коротко остриженная и завитая по моде тех лет, с выражением спокойного ожидания на лице, она принадлежит и особенно празднично-условному миру фотографического ателье (в отличие от предыдущих, снимок не любительский), и трезвым будням. В этой женщине есть нечто здоровое и земное, дышащее русской свежестью, нечто такое, что приглашает к неторопливой жизни, аккуратно застланной постели и сонной белизне чисто прибранной комнаты. Молочное лицо, молодая картошка с огурчиком. Крупные и нежные черты представляют собой как бы рекламный проспект ее тела. И хотя вы видите только лицо, шею, вырез платья и прикрытое уголком кружев начало груди, вам легко представить себе ее крепкую круглую фигуру, одну из тех, которые имел в виду философ, сказавший, что только мужской интеллект, опьяненный инстинктом продолжения рода, мог назвать красивым этот приземистый, широкобедрый и коротконогий пол. Где подцепил эту красавицу Толя Бахтарев?

Сочетание праздничности и прозы, собственно, и делает это лицо таким знакомым; лицо работницы и лицо актрисы. Героиня народных фильмов эпохи первых пятилеток, жизнерадостная, коротко остриженная девушка с крепкими ногами, полная веры в будущее, где-то посредине между деревней и цехом, где ей предстоит стать многостаночницей. Наклейте ей соболиные брови, влетите в волосы накладные косы, водрузите на русую голову серебряный островерхий шлем из папье-маше, и получится новгородская боярышня, смело шагающая рядом с княжескими дружинниками, в какой-нибудь кольчужной юбке, отстоять родину от врага. И держа в руках эту карточку с обломанными уголками, это лицо, давно не существующее, тщательно припудренное, отчего оно кажется припухшим, с полными губами, трону-

тыми помадой, с затуманенным взором небольших светлых глаз, — женское лицо, которое спокойно ждет, когда на него обратят внимание, чтобы уж больше от себя не отпустить, — вглядываясь в него, вы не можете не ощутить его власть, одновременно социальную и чувственную. Дыхание матриархата обвеивает вас. Таково свойство некоторых женских лиц в нашей стране. И совсем, быть может, не случайно в этом лице, которое замечательно подошло бы для пропагандистского экрана, для арийско-славянского искусства конца тридцатых годов, в одно и то же время почвенного и революционного, — совсем не случайно в нем было что-то отменяющее всякую революцию и как бы предназначенное для того, чтобы убаюкать тревогу и задушить всякий бунт. Поселиться вдвоем в какой-нибудь районной глуши и забыть обо всем, как забываешься среди туманных перелесков и волнистых полей.

#### **4. ПОПУЛЯРНОЕ ВВЕДЕНИЕ В ФИЛОСОФИЮ ВРЕМЕНИ**

«Я приступаю к рассказу, — говорит Тацит, — о временах, исполненных несчастий, диких и неистовых даже в мирную пору». Сразу оговоримся: не таково было время, о котором предстоит рассказать нам. Люди часто бывают склонны к преувеличениям, им кажется, что эпоха, в которую им выпало родиться, самая замечательная или, напротив, самая ужасная. На самом деле самых ужасных эпох не бывает, ибо мы не располагаем объективным критерием, да и не ведаем, что еще будет впереди. Многие поддались соблазну сравнивать нашу эпоху с самыми черными днями Римского принципата и даже уверяют, что наше время еще гаже. Это ошибка. Хотя и в наше время имели место разные неприятности (когда их не бывает?), это было не такое уж беспросветное время. Это было, можно сказать, даже счастливое время — хотя бы потому, что нам удалось в нем выжить.

Если пророки грядущего общества были правы, сказав, что новое время лишило священного ореола профессию поэта или врача, то не менее справедливым будет утверждение, что оно окружило ореолом славы и романтической тайны профессию гангстера. Другое преимущество этого ремесла состоит в том, что оно не требует профессиональной подготовки. Грабеж есть именно та область, где дилетант не чувствует себя дилетантом, и в этом смысле она вполне подобна врачеванию болезней и сочинению книг. Темной ночью, чувствуя себя в превосходной спортивной форме, грабитель вышел на дело. Двор тонул в черной синеве. Грабитель направился к подворотне. Он был экипирован на славу: на нем был брезентовый плащ-армяк, брюки, которые были ему великоваты (он придерживал их обеими руками в

глубоких карманах), на голове низко надвинутая кепка, из-под которой свисало что-то вроде чадры; воротник макинтоша — назовем его так — поднят согласно кинематографическому канону тридцатых годов. Было, если говорить точно, около одиннадцати часов.

Ворота запирались на ночь длинным вертикальным затвором с замком. Ночному разбойнику понадобилось не более двух минут, чтобы приподнять некоторым известным ему способом задвижку, не отмыкая замка; после чего створы ворот с мрачным скрежетом раздвинулись. Он выглянул в переулочек. Все умерло, в этот час наш район был нем и безлюден, словно дальняя окраина. Грабитель воспользовался ожиданием, чтобы привести в порядок свой туалет: расстегнулся и подтянул штаны. Поправил свисавшую на лицо тряпку, которая сильно мешала ему. Из угла за мусорным ящиком можно было обозреть сквозь щель в воротах всю перспективу темных домов до перекрестка, и вот наконец в этом царстве смерти раздалась песня ночного странника. Человек двигался по другой стороне переулка, время от времени сходя на мостовую. По мере того как приближалось его бормотание, росла отвага грабителя. Поравнявшись с домом, скиталец остановился; в эту минуту гангстер выступил из ворот.

По инерции ночной человек все еще продолжал свой речитатив, как продолжает работать мотор остановившегося автомобиля. То была повесть о жизни, долгая и извилистая, как лабиринт московских переулков. Понемногу его бессвязная исповедь иссякла, он недоуменно воззрился на замаскированного бандита, который преградил ему путь, выставив «дуру».

«Давай, живо!» — сказал грабитель.

«Чего давай?» — глядя на «дуру», спросил странник.

«Кошелек давай».

«А-а, — пробормотал странник, — так бы и сказал... А то — руки вверх, руки вверх...» Сам того не замечая, он договаривал за преступника слова, которые тот забыл произнести. В этом был резон, ибо таким образом восстанавливался некий порядок. Порядок вносит успокоение. Странник, нахмурившись, ощупывал и обхлопывал себя. Грабитель с горечью подумал, что его уже успели обокрасть, но тут человек, напряженно копавшийся у себя за пазухой, выдернул руку. Грабитель отшатнулся.

«Так бы сразу и сказал, — продолжал странник учительным тоном, что тоже имело резон, ибо он был по крайней мере втрое старше грабителя, — мол, давай деньги! А я что, я пожалуйста. Я такой человек: ты меня по-хорошему попроси, всегда пойду навстречу».

В конечном счете страх всегда связан с незнанием роли. «Чтобы все было как у людей», «по-хорошему» — эти слова выражают надеж-

ду, что каждое из действующих лиц знает порядок, усвоило свою роль и текст, для него приготовленный. С этой минуты оба перестали бояться друг друга, как актер, глядя в зрачок пистолета, не боится, что его застрелят всерьез. Прохожий вручил бандиту руину из полуистлевшей кожи, откуда на мостовую посыпалась со слабым звоном мелочь, и на этом акция была закончена. «Паспорт верни», — сказал строгим голосом странник. Сидя на корточках, грабитель собирал добычу, а пьяный, сунув документ за пазуху, продолжал свой путь. Перед тем как свернуть к Мясницким воротам, он обернулся и погрозил пальцем преступнику — словно сама судьба, которую, в отличие от него самого, не обворуешь и не обманешь.

Грабитель сорвал с головы тряпку и испытал невыразимое облегчение. Полный достоинства, засовывая в карман бутафорское оружие, он возвращается в подворотню. В кошельке оказалось еще два-три медяка, справка о чем-то и скомканная трехрублевая бумажка. Представитель одной из самых прибыльных профессий смотрит на часы. На часах ровно столько, сколько было до операции. Если бы они сохранились, то и сегодня показывали бы все тот же час. Задумаемся над значением этого символа: постоянство игрушечных часов, неподвижность нарисованных стрелок намекают на природу самого времени, которое можно сравнить с твердой жидкостью. Прошлое застывает в нем, как насекомое в окаменевшем янтаре.



## ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

### 5. ПРИМЕР НЕПОРОЧНОГО ЗАЧАТИЯ

Пишущему эти строки однажды пришлось наблюдать, как из окна выбросили кошку. Это произошло на лестничной площадке напротив квартиры Бахтарева и положило начало событиям, завершившимся его смертью. С тех пор утекло много воды, бывшие жители дома скончались или уехали неизвестно куда. Автору пришлось приложить немало стараний, чтобы восстановить обстоятельства места и времени, в том числе эпизоды, при которых (как, например, при только что описанном нападении на прохожего) он не присутствовал. О доме уже немного сказано. Наш дом стоял последним в переулке, ныне не существующем, который в этом месте раздваивался: один проезд вел на улицу Кирова (жители упорно продолжали называть ее Мясницкой), а другой в лабиринт проходных дворов, кирпичных брандмауэров, улочек, перегороденных заборами, дошкольных площадок, напоминавших помойки, — дом заслонял своими плечами все это живописное безобразия. Дом был старый, даже старинный, с оригинальным узором из кирпичей вокруг окон, который придавал им сходство с почтовыми марками. Когда солнце, смотревшее в узкую расщелину переулка, клонясь к закату, освещало грязно-розовый фасад, это было очень красиво.

Вот все, что можно сказать о его архитектуре; а так как архитектура (или отсутствие того, что обычно называют этим словом) всегда кладет отпечаток на жителей — старух, глядящих из окон, детей, копошащихся во дворе, и даже на животных, то эта подробность — оконный узор — не должна быть опущена в нашем рассказе. Снаружи, по обе стороны от ворот, было два входа, называемых парадными, а во дворе было два крыльца; соответственно в квартиры, чьи окна выходили в переулок, надо было подниматься по парадным лестницам, а в квартиры, которые смотрели во двор, по черным: зодчий был убежден в неизбежности общественного порядка, по которому все жильцы делились на два главных класса. Свидетельством особой заботы о съемщиках было отсутствие квартиры № 13. После двенадцатой шла шестнадцатая, а на следующем этаже — четырнадцатая и пятнадцатая,

чтобы жилец не подумал, что ему подсовывают под видом 14-го номера 13-й. И была еще квартира без номера, где некогда помещалась контора учета и регистрации заявлений об улучшении жилплощади и бытовых условий; потом контора переехала, и в квартиру, на самый верх, вселился Бахтарев.

Во дворе висело белье, громоздились старые доски; нечего и говорить о том, что ни простых, ни благородных жильцов, тех, кто занимал квартиры на чистой лестнице, и тех, кто жил на нечистой, кто боялся тринадцатого номера или кому не подобало жить окнами во двор, не было и в помине: все были нечистыми, все давно махнули рукой на всякие суеверия и проживали не в квартирах, а в комнатах. При этом жители черных лестниц оказались даже в выигрыше, им было удобнее таскать ведра с мусором и тазы с бельем, тогда как обитавшие на парадных лестницах не знали куда деваться, не выплескивать же помой на улицу. Некоторые, впрочем, так и делали — вечером, в решетку дождевого стока. Они вели борьбу с домоуправлением за право пользоваться чердачным помещением, жильцы же черного хода доказывали, что чердак непригоден и опасен, ибо тогда им запретили бы сушить белье во дворе. Лестница с мистическим порядком номеров сотрясалась под ногами заявителей, штурмовавших контору по улучшению условий, словно альпинисты — горную вершину. В свою очередь управдом успешно отражал натиск обеих партий, говоря, что никаких таких помещений на чердаке, пригодных для сушки белья, в доме не имеется, и ссылаясь на засекреченную инструкцию, устанавливающую, что, собственно, следует считать чердачным помещением.

Девочка, о которой идет речь, ибо это она сбросила кошку, была в некотором, роде знаменитостью нашего дома, хотя вчера еще сидела в окне второго этажа, набрав полный рот каши, а мать тянулась к ней сзади с ложкой. Девочка мотала головой, и каша текла по подбородку. Целыми часами, с неистощимым любопытством она пялила черные глаза во двор, видимо привыкнув не только обедать, но и жить на подоконнике, и лишь время от времени приоткрывала рот за очередной порцией, но не для того, чтобы проглотить ее. Так продолжалось до тех пор, пока мать не убежала на работу: она боялась недокормить девочку, боялась, что дочь выпадет из окна, и боялась попросить соседей присмотреть за ней, но больше всего боялась опоздать. Она работала где-то не то уборщицей, не то письмоводителем, иногда в утреннюю смену, чаще в вечернюю. Что касается отца, то о нем было известно только то, что его нет и никогда не было; и, пожалуй, можно было в это поверить, глядя на мать, убогую, маленькую, бледно-худосочную, с такими же, как у девочки, черными и несколько татарскими глазками. В конце концов, известны случаи, когда дети рождались без участия мужчины. В споре одного славного богослова с не менее известным

биологом последний указал на некоторую несообразность священной историй, а именно, на то, что по закону партеногенеза девственница не может произвести на свет потомство мужского пола и ребенок в этом случае должен был бы оказаться девочкой. На что теолог возразил, что этим-то как раз и подтверждается сверхъестественное происхождение Младенца. Любопытный пример чуда, для которого наука служит не опровержением, а доказательством.

## 6. ГРЕЗЫ ПОСЛЕ ЗАКАТА

Большая часть слухов, на которых основывалась репутация девочки со второго этажа, никогда не была доказана. Эти слухи распространяли дети старого дома, мальчишки, которых она заразила любопытством и жадной революционного подвига. Времена, когда она сидела, словно маленький идол, в окошке, давно миновали. Для взрослых это было вчера, для детей — полузабытая древность. Девочка сошла в мир, как сходят с небес на землю: худая, с коротко остриженными волосами, в коротком платье и пальто, которое она никогда не застегивала. Она не играла во дворе, не рисовала мелом на асфальте, никто не видел ее с мячом и скакалкой; она проходила мимо, сунув руки в карманы пальто и помахивая полами. У нее всегда были какие-то свои дела. Если можно так выразиться, она уже при жизни стала преданием. О ней рассказывали друг другу сначала с испугом, потом с восторгом и наигранной фамильярностью: каждому хотелось дать понять, что он стал ее сообщником. Она умела многое, хотя все, что она демонстрировала, она делала как бы между прочим, в виде отдыха от более важных занятий. Например, она умела отмыкать почтовый ящик; способ остался ее тайной, одной из тех, которые она унесла с собой, когда однажды, помахивая полами пальто, вышла из ворот и больше не вернулась. Способ был прост до смешного, и теперь спрашиваешь себя, в чем же, собственно, он заключался.

Много лет спустя пишущий эти строки вернулся в город и отыскал переулок. От переулочка ничего не осталось. Не было больше дома с кирпичными узорами, не было детей и прохожих, на месте дома воздвигся грязно-белый куб — жилая коробочка, в которой, казалось, никто не жил. Вокруг стояли или строились другие такие же остовы, громадные, но странно приземистые, потому что самое пространство съезжилось, вопреки надеждам градостроителя. Уцелел только дом напротив, на углу проезда, ведущего к улице Кирова, откуда солнце некогда обливало огнем переулок, клонясь к закату, но и солнце изменило свой путь. А ящик висел по-прежнему на углу, рядом с подъездом. Детство заросло фантастикой. Прошлое было соткано из вещества того же, что и сон, как говорится в одной знаменитой пьесе, и воспроизвести его

можно было разве только так, как рассказывают сон, не замечая, что уже тем самым превращают его в литературное повествование. Если это так, то какова же доля реальности в воспоминаниях о бегстве с добычей, о восторге и страхе, и влюбленности, и сидении вдвоем в тускло освещенном парадном, у батареи центрального отопления, когда, снедаемые азартом и любопытством, мы склонялись над открытками, раздирали конверты и разворачивали страницы, исписанные разными чернилами и почерками, разглядывали детские рисунки, вертели в руках повестки, приветы, поздравления? Все это отправлялось потом в решетку для стока дождевых вод, и туда же, можно сказать, уткло прошлое. Что же, черт возьми, от него осталось?

Думая об этом, автор уличил себя в том, что, в сущности, вспоминает собственные воспоминания, ибо в воспоминаниях мы имеем дело не столько с тем, что было, сколько с тем, что осталось от предыдущих попыток припомнить, — и вдруг, очнувшись, увидел дом, стоявший как ни в чем не бывало; вдруг, как случается, когда во сне просыпаешься от другого сна, вновь возникла перед глазами тусклая мгла переулка и девочка, приплясывающая на тротуаре перед парадным: она поджидала сообщника. Увы! Ее дружба была мимолетной.

С ней приходилось держать ухо востро, ожидание подвоха было платой, которую она взимала со своих фаворитов; и в самом деле, она как будто ждала удобного случая, чтобы увенчать жестокой наградой верность, преданность и любовь. В одно мгновение, и притом тогда, когда вы этого меньше всего ожидали, она могла вас предать и забыть, могла поздно вечером, когда возвращались по домам после неопикуемых приключений, ни с того ни с сего на лестнице прищемить вам ногу дверью. Гордость не позволяла несчастному звать на помощь, на что она, разумеется, и рассчитывала: набычившись, упиралась руками, плечом, задом до тех пор, пока вопль не вырывался из стиснутых зубов казнимого, утробный стон, похожий на стон наслаждения, о котором он еще не ведал. Она отпускала дверь. Дробь ее башмаков затихала на лестнице. Гулко хлопала вниз дверь парадного.

На другой день она проходила мимо таинственной походкой, сунув руки в карманы, равнодушная к страшным планам мести, к непрочным комплотам, одним своим появлением разрушая солидарность обиженных; ее дымчатая улыбка обесценивала самую идею возмездия. Но самым убедительным знаком ее превосходства, покоряющим все сердца, была ее беспримерная храбрость: на тонких руках она раскачивалась, вися на железной перекладине, соединявшей пожарную лестницу со стеной дома, на высоте второго этажа; ей ничего не стоило взобраться или, вернее, взлететь по отвесной лестнице на крышу, но это означало, что и вы должны были браво карабкаться вслед за нею.

Кто-то бросил крылатое слово: японка.

Это сходство, весьма отдаленное, можно было заметить еще в те времена, когда она сидела в окошке; кличка, подсказанная фильмами о шпионах, окончательно превратила ее в мифологическое существо, в художественный образ, и этот образ, плод коллективного творчества сверстников, вознеся над прошлым и настоящим и канонизировал ее земное бытие. Так образ кинозвезды неприкосновенен в сознании зрителей, между тем как та, кому он все меньше принадлежит, — желтеет, вянет и покрывается морщинами. Девочка достигла возраста, когда время, без устали стегавшее ее ровесников, занесло и над нею свой бич, но медлило опустить, как бы щадя ее хрупкое совершенство. Нет никакого смысла гадать, что с ней случилось.

## **7. ТО, ЧТО ПОДРАЗУМЕВАЕТСЯ, НЕ МОЖЕТ БЫТЬ НАЗВАНО**

С некоторых пор девочка с жутковатым косящим взглядом из существа, причастного тайне, сама превратилась в тайну, и тайна эта была тем более ошеломительной, что была явлена всем, как Слово, ставшее плотью. Она жила среди нас, и называлась обыкновенным именем, и говорила на нашем языке. Но на самом деле она говорила на языке иносказаний и шифров, и ее имя звучало как тайный пароль или сигнал тревоги.

«Хочешь? — спросила она однажды. — Покажу одну вещь». И ринулась вверх по черной лестнице, прыжками через две ступеньки, выше и выше, пока оба не очутились на верхней площадке, напротив квартиры без номера. Передохнули у окна. Узкая, почти отвесная железная лесенка упиралась в чердачный люк.

«Чего стоишь? Полезай!»

Сообщник медлил. Люк был заперт на замок.

«Балда, — сказала она. — Ну и что, что замок?»

Еще немного постояли у раскрытого окна.

«Скажи что-нибудь по-японски».

В ответ девочка устремила на него свой непостижимый взгляд, от которого становилось не по себе. «А я думала, — проговорила она, — ты отважный».

«Нет, ты сперва скажи».

«Харакири-каракири».

«Что это значит?»

«Много знать хочешь».

Он полез по скрежещущей шаткой лесенке, и в этот момент снизу донеслись шаги. Девочка показала сообщнику кулак и стала неслыш-

но сходить по ступенькам. Так оно и есть — она заманила его в ловушку. Она стояла на площадке между двумя маршами, а он висел над пропастью, боясь шевельнуться. Шаги дошли до предпоследнего этажа и остановились. Кто-то рылся в сумочке. Затем они услышали, как вставляют ключ в замочную скважину, и эхо хлопнувшей двери разнеслось по этажам.

«Живей!». Она держала лесенку. Если бы, думал он, кто-нибудь пришел и спас его от соблазна и страха. Гаркнула нетерпеливая команда. Кряхтя, сообщник уперся в крышку люка затылком, девочка оказалась права, замок висел для блезира. Он выбрался наверх. Через минуту показалась ее голова, тонкие руки уцепились за край люка. Вот оно — столкнуть ее вниз и захлопнуть крышку.

Девочка подтянулась и вылезла. В затхлом холоде и полумраке чердака она неслась вперед, как летучая мышь, вздымая прах и паря над прахом. Осколки стекла хрустели под ее ногами. Здесь еще не угадывалось, на какую высоту они поднялись. Но когда, пригнувшись, перешагивая через покрытые пылью и копотью стропила, они проникли сквозь занавес света и выглянули из слухового окна, то увидели под собой край крыши, за которым не было ничего, только полет и бездна, а вдали — буро-красные, кое-где сверкающие оловом пустыни кровель: узрели все царства мира и славу их и ощутили себя почти небожителями.

Сзади послышалось ее хрипловатое пение; обернувшись, мальчик увидел, что она балансирует на толстой балке, пересекавшей чердак. Ее лицо белело в полутьме, как цветок. Она прошла по бревну назад и вперед. Потом, расправив руки, стала делать ласточку. «Подумаешь», — буркнул он и подошел к бревну. Оба стали делать ласточку, толкая друг друга ладонями, пока девочка не слетела с бревна. Что-то должно было произойти. Она собиралась показать одну вещь. «Не двигаться», — приказала она, отступая к окну. Избранник спрыгнул со стропила. «Закрывать глаза. Можно сесть...» Он сел и закрыл лицо руками. Ничего не происходило. Он раздвинул пальцы. Ее лицо было погружено в тень, она стояла, загораживая собой чердачное окно. Черные волосы окружало сияние. Она была без пальто.

«Представление начинается, — объявила она, — маэстро, туш!» Сообщник задудел: «Тру-ту-ту! Бум, бум!» — но ничего не происходило, и вообще неизвестно было, что у нее на уме. Ослепительный нимб вокруг ее волос померк, очевидно, солнце над городом заволоклось облаками.

«Как дам под ребрину, — сказала она, употребляя модное выражение, — так и глаз вон. (Он смотрел на нее, ожидая чуда.) Кому сказала! Долго я буду ждать?»

Он зажмурился, так что сморщилось все лицо, и прижал пальцы к глазам. Девочка стояла, подбоченившись, составив ноги, как тренер на уроке физкультуры.

«На-ля-ля... Не смотреть! На-ля-ля»

Спектакль не может начаться, если занавес предварительно не опущен до конца, а занавесом служило всего лишь ее коротенькое платье, и девочка присела на корточки, натягивая подол на испаранные колени, и они превратились в священный порог ее тела. Держа край платья в скрещенных руках, она медленно поднималась, стараясь не потерять равновесие. «Не смотреть, — пела она дребезжащим голосом, — не смотреть, на-ля-ля, ля-ля ля-ля... не смотреть... Смотреть!» Ветер гнал облака над крышами, под ногами у девочки сверкали грязные стекла. Пыльный луч висел над ней, как балдахин. Она стояла, обведенная сиянием, задрав платье до ключиц. Зритель, удостоенный небывалого посвящения, онемел от неожиданности, но был разочарован: под платьем в буквальном смысле ничего не было. Девочка была устроена совершенно так же, как какая-нибудь малявка, ковыряющаяся в песке, отличаясь от нее разве только длиной ног, и в этой худобе и лунно-белой голой коже и была, собственно, вся тайна. Так он сделал открытие, которое состояло в том, что все тайное существует лишь до тех пор, пока оно не разоблачено. Девочка стояла, прижимая платье к припухшим соскам, мигая острыми черными глазами, и все это длилось две или три секунды, не больше, но, как только занавес упал, тайна воскресла. «Скажешь кому-нибудь, убью», — пробормотала она, сунула руки в тесные рукава пальто и воспарила под темными сводами, пронеслась, топоча башмаками по стропилам. И теперь у избранника было чувство, что его обманули дважды.

## 8. ПОЛЕТ

Она появляется в окне, зная, что внизу собралась публика, и может быть, выждав, когда все соберутся. Каждый развлекает себя как может, одни носятся по двору, другие сидят на досках, но уже разнесся слух, что ожидается нечто невиданное, дети вбегают с улицы, из окон выглядывают возбужденные лица. Она стоит в проеме лестничного окна на самом верху, там, где стена дома сходится под углом с другой стеной, пониже, и краем покатой кровли, — стоит, ни на кого не глядя и зная, что на нее глядят все, а снизу, зигзагами по вспыхивающим окнам, к ней подбирается солнечный зайчик. Он ловит ее и не может поймать, словно у того, кто сидит на корточках в углу двора с зеркалом в полосе солнечного света, руки дрожат от волнения. Длинная призрачная рука ласкает девочку, щекочет ей шею, уши, ее волосы вспы-

хивают, как черный нимб, и угрюмым зеленым огнем мерцают глаза зверька, которого она держит в руках. Затем зеркальце гаснет. Все глядят как замороженные. Она вытянула перед собой руку, выставила зверя напоказ — глаза его с тоской и надеждой устремились на крышу, — кто-то вскрикнул внизу, но крик утонул, как в вате, во всеобщем молчании, и в этой гипнотической тишине можно было услышать, как слабо мякнула кошка. Владелец зеркальца зажмурился, как будто сам был ужален слепящим лучом, а открыв глаза, увидел, что кошка все еще висит над пустотой, прижав хвост к животу; затем тонкая рука разжалась, и зверь полетел вниз. Девочка перегнулась через подоконник, жадно следя за быстро уменьшающимся комком кошачьего тела; но для кошки, которая неслась к земле, время текло иначе, много медленней, и даже не текло, а как бы расширялось. Земля надвинулась на нее, как поезд налетает на пешехода. Кошка хлопнулась об асфальт и, казалось, должна была расплющиться, как яйцо, растечься темным пятном, но вместо этого вдруг побежала вдоль стены и юркнула за угол под арку ворот, и это было все равно как если бы она вовсе не долетела до земли, а взвилась и исчезла над хребтами крыш; кошка была бессмертна.

В эту минуту кто-то шедший быстрым и неслышным шагом по лестнице приблизился и шлепнул девочку по задку. Ахнув, она обернулась, мгновенно одернула платье, глаза ее впились в обидчика, и руки вдавились в подоконник.

«Упадешь», — молвил он.

Таково было первое слово, произнесенное при этой встрече, шифр, еще непонятный обоим. Девочка закусила губу. Вероятно, она узнала его. Вне всякого сомнения, она о нем слышала. Ее косящий взор стрельнул вбок, она взвешивала возможности бегства, но что-то переключилось в ее мозговом механизме, и она не сдвинулась с места; закон трущоб, который предоставлял ей только два выхода — спастись или нападать, внезапно утратил силу. Она стояла в прежней оборонительно-агрессивной позе, упершись ладонями в подоконник, но на лице ее проступило иное, жадное и выжидающее выражение: все то же ненастыжное любопытство, снедавшее девочку со времен манной каши.

Великий человек стоял на площадке во всем блеске своей легендарной, головокружительной красоты, стоял молча, подбрасывая на ладони английский ключ. Шевельнул бровью. Девочка, как зачарованная, следила, как он вставляет ключ в замочную скважину. В это время кошка неслась во всю мочь к воротам. В голове, в ушах у нее все еще свистел воздух, перед глазами мелькали этажи, и грозная земля летела навстречу; лапы одеревенели, но при этом как бы лишились кожи, словно она впечаталась и осталась на месте удара; кошка бежала босиком. Ей хотелось темноты и покоя, хотелось в подвал.



Кошка выскочила на тротуар. Мгновение она колебалась, а затем кинулись наперерез грузовику и второй раз за эти несколько минут осталась жива. Очутившись на другой стороне, она побежала вдоль дома хорошо известным ей путем, мимо почтового ящика к подъезду, юркнула вниз по темной лестнице и достигла желанного приюта. Там она успокоилась, улеглась на бок, чтобы целиком отдаться ощущению внутренней боли, как отдаются самым важным и неотложным мыслям, но лапы горели огнем, она пыталась лизнуть их и завалилась на спину. Ее ноги дергались, хвост вытянулся, как палка, и несколько мгновений умирающей кошке снилось, что она еще жива и качается на поверхности безбрежных и невыносимо сверкающих вод. Затем вода накрыла ее с головой, и она стремглав понеслась в глубину, туда, где ее не ждало уже ничего, кроме тьмы и молчания.

## 9. КВАРТИРА

«Заходи», — сказал Бахтарев, девочка передернула плечами и вошла следом за ним на кухню. То была уже упомянутая нами квартира без номера, у которой была своя замечательная история; эта история уходила корнями в смутное прошлое и не оставила свидетелей. Известно, впрочем, что в те далекие и незапамятные времена квартира вовсе не была жилой площадью, а служила штабом для привидений или, может быть, кладовой. Собственно, этот верхний этаж даже и не был этажом, но был некогда надстроен владельцем дома для хозяйственных нужд. В годы интервенции и гражданской войны квартира стояла заколоченной. Впоследствии, как уже говорилось, она была отведена под контору; посетители, войдя со двора, поднявшись мимо двенадцатой, шестнадцатой и пятнадцатой квартир и дойдя, наконец, до двери, где, строго говоря, должен был стоять тринадцатый номер, но вместо номера была прибита служебная табличка, толкались среди перегородок и фанерных дверей, за которыми помещались каморки отделов; этих отделов становилось все больше, компетенция конторы усложнялась, и уже стоял вопрос о переоборудовании всего этажа, а заодно и чердака, когда учреждение перевели в другое место. Можно упомянуть также о том, что какое-то время пустующее помещение снимал ансамбль народной песни и пляски; эта краткая и баснословная пора была озаглавлена чуть было не случившейся катастрофой: потолки над жильцами квартиры № 15 грозили обрушиться, что могло повлечь за собой обвал нижележащих перекрытий; к счастью, ансамбль выехал на гастроли в Алтайский край и за дальностью расстояния назад уже не вернулся. К этому времени фанерные перегородки

были снесены, образовалась большая комната, из которой и состояла, собственно говоря, квартира без номера; поселить в ней несколько семейств представлялось неудобным. Тогда-то и появились Толя Бахтарев с пожилой родственницей. Такова предыстория.

Вскоре после вселения, обстоятельства коего не вполне ясны, так как Бахтарев, проживавший до этого в рабочем общежитии, был первоначально прописан к жене, точнее, к одной из своих жен, а затем эта жена куда-то исчезла и оказалось, что он вообще не был женат, — как это получилось, понять невозможно, а впрочем, все бывает, — так вот, вскоре после вселения произошел архитектурный сюрприз. В одном месте под обоями прощупалась выпуклость, обнаружилась дверь, намертво вбитая в дверной проем и заколоченная гвоздями, так что ее пришлось отворять топором. За дверью, где по законам пространства и согласно плану не могло быть ничего, оказалась каморка с окном, смотревшим в небо. Автору этих строк, естественно, не пришлось быть очевидцем открытия, ни того, каким образом Бахтареву удалось отстоять натиск управдома; так что, строго говоря, наши сведения не могут считаться вполне достоверными. Однако все бывает на этом свете. Итак, управдом предъявляет законные претензии на ничейную землю, подобно тому как корона была бы вправе претендовать на остров, открытый мореходом. В конце концов кто позволил Бахтареву поселиться в доме, кто прописал его в Москве? С чьего разрешения, по чьей воле или по чьему недосмотру существовали все жильцы, как не по воле, разрешению или недосмотру государства? Его приоритет подразумевался сам собой. Если же управдом не знал о существовании каморки, значит, он был попросту плохим управдомом. Это обстоятельство выручило Бахтарева: Семен Кузьмич сделал вид, что о комнате давно известно, он заявил, что существует другой план, полный и окончательный план дома после всех перестроек, переселений, климатических невзгод, социальных катаклизмов и капризов неисповедимой судьбы, и на этом секретном плане данная площадь обозначена и учтена. В то же время она как бы не существовала и, значит, не могла возбудить ничьих вождедений. Жильцы нижележащего этажа если и были в курсе дела, то помалкивали, слишком свежа была память о кошмарном ансамбле; управдом полагал, что не в его интересах посвящать в это дело высшие инстанции. Все было оформлено в рамках местного делопроизводства. Тем временем из деревни приехала бабуся, та самая пожилая родственница, и оставалось только накласть, по народному выражению, резолюцию, что и сделано было добрейшим Семеном Кузьмичом. Бабулю прописали в каморке.

Дальнейшее могло бы показаться удивительной сказкой, мечтой, а то и наветом людей, заинтересованных в том, чтобы бросить тень на

управдома, — если бы не отмеченное выше обстоятельство, что все на свете бывает, в том числе и то, чего не бывает. Эпоха географических открытий каморкой не окончилась. Не только азарт ведет первопроходца, но и расчет. Коль скоро комнатенка бабуся была официально признана, она уже не противоречила логике пространства, но сама диктовала эту логику; трудно было остановиться на мысли, что все помещение ограничивается большой комнатой, остатком коридора и каморкой (кухня не в счет). Но, конечно, корона в лице управдома уже вовсе не была посвящена в эти выкладки. Был произведен кое-какой ремонт, наклеены обои с цветочками. К данному разделу истории (или географии) квартиры без номера нам еще предстоит вернуться. А пока скажем кратко, что при обследовании коридорчика была заподозрена еще одна неизвестная жилплощадь, на этот раз не мнимая Вест-Индия, а истинный новый материк. Он оказался комнатой без окон. Чиркнули спичкой, старуха в страхе уцепилась за Толин локоть. Увидели: стоит стол и железная кровать. Больше в комнате ничего не было, а если было, то скрывалось во тьме. На кровати сидели двое, мужчина и женщина.

## 10. ДЕВСТВЕННИЦА И КАВАЛЕР

«Заходи», — сказал он, или ей так показалось. Вслед за хозяином она вступила на кухню. Здесь было такое же окно, на минуту пробудившее воспоминание об эксперименте: ей представилось, как зверь, поджав лапы, спускается в лучах солнца на парашюте. Это был кадр из фильма о воздушном параде в Тушино. *Нам разум дал стальные руки-крылья! А вместо сердца...* Но это была и достаточно смелая фантазия, ибо солнце никогда не заглядывало в каменный колодец двора, если не считать узкой полоски вдоль каменной стены, единственного уголка, где сидел с круглым карманным зеркальцем автор этих страниц. Больше она о кошке не думала. У окна стоял хозяйственный стол, висели полки с бабусяным рукоделием — «кружавчиками» из плотной бумаги; ближе к двери находилась железная раковина, напротив стола — тумбочка с керосинкой.

Дверь захлопнулась. Бахтарев прошествовал далее, во внутренние покои, а в дверях навстречу гостье показалась сморщенная старуха в кофте, ситцевом платочке и ситцевой пестрядинной юбке. «Тебе чего?» — спросила она. «Выпусти ее», — сказал Бахтарев. Он направился, минуя большую комнату, в коридорчик, было слышно, как он насвистывал песню о Сталине. Девочка, приоткрыв рот, старалась заглянуть в квартиру.

«Ты чья будешь?» — осведомилась бабуся. Девочка взглянула на нее, как смотрят на ожившую вещь; слова песни звенели у нее в мозгу. Ей захотелось что-нибудь утешить, схватить цветочный горшок с подоконника. «Иди, иди, касатка... Иди, гуляй», — бормотала старуха, как вдруг он снова появился на пороге гостиной. Девочка не удостоила его взглядом. Усмехнувшись, пригвоздила старуху надменным взором. Через минуту ее башмаки гремели по ступенькам, черные волосы подпрыгивали на висках. Она остановилась между двумя маршами и взглянула наверх. Произошло что-то необычайное, внутри у нее все пело и звенело. Слова рвались наружу. Из раскрытого окна на лестничную площадку струился ослепительный синий день. «Взмыл орлом от гор высоких!..» — заорала девочка не своим голосом.

Песня донеслась до Бахтарева. С задумчивым любопытством он уставился на приоткрытую дверь, за которой исчезла гостья, словно ждал, когда выступят письма на облупленной краске и откроется тайна жизни. Было ли в ту минуту и у него ощущение события, которому суждено было переломить его жизнь? Едва ли. Незримый стрелочник перевел стрелку — состав свернул на другой путь, но никто этого не заметил.

То, чем заняты были в эту минуту мысли Толи Бахтарева, не имело ничего общего с явлением черноволосой девочки, никакой логической связи, разве только эта встреча могла быть случайным поводом для некоторого особого поворота мыслей или просто совпасть с тем, о чем он сейчас думал, вернее, с тем, что старался понять. Нам случается иногда пробуждаться посреди затверженной наизусть действительности. Происходит то, что можно назвать разоблачением вещей, мы видим вещество жизни, ее элементарное строение. Но сама жизнь исчезла. Так бывает, когда вместо стихотворения видишь вдруг комбинацию слов, слова составлены из случайных звуков. Связь значения со знаком кажется принудительной, действительность предстает как хаос, лица и вещи рассыпаются, точно бусы, соскользнувшие с нитки. Может быть, это чувство предупреждает нас о нависшей угрозе, о ближайшей перемене.

Рассказывают, что к одному цадику обратился с вопросом сын: если есть, спросил он, мертвые люди, блуждающие в мире мнимостей, то не может ли быть так, что и я мертв и странствую, как они, в ложном мире? Бахтарев бродил по квартире. Несколько времени спустя, продолжая насвистывать, он вышел снова на кухню, устремил растерянный взгляд на струю, судорожно бьющую из крана. Водопровод был забит известью, словно кровеносная система старика; старый дом нуждался в ремонте. Бабка мыла в раковине картошку. Он смотрел на ее ступни в разношенных тапочках, видел брызги воды на полу, он со-

зерцал вещи, каждая из которых была ему знакома, но ничто их не соединяло. То была действительность сплошь покрытая трещинами, как поверхность зеркала, коснись ее невзначай — посыпятся осколки.

Он старался вспомнить, о чем он думал только что в коридоре, перед тем как постучаться в тайную дверь. Что-то заставило его вернуться на кухню — мысль, мелькавшая, словно змея в траве. Нужно было заново прокрутить фильм. Поднимаясь по лестнице, он увидел девочку-подростка, перегнувшуюся через подоконник, в эту минуту он подумал о том, что сейчас казалось таким важным, — но о чем же? Он шлепнул ее по заду, потом они вошли на кухню. Странно, что нас могут мучительно занимать мысли о мыслях, подобно тому как можно видеть сны о снах.

«Слышь, соседка что говорит. Девчонка кошку выбросила», — донесся до него голос бабуся, скользнул по поверхности мозга, но слово «кошка», комок букв, застряло в какой-то извилине, как бывает, когда монета закатывается под диван и спустя много месяцев ее находят в пыли. Неизвестно, сколько еще протекло времени, но ничего заслуживающего внимания в этот день больше не случилось. В тяжкой задумчивости Бахтарев брел по комнате, чувствуя себя больным той, не поддающейся определению болезнью, о которой, может быть, больше знают философы, чем врачи. От нее существовало только одно лекарство.

Чудовищный закат пылал в двух больших окнах, рыжая вытертая кожа дивана блестела так, что до нее было боязно дотронуться. В углу стояли часы, никогда не ходившие, что, возможно, и спасло им жизнь; словно законсервированное прошлое, они пережили все невзгоды истории. Довольно много места занимал стол топорной конструкции, судя по ножкам, которые выглядывали из-под ветхой скатерти, и в общем комната, когда не было гостей, выглядела не такой уж большой. Хозяин сидел на корточках перед буфетом, или, скорее, поставцом, единственной вещью, сохранившей в этой квартире деревенский вид, если не считать бумажных кружавчиков. В последний раз, точно погибающий воин, солнце взмахнуло ржавым мечом и опустилось за крыши. Разинув рот, возведя к потолку изумленные очи, он опрокинул в рот причастие смерти и надежды, а другой рукой не глядя сунул бутылку в поставец.

## 11. ГДЕ С ВОРОБЬЕМ КАТУЛЛ<sup>1</sup>

Тем временем... но это выражение никуда не годится. Время существовало для людей, но не для кошки, умершей на дне подвала; время распорядилось лишь ее бывшим, холодным и скрюченным те-

---

<sup>1</sup> Ходасевич.

лом, а то, что происходило с нею самой, в чисто формальном смысле могло совершиться разве лишь «между тем». Между тем кошка очнулась. Смерть оказалась чем-то вроде обморока. То, чем она была на самом деле, объяснить невозможно, так как существование по ту сторону времени есть не что иное, как существование вне грамматики. Кошка очутилась во внеязыковом пространстве, и поэтому все, что мы можем здесь рассказать, будет лишь более или менее наивной транскрипцией, наподобие рисунков, которые выводит рука ребенка, в то время как из соседней комнаты до него доносится голос отца. Поток уносил ее все дальше, это было еще на грани «действительности», обычная в нашем быту история с лопнувшими трубами, с неисправным водопроводом, который давно нуждался в ремонте; но вместе с тем вода, залившая темное чрево подвала, вернула ее к истоку жизни: вода была повторением влажной стихии, в которой некогда плавало, без шерсти, без глаз ее нерожденное тельце. Кошка вынырнула из воды, или, если угодно, родилась заново.

Молочно-голубая лагуна расстилала перед ней свою гладь. Кошку несло к берегу. Она вылезла и отряхнулась. Кошка была теперь снежно-белой, похожей на горностаю; этот цвет высот она заслужила своей страдальческой смертью, к тому же ее род вел начало от таежного зверя. Ибо в очень древние времена, до потопа и появления новых людей, на месте двора и дома, на месте всего нашего города на много верст кругом рос дремучий лес. Белая, словно пенорожденная, киска стояла у кромки воды, и на голове у нее между стоящих торчком ушей поблескивала золотая корона. Она совершила несколько пробных прыжков. С исключительным изяществом она взлетала над мягкой травой, бесшумно опускалась и, наконец, улеглась на пригорке, чтобы полюбоваться игрой мышат. Если бы она видела когда-нибудь мультипликационные фильмы, она бы сказала: вот откуда это взялось! Таким образом, этим событиям можно было дать и другое объяснение: кошка переселилась в сентиментальный мир искусства, не столько связанный, сколько соотношенный с нашим суровым миром и во всяком случае существующий с ним на равных правах.

Высунув розовый язык, протянув лапку, она осторожно цапнула одного мышонка. Писка она не услышала. Малыш перекувырнулся и юркнул в траву. Кошка смотрела на него изумрудными глазами. Но есть ей не хотелось, и она догадывалась, в чем была разница между этим новым существованием и прежней жизнью: здесь не было того, что называется необходимостью. Все, что она делала здесь, она делала по прихоти, а не по нужде. Ее не преследовали больше ни страх, ни голод, ни насилие, ни долг продолжения рода. И она поняла, что спаслась, как беглец, преследуемый полицией, которому удалось в последний момент пересечь государственную границу. Не видно было, чтобы

день собирался смениться ночью. На этом острове не было бликов и теней. Большое туманное солнце стояло над косогором. Кошку стало клонить ко сну. Она зажмурилась, и что-то напомнившее ей прежнюю, сумеречную и нереальную жизнь закачалось на дне ее глаз.

Когда она проснулась, то увидела молочный ручей, текущий вверх по склону, увидела дерево с золотыми плодами и хвостами райских птиц и множество других вещей, о которых мы не имеем представления. Она выгнула спинку, беззвучно мяукнула и в белом одеянии невесты, с венцом на голове, пошла вверх по радуге, над которой дрожала, и растекалась, и расцветала вновь в туманной вышине огромная сверкающая улыбка Кота.

## 12. В КАМОРКЕ

Бахтареву казалось, что часы следят за его движениями. Продавленный диван ждал, когда на него возлягут. Вещи зажали вновь своей особенной жизнью. Он слонялся по комнате, пока ноги не подтащили его снова к поставцу. Принял еще одну порцию напитка. Вслед за тем чело его разгладилось, он расправил плечи и стал выше ростом. Он вошел в коридор, где чахлая лампочка разбрызгивала желтый свет. Громоздкий антикварный шкаф, напоминающий вход в спальню, подпирает потолок полуразрушенными резными украшениями. В углу, перед дверью бабуся, было свалено барахло, стояли ведро и швабра... Давно уже бабуся собиралась устроить уборку в тайной комнате, но все не получалось, то неделя была тяжелая, то отключали воду, вернее же будет сказать, что все это было лишь поводом, чтобы не заглядывать в комнату.

Спешить было некуда, несколько минут Анатолий Самсонович развлекал себя тем, что покачивался с носков на пятки, пока не ткнулся носом в стекло. Оттянув угол рта, он рассматривал зубы. Пригладил, расчесал пятерней и взбил шевелюру. Под шкафом хранился ключ. Бахтарев поднялся, стряхивая пыль с пальцев, затем лицо его в тускло озаленном зеркале поехало вбок. В шкафу висели старые, пахнущие плесенью шелковые женские платья, его собственное демисезонное пальто и старухина кацавейка. Он принялся перевешивать вещи, извлек фанеру, служившую задней стенкой, и, наконец, вздохнув и театрально перекрестившись, склонив голову, шагнул в шкаф.

Совершая все эти мелкие действия, он испытал то, что должен испытывать читатель, когда ему рассказывают о какой-нибудь небывальщине: именно эти подробности, тусклый коридор, теснота шкафа, используемого не по назначению, долгие старания попасть ключом в

замочную скважину, именно эта ничтожность и обстоятельность быта незаметно примиряют нас с тем, чего не может или по крайней мере не должно быть. Манипулируя ключом, наш герой вспомнил сцену на лестнице; на миг перед ним ожили нагло-испуганные глаза диковатого подростка. Отчего, подумал он, из тысячи мелких впечатлений застревают в памяти одно, чем оно важнее других? Жизнь состоит из ничего не значащих происшествий, дни похожи на лотерейные билеты и ничем не отличаются друг от друга, но один из них — чем черт не шутит? — вдруг может выиграть. Ключ повернулся, скрипнула дверь. Он промолвил:

«Это я».

Он медлил на пороге, чтобы дать привыкнуть глазам к дрогнувшему огоньку коптилки. Точней, это была не коптилка, изобретение новейшего времени, а древний и почтенный предмет — лампада толстого стекла, целый век висевшая перед образами, пока однажды не кончилось масло — кончилось раз и навсегда. Во дворе на чурбане, где отец рубил головы курам, Богородица и угодник были подвергнуты ритуальной казни. То было время великих перемен и грозных событий. Теперь светильник был наполнен керосином и пылал не верой, а тем, что долговечнее всякой веры: тусклым отчаянием. Пахло копотью. Бахтарев пододвинул табуретку и сел. Напротив него на железной кровати прямо и не шевелясь сидел известковый старик, облаченный в черную пиджачную пару. Некоторое время он смотрел на сына ничего не выражающим взглядом, а затем медленно повернул лысую голову к жене.

«Та-ак, — сказал Анатолий Самсонович, — здорово, батя... — Он обвел сидящих сумрачным взглядом. — Значит, так и будем сидеть, ждать у моря погоды. Почему свет не зажигаете?»

Он привстал, чтобы повернуть выключатель, но мать решительно запротестовала. Бахтарев вздохнул, заскрипел табуреткой. Сжав кулак, принялся пересчитывать костяшки. Их было шесть, и, следовательно, пальцев было шесть. В ужасе он разжал кулак. На руке было пять пальцев. Он потер лоб.

«Ай!» — вскрикнула женщина.

«Что такое?»

«Крыса! Сама видела».

Бахтарев схватил палку, висевшую на спинке кровати.

«Какая крыса, — пробормотал он, поглядывая по сторонам, — надо бы кошку принести... — Слово это слабым эхом отозвалось где-то в закоулке его памяти. — Чего вы боитесь? Никто сюда не зайдет, про эту комнату вообще никто не знает. Да если б даже и зашел? Документы у вас есть».



«Пачпорт сам знаешь какой».

«Какой-никакой, у других и такого нет... Ничего себе штучка. Антиквариат! — Он вертел в руках палку. — Ну-ка, батя, пройдишь».

«Повесь, где висела, не игрушка...»

«Что же мне с вами делать. Может, не заходить к вам вовсе? Вы тут сами по себе, я сам по себе».

«Сынок, — сказала мать. — Уж ты потерпи. Нам бы только отсидеться маленько. А там, может, и домой проберемся. Говорят, теперь можно».

«Да мне что, — возразил Бахтарев, — живите сколько хотите. Только, маманя, что я хочу сказать. Про деревню свою забудьте. Не было никакой деревни, ясно? Вы приехали ко мне в гости. Из Свердловска».

Снова наступила тишина, и стала внятной тайная жизнь вещей, треск обоев, шорох огня, бег ходиков на стене. Старик сидел не двигаясь, жена разглаживала юбку на коленях.

«Радио провести вам, что ли...»

«Ох. Лучше бы не надо».

Старик перевел глаза на Толю, губы его зашевелились, как если бы гипсовая статуя собиралась с мыслями.

«Ты! — сказал он. — Ты не балуй!»

«И верно, сынок. Упаси Бог, заметят».

«Да кто заметит-то?»

«Говорят, теперь через радио все подслушивают».

«Кто говорит?»

«Люди сказывали... Нас поумнее».

«Та-ак. Тут, я вижу, без пол-литра не разберешься».

«Чего?»

«Да, говорю, без пол-литра не разберешься».

«Вот. Оно самое», — сказал старик.

«А это, между прочим, мысль», — сказал Бахтарев, встал и выглянул из шкафа в коридорчик. Здесь было теплей, чем в каморке родителей. Он окликнул бабуся. Немного спустя беззубый голос спросил: «Чего тебе?»

«Ты спишь?»

Бессмысленный вопрос: она никогда не спала — хотя, строго говоря, и не бодрствовала. Выбравшись из своего убежища, она прошаркала мимо Толи по коридору и вернулась, неся стакан и графинчик.

«Меньше не могла? — сказал иронически Анатолий Самсонович. — Еще два стакана неси».

«Да куды им?»

«Неси, говорю...»

«Ужли пить будут?» — спросила она, возвращаясь.

«Присоединяйся. Веселей будет».

«О-ох. Боюсь я этих мертвецов».

«Какие они мертвецы, ты что, рехнулась?»

«Обыкновенные. И мы там будем».

«Там, — сказал он наставительно. — А здесь другое дело. Ты капли принимаешь?»

«Принимаю... Да что толку?»

«Вот и я вижу».

«Принимай не принимай, а кого Бог прибрал, того уж не вернешь!» — сказала бабуся.

«Ладно, — сказал Бахтарев. Ему не хотелось возвращаться к спору, в котором обе стороны по-своему были правы. — Ты не беспокойся: живут и пусть живут. Никто не узнает».

«Да хоть бы и узнали, — сказала она презрительно, — чего с покойников-то возьмешь?.. Точно тебе говорю, — зашептала она, — померли оба, и не сомневайся... Сам посчитай. Сколько тебе было, когда ты ушел, семнадцать? На другую весну мать твоя как раз и померла».

«Ты мне скажи, — спросил он, — ты сама, своими глазами видела?»

«Чего видела?»

«Как ее хоронили. Сама, говорю, видела?»

«Ничего я не видела, — сказала она сердито. — Почта-то у нас, сам знаешь, как работает. Пока сообщат, пока что».

«Так. С вами не соскучишься. Похоронили, значит, а она теперь сама пожаловала. Без билета с того света».

«Кто ж его знает, может, и без билета».

«А отец?»

«Чего отец?»

«Он что, тоже?..»

«А пес его разберет... он тебе все равно неродной. Ты отца-то, чай, и не помнишь. И не надо его помнить, Бог с ним совсем... Отца твоего, бу-бу-бу-бу...»

«Да они не слышат».

«Бу-бу-бу...»

«Что? Говори нормальным голосом».

«Вот я и говорю, — сказала она. — И никто о нем с тех пор слыхом не слышал. И фамилии такой больше нет. Материна твоя фамилия».

«Принеси чего-нибудь закусить».

### 13. МАЛОВЕРОЯТНО, И ТЕМ НЕ МЕНЕЕ

Вот, думал он, стоя в шкафу, открою дверь, а там никого нет: ни живых, ни мертвых, пустая кровать и коптилка... Вот сейчас войду, а там и кровати нет. И всякий раз, сколько ни буду стучаться, будет что-нибудь исчезать, и в конце концов пропадет все, и дверь не откроется, потому что нет там никакой двери... Может, старуха права? — думал Бахтарев. Это была игра с реальностью, занятие, памятное каждому со времен детства: вот закрою глаза, а потом открою, и окажется, что ничего нет. На миг его охватило чувство недоверия к миру, странное для человека эпохи триумфа материалистического мировоззрения, — а может быть, как раз для этой эпохи и характерное. Если уж таким удивительным образом обнаружилась комната, которой не должно было быть, а затем появились люди, которые тоже вроде бы уже не существовали, то отчего бы не допустить, что и дальше здесь будут происходить необъяснимые вещи.

Мы не заметили, как мир контрастов и четких контуров уступил место миру вероятностей. В этом мире вещи погружены в зыбкую светотень, это уже не вещи, а явления. Сущности пожираются событиями, объекты не столько существуют, сколько обладают склонностью существовать; больше нельзя говорить о явлении, что оно есть или что его нет, должно или не должно быть, — приходится лишь констатировать, что оно более или менее невероятно.

«Вот, — провозгласил Анатолий Бахтарев, появляясь с питейными принадлежностями, — а сейчас мы организуем закуску...»

Мать сказала:

«Сынок... Отцу бы надо нужду справить».

«А тут вроде был...»

«Да она его унесла».

«Сейчас все организуем. Что я хотел сказать... Дело в том, что... — Он потер лоб. — В общем, жизнь так сложилась, что вы в одну сторону, я в другую... Что там у вас произошло, мне даже толком неизвестно... Но ведь ежели, скажем, всю твою родню ликвидировали как класс, если... не знаю, правда это или нет?..»

«Правда, сынок, все правда».

Он снова вышел в коридор.

«Бабуль!»

«Чего тебе?»

«Тящи горшок».

«Так вот... Если — бабка рассказывала — вас, папаня, обложили таким налогом, что его и выплатить невозможно, потом погнали всех на работы, расчищать железную дорогу... или что там... верно я говорю?»

«Верно, верно».

«...а когда вернулись, то оказалось, что все конфисковано, только и осталось что медный чайник да, может, вот эта фигня, — он показал на лампадку, — вот так, а тут как раз подоспело раскулачивание, и вроде бы ты подговорила кого-то — или батя, не знаю... поджечь избу, дескать, раз в ней не жить, так пушай и никому не достанется... Если все так и было, то что же мне теперь остается предположить? Бабка-то уверяет, что ты просто-напросто померла в тридцать первом году. Это как же считать?»

«Померла, сынок, и косточки зарыли. Все померли...»

«М-да. Может, так оно и лучше считать-то? Может, мы с вами существуем в двух разных временах. Не Бог вещь какая остроумная мысль, да ведь отечественная история на все способна. В моей жизни вас давно нет, а в вашей вы все еще существуете. Рассудку вопреки наперекор стихиям... Вот и папаня со мной согласен, — говорил весело Бахтарев, разливая водку. — Чего молчишь-то? Небось доволен, что на старости лет повидались? Ты, поди, и не знал, что у тебя пасынок в Москве».

«Это он на рюмку радуется», — сказала мать,

«Кабы не знал, — прохрипел старик, — то бы и не поехали».

«Ведь если вдуматься, то только так и можно объяснить нашу жизнь, — продолжал Бахтарев. — Вот индусы додумались до того, что душа переходит из одного существования в другое. А мы живем сразу, в двух существованиях. Причем обе жизни не сходятся до такой степени, что если, скажем, ты живешь в одной жизни, то уж в другой наверняка жить не можешь. Получается, что одна из этих жизней мнимая, вроде сна, а другая настоящая, — но какая именно? Вот в чем вопрос. Если считать, что революция и коллективизация, и вообще все это... Если считать, что это и есть настоящая жизнь, то тогда нас всех давно уже нет на свете, нам только снится, что мы живем, а на самом деле нас давно выбросили с нашими мешками, вытолкнули на ходу из вагона, и какие-то волосатые мужики из лесов поделили наше барахло, а нас самих закопали. А если, наоборот, считать, что мы живы, тогда что же?.. Тогда все остальное, и новая жизнь, и колхозы, — не что иное, как чудный сон. Ты как, батя, считаешь?»

«Сынок... Ты бы, что ль, сам принес».

«Успеется, — сказал старик. — И не то терпели».

Он сделал движение в сторону стола, но мать ловко шлепнула его по руке, и он застыл, медленно моргая пленками век. Она поднесла стаканчик к его рту.

«С Богом», — насупившись, промолвил Бахтарев. Старик вытянул губы и всосал в себя содержимое. Мать допила остаток и утерла губы. Оба смотрели перед собой остекленевшими глазами, как на фотографии. Минуту спустя в дверь поскреблись. Старики сидели неподвижно, оттого ли, что страх сковал их, или в самом деле превратившись в собственное изображение.

Снова кто-то еле слышно подергал за ручку. Бахтарев встал, это была бабуся с горшком, объяснявшаяся знаками. Он закусил губу. Все дальнейшее напоминало стремительную смену декораций. Бабуся заметалась по коридору. Щелкнул выключатель, и сцена погрузилась во тьму. Важно кивнув потусторонним жителям, Бахтарев неслышно прикрыл за собой дверь и выбрался из шкафа.

В минуту опасности герой нашего рассказа, шествующий навстречу врагу, являет собой чудесное смешение мужицкой хитрости с истинно городской nonchalance<sup>1</sup> и обаянием люмпена. Сладко зевая, натягивая через голову свитер, Анатолий Самсонович вышел в гостиную.

## 14. НЕЧТО ИЗ ОБЛАСТИ ФУТУРОЛОГИИ И ЭКОЛОГИИ

«Судьбу!»

«Судьбу!»

Словно рог герольда, из подворотни доносится зычный голос. Из переулка во двор, оглядывая этажи натренированным оком, идет вдохновенный кудесник.

«Предсказываю судьбу. Имею рекомендации от знаменитых ясновидящих. Выдаю письменное заключение с гарантией. Кто желает узнать, что его ожидает? Что было, что будет, что скрыто в тумане времен. Не все сразу, по очереди!» — говорит прорицатель, точно в самом деле осаждаемый толпой. И вот уже кто-то, шмыгая носом, приблизился к старому неряшливому человеку, стоящему посреди двора с лотком и носатой птицей. Кто сейчас помнит эту птицу? — или лучше сказать: кто из нас ее не помнит?..

«Матильда, — сказал продавец будущего, — помоги молодому человеку узнать то, чего никакая наука не знает. Но только всю правду, Матильда. Всю правду!»

Лиловый старческий глаз вещей птицы затянулся белой пленкой. Матильда повела носом, клюнула, но не попала, клюнула снова.

---

<sup>1</sup> беспечностью (*фр.*).

«Не здесь, — закричал продавец, — дома прочтешь! Наедине со своей судьбой. Что было, что будет... Предсказываю судьбу, удачу в любви, утешение в старости!»

Внимательный наблюдатель мог заметить, что вариантов того, что нас ожидало, было не так уж много. В лотке лежало полтора десятка билетов. Будущее, как и прошлое, не отличалось разнообразием, и к чести прорицателя нужно сказать, что лучшая часть его прогнозов сбылась. Во всяком случае, процент попаданий был не меньше, чем у основоположников научного коммунизма, занимавшихся, как известно, аналогичным ремеслом. Продавец будущего не знал, что его скромный промысел достиг высот, на которых царило самое передовое учение. Правда, кое-что он не предвидел: например, того, что случилось очень скоро; что на крышах завоюют сирены, люди с детьми на руках побегут к подземельям метро и весь дом превратится в гору щебня. Но этого не в силах было предсказать и великое учение.

То было время высокой уличной конъюнктуры и процветающей коммерции. Следом за прорицателем появился продавец чистого воздуха, вкатил во двор свою тачечку, и толпа детей обступила его, как хор — солиста.

«Здоровье прежде всего, — запел он высоким тенором, — в здоровом теле здоровый дух, как сказал бессмертный Аристотель. Свежий, свежайший воздух! Озон из сосновых лесов!»

Толпа растушилась. Девочка в коротком расстегнутом пальто, ручки в карманах, приблизилась к батарее бутылей и пузырьков, заткнутых бумагой. Продавец широким жестом предлагал товар, цитировал Аристотеля.

Она протянула руку к самой большой бутылке.

«Здесь три литра, хватит ли у тебя денег?» — спросил продавец воздуха.

Девочка вытащила бумажную пробку и принялась.

«Что ты делаешь? Выпустишь воздух!»

«Не бзди, заплачú, — проговорила она надменно, — что-то воздух у тебя несвежий...»

«Самый чистый и здоровый воздух, — сказал продавец. — Озон».

Она вручила ему трешку, происхождение которой читателю уже известно.

«Получай. Дыши на здоровье», — сказал он торжественно.

«Сдачу».

«Какую сдачу?»

«Как какую? С трех рублей».

«С каких это трех рублей? — удивился продавец. — Я что-то не помню. Вот свидетели. Товар продан. Свежий воздух, — кричал он, задрал голову, — из сосновых и лиственных лесов!»

«Ах ты, сволочь, — сказала девочка. — Гад! Спекулянт паршивый. У, спекулянт! Сейчас милицию позову».

«Все будьте свидетелями, — сказал продавец воздуха. — Между прочим, я вообще не уверен, расплатилась ли она со мной... Мало того что не заплатили! Меня же еще и оскорбляют».

Девочка уставилась на него косящими черными глазами, ноздри ее раздувались. Но общественное мнение было не на ее стороне. Продавец воздуха был уважаемой личностью. Бутылки брякали в его повозке, он спешил к воротам.

«Руки неохота марать об тебя, говнюка», — пробормотала она.

## **15. ВЕРА НЕ ТРЕБУЕТ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ, СКОРЕЙ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА НУЖДАЮТСЯ В ВЕРЕ**

В подвале дома размещалась котельная, так по крайней мере она обозначена на плане. Но планы и действительность не одно и то же. В подвале обретался некий жилец, личность весьма неординарная, чтобы не сказать загадочная.

Время от времени он пропадал (и однажды пропал навсегда), то есть не то чтобы уходил или уезжал в командировку, но исчезал в буквальном смысле слова: согласно его собственному разъяснению, удалялся беседовать с Богом. В некоторых преданиях рассказывается о людях, которые время от времени восходят на небо, может быть, то же происходило и с ним. Кто-то сказал девочке, что старик в больнице. Она разыскала эту больницу, не отличимую, как почти все больницы в нашем городе, от богадельни, проникла в мужское отделение и обошла все палаты. Тяжкий запах мочи встретил ее еще на лестнице, так что ее приношение пришлось бы весьма кстати. Ей сказали, что деда увезли в перевязочную. Она брела по коридору, держа под мышкой завернутую в газету бутылку с сосновым воздухом, дежурная сестра бежала за ней, крича, как все и всегда ей кричали: ты кто? тебе что тут надо? Девочка храбро дернула белую застекленную дверь, и ей чуть не стало дурно от того, что она там увидела, но это был не дед.

Спустя несколько дней он объявился. Подвал находился под лестницей; по узким выщербленным ступенькам она сошла вниз, беззвучно прикрыла за собой дверь с надписью «Вход в котельную. Посторонним вход воспрещен»; на ней еще можно было различить дореволюционные твердые знаки. Пробираясь во тьме, девочка открывала

и закрывала глаза: это было все равно что включать и выключать перегоревшую лампочку — так, играя сама с собой, она продвигалась вперед с протянутой рукой, пока не наткнулась на другую дверь, нащарила справа косо прибитый к косяку предмет и поднесла пальцы к губам, как учил дед.

И это тоже было игрой; другими словами, и здесь веру заменяла конвенция. Не в том дело, что в амулете таилась чудесная сила, охраняющая порог, а в том, что нужно было вести себя так, словно этот факт не подлежит сомнению. Ошибка думать, что такого рода конвенции составляют привилегию детства: в мире, где жила девочка, взрослые продолжали играть, одни в религию, другие в государственный патриотизм, и не слишком задумывались о том, существует ли Бог на самом деле и действительно ли им выпало жить в стране, счастливей которой нет и не было во всем свете. Однако ритуал способен индуцировать веру, что и отличало взрослых от детей. Возможно, именно в этом состоял секрет эпохи. Рассказывают, что к одному знаменитому математику пришел гость и, увидев над дверью подкову, спросил: неужели он верит во всю эту чепуху? На что ученый ответил: «Разумеется, нет. Но говорят, подкова приносит счастье и тому, кто в нее не верит».

Итак, она прикоснулась к мезузе, поцеловала пальцы, вошла в комнату под низким потолком, некогда служившую жилищем истопника, и дед, сидевший над книгами, повернул к ней седые кудри.

## 16. ХОЖДЕНИЕ ВОКРУГ ДА ОКОЛО

Он объяснил, что беседовал с Богом.

Она спросила: где?

«Что значит — где?»

«Где ты беседовал, гад?» — крикнула девочка.

Дед сказал, что такие вопросы в данном случае неуместны. С Богом невозможно встретиться, как встречаются под часами.

«Где ты был?» — настаивала она. Дед воззрился на нее зелеными выцветшими глазами — лучше сказать, смотрел сквозь нее, словно увидел сзади кого-то: может быть, вошедшего ангела. Она обернулась. Дверь была закрыта.

«Ты что, оглох?»

Старик придуривался, изображая слабоумного, и вся ее власть, основанная на праве нарушать законы и правила, здесь теряла силу. Ибо он умудрялся игнорировать не только эти правила, но и законы природы.



«Возможно, что ты права. Возможно, что я оглох, — сказал он наконец. — Но не в этом дело. Я просто думаю, как ответить на твой вопрос. В определенном смысле... э-э... нигде!»

«Врешь, ты был в больнице».

«Я этого не отрицаю. Хотя и не подтверждаю».

«У-у, гад, — пробормотала она. — Как дам...»

«Пожалуйста, не пугай меня, — сказал дед, — тем более, что я не боюсь... Ты что, там была?» — спросил он подозрительно.

«Вот еще, буду я за тобой бегать».

«Сейчас будет чай. Ты ведь хочешь чаю?.. Как мама поживает, что у нее нового?»

Девочка расхаживала по комнате, помахивая полами пальто.

«Ты бы могла уделять ей больше внимания. Перестань свистеть... Ты должна уделять ей больше внимания, потому что у тебя больше никого нет».

«Только поэтому? — сказала она презрительно. — А ты?»

Скрестив ноги, она стояла посреди комнаты с единственным, никогда не открывавшимся окошком под потолком.

«О-хо-хо, — вздохнул дед, — неважная собственность!» Выбравшись из кресла, он зашаркал в угол, где на побеленном приступке стояли кастрюли и керосинка; когда-то это была плита. Девочка смотрела ему в спину, на разошедшуюся по шву жилетку, высоко подтянутые мешкообразные штаны и ермолку ученого, из-под которой висели его кудри.

«Дед, у меня к тебе дело...»

«Прекрасно, что ты пришла. Вот мы и поговорим...»

«Да не хочу я твоего чая».

Ей было ясно, что он хочет увилинуть от серьезного разговора.

Он продолжал:

«Как тебе хорошо должно быть известно, я не могу встречаться с твоей матерью, и ей это тоже известно. Конечно, она могла бы поинтересоваться, жив ли я... Но мы должны вести себя, словно мы чужие люди, и это привело к тому, что мы в самом деле стали чужими людьми».

«Чего ж ты тогда спрашиваешь?» — буркнула она.

«Я спрашиваю, потому что мне это небезразлично и потому что это твоя мать. Но я не хотел бы дальше вести разговор на эту тему».

«Это почему?» — спросила девочка и поперхнулась горячим чаем. Он потянулся к ее чашке и налил ей в блюдечко.

«По причине твоего возраста, — объяснил он, — вот когда вырастешь, поймешь, почему я не могу обсуждать с тобой эти вопросы».

«Он враг народа. Сволочь».

«Будем считать, что так. Будем пить чай, будем сквернословить, будем вести себя как нам вздумается...»

«Дед. Я намерена с тобой поговорить».

«Поговорить, пожалуйста... Со мной можно говорить о чем угодно. Потому что меня все равно что нет, меня не существует, чему я, кстати сказать, весьма рад! Хотя в то же время я еще здесь. А вот он... — сказал он, закрывая глаза, — вот его в самом деле больше нет, но для людей, я хочу сказать — для злых людей, он существует. Он существует для того, чтобы люди могли причинить зло тебе и твоей матери».

«Он хотел нас продать».

«Кого это — нас?»

«Всех. Нашу страну».

«Этого я не знаю. Чтобы продать какую-нибудь вещь, надо быть прежде всего ее хозяином».

Молчали, пили чай.

«Я не знало, что он такого сделал, — сказал дед. — Я его отец и не отрекаюсь от него, но я не могу сказать, что он сделал, хотя думаю, что ничего не сделал. Ты должна знать, что людей, э-э... изымают не потому, что они что-то делают, хотя это тоже имеет место, а по государственным соображениям. А государственные соображения обсуждать не полагается. Следовательно, не подлежит обсуждению и вопрос, что сделал твой отец».

Рассуждение успокоило его, чаепитие было закончено. Дед сидел в кресле с подлокотниками и высокой резной спинкой, которую венчала царственная птица, точнее, то, что некогда было птицей: деревянные крылья с остатками позолоты и лапы, вцепившиеся в бордюр. Убаюканный собственным голосом, он покоился под сенью этих крыльев, закрыв глаза, и внезапно девочку объял ужас — дед казался мертвым.

Ее гипнотический взгляд сделал свое дело: старик кашлянул, пожевал губами.

Она спросила:

«Это тебе твой Бог сказал?»

«Что значит — мой? — произнес он, не открывая глаз. — Он не только мой, но и твой».

«На кой он мне...»

«Что значит на кой? Он существует независимо от того, веришь ты в него или нет. Кроме того, он мог бы то же самое сказать о тебе: что он *в тебя* не верит. И значит, тебя нет! Важно не то, верим ли мы в Бога, важно то, верит ли он в нас. Так вот, он в тебя верит».

«Дед, — сказала она в отчаянии, — я к тебе по делу пришла!»

Он молчал, с аппетитом пережевывал что-то вкусное, он был слабоумен, а может быть, всеведущ. Точнее, он был и то, и другое. Следовало бы применить власть. Но силы изменили девочке, она стояла посреди комнаты, потрясенная тем, что собиралась сказать. Она прошла по комнате. Дед сидел, скрытый спинкой кресла, коричневая рука лежала на подлокотнике, как лапа орла, у которого не осталось ни тела, ни головы; он готовился разговаривать с Богом, с этим Ничто, каким станет и всякий, кто к нему приблизится. «Дед, а дед...» — проговорила она. Он сделал рукой неопределенный жест. Птица слабо взмахнула когтистой лапой, и это был весь ответ.

«Кхм!.. Что случилось?»

«Я сейчас открою тебе страшную тайну. Дед... я влюблена!»

«Это бывает. Не рано ли?»

Она подбежала к креслу.

«А это не твое собачье дело, старая перечница!»

«Насколько мне известно, — сказал он, — это выражение обычно употребляют по отношению к женщинам. Если не мое дело, то для чего весь этот разговор? Может быть, мы... — прохрипел он, хватаясь за подлокотники, — выпьем чайку?..»

«Мы уже пили!»

«Ты расскажешь мне по порядку, что случилось. — Он встал. — В твоем возрасте обычно...»

«Дурак. Обычно, обычно...» — сказала она, наклонившись над креслом, так что пламя осветило ее щеки, и дунула изо всех сил. Маслянистая вонь пронеслась в воздухе. Девочка плыла по комнате, раскачиваясь, раскинув руки, полузакрыв глаза. Кожа да кости, подумал он. «На-ля-ля...» Вирсавия на пороге юности. Царица Савская!

Он опустился в кресло. Пение прекратилось.

«Дед, поколдуй», — донесся ее голос.

Он не отзывался.

«Я хочу, чтобы он воспылал ко мне безумной любовью... Ты почему молчишь, старая кочерга? На-ля-ля-ляля-ляля. *Взмыл орлом от гор высоких. Сизокрылый ве-е-ли-и-кан!*<sup>1</sup> Дед, как ты думаешь: если любят, то обязательно надо жить?»

«Надо умереть».

«Я не об этом...»

«Что ты называешь жизнью?»

«Я решила покончить жизнь самоубийством».

«Самоубийством, с какой стати?»

«Чтобы он понял».

---

<sup>1</sup> Сталин.

Старик смотрел в темнеющее пространство светящимися водянисто-зелеными глазами, и рука его, точно рука слепца, искала девочку.

«У тебя слишком короткие волосы, — проговорил он, — если ты хочешь, чтобы на тебя обратили внимание, ты должна отрастить волосы... Вся сила женщины в волосах».

«А я, может, не хочу быть женщиной».

«Да, но это случится».

Несколько минут спустя он уже спал, громко храпел на своем троне под обезглавленным археоптериксом, уста его раскрылись, голова в ермолке свесилась на грудь. Девочка ловко вставила ему в рот трубку. Дед схватил чубук беззубыми челюстями. Нахмурившись, она чиркнула спичкой, старец выпустил облако дыма, окончательно пробудился и страшно, сотрясаясь всем телом, раскашлялся.

«И кем же... — хрипел он. — Кем же ты хочешь быть? Как же ты хочешь, чтобы тебя полюбили?»

«Балда, — сказала она веско. — Я пошутила, а он поверил».

## 17. ОБЛАВА

Управдом сказал:

«Вы уж нас извините. Все мы люди занятые, вот и получается, что приходишь не вовремя... Вы, стало быть, в ночную смену работаете?»

«Тружусь, — зевал Бахтарев. — Можно сказать, в поте лица».

«А где, позвольте полюбопытствовать?»

«Да тут... в одном ЦКБ».

«По инженерной части, что ль?»

«В этом роде».

«Ясненько. Что ж, там и по ночам работают?»

«Именно, — пояснил Бахтарев. — Номерной завод».

«Ага. Ну-ну... А я смотрю, диван у вас прибран».

«Да я там прикорнул».

«Где же это там?»

«В ее комнате, — сказал Бахтарев. — Только что же это мы стоим. Бабуль! Ты бы нам что-нибудь сообразила».

«Не стоит, мы ненадолго», — возразил управдом.

«Мы постоим», — сказал милиционер басом.

«Так вот... извините, позабыл, как вас по батюшке. Анатолий...?»

«Соломонович».

«Это как понимать? По документам вроде бы...»

«Мало ли что по документам».

Управдом отстегнул клапан изношенного, как многорожавшее чрево, портфеля и выложил на стол папку.

«Так, — сказал он. — У нас сегодня вроде не праздник, ты как считаешь, Петр Иванович?»

«Не праздник», — сказал милиционер.

«И я так думаю. Вот когда будет праздник, будем шутить, анекдоты будем рассказывать. А сейчас смеяться не время. Нам, уважаемый, смеяться не о чем. Вот тут на вас... разрешите, я уж сяду, да и товарищ участковый устал стоять. Садись, Петр Иванович, в ногах правды нет».

«Мы постоим», — сказал Петр Иванович.

«Тут на вас сигнал поступил...»

«Какой сигнал?»

«Обыкновенный... Пускаете к себе непрописанных граждан».

«Разрешите взглянуть?» — спросил Бахтарев, укрепляя на носу пенсне.

«Потом, успеется», — сказал управдом, кладя руки на папку.

Бахтарев устремил вопросительный взгляд на бабуся.

«Каких таких граждан, мы никаких граждан не пуцаем. Если может, кто зашел али гости...»

«Гости гостями, — прервал ее управдом, — а вот кто у вас в комнате живет?»

«В комнате живет она, а я живу здесь».

«О том, где вы живете и как вы живете, мы знаем... А вот что касается жильцов, чудес на свете не бывает: уж коли люди живут, значит, и площадь нашлась. Ну что ж, — вздохнул управдом. — Пошли, Петр Иванович, поглядим».

«Товарищ управдом...» — произнес Бахтарев, обратив на него глумливый взгляд.

«Гусь свинье не товарищ», — отвечал управдом. Он опустил папку в портфель и щелкнул замком.

«Признаться, мне трудно следить за вашей мыслью... Я не знаю, о чем пишет неизвестный мне автор документа, который вы называете сигналом. Но кто же может быть лучше осведомлен о положении в квартире, чем сам хозяин? Сами посудите, — говорил Бахтарев, идя следом за управдомом, — когда встал вопрос о проживании на моей площади тети, я не медлил ни одного дня с оформлением прописки, своевременно поставив в известность лично вас. Так что вы могли убедиться, что жилищное законодательство мне известно, а следовательно...»

«Известно-то известно. Нам тоже кое-что известно. Показывай, чего там...»

«Может быть, — предположил Бахтарев, — они под диваном?»

«Кто под диваном?»

«Непрописанные граждане».

«В другой раз, — терпеливо сказал управдом. — В другой раз будем шутить, анекдоты рассказывать. — Щелкнул выключатель, но свет не зажегся. — У вас что, нет лампочки?»

«Должно, перегорела», — пролепетала бабуся.

«Откройте дверь из другой комнаты».

«Из которой?»

«Ага, значит, есть еще одна комната!»

«Какая такая комната?»

«А вот мы сейчас увидим. Вот мы сейчас и пошутим, и посмеемся».

«Вывернута», — сказал милиционер, стоя на чем-то. Вспыхнул свет, в ту же минуту высокая и нескладная фигура Петра Ивановича с грохотом обрушилась на пол.

«Ах ты, рódный, да как же ты...»

«Это я у тебя должен спросить, — сказал в сердцах Петр Иванович, расшвыривая сапогом обломки, — как, как... Чего ты мне дала! Сначала лампочку выворачивают, потом рухлядь какую-то подсовывают... Давай, — сказал он управдому, — где тут у них комната? Составляй акт, и кончаем это дело».

«Старшина прав. Давайте составлять акт».

«Акт?» — спросил управдом.

«Акт о проверке квартиры, как видите, тут никого нет».

«А ты не спеши, — проворковал управдом, — всему свой черед, будет и акт... ну-ка, будьте так добреньки, откройте гардероб».

«Баба, где тут у нас ключи от шкафа?»

«Чаво?»

«Никаких ключей не требуется, — сказал управдом, берясь за створки, — как же это вы так в собственном гардеробе не разбираетесь? Так... платья, верхняя одежда. А это что?»

«Pardon, не вижу».

«Зато я вижу!»

«Если вы намерены производить в квартире обыск, то на это должны быть законные основания. Должен быть соответствующий документ».

«Будет тебе и документ, и основание, все будет... — голос управдома доносился из шкафа. — Вот! Это что?»

Все столпились, загородив свет.

«Задняя стенка, — сказал управдом. — Где задняя стенка? Нет задней стенки. Петр Иванович, полюбуйся. Ну-ка. Отодвинуть».

«Позвольте, как это?..»

«Отодвинуть шкаф!» — рявкнул управдом.

Когда огромный шатающийся шкаф был повернут боком и перегородил коридор, так что Толя с бабусей оказались с одной стороны, а начальство с другой, в столовой раздался медленный звон, и оставалось только ломать голову, каким образом часы могут бить, если они не ходят. Все невольно прислушались. Бронзовые листья с мертвых дерев один за другим падали в воду.

Управдом, сидя на корточках, изучал плитус. Станным образом поиски таинственной двери ни к чему не привели. Словно вещам надоело валять дурака, и все вернулось на свои места: стена была как стена, плитус как плитус. Анатолий Самсонович с достоинством снял и вновь водрузил на переносицу пенсне. Милиционер молча курил, щуря глаз. «Ну вот что, — молвил он наконец. — Советую отремонтировать мебель. Вставить заднюю стенку, опять же это, — он покосился на обломки, — привести в порядок. Все-таки антиквариат... Счастливо оставаться». На управдома он не смотрел.

## 18. ВАРИАЦИИ НА ДАЛЬНЕВОСТОЧНУЮ ТЕМУ

Обе челюсти бабуся лежали на табуретке, сама она покоилась на железной кровати и пережевывала беззубым ртом необыкновенные впечатления этого дня. Явление управдома повергло ее в панический страх. Каково же было тем двоим, когда они услышали голоса и топанье милицейских сапог.

Думая об этом, она спохватилась, что как же они могут испугаться, если их, можно сказать, не существует. Эта простая мысль успокоила ее. Наш душевный комфорт восстанавливается, коль скоро нам удастся убедить себя, что абсурд мира есть всего лишь aberrация нашего зрения. Легче допустить непорядок в собственной голове, чем ошибку в конструкции мира; так и бабуся утешала себя ссылкой на собственную забывчивость.

Она не спала, но и не бодрствовала. Состояние, в которое она погрузилась, нельзя было назвать возвращением в прошлое, еще меньше годилось бы для него модное слово медитация. Скорее грезы наяву. Другими словами, она как бы являла собой, и притом в самой непосредственной форме, давнюю философскую контроверзу: что нужно считать действительностью, наше бодрствование или нашу жизнь во сне?

Тем не менее у бабуся было серьезное преимущество перед ханьским мыслителем, которому снилось, что он стал махаоном, после чего, проснувшись, он спросил себя: не снится ли махаону, что он чело-

век? Размышляя о том же, другой мудрец, живший в Пор-Рояле, записал в своих тетрадках поразившую его догадку: если бы сапожнику снилось, что он король, он был бы не менее счастлив, чем король, которому снится, что он сапожник; если бы каждую ночь мы видели одно и то же, реальности сна была бы для нас не менее очевидной, чем реальность дневной жизни. Что же в таком случае есть сон и что — бодрствование? Преимущество бабуся перед философами, притом что они были учеными людьми, а она простой женщиной, состояло в том, что ей не нужно было выбирать. Ибо она поднялась на более высокую ступень созерцания. Ей не надо было ломать голову, которая из двух реальностей подлинная: обе были несомненны и не только не исключали друг друга, но составляли одно. Как уже сказано, бабуся грезилась наяву — и, сама того не ведая, одержала победу над временем. Ничто так не обнажает нашу беспомощность перед временем, как пробуждение. Во сне мы преодолеваем время, но, проснувшись, видим, что победа была мнимой. Время кажется необходимым условием бытия, однако сон убеждает нас, что можно жить вне времени. Сон показывает, чем была бы наша жизнь вне времени; во всяком случае, она была бы не менее полной, не менее богатой впечатлениями, не менее насыщенной чувствами. Тем ужасней сознание порабощенности временем, когда мы просыпаемся. И напрашивается простая мысль: если время и временность — атрибут бытия, то с таким же правом их можно считать и принадлежностью небытия. Иначе говоря, жизнь во времени еще не доказывает, что мы живем на самом деле. Нам кажется, что мы двинулись в путь, а на самом деле вагон отцеплен. Время есть нечто возникшее из ничего, чтобы, не успев стать чем-то, вновь уйти в ничто. Бабуся бодрствовала, не просыпаясь, — иначе не скажешь. Она жила посреди своей долгой жизни, где всё, прошлое и настоящее, было при ней, всё слилось в одно неподвижное время, больше похожее на вечность. Такова привилегия старости. Умолкни, Паскаль; философы, снимите шапки.

Так что не требовалось особых усилий, чтобы связать концы с концами и примириться с посмертным существованием сестры и старика. Мысль о том, что покойники могут возвращаться, особенно по нынешним временам, когда и похоронить-то толком не дадут, не казалась бабуся несообразной. Она услышала стук в окно. Встала, взяла у почтальона, засыпанного снегом старика, сложенную вчетверо телеграмму, но он все еще стоял у ворот с сумой и палкой, это был не почтальон, а нищий. Она вынесла ему какие-то куски, он тут же начал жевать. Бабуся развернула бумажку, мокрую от снега, буквы расплылись; через открытую дверь доносились скрип валенок удалявшегося вестника и голоса в большой комнате. Она совсем уже очнулась и понесла



телеграмму племяннику в доказательство того, что Надежда, мать Толя, умерла, но, войдя, увидела, что управдом не ушёл, а сидит за столом, прислонив портфель к ножке стула; этот портфель был точная копия сумки почтальона. Толя сидел напротив. Он взглянул мельком на бабуся, и она поняла, что ей не надо торчать здесь: разговор шел негромкий, доверительный. Она поплелась на кухню, забыв про телеграмму, да и не было никакой телеграммы.

«Ты мне шарики не крути, — говорил тем временем управдом, — думаешь, я ничего не понимаю? Мне все известно... А что мне еще оставалось делать? Поступил сигнал, надо реагировать. Не реагировать нельзя. Писарей этих знаешь сколько развелось? Вот и лазаешь по лестницам, вместо того чтобы делом заниматься, крышу, понимаешь, ремонтировать, к отопительному сезону готовиться. Опять же котельную привести в порядок давно пора, каждый год одно и то же: завезут уголь, куда я его дену?.. Нет, бросай все, иди проверяй; как же, сигнал поступил!»

Управдом умолк, погрузившись в думу.

«Другой бы на моем месте... — проговорил он. — Чего церемониться? Вскрыл комнату, акт о проживании без прописки, двадцать четыре часа! И поминай как звали. Ты мне спасибо скажи, старому дураку, что я тебя от неприятности оберег».

Он встал прикрыть дверь на кухню.

«Да она свой человек», — сказал Бахтарев.

«Свои-то и пишут... Давай с тобой так договоримся. Есть помещение, нет помещения, я об этом ничего не знаю. Я произвел проверку, в присутствии участкового, посторонних лиц не обнаружено — так и запишем. Но и ты! — Он затряс пальцем. — Веди себя как положено!»

«Это как понимать?»

«А вот так. Как надо, так и понимай. Я, как бы это сказать, тебе не чужой. Ясно?»

«Нет. Неясно».

«Неясно; ну что ж. Так и запишем».

«А что я такого сделал?»

«Вот, — сказал управдом, показывая на Толю пальцем. — Вот теперь ты меня понял. Ах ты, мать твою ети!.. Что сделал. Да ничего ты не сделал! А пора бы уж и сделать. Пора отвечать за свои поступки».

«Бабуся!» — позвал Бахтарев.

«Какая там еще бабуся, не надо нам никакой бабуси... У нас разговор конфиденциальный».

«Ты бы нам сообразила».

Управдом покосился на привидение, высунувшееся из кухни; дверь быстро закрылась.

«Артист, ох, артист, — сказал он. — Со смены пришел, всю ночь трудился... С бабами в постели трудиться, это ты мастер! Ты мне прямо ответь: ты на какие средства живешь? Ты чей хлеб ешь, а?.. Ты мой хлеб ешь, на мои деньги существуешь!» — с грозным вдохновением заключил управдом.

## **19. ПРОДОЛЖЕНИЕ.**

### **МЫСЛИ БАБУСИ О РАЗНЫХ ПРЕДМЕТАХ**

Старуха снова думала о том, что если уж сам Семен Кузьмич подтверждает, что каморка за стеной есть, значит, так тому и быть; а ежели ничего не нашли, значит, Бог помогает. Затем мысли ее отвлеклись. В памяти всплыло, как стучали в окно; это было утром, и окошко, до половины засыпанное снегом, смутно белело в темной избе. Она обвела глазами кухню, где она сидела на табуретке, накрытая платком, сложив на коленях руки, похожие на птичьи лапы. Полка с кружавчиками, плита и раковина медленно плыли перед ее взором. Из чайника рвалась струя пара. Мысль, что за окошком зима, и снег засыпал поленницу, и в дымной белизне вдаль едва виднеется сизая кромка леса, наполнила ее душу покоем, и чувство любви к деревне охватило ее с необычайной силой. Она сидела и думала, до чего хорошо, тихо, вольготно жить на воле. Ее дом с заколоченными окнами, без сомнения, стоял и теперь, куда ж ему деться: крепкий дом, хватит надолго; в эту минуту ей даже было непонятно, зачем она его бросила. Когда-нибудь, размышляла бабуся, развеется наваждение, Толе надоест жить в городе, и он вернется домой. И меня с собой возьмет. И все будет по-старому.

С великой неохотой поднявшись, она пошла отворять забухшую дверь, вышла в сени, кутаясь в платок. На крыльце стоял все тот же, белый как лунь почтальон. «Стара стала, мать, — сказал он, — чайник кипит, а ты и не слышишь». — «Да уж не старше тебя, — отвечала она, снимая чайник с керосинки. — Тебе небось за восемьдесят?» — «Кто ж его знает, я не считал; чего считать-то. Живу, и ладно». — «И то», — кивнула она и пошла в комнату.

Она заварила чай, достала из поставца парадную посуду, захватила еще кое-что. Как все жильцы в доме, бабуся плохо представляла себе истинные размеры власти управдома, во всяком случае, эта власть была велика, и зыбкость ее границ лишь прибавляла ей престижа. Но и Толя Бахтарев, как ни странно, являл собой некую силу, иначе управдом не сидел бы тут и не распивал с ним чай. Это была власть

мужской прелести и свободы, недостижимая ни для какого начальства. Почти инстинктивно, с той прирожденной трезвостью, которая не только не мешала, но помогла ей жить между мертвыми и живыми, она поняла, что против этой власти управдом бессилён. Что он явился не для того, чтобы найти проживающих без прописки, а для того, чтобы их не найти. И в то время как чашки наполнялись чаем, ее старое сердце наполнялось злорадством.

«Коньячку?» — сказал Бахтарев, когда старуха, шлепая тапочками, удалилась к себе.

«Давай». Выпили, хозяин налил следующую рюмку, а Семен Кузьмич принялся за обжигающий крепкий чай.

«Ты кого там прячешь, любовница у тебя, что ль, новая? То-то я смотрю, как вы спелись... и карга твоя ни гу-гу».

Толя ждал с рюмкой в руке.

«Тут как-то встретились во дворе, ну как, говорю, мамаша, довольна, что в Москве живешь? Довольна, довольна, уж так довольна! — передразнил управдом. — Не тесно, говорю, с новыми-то жильцами?.. Ладно, давай».

Выпили.

«Что ж молчишь-то? Как дальше жить будем?»

«Да никак, — отозвался Бахтарев. — Как жили, так и будем жить».

Управдом насупился, уперся в стол руками, словно осьминог, когда он заволакивается чернилами. Бахтарев проговорил, играя рюмкой:

«Какая там любовница... чепуха все это. Нет у меня никаких любовниц».

«А кто же там?»

«Нет там никого».

«Так-таки и никого, ай-яй-яй! Значит, так и запишем! Вот я сейчас зову милицию, да не эту дубину стоеросовую, а самого, понимаешь, Ефимчука. Зову понятых. И идем глядеть, кого ты там прячешь. И дуреху мою с собой прихватим, пуцай любитесь...»

«Не в том дело. Комната действительно есть...»

«Ага! А я что говорил? Ты думаешь, я пятнадцать лет тут сижу и своего дома не знаю?»

«В сущности, ее трудно даже назвать комнатой: так, щель какая-то; может, кладовка. Видите ли, Семен Кузьмич, как бы это объяснить...» — неуверенно промолвил Бахтарев, который испытывал легкое головокружение, очевидно, вследствие недостаточно выпитого.

«Ну, рожай, рожай!»

«Считать эту конуру площадью, я думаю, просто невозможно, стенка чуть ли не картонная... А что касается жильцов, то, если хотите, пойдём и посмотрим, хоть сейчас. Там нет никого. То есть я хочу сказать, что для вас никого нет. Для меня, может, и есть».

Управдом подпер рукой подбородок и глядел на Толю далеким затуманенным взором.

«Вот, вот, — проговорил он. — Что ты кому хочешь можешь голову задурить, это нам известно. Вот я и ей то же самое говорю... Ну что ты, говорю, к нему все ходишь? Что ты к нему липнешь?»

Еще опрокинули по одной.

«Кажется, мы нашли общую почву», — заметил Бахтарев.

«Какую еще почву?»

«Мы смотрим на вещи одинаково. Ваша оценка меня как возможного зятя абсолютно справедлива».

«На хер мне такой зять!» — сказал с чувством Семен Кузьмич.

«Вот именно... совершенно с вами согласен. Ни профессии, ни положения».

«Дурак, — диалектически отвечал управдом отрицанием на отрицание. — Плесни-ка мне... Профессия, — сказал он презрительно. — Нужна мне твоя профессия, я тебя и так кормлю, паразита... Думаешь, я не в курсе дела, что она тебе то то, то сё, то, понимаешь, галстук, то новые ботинки, то пожрать... Да если на то пошло, — он показал на бутылку, — то и это на моя деньги куплено. Откуда это у тебя такие шиши, чтобы пять звездочек распивать?»

Анатолий Самсонович помалкивал, поблескивал стеклышками пенсне.

«Я отец, — подумав, сказал Семен Кузьмич. — Я ее вынянчил, вырастил. Сам, один... Для кого я ее растил?.. Ты не смотри, что я с таким портфелишком бегаю. У меня тоже кой-что есть: средства, связи. Связи в наше время важнее всяких денег. Случись что-нибудь, у меня всюду свои люди. Я, если хочешь знать, коли на то пошло... Везет тебе, сукиному сыну! — проговорил он со злостью. — Какая девка, ты только посмотри на нее. Как она ходит... Какие глаза... А грудь... Русская красавица».

«Вот и женились бы сами», — усмехнулся Бахтарев.

Управдом туманно взглянул на него.

«А что, — сказал он. — И женился бы».

## 20. ВСЕ БЫВАЕТ, В ТОМ ЧИСЛЕ И ТО, ЧЕГО НЕ БЫВАЕТ

«Но я согласен, хрен с вами со всеми!» — вскричал Семен Кузьмич.

Слова эти донеслись до бабуся через плохо прикрытую дверь. Сколько же прошло с тех пор, как солнце повисло над кровлями страшного города, как явились те двое и Толя вышел из тайной каморки, как рухнул Петр Иванович? Ночь все не наступала. «Согла-

сен». Еще бы тебе не быть согласным. Она подложила ладонь под щеку. Мысли остановились, не бабуся следила за ними, но образы ее воображения устали на нее, как бодрствующий смотрит на спящего.

В гостинной продолжались дипломатические переговоры.

«Что с возу упало... ладно, что с вами поделаешь. Я, если хочешь знать, рад, что она хотя бы здесь, при мне... А что к тебе ходит, так это ее дело. К такому молодцу не то что пойдешь — поползешь... Я все знаю, что промеж вас есть, от меня никуда не скроешься», — говорил управдом, с трудом ворочая языком, как пловец, выгребаящий против течения, а может, подумалось Бахтареву, отчасти приотворился пьяным.

«Что с возу упало, — лепетал управдом, — то, значит, судьба!.. Но ты уж меня извини — женись. Женись и женись... Я вам и квартиру новую обеспечу, получше этой, и жильцов твоих, кто там у тебя есть, куда-нибудь приспособим... Родители, что ль, из деревни?.. Ай-яй», — он качал головой и махал ладонью.

«Это она вас уполномочила?»

«Чего?»

«Я говорю, это она уполномочила вас вести со мной переговоры?» — осведомился Бахтарев.

«Дурак, — сказал Семен Кузьмич. — Дурак ты и сволочь. Что ж я, по-твоему, женской гордости не понимаю?»

«Бабуль, ты куда?»

Старуха брела по комнате, в вязком времени, с усилием переставляя ноги, словно муха в клею.

«Что ты понимаешь? — продолжал Семен Кузьмич свою мысль. — Ведь она вся в мать. Смотрю на нее и думаю: нет, так не бывает. То есть бывает, но не так. Это просто необъяснимое явление природы, чтобы дочь была такой копией матери, все равно как воскресла. Ты как думаешь? Может человек из гроба воскреснуть?.. Слушай,ними ты эти стекляшки. Сними, а то я их сейчас сам на хер сшибу!»

«Я тебе что скажу, — зашептал он. — Мужчина, который такую дочь вырастил, каждый день на нее смотрел, как она день ото дня круглеет, хорошеет, как у нее, понимаешь, грудки начинают наливать, как она попойкой начинает покачивать, сперва совсем незаметно, и с каждым днем, с каждым днем все больше... такой мужчина ее любит так, как тебе и не снилось, как десять любовников любить не смогут. Каждый уголок в ней любит... А тут, понимаешь, приходят разные, ничего для нее не сделали, никаких таких заслуг... только что молодой, и готово дело, отдавай ему дочку».

Экое золото твоя дочка, подумаешь, мысленно прокомментировала бабуся его слова. Да захоти он, к нему десять таких прибегут. Ей припомнился, без всякой связи, один человек, который жил с двумя, матерью и дочерью, и вся деревня знала, что у него две жены. Собственно говоря, даже не припомнился, а просто бабуся зашла однажды к ним, никого нет, одна старая в избе, как же ее звали? Разговорились. Слушай, сказала бабуся, я у тебя чего спросить хочу, только не обижайся. Чего обижаться, возразила соседка, небось про Валерку? Валерка этот был мужчина лет пятидесяти, моложавый и густоволосый, удивительной красоты; каждую весну и осень он хворал, подолгу лежал в больнице, и женщины по очереди навещали его.

«Кому какое дело, — сказала соседка, — живем, никому не мешаем». Она ловко двигалась по избе, собирая то-сё, потом зашла за пеструю ситцевую занавеску, отделявшую комнату от кухни, где у нее топилась плита и журчало на сковородке, и бабусе казалось, что запах и сейчас стоит на кухне. Да ведь грех, сказала бабуся.

Ответом было молчание; та, на кухне, переворачивала котлеты на сковородке. Она собиралась ехать к больному в город, откуда должна была воротиться дочь. Она вошла в горницу и села напротив, вытирая руки о передник. «Грех, — сказала она, — какой грех? Что мы его обе любим? Мужчина уж так от природы создан, что ему одной бывает мало. Вот когда у одной двое мужиков, вот это срам!»

Это уж ты напрасно, подумала, а может быть, сказала бабуся, которая тогда еще не была бабусей. Языком-то зря трепать... Сама знаешь, я все равно что вдовая, а что он ко мне ходил, так это ты его спроси, зачем он ходил. Я его не звала. Да я не про тебя, возразила соседка, не желая ссориться. Она разглаживала на коленях передник, задумавшись, гладила свои тяжелые бедра и смотрела на свои руки. Про кого же еще, думала бабуся и разглядывала соседку, как будто искала что-то у нее на лице. Она никогда о них не вспоминала, все они давно исчезли за горизонтом ее жизни, как вдруг оказалось, что всех она помнит, а лучше сказать, они, эти несуществующие люди, помнят о ней. Молодая и остроглазая бабуся, волнуясь, смотрела на дородную, степенную женщину, сидевшую перед ней, и пыталась прочесть на ее лице ответ. О чем же это я размечталась, думала она, ах да, управдом нахваливал дочку, дескать, сам бы ее взял.

«А когда мужик на стороне гуляет, это разве не грех? — продолжала соседка. — Уж лучше пусть дома». Получалось, что она снова намекает на бабуся. Молча обе женщины сидели друг против друга. Бабуся подмывало сказать какую-нибудь колкость, но теперь, когда столько лет протекло, это уже не имело смысла. Я что хотела спросить, сказала бабуся. Глядишь, она родит. А потом ты родишь. Что ж это будет?

«Ничего не будет. Да и стара уж я, рожать-то. Я тебе скажу. Что он Машу любит, я не обижаюсь; за что меня любил, за то и ее любит. Она мое продолжение. Наше дело, сама знаешь: молодость прошла, и все, а мужик и в пятьдесят лет мужик. Маша вся в меня вышла. Так что он, как бы сказать, во второй раз на мне женился».

«Ну и жил бы с ней. Ты-то ему зачем?»

«Жалеет меня».

«Ты не сердчай, — сказала бабуся, которую разбирала не ревность, а любопытство. — Как же вы, так вместе и спите? Али по очереди?»

«Так и спим. Мы все родные, чего нам делить... А если ты про это спрашиваешь, то есть как мужчина с женщиной, так это как придется. Бывает, сразу: сначала она, потом я. Мне, — сказала соседка, — так даже приятнее».

И то, подумала бабуся, какой же тут грех. Что, спросила она, уж ты собралась?

«Пока дойду, — ответил голос из-за занавески, — да и местечко бы хорошо занять. Прошлый раз назад сидела, всю растрясло, еле живая доехала...» Она имела в виду грузовик с брезентовым верхом и скамьями в кузове. Грузовик ходил до станции. Бабуся забыла, что тогда грузовиков еще не было. Это были мелочи, не имевшие значения. Как раз об эту пору началась война — гражданская или германская, это тоже не имело значения. Пора было подниматься, но ей казалось, что они недоговорили, — мысль, которую она не успела высказать, была та, что как ни крути, а виноваты всегда сами женщины. В сущности, и соседка была того же мнения. Поэтому нечего придирается к Толе. Бабуся сидела на кухне под бумажными кружевами, ее сухие руки мелко перебирали юбку. Дверь отворилась, выдвинулся, пошатываясь, управдом Семен Кузьмич с портфелем под мышкой, за ним шел Толя Бахтарев. Оба были в превосходном настроении. На прощанье Семен Кузьмич, привстав на цыпочки, обнял и облобызал Толю. Толя поцеловал лысину управдома. Бабуся зашаркала к себе. Когда по прошествии некоторого времени она снова выглянула из коридорчика, Толя спал на диване. Длинный неподвижный маятник сиял в углу за стеклом. Окна показались ей огромными, свинцовый свет заливал гостиную — не день и не ночь.

## 21. КТО-ТО ПОВАДИЛСЯ

Старик, с раскаленной трубкой в скрюченных пальцах, оглушительно кашлял. Прошло не так много времени с момента, когда мы оставили деда и внука, чтобы подняться вверх в квартиру Бахтарева, но уже этот маленький пример демонстрирует невозможность преодолеть

повествовательный характер языка. Все должно «происходить», с чего-то начинаться и шествовать далее; и покуда одно происходит, все остальное должно замереть, ожидая своей очереди. В лучшем случае приходится метаться от одной сценической площадки к другой, вроде того как кошка перетаскивает котят с места на место; язык навязывает событиям последовательность, словно вытягивает нить из клубка, и, заметьте, это началось буквально с первых страниц мира: кто нам докажет, что Бог создал небо, землю и все остальное в шесть дней, а не одновременно?

«Хватит!» — гаркнула девочка, и кашель, как по волшебству, прекратился. Дед, моргая, смотрел на нее, словно проснувшись. По обыкновению, он хитрил, корчил из себя слабоумного старца, кашлял, нес окоlesiцу, представлялся, что спит, и представлялся, что бодрствует. А между тем, пока она его тормошила, то главное, с чем она пришла, незаметно утратило смысл! Как будто она принесла чашу, полную до краев, но за разговорами и мелочами дивный напиток испарился; оставалось попросту брякнуть плоской об пол.

«С кем я разговариваю, — сказала она, не замечая, что употребляет его собственное выражение, — с тобой или со стенкой?»

Некоторое время она прыгала по комнате, поддавая ногой спичечный коробок, пока не загнала его под стол. Дед сосал потухшую трубку. Она спросила, указывая пальцем на рисунок:

«Что это?»

«Не смей трогать книгу. Отойди от стола».

«Подумаешь, сокровище», — сказала она.

«Я сказал, отойди от стола».

«Дед, какой ты все-таки занудный».

Он возразил:

«На это есть много причин. Во-первых, главная причина: книга требует подготовки. Когда я был в твоём возрасте, я даже помыслить не мог о том, чтобы приблизиться к этой книге. Единственное, что мне разрешалось, это знать о ее существовании».

«Я не в твоём возрасте».

«Но ты же не даешь мне сказать! Я не имею в виду мой возраст. Я имею в виду *твой* возраст. Ты можешь мне возразить, что возраст мужчины и возраст женщины — это разные вещи. Верно. И тем не менее. Так вот: к ней бесполезно приближаться тому, кто не созрел для нее, это во-первых. А во-вторых... — Дед раскрыл, как кот, изумрудные глаза. — Ну-ка, походи и посмотри, кто там ходит!»

«Нет там никого», — сказала она, возвращаясь.

«Я слышал, управдом зачастил по квартирам вместе с участковым уполномоченным. Как ты думаешь, чего они ищут? Меня могут выслать, как ты считаешь?»



«Кому ты нужен...»

«Я-то, может быть, и не нужен, хотя кто знает? Но, может быть, им нужна моя жилплощадь».

«Паскудный дед, ты опять за свое?»

«Хорошо, я молчу. Но я клянусь тебе: там кто-то есть».

Он схватился за подлокотники.

«Ты хочешь, чтобы я сам встал и со своим радикулитом, своими старыми ногами пошел и посмотрел, кто там стоит. Ты хочешь, — говорил он, — чтобы я пошел отпереть людям, которые пришли без приглашения, пришли, чтобы выгнать меня на улицу, потому что им понадобилась эта комната, эти хоромы, эти царские чертоги, ты хочешь, чтобы я пошел навстречу этим людям, которые пришли сделать мне зло; ты этого хочешь. Да?»

На лестнице было темно, однако нашим чувствам свойственно со-здавать нечто принимающее облик действительности — как бы для того, чтобы досадить разуму, который стремится дискредитировать действительность. «Брысь», — сказала девочка зловещим басом. Диковинный белоснежный зверь сидел на ступеньке возле перил. Казалось, что кошачья шерсть светится.

«Кис, кис...» Девочка кралась навстречу кошке, коварно маня ее растопыренными пальцами. Кошка не спускала с нее серебряных глаз. Девочка закусил губу... раз! Еще бросок! Но теперь кошка сидела у нее за спиной. Кошка выражала желание поиграть. Этот балет, в котором девочка и зверь попеременно менялись местами, скоро надоел ей, и она вернулась.

«Нет никого... Да кому ты нужен?»

«Осторожность не мешает, — отозвался дед из своего кресла. — Если я говорю, значит, я знаю. Управдом ходит по квартирам, опрашивает жильцов. Я сам слышал, и даже не один раз, как он поднимался по лестнице... Как ты думаешь, они могут меня выселить? Я говорил с одним знающим человеком, он считает, что есть такой закон, запрещающий проживание в нежилых помещениях. Но если я живу в нежилом помещении, то спрашивается, почему же оно нежилое? Нет, отвечает он, это не довод, тысячи людей живут в нежилых помещениях, они от этого не становятся жилыми. Но он сказал, что якобы есть постановление, согласно которому прописанного жильца не могут выселить без предупреждения. А меня еще пока никто не предупреждал, надо, сказал он, подождать, когда предупредят. Но как же, я говорю, может быть, чтобы законы противоречили один другому, в таком случае это будет уже не закон, а Бог знает что. Но он утверждает — он очень эрудированный человек, много лет проработал в учреждениях, — что это вполне может быть и даже почти всегда так и бывает».

«Что бывает?» — спросила девочка.

Дед молчал, полузакрыв глаза.

«Ну, я пошла, что ли», — сказала она.

«Подожди. Что за пожар... Ты уверена, что там никого нет?»

«Это кошка».

«Кошка — другое дело... Это очень породистая кошка, я думаю, сибирская. Повадилась. А в комнату заходить не хочет. Твой отец тоже любил животных, это у тебя наследственное... Кто знает? Может быть, они живут такой же жизнью, как и мы».

«Дед, ты паршивый эгоист, ты можешь чесать язык с утра до ночи, а вот поговорить, по делу...»

«Рыбонька моя, — сказал старик фальшивым голосом, — а о чем же мы говорим, как не о деле? Мне больше не с кем разговаривать...»

«Мне тоже», — отрезала она.

«Так в чем же дело, кто тебе мешает?»

Помолчав, она сказала:

«Погадай. Я знаю, ты умеешь».

«О чем?»

«Обо мне. О нас обоих...»

«Чего же о нас гадать, с нами и так все ясно. Я, например...»

«Не о тебе речь!»

«Ты должна знать, — сказал он наставительно, — что я не гаданьями занимаюсь. Я враг суеверий. Положи на место!»

Она кружилась, размахивая трубкой, подхватила со стола жестянку из-под монпансье, служившую табакеркой. «Кому сказано, — продребезжал его голос, — это не игрушка...» Она набила трубку и искала глазами спичечный коробок.

«Дед, ты куда?»

Он шаркал к двери, поправляя на ходу подтяжки.

«Тебе наплевать, что у меня больной позвоночник, больные почки, и вообще трудно сказать, какой орган у меня в порядке. Сколько раз я говорил, закрывай плотнее все двери...»

Вдруг он остановился, и в ту же минуту в подвальную комнату потучали.

## 22. В ИЗВЕСТНОМ СМЫСЛЕ СМЕРТЬ

Почти сразу же стучавший вошел в комнату. Он оказался инспектором дымоходов. В правой руке он нес портфель, вернее, то, что было портфелем лет тридцать назад, левой прижимал к груди кошку. Кошка смотрела на деда и девочку розоватыми, как у всех альбиносов, глазами,

отливающими серебром. Инспектор был хилый человек несколько испитого вида, прилично одетый в поношенный костюм и галстук, и с порога отвесил присутствующим сдержанно-церемонный поклон.

«А-а... — сказал дед с видимым облегчением. Но в этом «а-а» присутствовало и некоторое разочарование, как у больного, который приготовился к опасной операции, а оказалось, что операция откладывается. — Сколько лет, сколько зим».

«Лето, уважаемый, в наших краях короткое, глядишь, и осень на дворе, — отвечал инспектор дымоходов, явно намекая на цель своего прихода. — Какой чудный кот. Ваш?»

«Вас что, управдом прислал?» — на всякий случай спросил дед, опускаясь в кресло с безглавой птицей. Девочка сидела на кровати, держа во рту огромную трубку. Инспектор пристроил портфель у стены и гладил кошку.

«А вот это нехорошо, — сказал он. — В таком помещении курить не положено. И вообще: что это за занятие для молодой барышни?»

Неожиданно зверь выпрыгнул из его рук. Девочка проворно вскочила, но кошка юркнула у нее между ног.

«Позвольте, где же кот?» — воскликнул гость.

«Это породистая кошка, — сказал дед, приняв величественную позу в кресле. — У нее должны быть хозяева».

«Да, но... Она только что была здесь».

«Тысячу раз говорил, закрывай плотнее дверь...»

«Дверь была открыта!» — уточнил инспектор.

«Вы не ответили на мой вопрос: вас направил ко мне управдом? Можете сказать мне об этом прямо, я в курсе дела...»

Инспектор дымоходов развел руками.

«При чем здесь управдом? У него свои обязанности, у меня свои... С вашего разрешения, я сяду. Кстати, о зиме. Будьте добры, барышня, не в службу, а в дружбу...»

Девочка мрачно подала ему портфель. Инспектор вынул папку и принялся распутывать завязки, они не поддавались, он помогал себе зубами. «Но меня все-таки интересует, — говорил он, кусая завязки, — куда могла деваться киска. Где у вас дымоход?»

«Извините, — сказал дед. — Я человек немолодой, возможно, мне изменяет память... Если не ошибаюсь, мне уже приходилось вам объяснять, что в комнате дымоходов нет. Если вы пришли по заданию управдома, так прямо и скажите».

«Что значит в комнате, — возразил инспектор, — разве это комната? Или, может быть, у вас есть другая комната?»

«Вы правы, — заметил дед. — Это не комната. Это чертоги. Я живу в чертогах...»

«Зима — дело нештучное. Начало отопительного сезона, — сказал инспектор, надевая очки. — Необходимо своевременно подготовиться. Необходимо обеспечить тщательный контроль. Некоторые квартиросъемщики недооценивают важность этой задачи». Девочка следила, как он водит пальцем по воображаемым чертежам.

«У меня такое впечатление, что в этом доме вообще нет дымоходов по той простой причине, что в нем нет печей, — сказал дед. — Логически рассуждая, дымоход предназначен для отвода дыма. Об этом говорит уже само слово».

«Ошибаетесь, уважаемый. Дымоходы были, есть и будут. Дом спроектирован в конце прошлого века: чем же, вы думаете, он обогрелся?»

«Вали отсюда», — проговорила девочка.

По лицу гостя было трудно понять, слышал ли он эти слова. Он поправил очки на носу и приосанился.

«Ну! — сказала она зловеще. — Кому говорят? Инспектор сраный... А ну гребни отсюда!»

«Люба, — произнес дед, полузакрыв глаза, — что за выражения...»

Гость, с видом занятого человека, торопливо завязывал тесемки. Дед рылся в кошельке.

«Благодарю вас, вы благородный старик, — пробормотал инспектор дымоходов, принимая от деда серебряную монету. — Но зима есть зима, попомните мое слово. К сожалению, у меня мало времени. До свидания... до следующей проверки...»

«Иди, иди. Много вас тут шляется».

«Не такая уж плохая идея, — сказал дедушка, когда посетитель удалился, — если бы здесь была печка, нам было бы гораздо уютней. Да... Каждый зарабатывает свой хлеб как может. И это еще не самый худший способ. Кто знает, может быть, и я со временем займусь чем-нибудь в этом роде. Ты меня слышишь?»

Девочка, обняв колени, напевала тонким тягучим голосом, как пели женщины в нашем дворе вечерами, в хорошую погоду; сначала потихоньку, потом громче.

«Перестань, — сказал он брезгливо, — я не выношу этого пения... И немедленно встань с пола».

«Так тебе и надо, старая несеть. Чего ты их всех пускаешь?»

«Но ты же видишь, он сам вошел! По-моему, ты была с ним неужлива».

«Вот когда-нибудь тебя обчистят, тогда узнаешь... Это же наводчик, балда, неужели не ясно?»

«Ты думаешь, у меня могут украсть книгу?» — спросил дед.

Она пела:

«Вот кто-то с горочки спустился. Наверно, ми-и-илый мой идет».

После чего мелодия и ритм изменились, она загорланила, подражая Краснознаменному ансамблю:

«Цветут плодородные степи, текут многоводные реки!»

«Перестань».

«Как солнце весенней порою! Он землю родну-ю-у обходит. — Она вскочила и замаршировала по комнате. — Споем же, товарищи, песню! О самом большом садоводе! О самом любимом и мудром! — Голос ее зазвенел от счастья. — О Ста...»

«У твоего отца был прекрасный слух. Чего нельзя сказать о тебе... Пожалуйста, — сказал он, — чтобы я больше не видел тебя сидящей на полу. Ты хочешь заработать, как я, радикулит? Не говоря уже о том, что девушке в твоём возрасте вообще не полагается сидеть на полу!»

Она уловила в его словах подозрительную ноту.

«Это почему?»

«На полу сидят, когда в доме траур... И кроме того, ты можешь простудить яичники».

Несколько времени спустя, когда мутное окошко под потолком почернело, и в комнате горел свет под бумажной юбочкой-абажуром, и чешуйки позолоты блестели на крыльях деревянной птицы, дед говорил мерным убаюкивающим голосом, словно читал стихи:

«Время идет, и ты сама не заметишь, как в одно прекрасное утро станешь женщиной. Может быть, уже в эту минуту ты начинаешь ею становиться... Я не имею в виду то, что обычно под этим подразумевают, это тебе объяснит твоя мать. Но то, что тебя волнует, она объяснить не сможет... Так вот... Эту книгу написал много веков назад человек, который прожил тринадцать лет в пещере вместе со своим сыном, и рассказывают, что их там навещал гость, по некоторым сведениям, это был пророк Илья. Эта книга называется Зогар, что значит блеск, примерно такой, как у золота, о чем говорит происхождение самого слова, хотя возможно, что тебе и не следует об этом знать».

Он остановился, ожидая возражений, затем продолжал:

«Ты спросишь почему? На это есть много причин. Прежде всего, традиция требует, чтобы этим занимались мужчины. Во-вторых, не следует знать о том, что у меня вообще есть такие книги. Книга — это самое большое богатство человека, это то, что связывает человека с вечным миром, именно поэтому люди боятся книг и приписывают им сверхъестественную силу. Власти всех государств и всех времен испытывали страх перед книгами... И если они узнают, что в этом доме хранится такая книга, они придут и отнимут ее, чтобы ее уничтожить, да и мне не поздоровится!»

«Кто — они?»

«Откуда я знаю? — сказал дед, поднимая плечи. — Они просто приходят и отнимают книги, потому что в книгах говорится о вещах, которые они считают опасными. И даже не в этом дело. В книгах ничего не говорится о том, что они считают правильным и полезным. Вот в чем дело! О том, что они считают истиной, книга молчит. Этой их истины для книги не существует. Текут многоводные степи, или как там... все, что ты исполняешь с таким упоением... Нет, нет, — он замахал руками, — я ничего плохого не хочу сказать об этой песне, Боже упаси... И вообще. Но для книги всего этого нет и не было. Каждая книга должна быть для них зеркалом, чтобы они могли лишний раз полюбоваться собой. А в этих книгах ничего этого нет, и они стоят перед этими книгами, словно перед зеркалом, в котором нет изображения. А раз нет изображения — ты понимаешь, какой это скандал? — раз нет изображения, то, значит, нет и оригинала! Вот почему, — сказал дед, довольный своим рассуждением, — не надо знать, что здесь есть такие книги, и не надо об этом рассказывать. Ты поняла, ты умная девочка».

Она сидела на кровати и смотрела в пол.

«Обычай предписывает заниматься изучением этой книги мужчинам. Женщинам ее обычно читать не давали. И это понятно, на это есть причина. В Библии говорится, что прародители были изгнаны из Пардеса за то, что Ева не удержалась и сорвала плод с дерева, которое дает знание. Если бы это сделал Адам, то кто знает, может быть, ничего плохого бы и не произошло. Знание об истине должно принадлежать мужчине. А что же, ты спросишь, принадлежит женщине? Я отвечаю. Женщина сама есть истина. Как сад не может ответить на вопрос, что такое сад, так и женщине незачем знание истины, потому что истина — это она сама. Цель знания двоякая. Во-первых, познать, то есть обрести мудрость. Во-вторых, внести мир в душу. Но это не всегда удается, далеко не всегда удается...»

Тяжело вздохнув, он погрузился в молчание.

«Дед, — сказала девочка с тоской, — ну, а дальше? Дальше-то что?»

«Был такой мудрец, по имени Акиба, и у него было три ученика. И они просили его провести их сквозь Пардес. Он предупреждал их, что тот, кто входит в Пардес, это слово, собственно, и означает сад, и оно даже не еврейское, а персидское, — тот, кто входит в Пардес, подвергает себя большой опасности. Но пока он это говорил, они уже прошли через ворота и углубились в заросли. В саду пели птицы и стоял такой запах от цветов, что я не знаю, где может быть такой запах, разве только в парфюмерной лавке. Тогда он догнал их и велел идти следом за собой, потому что он один знал дорогу. И он вел их вперед и

не оглядывался, а только спрашивал, успевают ли они идти за ним. Но ты можешь себе представить, что это был за сад, — это было чудо, это был второй рай».

«Почему второй?»

«Потому что не первый. Потому что это не был рай. О рае никто ничего не знает. И им хотелось остановиться, отдохнуть под деревом, послушать пение птиц. Но Акиба торопил их, потому что уже начинало темнеть, а сад был такой огромный, что ночью в нем не мог бы ориентироваться и сам рабби. Он шел быстрым шагом, а между тем небо темнело и мрачнело, запах цветов становился все сильнее, и все трое еле поспевали за ним. И вот когда рабби Акиба, наконец, увидел впереди врата исхода и обернулся, чтобы посмотреть, что же стало с его учениками, то оказалось, что одного ученика вовсе нет, он умер и остался лежать на дороге, другой был необыкновенно весел, пел песни и размахивал руками, ибо он сошел с ума, а третий... о третьем ученике даже сам рабби Акиба не мог рассказать, что с ним случилось, ибо этот ученик поставил кусты и деревья вверх ногами. На всем пути, который вел к выходу, растения росли кверху корнями, и это было дело рук третьего ученика. И я не знаю, — сказал дед, покачивая головой, — кому больше повезло, ему или тому, который пел песни и размахивал руками, или тому, кто остался лежать на дороге. Вот что значит пройти через Пардес, а ты говоришь!»

«Что я говорю?» — спросила она, поднимая глаза на птицу, распластавшую крылья над креслом ученого старца, который, возможно, и был тем учеником, что воткнул кусты корнями кверху.

Дед пробормотал:

«Что я хочу тебе сказать... Это Пардес. Это сад жизни и сад смерти, и не каждому дано пройти сквозь него целым и невредимым».

«А ты прошел?»

Он задумался или заснул.

«Ты прошел? Дед!»

«Конечно, — сказал он. — Если бы я не прошел, тебя бы не было на свете. А теперь ты сама стоишь перед его вратами. Ты не знаешь, что тебя ожидает. И ты слышишь запах цветов, одуряющий запах цветов... И тыходишь, и делаешь один шаг, другой шаг. И ты начинаешь понимать... начинаешь понемногу понимать...»

«Проклятый дед, — сказала она, ей стало зябко, она запахнула полы своего пальто и сунула руки в рукава. — Что понимать, что?..»

«Что ты сама — этот сад!» — прошептал он, встал с кресла и, шатаясь, пошел к выходу.

Кашель деда затих в подвале, девочка подошла к столу и вперила взгляд в книгу, пахнущую мышами. Спустя некоторое время по-

слышался шум спускаемой воды. Старик не возвращался. Она знала, что это бывает нескоро, но время шло, она прислушалась. «Эй», — позвала она. Шум и журчанье воды давно стихли, стояла тишина. Наконец раздалось шарканье, и дед с измученным видом показался на пороге.

«Ты умер?» — спросила она обеспокоенно.

«В известном смысле, да», — проговорил он.

«Что с тобой?»

«Обычная история...»

«Тебе надо снова в больницу?»

Дед жевал пустоту и смотрел перед собой. «Они говорят, что мне нужна операция. Но от операции я умру, так они считают. Мне предстоит умереть и от операции, и без операции, но двумя смертями умереть невозможно, и вот я живу. Типичная талмудическая проблема. Дай-ка мне трубку».

## 23. АБСОЛЮТНЫЙ ЧЕЛОВЕК

«Вот, — сказал он, — ты видишь этот рисунок: вот голова, плечи... Ты видишь, что план человеческого тела исключительно мудр. Это дало основание некоторым ученым предполагать, что отдельные части тела соответствуют частям, из которых построен мир. Ты видишь во всем присутствие великого разума, который есть начало красоты. Глупое и несовершенное не может быть красивым, запомни это...»

Он процитировал книгу Шир га-Ширим, то место, где сказано, что тело Шуламит подобно финиковой пальме, раскинувшей ветви. Но это не интересовало девочку. То, что заставляло ее вглядываться в непонятный чертеж и буквы с заусеницами, следить за пальцем деда и внимать его невразумительным объяснениям, была не любознательность, но желание погрузиться в тайну, которая одновременно была игрой в тайну. И как всякая игрушка, какая-нибудь целлулоидная кукла с оторванной ногой, служит, в сущности, лишь предлогом для игры, так и книга с толстыми, посеревшими по краям страницами, от которых исходил запах погреба, была своего рода триггером: книга служила входом в игру, так что истинный смысл букв и линий не имел значения, как не имеет значения, есть ли у куклы ноги. Девочка не подзревала, что и старик, несмотря на его ученость и педагогический энтузиазм, стремился, в сущности, к тому же, отнюдь не желая расшифровывать тайну, а только пересказывая ее другим, столь же непонятным языком.



«Разум и красота спрессованы в знаке», — изрек дед. Она ответила ему блестящим зачарованным взглядом, ничего не выражавшим, словно глаза ее покрывала эмаль.

«Но было бы ошибкой думать, — продолжал он, — будто знак — это что-то вроде вывески над москательной лавкой. Знак — не вывеска, а суть всего. Это начало всех вещей... Бог начал с того, что сотворил знаки».

В игре, принцип которой можно было бы изложить так: все, что на самом деле неправда, принимается за правду, единственная легитимная действительность (дед предпочитал говорить «разумная») есть действительность игры, и то, чего на самом деле не может быть, то на самом деле есть, — в этой игре разрешалось существовать и Богу, хотя на самом деле его не было. Если бы целлулоидная кукла была не куклой, а живым человеком, играть в нее было бы невозможно. Точно так же игра, в которую девочка играла вдвоем с дедом, утратила бы смысл, если бы оказалось, что Бог существует на самом деле.

«Некоторые ученые, — сказал дед, — считают, что Бог не мог создать человека и весь мир такими, как они есть, потому что мир состоит из вещества, человек из плоти, а Бог находится по ту сторону всякой плоти и всякого вещества. Человек, — он взглянул на Любу, на ее спутанные волосы, черные немигающие глаза и расстегнутое пальто, которое она никогда не снимала, — человек существует во времени, он рождается, живет и умирает. Вот у меня, к примеру, всегда при себе часы... — и он сунул пальцы в часовой кармашек штанов, забыв о том, что никаких часов давно уже не было. — Н-да... А для Бога часов вообще не существует. О нем даже нельзя сказать, что он живет, потому что всякая жизнь временна, а Бог бессмертен, он есть сущий, вот и все, тебе это понятно?»

«Понятно», — сказала девочка, не придавая этому слову конкретного смысла или, вернее, вкладывая в него слишком конкретный смысл. Понятен был голос деда, его борода, волосы, торчащие из мясистого носа, его кудри, запах табака, к которому примешивался легкий уринозный запах, и понятна была та атмосфера тайны и заговора, которая возникает, когда полностью отдаешься игре. Поэтому смысл его рассуждений не имел значения. Игра есть не что иное, как волшебное умение преобразить все на свете в орнамент. Подобно искусству, игра превращает все, что угодно, в повод и материал. Материал для чего? В ответ нам пришлось бы пожать плечами. Ни для чего; для игры.

«...поэтому ученые пришли к выводу, что между Богом и человеком должно находиться нечто промежуточное, которое Бог создал, чтобы не изменить своей природе. Это и есть знак. Бог создал знаки священного алфавита».

Она опустилась на пол у стены и обняла колени, в комнате воцарились мир и уют, голос деда в сгустившемся воздухе шелестел, как дождь в листве.

«Эти знаки — священные буквы, из которых создано человеческое тело и весь мир. Ты видела: над каждой частью этого тела, над всеми его изгибами и возвышениями, над входом и выходом стоят буквы. Не думай, что это просто названия... Эти буквы сделали человеческую плоть такой, какова она есть. Это тело священо, ибо священны начала, из которых оно сотворено... Вселенское тело состоит из тела мужчины и тела женщины, из Адама и Хавы, из Шломо и Шуламит, так же как сутки состоят из дня и ночи. Адаму принадлежит дневная половина, Хаве — ночная, вот почему этот чертеж разделен пополам. Если ты соединишь все буквы, получится связный рассказ. Соединение мужчины и женщины в Писании именуется познанием, познать человеческое тело означает, в сущности, прочесть его, прочесть Текст. Тот, кто его не прочел, ничего не знает о мире...»

Она заснула, сидя на полу, задремал и дед на своем троне с обезглавленной птицей или задумался, что часто бывало одно и то же, а девочке снилось, что она стоит рядом с ним, следит за пальцем с желтобурым ногтем, которым дед стучит, как клювом, по книге. Она слушает его голос и думает: когда-нибудь, в другой раз, разберусь, о чем он там талдычит... Нам нетрудно поставить себя на ее место. Ведь автор был ее сверстником, вместе с ней вопрошал, выражаясь высоким слогом, бытие о его загадках, и теперь нам хотелось бы, пользуясь случаем, задать вопрос, который девочка не сумела бы сформулировать, но который брезжил и в ее уме, — вопрос о реальном содержании возвышенных умозрений «некоторых ученых», под которыми, очевидно, подразумевался сам дед. Будем осторожны, ибо речь идет об одной из стариннейших контроверз или, если угодно, об одном из замкнутых кругов знания.

Были ли ученые фантазии о вселенском теле, повторяющем изгибы и возвышения человеческого тела, об Адаме Кадмоне, этом первоначальном человеке, одновременно женщине и мужчине, совершенном, но бессильном произвести потомство, об усыплении Адама, которое «по некоторым данным» было не чем иным, как смертью, после чего творец отказался от первоначального замысла и произвел нового человека в двух ипостасях, два существа, образ и подобие Бога, но на сей раз в двух вариантах, из которых ни один не был совершенным, — две части целого, хранящие память о своем единстве, — была ли вся эта космическая анатомия, космическая эмбриология и физиология всего лишь более или менее простодушным иносказанием?

Можно ли сказать, что магический ребус Каббалы, окрашенный чувственностью, эти буквы, самый рисунок которых намекал на тайную связь с полом, так что, например, сходный с ключом или посохом, прямой вознесшийся Вав означал мужское и мужественное начало, путь и отмыкание, а разверстый, похожий на вход Мем и горизонтальный, закругленный снизу Самех, буква, которую иногда писали в виде треугольника и которая в самом деле происходит от шумерского Треугольника, знака женщины, женского принципа, конца пути, манящего лона, — можно ли утверждать, что эта магическая семиотика была всего лишь мистификацией вполне обыденного события? Или «событие» фигурировало как всем знакомый пример, как предлог или притча, которая обыгрывает известную всем ситуацию, чтобы преподать более возвышенную истину и приоткрыть вселенскую тайну? Чем оправдано возведение соития в мировое событие? Что здесь знак и что — обозначаемое? Почему постель представляется хрустальным ложем мира? Одно из самых жгучих разочарований подстерегает подростка, когда он расшифровывает ребус пола, ага, говорит он злорадно, вот к чему сводится так называемая любовь! Унизительный ответ, до ужаса примитивная «суть», словно вы решали многоэтажный арифметический пример, а в итоге получился нуль.

Но затем знание делает новый виток, наступает второе открытие мира. Этот виток есть не что иное, как танец знака и означаемого, танец, в котором стороны меняются местами. Выясняется, что низменная действительность не равна самой себе. Еще вчера она казалась последним решением всех загадок, тем, что есть на самом деле и ничем другим быть не может; сегодня — она лишь знак чего-то другого. Так пол становится снова загадкой и мерцает чем-то недосказанным; так странные и наивно-непристойные рассказы Каббалы превращаются в притчи о мироздании. Так можно понять рабби Йегуду, каббалистического учителя, который прервал занятия с учениками, когда под окном мимо дома бедности и науки прошла девушка, занавешенная белой фатой. «Встаньте, друзья мои, — воскликнул рабби Йегуда, — и взгляните на эту невесту! Сам Всевышний устремляет на нее взгляд. Ибо это Он сотворил ее и украсил».

В этом смысле можно было понять лукавую педагогику деда, его намерение пробудить в девочке что-то вроде метафизического благоговения перед телом, этим божественным шифром мироздания, хотя, может быть, ему просто хотелось поговорить, поделиться научными достижениями, разговаривать же на обыденные темы было скучно, а в иных отношениях и небезопасно.

Итак, великое достижение Каббалы заключалось в том, что она объявила знак высшей и последней реальностью. Отсюда следовало,

что действительность и весь мир, *люди, львы, орлы и куропатки*<sup>1</sup>, и наше собственное бедное тело суть нечто «означающее», подотчетное букве, которая уже не условный рисунок, выведенный человеческой рукой, но проект, начертанный рукой Бога. Если Бог, томимый жаждой творения, этим космическим вожделением, которое ему не с кем разделить, Бог, оросивший Ничто, словно семенем, своей эманацией, не может претворить ее в плоть мира и человеческую плоть, ибо он есть нечто Другое в отношении к плоти, к времени и пространству, — если это так, то он должен был найти компромисс, говоря словами ученого деда — избрать нечто промежуточное. И он нашел гениальный выход, создал двадцать две буквы алфавита и расположил их таким образом, что получилась Тора.

Бог был одинок. Ведь он был единственный, о чем и сообщил Моисею на горе Синай. Не было равновеликого лона, способного воспринять божественное начало творения, зачать и понести мир. Но в таком случае известный рассказ о сотворении мира в шесть дней из ничего, одной волей Бога, должен был возвратить нас к языческим представлениям о совокуплении божественной пары, каковые, однако, несовместимы с единственностью Создателя. Следовательно, великое Семязвержение, предвадившее мистерию бытия, было извержением в пустоту, извержением божественных начал, именуемых сефирот, которые не были плотью, временем и пространством и не породили время, пространство и вещество, — но произвели двадцать два знака. Отсюда следует, что именно Знак есть средоточие мироздания.

Дед открыл глаза.

«Я видел сон, — сказал он растерянно и поднес руки к вискам, к седым кудрям и желтому морщинистому лбу. — Ты меня слышишь? Зажги свет...

Я видел странный и, думается мне, дурной сон. Как будто я иду по улице и дует сильный ветер. По мостовой несутся клочья газет, всякий мусор... И ветер сорвал у меня с головы ермолку. Представляешь, я вдруг спохватываюсь и вижу, как она летит прочь, летит... Я враг суеверий, но сны меня не обманывают. Я думаю, что я скоро умру».

## 24. ВРЕМЯ СНОВИДЕНИЙ

К числу древнейших и любимейших преданий человечества принадлежит сказание о Потопе, о том, что некогда землю населяли совсем другие люди и эти люди погибли во время бедствия, насланного свыше. Однако некоторым, кучке праведников, удалось спастись, и,

---

<sup>1</sup> Чехов.

когда вода отступила, они стали родоначальниками нового человечества. Таков сюжет этого предания в самом общем виде, такова схема, — а далее она обрастает подробностями, насыщается побочными мотивами, пускает побеги и корешки; в разных концах земли рассказывается по-разному, теперь это уже не легенда, а быль, великое предостерегающее предание; затем почему-то его корни перестают всасывать влагу, листья жухнут, легендарная быль бледнеет и рассыпается. И все-таки не совсем исчезает, и сочиняется вновь, уже без прежней наивности, без этой неистощимой изобретательности, способной заворочить слушателей, скорее восстановленная из ключев памяти о древнем эпосе, чем созданная силой воображения, — чтобы стать наконец глубокомысленной притчей о грехе, каре и обновлении, о великом конце, за которым следует новое начало. Прошли века, сменились народы, и миф, повествующий о правремени, живет сызнова своей вечной жизнью; минувшее, настоящее и будущее для него одно и то же; он стал пророчеством о грядущей гибели, опрокинутым в прошлое. Но что теперь представляет собой это прошлое?

Соблазн интерпретировать Потоп как разукрашенное фантазией воспоминание о каком-то реальном событии, например, о гибели Атлантиды, представить легенду как докатившееся до нас эхо времени сновидений, когда люди, еще не умевшие претворять образы действительности в письменный рассказ, смутно грезили о том, что когда-то на самом деле случилось с их предками или предками их предков, — соблазн этот силен в особенности потому, что предлагает сравнительно простое решение давнего вопроса — как соотносятся между собой миф и история, предание и действительность? В начале было Нечто — а именно, событие и ответное действие, выход, который нашли наши предки, — вот формула этого решения; мифология — это мистифицированная история, обе говорят об одном и том же, но на разных наречиях, и самая причудливая легенда скрывает в себе зернышко факта.

Тут встает вопрос, не обратима ли эта формула, другими словами, не может ли быть то, что мы второпях приняли за историю, в свою очередь переодетой мифологией: так сказать, легендой в будничном платье; и не пишется ли история по законам, лежащим в основе мифотворчества. Попытки вывернуть историографию наизнанку, чтобы увидеть, каким образом она шита, ревизовать не только архаическую древность, и без того сомнительную, но и сравнительно хорошо знакомую нам античность, представив ее грандиозной фантазмагорией, рожденной гением средневековых монахов, якобы переписчиков, на самом же деле творцов — мы намеренно берем крайний пример, — такие попытки, при всей их кажущейся абсурдности, не должны быть презрительно сброшены со счетов. Не станем углубляться в эти мате-

рии. Ограничимся скромным признанием амбивалентности прошлого, двойственности языка, на котором оно говорит с нами, будь то прошлое целого народа или его части, или одного города, или даже — почему бы и нет? — одного-единственного дома. Рискнем высказать убеждение, что эта двойственность», заложенная в самом слове «предание», предполагает не только антагонизм, но равноправие двух ликов истины.

В самом деле, мифология жителей, населявших наш дом, легенды о происхождении дома — при всей скудости того, что сейчас удастся восстановить, — в основном мало чем отличаются от мифотворчества и фольклора других племен и народов, и рецепт дешифровки мифа, предложенный выше, применим в равной мере и к ним. Тоже можно сказать об истории дома, которая то и дело выдает свою легендарную подоплеку.

Мир как дом, где живут люди, и дом, который рисуется в воображении как целый мир; дом, в известном смысле, в решающее время сновидений действительно равнозначный миру; гибель мира и его возрождение, горизонтальный вектор бедствия и вертикаль спасения — эти конституирующие мотивы мифа (или истории?) легко вычлениаются в преданиях дома, как бы ни затрудняла нашу задачу другая катастрофа, реальность которой, увы, не подлежит сомнению. Но не придут ли когда-нибудь времена, когда и катастрофа войны примет баснословные очертания, не поглотит ли и ее, эту катастрофу, миф, живущий вечной жизнью, ибо прошлое, настоящее и будущее для него одно и то же?

Равнозначность понятий начала и конца отчетливо выступает в предании, а лучше сказать, представлении о какой-то довременной фазе мира, когда мира, собственно, еще не было или уже не было. Это представление, которое было распространено среди жителей как левого, так и правого подъезда, крайне смутное, почти не поддающееся реконструкции, строго говоря, еще не является мифом: ибо «домировому» состоянию мира соответствует и некоторое предмифическое мышление. По-видимому, речь идет о чем-то, что предшествует любым началам, предшествует материи, сопоставимо с еврейским Эн-Соф, но лишено каких-либо божественных атрибутов; это просто ничто; постепенно сгущаясь, оно приобретает вид безбрежного водного пространства.

Так оно становится своего рода сценической основой для мифа о ковчеге. Согласно версии, зафиксированной у жителей правой части дома, то есть подъезда и черного хода, ковчег носится по поверхности мировых вод неопределенно долгое время, в течение которого несколько пар его обитателей успевают дать потомство. Когда судно достигает отмели, разбушевавшаяся стихия хочет сорвать и унести его, но

экипаж настолько размножился, что тяжелый ковчег прочно стоит на дне; воды сходят, и корабль превращается в дом. В мифологии левого подъезда этот же рассказ выглядит несколько по-иному: корабль носится по поверхности мирового океана, пока, наконец, не восходит солнце. Капитан ковчега, он же мифический Управдом, выпускает голубя, который возвращается, неся в клюве обручальное кольцо. Между тем вода начинает испаряться, уровень океана понижается, из него выходит «дочь вод», золотые волосы струятся, как ручьи, по ее нагому телу, она становится женой капитана и праматерью нового человечества. Население ковчега растет, начинается классовое расслоение, богатые угнетают бедных, возникает партия угнетенных, вспыхивает братоубийственная война.

Некоторые склонны находить в этой версии мифа отзвук революционных событий. Нужно ли, однако, напоминать, что в ту пору, о которой идет речь, революция сама отошла в легендарное прошлое, стала новым временем сновидений и мало-помалу отлилась в сознании наших квартиросъемщиков в некое мифословие?

## 25. МАССОВАЯ КУЛЬТУРА ТРИДЦАТЫХ ГОДОВ



Впрочем, это только так называется. Ибо «культура» — слишком абстрактное обозначение того, что на самом деле было невесомой материей, заполняющей мир, чем-то таким, что присутствовало всюду, принимало разный облик, проявляло тысячи разных свойств, могло быть звуком, запахом, дуновением, цветом или бесцветностью, сверкало в окнах, гремело на улицах и в конце концов всегда было одним и тем же; это было нечто такое, чему никто никогда не мог дать последнего определения, потому что все, что можно было о нем сказать, означало лишь модус его существования, будь то красный цвет революционного знамени, усмешка вождя, до-мажорный звукоряд или победный рокот авиационных моторов; это была жизнь. Широкие крылья на солнце горят! Летит эскадрилья, воздушный отряд. Гудит пропеллер. Летит Чкалов. Только ведь и Чкалов — псевдоним того, чему нет названия: эпохи или жизни. Летят воздушные шарик, порхают треугольные флажки, на углах буланые лошади переступают точеными копытами, роняют дымящиеся яблоки на мостовую, на трамвай-

ные рельсы, милиционеры в скрипучих седлах обозревают толпу; на углах плещутся флаги, на углах стоят лоточники, ляпка через плечо, на лотке ряды эмалевых значков из жести на булавках, словно коллекция жуков: Ильич — кудрявый малыш, Ильич — гимназист в мундире с пуговицами, Ильич с огромным лысым лбом, просто так или на красном бантике — возьмите бантик, значок полагается носить на бантике. Эскимо! Эскимо! На палочке! Между прочим, лучшее средство от ангины. Потому что утром рано. Заниматься мне гимнастикой не лень! Потому что водой из-под крана. Обливаюсь я. Кубики. Бульонные кубики. Где угодно, лишь бы только была под рукой чашка с кипятком: в пустыне, на Северном полюсе. Краснолицые папанинцы в унтах и мехах. Эх, хорошо бойцом отважным стать! Эх, хорошо и на Луну слетать! Эх, хорошо все книжки про-чи-тать! О детстве счастливым, что дали нам, веселая песня, звени. Что означает символика пионерского галстука? Три конца красного галстука символизируют союз трех поколений: коммунистов, комсомольцев и юных пионеров. Этот галстук смочен кровью рабочих и крестьян: осторожно, не запачкайтесь. Эх-грянем-сильнее-подтянем-дружнее... Фи-и-и-и-уу! Полетели и сели. В первом ряду. Сначала даже болит затылок, оттого что приходится смотреть на экран снизу вверх. Девушка спешит на свидание. И-идём, идем, веселье подруги, страна глядит на нас, глядит на нас! Девушка с характером. С голым затылком и шестимесячной завивкой. И даже не догадывается, какая она красивая. Страна глядит на нас, глядит на нас. А она даже не догадывается. Потому что у нас каждый молод сейчас. Трам-тара-рам-там-там. Крепче нашей любви не бывало. Не встречалось во все времена! (Там, тарам.) Она глубже седого Байкала. Если вы, например, тарарам-пам-пам, возьмете обыкновенный лист бумаги, сложите его вдвое, а потом еще раз косо, вот так, сделаете всего лишь два надреза и вывернете с другой стороны, получится белый медведь, а если загнете уголки — Спасская башня. Утро красит нежным цветом стены древнего Кремля. Просыпается с рас-све-гом... Теперь возьмите двойной лист. Или лучше купите гипсовый порошок, смешайте с водой, приготовьте густую массу. А затем выложите эту массу в глубокую тарелку, предварительно смазав дно подсолнечным маслом, на дно укладывается фотография товарища Сталина. Когда масса затвердеет, тарелка кладется на ладонь, и р-раз! Пионерский подарок маме ко дню Восьмого марта. В ба-альшой стране, где женщина с мужчиной в одном строю, в одном строю, в одном строю! Это только так называется, а на самом деле это жизнь. Это эпоха. И в каждом пропеллере дышит спокойствие наших границ. Она глубже седого Байкала, многоводней Амура она. Потому что утром рано! Заниматься мне гимнастикой не лень!



Присмотритесь к товарищам стахановцам. Кто эти люди? Разве это какие-нибудь сверхъестественные люди? Нет, товарищи. Это такие же люди, как мы с вами. И где-такие-люди-настоячивые-люди-они-сказали-будет-сдана-работа-в-срок! Опыт передовиков, инициативу передовиков подхватывают массы. Учиться у масс, быть всегда с массами и вести за собой массы. Этому учил нас...

## 26. ПРОДОЛЖЕНИЕ. МАРКИ И ФАНТИКИ

Теперь смотрите сюда: берете глянцевую бумагу. Или даже самую обыкновенную. Режете лист на восемь частей. Что-нибудь рисуете, фрукты, овощи, кремлевскую башню. Теперь надо бумагу скомкать, смять, разгладить утюгом, снова смять, снова разгладить, короче, истрепать как следует. Чтобы рисунок был плохо виден. Сложить, как складывают настоящие фантики, и можете теперь выходить во двор, но лучше под вечер, когда плохо видно. С пачкой фантиков в руке. Конечно, должны быть и настоящие, начинать игру надо с настоящих. Первый кон надо выиграть. На второй кон положить поддельный фантик и проиграть. Потом снова положить настоящий и выиграть. Фальшивые проигрывать, а настоящие выигрывать. Некоторые выигрывали таким способом целые состояния. Главное, не тушеваться, если разоблачат, клясться всеми клятвами, знать не знаю, и всё; дескать, мне самому подсунули. Можно вообще использовать любую цветную бумажку, сложить и выдать за фантик.

Самый дорогой фантик — это «Победа». Синего цвета, с ледоколом. Эти конфеты никто никогда не пробовал. Их едят на банкетах в Кремле. Вообще, одно дело есть конфеты, а другое — собирать фантики. Совершенно разные вещи. Фантик «Победа» стоит сто обыкновенных фантиков. «Мишка косолапый» — десять фантиков, «Мишка на севере» — по-разному. В них никто не играет, зачем рисковать; их хранят в коробках, в развернутом виде.

Прозрачные бумажки, например, от ирисок, вообще не принимаются, это не фантики. Только плотные, из-под карамели и от шоколадных конфет. Вот названия самых известных фантиков: «раковая шейка», «сливочная коровка», «Пушкин», «счастливое детство», «нука отними», «красноармейские», «пионерские», «артиллерийские», «черноморские». Дело даже не в названии. Дело в том, что от одного вида фантиков становится весело, жизнь становится интересной, приобретает смысл.

Можно и марки подделывать, но это трудно: вырезать зубчики и все такое. Марку легче украсть, чем подделать. Заходишь в па-

радное, показываешь свои марки, а он тебе — свои. То да се, слово за слово... А сам пальчиком — за уголок марки, остороженько, пока не упадет на пол, и прикрыть ногой.

Проснуться утром и вспомнить о марках. Проснуться и увидеть, что комната залита небывалым светом: тишина, белые окна и то необъяснимое счастье, которое приносит первый снег. Рыжий першерон, кивая большой головой, неслышно переступает мохнатыми ногами, беззвучно катится телега, резиновые шины оставляют узорный след на снегу. Проснуться утром и увидеть мотающийся за окном красный флаг с черной каймой: снова кто-то отравлен врагами народа. Проснуться утром, выпрыгнуть из кровати и достать альбом. Не зря кирпичный узор вокруг окон старого дома напоминал зубцы почтовых марок. Воспоминания о чувствах могут быть почти такими же сильными, как и сами чувства, воспоминание, собственно, и есть пережитое заново чувство, и незаметно для себя пишущий эти строки погружается в транс, в немой восторг, с которым некогда обозревались эти богатства.

Торжественный день: поездка в Марочный переулок, давно уже не существующий. Там находится магазин, куда, впрочем, никто не заглядывает. Ибо ценность товара измеряется трудностью его добывания, а в марочном магазине продается лишь то, что добыть не составляет труда. Цель далекого путешествия — некое малозаметное брожение перед витриной и за углом, некое общество, в котором нет иерархии возраста: ученики всех классов и взрослые солидные дяди, и мошенники, и новички, и седовласые старцы. Для начала прошвырнуться туда-сюда.

Здесь обменивались условными фразами, словечками, напоминавшими тайный код эзотерических сект, отходили в сторонку, извлекали бумажники, разворачивали альбомы. Здесь исследовалась целостность уголков и зубчиков, здесь понимали толк в деле, знали в лицо королей и королев, умели оценить значение проколов и надпечаток, проверяли марки на свет, чтобы увидеть «окно» или водяной знак. Здесь изредка появлялся некто по имени Дяденька, и однажды вас увели отсюда, как гамельнский крысолов увел за собою детей, через проходные дворы, мимо помоек и снеготаялок; вы вошли в неизвестный подъезд, поднялись по зловонной лестнице и вступили в квартиру, в темный, глаз выколи, коридор, и хозяин отомкнул ключом свою комнатку и достал тяжелый, переплетенный в кожу альбом с полки, где лежала кипа таких альбомов. Все, что было высшего качества — книги в тисненых переплетах, твердые фотографии и гравюры, покрытые папиросной бумагой, — все было сделано до революции, ибо одним из завоеваний революции было осознание того, что без всего этого можно обойтись.

Дяденька держался другого мнения. Толстые листы с золотым обрезами были обведены рамками, украшены гербами, под которыми выстроились ряды марок, редчайшие экземпляры и полные серии, сувениры далеких стран, экзотических островов; целый мир глядел на вас из этих крошечных разноцветных окон, заповедник цивилизации: исчезнувшие княжества, угасшие династии, эфемерные республики и некогда могущественные империи, рассыпавшиеся в прах или ставшие сморщенными провинциями, подобно папоротникам, которые когда-то были лесами; все это, снабженное объяснительными табличками, окутанное ревнивой заботой, цветет и дремлет в ботаническом саду филателии.

## 27. СВИДАНИЕ ДВУХ КОРОЛЕВ

Девочка неслышно взлетела наверх, один марш, другой. Если бы кто-нибудь следил за ней, то увидел бы ее черный силуэт на фоне лестничного окна. Она просунула руку между пуговками платья. Сердце прыгало под ледяной ладонью. Она прижала пальцем сосок и представила себе, как там наверху, за дверью, дребезжит звонок и будит спящих.

Это была фантазия, потому что звонки были только у жителей парадных лестниц.

Она ничего не собиралась предпринимать и лишь играла в то, что могла бы сделать. В левой руке она держала ржавый, изогнутый на конце предмет. Без него игра была ненастоящей. Поднимаясь на цыпочках — один этаж, другой, — она представляла себе, как она мчится вниз прыжками через две ступеньки, никем не замеченная, неуловимая, и в тот момент, когда она выбежала во двор, она уже была наверху. Она стояла на площадке перед дверью Бахтарева, сжимая в руках свое оружие. Выглянула из окна, как бы желая увидеть себя там, внизу. Двор был погружен в непроглядную тьму.

Так прошло еще сколько-то времени; она топталась перед дверью, воображая себя в маске, в кожаном пальто с поднятым воротником, с пистолетом в руке. Добыла из кармана зеркальце, щербатый осколок, блеснувший в полумраке, и увидела страшные черты, которые не помещались в стекле. Между тем неодолимая сила, похожая на вожделение, нудила и щекотала, и подзуживала ее, как тянут за рукав непослушного или глухого. Она играла с вожделением, притворяясь, будто не слышит его зова, и как бы нехотя исполняя его приказ. Снаряд, называемый в просторечии фомкой, лежал наготове на подоконнике, девочка начала примерять его, твердо зная, что может в лю-

бой момент остановиться, чтобы не довести сладостное упражнение до конца. Она исследовала пальцем анатомию двери, ощупала медный кружок английского замка и отыскала щель между косяком и дверью, испытывая почти чувственное возбуждение; сплюснутый конец воровского орудия не входил в щель; она нажала, и дерево, источенное временем, поддалось. Теперь грохнуть в дверь каблуком, чтобы там повскакали с постелей. Отшвырнуть ржавый жезл, пулей вылететь во двор. Тревога! Бандитский налет... Что она и сделала — вернее, чуть не сделала. Тишина объяла дом и девочку, темнота раздвинула пространство; с бешено колотящимся сердцем, окоченевшая от ужаса и наслаждения, она стояла перед дверью на лестничной площадке. Медленно, умело давила на фомку, чувствуя, как железо все глубже входит в деревянную плоть, и вдруг, легко и просто, дверь открылась. Длинный железный крюк, который накидывали на петлю с внутренней стороны двери, висел на стене. Забыли нацепить. В кухне белели бумажные кружева на полках, блестел кран над раковиной. Дверь в комнату была приоткрыта. Все было кончено, и она стояла, тяжело дыша, словно после тяжелого подвига, плечи ее опустились, орудие преступления повисло в бессильной руке.

Она услышала чмокающий звук, это капала вода из крана. Нужно было что-то делать, но вся ее энергия, пыл и страсть ушли на операцию взлома. Дверь на расхлябанной пружине осталась незахлопнутой, с площадки тянуло холодом. Ей почудился шорох, движение ноги, ищущей ступеньку: кто-то крался по лестнице. Выскочить не мешкая и залезть по лесенке на чердак. Шорох перешел в ужасный скрип, но не на лестнице, а в квартире, дверь на кухню медленно растворилась, и глазам Любы предстало белое привидение.

Это была женщина в ночной рубашке, с огромными, блестящими в полутьме глазами.

«Ты кто? — сказала она могильным голосом. — Ты... зачем?»

Девочка, разинув рот, тупо смотрела на нее.

«Ты эту штучку положи... Ты откуда взлась?.. Ты наводчица, тебя подослали?»

Девочка медленно занесла фомку над головой. Пятясь, оттолкнула наружную дверь гибким движением зада и переступила порог. Она стояла, придерживая ногою дверь, на площадке в относительной безопасности, играла фомкой, потом коротко взмахнула рукой — железо полетело вниз и громко звякнуло на дне двора. Хозяйка провела рукой по гладким волосам. Некоторое время две женщины рассматривали друг друга.

«Что ж, так и будем стоять? — наконец промолвила Вера. — Заходи, раз уж пришла... Небось сама напугалась».

Ей было холодно в рубашке, она притворила дверь комнаты, опустила на табуретку и поджала голые ноги. Вода капала из крана; она потянулась и завернула кран. Девочка видела, как под рубашкой колыхнулись ее груди. Короткая полурасплетенная коса покачивалась у ней за спиной.

«Я тебя знаю, — сказала Вера, — ты из второго подъезда... Это ты кошку выбросила?»

Можно было догадаться по ее движениям, по тому, как она сидела, сложив руки под грудью и составив большие круглые колени, обтянутые рубашкой, что она не спала или по крайней мере не только что проснулась. В тайных недрах квартиры она лежала без сна и как будто дожидалась, когда ночная гостья совладеет с замком. Какая она тут хозяйка? — весь дом знал, что Толя Бахтарев не женат. Такие мужчины не женятся.

Значит, это была его «краля», «подстилка», «евоная любовница», все эти слова девочка слышала во дворе, произносимые вполголоса из боязни задеть государственную власть, ответ которой как бы падал и на Бахтарева. Можно добавить, что они произносились без осуждения, хоть и звучали грубо, — может быть, из-за особого свойства народной речи, не знающей промежуточных выражений, — и в конце концов были лишь констатацией факта, по сути дела нормального. Если уж Бахтарев выбрал себе возлюбленную в нашем доме, то никак не меньше, чем княжескую дочь.

Девочка смотрела на нее в каком-то мутном одурении, испытывая к ней одновременно физиологическое отвращение и непонятное влечение. Она растерялась, как теряется подросток, случайно оказавшись наедине с полуодетой женщиной; если можно так выразиться, ее пригвоздило на месте желание бежать. В лице Веры перед ней предстал весь женский пол, неуклюжий, чувственный, лениво-мягкотелый, широкозадый и пышногрудый, вызывающий жгучее любопытство и оскорблявший ее. Вера как будто говорила ей: и ты такая же. Но не догадывалась, кто стоял перед ней в призрачном свете, падавшем из окна: маленький кобольд, презрительный андрогин с тусклым немигающим взором и переплетенными ногами. Она встала, и девочка мгновенно отступила назад. «Садись, — сказала Вера усталым голосом, — я тебе ничего не сделаю. Сядь, говорю... — Она прошлепала босиком, неся свое полное тело, мимо гостьи, чтобы закрыть дверь. При этом оказалось, что они почти одного роста. — Гляди-ка, и замок цел. Кто же тебя подучил?»

Усевшись, она принялась заплетать волосы. Девочка пожирала ее глазами. Откуда-то взялись шпильки, она сворачивала и скалывала косу на затылке.

«Слушай, — сказала она со шпильками во рту, — может, ты есть хочешь?»

Девочка молчала.

«Я сама проголодалась. Страсть как люблю есть ночью».

Но когда она вернулась, в длинном, перетянута в талии халате и домашних туфлях, держа в руках припасы и бутылку, на кухне никого не было. «Эй», — сказала Вера негромко, вышла на лестничную площадку — девчонки след простыл.

Ей пришла в голову нелепая мысль, что, пока она там возилась, косоглазая девочка-колдунья прошмыгнула в квартиру. Значит, все-таки она пришла с какой-то целью. Разузнать о родителях Толи? Вера усмехнулась; она была уверена, что управдом, ее отец, который всё мог, уладит и эту историю. Да и зачем ночной воровке полумертвые старики?

Присмотревшись, она увидела девочку, которая сидела на корточках в углу за лесенкой, ведущей на чердак. Она вернулась на кухню; девочка бесшумно, как кошка, вошла следом за ней.

«Слушай-ка, — сказала Вера, — объясни ты мне наконец... — Она остановилась и запахнула на груди халат. — Ты что на меня оставилась? Ну-ка, подойди поближе... Ты кто? Ты девчонка? Или парень?»

Люба скривила рот.

«Я знаю, зачем ты пришла, — задумчиво жуя, говорила Вера. — Выпьем со свиданьем, самую малость не повредит... Ты к нему пришла, да? Ты в него влюбилась?»

Девочка молча смотрела за ее движениями.

«Он пьяный, не слышит...» — пробормотала Вера, оборачиваясь на дверь в гостиную. Она перевела глаза на гостью и увидела, что та тоже смотрит на дверь.

«Мой тебе совет — держись от него подальше... Он бес, он нечистая сила. Он тебе всю жизнь искорежит и сам яе заметит... Тебе сколько лет?»

Но девочка уловила то, чего Вера не слышала. Несколько времени спустя дверь неслышно, как бы сама собой, стала приоткрываться, а затем и новое лицо выступило на сцену.

## 28. КОВЧЕГ УСОПШИХ

Бабусе приснился сон. Она лежала в темноте в своей комнатке, когда в дом забрались разбойники.

Какой дом имелся в виду, не было ясно; все в этом сне, как и в жизни, происходило и там, и здесь. Трудно было решить, какая погода

на дворе, должно быть, стояла зима, обычное время ее грез, и окна до половины занесло снегом, но тотчас, спохватившись, она вспомнила, что в городе ничего этого нет. Она кралась по коридору, вытянув руки перед собой, чтобы не наткнуться на шкаф, не наделать шума и не разбудить умерших стариков, и снова сообразила, что все это ей снится; так повторилось несколько раз. В конце концов она пробудилась. Она лежала полуодетая и напряженно вслушивалась.

Сомнений не было! Снег слабо похрустывал под ногами. Чьи-то валенки пересекли двор. Кто-то стоял на крыльце, не то давешний нищий, не то управдом: она смутно видела его из окошка, прячась за цветочными горшками. Он повернул лицо в ее сторону и поманил ее, но оказалось, что знак предназначался не ей. Толпа черных бородатых людей взойшла на скрипучее крыльцо, один из них выгатажил воровской инструмент и взломал дверь. Бабуся не могла подняться, не могла закричать. Случилось то, чего она давно ждала и боялась: ее разбил паралич.

И опять все повторилось, с небольшими отклонениями, опять она дремала, грезила, просыпалась и видела сны наяву... Между тем грабитель вошел на кухню. Возможно, он искал впотьмах дверь, чтобы пробраться в большую комнату. Бандит держал наготове свое оружие, железный посох лицемерного нищего, он ведь только прикидывался, что пришел просить милостыню. Мелькнула мысль: Верка удрала, а может, сама отворила преступнику дверь.

С великим трудом поднявшись, бабуся потащила за собой свои чугунные парализованные ноги и, пока шла, пока шарила слепыми руками шкаф, холодную гладкую поверхность стекла, пришла в себя окончательно. Сон был в руку: в гостиной, на разложенном на ночь диване, лежал лицом к стене Толя — а рядом пустая подушка, одеяло откинута. В углу поблескивал за темным стеклом циферблат часов. Пустынные окна казались еще огромнее.

Заглянуть на кухню, заперта ли дверь на лестницу.

«Ты чего не спишь?»

«А ты?» — спросила Вера.

«И все шебуршится, все шебуршится... — проворчала старуха. — Я уж думала, воры залезли».

«И я думала», — отозвалась Вера.

«Э-эх, мать моя, — усевшись, сказала бабуся, довольная, что все обошлось и есть с кем поговорить. — Уж это, мать моя... — зевала она, — женчине никак не положено. Мужик пьет, на то он и мужик. А тебе над собой надо контроль держать».

«Зачем?» — спросила Вера задумчиво и допила рюмку.

«Уважать не будет, вот зачем».

«Он и так меня не уважает».

«Значит, заслужила».

Помолчали.

«Чего свет не зажигаешь?»

«И так светло». Опять помолчали, потом старуха спросила:

«Что, и он тут с тобой подкреплялся?»

«Выпей винца», — сказала Вера.

«Еще чего... Ишь, моду какую взяли».

«Тетя Паша, может, мне от него уйти? Чем резину тянуть... И тебе будет спокойнее».

«Мое какое дело, вы молодые, сами разбирайтесь. Вам жить».

«Да не живет он со мною...»

«Эва. А с кем же?»

Вера пожала плечами.

«Больно уж ты много хочешь, — сказала бабуся наставительно. — У мужчины все зависит от настроения. Так уж природой положено».

«У него никогда нет настроения».

«Значит, мать моя, заслужила!»

«Я и к врачу ходила. Врач говорит, у алкоголиков это бывает».

«Еще чего наговоришь, — рассердилась бабуся, — какой он алко-голик! Может, он нарочно пьет, чтобы от тебя отвязаться».

«Ты меня не поняла».

«Чего ж тут не понимать».

«Я не о том... Я не сладострастная».

«Чего ж тогда жалуешься?»

«Я бы все простила. Для меня главное любовь».

«Насильно... у-а-ах, — бабуся сладко зевнула, — мил не будешь... — Немного погодя она спросила: — Ну, и чего же он тебе говорит?»

«Ничего не говорит. Я к ворожее ходила».

«Во, во. Ходи побольше. Они тебе наговорят...»

«Она не шарлатанка, — сказала Вера. — Она в нашем доме живет».

«Господи-сусе! Ты уж не проговорила ли?»

«О чем?»

Старуха взглянула на дверь и провещала утробным шепотом:

«Надежда-то со стариком. А?»

«Тетя Паша. Ну что ты волнуешься, себе и другим покою не даешь. Ну, поживут и уедут».

«Куды ж им ехать? Уж они приехали...»

«Может, я все сама себе придумала? Может, на самом деле ничего и нет?» — проговорила Вера.



«Чего? — отозвалась бабуся. — Вот и я так думаю. А они все живут, ни туды и ни сюды...»

Вера молча покосилась на нее, начала убирать со стола и что-то задела рукавом, — звон разбившегося стекла, как гром, потряс кухню. В ужасе обе женщины уставились на тускло мерцающий стеклянный стебель рюмки, это было все, что осталось от девочки. Вера пробормотала: «Это к счастью...» Ночь струилась из окна. Медленно падала вода из крана. Они сидели, боясь шелохнуться, и чем отчетливей проступали из мутной мглы очертания вещей, тем сильнее было ощущение невидимого шелестящего присутствия, мертвой жизни, обнимавшей бордюрствующих и спящих.

Ночью дом жил тайной жизнью. Он казался выше и неприступней и плыл в глухой неподвижности под оловянным небом. Дом смотрел слюдяными окнами во двор, как иногда люди вглядываются в собственную жизнь, в самих себя. В недрах квартир, в могильной тьме комнат жильцы лежали в кроватях и в испуге обнимали друг друга. Дети натягивали на голову пододеяльник, воображая, как в окно влетит карлик-бородач или шаровая молния. Но и страх может наскучить, и, томимый любопытством, ребенок украдкой высовывал нос. Распростертый на спине ночной соглядатаяй вперялся в светлеющий мрак. Ему приходила в голову удивительная мысль — представление, лежащее в основе некоторых мифологий: он видел перевернутый вверх ногами мир. В этом мире вещи растут книзу, корнями вверх, пол — это потолок, а потолок на самом деле пол, и можно обойти кругом плетеный провод, на котором стоит, как громадный пыльный цветок, матерчатый абажур; неслышно ступая по белому полу, протянуть руку к нависающей сверху громаде платяного шкафа и, задрав голову, взглянуть на уснувших, как в небесах, родителей. Можно подкрасться к окну и стоять в светлой раме и увидеть внизу, на самом дне мира, черно-синее небо, оком крыш, дом-нагльфар, корабль из ногтей мертвецов, плывущий в небесных водах.

Бабуся спрашивает, не зажечь ли свет.

«Обойдусь». Вера сидит на корточках, сгребая осколки.

«Посмотрю на тебя, — сказала бабуся, — вроде ты и в теле, а сырая какая-то. Мужчину надо уметь зажечь».

«Вот бы и научила».

«Стара я таким делам учить. Сама должна знать».

«Да при чем тут...» — сказала Вера.

«Очень даже при чем».

После некоторой паузы бабуся спросила:

«И чего ж она тебе напорочила?»

«Кто?»

«Чего тебе гадалка наворожила?»

«А, — сказала Вера. — Да так, ерунду всякую».

Она села с совком в руках и тупо уставилась на дверь, за которой исчезла ночная гостья-колдунья, — чего доброго, стояла там на площадке и подслушивала.

«Поди взгляни, — сказала Вера, — нет ли там кого».

«Еще чего. Иди сама».

«Да чего ты боишься? Там нет никого».

«Никого нет, чего ж ходить?»

В эту минуту она мало похожа на свою фотографию, которую писатель этих страниц обнаружил в архиве.

## 29. РАЗЛУКА

Поговорив с бабусей, она входит в комнату, в светлый сумрак, в безумие двух огромных окон, бросает взгляд в угол, где темно отсвечивают часы, на которых навеки застыло, словно улыбка покойника, одно и то же время. Шлепают старые тапочки, некоторое время она тупо смотрит вслед удаляющейся по коридору старухе, потом сбрасывает халат, укладкой ложится. Она не так удручена своими мыслями, сколько устала от них. Страх, что она не уснет, мешает ей заснуть. Она старается не касаться расprostертого рядом мужского тела. Во сне Анатолий Бахтарев недвижим, величав — точно кокон, в котором зреет нечто готовящееся распахнуть крылья. С легким присвистом исторгается из сухих полуоткрытых губ его богатырское дыхание. Завтра день подвигов, ногу в стремя — и вскачь, в поля, в траурную зарю, навстречу черной туче кочевников. Ночь стоит в светлой комнате, как страж, и в руке у латника золотой меч-маятник. Засыпая, Вера думает о том, что устала, замучилась и все — обман, и странным образом эта мысль ей приносит успокоение.

О, как не хочется открывать глаза, снова увидеть постылые стены; с великим усилием она поднимает веки: бабуся. Страшная, как Баба Яга, старуха стоит над кроватью, развесив руки, и что-то бормочет. «Спи, тетя Паша, — шепчет Вера, — нехорошо будить людей. Ступай к себе...» И тотчас все исчезает, исчезает комната, а вернее сказать, никакой комнаты не было. Весь дом провалился сквозь землю, и туда ему и дорога. Лето в разгаре. Влажный ветер не осушает испарину, грудь и шея в поту, и пышная трава зажалась косы, едва колышется под ветром и уже начала вянуть. Что-то виднеется вдали в лиловом мареве, не то лес, не то кромка воды. К своему удивлению, она обнаруживает, что лежит под одеялом в халате. Поднимается, развязывает пояс, выпрастывает руки, освобождается от потной рубашки. И лежит не накрывшись, наслаждаясь прохладой.

Некоторые происшествия внутренней жизни могли бы показаться невероятными, если бы нам самим не случилось их пережить. Нет ничего убедительней субъективного опыта, но по самой своей природе он не может быть воспроизведен и документирован. Кое-какие записи Толи Бахтарева иллюстрируют эту мысль. Например, можно ли представить себе, чтобы два человека видели во сне одно и то же? И если это возможно, то как доказать тождественность снов?

Язык уничтожает внутренний мир сна, как фотография уничтожает галлюцинацию. В сущности, всякое сновидение можно было бы описать адекватно лишь при условии, если бы каждый из нас обладал собственным языком. Но тогда общий сон, приснившийся двум людям, если бы они попытались его рассказать, показался бы им двумя разными снами. Не значит ли это, что, когда двое рассказывают друг другу о снах, увиденных в одну ночь и совершенно разных, они на самом деле говорят об одном и том же? Если в иных случаях человек ощущает в своей душе присутствие двух душ, если личность может раздваиваться, то почему двое не могут оказаться единым существом? Нетождественность двух вещей подчас объясняется попросту несходством их описаний, подобно тому как Эверест принимали за две разные вершины, оттого что видели его с разных сторон. Невозможность чего-то слишком часто оказывается всего лишь невозможностью сообщения. Несуществование Бога есть не что иное, как невозможность рассказать о нем.

Так можно объяснить то, что произошло в постели любовников, если наши предположения — только предположения! — верны: окончательное растворение друг в друге, возвращение к устью, из которого некогда выбралось наше «я». Чёрный огонь вожделения, врата, распахнувшиеся навстречу, тёмный путь вглубь и вниз, к истокам, туда, где Ты — это Я и где Я был Тобою... Нам остается напомнить, прежде чем вернуться к Бахtareву и Вере, о древнейшей идее, вечно соблазняющей ум и вечно дразнящей воображение: о философском равноправии дня и ночи. Повторим то, что уже говорилось: если мы пытаемся понять сон, глядя на него *отсюда*, то что мешает нам взглянуть на действительность *оттуда*, очами сна; если нечто пригрезилось мне в беспомысленности, кто докажет мне, что я сам не пригрезился этому «нечто»? Все дело, следовательно, в точке зрения. То, что мы объясняем, в свою очередь объясняет нас.

Она лежит и думает, как это так получилось, что она улеглась в халате и даже не заметила этого. Стало холодно, и потихоньку она тянет на себя одеяло, стараясь не потревожить спящего. Вера хочет не торопясь восстановить всю цепь происшествий, но невольно перекакивает с одного на другое, возвращается, ловит себя на том, что ее

мысли кружатся около одних и тех же предметов. Несомненно, бдение на кухне не привиделось ей. И то, что перед этим она проснулась, вышла, узнала ночную гостью, тоже наверняка и без сомнения происходило наяву. Она спрашивает себя, где грань. И куда девалась девчонка? Когда бабка приползла, ее уже не было. Рюмка стояла на столе. Она смахнула на пол рюмку Любы невзначай, но это было позже. О чем шел разговор? Они все живут, сказала бабуся, ни туды и ни сюды, не уезжают, не умирают. Но разве было бы лучше, если бы они померли? Пришлось бы давать объяснения, что за люди, откуда взялись. Неизвестно даже, разрешат ли похоронить их в Москве. Пришлось бы везти в деревню.

Ах, что мне за дело, думает Вера, отец в курсе, он все уладит. Отец все для нее делает, потому что любит ее, любит — она это знает — больше, чем положено отцу. Она поняла это... стоит ли вспоминать? Ей было четырнадцать лет, и мать еще была жива, но почти все время лежала в больнице. Однажды отец вернулся и встал в дверях со странным выражением, глядя не на нее, а сквозь нее. Они умерли? — спросила Вера. — Что же мы теперь будем делать? Кто? — спросил он. Она сказала: деревенские мать и отчим. Он махнул рукой. Брось ты об этом думать, сказал он, у меня везде есть знакомства, поговорю с Ефимчуком, на худой конец с Сергей Сергеичем... Поймай, спохватилась Вера, ведь это все было гораздо позже, а тогда мне еще и пятнадцати не было. А я о чем говорю, возразил он, брось думать об этом. Воспоминание никогда не бывает таким непослушным, как в полусне, и тут оно обрело деспотическую власть; начав думать об этом, Вера уже не могла остановиться.

Отец встал в дверях, и она спросила: что, мама умерла? Оба они давно ждали этой смерти. Нет, сказал он, все так же глядя на нее. Что-то было в его выражении, что заставило ее насторожиться. Ты уже большая, проговорил он, ты должна понять. Сколько можно жить одному... Ложись спать, дочка. А ты? — в страхе спросила она. А я с тобой, сказал он. Она повернулась спиной к нему и стала расплетать волосы. Вдруг оказалось, что отец стоит позади нее. Его руки взяли ее за плечи, пальцы начали отколупывать пуговицы платья, сначала верхнюю, потом следующую. Она все еще стояла, теребя полураспуценную косу. Потом она отбежала в угол.

Он не стал ее преследовать, он просто сказал: что ты боишься, ничего тут такого нет... Мы с тобой родные. Вот и будем жить как родные. Ты же знаешь, у меня нет больше никого. И никого я не хочу. Иди ко мне, не бойся. Если тебе будет больно, ты только скажи, я сразу уйду. Он снова подошел к ней и стал целовать ее в шею, в грудь. Ложись, сказал он, нам пора спать. Ты видишь, что иначе никак невоз-

можно. Я не знаю, что я с собой сделаю, наложу на себя руки, если ты не ляжешь. Она испугалась и пролепетала: да, сейчас. Она лежала на материнной кровати, на их кровати, и отец медленно гладил ее тяжелой ладонью, точно смывал с нее страх и стыд, и на ней уже ничего не было. Потом он тяжело вздохнул, встал, и необычайно обострившимся слухом она услышала, как по лестнице спускаются его шаги. И ничего не было, — да, да, да, ничего не было, а на другой день, когда она пришла из школы, оба делали вид, будто никакого разговора и уговаривания не было, и больше ничего такого не повторялось.

Ночь! Ночь! Огромный дом плывет под оловянным сводом, и пустые глаза небес отражаются в его окнах. Вот если бы, думает Вера, все уладилось к общему согласию, если бы отец и Бахтарев поменялись местами. Эта причудливая мысль вернула ее к разговору с бабусей. Выпей винца, сказала Вера и подвинула к ней рюмку, предназначавшуюся для той, вломившейся среди ночи. Я ходила к гадалке, сказала она. Во, во, ходи побольше, они тебе наговорят; бабушки, спохватилась бабуся, уж ты не проговоришься ли? О чем? Как о чем? — и опять о тайных постояльцах, и снова мысли ее потекли по затверженному кругу. Гадалка была худая прокуренная женщина неизвестного возраста, нерусского вида, по прозвищу Раковая Шейка, с серебряными зубами и в серьгах из поддельного серебра. Чтобы войти к ней, нужно было особым образом постучаться, назвать свое имя, еще раз постучаться, сказать, от кого пришла, после чего Раковая Шейка сдержанно сказала из-под двери: «Я не одета. Одну минуточку». Некоторое время спустя из комнаты выскользнул посетитель, немолодой дядька, окинул Веру подобострастно-умильным взглядом от груди до ног и удалился бочком. Она стояла посреди комнаты, устланной ковром, уставленной вазочками, увешанной тарелочками, китайскими веерами, фотографиями балерин, и смотрела оробев на ворожею с папиросой в серебряных зубах, в длинном переливающимся халате с поперечными полосами, туго запахнутом вокруг ее тощих бедер, и с глубоким вырезом, за которым, однако, не было не только груди, но, кажется, и грудной клетки. И что же она тебе нагадала, спросила бабуся.

В эту минуту Вера смахнула что-то рукавом со стола, рюмка с громом разлетелась, и спящий в большой комнате пробудился. Может быть, он и не спал. Они услышали глухой голос: «Ты чего там?» Вера сидела на кухне, сначала с девчонкой, а потом со сморщенной, беззубой, выжившей из ума старухой. Еще одна старуха пряталась в каморке за шкафом. Веру охватил ужас. Она взглянула на спящего рядом, но он не спал. Страшное подозрение мелькнуло в ее уме или, лучше сказать, подтверждение того, что она уже знала. Она приподнялась на локте. «Толя!» — сказала она. Он не спал: он умер. Он не дышал. Она



паннных бровей. На Раковой Шейке был халат — лучше назовем его капотом — из полосатой красно-серебряной ткани, которому эта дама, очевидно, была обязана своим прозвищем. Капот запомнился всем, кого удалось разыскать и опросить; этот пример показывает нам, что жизнь не хуже романистов умеет пользоваться методом характерной детали.

Гость шествовал по коридору мимо дверей, за которыми в своих комнатах-коробках сидели никому не известные жильцы, в каком-то вечном ожидании, словно жуки на булавках. Квартиру можно было сравнить с энтомологической коллекцией. По миновании коммунального коридора, кухни и уборной нужно было повернуть; тут прищельцу преграждал дорогу ситцевый занавес, каким обычно задерживают углы с рухлядью; за занавеской помещались сундук и вешалка; и наконец, еще одна дверь открывалась в покои Раковой Шейки.

Относительно этих покоев в доме существовало немало легенд: говорили, что там несметное количество комнат — три или четыре, и что на самом деле там находилась особая квартира, искусственно соединенная с коммуналкой; что же касается самой Раковой Шейки, то это была особого рода мистическая знаменитость, и попасть к ней на прием можно было лишь по особой рекомендации.

«Ты одна?»

Хозяйка потупилась, как сирота, которую спросили, как ей живет в приюте.

«Мои друзья меня не забывают. Не в пример некоторым... Между прочим, спрашивали о тебе».

«Пошли они все...» — буркнул Бахтарев.

Гость был усажен на диван под веерами и фотографиями балерин, а несколько времени спустя раздернулись портьеры, в гостиную въехала ведомая Раковой Шейкой тележка, нагруженная бутылкой темно-янтарного стекла, блюдом с бутербродами, коробкой шикарных папирос «Герцеговина Флор» и Бог знает еще чем.

Смежив ресницы, Бахтарев втянул в себя божественный напиток.

Сидя на пуфе напротив стола-тележки, хозяйка деловито оглядывала себя, длинными смуглыми пальцами опраивляла глубокий, как пропасть, вырез халата. Может быть, оттого, что в этой комнате непостижимым образом замедлялся ход времени, разговор, едва начавшись, прервался паузой, в продолжение которой были осушены одна за другой несколько рюмок, с аппетитом съеден бутерброд с лоснящейся краковской колбасой.

Она спросила:

«Как поживают твои постояльцы?»

«Какие постояльцы?»

Раковая Шейка постаралась придать своему взгляду некую покровительственную игривость.

«От друзей, — проворковала она, — можно не прятаться. Друзья не побегут доносить!»

«А ты, собственно, откуда знаешь?»

«Мир слухом полнится...»

«Этого только не хватало».

«Лососину можно брать вилкой. Друзей можно не стесняться».

Он спросил:

«Говорят, она к тебе ходит?»

«А это, золотко мое, профессиональная тайна. У женщин, Толенька, свои заботы. Женщину может понять только женщина...»

В таком духе шла беседа.

Тут придется сделать снова небольшое отступление. В исторической литературе встречаются утверждения, будто эпоха, наступившая вслед за коллективизацией сельского хозяйства, была временем голода и аскетизма. Позволим себе в этом усомниться. Не говоря уже о сцене в гостиной, то, что происходило в соседней комнате, опровергает эти домыслы. На самом деле в ту замечательную эпоху пищи хватало для всех. Конечно, за исключением тех, кому не хватало. Все развлекались — кроме тех, кто не развлекался. Все предавались телесным и умственным удовольствиям, не считая тех, кто этих удовольствий был лишен; все были счастливы, кроме тех, кто был несчастлив.

Постараемся не скрипеть половицами и заглянем втихаря в комнату, смежную с китайской гостиной, где под гостеприимным абажуром восседает суровая компания; на столе стоит обширнейших размеров блюдо со снедью, стоят бутылки с крем-содой — игра требует трезвости — и хлебница с щедро нарезанным пухлым саратовским калачом. Молчание, сосредоточенное побряхтывание, косые взгляды, бросаемые на соседа. Нахмуренные брови выражают работу мысли.

«М-м... кхм».

«Гм-м...»

«Тэк-с. Что козырь?»

«Черви...»

«Н-да. Ну-с... допустим, так. Что скажете?»

«Бастую».

«Пас. Позвольте подкрепиться...»

«Нет уж, вы позвольте. Семерка».

«Король...»

«А мы вас козырем!»

«Я, знаете ли, обдумал ваши доводы. И должен сказать...»

«Опять вы за свое».



«Должен сказать, что я с вами в корне не согласен. Чтобы разобраться в русской истории, нужно отдать себе отчет в том, что такое время...»

«Снова-здорово. Опять двадцать пять. Можете ли вы объяснить мне, в чем смысл этого вечного шаманства: конец истории, всеобщая гармония и мир?»

«То, что вы называете шаманством, представляет собой ядро национального самосознания...»

«Именно. А мы вас тузом».

«А мы вас королем!»

«Позвольте: сколько же это у вас королей?»

«Пять. История прекратится, и время будет упразднено. Но что такое прекращение времени?»

«Следите за игрой...»

«В наших усилиях постигнуть тайну времени — не остаемся ли мы прикованными к метафоре пространства? Либо мы воображаем реку, которая несет нас навстречу мглистому океану времени, либо трактуем происходящее как некий рассказ, как книгу, где прошлое — это прочитанные страницы, а будущее — то, что остается прочесть. Между прочим, превосходные сосиски, где она их достает?»

«М-гм. Па, па, па, па. *Паду-у ли я, стрелой пронзенный*».

«*Иль мимо пролетит она! Все благо*».

Некоторое время компания исполняет арию Ленского, разделив ее на голоса.

«Пас. Позвольте подкрепиться...»

«Что козырь?»

«Пики. Следите за игрой... *Паду-у ли я, стрелой пронзенный!*»

«Вершина самоотрицания, предел и апофеоз нашего русского нигилизма — отрицание времени. Здесь кроется семя нашей разрушительности, этого упоения, с которым мы, русские, из века в век губим себя...»

«А я вам скажу, что попытка отрицать субстанциональность времени приводит к таким же нелепостям, как и попытка ее обосновать. Мнимость прошлого и будущего отнюдь не сводит наше национальное существование к нулю, напротив, возводит его в квадрат. Нереальность времени возвышает нас над действительностью и даже... даже делает нас богоподобными! Если мы способны отмежеваться от времени, если и логика, и наша интуиция равно допускают такую возможность, то, значит, мы действительно, в известном смысле, существуем вне времени, а что значит оказаться вне времени?»

«Ничего не значит. Ремиз. По червям?..»

«По пикам. Между прочим, превосходные... где она их...»

«...это значит не быть, не существовать. Или, если хотите, существовать вечно. Вот вам и разгадка Бога. Бога нет, или, что то же самое, он существует вечно. Абсолютное существование и абсолютное небытие — одно и то же».

«Это уже что-то буддийское...»

«Но я больше склонен верить евреям, которые утверждают, что время сотворено Богом. Собственно говоря, это и означало сотворить мир. Пас».

«*Паду-у ли я, стрелой...* А мы вас тузом!»

Между тем в китайской гостинной беседа принимает все более доверительный характер:

«Мужчину, Толенька, может понять только женщина. Мужчина сам себя не понимает...»

В дымчатом лиловом зеркале отражается пучок черных как смоль волос, гибкая спина и лирообразный зад хозяйки. Смуглая рука, на которой болтается браслет из дутого серебра, держит руку любимца женщин.

В столовой:

«Возьмите Бытие. В начале сотворил Бог небо и землю. Я правильно цитирую? Имеется в виду абсолютное начало, прежде которого не было ничего. Бессмысленно спрашивать, что было, когда ничего не было. Но если мы в самом деле образ и подобие Бога, то потому, что и в нас заложена частичка абсолютного бытия вне времени и, конечно, вне всякого пространства».

«Именно. Что и требовалось доказать. Следите за игрой, черт бы вас побрал совсем... Иудаизм рассматривает время как эманацию божества, совершенно верно, — но чему служит этот тезис? Он служит для того, чтобы оправдать нежелание отрешиться от времени. Евреи чувствуют себя в истории как рыба в воде, ощущение того, что ты живешь не только в сиюминутном быту, но и в истории, для них естественно и присуще даже самым простым и темным людям, чего, например, совсем нет у русских, и, собственно, сама идея истории есть идея сугубо еврейская. Библейский эротизм... это, знаете ли...»

«*Всё благо, бдения и сна приходит час определенный*».

«Поступайте в театр».

«Поступайте в монастырь. *Всё благо...* А еще лучше сделайте себе обрезание».

«Но позвольте: эротизм? При чем тут?..»

«А при том, что евреи относятся к миру как к объекту своего вождения. Вы помните, что сказал Бог Аврааму? Посмотри на небо и сосчитай звезды, если можешь их сосчитать: столько будет у тебя потомков. Удивительная фраза — звезды уподоблены спермиям. Что это, как не указание на неиссякаемую сексуальную мощь еврейства?»

«Знаете, что я вам скажу? Я сам еврей!»

«...для них весь мир — женская плоть, и, кстати сказать, это объясняет роль евреев по отношению к русскому народу».

«Но, может быть, это любовь?»

«Да... и любовь тоже. Точнее, сексуальная агрессивность».

«Вы имеете в виду революцию».

«И революцию тоже. По червям».

### 31. ЧТО НАША ЖИЗНЬ?

Эта увлекательная мысль будоражит умы, карты шлепаются о клеенчатую скатерть.

«Позвольте! Что за странный подход к русскому народу как к спящей красавице, которую целует принц?»

«Вот именно. С поцелуев все и начинается».

«Хорош принц, ха-ха...»

«А мы вас дамой! Вот вы себя и выдали».

«Что значит — выдал? Вы приписываете мне совсем не то, что я хотел сказать. Я имею в виду еврейство как мощную оплодотворяющую силу».

«Да, но объективно, объективно!»

«Обремизились вы, сударь мой...»

Тем временем в гостиной совершается нечто таинственное, глаза Раковой Шейки изучают ладони гостя, лежащие на ее коленях.

«Я была совсем юной девочкой, Толенька, и я предсказала ему его судьбу. В нашем роду женщины передавали друг другу это искусство с незапамятных лет. Моя бабушка гадала при дворе... Нет, я не сказала ему всей правды, потому что эта правда была ужасной... И еще потому, что я полюбила его. Он был богат, Толенька... Не только эта квартира, но и весь дом принадлежал ему, и еще много домов... Он звал меня с собой в Париж... Я не решилась... Вот эта линия начинается от самого твоего рождения, она ведет через многие события и кончается смертью».

«Чепуха все это...»

«Чепуха? Если бы это было так!»

В столовой:

«Вношу предложение удвоить ставки».

«Кхм. Гм!»

«Предложение принято. Что козырь?»

«Вот что я вам скажу: не старайтесь поймать меня на слове...»

«Упаси Бог! Мы ищем истину».

«Между прочим, прекрасные...»

«Тс-с!»

«Где она их?..»

«Тс-с!»

Откуда-то снизу на черной лестнице раздается мерный грохот шагов.

«Идут».

«Наоборот, спускаются».

«Идут, говорю вам! За нами».

«Ну, уж вы скажете. Поосторожней выражайтесь».

«Да помолчите, ради Бога. Идут».

«А что такого? Сидим, закусываем».

«По-моему, это один человек».

«По одному они не ходят».

«Сколько же их там, по-вашему?»

«Ложная тревога. Они бы уже давно были здесь».

«А знаете, что полагается за всю эту вашу философию?»

«Мне кажется, нам нечего бояться. Времена изменились».

«Что значит изменились? Сегодня изменились. А завтра...»

«Умоляю: следите за игрой!»

*«Что наша жизнь? Игра!»*

«Мы ищем истину, стоящую не только над людьми и чувствами, но в известной мере и над фактами. Факты и события сами по себе не истина. Лишь сопоставление разных рядов и сличение вариантов позволяет уловить общий вектор».

«Это уже что-то гегельянское. И вообще я не уверен, что наша история представляет собой, так сказать, окончательный текст. Может быть, существуют народы, история которых удалась. Но не история России».

«А соборность?»

«А Иоанн? Вы не со мной спорите, а с ним. Вы ставите под сомнение единственность Слова».

«У Бога много слов. И я думаю, что мы проявим разумную осторожность, если отнесемся к отечественной истории не как к литературному шедевру, а как к вороху черновиков. Мы увязнем в этих черновиках, вместо того чтобы попытаться вникнуть в замысел Автора и понять, что это всего лишь — предварительные наброски... Я предлагаю вдуматься в замысел. Да, я считаю, что роль и влияние иудаистического элемента в истории, и прежде всего в русской истории, недооценены».

*«Что наша жизнь? Игра... Па-па-па-па-па-па, ловите миг удачи. Пусть неуда-а-а-чник плачет!»*

«Уж коли не везет, так не везет до конца».

«С вас, молодой человек, пятьдесят пять рубликов...»

«Россия неотделима от Израиля, как горбун от своего горба. Революция это доказала».

«А соборность? А Достоевский?»

«Вы правы. Я думаю, нам не стоит выходить всем сразу».

«Это во-первых. А во-вторых, я считаю, что Вейнингер ошибся. Он объявил евреев женственным народом. На самом же деле евреи концентрируют в себе мужскую, сексуально-агрессивную энергию человеческого рода. Еврейство спеленуто мифами. Один из самых распространенных — миф о еврейском интеллектуализме. Будто бы это особо одаренный народ, нечто вроде непомерно разросшегося мозга на хилых ножках. Будь это так, на земле давным-давно не осталось бы ни одного еврея. Интеллектуальные народы быстро сходят со сцены... А между тем евреи бессмертны, как бессмертна зародышевая плазма. Евреи — не мозг, а фаллос человечества. Русский же народ как раз и есть народ по преимуществу вагинальный. Почему я говорю о созидании и разрушении? Потому что можно с равным правом говорить и о том, что еврейство оплодотворило Россию, и о том, что оно изнасиловало ее».

«А соборность, вы забыли соборность!..»

«А органика, где же органика?..»

«Эти бедные селенья...»

«Между прочим, превосходные сосиски. Где она их...?»

«Я думаю, нам не стоит выходить всем сразу...»

.....

...Поистине одной из самых трогательных иллюзий времени, которое мы пытаемся сложить по кусочкам в нашей хронике, была уверенность в его абсолютной новизне. Между тем это было все равно что, сменив часовой механизм, надеяться на радикальное обновление того, что он отсчитывал. Как часы на башне Кремля, невзирая на все перемены, остались все той же мельницей веков, уныло и величаво вращающей лопасти стрелок, так и карточные короли и дамы, и охотничьи сосиски, в самом деле изумительные, и китайские веера, и ветхий оранжевый абажур над лысыми игроков, и разгадыванье Божьего замысла о русском народе перекочевали из одной эпохи в другую, словно пассажиры, которым в последний момент удалось перебраться с тонущего корабля на баркас. И было бы заблуждением думать, что игорно-гадательный салон экзотической дамы по имени Раковая Шейка, который должен был бы — не заручись она покровительством неких влиятельных друзей — именоваться на языке нового правопорядка притоном, был всего лишь коммерческим предприятием неблагоприятного свойства.

Белый зал, снега и маски, тысяча девятьсот тринадцатый год! Коньяк и лососина!.. Как, однако же, «в грядущем прошлое тлеет...» А смоляная челка до бровей! Не правда ли, вы ее узнали? А переливчатый капот, а глубокий вырез — провал, ведущий в никуда! А прозрачная даль лилового зеркала?

## 32. ОРДЕН

И наконец, игра... Кто сидел под абажуром? Не все ли равно? Надо ли комментировать эту сцену — разве только добавить к сказанному несколько слов, чтобы не отвлекать читателя от нити нашего повествования. Итак, если можно представить себе рать без оружия, партию без устава, рыцарство без Святой земли, если предположить, что может существовать знание, свободное от принудительности науки, философия, которой неведома дисциплина мысли, теология, не способная доказать существование Бога, патриотизм, настоящий на отворачивании к родине, и умение чувствовать себя как дома во всех эпохах, кроме той, в которой живут, — тогда придется признать преимущество Ордена Игроков в русской истории, иначе называемого Орденом Интеллигенции: как это ни покажется удивительным, он дожил до наших дней. Традиция запрещала игрокам обсуждать исходные посылки их умозрений, подобно тому как не обсуждаются принципы построения карточной колоды; смысл иерархии королей, дам и валетов, замкнутой в себе и доступной лишь манипулированию по законам игры, значение таких терминов, как История, Время, Народ, таких определений, как национальный, почвенный, органический, — значение, смысл этих слов не уточнялись, и синтетический подход к действительности — или к тому, что принималось за действительность, — решительно преобладал над аналитическим. Неизменной любовью пользовался стиль, который можно назвать рапсодическим. Пророческому пафосу отвечал целостный взгляд на историю.

Таинственная прелесть карточной игры состоит в том, что ее события протекают вне времени. Учителя Ордена сравнивали историю с композицией некоторых старинных икон, на которых все происходит как бы одновременно. Они говорили об «иконическом мышлении», которое останавливает течение времени и разрывает дурную бесконечность одних и тех же усилий и разочарований, вечных неудач отечественной истории. Стоны и судороги стихают, календарь теряет свою докучливую власть, история становится беззвучной и невесомой, движется и не движется, и воскрешает в памяти прозрачный танец коней, на которых сидят братья-мученики, князя Борис и Глеб.

Лишь при этом общем условии можно было размышлять над событиями, обращать внимание на созвучия и повторы, то есть иметь в виду, что все они — только частные проявления некоего надвременного единства. Одна и та же рука пишет первые и последние страницы рукописи, единый алфавит истории есть единый веер карт. И если Бог стоит над временем, как повествователь над своим рассказом или игрок над раскладом мастей, то его проект необходимо включает в себя и то, что нам представляется будущим, — сияющий финал истории, называемый Русской Идеей. Другими словами, цельность отечественной истории предполагает возможность ее цельного постижения — всей истории, а не только той, которая была. Но это и означает преодоление истории, преодоление ее проклятья.

### 33. ЖЕНА ПОТИФАРА<sup>1</sup>

«Ладно, мамаша. Я пошел».

«Как тебе не совестно! Ты меня обижаешь».

«Извини. Я пошел».

«Стой! А вот мне интересно, кто будет платить?»

«Я не при деньгах. Вера зайдет, отдаст».

Она посмотрела на него долгим взглядом.

«Мне не нужна Вера. Мне не нужны твои деньги... Нет, ты так просто от меня не уйдешь. Мы еще не поговорили. Сядь. Выпей рюмочку. Ах, золотко мое... я так одинока».

«Ты-то?»

«Я. Одна как перст».

«Выходи замуж».

«За кого?»

«Ну, хоть за этого... который у тебя бывает. Директор столовой или кто он».

«А! Вульгарный самец».

«Ну, я пошел...»

«Сядь. Если ты уйдешь, я не знаю, что я с собой сделаю. Перережу себе вены. Выброшусь в окно. Я больше не могу. Я погублю и себя, и тебя. Я требую, чтобы ты сейчас, здесь со мной остался».

«Тетя...»

«Опять! Да перестань ты, ради Бога, так меня называть. Ты оскорбляешь во мне женщину!»

«Ладно. Прости».

---

<sup>1</sup> Бытие, 39:6 сл.

«Я знаю: ты привык, чтобы перед тобой унижались... Но мне сладостно склониться перед тобой... Мой повелитель. Хочешь? Я встану на колени. Я простерлась ниц».

«Да брось ты. Этого еще не хватало».

«Чего же ты добиваешься?»

«Да ничего...»

«Ты хочешь, чтобы я пошла и донесла? Какая мысль, х-ха! — и она трагически расхохоталась. — Чтобы я пошла куда надо и сказала, что у тебя живут посланные кулаки».

«Иди доноси...»

«Ты этого хочешь. Ты этого добиваешься. Да, я пойду. Влюбленная женщина способна на всё. И никакой Семен Кузьмич, никакой Ефимчук тебе не поможет. Сядь... Расскажи мне, как у вас с ней...»

«Да ведь она тебе все рассказала».

«Что она может рассказать? Толстозадая дура. Нет, — сказала Раковая Шейка, — можешь благодарить Бога, я честный человек. Другая на моем месте... но я поступлю иначе. Я убью себя. Сейчас, на твоих глазах».

«Валяй...»

«Ты, может, быть, еще не видел. Это память любви... Во времена первой, ранней юности, когда я была неопытной девочкой, когда мне было шестнадцать лет... он мне его подарил. Когда-нибудь, сказал он, этот кинжал тебе пригодится».

«Дай сюда. Он тупой».

«Можешь быть спокоен. У меня хватит силы вонзить его в грудь. На *это* у меня силы хватит!»

«Ладно, поговорили и...»

«Нет!!! Не отворачивайся. Ты видишь... я на все готова».

«Слушай, — проговорил Бахтарев, — понимаешь? Как бы это объяснить. Я не расположен».

«О-о... Предоставь это женщине. Современная женщина не ждет, когда ее будут просить. Ждать милостей от природы... о нет! Взять их — наша задача! Современная женщина сама идет навстречу своему долгу, гордо и смело идет навстречу наслаждению. Ты еще не знаешь, что такое истинное наслаждение... Сейчас я покажу тебе каплю моей крови, и желание вспыхнет в тебе... Разве ты не знал, что ничто так не разжигает желание, как кровь?»

Она держит перед собой свое оружие — вероятно, нож для разрезания книг, — и разноцветный капот ползет с ее плеч.

«Ты видишь: я вся перед тобой... Какая есть, другой не надо... Молчи. Не сопротивляйся. Дай мне твою руку, я осыплю ее поцелуями. Молчи. Ни слова. О, я хочу тебя видеть... Не мешай мне/Пре-



доставь все женщине. О, какие холодные руки... Дай мне согреть их... положи их сюда. Обе положи. Обе! Мой спящий, мой снежный богатырь... Я разбуду тебя... Не сопротивляйся... ну! Ну?.. Ты забыл, как это делается? Я сказала, не сопротивляйся! Прочь все мысли. Думай только об этом. Думай об этом, да, да, да. Думай об этом, об этом...»

### 34. ЛЮБИМЕЦ ЖЕНЩИН

Станным образом о русском человеке подчас бывает трудно сказать, кто он такой. И когда же? — в наше время, когда общество уже достигло той степени зрелости, при которой место человека под солнцем всецело определяется его должностным положением. Другими словами — когда все модусы бытия носят государственно-должностной характер, когда возраст, образ жизни, психология, способ добывания пищи и даже способ обманывать государство — все есть должность. Всяк сверчок знай свой шесток. Это народное изречение отнюдь не следовало понимать в том смысле, что-де не суйся куда не положено. Напротив, оно означало, что за столом у нас никто не лишний, что у котлов с мясом каждому отведено его место, и пускай не для каждого припасено золотое блюдо — алюминиевая миска и ложка найдутся для каждого.

Управдом — это была должность, и квартирьер-съемщики — должность; и ученики средней школы были на свой лад государственными служащими, как были ими директор и педагоги, и Орден Интеллигенции, и рабочие, и колхозники, и банщики, и пенсионеры, вообще весь народ, представлявший собой, так сказать, коллективную должность. То же можно было в конце концов сказать и о гражданах, посещавших двор, хоть они и выглядели последними могиканами частного предпринимательства: и продавец будущего, и продавец воздуха, и точильщики, и слепые певцы, и искатели жемчуга, «лазавшие», по выражению Любы, по помойкам, — все они заняли свое место в штатном расписании общества, будучи в некотором роде должностными лицами с обратным знаком. Тем удивительнее было существование в нашем доме человека без должности.

«Где же он числится?» — спрашивали люди и разводили руками.

И можно понять упреки добрейшего Семена Кузьмича, за которыми скрывалось не столько осуждение, сколько недоумение: в самом деле, как удавалось Толе Бахтареву нигде не работать, никем не числиться? Оставался единственный ответ: статус любимца женщин. Этот статус и был для него положением в обществе. К несчастью, само общество, или что то же самое, государство, в лице его представителей, включая управдома, участкового милиционера Петра Ивановича, дворника Болдырева и прочих, вплоть до всемогущего Ефимчука, не

признавало этот статус легальным. Каковы бы ни были подлинные источники существования гражданина в этом обществе, он обязан был прежде всего *числиться*. О смысле этого слова у историков нет единого мнения; во всяком случае, оно не представляло собой математическое понятие, производное от слова «число», а скорей всего означало «числиться работающим», другими словами, получать хлеб за государственным столом, из государственных рук, а не чьих-либо иных. Закон этого общества, начертанный над воротами будущего, гласил:

«Кто не числится, тот не ест».

Между тем Анатолий Самсонович Бахтарев ел и пил, не будучи ничем обязан государству. И даже бравировал своей независимостью, ибо не прилагал необходимых стараний к тому, чтобы замаскировать свой статус. Он жил как живет, и государство странным образом разрешало ему жить, разрешало пользоваться своими благами, дышать государственным воздухом — смесью азота, кислорода, углекислоты, инертных и кишечных газов, пользоваться местами общего пользования, лестницей, двором и проч., — разрешало или, по крайней мере, соглашалось (доколе?..) закрывать на это глаза, что и повергало в изумление управдома, хотя, как мы знаем, не кто иной, как управдом, покрывал Толю. И то, что высшие руководители проявляли такую снисходительность, внушало Семену Кузьмичу даже определенное уважение к Бахтареву. Это уважение было даже больше, чем если бы Толя Бахтарев был «как все».

«Артист, — говорил Семен Кузьмич, — вот артист, а?»

Мысль, которую он хотел выразить с помощью этого не переводимого ни на какие языки слова, была следующая: я тружусь с утра до вечера, покоя не знаю. Там крыша протекает, там штукатурка валится; там притон устроили, танц-пляс по ночам. Только успевай управлять, и никто спасибо не скажет. А тут человек живет на всем готовом, лежит на диване и в потолок плюет. Даже носки ему эта дура штопает, только что на горшок не сажает. За что ему такая привилегия?

«Ты можешь мне объяснить?» — задавал вопрос управдом.

Ответа не было.

«За что его бабы любят?»

Вера пожимала плечами. В самом деле, за что?

### **35. СКОЛЬКО БЫ МЫ НИ ВОЗМУЩАЛИСЬ ЭТОЙ ПРОФЕССИЕЙ, ОНА НЕ ИСЧЕЗНЕТ**

Профессию любимца женщин не следует путать с древним, хорошо известным из литературы ампула соблазнителя. Мы имеем в виду европейскую литературу, ибо, вообще говоря, соблазнитель есть при-

надлежность западного образа жизни, тогда как любимец женщин — фигура российская. И дело тут не в том, что западный охотник за женщинами расчетлив, активен, изобретателен, а русский бабник ленив, следствием чего может стать существенная разница в статистике побед. А в том, что самый термин «победа» к нашему случаю совершенно не подходит. Скорее, следовало бы говорить об обратном: о разрешении одержать над собой победу, о сдаче без боя и мирном вступлении войск в страну, которой грозит распад и хаос. Как и соблазнитель, любимец женщин наделен прельстительной силой, она пронизывает вас, едва лишь этот человек появляется на пороге, отряхивает шапку от снега, расстегивает ветхое пальто и поднимает на вас синие глаза, шальные и беспомощные, глаза вечного подростка; но в магнитном притяжении этих бесприютных глаз нет ничего демонического. Любимец женщин обладает непостижимой способностью действовать на женские железы, вырабатывающие жалость. Насколько известно, этот гормон имеет несколько иной химический состав, чем гормон страха и сладостно-жутковатого ожидания, который вырабатывается в присутствии соблазнителя.

Таким образом, привязанность Веры, как и привязанность каждой женщины, действующей под влиянием гормона сострадания, была в одно и то же время самоотречением и аннексией. Расплатившись собой ради спасения медленно погибавшего, как ей казалось, Бахгарева, она потребовала взамен его самого. Это была вполне эгоистическая самоотдача, так сказать, пожирающее самопожертвование; но то, что было для нее подвигом, в случае с другой женщиной квалифицировалось бы как грабеж. Женщины делятся — в полном соответствии с нашей классификацией мужчин на соблазнителей и любимцев — на хищниц и тех, кто хотел бы быть похищенными; но еще неизвестно, кого надо было больше опасаться. В ее любви к магистру ордена болтунов (ибо и Толя, посещая Раковую Шейку, случалось, присаживался к карточному столу пофилософствовать о судьбах нашей страны) была примешана щепотка презрения, что делало эту любовь еще более вязкой, подобно некоторым добавкам к тесту: она считала его — и не без основания — слишком вялым, слишком ленивым, слишком погруженным в неопределенные, никогда не осуществляющиеся планы, в словоблудие с приятелями, считала Бахгарева слишком нерешительным, а может быть, и недостаточно темпераментным в мужском смысле, чтобы активно охотиться за какой-нибудь другой юбкой, — последнее обстоятельство служило ей утешением, как бы залогом верности. Вере не приходило в голову — а если приходило, то эту мысль гнали от себя прочь, — что недостаток страстности может быть попросту признаком недостаточной любви к ней: так уж он устроен,

думала она, бывают мужчины ненасытные, а бывают и такие, которых раз в неделю покормишь, и они сыты. Любопытно, как иногда самое глубокое чувство прибегает к почти непристойному лексикону.

Из сказанного следует, что любимец, или иждивенец, женщин (приходится пользоваться этим выражением, ибо близкие по значению западные слова, как-то: альфонс и тому подобные, в нашем случае непригодны) есть в некотором роде лицо страдательное. Фигура не новая, можно даже сказать, традиционная для нашего отечества, хотя именно в нашу эпоху возвысившаяся до социальной роли. Сколько мы видели таких молодцов... Было ли это следствием женской эмансипации, массовой гибели мужчин или ожидания следующей истребительной войны? Или просто еще одним подтверждением того факта, что Россия есть страна женская, маточная, податливо-поглощающая, страна правого полушария мозга, нижней половины тела, страна, которая гасит волю и растворяет личность, и ничего тут не поделаешь, ничего не изменишь?

Итак, на вопрос: по какому такому праву Бахтарев коптил небо? — дать ответ невозможно, никаких особых оснований для этого не было. Государство, однако, по своей неизъяснимой милости терпело его существование, а раз так, герой наш все-таки имел кое-какое право дышать государственным воздухом и жевать государственную горбушку — право на двести грамм милосердия, которым пользовались собиратель кусков, инспектор дымоходов и *tutti quanti*, и все жильцы нашего дома, и труженики полей, и пионеры, и пограничники, и стахановцы, и все трудящиеся, и нетрудящиеся, и вообще весь народ.

## 36. GRÜBELEI<sup>1</sup>. РУССКАЯ БОЛЕЗНЬ

В записках гражданина без должности встречается странное выражение, которому он придает обобщенный смысл, не объясняя его, словно речь идет о чем-то самоочевидном.

Мы понимаем, что взяли на себя непосильную задачу, — этот человек неуловим. Разрозненные заметки, свидетельства случайных лиц — попробуйте-ка восстановить случившееся, построить убедительную гипотезу на этом скудном материале. И все же трудно отделаться от впечатления, что чем ближе к развязке, тем меньше благодушной иронии в его обмолвках. Кажется, мы начинаем понимать.

Проснуться от жизни, говорит он. Но разве и нам самим не приходится время от времени просыпаться, как просыпаешься среди но-

---

<sup>1</sup> Неопределенные раздумья, мечтания (нем.).

чи, открываешь глаза, а кругом немота и мрак. Проснуться от жизни, развести в стороны, как занавески на окнах, всю эту ветошь и видимость, и увидеть пустые провалы — да, это была, бесспорно, болезнь, и она наступала длинными, вязкими вечерами: болезнь оцепенелого сидения за пустым столом, бессмысленного блуждания между вещами и обрывками мыслей. Всё, куда ни обернешься, было мнимостью и обманом, нужно только протереть глаза, чтобы ничего больше не увидеть, и он в отчаянии озирал свои стены, свои пожитки, переводил взгляд с поставца на диванное ложе, где, казалось, еще не остыл след женщины, в тоске и отчаянии спрашивал себя, куда же деваться от сосущей пустоты и не было ли женское тело последним оставшимся у него средством спастись от истины; эта катастрофа сознания, собственно, и была последней истиной.

Истина заключалась в том, что все: и книжки, и женщины, и приятели — чушь собачья, а на самом деле нет ничего. Когда вдруг необъяснимым образом начинали бить старинные часы, — точно бронзовые листья один за другим падали в воду, — это был голос великого Ничто, это оно отзывалось со дна бытия. В этом состоял, как ему казалось, наш наследственный недуг, этот недуг породил нашу суетливую жадность к идеям, все равно каким, к хаотическому философствованию, усвоил нам привычку жить кое-как, вкушать кое-как хлеб насущный и презирать всяческое благоустройство. Потому что знаешь: вся эта жизнь — какая-то нарисованная; и вот-вот полезет по швам; высунешь голову, а там ничего нет, ни любви, ни Бога, ни истории: одно великое паралитическое Ничто. Вот что такое была эта болезнь, и лечить ее можно было лишь испытанным русским лекарством.

Мы не знаем, что это были за приятели, призрачные люди, каких во множестве породило наше время, где-то служившие, числившиеся в каких-то институтах, конторах или каких-нибудь артелях, а то и вовсе влачившие полуголодное существование, запасшись справками, которые охраняли их от наказания за тунеядство; что-то писавшие, но ничего не печатавшие, никому не ведомые, но зато высоко ценившие друг друга, беспомощные, тайно обожавшие самих себя и не смевшие себе в этом признаться. По мнению бабуси, они шастали в гости с единственной целью выпить и закусить; может быть, так оно и было, но несомненно, что они сумели оценить обаяние Бахтарева, ту неопределенную талантливость, которая, кажется, не находит для себя подходящей формы только потому, что не дает себе труда это сделать. Есть сведения, что он читал им свои наброски, гениальные мысли, слово «гениальный» любили в этом кругу, предполагалось, что он обрабатывает свои записи потом, позже, все главное здесь откладывалось на потом. Эти люди исчезли, мы можем о них лишь упомянуть.

Бахтарев приходил к выводу, что он — банальный русский случай. Насчет гениальности — кто его знает; но если у него в самом деле был некий дар, то это была истинно национальная способность не принимать себя всерьез, даже не способность, а болезнь, неискоренимая русская болезнь — время от времени просыпаться от жизни.

Странная штука жизнь, ее не ухватишь. Выскальзывает из рук, как обмылок. Но ведь где-то же осталась, где-то должна быть настоящая жизнь, думал он. Бога нет, но есть деревья, есть синяя кромка леса на горизонте и дальний дымок паровоза, есть страна, куда можно отступить, где можно укрыться. Воспоминание о железной дороге погнало его за собой, и он принялся перебирать нить мыслей с конца, и время потекло для него вспять. Общежитие, армия, странным образом не оставившая воспоминаний, был даже план поступить в университет. Жена... он позабыл, как ее звали. Не стоило долго останавливаться на этой теме.

Дальше... Деревня. Тут можно было бы многое вспомнить. Но ему не хочется отвлекаться, где-то ждет главное, а между тем в этих мелочах, если вдуматься, и скрыта вся суть. Утро, солнце смеется за лесом, мокрая трава блещет брильянтами. И вдали, вдали — где еще можно увидеть такое? — огненным паром дымятся луга. Мальчик — нет, уже не мальчик — спускается к речке с деревянным чемоданом, некогда идти в обход. Стуча зубами, стягивает с себя рубаху, сбрасывает штаны, связывает сапоги и вешает на шею, входит в камыши, держа на голове чемодан, с этим чемоданом так потом и мотался с места на место, от одной бабы к другой. Он выходит из воды, дрожа от холода, танцует, хлопает себя по бокам, по худым ляжкам.

Теперь напрямик через выгон, а там лесом и еще верст десять по большаку до железной дороги. В последний раз он поворачивает голову и смотрит назад. Дом, каким он остался в памяти, был совсем не тот, о котором рассказывала бабуся, ибо тот дом был очевидным порождением ее повредившегося ума, и оставалось лишь удивляться последовательности ее фантазий. Или это была правда? Новый дом, пятистенный, под железной кровлей, был срублен на деньги, подаренные барыней, и было это перед самой коллективизацией. Может, перед революцией? — спросил он. Перед какой революцией? Ну как перед какой, — перед октябрьской. А я что говорю, возразила бабуся.

«Прасковья, — сказал он, — ты не путай, ты подумай хорошенько и вспомни. Куда делась барыня?»

«Барыня?»

«Ну да. Куда она подевалась?»

«А никуда. Сгинула».

«Как это сгинула?»

«А вот так; все сгинули».

«Может, за границу сбежала?»

«Кабы сбежала, разве бы деньги оставила? И тебя бы тут не оставила».

«Меня?»

«Ну да, — сказала она, — а кого же. Ты думаешь, батя твой всегда был такой скрюченный? Это его жизнь скрючила, Бог наказал — за грехи».

«Постой. Ты не путай. Ты же говорила...»

«Чего я говорила, — проворчала бабуся, — ничего я не говорила...»

«Я его не помню», — сказал Бахтарев.

«И не надо помнить. Бог с ним совсем. А вот я зато помню, какой он был, когда с войны вернулся, сама по нем сохла...»

«Ты уж договаривай».

«Нечего мне договаривать», — сказала она.

В полуверсте от деревни, в густых зарослях, стоял белоколонный дом с высокими окнами, в которых проплывали облака, за одним из этих окон, говорят, он появился на свет, и женщина в белом, выходящая на крыльцо, была так молода, что могла бы сейчас быть ему подругой.

...О, какое это было счастье, какая сладкая мука — видеть и обонять близость того, что так желанно, оглаживать эту округлость, преодолевая дрожь, зажать ее в руке, не расплескать, донести, донести до жаждущих губ! И влить огненную струю, и перевести дух. И зажмуриться, и втянуть в себя воздух полной грудью до боли в ноздрях. И налить снова.

### **37. ДУХ РЕВОЛЮЦИИ. DENN ALLES, WAS ENTSTEHET, IST WERT, DASS ES ZUGRUNDE GEHT<sup>1</sup>**

А что же девочка? Если верно, что бытие есть не что иное, как устремленность в будущее, и не зря знаменитый философ производил слово *Gegenwart* от глагола *warten*<sup>2</sup>, то вся наша жизнь — не более чем ожидание жизни; именно это с ней и происходило. Старый каббалист был прав, созревание тела было лишь знаком, уведомлением о том, что стремительно приближалось к ней, — но что именно? Похоже, что

---

<sup>1</sup> Затем, что лишь на то, чтоб с громом провалиться, / Годна вся эта дрянь, что на земле живет. «Фауст», I, 985–986. Пер. Н.Холодковского (нем.).

<sup>2</sup> Хайдеггер. «*Gegenwart*» — настоящее, «*warten*» — ждать (нем.).

в этой пьесе по-настоящему интересным было лишь предвкушение; то, чего она ждала, не поддавалось воображению, и, таким образом, фантазия следовала правилу, которым руководствуется беллетрист, описывая соблазнительную сцену: в решительную минуту он задерживает занавес.

Так, сама не ведая, она приблизилась к пониманию трудно формулируемой истины о том, что любовь всегда больше самой себя. Любовь представлялась увлекательной, но лишь в той мере, в какой ее невозможно было себе представить. Все, о чем она знала, — а ей казалось, что по крайней мере физическую процедуру она знает досконально, — возбуждало любопытство, смешанное с отвращением, но как бы ни было раздражено ее воображение, его подстрекало лишь любопытство. Отсюда был один шаг до того, чтобы осознать еще одну истину: что любовь есть бесконечное приближение к чему-то неосуществимому; еще немного — и она поняла бы, что окончательное осуществление любви есть смерть.

В девочке происходила перемена, которую невозможно было оценить однозначно, нельзя было сказать, что она росла и выросла, ибо это было одновременно ростом и упадком, созиданием и распадом, и деградацией, и каждодневной потерей, и каждодневным приобретением, и крушением с трудом достигнутого совершенства, и обретением нового, такого же хрупкого — чтобы не сказать несовершенного — совершенства. Чья-то рука, не предупреждая и не давая опомниться, корежила, мяла и сокрушала ее, и все это на ходу, в суматохе и спешке, как если бы солдата на марше заставили, не останавливаясь, не замедляя шага, осваивать приемы рукопашного боя или если бы город должен был воздвигаться и благоустраиваться под градом сыплющихся на него снарядов. Или, наконец — сколь бы экстравагантным ни показалось это сравнение, — как совершалось то, что в этой стране называли строительством социализма, нового общества, небывалого будущего. Девочка была плохим материалом для будущего, но хороший материал в небывалом будущем не нуждается. Она разучилась жить в настоящем — это и означало, что детству пришел конец. Девочка развивалась, другими словами, вступила в опаснейшую пору своей жизни, короткой, как жизнь всего этого поколения, в полосу смут и крушений, сравнимую с катастрофой рождения, о которой мы ничего не помним, и с завершающим жизнь обвалом, о котором мы уже ничего не можем рассказать. Вдруг начинало страдать и болеть все тело, мышцы, кости и еще что-то, что глубже костей; она едва держалась на ногах от слабости, внезапный приступ дурноты застигал ее в самый неподходящий момент; в подворотне, за мусорным ящиком, упершись в стену ладонями, как приговоренный к расстрелу, она силилась изрыгнуть все



свои внутренности, а затем едва успевала добежать до уборной — начинался постыдный понос. Вслед за тем приходила возвышенная прострация, блаженное изнеможение, как будто ее выжали и развесили сушить. В эти минуты она смутно думала о самоубийстве. Но если ей предстояло погибнуть, то пусть вместе с ней провалится в тартарары весь мир; если бы у нее была граната, она швырнула бы ее с крыши во двор, прежде чем самой прыгнуть в пропасть. Она размышляла об этом с неожиданным хладнокровием, как о чем-то, для чего просто еще не пришло время.

Проклятый жалкий мир, достойный разрушения, был не чем иным, как проекцией владевшего ею предчувствия. Будущее манило и звало девочку, как манит взор василиска или непристойная картинка. Однажды она вскарабкалась на высокую плоскую крышу соседнего здания, замыкавшего своей задней, глухой стеной четырехугольник двора. С высоты ей была видна подворотня, слева в углу ход со двора на знакомую нам лестницу Бахтарева, справа — крыльцо другого хода. Она подошла к краю и заглянула вниз. Потом она сидела на бурой, пачкающей, горячей от солнца крыше, думая о том, как она встанет, подойдет снова и нагнется над отвесной стеной, и в эту минуту кто-то, незаметно подкравшийся, толкнет ее в спину. Ночью ей привиделось, что она висит на стене, упершись носками в выбоины, впившись ногтями в край, чувствует животом тепло нагретого солнцем камня и боится крикнуть, чтобы не полететь вниз.

Она не пыталась делиться своими мыслями с матерью, мать занимала все меньше места в ее жизни. Она уже не заботилась о поддержании своей репутации во дворе; ее таинственность не была развенчана, отвага не была превзойдена, но как бы отодвинулась в область предания; подвиги, изумлявшие двор, ей наскучили. Но когда телесное недомогание оставляло ее, являлось нечто худшее, томительно-сосущее чувство пустоты. Некуда было себя деть. Отважные деяния нередко совершаются отнюдь не по зову свыше; их причина, как и причина некоторых физических процессов, — пустота, то самое «некуда деться», которое превращает обывателя в воина, мореплавателя, сумасшедшего авангардиста или бунтовщика. Нужно признать, что скука, вместе с голодом и любовью, — величайший двигатель прогресса. Не она ли побудила Колумба отправиться в океан? И не этот ли отрицательный потенциал низвергает миры?

Девочка явилась в мир, где уже не было флибустьеров, разбойников и баррикад, но, может быть, ее пришествие было вестью о том, что когда-нибудь это начнется снова. Скажем проще: девочка воплощала в себе дух революции. Девочка жила между эпохами. Она угодила в расщелину, в пустоту между прошлым и будущим. Нет, это не было, как

принято выражаться, переходным временем, это была черная дыра времени, и она всасывала время в себя. Вот отчего те годы не оставили о себе никаких воспоминаний, никакого следа в истории. Некуда себя девать! Девочка слонялась по лестницам, лазала по чердакам. Неделями не ходила в школу, где, впрочем, на нее давно махнули рукой. Она придумывала себе занятия, о которых мы стыдимся рассказывать; мучимая зудом, расцарапывала себе тело, грызла ногти или погружалась в прострацию, сидя где-нибудь на ступеньках. Возобновились ограбления почтового ящика. Дед не видел ее по целым неделям. Перед рассветом ей снились мучительные сны; мы не решаемся их разгадывать. Но самым тягостным сном было ее повседневное существование, схватка с незримым врагом-созидателем, похожая на ночной бой Иакова. И каков же был результат?

Результат был неопределенный, а точнее сказать, никакого результата. После всех страданий она выглядела так, словно ничего не случилось, — бледной, легкой, худой и здоровой. Немного длинней стали ноги, чуть стройней и костлявей было все ее тело. Чуть тревожней казался некогда победительный взгляд ее черно-косящих глаз, и оттого, что она косила, казалось, что она видит кого-то, стоящего у вас за спиной. Она больше не была ни ребенком, ни подростком, ни девушкой, но болталась где-то между всеми этими осуществлениями; она стала темным, непроницаемым существом, своего рода нечитаемым текстом — так о некоторых надписях невозможно сказать, таят ли они глубокий смысл или вовсе лишены смысла, надпись это или узор. И если бы некий соглядатай, неотступно следя за девочкой, за ее приключениями, за ее походкой, то изломанно-расслабленной, то танцующей, то ленивой, за едва заметным покачиванием бедер, прыжками на лестнице или стоянием под дверью Бахтарева, за усилиями соорудить дикую прическу из коротких и жестких лохм, за гримасами, которые она строила самой себе в темном стекле, за слабостью и отупением, в которое она погружалась, словно в теплые стоячие воды, — если бы соглядатай, будь он врач, педагог или следователь, стал допытываться: что с ней происходит? о чем она думает, чем занята? — ни один из ее ответов, допуская даже, что она согласилась бы отвечать, не отвечал бы действительности. Но что такое действительность?

Все слова казались ей лживыми. Все объяснения были бы недостоверны. С точки зрения науки мы все одинаковы; достаточно произнести слово «пубертатный», и все ясно. С точки зрения жизни мы непостижимы. Если ее жизнь была текстом, то это был текст, непередаваемый ни на какой другой язык. Сослаться на созревание? — но мы уже сказали, что она скорее разрушалась, чем совершенствовалась, хуже того — наблюдался очевидный и удручающий регресс, физиче-

ское истощение, упадок умственных способностей, вырождение нравственного чувства, хотя нельзя сказать, чтобы она сама была до такой степени диким и девственным существом, что не сознавала этой катастрофы. Она сидела на холодных выщербленных ступеньках и вперялась в пустоту, откуда на нее надвигалось неопишное будущее. И все-таки ничего не происходило! Даже долгожданная кровь, бремя, от которого городские девочки разрешались раньше, чем предписано медициной, — все еще не появлялась.

### **38. КТО НЕ РАБОТАЕТ, ТОТ НЕ ЕСТ, НО НЕ КАЖДЫЙ, КТО ЕСТ, РАБОТАЕТ**

Она озябла и, медленно поднявшись, словно под тяжестью лет, побрела на онемевших ногах во двор. Из подворотни слышался ржавый скрежет, стук откинутой крышки. Свет уличного фонаря проникал в туннель из приоткрытых ворот. Как она и предполагала, там работал собиратель. Он появлялся один раз в неделю, иногда реже, но всегда точно угадывая время перед приездом мусорного фургона. Собиратель был мужчина неопределенного возраста, одетый, как все люди его профессии, в балахоноподобное рубище, которое представляло собой смешение всех фасонов: отчасти макинтош, отчасти армяк, что-то от рясы священнослужителя, пожалуй, перешитая красноармейская шинель. На голове старорежимная фетровая шляпа. Длинной клюкой вроде кочерги собиратель раскапывал ящик, добывал сморщенные картофелины, капустные листья, банки с остатками содержимого и другие доказательства возросшего благосостояния населения; таким образом, его деятельность имела немаловажный социально-политический смысл: его находки свидетельствовали о том, что голодные годы миновали.

Услышав шаги, собиратель отбросов повернул к Любе щетинистое лицо, не прерывая работы. Мешок с веревочными лямками стоял у его ног. Некоторое время она стояла, расставив ноги, пряча руки в карманах пальто. «Ты чего тут потерял?» — спросила она наконец голосом, заставлявшим усомниться в ее добрых намерениях. Собиратель продолжал свое дело.

Она пнула его мешок. «Ишь, повадился! Вот пойду и скажу дяде Феде, что ты тут лазаешь, он тебя грязной метлой погонит».

Так как он не отвечал, она сказала:

«Дурак ты. Уж лучше бы по квартире ходил...»

Он достал нечто, прислонил клюку к ящику и, сопя, стал обтирать добычу о рукав.

«Тут одна бабка ходила, рублей десять за день набирала. В ресторане обедала, не то что ты, кусошник. По помойкам лазаешь... Много вас, говноедов, развелось. Работать надо! — сказала девочка с неподражаемым самодовольством. — Кто не работает, тот не ест, понял?»

«Дядя Федя спит, он рано встает, — сказал собиратель. — Зачем ругаться? Ты хорошая девочка... хочешь, яблочка дам?»

«подавись своим яблочком. Вот сейчас пойду и милицию вызову. Что? Испугался?»

«Милиция не придет. Законом это не запрещается... Ты хорошая, добрая девочка. Иди, я тебя приласкаю. Иди ко мне...» — и он протянул к ней руки. Девочка проворно отскочила. Собиратель отбросов вздохнул. «Это ты испугалась, а не я, — сказал он с легким нерусским акцентом. — Мне бояться нечего, потому что с меня нечего взять. Так что ты меня напрасно пугаешь дворником. Ничего я такого не делаю. А вот ты, — он показал на нее пальцем, — ты — недобрая девочка. Я в тебе ошибся. Ты несчастливая девочка, потому что ты злая. И Бог тебя за это накажет. Если уже не наказал...»

«Какой еще Бог, — сказала она брезгливо, — а ну вали отсюда!»

«Разве я тебе мешаю?»

«Пошел вон! Работать надо. А не по помойкам лазать».

«Почему ты думаешь, что я не работаю, и что значит — работать?.. Разве, — бормотал он, наклонясь над рюкзаком, затянул и стал разбирать веревочные петли, — ...разве каждый, кто работает, в самом деле работает?»

Молниеносным движением она схватила его клюку.

«Поставь».

Она держала клюку в обеих руках, азартно сверкая черным, как у зверька, взглядом. Человек кряхтя стал просовывать руки в лямки. «Поставь на место. Это не игрушка! А я тебе не товарищ». Девочка ткнула его клюкой. «Ну и что дальше?» — тоскливо проговорил он. Эта игра продолжалась некоторое время. «На!» — говорила она, но когда он приблизился, снова ткнула его в живот. Он все еще тянул к ней руки. Тогда она размахнулась ихватила его клюкой. Собиратель застонал. Она снова замахнулась. Ей было досадно. Чувство бессвязной, какой-то разваливающейся жизни, тоскливый зов внутренностей, с которым она брела по двору, не прошли, скорее усилились.

«Хватит, поиграли, и хватит», — сказал собиратель. Она с отвращением швырнула посох к его ногам. Собиратель кусков сбросил заплечный мешок. «Иди ко мне, — прошептал, — иди, дочка...» Люба ошеломленно уставилась на него.

В тусклом освещении, в широкополой шляпе и балахоне он ничем не мог напомнить ей отца, да она почти уже и не помнила, как выглядел ее отец. Она знала, что этого не может быть, но она слышала похожие на легенды рассказы о возвращении тех, кто не мог вернуться, потому что больше не существовал, — слухи о таинственных бродягах и неузнанных странниках, и стройный фантастический сюжет мгновенно сложился в ее воображении. Оставалось лишь притвориться перед самой собой, что она в него верит. Конечно, она не верила, а только играла в девочку и отца, а он, этот тайный скиталец, соглашался играть с ней в себя и свою дочку. И может быть, даже поверил, судя по тому, как он простирал к ней руки, манил ее и бормотал, тяжело дыша... Сейчас, думала она, развеется наваждение, он возьмет свой мешок и уйдет навсегда, и она так и не узнает, был ли это он на самом деле или ей почудилось. Но он еще был здесь, его лицо погрузилось в тень, шляпа и широкая грудь загородили свет, падавший из переулка. Он гладил девочку по щеке. Ей стало холодно. В подворотне сквозило. «Ты моя дочка... — бормотал он. — Какая большая стала!» Жесткая ладонь ласкала ее затылок и щекотала шею. Она засмеялась нервным смешком. Оставалось совсем немного времени, собирателю пора было в путь. Она понимала, что он должен исчезнуть. Ведь если он был ее отцом, он мог существовать лишь при условии, что его никто не видел, что он не появлялся, что его не было.

Продолжая гладить девочку, он обнял ее, его рука просунулась между пальто и платьем и спустилась книзу. Она ждала, что он спохватится. Холодная и шершавая ладонь коснулась ее живота и как бы делала вид, что гладит кожу, в то время как пальцы странника проникли под резинку, скользнули вглубь, и ноготь царапнул ее. Тогда она поняла, что игра закончена, и нанесла тройной удар — коленкой и кулаками. Человек в балахоне отлетел к ящику. Трясущимися руками он схватил палку и подобрал с земли мешок. «Бог тебя накажет, — проговорил он. Чувствовалось, что он не был в этом уверен. — Я думал, ты хорошая девочка...» Ноздри ее мстительно раздувались, она молча следила за собирателем, потом опустилась на корточки возле стены и представила себе, как он стучит клюкой по переулку, с мешком за плечами, и медленно растворяется в тусклом свечении фонарей.

### 39. СОЦИАЛЬНЫЙ ПОРТРЕТ СОБИРАТЕЛЯ

Согласно распространенному представлению, добыча отбросов и отходов представляет собой промысел, порождаемый необходимостью поддерживать существование при отсутствии других доходов. Осмелимся возразить: не промысел, а профессия, и, как всякая профессия,

она требует подготовки, основательных знаний, практических навыков, наконец, предполагает то, что мы скромно назовем призванием, чтобы не употреблять громкое слово талант. Как всякая подлинная профессия, собирание отбросов выходит за пределы обыкновенной пользы, заключает в себе нечто самоценное и обретает смысл в самом себе.

Некоторые социологические исследования подтверждают этот взгляд: так, при опросе нескольких сот собирателей, практиковавших в нашем квартале, было установлено, что лишь незначительное меньшинство хотело бы сменить профессию, главным образом из-за преклонного возраста и неблагоприятных погодных условий. Большинство опрошенных подчеркивало выгоды своего положения, в частности его стабильность: в то время как представители даже таких престижных профессий, как врач, адвокат, писатель, инструктор райкома партии, чемпион соревнований на значок «Готов к труду и обороне», преподаватель балльных танцев, даже они не могли быть вполне уверены в своем будущем, — собиратель съестных отбросов знал, что его-то по крайней мере никто не понизит в должности, не уволит с работы и не подвергнет санкциям по идейным, анкетным или иным причинам.

С другой стороны, нельзя представлять себе собирание легким, приятным и общедоступным занятием. Как уже сказано, эта профессия требует подготовки. Прежде всего собиратель, вынужденный считаться со значительной конкуренцией, должен много двигаться и в случае удачи носить тяжести. Он должен в совершенстве знать географию своего квартала, владеть искусством социальной адаптации, уметь ладить с дворниками, милиционерами, районными уполномоченными, общественными активистами и наблюдателями за порядком, с уличными попрошайками и грабителями, наконец, с братьями по ремеслу. Опытный собиратель работает в пределах своего прайда или делит его с ограниченным числом коллег. Он должен хорошо разбираться в таких областях знания, как товароведение и теория рационального питания, микробиология съестных припасов, должен уметь читать этикетки и распознавать пищевые продукты, когда они потеряли внешний вид.

Именно тогда, когда примитивное собирательство плодов природы уступило место собиранию кусков и отбросов, первобытный человек превратился в цивилизованного человека; с этого времени началась его история. Таким образом, сбор отбросов принадлежит к числу древнейших профессий. Уже в ранних письменных памятниках имеются упоминания о собирателях. В некоторых мифологиях собирание рассматривается как мистический и священный промысел: в ряде произведений древнего изобразительного искусства мы

встречаем образ согбенного божества с заплечным мешком и клюкой для разгребания завалов, не говоря уже о классической эпохе, оставившей блестящие образцы литературной рецепции этого образа. Новое время и две промышленные революции предъявили к собирателю новые требования, а великий социальный переворот в России решающим образом демократизировал эту профессию, сделав ее достоянием широких масс.

#### 40. ПОГРАНИЧНЫЙ ИНЦИДЕНТ



Внезапно, без объявления войны, с очевидным расчетом захватить врасплох противника, происходит вторжение. Вероломно — как тогда говорили. Как будто можно было когда-нибудь верить наследственному врагу. Ибо на самом деле это сведение давних счетов, продолжение распри, истоки которой теряются в темном прошлом. Стоит роскошный летний день. Высоко над крышами, в бледном небе млеют рисовые облака. Жаркий воздух струится. По случаю выходного дня жители поздно встали с постелей. Уже вышли утренние газеты. Но в газетах нет ни слова о страшных событиях. Газеты спохватятся, когда о случившемся уже будут знать все. Сообщения поступят позже. Радио молчит.

Радио наигрывает игривую музыку, а тем временем уже разворачиваются боевые действия. Вторжение происходит с улицы — говоря политическим языком, с Запада, откуда во все времена приходили новшества, грозные дожди и беды. Мрачно и деловито враги пролезают сквозь щель в воротах.

И никому из обитателей дома не приходит в голову, что это — репетиция большой войны. Войны, которая была неизбежна и в которую никто не верил. Мы были склонны приписывать таинственное значение знаменьям и приметам, вещим снам, пустым ведрам, ни в чем не повинным черным котам; мы свято верили цыганкам и прощателям. Мы гадали, словно на картах, на русской истории, ожидали всемирной революции, последнего кризиса капитализма и мессианского будущего, но никто не догадывался, что подлинное будущее уже с нами, что оно началось. Карательный отряд вступает во двор, ведут косматого пса с деревянной ногой, и все, что играло, ска-

кало, прыгало через веревочку, царапало по асфальту мелом и развлекало себя как могло, разбегается кто куда, исчезает в подъездах, улепетывает по лестницам черного хода. Хозяйки первого этажа захлопывают окна. И вот, сопя и смачно харкая, качая плечами, как коромыслом, особенной, валкой и зловещей походочкой выходит из-за спин своего воинства капитан, помойная личность, звезда наших мест. История не сохранила его имени. Вечный подросток, страдающий какой-то неизлечимой слизистой болезнью, хроническим насморком и слюнотечением, отчего он безостановочно хлюпает носом и сплевывает, с лицом, похожим на проросший картофель, старобразный, приземистый, заметно ниже девочки, с бескровными губами и мертвым взглядом упыря. Все разбежались. Она одна стоит посреди пустого двора, за ней и пришли, она это знает. Это старые счеты, накопившиеся обиды, созревшая месть. Девочка топчется на месте, мечет взоры по сторонам, а между тем каратели обходят ее слева и справа.

Они ожидают знака, пес ждет пинка. Но капитан не спешит. Теперь можно насладиться стратегическим перевесом, вручить неприятелю официальную ноту, извещение о гибели. Скоро, скоро, таким же манером и тем же манёвром начнется большая война. Никому неохота думать о том, что все задворки и переулки полны таких упырей. Произошел популяционный взрыв, они размножились в таком количестве, что война неизбежна. Позже будут придуманы различные теории, но истинная причина войны — размножение воинственных орд. И вот он приближается, не спуская могильных глаз с длинноногой девочки. Он приближается. Он ниже ее ростом. Она отступает в угол двора. Раздается звук, что-то вроде хрюканья или всхлипа. Карлик изрыгает слизь, точно выплескивает свое несозревшее семя, ибо расправа, которая здесь готовится, есть не что иное, как образ жестокого наслаждения. Капитан харкает на девочку, сейчас они набросятся на нее и скрутят ей руки, и он подойдет и сделает что-нибудь сладостно-изошренное, выдавит пальцами глаза, разобьет лицо кулаком или вцепится в пах, — но в эту последнюю секунду она успевает предупредить события, она наносит ему молниеносный удар в живот! Бандит отлетает назад, а девочка с непостижимой ловкостью карабкается вверх по пожарной лестнице. Кто-то из них успевает схватить ее за ногу и получает второй удар каблуком в лицо, косматый барбос долго и гулко кашляет, колотит деревянной ногой, руки и ноги девочки перебирают ржавые перекладины, короткое пальто реет в воздухе, мелькает платье, видны мускулистые ноги и трусики.



Вой и свист несутся вдогонку.

«Сука! В рот тебя!»

Они расстреливают ее из рогаток, и несколько снарядов попадают в цель. Командир запустил кирпичом в окно, сыплются осколки стекла, отряд покидает двор. До следующего раза. До последней и окончательной расправы. До битвы под Москвой, до Сталинграда.

## ЧАСТЬ ВТОРАЯ

### 41. ФИЛЕМОН И БАВКИДА<sup>1</sup>

**К**то-то царапался в дверь, это была кошка. Старикуну снилось, что он сидит в кресле и притворяется спящим. Они дергают за ручку, а он делает вид, что не слышит.

Разгадав его хитрость, они избрали другую тактику: затопали ногами, как будто ушли, а сами потихоньку подкрадываются и царапают дверь, чтобы он подумал, что это кошка. Ему даже показалось, что он слышит мяуканье. И он поверил. Встал и зашаркал к двери, не вполне уверенный в том, что пробуждение не является частью сна.

Кошка, или кто там, превратилась в бабуся.

«Темно, батюшка, и не доберешься до тебя!»

Дед разводил руками, объяснял, что управдом обещает вернуть лампочку.

«Обещанного три года ждут... Ты кого ищешь?»

«Кис, кис...» — бормотал дед.

«Нет тут никого».

«Иногда бывает», — сказал он.

«А я тебе говорю, — сказала бабуся, ставя в угол корзину с бельем, — нет больше твоего кота».

«Это не кот, а кошка».

«Ну, все равно. Убила твоя кошка».

«Белая?»

«Почем я знаю».

«Как убила?» — спросил он.

«А вот так. Выкинули ее из окна, она и убила».

Старуха уселась на табуретке возле стола с книгой и приготовилась к разговору: разгладила юбку, подтянула концы платка под подбородком и поджала губы.

---

<sup>1</sup> Овидий, Метаморфозы, VIII; «Фауст», II, акт 5.

Некоторое время в подвале царило молчание, пили чай, дед дожевывал остатки неопределенных мыслей. В этом, как он понимал, состояло преимущество старости: обретаешь дар жизни в разных временах. Но показывать это не рекомендуется, сочтут за сумасшедшего.

«Я тебе заплаты положила, — промолвила бабуся, — рвань такую носишь, что срам один... Небось все жадничаешь, деньги копишь... Давно надо новые подштанники купить».

«Какие деньги, Прасковья Яковлевна, курам на смех...»

«Все-таки пенсия. У меня и той нет».

«Да, да, — сказал дед, — обязательно надо похлопотать... У меня есть один знакомый, очень опытный человек, с большим стажем работы в разных учреждениях. Так вот он говорит...»

«Чего ж он тебе говорит?»

«Он говорит: надо похлопотать. Ай-яй-яй, — спохватился он, — а вы и не напомните!»

Дед извлек из рабочего ящика бабусины тапочки. Стали примерять.

«Эх! Да как же это...»

Дед выпучил глаза и развел руками.

«Мастер называется... Да лутче б я их и не чинила».

«Нога стала больше», — констатировал он.

«Эва... Я, батюшка, больше уж не расту!»

«Может быть, следует полежать, подняв ноги. Может быть, мы с вами пьем слишком много жидкости...»

«Да ведь ты их сузил. Имей силу признаться: ведь сузил?»

«Верх такой, что весь ползет, Прасковья Яковлевна».

«Лутче б я в мастерскую отдала... Надрезать, что ли?..»

«Прекрасная мысль, — сказал дед. — А что касается мастерской, то это авантюристы. Я этих людей знаю. Только бы деньги содрать, а до клиента им нет никакого дела... Хотите, я немедленно, в вашем присутствии, все сделаю? Можно с хлястиками, будет очень изящно».

«Уйди прочь», — сказала бабуся, выложила из корзины выстиранное белье и спрятала тапочки.

Тема исчерпалась, наступила пауза. Дед ерзал в кресле. Так они сидели вдвоем некоторое время, после чего послышалось мерное поспывание.

«Старичок, а старичок, — пропела бабуся. — Отец Николай! Заутрене звонят. Тим-бом-бом. Тили-дон-дон».

«Что?»

«Совсем обветшал. Проспишь все царство. Ты хоть гулять-то выходишь?»

«Как вам сказать. С одной стороны, при моем заболевании...»

«Гулять надо, двигаться. А то совсем очоленеешь».

«С одной стороны, вы правы».

«Посмотреть на тебя, вроде бы и не такой старый».

«Вы так думаете?»

«Чего думать, — сказала она. — У нас, бывало... У нас один в восемьдесят лет женился, молодую взял. Такую свадьбу отгрохал, что и сам еле жив остался».

«Берите рафинад... Вам погорячей?»

«И все жадничает, все жадничает... дай-ка я сама заварю. Чай надо знаешь как заваривать?»

«Ну это вы мне можете не объяснять!»

«Чай надо заваривать, чтоб дурман стоял. В дурмане самая сила».

«Это индийский», — сказал он.

«Хоть индийский, хоть еврейский. Чай надо заваривать, чтоб... Уйди прочь».

«Ну, ну, ну. Пожалуйста... ы-ах!.. ых!..»

«Раззевался. Спать, что ли, захотел? Нам с тобой спать вредно. Заснешь и не проснешься».

«Это было бы не так уж плохо, — заметил дед. — К сожалению, я никогда не сплю. Хотя вижу сны. Это может показаться странным, но я действительно... ы-ах... вижу сны наяву».

«Ну как?»

«Превосходно, — сказал он, дуя на блюдечко. — Никогда в жизни не пил такого чая».

«Что же ты видишь?» — спросила она.

«Многое. И к сожалению, по большей части неприятное».

«Я тоже, — призналась бабуся. — Проснусь и не пойму: было — не было?»

«Это меня радует. Это доказывает, что я все-таки еще нормальный человек».

«Ты-то нормальный, об чем речь. Мы все нормальные. А вот они...»

Дед зорко посмотрел на нее.

«Вы имеет в виду... их?» — спросил он, понизив голос.

«Их, вот именно их и имею!» — сказала она убежденно.

«Не может быть. Вы считаете, что они?.. — Он уточнил свою мысль, покрутив пальцем возле седого локона у виска. Жест, означающий: замышляют. — Одну минуточку, я посмотрю, закрыта ли дверь».

«Подумать только, — пробормотал он, усаживаясь в кресло с птицей, — такая мысль мне просто не приходила в голову! Теперь мне все понятно. Теперь все понятно... В самом деле. Рассуждая логически, как иначе можно объяснить, например, то обстоятельство, что...»

«Ох, батюшка, — сказала бабуся. — Люди-то разные бывают. Бывает человек с виду вроде бы солидный, образованный...»

«Ну, насчет образованности...» — сказал дед иронически.

«Вот я скажу про себя. У нас, бывало...»

«Совершенно с вами согласен. Внешность может быть обманчивой. Хотя в этом случае и внешность оставляет желать лучшего... Да, вы правы. Вы умная женщина, я всегда это говорил. А я в людях разбираюсь».

«Куды уж нам...»

«Не говорите. Вообще я скажу вам вот что. Если бы не мои обстоятельства, жилищная проблема и так далее... знаете, что я бы сделал?»

«Чего бы ты сделал?»

«Никогда не отгадаете».

«И не стану. Что я тебе за отгадчица?»

«Я бы сделал вам предложение».

«Чего?»

«Я говорю, — сказал дед сумрачно, — сделал бы вам предложение!»

«Господи-Сусе. Святые угодники... Совсем рехнулся».

«Но с другой стороны, у меня есть пенсия и хорошая специальность. Вы же говорите, что знали человека, который женился в восемьдесят лет».

«Другое дело, батюшка. Не нам с тобой чета».

Дед засопел, вперил взор в пространство. Она подтянула концы платка и спросила:

«А как же ваша нация?»

«При чем тут нация», — пробормотал он.

«Да ведь вам вроде на чужих жениться не положено».

Он закрыл глаза и некоторое время, по своей привычке, со вкусом жевал воздух. В его руке появилась трубка.

«Я всегда говорил: вы очень умная женщина, Прасковья Яковлевна. Можете мне поверить, — сказал он, подняв палец, — я разбираюсь в людях... Но если вы имеете в виду евреев, то я должен сказать, что вы ошибаетесь. Евреи всегда женились на женщинах из других племен. Например, дети Елимелеха женились на моавитянках. Да и сам Авраам... Кто такая была Сарра? Этого никто не знает».

«Поздно спохватился. Кабы лет пятьдесят назад», — сказала бабуся.

«Пятьдесят лет назад у меня была жена».

«Куды ж она делась, померла?»

«Мне приходит в голову странная мысль, — проговорил он. — Мне приходит в голову, что она никуда не делась».

## 42. У ВОРОТ

«Здорово, кума. Где это ты так вырядилась?»

«Здравствуйте...»

«Смотрю, мимо канáешь, старых друзей не признаешь. Давненько с тобой не видались!»

«Я живу в другом месте».

«Небось у богатых?»

«Вроде того».

«Оно и видать. Везет людям!»

«А вы как поживаете?»

«Мы-то? Ничего, живем. Живем — хлеб жуем».

«Я рада».

«Чего рада?»

«Рада, что не голодаете».

«У нас, кума, никто не голодает. Это ты себе заруби на носу. Между усами. Разъяснение понятно?»

«Понятно».

«А тем более мы, пролетариат».

«Тем более вы».

«Вот так. Таким макарон. Я чего спросить хотел... Живучие вы, твари, член вам в горло».

«Что вы хотите сказать?»

«Ты, говорят, разбилась. У-у, п-падла, сучий потрох!.. Да ты не бойся, это я не тебе... Говорил ему сто раз».

«Кому?»

«Ветеринару ебаному. Говорил ему, протез трет. Кобелина вонючий... Я чего хотел спросить: ты, говорят, с парашютом прыгала. Готов к труду и обороне».

«С каким парашютом?»

«Да это я шучу, не обращай внимания».

«Ну, я пошла, всего хорошего».

«Стой. Пошла, пошла... Я спросить хотел».

«Что вы хотели спросить?»

«Забыл. Память дырявая. В рот их всех».

«Вам больно?» — спросила белая кошка.

«Не то слово, — сказал косматый пес, облизывая культю. — Жгет, как огнем. Хоть всю ногу из жопы выдирай».

«Я знаю траву».

«Да пошла ты со своей травой... А говорили, ты разбилась к едреней фене».

«Это правда».

«Ух ты. Ну ты даешь. Это тебя так вылечили?»

«В общем, да».

«Ни хера себе. Слушай... может, адресок дашь? Не в службу, а в дружбу».

«Рада бы. Не могу».

«Вот суки, — сказал пес. — Только о себе и думают».

«Видите ли...»

«Все понятно. Слушай, не в службу, а в дружбу: может, твоим хозяевам сторож нужен? Или там чего поднести. Я на задних ногах умею ходить».

«С протезам?»

«А чего».

«Видите ли, в чем дело. Я вообще-то умерла».

«А я что, не умираю?.. Падлы! Все себе. Куска хлеба ни у кого не допросишься!»

И он заплакал.

Несколько времени спустя, успокоившись и подумав, косматый пес спросил:

«Как это так умерла?»

«Сама не знаю», — сказала кошка.

«Ну ты даешь. А кто ж знает-то?»

«Я не помню. Помню только, что ужасно мучилась».

«Но все ж таки не околела».

«Как вам сказать».

«Да. Я тоже: сколько раз загибался. А вот все живу. Хлеб жую».

Он просунул голову и передние лапы в портупею.

«Вам помочь?»

«Да пошла ты».

«Ну что ж; до свидания».

«Подожди. Это я так. Я все хочу спросить. Забыл. Вот память. Сучий потрох. Ну, ни хера. Не тушуйся, брат Василий. Не журишь, кума. — Он наконец надел протез. — Хочешь сбацаю. Эх, житуха наша. Ослиный член им всем спереди и сзади».

### 43. FEMME DE TREIZE ANS<sup>1</sup>

С некоторых пор блуждания по лестницам, чердакам, в утробе старого дома, где всегда оставалось нечто неведомое и ожидающее первооткрывателей — ничье детство не могло исчерпать его до конца, — с некоторых пор эти блуждания приняли принудительный характер, словно что-то гнало ее из подъезда в подъезд, словно ее приговорили к бесплодному, бессмысленному ожиданию на лестничной площадке, — ожиданию чего?.. Пора было кончать со всем этим. Растянутое, как резина, время должно было лопнуть — она чувствовала приближение развязки, торопила ее и вместе с тем цеплялась за всякую возможность отсрочки. Свирепо вздохнув, она уже собралась грохнуть каблуком в бахтаревскую квартиру, как вдруг внизу появился он сам, послышалась его поступь, в грозном молчании он поднимался, не убыстряя и не замедляя шаг. Девочка заметалась на площадке и почувствовала, что гора свалилась у нее с плеч, когда на предпоследнем этаже идущий остановился и постучал в дверь костяшками пальцев. Никто не отозвался. Посетитель подумал, ударил в дверь кулаком — раз, другой. Если бы под девочкой провалился пол, она упала бы ему на голову. Может быть, он решил не дожидаться, когда это произойдет, стукнул еще раз и начал спускаться.

Неожиданно брякнул крюк. Старуха выглянула из берлоги. Там горел свет и журчало радио.

«Это кто? — спросила она. — Это ты?.. Ты чего людям покою не даешь?» Люба растерянно смотрела на нее. «Это ты стучала?» Человек шел вниз по лестнице. Ясно, что это был не Бахтарев; и всё же она ловила каждый шорох, ей казалось, что идущий вот-вот спохватится и вернется. Между тем старуха с любопытством разглядывала девочку: на ней было белое короткое платье с оборкой внизу и черные чулки. «Ну, и нечего надоедать. Спать пора!» — сказала наконец бабуся и захлопнула дверь. Девочка стояла на лестнице. Она высунулась из окна, но никого не увидела. Потом подошла к двери, примерилась и ударила каблуком. «Да что же это за наказание, — сказала, высунувшись, бабуся, — тебе кого?» — «Она у вас?» — спросила девочка. «Да тебе кого надо?» — «Никого», — сказала девочка. «А никого, так и ступай. Ступай...» Девочка шмыгнула носом. Оттолкнув бабуся, она вошла на кухню и впиалась взглядом в знакомую белую дверь. Бабуся просеменила мимо нее и пропала.

---

<sup>1</sup>Тринадцатилетняя женщина (*фр.*). Ср. Бальзак, «Тридцатилетняя женщина».



Царственный голос певца выплыл из недр квартиры, как будто там царил вечный праздник: *на просторах родины чудесной, закаляясь в битвах и труде*. Перед ней вырос Толя Бахтарев, и мгновенная цепь событий выстроилась в ее воображении, он шел по лестнице, он догадался, что она здесь, и проник в квартиру окольным потайным ходом. Девочка сидела на табуретке. Она пригвоздила его к порогу восторженным и надменным взором. Бахтарев проговорил: «Иди, бабуля...» Дверь закрылась. Певец заткнулся. Бахтарев разглядывал гостью, как разглядывают подарок, прикидывая, куда его деть.

«Что ты тут делаешь?»

Она повела плечами.

«А все-таки?»

Он смотрел на ее необыкновенный наряд, руки, упертые в табуретку, крепко сжатые колени в черных чулках. Словно ветеран спорта, которого уговорили сыграть с любителем, он мгновенно рассчитал: мат удастся оттянуть не больше чем на десять ходов. Судьба девчонки была написана у нее на лбу.

«Мне некогда», — сказал он. Если он медлил, то лишь потому, что неохота было возвращаться в комнату.

Девочка покусывала губы, постреливала глазами по сторонам.

«Я о тебе слышал, — продолжал Бахтарев, — если ты собираешься хулиганить, так и скажи. Могу дать по этой части кое-какие советы... Но смотри: если что — свяжу, обыкновенным ремнем». Пожалуй, это была слишком долгая речь.

Она процедила:

«Только попробуй».

«Что?» — усмехнулся он.

«Только попробуйте».

«Ну и что будет?»

«А вот то и будет, — сказала она загадочно. — Посмотрим, что вы тогда запоете».

«Что же я запою?»

«Я скажу, что вы меня хотели изнасиловать!» Ход ферзем через всю доску.

«Думаешь, это похоже на правду?»

«У нас одного застукали. Он хотел девушку изнасиловать. Десять лет дали. Без права переписки».

«Какая же ты девушка. Ты, по-моему, пацан».

Она разглаживала оборки белого плаття.

«Переодетый», — добавил он.

Разговор выдохся, чемпион со скукой обозревал свои фигуры.

«Ты в каком классе учишься?»

«Ни в каком».

Снова наступила пауза.

От неподвижного сидения у нее онемели ягодицы, под черными чулками зудела кожа. Она судорожно почесала под коленками. Зуд пополз выше. Не утерпев, она заерзала, встала и зацепилась за прокладную табуретку. Раздался треск, она надорвала оборку.

«Ай-я-яй. Такое красивое платье».

«Ну и фиг с ней», — сказала она со злостью, и это относилось не только к оборке, но, возможно, и к дочери управдома. Терять было нечего, озираясь по сторонам, она брякнула:

«Вы на ней женитесь?»

«На ком?»

«На ней».

«Много будешь знать...» — сказал Бахтарев.

«Я бы за вас не пошла. Ни за какие миллионы».

«Чем же я так плох? — Молчание. — Ну что ж... — проговорил он. — До следующей встречи?»

Предлагалась ничья. Но игрок-любитель был склонен переоценивать свои шансы. Она буркнула:

«Я боюсь одна».

«Боишься идти по лестнице? Нет уж, — засмеялся Бахтарев, — зачем мне рисковать, ты ведь сама сказала!»

«Чего это я сказала», — проворчала она.

В этот момент дверь, точно потеряв терпение, издала слабый стон, и голос, который пел им издали, внезапно вырвался на волю, теперь это был женский голос, сильный, упругий и вибрирующий, голос утоленного вождения, и счастья, и гордости за свою страну, и ненависти к ее недругам: своего рода марш в кровати. Это была Вера.

*«Пусть враги, как голодные волки, у границ оставляют следы. Не видать им красавицы Волги!»*

«Будь добра, — проговорил Бахтарев, — проводи барышню... Она боится темноты».

Вера достала с полки чистую тарелку.

«Это она-то? Да она сама кого хочешь напугает».

«Вот видишь, — заметил Бахтарев, — какая у тебя репутация».

*«И не пить им из Волги-и... в-воды!»*

Жалкий заморыш, думала Вера, опять она здесь... Почуяла запах мужчины... Она захлопнула дверь. Теперь он еще подумает, что я его стерегу, слезу, с кем он разговаривает... С него станется. Она увидела свисающую оборку, и это было все равно как если бы она застала их на месте преступления.

«Иди отсюда, — сказала она не оборачиваясь. — И чтоб я тебя тут больше не видела...»

Вера подставила чистую тарелку под кран, сняла с гвоздика полотенце.

«Хулиганка, — она яростно терла сухую тарелку, — представляешь, выбросила кошку из окна... Чего ты тут потеряла, ступай отсюда».

«Ишь ты! — сказала девочка. — Хозяйка нашлась. Захочу, пойду, тебя не спрошусь».

«Чего?! Ах ты, наглая...»

Полузадохшийся голос пел за дверь: «Красавица народная. Как море, полноводная!» Девочка думала: вот возьму и...

Сама того не ведая, она владела гениальным даром чувственных абстракций. При всей своей облачной широте её представления все еще сохраняли непосредственность всего того, что вдыхали ее ноздри, втягивали в свой черно-косящий взгляд глаза, что вобрала в себя своими порами ее кожа: влажную свежесть утреннего мира. «Вот сейчас возьму, и...». Под этим подразумевался некий акт восстановления свободы, которую она неудержимо теряла, входя в мир взрослых, — следовательно, теряла и этот дар. Она не знала, что собственно она предпримет, и не задумывалась над этим: важен был порыв. То был акт самоутверждения, и он должен был потрясти каменную неподвижность дома от подземного царства подвалов до пустынного рая чердаков и крыш, потрясти оцепенелость людей, обреченных изо дня в день влачить унылое существование, вмерзших в быт, словно в глыбу льда, оцепенелость этих двоих — женщины, согнувшейся в своей бабьей безвыходности над кухонной раковиной, и мужчины с его каторжной мужественностью. Оба — в тройном хомуте взрослости, социальности и пола. Девочка была выше «всего этого». Она не принадлежала никому и ничему. Ни к интернационалу детей, ни к нации взрослых. Ни к заклеяемому проклятием сословию женщин, ни к закрепощённому классу мужчин. Страх, который внушал ей красавчик Бахтарев, был страх несвободы. Страх сделаться сексуальным существом и страх социального порабощения. Она чувствовала, что съезжает в яму — станет женщиной, станет «членом общества». Какого, о, Господи, общества?

#### 44. О РАБСТВЕ

Мы понимаем, что бесконечные отступления подвергают опасному риску выносливость читателя, которому просто хочется знать, что станет с героями. Отступления ли? Летописец чистосердечно признается,

что не может вести рассказ, не поняв, что за люди были эти «герои», не задумываясь над тайной этого дома, этого навсегда ушедшего общества. Где мы? Было ли это на самом деле? Эпоха кажется нереальной.

Но тот, кто решил бы, что дом был малым подобием обширного целого, микрокосмом в обширном социальном космосе тридцатых годов, пожалуй, окажется в плену у расхожей метафоры. Другое чувство владело нашими согражданами: они считали себя себе исключением. Им казалось, достаточно выйти из ворот, протиснуться сквозь ряды домов, за которыми рдело вечернее небо, и выйдешь на простор, в алую лазурь. Они говорили себе: еще немного потерпеть, и начнётся сытая, веселая и счастливая жизнь. Это была своеобразная форма патриотизма. В следующем году — в Иерусалиме! В обетованной земле, в бесклассовом обществе! И не догадывались, что то, по чему они томились и тосковали, было на самом деле ностальгией по классовому обществу. По упорядоченному социуму, по обществу вообще. Ибо жизнь, выпавшая им на долю, была не социальной, а коммунальной. Не обществом, а общежитием.

Тот, кто предположил бы, что дом, разрушенный бомбой в первые недели войны, являл собой представительный фрагмент тогдашнего псевдообщества, был бы прав и не прав. Разумеется, дом был «фрагментом», — слово, буквально означающее обломок, — но обломком того, чего давно уже не существовало. Его обитатели не решались сознаться, что на самом деле тосковали не по будущему, а по прошлому. Куда же, черт возьми, оно делось? Сказать, что его смела революция, значит указать всего лишь на следствие, не на причину.

По-видимому, в истории народов бывают эпохи, когда любые общественные сдвиги и веяния, любые «шаги» влево, вправо, назад или вперед лишь убыстряют начавшееся разложение.

Старорежимному обществу одинаково шли во вред и реформы, и противодействие реформам, и реакция, и прогресс. Всё ускоряло его гибель: речи депутатов в новоиспеченном парламенте, как и самая идея парламента, глупые резолюции венценосца, он сам и вместе с ним тысячелетний институт монархии, вольнодумство, но также охранительная идеология, бюрократия и анархия, православие и атеизм, наука и суеверие, косность крестьян, алчность едва успевшей вылупиться из цыплячьей скорлупы буржуазии, глухая злоба рабочих и духовный авантюризм интеллигенции. Как одряхлевший организм равно страдает и от плохой, и от хорошей жизни, и от солнца, и от дождя, так обреченное общество проигрывало от любой попытки поправить дела и нуждалось лишь в последнем толчке — или в последнем усилии поддержать хворого инвалида, — чтобы свалиться в могилу.

Нечто вознесшееся над его останками, подобное юной кладбищенской растительности, носило название коллектива. Коллектив заменил общество. Но он оказался еще менее жизнеспособным. Общество мыслится как сумма социальных групп и в конечном счете — общность людей. Коллектив притязает на первичность. Люди должны были возникать как бы из него. Ко времени нашего рассказа коллектив был уже не чем иным, как умирающей мифологией. Но в отличие от общества он доживал свои дни не в зажившемся прошлом, а в дряхлеющем будущем.

И в этом было все дело. В этом было нечто окрыляющее! Алый полог зари за громадами серых зданий! Их всех, все население дома и окружающих улиц, ожидало счастливое будущее, чудесный гость уже ехал навстречу и раскрывал им объятия. Положим, он был еще далеко, если смотреть вперед; если же сравнивать с пережитым — совсем близко. В тысяча девятьсот... ну, скажем, сорок пятом или сорок девятом году нас переселят в громадные алюминиевые дворцы посреди зеленых просторов. Ни этого дома, ни города больше не будет. Будет не город и не деревня, не лес и не поле, а один громадный парк культуры и отдыха; между клумбами с резедой будут стоять футболисты с мячами и девушки с веслом. Не будет очередей в магазинах, и не надо будет готовить обед. Всё будут делать фабрики-кухни. Все будут сидеть в лучезарных столовых. Матери в светлых кофточках, в красных косынках, где-нибудь на большой эстраде, словно оркестранты в саду, будут кормить румянощёких младенцев из полных грудей. А на другой эстраде народы Советского Союза будут исполнять национальные по форме, социалистические по содержанию танцы.

#### **45. ИСТОРИК КАК ФАТАЛИСТ. ГРАФОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА ЭПОХИ**

«Тащи клей!»

Добыча была свалена в угол, рядом с батареей центрального отопления. Сообщник помчался вверх.

«И ножницы!» — донесся ее голос. Он вернулся, неся канцелярские принадлежности. Требовалось отсечь край конверта, вытряхнуть содержимое и заклеить конверт. Он выглянул наружу: туман окутал фонари. Теперь — рывок, головой вперед, как спринтер, как боец выбегает из окопа навстречу смерти, как вываливается из самолета парашютный десант под пристальным взглядом командира.

В одно мгновение он на углу, на противоположной стороне переулка, и запихивает пустые конверты в щель почтового ящика. По-

чему-то они считали, что так будет надежнее замести следы, чем выбрасывать всё вместе, письма и конверты, в решетку для стока воды. Однажды его застучали. Грозный голос: «Ты что тут делаешь, а?!» Человек поднял белеющий на земле конверт, повертел, опустил в ящик. Мальчик влетел в подъезд. Люба стояла спиной к батарее, улыбаясь таинственной улыбкой. Цокая подковками, мимо подъезда промаршировали сапоги и затихли. Прошуршала машина. Оба сидели рядом на корточках, не сводя глаз с двойного тетрадного листа, потом опустились на пол, замороженные видом бегущих строк, словно разгадывали перехваченные донесения или манускрипты давно умерших людей.

Вспоминая вечера в парадном у батареи центрального отопления, еле теплой, если нам не изменяет память, темные осенние вечера в обществе девочки, в магнетическом поле тайны, влюбленности, преступления и страха, автор спрашивает себя, отчего получилось так, что кое-что из похищенного имело столь непосредственное отношение к дальнейшим событиям и судьбе действующих лиц. Правда, вероятность таких совпадений была не так уж мала. Но почему именно эти письма оказались у похитителей, словно, лежа в ящике, ждали, что их увидят чужие глаза?

Так по крайней мере выглядит связь событий в воспоминаниях. Разумеется, письма вскрывались наугад; попались одни, могли попасться другие. Но можно ли утверждать, что то, что подсказывает память, то, что она вытаскивает из вороха прошлого, — результат такого же непредумышленного отбора? Прошлое — это всегда лишь знание о нем, и оно заключает в себе знание о том, что случилось позже. Прошлое изменяет себе, потому что задним числом придает значение тому, что было случайностью, и угадывает присутствие рока там, где о нем никто не подозревал. Когда историк вкладывает в уста Периклу речь над павшими, он заставляет его говорить так, как великий афинянин должен был, по мнению историка, говорить в те времена. Но на самом деле перед нами Перикл, который не только жил, но и продолжает жить, Перикл, который побывал в будущем, Перикл, знающий о том, что будет дальше и которому ведома связь времен.

Преимущество летописца в том, что он досмотрел пьесу до конца. И он обходится с прошлым, как с черновиком; он присваивает событиям «историзм», чуждый им, когда они еще были событиями, навязывает им причинность, которая всего лишь — функция времени. Вот я сижу и вспоминаю сверстников и соседей. Но я знаю то, чего они не знают: мне известно, *что их ждет*. И если я некоторым образом вновь оказался там, во дворе с застоявшимися запахами еды, гниющих отбросов, накрахмаленного белья, вынесенных для проветривания поду-

шек, и сажу в подъезде, и выбегаю на улицу, и тащу из дому клей, и вновь выбегаю под неумолимым взглядом черных косящих глаз девочки, — то я притащил туда, в это прошлое, и свою память, я знаю, что будущее предопределено.

Но до чего все же въедлив, навязчиво-добросовестен этот хронист, с какой цепкостью держится память за то, что она сочла достойным увековечить! Почерк писем. Сидя на корточках, заговорщики вперяются в загадочные письма. Как жесты и мимика говорят подчас больше слов, так почерк выдает нечто более постоянное, чем минутное содержание. Глядя на эти послания из одной неизвестности в другую, листки, вырванные из школьных тетрадок, исписанные и исчерканные синими, зелеными, фиолетовыми чернилами, химическим карандашом, пером рондо, пером-селедочкой, пером 86, строчки, выведенные судорожно сжатой щепотью, когда пальцы чуть не касаются пера и оставляют тонкий мелкопетлистый след, так называемый острый дуктус, либо начертанные мягко и размашисто, длинной хваткой, тестовидным дуктусом, с аркадами и гириляндами, с закрытой или открытой позицией, с двойной угловой связью, строки медленные и стремительные, изломанные, дугообразные, похожие на развившийся локон, на растянутый моток проволоки, на строй дворников с метлами и скребками, на процессию слепых, на парад насекомых... — глядя на эти письма и погружаясь в их магию, специалист, без сомнения, распознал бы в них нечто общее. Ибо если каждой эпохе присущ свой особый стиль, то это должно относиться и к почерку современников. Существует графология времени. От внимания знатока не ускользнула бы характерная для той эпохи манера писать вместо прописных букв увеличенные строчные: он усмотрел бы в ней готовность маленьких людей подчиняться большим людям, которые на самом деле тоже маленькие. В загибающихся книзу окончаниях строк, в этом желании во что бы то ни стало закончить слово, не перенося его на другую строку, он угадал бы жуткую, стесненную чувственность во мраке и тесноте коммунальных квартир, торопливое сладострастие, похожее на преступление, алчущее тайком утолить себя и забыть. Всматриваясь в письма темных людей, с типичной для этих лет тенденцией тщательно разделять слова, завершая их робким завитком, он без труда констатировал бы присущее всем и каждому желание свернуться, забраться в свою нору, укрыться в комнате с занавешенным окошком, сократить общение до размеров семьи, народ — до квартиры, государство — до масштабов единственного московского дома. Как детям этого дома достаточно было выйти из своего двора на улицу, чтобы очутиться в мире, где за каждым углом подстерегало насилие, где в подъездах таился грабеж, где обыскивали и раздевали до белья, на улице, где зада-

вали тон дети-мучители, дети-гангстеры, дети-штурмовики, где царили анархия и террор и властвовали вожди, где бушевала фашистская революция подростков, — так и взрослые чувствовали себя в тепле и покое лишь в комнатах с засаленными обоями и стучащими будильниками, в этих хоробах, где негде повернуться из-за вещей, перекочевавших сюда из другого времени. Об этом бесследно сгинувшем времени оставили память твердые картонные фотографии, белые зонтики, прически, высокие воротнички, какие-то резные столики, о которые манерно облокачивались эти господа, наконец, надписи с кокетливыми заглавными буквами и роскошно веющим, витиеватым роцкером. Глядя и сравнивая, графолог определил бы подлинный почерк нового времени, руку, пишущую руками всех.

#### 46. ПЕРВАЯ ВЕРСИЯ ЛЕГЕНДЫ О ВЕЧНОМ ЖИДЕ

И таким же однообразным было их содержание, многие письма начинались одними и теми же словами, сообщались одни и те же унылые и ничтожные новости, и вообще читать письма было гораздо менее интересным занятием, чем вскрывать. Девочка проглядывала их с брезгливым равнодушием, словно скушающий цензор. Приключение выдохлось. Она сделала голубя из письма, прицелилась в тусклую лампочку под потолком. Голубь описал петлю и приземлился у ее ног, словно хотел, чтобы они прочли его весть. Из другого письма, большого листа слоновой бумаги, вырванного из альбома для рисования, она принялась мастерить клинообразное изделие, называемое птицей, просто птицей. Говорят, изобретатели некоторых видов оружия заимствовали свои идеи из ребячьих игр. Птица, которая пронеслась в вышине и ударилась носом в дверь квартиры номер один, была похожа на жуткие стреловидные самолеты будущего.

Эта игра продолжалась некоторое время. Родилась смелая идея склеить вместе все письма и сделать одну огромную птицу. Оба с увлечением взялись за труд, но девочке снова стало скучно. Она чувствовала, что ей вообще *скучно*. «Ну что же ты», — пробормотал сообщник. «Давай, работай...» — вяло сказала она. Из писем получилась лист величиной с газету, он сложил его вдвое и стал отгибать края. Птица, однако, обнаружила серьезные конструктивные несовершенства; пришлось нести двумя руками. Шел дождь. Чтобы спасти вечер, помощник предложил поджечь птицу, но бумага намочла. Он с тоской запылил ее в урну.

Девочка снова уселась у батареи, подняла с пола осиротевшего голубя, который начинался словами: «Настоящим довожу до...». Ее тошнило, рот наполнился слюной.



«Ты чего?» — спросил он.

«Да пошел ты», — сказала девочка и сплюнула. Она вертела голубя так и сяк.

«Дай почитать», — сказал он обескураженно.

«Да пошел ты...» Ее взгляд тупо уставился в бумагу. Помощник, убитый горем, поплелся к лестнице, там валялась птица со сплюснутым носом. Он развернул ее, но почерк был неразборчив. Он вернулся и несколько времени сидел на корточках неподалеку от углубившейся в чтение девочки, делая вид, что тоже занят. Наконец он поднялся, разминая онемевшие колени, и произнес полувопросительно: «Ну, я пошел?..» Ответом было молчание. Люба читала письмо — довольно обыкновенное, как мы сейчас увидим, и вместе с тем в высшей степени странное.

Некто доводил до сведения следующее: сложная международная обстановка, наступление мирового капитала требует от нас особой бдительности. В доме № такой-то по Н-скому переулку, в помещении бывшей котельной проживает гражданин, который занимается мистикой, колдовством, хранит у себя религиозную литературу. Будучи отцом репрессированного врага народа, скрывает свое прошлое, изменил имя и год рождения. Далее автор письма писал, что в науке известны случаи долголетия, в будущем, когда революция победит во всем мире, такие случаи будут не исключением, а правилом. Ввиду всего вышеизложенного просьба выяснить личность упомянутого жильца, чем он занимался в прошлом, откуда прибыл. Не исключено, что под видом советского гражданина в подвале укрывается известный в истории международный авантюрист по имени Агасфер, засланный в нашу страну с подрывным заданием.

Дочитав письмо, свидетельство совершенно необычной эрудиции писавшего, девочка подняла на товарища по ночным похождениям затуманенный взгляд. Было поздно. Неожиданно сообщник судорожно и сладко зевнул.

«Ну, я пошел», — снова объявил он, помахивая мятой птицей.

«Погоди. Дай сюда... Давай, говорят тебе!» Азарт детектива и чувство, знакомое исследователям — что открытия не приходят в одиночку, — завладели ею. От тоскливой скуки не осталось следа.

«Где продолжение?»

«Не знаю».

«Сволочь, — бормотала она, — где продолжение?..»

Она рылась в ворохе оставшихся писем и наконец нашла то, что искала.

«Слушай, — сказала она вдохновенно, — сходи еще раз!»

«Куда?»

«За конвертами».

«Зачем?»

«Надо».

Помощник засопел и сказал, что он больше не пойдет.

«Чего?!» — сказала она грозно.

Он повторил: не пойду, и все.

«Тебе надо, сама и иди».

«Ах ты, гад!» — сказала она, после чего наступило молчание. Потом он спросил:

«А зачем они тебе?»

«Принесешь, узнаешь».

«Я пошел домой. — Его обижало то, что она не посвящала его в свои планы, спрятала письма в карман. — И вообще... — сказал он. — Больше я доставать письма не буду».

Это был уже открытый бунт.

«Струсил, так и скажи. Дурачина, если тебя поймают, то ничего не будет. Ты еще малолетка. Поплачешь, и отпустят. А меня если поймают, то посадят».

Помощник молчал и, глядя в пол, чертил кончиком ботинка сложную фигуру.

«Последний раз спрашиваю: пойдешь? По-хорошему спрашиваю!»

Он смотрел в пол.

«Ну, не хочешь, как хочешь... А я одну вещь хотела показать».

«Какую вещь?»

«Принесешь, покажу».

Он продолжал рисовать ботинком, потом поднял на нее сумрачный взгляд.

«А я видел», — сказал он.

«Когда это ты видел?»

«Видел».

«Тогда была ерунда, — сказала Люба, — тогда ты был еще малявка, ничего не понимал. Тогда было издали. Чего ты видел, ничего ты не видел. Ты близорукий».

«Я не близорукий, — возразил он. — Я даже Марс вижу».

«Это совсем другое дело. Если принесешь, покажу совсем близко».

«Прямо сейчас?»

«Сейчас нельзя, могут войти. И потом, здесь негде. Мне же надо лечь».

«А когда?»

«Когда хочешь. Хочешь, завтра».

«Слово даешь?»

«Вот те крест, — сказала она и размашисто перекрестилась. — Честное ленинское, честное сталинское. Сука буду. С места не сойти».

Он все еще колебался.

«А чего показывать-то, — проговорил он презрительно, — ничего там нет».

«Нет, есть, — сказала девочка, таинственно улыбаясь. — Если бы не было, то и смотреть было бы неинтересно. А тебе самому интересно».

Она выскользнула наружу, вернулась.

«Иди быстро, — прошептала она, — никого нет...»

Как назло, ящик не поддавался. Она приплясывала перед подъездом, под морозящим дождем, зорко поглядывая по сторонам, пока он трудился на противоположной стороне переулка. «Заклинило, вот ч-черт...» — буркнул он, когда она подбежала к нему. «Заклинило, эх ты... Герой сопливый». Она нажала на что-то, и конверты посыпались на мокрый тротуар.

Вдвоем ввалились в парадное, девочка отфыркивалась и трясла мокрой головой. Разложили добычу на батарее.

«А если войдут?»

«Балда, не видишь, они все промокли... Не дрейфь, никто не войдет».

Она изучала конверты.

«Завтра покажешь?» — спросил он.

«Чего?»

«Завтра. Ты же обещала».

Девочка подняла брови, изобразив крайнее удивление.

«Ишь ты какой. Разбежался! — сказала она, обводя его презрительным взглядом. — Обещанного три года ждут, ясно? Мало каши ел, чтоб у девчонок подсматривать! Обещала... Да, обещала, если принесешь конверты, а ты?.. А ну вали отсюда. Хрен моржовый! Иди на х...!»

Человек, которого уподобили огородному овощу, да еще почему-то моржовому, смотрел на нее сквозь злые слезы, повисшие на ресницах, но она больше не нуждалась ни в каких сообщниках.

## 47. СТРАШНАЯ МЕСТЬ ПИСАТЕЛЮ ДОНОСОВ

Сволочь, гнида вонючая, ты сам — враг народа. Думал, гнида, никто не узнает? Хер тебе! Ей достаточно было сравнить почерк письма с обратным адресом на конверте. И все стало ясно. И никуда от меня не денешься, думала она. Пис-сатель сраный...

Страшная месть требовала и страшного времени. Как известно, таким временем является полночь. О, сладострастие справедливой расправы, желанное совокупление с жертвой... Она укрылась там, где ее никто не мог найти. Уселась, водрузив перед собой керосиновую лампу. На стене, за спиной девочки, кольхалась ее косолапая тень и касалась головой двускатной крыши. Дом отходил ко сну, и в темных недрах квартир уныло-торжественно били кремлевские куранты. Оркестр играл «Интернационал». Двенадцать часов. Смежив глаза, она раскачивалась взад-вперед, подражая деду, бормоча заклинания, дикую смесь молитв и проклятий. Разложила на коленях письмо. Теперь — к делу. Она раскрыла платье. Короткий удар финкой в грудь. Потекла кровь. Она схватила вязальную спицу, окунула кончик в черную струйку и проткнула гнусное имя писателя доносов, витиеватую подпись на конверте. Пригвоздила его всюду, исколола все места, где стукач упоминал о себе. Дом отходил ко сну. На Красной площади были слышны гудки автомобилей, и оркестр играл «Интернационал». Вставай, проклятьем заклеянный! Конечно, это было всего лишь радио. Но все знали: в самой высокой башне Кремля, под шпилем с рубиновой звездой, медленно поворачиваются гигантские зубчатые колеса, скрипят цепи, вращается ось. И две огромные стрелки сходятся вместе, неподвижно стоят под верхней точкой золотой каймы циферблата, и оркестр играет международный гимн рабочих. *Это есть наш последний...*

Летучая мышь в облике тринадцатилетней женщины, она улавливала неслышимые звуки, доносившиеся снизу, из квартиры последнего этажа, и чем больше она колола, шепча страшные слова, расковыривала спицей подсыхающую ранку на груди, напротив сердца, и снова колола, тем черней становилось у предателя на душе, тем страшней было оставаться ночью одному в своей комнате, тем ужасней жгло ему внутренности, тем верней и неотвратимей он съезжал вниз на ободранном голом заду в адскую преисподнюю. Это он был заклеянный проклятьем, это ему был объявлен смертный бой. Вставай, гад, пришел час расплаты! *Весь мир насилья мы разрушим, пела колдунья грозным шепотом. И колола. Это есть наш последний!..* И колола, зажав спицу в кулаке, пока от листка и конверта не остались одни лохмотья.

Все было кончено, она была опустошена, измучена, тупо глядела на растерзанное письмо, потом изорвала его в клочки и бросила в огонь. Вспыхнуло пламя, из стеклянного горла керосиновой лампы полетели вверх черные хлопья сгоревшей бумаги. Вдруг зажглось что-то под ногами. Там и сям вспыхивали искры, горела паутина и пыль. Девочка храбро топтала ногами огонь, сорвала с себя пальто и

била по летучему пламени, но задела лампу. Столб ослепительного огня заставил ее отшатнуться. Она бросилась к люку. Несколько минут она прислушивалась, стоя на лестничной площадке, к слабому гулу, доносившемуся, как казалось ей, с чердака; снова полезла вверх по шаткой лесенке, приподняла крышку люка, заглянула внутрь. Там было тихо и темно.

#### 48. А МОГ БЫ УЗНАТЬ, ЧТО ЕГО ОЖИДАЕТ



Однажды произошел следующий эпизод: продавец билетиков — лицо, нам уже знакомое, — был окликнут человеком, сидевшим в отдалении на штабеле старых досок. Человек этот был худ, щетинист, изжеван жизнью, носил железные очки, демисезонное пальто и синие полуначальственные «гали», заправленные в сапоги. На груди имел ненароком выставленный из-под пальто боевой орден.

«Эй, — сказал он, — молодой человек...» И поманил прорицателя пальцем.

«Увы, — отвечал продавец будущего. — Я уже не молод. Хотите узнать, что вас ждет?»

«В другой раз, — промолвил небрежно человек в галифе. — А ты мне вот что скажи. Ты чем занимаешься?»

«Да вот... сами изволите видеть».

«Я спрашиваю: где работаешь?»

«Да вот, здесь и работаю».

«Что это за работа! Кто разрешил?»

«Каждый делает что может, — сказал гадатель, осторожно обходя опасную тему. — Я старый человек. Никому не мешаю».

«То есть как это никому не мешаешь?»

Продавец будущего поправил на плечах лямки лотка с вещей птицей.

«Спасибо на добром слове, — сказал он. — Я учту. Все понял. Учту. Счастливо оставаться».

«Нет, ты погоди! — грозно сказал человек в галифе, запуская руку в карман, словно собирался вынуть оружие или мандат. Но это были папиросы «Красная звезда». Он протянул пачку продавцу будущего. — Одолжайся».

«Спасибо. Разве уж побаловаться...»

«Ты мне вот что скажи. Ты сам-то в это дело веришь?»

«Во что?» — кашляя, спросил продавец.

«Ну, в эту птицу».

«М-м. Что значит верить. Наука доказала, что...»

«Наука. При чем тут наука? Вот народ, — сказал человек, сидевший на штабеле, — вместо того чтобы работать, понимаешь, пользу приносить, шляются по дворам, распространяют суеверия!»

«Товарищ дорогой, — сказал жалобно продавец, — что ж делать-то? Жрать-то надо».

«М-да. — Человек в синих галифе тяжело вздохнул, глядя вслед прорицателю, удалявшемуся к воротам. — Наследие старого мира!»

Пора сказать о нем несколько слов.

Пора представить читателям того, чью память нам хотелось бы сохранить, кто любил сидеть на штабеле в углу двора и рассказывать, как мальчонкой он пас скотину и не мог, подобно нынешней детворе, учиться в школе, петь пионерские песни и шагать под стук барабана; пора сказать об изжеванном жизнью человеке в железных очках, с хромой ногой и боевым орденом. Об авторе письма.

Прежде всего следует решительно отмести такие выражения, как стукач и тому подобное. Стукач алчет получить свои тридцать сребреников. Стукач прячется. Писатель доносов честно и открыто указал свой адрес. Писатель не укрывался за псевдонимом, не считал дело своей жизни чем-то зазорным, напротив, не упускал случая подчеркнуть важность своей профессии и обыкновенно говорил о себе: «Мы, писатели». Или: «Я, как работник литературного фронта...»

И вот тут-то гнусная жизнь ловила его на слове. Какой такой фронт? Само это выражение в те годы уже звучало анахронизмом. Писатель отстал от времени. Алый кумач знамен, под которыми он маршировал — как ему казалось, в первой шеренге, — выцвел, а он не хотел этого замечать. В этом была его трагедия, его роковая ошибка.

Он любил повторять строки популярной песни двадцатых годов, написанные его собратом по перу, соратником в идейных боях: «Только тот наших дней не мельче, только тот на нашем пути, кто умеет за каждой мелочью Революцию Мировую найти». Умение искать и находить революцию в каждом углу, столь ценное борцами его призыва, катастрофически вымирало. Мелочи остались, а то, что давало им высшую санкцию, постепенно ушло в легендарное прошлое. Будущее ушло в прошлое, не успев наступить. Процесс измельчания поразили самую субстанцию времени. Великое учение о борьбе мирового зла с мировым добром обязывало бойца литературного фронта давать всему принципиальную классовую оценку, но беспринципной оказалась сама жизнь.

*Наш паровоз, вперед лети. В коммуне остановка!* Вот еще одна мелодия тех славных, дымных лет. Теперь у писателя было такое чувство, как будто паровоз умчался, дудя и гремя колесами, и увез за собой весь поезд, — а он остался на тухлом полустанке. Кто были люди, жившие в доме? Ни то ни се, не угнетатели, но и не угнетенные, не рабочие, не крестьяне, не буржуазия, этих людей вообще нельзя было отнести ни к какому классу, великое революционное учение их не предусмотрело. А вернее сказать, они все относились к одному, неведомо откуда взявшемуся, безымянному классу, разбухшему, как трясина, в которую постепенно съехали и остатки эксплуататорских классов, и трудящиеся, и вообще все. Чем эти люди занимались, неизвестно: где-то служили, кем-то числились, а проще сказать, коптели небо! И, конечно, были благоприятной питательной средой для развития враждебных и чуждых настроений. Словом, вся жизнь, окружавшая писателя, выглядела каким-то вывихом и насмешкой над великой идеей. Эту идею не смогли сломить ни полчища мировой буржуазии, ни белая армия, ни предатели и оппортунисты в рядах самого рабочего класса. А теперь она ничего не могла поделывать с плесенью быта.

Писатель угрюмо поглядывал вослед предсказателю будущего. Какое уж там будущее...

## 49. ЛИТЕРАТУРНЫЕ МЧТАНИЯ

Кто знает, быть может, он так бы и жил в родной деревне. Так бы и состарился, заглож в безвестности, как глохли тысячи народных талантов, и никогда не стал бы писателем, если бы его не сорвал и понес, как на крыльях, вихрь головокружительных слов. Революция дала ему все. Революция — можно сказать и так — отняла у него все. Он вернулся с врангелевского фронта контуженный, стуча костылями, с орденом на выгоревшей гимнастерке. Немного времени спустя в одном из небольших южных городов увидело свет его первое, лучшее и единственное произведение, поэма «Путь батрака». Он стал председателем комфракции, секретарем ячейки, был рекомендован в секретариат правления, выдвинут в бюро и, наконец, откомандирован в столицу. Жил в пригороде, снимал угол у какой-то старухи из бывших. И целое десятилетие прошло в дискуссиях, заседаниях, обсуждениях, разоблачении ошибок, решительном отмежевании от классово чуждых элементов, выработке программ и вынесении резолюций. Писатель примкнул к одной из самых боевых групп. Рядом с другими громкими именами (где они теперь?) его подпись стояла под «Платформой крестьянско-бедняцких писателей».

В третий раз — после Вергилия и восемнадцатого века — пасторальная тема постучалась в высокие резные двери изящной словесности, на сей раз ударив корявым мужицким кулаком. Центральная мысль платформы была та, что, во-первых, крестьянскую литературу должны создавать сами крестьяне. Во-вторых, революционный пролетариат выполняет свою историческую задачу не один, а в союзе с беднейшим крестьянством при нейтрализации середняка. Следовательно, и пролетарская литература должна существовать не сама по себе, а в союзе с бедняцкой литературой, той литературой, которую будут создавать беднейшие слои крестьянства при нейтрализации литературы, выражающей интересы середняка; кулацкая же литература должна быть сметена.

Вот цитата из этого документа, разысканного нами с немалым трудом:

Целый ряд товарищей, якобы товарищей, сделавших в области литературной политики целый ряд ошибок и проводивших правокулацкую линию, еще не отказались от нее. Комфракция крестьянско-бедняцких писателей опирается на массовое движение сознательных деревенских низов. Мы обязаны помнить указание вождей мирового пролетариата о том, что господствующие идеи какого-либо времени всегда являлись только идеями господствующего класса. Так, в период господства феодализма идеи были феодальными, а в период господства буржуазии — буржуазными. В условиях, когда к власти пришел пролетариат в союзе с беднейшим крестьянством и батрачеством, идеи могут быть только пролетарскими, крестьянско-бедняцкими и батрацкими. Спрашивается: как же можно в условиях господства пролетариата и беднейших слоев крестьянства мириться с наступлением непролетарской и небедняцкой идеологии? Наш ответ один: смертельный бой!

Манифест был принят на общем собрании участников платформы, собрание завершилось пением «Интернационала» и бедняцкого гимна «Долго в цепях нас держали». Но когда боевые соратники, сокрушив врагов и овладев вершинами теории, приступили наконец к созданию монументальных произведений крестьянской литературы, случилось непредвиденное, литературные фракции и организации были все разом отменены. Это произошло в начале следующего десятилетия, на переломе тридцатых годов, и, как всегда бывает, сперва никто не заметил, что наступила другая эпоха. В новом и едином творческом союзе для писателя, борца за победу мировой революции, не нашлось достойного места. Люди темного происхождения, выходцы из мелкобуржуазной среды оттеснили его. Якобы пролетарские



писатели, а на самом деле кто? Один учился в гимназии, у другого отец раввин... Между тем время шло, сгинули один за другим и эти люди. Все сгинуло, и враги, и бывшие друзья, которые тоже оказались врагами, ибо всякая слишком последовательная ортодоксия сама в конце концов становится ересью. И вот оказалось, что они унесли с собой что-то необыкновенно важное. Ах, дело было не в бедняцкой литературе, он о ней теперь и не вспоминал. Это «что-то», чему было трудно подыскать название, было революцией, молодостью, борьбой, красными косынками девушек, ночными бдениями над трудами вождей мирового пролетариата, утренней свежестью, внезапным ливнем над Москвой.

Никакими формулировками невозможно было объяснить это чувство растерянности и обмана. Как будто ты ехал в вагоне с замечательным спутником, душевным человеком, подружился, доверился, открыл ему всего себя, вместе выпили, на станции вышел покурить на перрон, вернулся — а друга и след простыл, и вместе с ним исчез чемодан и все документы. Писателю казалось, что его обманула и ограбила сама жизнь. Не то чтобы он разочаровался в светлых идеалах, перестал верить в то, чему служил всю жизнь, в братство и вызволение угнетенных. Терпение, говорил он себе, новый мир строится в муках, но он строится, доказательства налицо: разве можно сравнить сегодняшнюю жизнь с той старой, темной, несправедливой жизнью? Но странное дело: нищее деревенское детство уже не казалось ему проклятым и нищим, он вспоминал запахи дыма, навоза, свежескошенной травы, мычанье коров на закате, и это детство и начало юности, вопреки всему, казались почти прекрасными. В эти минуты он чувствовал, что он был выше, лучше, талантливей и богаче того, кем он стал. Жизнь обманула его. Он так много ждал от нее! Но теперь ничего этого уже не вернешь. Ладно, сказал он себе. Надо работать.

Сидя в углу двора, он задумчиво разминал пальцами папиросу, пока весь табак не просыпался на землю. Писатель скомкал гильзу и отшвырнул ее прочь. Слушатели, мальчишки и девчонки, которых он поучал, как им теперь хорошо живется, разошлись.

Время шло, и возраст давал себя знать, не только его собственный, но и высший возраст страны, испытавшей бурное и кратковременное обновление — наподобие пересадки семенников. Все это было непросто, во всем этом легко было запутаться. В частности, не так просто было освоить новое толкование интернационализма. *Наши паровозы, вперед лети!* Революция продолжалась, но ее поезд сворачивал на Восток. В новых условиях борьбы классовый подход было необходимо дополнить национальным. Враги маскировались. Национальный подход приобретал новое революционное содержание. Существо-

вали революционные нации — пролетарские и крестьянско-бедняцкие; существовали нации реакционные, буржуазные и эксплуататорские; против недооценки этого факта предупреждали и Маркс, и Ленин. Писатель продолжал борьбу. Ненавидимый жильцами, неизменно вызывавший кривое передергивание лица у нашего управдома Семена Кузьмича, он яростно трудился по ночам, листал книги и находил цитаты, вынашивал новые замыслы, писал и много раз переписывал написанное. Его жена, простая женщина, никогда не понимавшая, чем он занят, ушла от него. Соседка, работавшая санитаркой в больнице, прибирала его комнату. Изредка она делила с ним постель.

Писатель доносов полез в карман галифе за новой папиросой, но увидел, что пачка пуста. Он встал и, прихрамывая, пересек двор. Вошел в тухловатый сумрак черного хода, спустился, отыскал в потемках бывшую котельную... Каково же было его изумление, мистический ужас и восторг от того, что догадка его подтвердилась, когда, толкнув дверь, он увидел в дымной мгле библейского старца в клеенчатом переднике, в ермолке на позеленевших кудрях, с дамской туфлей, кривым молотком и колодкой между колен. Вечный Жид прибывал набойки!

## 50. СОВЕЩЬ — АМПУТИРОВАННАЯ КОНЕЧНОСТЬ

Вечный Жид прибывал набойки, ставил кожаные заплаты, а что тут, собственно, удивительного? За тысячу лет его профессия не изменилась. Скажут: этого быть не может, откуда писателю, народному человеку, было знать о древней легенде? Если бы наше повествование было вымыслом, мы отбросили бы с презрением этот неправдоподобный мотив. Но жизнь — не выдумка и может позволить себе быть неправдоподобной. Воистину жизнь пошла такая, что впору схватиться за голову.

В конце концов можно было бы сослаться на мозговую травму, полученную писателем доносов под Перекопом, можно было бы указать и на некую общую травму истории. Думается, есть основания говорить об особом, психиатрическом аспекте эпохи. Если можно уверовать в мировую революцию и миссию рабочего класса, в алюминиевые дворцы и золотые сортиры, в пролетарскую философию, в бедняцкую литературу, в массы и классы, а также в Божий замысел о русском народе, в Третий Завет и Третий Интернационал, если каких-нибудь тридцать или сорок лет назад был еще жив мудрец в зипуне, с нечесаной бородой, который открыл, что из коровьих блинов, комьев глины и ворохов гнилой соломы можно собрать и оживить всех предков, — то что же удивительного в том, что несчастный, ни-

щий духом и немощный телом человек, алчущий и жаждущий правды, и поносимый, и плачущий, и гонимый за правду, что же удивительного, что он уверовал в Агасфера?

Следует указать на то, что миф нередко обязан своим происхождением игре слов. Помнится, кто-то в нашем дворе в самом деле окрестил подвального деда вечным жидом. (Слово «окрестил» выглядит здесь, не правда ли, несколько странно.) То есть имелось в виду то вполне прозаическое обстоятельство, что дед зажился. Пора и честь знать. Котельная, коль скоро она не использовалась по назначению, могла бы служить иным общепольным целям; давно назревшая проблема прачечной требовала решения. Так рассуждала общественность, такова была позиция жильцов, наблюдавших, как дед курсировал из подвала в больницу и обратно.

Пишущий эту хронику приносит чистосердечные извинения, если в своих усилиях реконструировать прошлое он не сумел отделить факты от того, что так прочно срослось с ними, от слухов и сплетен, от легенд, клубившихся во дворе, как туман на дне оврага. Очевидно, что мы имеем дело с претворением житейского факта в мифологическое бессмертие. Заметим, однако, что писатель доносов не избежал парадокса, составляющего центральное противоречие легенды об Агасфере. Некоторые видят в нем парадокс самого еврейства.

Иерусалимский сапожник проклят и осужден скитаться за то, что не признал в Иисусе Христе Сына Божьего и Спасителя. Но самое явление странника есть неопровержимое свидетельство о Христе, ибо из всех живых, из всех, кто бредет по земле рядом с нами, он единственный, кто видел Его своими глазами.

Теперь вернемся к писателю: как человек новой, свободной эпохи он знал, что никакого Христа в природе не существовало, все это были поповские сказки. Но существовал котельный дед, сеятель религиозного дурмана. И этот дед, Вечный Жид, сидевший с колодкой и молотком, был тот самый еврей, который, вместо того чтобы помочь Иисусу тащить его ношу или хотя бы посочувствовать, прогнал его прочь от своего крыльца. Убедительность этой версии в глазах писателя не страдала от того, что первый тезис противоречил второму. Ибо вера в роковую и губительную роль народа, который отверг Спасителя, долговечней веры в самого Спасителя.

Агасфер вечен. Но вечен ли тот, кто обрек его на бессмертие? Разве только благодаря самому Агасферу.

И если уж договаривать все до конца, то придется сказать, что автор письма мстил котельному жильцу, да, мстил, сам того не соображая, и не только за себя, но как бы и от имени наших сограждан. Мстил вечному деду за то, что он необъяснимым образом на-

поминал о Христе, о крестном пути и спасении, о том, что было выкорчевано из их сердец, но все еще жило и бредило их ампутированную совесть, несуществующую конечность, которая зудит и ноет к плохой погоде.

### 51. СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ



Был летний вечер, один из тех вечеров, которые превращают наш город в лучшее место на земле; и радио передавало концерт песен. Песня о Волге. Ах, если бы вспомнить, кто написал эту радостную мелодию, тридцать восемь нотных знаков, в которых зашифрована вся наша жизнь, и детство, и синева прохладного каменного двора... если бы вспомнить! Мы собрались бы все, со всех дворов, сколько нас еще осталось, мы разыскали бы старое кладбище и древний памятник с полустертой звездой Давида, и повалили бы этот камень, и откопали бы композитора, и обняли, и расцеловали. *Много песен о Волге про-пето. Но еще не сложили такой!* В то время, когда песня уносилась на волю из недр квартиры без номера, кружилась по двору, ныряла в открытые форточки, — в это же самое время новейший ламповый радиоприемник «Родина» распевал на столе у Сергея Сергеевича, и хозяин поднимал глаза от бумаг и, берясь за телефонную трубку, подпевал певиче. *Красавица народная. Широка, глубока, сильна.*

Тот, кому довелось узнать, знал, а кому не положено было, не знал, что назначение комнаты рядом с кабинетом управдома не вполне отвечало вывеске на дверях. Начертано было: «Эксплуатационная. Посторонним вход воспрещен», тогда как лишь вторая фраза ясно выражала волю того, кто повесил вывеску, хотя опять-таки было неясно, кого считать посторонним. На самом деле за дверью никого не было. Стоял стул. Окно было замазано белой краской. На стене висел плакат: вступайте в Осоавиахим. Тот, кто должен был сидеть в комнатке, ожидая вызова, мог слышать слабо доносившуюся музыку, мог составлять комбинации из букв, входящих в слово «Осоавиахим», или пытаться угадать, что оно вообще означает. В комнате находилась другая дверь, обитая поддельной кожей и обрамленная валиком, за ней еще одна дверь, она-то и открывала покой, где происходило действие, недоступное посторонним, кто бы ни подразумевался под этим словом; там, за просторным столом, перед телефоном и радиоприемником, сидел Сергей Сергеевич.

Именно так он звался: не товарищ такой-то, не сотрудник такого-то отдела и вообще не сотрудник. Все отделы и полномочия и существовали, и как бы не существовали. Все звания были секретными, все обращения в этом роде были бы неуместны. А просто Сергей Сергеевич. Назывался ли он тем же именем там, где носил не пиджак и косоворотку, а длинную, до колен гимнастерку, крылатые штаны и шпалу в петлицах? Этого никто не знает. Если правда, что имя — это магический ключ к потаенной природе вещей, то правда и то, что со сменой имени меняется нечто в его носителе — имя открывает доступ к человеку, но и окутывает его тайной, наделяет властью, принадлежащей не ему, но как бы данной ему в пожизненное пользование; имя заслоняет человека, как щит; имя придает значительность незначительным чертам и заставляет нас погружаться в темный смысл слов, даже если они так же будничны, как предложение закурить. Словом, имя есть нечто большее, чем способ окликнуть человека, — а может, и вовсе им не является.

Иногда Сергей Сергеевич выходил из своего убежища спросить спичку, вообще же появлялся не каждый день, порой засиживался над бумагами до поздней ночи, и непонятно было, жив он там или умер, а бывало и так, что по целым неделям «эксплуатационная» стояла запертой, как вдруг оказывалось, что хозяин у себя на месте, пьет чай и закусывает бутербродом с семгой. В обхождении Сергей Сергеевич был прост.

«Ну, как жизнь молодая, Семен Кузьмич?»

«Старость не радость, Сергей Сергеевич...» — и разговор обыкновенно переходил на медицинские темы.

«Вот и я мучаюсь. Поясницу не разогнешь».

«В отпуск пора, Сергей Сергеевич. Надо и о себе подумать».

«Да где там. На нашей работе отпусков не бывает».

«А вы бы взяли за свой счет».

«Да где там... Как-нибудь до осени доскриплю, а там в санаторий. Ладно, заговорился я с тобой...»

«Работа не волк, Сергей Сергеевич!»

«Остряк ты, Семен Кузьмич».

И все в таком роде.

Примечательно, что все наши попытки выяснить, где именно была расположена «эксплуатационная», остались безуспешными. Методы, которыми обычно пользуются при исследованиях этого рода, как-то: сличение версий и сопоставление косвенных данных, экстраполяция, теоретический расчет и реконструкция плана дома — ничего не дали. Очевидно, что кабинет находился при доме и в доме, скорее всего, на первом этаже; но так и не удалось уточнить местонахождение

квартиры, которая могла быть использована для этой цели, — непонятно, где могло скрываться это довольно значительное помещение. Кабинет управдома, собственно, даже не кабинет, а каморка, повернуться негде, как цивильное учреждение сомнений не вызывает. А вот где помещалась «эксплуатационная»?

Высказывалось парадоксальное мнение, что ее вообще не было. Ничего не было: ни Осоавиахима, ни кожаной двери, ни того, кто за ней сидел. Спустя много лет один из бывших посетителей нарушил тайну, сообщив нам, что в кабинете Сергея Сергеевича у него всегда было ощущение, будто он очутился по ту сторону. По ту сторону чего? Кожаной двери, сказал он. А где была кожаная дверь? Кожаная дверь была по эту сторону. По эту сторону чего? Этот разговор заставляет усомниться в беспочвенности предположений, что кабинета свиданий попросту не существовало.

Да, его не существовало, но лишь в том смысле, в каком мы говорим о существовании комнаты управдома, лестницы, подъезда, переулочка. Присутствие внешнего мира — если не считать поющего голоса на столе у Сергея Сергеевича и шепота телефонной трубки — прекращалось в кабинете свиданий: не было слышно ни голосов, ни шагов прохожих, ни цокающих по мостовой битюгов с телегами на резиновом ходу, ни проезжающих машин.

## **52. ПРИБЫТИЕ В ТУЛУ СО СВОИМ САМОВАРОМ**

Хозяин протянул посетителю коробку «Казбека», на что гость, поколебавшись, отвечал скромным отказом; Сергей Сергеевич возразил, что сам тысячу раз давал зарок, затынулся и махнул ладонью, разгоняя дым. Разговор сам собой зашел о здоровье. Сергей Сергеевич сказал, что который год собирается все бросить, взять полугодовой отпуск и заняться собой, да разве когда-нибудь будет конец? И указал на бумаги.

Следует отметить, что эта первая беседа оперуполномоченного с писателем доносов почти не касалась дела, но не потому, что сигнал не дошел по адресу — ведь письмо, перехваченное девочкой, было не единственным, касавшимся данного предмета, — а по какой-то другой причине, относительно которой писатель мог лишь строить догадки. Когда управдом, встретившись как-то раз на лестнице с писателем, осведомился, погашена ли у него задолженность по квартплате, и добавил: «Зайдешь ко мне завтра... часика в четыре», писателю не пришлось в голову связать эту случайную встречу со своими разысканиями, и даже когда он явился и Семен Кузьмич указал на дверь с табличкой

«Эксплуатационная», он все еще не понимал, в чем дело. Поэтому писатель был приятно удивлен, увидев свою рукопись в руках у Сергея Сергеевича, приосанился и приготовился к деловой беседе.

Но Сергей Сергеевич ограничился тем, что задал два-три формальных вопроса, бросил последний взгляд на сигнал и отложил его в сторону. Последовал разговор о курении; гость пребывал в некотором недоумении, понимал, что человек за столом куда-то клонит; так авторы романов умело усыпляют бдительность читателя незначительными эпизодами, чтобы вдруг ударить по мозгам. Какой художественный ход планировал Сергей Сергеевич? Возможно, как человек новый, недавно назначенный на этот пост, прочитав ахиною об Агасфере, он хотел убедиться, что автор сигнала — реальное лицо; возможно, он пожелал составить суждение о его психическом здоровье. Возможно также, что свидание было частью деловой процедуры оформления сигнала, обязательной независимо от его содержания. Нельзя исключить и такой вариант, что на столе находился еще один сигнал, поступивший от другого автора, а именно сигнал от самого писателя. Вообще на столе лежало много сигналов — так назывался в то время этот полулитературный жанр.

Наконец, не следует упускать из виду соображение, которое мы решаемся высказать, учитывая дальнейший ход событий: приглашая к себе писателя доносов, Сергей Сергеевич мог преследовать чисто педагогическую цель.

Итак, выразив смелое, но туманное пожелание бросить все к черту и заняться здоровьем, он откинулся на спинку стула и посмотрел на посетителя длинным пронизательным взором. Спросил: отчего гость хромает?

«Белогвардейская пуля, — сказал писатель. — Хорошо еще, что ногу не отрезали. Полгода по госпиталям маялся».

«Угу, — отозвался хозяин, думая о чем-то. — А вы чем занимаетесь?»

«Я литератор. Член союза».

«А, ну да, — сказал Сергей Сергеевич, скосив глаза на сочинение, лежавшее на столе, — я и забыл». Вдруг он спохватился: ай-яй-яй! Время-то как бежит. Оказалось, что в кабинете, как в капсуле звездного корабля, часы шли иначе, нежели снаружи — во дворе, на улице и вообще где бы то ни было. Сергей Сергеевич встал.

«Рад познакомиться, — промолвил он, пожимая руку гостю, — Заходите как-нибудь. А с этим гражданином мы разберемся... Может, в среду заглянете, часикам к четырем?»

Писатель, сбитый с толку, рассудив, что, быть может, так оно и к лучшему, покинул кабинет уполномоченного через другую дверь.

## 53. СМОТЯ С КАКОЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ

Старик, сидевший в «эксплуатационной», был одет чрезвычайно торжественно: на нем был длинный двубортный сюртук, из рукавов выглядывали крахмальные манжеты, сильно обтрепанные. На шее красовалась черная бабочка, называемая в наших краях собачьей радостью. На голове ермолка. Костюм дополняла архаическая загнутая трость.

Последовало приглашение, при этом Сергей Сергеевич с необыкновенной предупредительностью подхватил деда под мышки и усадил напротив себя, по другую сторону стола.

«Должен прежде всего извиниться за то, что побеспокоил вас!»

«Ах, пустяки», — отозвался дед, поддержав светский тон.

«Вы не будете возражать, если я закурю?»

«Что вы, что вы».

«Совестно предлагать вам такие скверные папиросы... не хотите ли?»

«К сожалению, я курю трубку».

«Ба! — воскликнул Сергей Сергеевич. — Так в чем же дело?»

Дед совершенно не знал, что на это ответить, и сделал неопределенное движение.

«Мы можем кого-нибудь послать».

«Нет, нет. Благодарю. Не беспокойтесь».

«Понимаю, — мягко сказал Сергей Сергеевич. — Вам не хочется, чтобы люди знали, что вы здесь. Обещаю вам, что наш разговор останется между нами. Дело в общем-то пустяковое... Если же говорить откровенно, — он улыбнулся, — то для меня это скорее повод познакомиться с вами. Я много о вас слышал».

«Что же вы слышали?» — спросил дед.

«Много хорошего».

Старик покачал головой. «Это меня не радует».

«Почему же?»

«Потому что было бы лучше, если бы вы обо мне совсем не слышали».

«Ну зачем уж так... — Сергей Сергеевич издал смешок. — Кстати: ваш сын уехал?»

«Да, — сказал старик. — Уехал».

«Угу. И далеко?»

Старик пожевал губами.

«Ну что ж, уехал так уехал, — сказал Сергей Сергеевич, давая понять, что тема его не интересует. — На чем мы остановились? Да: дело вот какое... Простите, что я так сразу быка за рога. Тут есть один такой, самодеятельный... Куда ж я его подевал?»



Сергей Сергеевич рылся в ящике стола.

«Короче говоря, если называть вещи своими именами, самодеятельный писатель доносов».

«Так я и знал, — пробормотал дед. — Инспектор дымоходов».

«Какой инспектор? А, этот... Нет, — усмехнулся Сергей Сергеевич, — не он. Кстати, он жаловался на вашу внучку. Посоветуйте ей быть вежливей. Так вот-с... Он пишет... что же он пишет? — бормотал Сергей Сергеевич, пробегая глазами бумагу. — Хм... он пишет, не буду вам читать все подряд, не удивляйтесь... что вы Агасфер!»

«Кто?»

«Агасфер. Ну знаете, этот...»

«А! — сказал дед. — Это похоже на истину».

«Простите?»

«Ваш писатель образованный человек. Я хочу сказать, — пояснил дед, — что это западная легенда, в России малоизвестная. Но почему бы и нет?»

«Вот именно, — подхватил Сергей Сергеевич, — тут даже есть некоторая логика. Западная легенда... шпионов засылает к нам тоже Запад...»

Дед сказал:

«Я старый человек. Я еврей. Правда, я не бессмертен, но это не так важно. Во всем остальном... почему бы не назвать меня Агасфером?»

Сергей Сергеевич весело рассмеялся. «В самом деле, почему бы и нет? Ну ладно, что о нем говорить... Он пишет, что вы занимаетесь распространением религиозного дурмана. Я просто повторяю его слова... Что он имеет в виду?»

Дед пожал плечами, возвел очи к потолку.

«Не думайте, что это допрос, — продолжал уполномоченный, — мне просто интересно. Чисто по-человечески... Чем вы занимаетесь?»

«Работаю, насколько мне позволяют мои силы. По моей профессии».

«Профессии?»

«Я обувщик. Проще говоря, сапожник. Имею патент».

«Да не об этом речь...»

«Я думаю, что следовало бы спросить автора письма, что он имеет в виду... Возможно, у него есть свои соображения. Возможно, он прав — с его точки зрения».

«А с вашей?»

«Несведущим людям, — сказал дед, — наука всегда казалась чем-то опасным. Так было всегда».

«Вы правы, — сказал Сергей Сергеевич. — Так что же это за наука?»

## 54. НА ОСТРИЕ МЕЧА

Неверно было бы думать, что Сергей Сергеевич играл с писателем доносов, как кошка с мышкой: по крайней мере, нижеследующий диалог опровергает это впечатление. Если делами и помыслами литературного бойца руководили революционная бдительность, классовая непримиримость и догматический восторг, то и рыцарь-меченосец Сергей Сергеевич был человеком не менее истовой веры.

Постучав в дверной косяк и услышав голос хозяина, писатель вошел в кабинет — и открыл рот. Уполномоченный стоял возле стола, но это был другой человек: прямой и грозный, в ремнях, в петлицах цвета закатного неба, с золотым мечом и щитом на рукаве форменной гимнастерки. «Прошу!» — молвил он после некоторого молчания, указал гостю на стул и сел сам, причем снял с руки часы и положил их перед собой.

«Имя, отчество? Год рождения?..» — спрашивал человек, который раньше назывался Сергеем Сергеевичем, и, записывая, время от времени вскидывал на сидящего светлый взгляд, словно они виделись в первый раз. Неожиданно задребезжал звонок, и тут только писатель заметил, что на столе стоит телефон; уполномоченный схватил трубку и издал неопределенный звук. Слушая невидимого докладчика, он обозревал стол, стены, писателя, собственные ногти, перекладывал перья и карандаши и, наконец, произнес два коротких слова:

«Ладно. Валяй».

Между тем писатель доносов, сидя на своем стуле, переживал некое перемещение в иное психическое пространство; в этом пространстве не было места случайному, незначительному и произвольному, все имело особый смысл, и все было связано с ним, с его приходом. Не по прихоти случая Сергей Сергеевич предстал перед ним в форме с мечом и со шпалой в петлице, и телефон зазвонил не зря, — зазвонил как раз в ту минуту, когда уполномоченный, покончив с формальными вопросами, намеревался приступить к беседе. Трубка шелестела о чем-то имевшем отношение к посетителю: неслучайно Сергей Сергеевич, слушая, впился в него глазами. Неслучайно схватил карандаш и занес его над бумагой. Писатель силился угадать, что означал приказ, отданный Сергеем Сергеевичем неизвестному подчиненному, были ли эти два слова одобрением результатов проверки «сигнала», знаком согласия, санкцией необходимых мер?

«Н-да», — положив трубку, веско сказал Сергей Сергеевич и забарабил пальцами по столу.

«Я прочел ваше письмо, — начал он. — И, говоря откровенно, не совсем понимаю, откуда у вас такие сведения. Вы что, специалист?»

«Какой специалист?» — спросил писатель.

«Я спрашиваю, вы специалист в области религии?»

«Я против религии, — сказал писатель. — Религия — орудие эксплуататоров».

«Значит, вы считаете, — холодно осведомился Сергей Сергеевич, — что в нашей стране есть эксплуататоры?»

«Нет, ни в коем случае не считаю. Но я считаю...»

«Что вы считаете?»

«Религия — опиум для народа», — сказал писатель.

«Что религия опиум, это мы все знаем, — возразил уполномоченный. — Вы не ответили на вопрос. Я спрашиваю: откуда у вас такие сведения, что гражданин, о котором идет речь, присутствовал при казни, как вы здесь пишете, мифического Христа? Если он мифический, то как же можно было присутствовать при его казни?»

«Во-первых, — сказал писатель, насупившись, — я пишу не мифический, а полумифический. А во-вторых...»

«Это интересно, — прервал его Сергей Сергеевич, — выходит, все-таки не совсем мифический; вы что же, считаете, что Иисус Христос существовал на самом деле? Так же, как этот ваш Агасфер?»

«Я... вовсе не утверждаю. Я просто думал...»

«Плохо думали!» — сказал уполномоченный. Наступила пауза.

Он листал блокнот, многостраничные записи, по-видимому приготовленные для разговора с писателем. Тяжко вздохнув, протянул руку к деревянному стакану, достал толстый синий карандаш и подчеркнул что-то. Развернул папку, перелистал бумаги. Затем, не глядя, потянулся к телефону, трубка откликнулась нежным кошачьим голоском. «Людочка, — сказал Сергей Сергеевич, — дай-ка мне семидесятый...» С карандашом между пальцами он переворачивал листы, перечитывал что-то на обороте. Трубка извинилась. «Ладно», — сказал он. По-видимому, там спрашивали, не надо ли что-нибудь передать. «Я сам позвоню», — сказал Сергей Сергеевич. Он занимался своими делами, однако в том особом пространстве всеобщей взаимосвязи и многозначительности, в котором пребывал гость, ничто из того, что произносилось, не могло быть случайным, ни одна пометка в бумагах не делалась просто так.

«Ладно! — сказал меченосец и закрыл папку. — Так о чем бишь?..»

Он взял со стола часы и надел их, это можно было считать знаком того, что беседа окончена; и, поднимаясь, писатель спросил: «Я могу быть свободен?..» — «Можете, — кивнул Сергей Сергеевич. — Надо бы еще протокол оформить, да уж как-нибудь в другой раз... Не сюда, — сказал он, видя, что гость собирается выйти через задний выход, как в прошлый раз. — Можете через контору».

Выходит, он не придавал особого значения так быстро окончившемуся разговору? Как многие побывавшие в кабинете свиданий, писатель не мог понять, зачем его вызывали. Похоже, что на этот раз уполномоченный имел в виду скорее формальную цель: уточнить анкетные данные, перед тем как отправиться с докладом в высшие инстанции; не зря Сергей Сергеевич был при полном параде. Но Сергей Сергеевич передумал. Писатель уже отворял дерматиновую дверь, как вдруг голос за его спиной произнес: «Минуточку».

«Знаете что, — задумчиво сказал человек с мечом, — а ведь, пожалуй, мы не кончили наш разговор. Вы спешите?»

«Нет... не спешу...»

«Может, срочные дела? В таком случае не смею задерживать!»

## **55. ПРОДОЛЖЕНИЕ. БОЛЬШЕВИСТСКИЙ КУКИШ ДОНОСЧИКУ. НАША НАЦИОНАЛЬНАЯ ГОРДОСТЬ**

Писатель сел и протер железные очки, пораженный внезапным подозрением. Это было даже не подозрение, а догадка, холодная, как острие меча или как мысль о раке. До сих пор, несмотря на частные недоразумения, он все же не сомневался, что они с Сергеем Сергеевичем делали общее дело и находились по одну сторону баррикад.

«Н-да... так о чем бишь...» — начал снова тягучим голосом Сергей Сергеевич. И снова снял трубку. Опять послышался кошачий голосок, опять был заказан семидесятый номер, Сергей Сергеевич, как Юлий Цезарь, делал сразу несколько дел. Не здороваясь, не спуская пронзительного взгляда с посетителя, он заговорил: «Слушай-ка, что это за безобразия! Я просил форму 4-Н, а ты что мне подсовываешь?»

Трубка подобострастно зашуршала у него под ухом, он прервал ее:

«Я еще раз тебе говорю... Берутся материалы по всем сводкам, и к ним приплюсовываются показатели операнализа за текущий месяц».

Сергей Сергеевич взглянул на часы.

«Чтобы завтра к восьми часам форма была у меня на столе. Со всеми реквизитами, а не так, как в прошлый раз!»

Начинало смеркаться, но хозяин не спешил зажечь свет. Лицо Сергея Сергеевича было погружено в тень, голова на фоне белого, как олово, окна казалась окруженной сиянием, на рукаве поблескивала эмблема.

«Я бы хотел все-таки знать, кто поручил вам информировать учреждения, писать ложные доносы, отнимать время у людей, занятых важнейшей государственной работой, — проговорил он. — Кто дал вам такие полномочия и от кого вы могли получить задание?»

«Почему ложные? — простонал писатель. — Я считаю, что деятельность такого характера...»

«Какая такая деятельность? Старый человек, читает свои молитвенные книги. Никому не мешает, никого в свою веру не вербует. Мы не преследуем религию! Ну хорошо: ложные, неложные — это мы проверим... Я спрашиваю, кто вам поручил? Кто вас просил? — тихим и вкрадчивым голосом спросил Сергей Сергеевич. — Вам известно, что враги используют все возможное, чтобы скомпрометировать наших людей, посеять недоверие к Органам? И они добиваются своих целей! Может быть, и вы с ними?.. Кто вас уполномочил?»

«Моя партийная совесть».

«Прекрасно. Партийная совесть. А что такое партийная дисциплина, вам известно? Государственная дисциплина? Я спрашиваю».

«Я не понимаю...»

«Хорошо, я объясню. Пока тебе в другом месте не объяснили... Вот! — сказал Сергей Сергеевич, обводя широким жестом стол. — И вот, — выдвинул средний ящик» — Непонятно? Все еще непонятно?.. А еще литератор. Инженер душ».

Наступила пауза, в призрачном свете гаснущего дня Сергей Сергеевич восседал в кресле с подлокотниками, курил, пускал кольца и разгонял дым ладонью. Гость со страхом следил за его движениями. Уполномоченный простер руку к пепельнице, не спеша, с удовольствием раздавил окурочек.

«Информация. Сигналы. Полный ящик сигналов! Такая у нас работа, ничего не поделаешь. Мы разведка... Мы все знаем обо всех. Но ни один из них, я имею в виду — ни один из информаторов, не посмеет и шагу сделать самовольно. Мы сами назначаем писателей. Сами определяем, какие сведения нам нужны, какие люди подлежат наблюдению, кому можно доверять, а самостоятельности мы не допустим. Доносов — не допустим! Хочешь работать с нами, жди, когда вызовут. А там уж будем решать. Мы не допустим, — повторил Сергей Сергеевич, — чтобы клеветники, недруги рабоче-крестьянской власти шипели, что вот, дескать, в стране нет законности, достаточно кому-нибудь кляузнику, какому-нибудь, понимаешь, засранцу написать телегу, и человека как не было. Людей, которые дают повод для таких разговоров, доносчиков, пасквилянтов, разложившихся, таких людей мы будем наказывать по всей строгости закона».

«Я член партии с двадцатого года, — глухо сказал писатель. — От рабоче-крестьянской власти себя не отделяю. Если я что не так сделал, прошу меня поправить...»

«Поправим, — усмехнулся Сергей Сергеевич. — А насчет власти это даже интересно. Ты что же, себя тоже властью считаешь?»

«Я рядовой партии. Мы все солдаты партии. У нас народная власть, и значит...»

«Что же это значит?» — прищурился Сергей Сергеевич.

«Народная власть, это значит, что мы все, сообща...» — начал было писатель, собираясь с силами, — и умолк, глядя на уполномоченного, который медленно рос в своем кресле. Сергей Сергеевич стоял, опираясь костяшками пальцев о стол, как вождь на одном из своих портретов. После чего вышел из-за стола, приблизился, молча, с каменным выражением на лице, как вынимают из кобуры оружие, вытащил руку из синих галифе и показал литератору кукиш.

И собственно, на этом деловая часть была окончена; последующий разговор носил скорее воспитательный характер. По скромному мнению автора этих строк, он был совершенно излишним, — как лишним был и непристойный жест, который позволил себе Сергей Сергеевич.

«Я бы все-таки попросил... — в отчаянии пролепетал писатель. — Я орденосец. И почему вы мне говорите “ты”?»

«Вижу, что орденосец, — возразил Сергей Сергеевич. — Ладно, не обижайся, — сказал он с неожиданным добродушием. — Ты меня понял. Я тебя понял. О чем еще толковать?»

В самом деле, о чем?

«Ты лучше Расскажи о себе. У тебя жена есть? Дети?»

Гость смотрел в пол.

«Был сын», — сказал он.

«Был? Куда же он делся? Да ты не бойся... ему ничего не будет».

Писатель объяснил, что сын остался у первой жены.

«Стало быть, ты второй раз женился?»

Писатель покачал головой.

«А говорят, ты с кем-то живешь... Да что у тебя все, как клещами, надо вытаскивать! Ну и как она, ничего? Тошная, говорят? Ты каких больше предпочитаешь: худых? Или пухленьких?.. Да, брат, — вздохнул Сергей Сергеевич, поскрипывая сапогами по кабинету. — Прошло времечко, когда нас пухленькие-то любили».

От долгого сидения у гостя ныла спина. Уполномоченный насвистывал «Марш энтузиастов», рылся в ящике. «Да. Так вот...» — пробормотал он, что могло означать переход к главной теме, но что здесь было главным, что случайным? Согласно теории, сложившейся в уме писателя, все, что произносил Сергей Сергеевич, вплоть до междометий, было исполнено тайного смысла. И вместе с тем казалось бредовым наваждением.

Он был недалек от того, чтобы понять важную истину: можно быть народным человеком и в то же время нести на плечах огромную

ответственность. Можно балагурить, отпускать шуточки и рассказывать анекдоты — и вместе с тем нести колоссальную ответственность. И, собственно, даже необходимо, чтобы это сочеталось.

Между тем Сергей Сергеевич задвинул ящик стола и смотрел на писателя суровым отцовским взором.

«Мы, — проговорил он, — отвечаем за всех и каждого. За тебя, между прочим, тоже... Мы отвечаем за безопасность, мирный труд, благосостояние всего народа. За его счастье, за его будущее. Мы обязаны все знать, и мы все знаем. Без нас, — он поднял палец, глаза его засверкали, — без нас — зарубите это себе на носу! — все давным-давно полетело бы ко всем чертям».

«Давай с тобой начистоту, я тоже солдат партии, — продолжал Сергей Сергеевич, снова переходя на «ты». — Вот ты говоришь: революция... Революцию сделать нетрудно! И спихнуть Временное правительство тоже в конце концов было — раз плюнуть. Ты ведь не станешь оспаривать, что все это старье прогнило насквозь... Хорошо. Шуганули царя, шуганули помещиков, капиталистов, всякую нечисть, — а что дальше? Что говорит Ленин? Ленин говорит: главный вопрос всякой революции — это вопрос о власти. Закрепить завоевания революции — первое, сокрушить всех ее врагов — второе и осуществить ее цель, построить социализм — третье. Вот задачи, с которыми справиться может только твердая пролетарская власть. А теперь я спрошу тебя: кто может взять в свои руки такую власть?»

«Партия», — твердо сказал писатель.

«Совершенно верно. Чтобы победить, рабочему классу нужна партия. А чтобы обеспечить партии возможность осуществить ее задачу, чтобы отстоять революцию, если уж на то пошло — спасти ее, спасти партию, спасти рабочий класс, — что для этого необходимо? Для этого необходима разведка. Через месяц после Октябрьской революции Совнарком принимает решение создать ВЧК. Сделай он это хотя бы на месяц позже — игра была бы проиграна. Все полетело бы к чертям».

Писатель заерзал на своем стуле.

«Я роль Органов ни в коем случае не подвергаю сомнению. Я потому и считаю своим долгом...»

«Ты не спеши. Вот я тебе расскажу одну байку, можно сказать, выдам государственную тайну. Надеюсь, не донесешь?..» — подмигнул Сергей Сергеевич.

«В девятнадцатом году, в самый, понимаешь, разгар гражданской войны, пока ты там рубал белых, в Москве была осуществлена одна операция, одна сугубо секретная операция. Была напечатана крупная партия царских кредиток, абсолютно подлинных, с водяными знака-

ми, все как положено. Их спрятали в надежном месте, в цинковых ящиках. Гостиница “Метрополь”, огромный домик, была переписана на имя частного лица, сына одного бывшего купца. Это был наш человек... Впоследствии он оказался врагом народа, но это уже другая история. Тогда он считался верным сыном партии, пользовался доверием самого Ильича. На его имя оформили купчую, якобы еще дореволюционную, о продаже гостиницы — как будущего места явок. Были заготовлены паспорта, списки подпольщиков, короче, все необходимое... И наконец, проведен под руководством Елены Дмитриевны Стасовой инструктаж для молодых товарищей, не имеющих опыта нелегальной работы. Что это все значило? На фронтах обозначился перелом в нашу пользу. Колчак разгромлен. А партия готовится к переходу на нелегальное положение. В чем дело? А дело в том, что в руководстве нашей партии, в окружении Ленина нашлись люди, которые поддались враждебным настроениям, поверили злобной клевете на ВЧК, распространяемой врагами революции, и стали требовать роспуска ВЧК. Не понимая, чем это грозит! Да от них самих, на другой же день после ликвидации Органов, не осталось бы и следа! Кто они такие были на самом деле, стало ясно позже... Но это уже другая история».

«Естественно, что по инициативе Феликса Эдмундовича, при активной поддержке товарища Сталина, было решено принять меры на тот случай, если бы этим людям удалось одержать верх и добиться ликвидации Чека, на случай поражения революции и необходимости уйти в подполье».

В полутьме Сергей Сергеевич, блестя пуговицами и скрипя ремнями, молча мерил шагами комнату, прежде чем возобновить свой рассказ.

«Наши недруги кричат, что Органы — это государство в государстве. Мы привыкли к клевете... Прекрасно сказал Некрасов: мы слышим крики одобренья в диких криках озлобленья! И мы первыми выкорчевываем эти взгляды, когда они пускают корни в нашей собственной среде. Ежов посмел поставить себя выше партии, выше государства; допустил произвол. Мы расправились и с Ежовым. Мы телохранители партии. Партия смотрит в будущее, строит планы, шагает вперед. А мы — что подделаешь, такая у нас работа, — мы вынуждены смотреть назад. Назад и вокруг. Марксу и Энгельсу было хорошо рассуждать. Они жили среди немцев, немцы народ дисциплинированный. А мы были вынуждены строить социализм в лапотной России... Ты погодь, погодь, — сказал Сергей Сергеевич, предупреждая протестующий жест писателя доносов. — Я сам из деревни. Я этот народ знаю. Пока матюгом не пустишь, никто с места не сдвинется. Пока



кулак не покажешь, ничего не будет сделано. Пока не гаркнешь, лошадка не побежит. И уж какой там социализм... Такой народ очень легко становится орудием в руках враждебных элементов. За таким народом нужен глаз да глаз. Ленин говорит: доверять, но проверять. Дисциплина и неукоснительное наблюдение! Без нас?..» Сергей Сергеевич покачал головой.

«И я тебе вот что скажу. Партия и товарищ Сталин указывают на недопустимость нигилистического отношения к прошлому, к нашим национальным традициям. Россия еще в прошлом веке стала страной самого передового в мире политического сыска. Это наше национальное достояние, наша гордость, наш вклад в мировую цивилизацию. Его у нас никто не отнимет. Конечно, я не сравниваю. Царская охранка есть царская охранка. Это есть учреждение прежде всего классовое, антинародное, призванное зубами и когтями защищать интересы эксплуататоров. Но, между прочим, надо отдать им должное — это были профессионалы. Мастера высокого класса. Ничего не скажешь. Взять хотя бы такую фигуру, как полковник Зубатов. Рабочие кружки под руководством департамента полиции. Это же гениальная идея!»

«Враг народа!» — с ужасом, со сладким восторгом подумал писатель. Теперь все ясно...

«Революционную теорию необходимо было дополнить с учетом нашего опыта, — твердо продолжал Сергей Сергеевич, — и мы это сделали, мы обогатили теоретическую сокровищницу марксизма. Маркс говорит: революция — это повивальная бабка истории всякий раз, когда старое общество беременно новым, правильно. Ленин говорит: партия — авангард рабочего класса, без партии рабочий класс не сумеет взять власть в свои руки. Абсолютно правильно! Эксплуаторские классы, колеблющееся крестьянство, пролетариат — такова расстановка сил. И разведка. Особый отряд. Необходимый коэффициент. Рабочие, крестьяне и Органы. Ясно, как в математике. Пролетариат взял власть в свои руки. Но без разведки, без Органов удержать власть, это же смешно! Невозможно. И коммунизм построить невозможно. Заболтался я с тобой, — сказал, взглянув на часы, Сергей Сергеевич, — но уж ладно, напоследок расскажу анекдот. Вернее, сказочку. Для детей младшего возраста... Слушай и мотай на ус... Жил да был Кашей. Как тебе известно — бессмертный. Почему его никто не мог убить? Потому что его жизнь хранилась не в нем самом, а в таком месте, где до нее никто не мог добраться, за горами и лесами, хрен знает где, на острие иглы. Игла лежит в яйце, яйцо в утке, а утка прячется на болоте. Вот, — сказал он и постучал пальцем по рукаву, — на острие этого меча. Непонятно?»

На лице сидящего изобразилось усилие мысли.

«А еще писатель!» Сергей Сергеевич выпроводил гостя через черный ход, досвистел «Марш энтузиастов», сделал рабочую гимнастику — десять приседаний посреди кабинета. После чего зажег лампу на столе и приоткрыл дверь в «эксплуатационную», где терпеливо сидел очередной посетитель. На посетителе была шляпка с вуалью, прикрывавшей челку и глаза. Это была, как легко догадаться, Раковая Шейка.

## 56. ЕЩЕ ОДНА КОНЦЕПЦИЯ ВРЕМЕНИ

Некоторые склонны отрицать существование признаков, отличающих женскую руку от мужской. Думается, этот взгляд можно оспорить. Если корявый почерк ветерана бедняцкой литературы был похож на скрипучий воз, влекущийся по разьеженным колеям, если он свидетельствовал об угрюмой целеустремленности, о вязком, как дорожная глина, мировоззрении и унылой, как чавканье копыт, верности однажды избранному пути, то аккуратные строчки второго письма, манера старательной ученицы заключать в скобки ошибочное слово, вместо того чтобы его зачеркнуть, овальные петли, нежные сцепления, архетип крута, к которому тяготела каждая буква, наводили на мысль о движениях школьницы на уроке физкультуры: глядя на это письмо, вы легко могли себе представить плавные жесты, мягкий пружинящий шаг, ритмичное покачивание бедер. Ибо рука, выводящая строчки, имеет свою осанку и поступь. Энергия этого женского почерка, в отличие от почерка мужчины, не была бесплодным порывом куда-то вдаль, к ложным целям. Скорее, она втягивала вас в свой круг.

Был поздний час, время, когда девочка испытывала нездоровый нервный подъем, похожий на возбуждение актера перед выходом на сцену. Она то садилась на корточки, то вскакивала; зуд донимал ее, словно незримое насекомое, перелетавшее под одеждой, чтобы кунуть то между лопатками, то в паху. Почерк не представлял затруднений, через несколько строк она освоилась с ним. Это было письмо, которое она выудила по какому-то наитию из груды писем и открыток и сунула в карман. Она читала его, уединившись. Письмо было без обращения. Возможно, первая страница отсутствовала.

«Который день дождь, носа не высунешь, — читала она, шевеля губами. — Да, милый, кончилось наше лето! А помнишь, как мы с тобой на Истру ездили, как сидели в траве, как речку переходили, а навстречу дядька с ребенком на плечах...»

Она прислушалась: с улицы доносился непрерывный шелест, как будто письмо написали только что, и вода хлестала из водосточной трубы.

«Не думай, что я под настроением или пьяная. Выпила, но немножко. Сколько таких писем ты, наверно, уже получал в своей жизни. Я сперва думала, что сама виновата. Но потом поняла: никакая женщина на свете тебя не переделает».

Подняв голову, она вперила черный косящий глаз в дверь парадного, точно ждала, что писавшая появится на пороге. Снаружи все так же журчало и шелестело, и дверь вздрагивала от порывов ветра. В тусклом подъезде, во тьме уходящей наверх лестницы, застыло ожидание; может быть, за дверями квартир жильцы не спали и слушали плач непогоды. Время текло, подчиняясь скорости чтения. «Да, в постели мы только и жили вместе. Но с другой было бы то же самое. Плюнула и ушла. Посмотришь на тебя, кажется, вот это мужчина! А что из тебя вышло, из всех твоих талантов?..»

Дальше шло еще полстраницы в этом роде. Она перебирала листки, письмо разлетелось по полу. Ей было холодно и неудобно, ныли колени, она поднялась, снова села. Время остановилось, глаза без конца пробегали одну и ту же строчку. Проехал автомобиль, шорох шин скользнул мимо слуха девочки, погруженной в созерцание круглых, как женские колени, неподвижно бегущих букв.

Так путешественник видит на отвесной скале, под слепящим солнцем, древнюю загадочную надпись и спрашивает себя: что это — письменность или орнамент?

## 57. О ПОЛЬЗЕ ЗАГОРОДНЫХ ПРОГУЛОК

Перевернув лист, она принялась прилежно разглядывать аккуратные строчки, но увидела, что она это уже читала. Дождь утих. Станным образом магия круглого почерка не соответствовала тону письма. Следующий листок, начатый другими чернилами, казался, был уже о другом.

«...отпросилась с работы, бросила все и махнула на волю. Смотрела в окошко, не думала ни о чем. Выхожу из электрички — вокруг ни души, пустая платформа, нищий спит на скамейке, птицы поют, и так хорошо мне стало! Листья шуршат под ногами... Бродила я, бродила по нашему лесу и, представь себе, заблудилась. Выхожу к какой-то деревне, оказывается, чем назад возвращаться, ближе дойти до Песков, до следующей остановки. И вот пока я так странствовала, что-то во мне переменилось, мне кажется, я что-то поняла. Ничего не хотелось, только шагать по лесу, слушать шорохи и жить одной жизнью с ним. Мне кажется, в этот момент я начала выздоравливать. Ведь это, Толя, была болезнь, страшная болезнь покорности, и рабства, и преданно-

сти, как только русские бабы могут быть преданными, так что хоть ноги об меня вытирай, я буду все перед тобой стелиться, буду ходить за тобой, как за малым дитем, ведь я перед тобой была как обомлевшая, как будто ты ко мне откуда-то с гор пришел, это была болезнь безволия, ты меня ею заразил, потому что ты сам безвольный, сам — тряпка. И еще, мне кажется, я перестала бояться самой себя, своих мыслей, я научилась думать. Мне хотелось понять, почему у нас не получается, может, я сама виновата? Ты ведь, наверное, и не помнишь, как у нас с тобой все начиналось, как я сопротивлялась тебе изо всех моих сил, а ты думал, что я боюсь. Но я ничего не боялась, я сразу решила, что ты будешь принадлежать мне, не ты решил, а я! И ни о каком замужестве я тогда не думала, можешь мне поверить, я просто знала, что если я хочу быть женщиной, то ни один человек не смеет мне запретить, ни отец, никто. Но я вбила себе в голову, что если я тебе не уступлю, то есть не сразу, то это и будет настоящим доказательством любви, то есть доказательством, что моя любовь к тебе выше всего, выше физического желания, мне нужно было доказать самой себе, что любовь — это самое важное, единственно важное, а физическое обладание — уступка: дескать, ничего не поделаешь, раз уж природой положено. Ну и, конечно, предрассудок тоже играл роль, что пока не отдашься мужчине, он будет любить тебя все сильнее. Но главное было самой себе доказать. А почему — да очень просто: потому что эта страсть, ты даже не можешь представить, с какой силой она меня охватила, что я сама себя испугалась, потому что я каждую ночь в мечтах была с тобой, съесть тебя была готова, знала тебя всего наизусть до того, как уступила тебе, и когда ты наконец меня взял, то я мысленно, можно сказать, давно уже не была девушкой. Вот поэтому я тебе и сопротивлялась. Я позволяла тебе очень многое, кроме последнего, все мое тело тебе принадлежало, кроме одного-единственного уголочка, так что мы оба в конце концов измучились. Ну конечно, где уж там тебе помнить... И вот тогда, один раз, когда чуть было это не случилось, я вдруг и подумала: а что, если вся моя любовь, вся моя верность и преданность и что я одним твоим голосом, одним взглядом, одною походкой твоею жила и дышала, — что, если это физическое возбуждение, половой зуд и больше ничего, то есть искусственный жар, направленный на тебя, а на самом деле все оттого, что пришло время разрешиться от девственности? И что, переспи мы с тобой завтра, от всей этой любви следа не останется. То есть я тогда поняла, что сама себя загнала в тупик».

«И вот, — читала Люба, — что же из всего этого вышло, из моей любви? Вышло все наоборот. Мое чувство не только не насытилось тем, что ты наконец в меня вошел, а наоборот, с каждым разом я становилась все требовательнее, мне хотелось, чтобы ты вошел и вообще

никогда больше не выходил, а превратился бы там, во мне, в моего ребенка. Я-то ведь, дурочка, не знала, что любовь и желание друг от друга отделить нельзя, тем более нельзя противопоставлять, и даже именно тогда, когда невозможно их разделить, когда нет больше ничего стыдного, а просто надо быть вместе, и душой, и телом, — что тогда-то и приходит настоящая любовь, перед которой все на свете бледнеет и меркнет... А ты? Вот ты как раз и оказался тем, за кого я чуть было не приняла себя. У тебя все было искусственное. И когда оказалось, что я вся в твоей воле, твое самолюбие было этим удовлетворено, и ты кое-как доделал свое мужское дело. И даже не заметил, как ты меня оскорбил».

.....

Таково было это письмо; нельзя сказать, чтобы оно взволновало девочку или разозлило, как ее злило все на свете: погода, тетки и дядьки, населявшие дом, собаки, кошки, милиционеры, сверстники и вообще вся жизнь; скорее, она была сбита с толку, блуждала в паутине слов и вместе с тем как будто узнавала в этих излияниях знакомые ей чувства. Как будто однажды она уже пережила нечто подобное в снах или в другой жизни. Но если бы ее попросили пересказать прочитанное, она сделала бы это в такой вульгарной, примитивной и непристойной форме, что мы бы с вами только руками развели. Дело было не в том, что письмо дразнило и щекотало ее девственность, не в том, что оно пробуждало зависть, и ревность, и злорадство, и соблазн шантажа; а в том, что оно было стыдным, это был стыд не за то, что, собственно, там было написано, стыдным был самый факт, что это написано, почти произнесено вслух. И уличная фразеология была защитой от этого стыда.

Уличная фразеология служила кодом для обозначения предметов, изгнанных из обыкновенного языка. Невидимая цензура охраняла входы и выходы, возвышения и углубления человеческого тела, все, что у женщин начиналось ниже уровня декольте, у мужчин — ниже пояса, всё, что могло напомнить об этой сфере человеческого существования. Вот почему жалкое человечество было вынуждено изобрести для нее специальный код — так сказать, систему похабных эвфемизмов. Поразительным образом окружение девочки использовало нецензурную речь не для того, чтобы называть вещи «своими именами», а наоборот — чтобы уклониться от необходимости назвать вещи их подлинными именами. Проще говоря — чтобы хоть как-то их назвать. Матерный язык есть не что иное, как шифр, к которому приходится прибегать в пуританском обществе, где нормальный язык невозможен, потому что он запрещен. Письмо Веры не было непристойным, но всего лишь откровенным. Что и означало нарушение правил пристойности.

Она читала дальше, теперь уже с растущим интересом. «Никогда ты не понимал и не поймешь, что самое главное, самое глубокое начинается потом, когда первое и острое проходит, ты не понимал, как это для меня важно. Я надеялась, что постепенно тебя воспитаю, но теперь вижу, что переделать тебя невозможно, ты не только не можешь, ты и не хочешь отдаваться до конца... Ты даже не знаешь, что это такое, для тебя главное получить удовольствие, не тем, так другим способом, лишь бы получить, все равно что почесаться, и все равно чем, я даже не знаю, зачем тебе женщина, но мне понятно, почему ты всегда так торопишься: не потому, что боишься, что слишком рано кончится, да я бы и не обиделась, ведь сколько раз у тебя не выходило, а тем более по пьянке, — но что меня действительно обижает, ранит в самое сердце, так это то, что ты обо мне совершенно не думаешь, как будто я для тебя только посуда, ты бы хотел, чтобы я только внизу была женщиной, а во всем остальном была бы безвольной и бессловесной тварью, чтобы можно было через меня быстренько насладиться, и всё — и остаться самим собой, словно ничего не случилось, ты хочешь быть один, а я одна не могу, вот и вся разница между нами, и ты боишься, да, просто боишься спать со мной, боишься моих рук, потому что знаешь: отступить будет поздно, отказаться будет уже невозможно, тебя, конечно, как и всякого, манит желание, но ты знаешь, что за этим следует, что люди приковываются друг к другу так, как только любовь может сковать, и боишься, что попадешь в ловушку, боишься любви!»

«Смешно, я даже не представляла себе, что ты такой трус. Твое одиночество — это просто трусость. О родителях твоих я уж и не говорю: как ты с ними обращался даже в то короткое время, пока они у тебя жили, — ты от них просто отделался, и пришлось чужих людей просить, чтобы присмотрели за ними в поезде, хорошо еще, что отец помог их отправить. А что с ними будет дальше, тебя даже не интересует. Выжившая из ума старуха — вот кто тебя устраивает, вот твоя единственная подружка, с которой ты можешь жить, да и то потому, что она не мешает тебе сидеть в своей скорлупе. И откуда ты такой взялся, из какой страны, может, ты и не русский вовсе!»

«Теперь еще одно дело, только, пожалуйста, не притворяйся, что это для тебя новость, ты ведь и прошлый раз делал вид, что ни о чем не догадываешься. Прекрасно знаю, что с тобой делиться и советовать бесполезно, и сама как-нибудь справлюсь. Только теперь все будет по-другому, я его оставляю, никаких аборт! Можешь быть спокойным: ребенок тебя не свяжет и ничем не обяжет, наоборот, когда он родится, уйдет то последнее, что нас с тобой связывало. Ребенок, Толенька, это судьба».

«Я ходила к ворожее, когда ещё ничего не было, она мне сказала: ты страдаешь от неразрешенной судьбы. Твоя судьба в тебе самой, но не может решить, что с тобой сделать. Какое будет решение, я, говорит, не знаю, могу только ее поторопить. Может, ты будешь счастлива, может, наоборот, но только судьба твоя прояснится. Сделай то-то. В том смысле, чтобы семя осталось. Ну, я и сделала...»

В эту минуту к подъезду подкатил автомобиль, взвизгнули тормоза, хлопнули двери.

## 58. СЛИШКОМ МНОГО ПИСАТЕЛЕЙ

Страх обуял девочку, она мгновенно скомкала письмо, но тотчас другая мысль пронзила ее. Едва только распахнулась дверь парадного, едва успел влажный ночной воздух ворваться с улицы и грянули сапоги участкового милиционера и еще двоих, как ей стало ясно: возмездие настигло стукача! С загоревшимися глазами она провожала взглядом пришельцев.

Они не обратили на нее внимания. Девочка-нищенка грелась у батареи центрального отопления. Но она-то знала, зачем эти дядьки в фуражках и долгополых шинелях явились, вернее, за кем. Знала, что владеет магической силой. Эту силу нельзя применять по пустякам. Власть надо экономить. Но зато уж, когдапустишь ее в ход, о-о, она будет беспощадной, грянет, как гром, сверкнет, как молния. Подкрадется сзади и треснет дубиной по голове.

Явился с суровым видом и управдом, показывал дорогу. Завидев Любу, жестом велел убираться вон — так изгоняют некстати подвернувшихся домохозяев при явлении важных гостей. Щелкнул выключатель, снова щелкнул, свет горел только внизу. Скрипят сапоги, цокают подковки, ночной отряд поднимается по лестнице. Впереди Семен Кузьмич, выставив, как пистолет, карманный фонарик. Миновали этаж. В полутьме, на почтительном расстоянии, девочка кралась за ними. Миновали другой, правильно, подумала она, и на следующем остановились. Рано! Не здесь. Ей придется применить внушение на расстоянии. Иначе они позвонят в другую дверь и возьмут кого-нибудь другого, им ведь все равно. Выше, ну! — думала она изо всех сил, точно подгоняла воз, тащившийся в гору. Они все еще совещались. Не совпадал номер квартиры. Управдом шепотом давал объяснения. Не здесь! — почти закричала она. — Выше! Она руководила ими, как дрессировщик движениями хищников.

Предпоследний этаж, наконец-то. Они ищут дверь. Не эта, следующая, сказала девочка. Участковый выступил вперед. Управдом

стал за его спиной. А эти двое, прижавшись к стене по обе стороны двери. Слабо тенькнул звонок. Один раз, другой, жалкое дребезжанье пробрало, точно озноб, весь затаившийся дом. Слабый голос изнутри — должно быть, спросивший, кто там. И мужественно-гробовой возглас милиционера Петра Ивановича:

«Проверка документов!»

Точно такой утробный голос раздался за дверь в ночь, когда взяли ее отца. Неужели она помнит? Проверка паспортов — и тотчас в квартиру ввалилась вся компания. И та же судьба постигнет писателя, и то же будет со всеми врагами народа. Ночь, машина стоит у подъезда, водитель ждет за рулем, тускло сияют фонари, блестят лужи, весь город объят сном, и на Красной площади в мавзолее спит, вытянув руки вдоль туловища, с боевым орденом на груди Владимир Ильич Ленин. И видит сны.

Ему снится, что он встает из гроба. Выходит, ласково похлопав по плечу часовых, вынимает часы из жилетного кармана и сверяет со Спасской башней: ай-яй-яй, часы отстают. Долго же он спал. Блестят лужи. Ленин шагает по пустынному городу. Идет по Никольской, по Мясницкой, сворачивает, и вот он уже у подъезда, откуда как раз выводят писателя-говнюка. «Молодцы! — говорит Ленин. — Чекисты! Так держать».

Отряд вступил в квартиру, а девочка, улучив момент, взлетела наверх мимо захлопнувшейся двери.

Свесившись с последнего этажа, она ждет, ее руки вцепились в перила, и черные глаза пожирают пустоту. Итак, высшая справедливость покарала писателя доносов: кто-то написал донос на него самого. Не один же он такой — писателей в нашей стране много; но и высшая справедливость не подозревала о том, что есть силы, способные ей приказать.

Время идет, а в квартире ничего не происходит. Умерли они там, что ли? Неслышно и невесомо она сходит по ступенькам и приникает к двери.

Ей чудятся шорохи. Мертва, как братская могила, коммунальная квартира, никто из соседей не смеет высунуть носа. Никто ничего не видел. Никто ничего не слышал. Утром встанут и спросят: а где писатель?.. А вернее всего, что и не спросят. Между тем в своей комнате писатель в панике буравит ключом замочную скважину. Писатель доносов заперся в своей конуре, забаррикадировался столом и выставил перед собой два пистолета. А тем временем управдом, милиционер и дядьки в фуражках, согнувшись, крадутся по коридору, тянут бикфордов шнур, подсовывают конец под дверь писателя. Сейчас грохнет.



Грохнуло вниз. Дверь в подъезде. Поспешные, через ступеньку, шаги вверх по лестнице. Остолбенеv, она смотрит на запыхавшихся санитаров с носилками. Брызнул свет из квартиры, кто-то возится со шпингалетом под потолком, наконец вышибли створку, обе половинки дверей стоят настежь. И медленно, молча, под звуки неслышного марша, выступила на лестничную площадку процессия: управдом Семен Кузьмич, участковый милиционер Петр Иванович, санитар «Скорой помощи» в белом халате, носилки, второй санитар. Последними двое в шинелях и соседка. На носилках лежал боец литературного фронта, в гимнастерке с орденом на груди, в галифе и заштопанных носках, и смотрел в потолок. Развернули носилки и медленно стали спускаться. Девочка растерянно плелась след за ними, никто не обратил на нее никакого внимания. И на следующий день все четыре лестницы, оба парадных и оба черных хода, облетела никем не рассказываемая, не произносимая вслух, глухая и полная таинственного значения весть о том, что писатель доносов, не дождавшись ночных гостей, удавился.

## **59. ДАЖЕ ЕСЛИ ОН БЫЛ, ЕГО ВСЕ РАВНО НЕ БЫЛО**

Высшая справедливость, для которой все учреждения сыска, тайные суды и особые совещания, тройки, семерки, тузы, осведомители, доносители, все следственные и карательные органы, время от времени карающие самих карателей, — всего лишь орудия, непостижима, непроницаема и легко может быть принята за абсурд. Именно это бессилие человеческого ума постигнуть ее мотивы обескураживает нас, когда меч незрячего божества поочередно опускается и на злодея, и на того, кто казался нам праведным или по крайней мере невинным. Но если верно, что Бог выше бытия и Ничто есть форма его существования, то несправедливость надо считать формой проявления справедливости. В отличие от только что описанного события, исчезновение подвального деда произошло незаметно. Когда, в какую ночь его выволокли во двор, вывели за ворота или, может быть, извлекли из больничной палаты, неизвестно: тут уж в самом деле никто ничего не видел, никто не слышал. Время сомкнулось над его головой, как ряска на поверхности вод; словно его никогда не существовало; словно, как и положено ученому чернокнижнику, его унёс сам дьявол.

Последнее, впрочем, справедливо. Сойдя в подземелье, девочка встретила белоснежного зверя; кошка смотрела на нее в полутьме изумрудными глазами, словно предлагала удостовериться. Дверь в комнату старика была заляпана сургучом, печать висела на веревочке. Так не бывало прежде, когда дед удалялся беседовать с Богом. Во всяком случае, на сей раз беседа затянулась.

Некоторое время спустя осуществилась мечта жильцов. В бывшей котельной разместилась прачечная. Если печальный образ писателя несколько недель тревожил народную память, прежде чем выветриться окончательно, то житель подвала не оставил по себе и самых мимолётных воспоминаний, так что если бы у кого-нибудь спросили, что находилось в этой комнате перед тем, как ее переоборудовали под прачечную, он ответил бы: котельная. Прекрасно. А куда же девался старец, этот, как его, — с книгами, королевским тронем, чайником, керосинкой и сапожными принадлежностями? — Какой такой старец, не было никаких старцев. — Но ведь кто-то же там обитал?.. — Помилуйте, возразил бы спрошенный, я в этом доме живу двадцать лет.

Слабость исторической памяти была отличительной чертой наших сограждан, о чем здесь уже говорилось, но неизвестно, следует ли считать эту черту пороком или достоинством.

Поистине такое бесследное исчезновение заставляет думать Бог знает о чем. Неясно, в какой связи находился арест деда с творчеством писателя донесений. Тем более что и писатель оказался врагом народа. Как враг народа был некоторое время спустя разоблачен и сам оперативный уполномоченный Сергей Сергеевич. Казалось бы, минус на минус дает плюс. Но это уже другая тема; не станем ее касаться. Зададим себе вопрос: было ли исчезновение деда в самом деле арестом? Или Вечный скиталец, томимый тревогой, снова отправился в путь?

## **60. ВТОРАЯ ВЕРСИЯ ЛЕГЕНДЫ О ВЕЧНОМ ЖИДЕ**

Предание, разные версии которого зафиксированы в различные времена и фактически представляют собой эпизоды одного и того же эпоса, связывает судьбу Агасфера с участием основателя христианства, и в этом, по-видимому, состоит тайный смысл всего рассказа: легенда о Вечном Жиде включает в себе одновременно осуждение и прославление.

Вместе с тем она как будто намекает на обоюдный характер этой связи, на какую-то темную зависимость Того, кто приговорил иерусалимского сапожника к тягостному бессмертию, от самого этого сапожника, от Вечного Жиды, чье имя передают по-разному: одни называют его Агасфером, другие Бутадеусом и так далее. Достоинно удивления, что из всех народов и стран, воспринявших христианство (и, следовательно, вражду к евреям), Россия оставалась единственной, откуда не поступало известий о страннике; наша хроника восполняет этот пробел.

Позволим себе кратко пересказать латинскую рукопись «Правдивое известие о Картафиле» (еще одно имя), найденную в монастыре св. Панкраца в Верхнем Энгадине, там, где в 1533 году легендарный скиталец посетил знаменитого Агриппу Неттесгеймского.

Сперва ученый принимает его за обыкновенного бродягу. Но тот указывает на старинную картину, висящую над дверью: изображен холм с тремя виселицами, и в толпе зрителей стоит человек, как две капли воды похожий на гостя. Далее старец рассказывает Агриппе свою историю. Он действительно прогнал несчастного галилеянина от своего крыльца, когда тот попросил помочь ему нести крест. Вслед за тем произошло нечто необъяснимое: движимый любопытством, Картафил пошел за толпой, а когда всё кончилось, не сумел отыскать дорогу домой в городе, который знал как свои пять пальцев, «et adhuc vagor» (и с тех пор блуждаю).

После чего у них начинается разговор о бессмертии. Агриппа говорит, что отсутствие смерти должно предполагать и отсутствие рождения: не умирает тот, кто никогда не рождался, то есть тот, кто не сотворен. Не сотворен же единый Бог. В этом, по его мнению, состоит слабое место в христианском учении о бессмертной душе. «Осмелюсь напомнить, — прерывает его странник, — что я не христианин. Хочешь ли ты сказать, что мое бессмертие не настоящее, что и я когда-нибудь умру?» На это Агриппа отвечает, что, если бы Картафил был в самом деле бессмертен, это значило бы, что для него не существует времени, ergo, он не обладал бы никакой памятью о прошлом. Для него не должно было бы существовать ни прошлого, ни настоящего, и он жил бы как во сне. «В этом я усматриваю, — говорит Агриппа, — еще одну неувязку в нашем учении о Боге».

«Оставь своего Бога в покое! Ты не ответил. Я когда-нибудь умру?»

«Да, — говорит Агриппа, — ты умрешь».

И далее объясняет, что это случится после того, как с Агасфера будет снято проклятье. Но когда же оно будет снято? «Как только рухнет Тот, кто обрек тебя на скитания».

Этот ответ не удовлетворяет гостя. Он не верит обещаниям. Нет, говорит он, скорее погибнут все царства на земле и сравняются с землею все города, чем рухнет ваш пророк. Об этом позаботились его фанатичные приверженцы, тогда, в Иерусалиме. Они подкупили стражу и ночью тайком похоронили его, чтобы потом рассказывать, будто он попрал смерть, воскреснув из мертвых. И, в сущности говоря, так оно и случилось. Они распространили слух о том, что римский наместник, повелевший казнить этого человека, был орудием высшей воли, и в каком-то смысле это тоже верно. Если бы этого галилеянина не распяли, он рано или поздно разоблачил бы сам себя,

все увидели бы, что он ложный мессия, фальшивый пророк, каких было немало. А казнь превратила его в мученика, в святого, наконец, в Сына Божьего. Поди проверь!

Эта богохульная речь, по-видимому, не слишком возмущает Агриппу Неттесгеймского — может быть, потому, что он сам склонен к ереси. Он сухо замечает, что если Картафил прав, то лишь в одном: после того как Иисус умер, он уже не может умереть во второй раз. В этом смысле смерть и бессмертие совпадают. Но в конце концов рухнет и он.

«Могу, — говорит Агриппа, — открыть тебе некую тайну, многие о ней догадывались, но только мне удалось раскрыть ее с помощью вычислений. Дело в том, что наше святое христианство живет и будет жить лишь до тех пор, пока жив народ, который породил его, но который служит для него вечным вызовом и упреком. Гибель этого народа, твоего народа, будет торжеством, но также и посрамлением нашего святого учения. Дело в том, что... (тут он на минуту загнулся, не находя подходящего выражения) жизненный нерв, чудесная искра, которая сообщает жизнеспособность всей нашей религии, я имею в виду не догму, а веру, веру в живого Бога Авраама, Исаака и Иакова, равно как и веру в то, что миром правят добро и разум, которые суть одно и то же, — дело в том, что этот таинственный нерв нашей религии находится не в ней самой. Этот нерв, — заключает свою речь Агриппа, — христианство унаследовало от иудеев. Отсюда следует, что гибель сего племени будет гибелью христианства».

Вечный Жид, которого это печальное пророчество даже как будто радует — ведь оно обещает ему избавление, — хочет знать дату. Когда? Агриппа мнется. Его смущает легкомысленная реакция странника. Может быть, осторожно спрашивает он, Картафил хотел бы узнать подробности?

«Нет, нет, — вздыхает старец, — меня будущее не интересует, хватит с меня прошлого. Мне важен факт».

«Как! — сказал Агриппа. — Тебе неинтересно знать, что будет с твоим народом? Его сожгут, вот чем все это кончится. Построят огромные печи. Соберут всех в одно место, стариков и младенцев, и злодеев, и праведников, и торгашей, и ученых, и комедиантов, и богатых, и нищих, — всех до единого, и сожгут в печах. А того, кто попробует скрыться или отречься, кто добудет фальшивые бумаги или наденет на себя крест, того разденут догола и увидят, что он обрезан, и тоже сожгут. И всех женщин сожгут, даже самых красивых: соберут всех вместе — и туда же. И Он будет среди них, ведь Он тоже из вашего племени. И все ученики, и ученики учеников, и апостолы, и благочестивые жены, и Мария Магдалина, и сама Божья Матерь со всею родней — все пойдут туда же, следом за всеми вами и следом за Ним. Что? Тебе это неинтересно?»

«Нет», — стонет Вечный Жид и качает лысой головой. Разговор утомил его. У того, кто тащит на своих ногах, словно разбитую обувь, полторы тысячи лет, нет сил загадывать будущее. Чему суждено быть, то пусть и будет. «Меня утешает только, — бормочет он, — что моей нескончаемой жизни придет конец. Я был бы тебе чрезвычайно признателен, если бы ты назвал хотя бы цифру. Сколько мне еще осталось?»

Астролог разворачивает таблицы, водит пальцем по чертежам. Будущее предначертано в них, подобно тому как в небе предначертаны траектории планет. Звездочет стоит у окна. Постепенно комната погружается в темноту. Наконец он называет срок. Агасферу осталось странствовать по земле четыреста лет. Пока не придет Гитлер.

## 61. СНОВА МСТИТЬ — НО КОМУ?

В гневе и тоске она выбежала из подземелья и, почувствовав, что силы оставили ее, опустилась на ступеньку черной лестницы. Ей было так плохо, что она застонала.

Что случилось? Что произошло? Силою колдовства девочка наказала доносчика, но допустила промах, не оговорила какое-то важное условие, и вот, высшая справедливость, которая была одновременно и высшей несправедливостью, размахнулась чересчур широко и заодно с негодяем срубила праведника.

Неизвестно, сколько она так просидела, но в конце концов поднялась и с мокрыми от слез щеками, утираясь рукавом, побрела по темному двору. Ее энергия истощилась, мозг был пуст, как револьвер с расстрелянным барабаном. Надо было куда-нибудь деться. Куда? Домой — где, должно быть, уже легла и, как удавленница, хрипит и задыхается во сне ее замученная жизнью, работой и вечным страхом мать?.. Девочка стояла за воротами. Это был момент, когда она чуть было не ушла насовсем.

Она сделала шаг с тротуара на мостовую, точно ступила с берега в воду, волны несли ее к другому берегу, и в эту минуту до ее сознания дошло, чего она, собственно, хочет. Ее намерение не имело прямой связи с исчезновением деда. Оттого ли, что она инстинктивно искала убежища, возможности отвернуться, забыть? Или общий закон вытеснения всего, о чем не полагалось помнить, начал действовать, подчиняя себе и девочку? Эпизод, к описанию которого мы переходим, принадлежит к числу наиболее проблематичных в нашем рассказе. Не исключено, что он имел место позже: разные вечера совместились; так сближаются события, так сморщивается история, так две мировые войны будут когда-нибудь казаться одной сплошной войной.

На углу стояла телефонная будка. В этом месте переулок раздваивался. То была развилка лесных дорог, могучий конь нюхал лопухи у подножья замшелого столба, а богатырь, который был неграмотен, со скверным предчувствием вперялся в загадочную надпись.

Существовал способ звонить без монеты. Сколько раз они названивали наугад незнакомым людям и сообщали сенсационные известия: в доме пожар, в бакалейном дают селедку-иваси; к вам едет «черный ворон»... Рассуждая статистически, ни одна из этих новостей не была лишена правдоподобия. Итак, она набрала номер пожарной охраны, быстро нажала на рычажок и набрала другой номер. Не вышло. Она яростно крутила диск и стучала кулаком, как вдруг из трубки раздался знакомый голос, и сердце ее подпрыгнуло, она едва не потеряла равновесие, привалилась к стенке телефонной будки, только это была не будка, а все та же лестница. Ибо она по-прежнему сидела на ступеньках черного хода, опустив на колени отяжелевшую голову.

Несколько времени спустя она окончательно пришла в себя, поднялась, вышла на улицу. Она не знала телефон Бахтарева, но первые цифры были общие для всего дома. Она была довольно высокой девочкой, ей понадобилось присесть, чтобы увидеть из телефонной будки верхний этаж дома. Там светилось окно. Она сняла трубку и набрала «Скорую помощь». Окно погасло. Змея ревности ужалила девочку в низ живота. Все было гнусно в этом вонючем мире, но она-то лишь начинала в нем жить, и ее не могло утешить, что в конце концов все завертится и исчезнет в унитазе времени. Она набирала наугад цифры, слезы катились по ее щекам, она била кулаком по стальной коробке, повесила трубку, снова сняла, набрала ноль-один, дернула за рычажок. Действительность повторяла сон, как раньше сон подражал яви. Вдруг раздалось длинные гудки, и низкий мужской голос сказал:

«Алло».

## **62. НЕОБЫЧАЙНОЕ ТЕЛЕФОННОЕ ВЕЗЕНИЕ. ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА**

Она переложила трубку в другую руку.

«Алло, я слушаю».

«Это вы?» — пролепетала она.

«Да, — сказал голос, — это я. А вы кто?»

«Я была у вас, — сказала девочка. — Помните? Я еще с бабкой говорила».

«Ты в этом уверена?» — спросили в трубке.

«Уверена. — Голос ее пресекая, она не то всхлипнула, не то хихикнула, затем, справившись с собой, продолжала: — Только не думайте, что я вам навязываюсь. Вообще-то мне на всех вас насрать».

Известные выражения обладают реанимирующим действием. К ней возвратились самообладание и свобода.

Голос спросил:

«Кого ты имеешь в виду?»

«Тебя. И твою кралю. С которой ты сейчас...» После чего было произнесено еще одно непроизносимое слово. Одно из тех слов, в самой недвусмысленности которых таилась непостижимая двойственность, ибо оказалось (в который раз), что смысл и смак оно сохраняло лишь до тех пор, пока подлежало запрету. Трубка молчала, но девочке казалось, что до нее доносится медленное дыхание того, кто находился на другом конце провода. Наконец он спросил: «Сколько тебе лет?» Она не ответила. «Ты хорошо сделала, что позвонила», — сказал голос из трубки, низкий и тяжелый, в котором звучало заставившее ее насторожиться спокойное мужество человека, приговоренного к смерти; быть может, говоривший был болен. «Я не туда попала», — пробормотала она. «Это не важно. Подожди минуту, я сейчас».

Девочка выглянула из будки, все окна в доме были непроницаемо темны. За которым из них лежал этот человек, находился ли он вообще в этом доме? «Алло. — Голос вернулся и заговорил под самым ее ухом. — Я просто надел халат, — сказал он, — теперь мы можем поговорить. Ты звонишь из автомата?»

«Да». Ей стало не по себе. Говорящий халат — без лица, без рук, без ног: был такой фильм.

«Это бывает», — сказал ночной человек.

«Что бывает?»

«Я имею в виду телефон. Можно попасть куда угодно».

Она не знала, что ответить.

«Кто твои родители?»

Она молчала.

«Когда ты позвонила, я решил, что ты нуждаешься в помощи, но теперь вижу, что ты вполне самостоятельная девушка».

«Как это вы видите?» — спросила она.

В ответ раздался звук, какой могла бы издать усмехнувшаяся птица.

«Ты права, это просто привычное выражение. Даже если б мы встретились, я не мог бы тебя увидеть».

«Почему?»

«Потому что я слепой».

«Как это?» — пролепетала она.

«Очень просто».

«А вы где живете?»

«Там же, где все. Где и ты живешь».

«Я нигде не живу, — возразила она. — А как же вы?..»

«Ты хочешь спросить, как я живу? Так и живу. Ем, сплю...»

«Чего же вы сейчас не спите?»

«Бессонница, — сказал человек. — Я лежал, и вдруг раздался звонок. А потом, какая разница — день, ночь? Ночью даже все становится яснее. Этим слепые отличаются от зрячих».

Ей было холодно, во всем теле осталось несколько уголков, где еще хранились остатки тепла, и она засовывала то одну, то другую руку под мышку или в пах. Под конец она сползла вниз, прижимая к себе трубку, словно куклу, шептавшую ей на ухо свои секреты. Слова Человека из темноты сбивали ее с толку, словно он вкладывал в них другой смысл. Она молчала, дыша в трубку, в необъяснимой уверенности, что на другом конце провода собеседник внимает ее безмолвию.

Он спросил:

«О чем ты думаешь?»

Она сидела на корточках, и трубка возвращала ей ее дыхание. Поднимая глаза, она видела край неба над темной громадой дома. Окна верхнего этажа блестели, как слюда.

«Ни о чем, — буркнула она. — А вы вправду живой?»

Ответом был тот же носовой звук, но теперь казалось, что птица прочищает горло.

«Так мне по крайней мере кажется», — сказал он.

«Кажется, кажется, — возразила Люба, — почему это вы не можете говорить ясно? Кто вы вообще-то будете?»

«Я уже сказал».

«Ничего вы не сказали. Я спрашиваю, кто вы такой».

«Хорошо, — помедлив, сказал голос. — Как бы тебе объяснить? Видишь ли, должен быть кто-то, кто все это сочиняет. Так вот, это я»,

«Чего?»

«Я сочинитель», — объяснил он.

Она усмехнулась:

«У нас тут тоже был один».

«Я знаю».

«И досочинялся».

Голос промолчал. Она спросила:

«И что же вы сочиняете?»

«Ты невнимательна. Я же сказал».



«Чего ты сказал? Ничего ты не сказал! — закричала она. — И вообще!»

«Извини, я не хотел тебя обидеть. Я просто хотел сказать, что в моем сочинении ты главное действующее лицо. Героиня».

«Чего?.. А вы где живете? В нашем доме?»

«Нет, — сказал голос. — В другом».

«Откуда вы меня знаете?»

Трубка молчала, и девочке показалось, что дыхание, которое несло навстречу ее дыханию, прекратилось.

«Алло! — Она дунула в трубку. — Алло, алло!..»

В отчаянии она уставилась в круглое эбонитовое отверстие, вновь прижала раковину к уху. Телефон умер. С трубкой в руке, она мучительно старалась вспомнить номер. Но это был случайный набор цифр, нечаянная удача, которая не повторяется.

Она дергала за провод, била кулаком о коробку.

«Перестань, — сказал вдруг ночной голос. — Сломаешь аппарат».

О, Господи.

«Я думала, нас разъединили».

«Никто нас с тобой не разъединял».

«Чего ж вы молчали?»

«Я думал», — сказал он.

«О чем же это вы думали?»

«О разных вещах. Я думал о том, что мне с тобой делать».

«А это не твоя забота!» Едва выпалив эти слова, она испугалась: человек снова умолк.

«Слушайте, — сказала девочка с внезапным вдохновением. — А можно я к вам приду?»

«Превосходная мысль, но, видишь ли, это невозможно».

«Почему?»

«Это было бы уже сверх всякой меры».

Чокнутый, мелькнуло у нее в голове. Чтобы что-нибудь сказать, она спросила:

«Как же вы сочиняете, если вы ничего не видите?»

Человек на другом берегу не отвечал.

«Дяденька, — сказала Люба плаксиво, — я не знаю, что мне делать!»

«А ты подумай», — сказал голос.

«Не хочу я думать. Я без него жить не могу. Я умру!»

«Ну, этого я не допущу. — Помолчав, он добавил: — Ты должна принять решение».

### 63. DIEU DANS SON OEUVRE<sup>1</sup>

Кончилось тем, что голос умолк совсем, девочка бросила трубку и выбралась из телефонной будки. Но кто же все-таки был тот, кто разговаривал с ней, как мы все говорим друг с другом, и при этом уверял ее, что она создание его фантазии? Старые художники любили помещать на своих полотнах самих себя — где-нибудь в углу, в позе стороннего наблюдателя, но значит ли это, что мастер, сидящий перед мольбертом, и его двойник на картине — одно и то же лицо? Автор отдает себе отчет в том, что, упоминая о себе на этих страницах, он сам невольно становится персонажем, невольно переселяется из своего реального времени в литературное время своих героев.

Другими словами, он уже больше не автор — между тем как по ту сторону повествования вырисовывается другой, подлинный творец, тот, кто придумал и автора, и его сочинение. Кто продает вам, выражаясь фигурально, дом вместе с хозяином. Но и этот творец, стоит ему хотя бы мелькнуть на собственных страницах, станет в свою очередь персонажем, превратившись в «прием», как все, что попадает в зазеркальный мир прозы. Вопрос теологический: может ли Бог, сошедший на землю, которую он сотворил, оставаться Богом?

Ночной разговор, может быть, и не требует рационального объяснения, и то, что нам остается сказать, в свою очередь не более чем фантазия. Если представить себе что-то вроде теологии сочинительства, то почему бы не сказать наоборот: Творец уподобляется сочинителю. Тогда, быть может, станет понятно, что вся наша жизнь предварена некой творческой мыслью и все мы — действующие лица одного нескончаемого романа. Над этим романом он неустанно трудится, вычеркивает абзацы и заменяет их новыми; перекраивает целые главы, намечает новые сюжетные линии и меняет план. И впадает в отчаяние, поддается малодушию, в сердцах называет себя бездарностью, и борется с искушением бросить перо, и говорит себе, что загубил великий замысел. В эти минуты ему кажется, что он утратил способность вдохнуть дыхание жизни в своих действующих лиц, что они вовсе не действуют, не живут, а только служат ему поводом для непродуктивных раздумий. И тогда он спохватывается, он вспоминает о созданиях своей фантазии, брошенных на произвол судьбы. И, охваченный чувством жалости и

---

<sup>1</sup> Бог в своем произведении (*фр.*). Письмо Флобера к м-ль Леруайе де Шантпи: «В своем произведении художник должен быть, как Бог в природе: невидим и всемогущ».

еще чем-то, представляющим сложную смесь симпатии и насмешки, и могущества, и азарта, и бессилия, и любви, склоняется над своим творением, над незадачливыми героями.

Трубка качалась на проводе, голос умолк. Голос, отозвавшийся с дальнего берега ночи, не был ли он самим Богом?..

#### 64. ЧЕРНАЯ ЦАРЕВНА. ВИЗИТ

«Туда не ходи. Она отдыхает».

«Старая карга».

«Полегче».

«Старая хрычовка. Карга!»

«Ты, — сурово сказал Бахтарев. — Как тебя... Знаешь что?»

Он сидел на продавленном диване, в пенсне, смурной и нахохленный, точно его подняли с постели, механически жуя погасшую папиросу, взирал на идиотического подростка и думал: какого хрена?..

«Пошла отсюда», — буркнул он.

Девочка повернула к нему серебряные незрячие глаза — актерка, забывшая свою роль. Память о происшествиях дня знает, чем кончился день, память о первом прикосновении помнит не только о нем, но и о том, что за ним последовало, память о жизни оглядывается на жизнь с порога смерти, и жизнь кажется прожитой под диктовку. Вспоминая этот визит, Бахтарев не мог отделаться от ощущения, что они разыгрывали пьесу, сочиненную кем-то для них. И в сущности, надо было благодарить гостью за то, что она изо всех сил старалась разрушить театральную логику — принудительность жестов, реплик, пошупков.

Он заметил, что в ней появилось что-то новое; это был всего лишь гребень в волосах, дешевая безделушка с инкрустацией дурного вкуса, но каким-то образом он изменил весь ее облик, и даже ростом девочка стала выше, точно встала на цыпочки.

«Что будем делать?» — осведомился он.

Несколько времени ее носило из угла в угол. День угасал за окнами, в полумрачной комнате глаза гости отсвечивали, как бы лишенные зрачков.

«Выкладывай, — сказал он хмуро. — Для чего пришла?»

Девочка продемонстрировала акробатический номер. Сбросила пальто, примерилась и р-раз!.. — сделала колесо, каким-то чудом не задев поставец. Гребешок лежал на полу. Глаза ее блестели. Она поспешно подобрала гребень насадила на место.

«Поступай в цирк, — пробормотал Бахтарев, щурясь на кончик папиросы. — Талант зря пропадает...»

В таком духе шла беседа.

Потом она попросила закурить, хозяин протянул с дивана зажатую спичку, и она склонилась к его руке, составив прямые ноги и почти касаясь коленками его колен. Выплюнула папиросу.

«Вот у деда был табак, это да».

Бахтарев потер подбородок.

«Он что, заболел?» — спросил он небрежно.

Кажется, на это не последовало никакого ответа. Немного погодя Бахтарев сказал:

«Запомни раз навсегда. Не было у тебя никакого деда. И чтоб я больше ни одного слова о нем не слышал».

Она молчала, и он переспросил:

«Ясно?»

Еле заметно она кивнула. Взгляд ее блуждал, как вдруг она очутилась на стуле рядом с часами, у стены, где на длинном ремешке висел предмет, заинтересовавший ее.

«Повесь на место». Но она уже отстегивала клапан кожаного футляра. Она спрыгнула на пол.

Он вспомнил и эту подробность, вспомнил, что ему было лень встать с дивана, подойти и отобрать у девчонки фотоаппарат. Он припоминал не только то, что происходило, но и собственные движения души — то, что достаточно условно называется мыслями, а так как, сказал он себе, это были, по всей вероятности, мысли не вполне трезвого человека, то нельзя поручиться, что и завершение этого визита не было гибридом действительности и воображения. Что же было на самом деле?

«Сними меня».

«Не получится. Темно».

Она захныкала, заканючила:

«Папочка, сними хоть разочек!»

Он усмехнулся, пожал плечами. Девчонка подбежала к выключателю, но свет не горел — обычная история. День угасал, плохое освещение; хрен с ним. Девочка встала в позу, подбоченившись, руки в боки.

«Ближе к окну. Повернись. Еще ближе... — бормотал он, целясь в нее объективом. — Я же говорю, не получится: слишком темно». Она ринулась на кухню, потому что она уже все знала, все успела заметить и помнила, что где лежит.

Вернулась нахмуренная, необыкновенно серьезная, держа под мышкой коробку; с зажженным огарком расхаживала по углам, точно фея с волшебной палочкой, и постепенно сумрачная обитель превратилась в чертог, озаренный тусклыми огнями. Тонкие белые свечи и

отекшие желтые огрызки, хилые елочные свечечки, голубоватые и розовые, напоминавшие конфеты «постный сахар», на подоконниках, на столе, на поставце мигают и теплятся, и пылают, и отражаются в окнах, за которыми меркнет день. И среди призрачного блеска и мерцания, хихикая, она предстала перед ним, как некое божество низшей мифологии: на ней был наряд, который с известной натяжкой можно было считать парадным, чулки и ботинки, а с помощью гребешка она воздвигла из волос сооружение, придавшее ей дикий вид, — к счастью, продержавшееся лишь несколько минут.

«Ближе».

Она шагнула вперед.

«Нет, слишком. Маленько вбок».

Он водил рукой в воздухе, придал аппарату вертикальное положение, присел на корточки. В крошечном окошке «лейки» стояло испуганно-восторженное лицо подростка, в темных провалах глазниц блестели ее глаза.

Девочка проворно, придерживая тарелку, на которой были водружены свечи, стащила со стола скатерть и завернулась в нее, как в мантию. Щелкнул затвор. Скатерть упала к ее ногам. Она стояла, глядя в аппарат, как стоят под дулами винтовок. Бахтарев выстрелил, и она покачнулась.

Невозможная догадка, мелькнувшая когда-то, снова пришла ему в голову. «Слушай-ка... — проговорил он, целясь в девочку, — а ты часом... Подбородок выше. Ты часом не пацан?»

«Может, и пацан», — сказала она.

«Может, проверим?» — проговорил он сквозь зубы.

«Проверь».

После минутного молчания она промолвила:

«Закрой глаза».

«Зачем?»

«Закрой, говорю. Нет, лучше выйди... Ну пожалуйста!»

Сбитый с толку, подпавший под ее необъяснимую власть, он вышел из комнаты и направился в каморку в конце коридора. «Прасковья, — сказал он, — ты спишь?» Бабка лежала на кровати и смотрела на него стеклянными глазами. «Толя, — прошелестели ее уста, — что ж будет-то? А?..» — «Спи, отдыхай». — «Я говорю, что ж это будет? Я сон видела. Может, и сейчас вижу? Может, ты мне снишься?» — «Да, — сказал Бахтарев, — это я тебе приснился. Я уйду, а ты спи дальше». — «Толя, я твою крестного видела. Вот как живого. Тут вот, на койке сидел». — «Да, да, — отвечал он. — Спи. Через полчаса тебя разбуду. Будем чай пить». — «Я пожар видела», — сказала бабуся.

Он вернулся в гостиную. В окнах было уже совсем темно, и от этого пламя свечей казалось еще ярче. Никого не было. «Лейка!» — была первая его мысль. Но тут, скрипя, отворилась дверь кухни. Люба стояла на пороге, завернувшись в скатерть, залитая фантастическим светом.

## 65. ЧЕРНАЯ ЦАРЕВНА: СНИМОК

Напомним, что это была эпоха, претворившая теорию сублимации сексуальной энергии в жизнь всего народа. Платону следовало бы изгнать из своего государства вместе с дорическими напевами и танцы без покрывала. Задумываясь над причинами неслыханных побед социализма, начинаешь сомневаться в правоте оперуполномоченного Сергея Сергеевича: в самом деле, так ли уж бесспорен его тезис о том, что нашими победами мы всецело обязаны органам государственной безопасности? Органы органами, но надо учесть и другое. Нужно представить себе эпоху, когда закупоренная, как джинн в бутылке, энергия пола творила чудеса промышленного героизма, вращала турбины и приводила в действие землечерпалки, когда она превращалась в трудовые подвиги, и песни, и стихи, и парады физкультурников, в шеренги отбивающие шаг, в гудящий строй самолетов, в эротику обожания Девственного Отца, — когда женственно-податливая Россия превратилась в Россию гомосексуальную. Словом, нужно вспомнить то время, чтобы оценить дерзость фотографа и его модели.

Несколько снимков девочки, уцелевших в архиве, к сожалению, нельзя признать удовлетворительными. Темная фигура почти сливается с фоном; по мнению специалистов, это может быть вызвано тем, что Бахтарев, не доверяя искусственному освещению, затянул выдержку. Более или менее удался лишь последний снимок — если он был последним.

Пламя свечей всколыхнулось от упавшей на пол скатерти и обдало девочку теплой волной — ответ этой ауры остался на старом фото. Из темноты девочка как бы выходит навстречу зрителю. Бессмысленные слова присохли к ее губам; подняв угловатые руки к затылку, она стоит, несколько выпятив живот, словно выполняет упражнение, известное под названием «прогнуться в пояснице»; ее расширенные зрачки всасывают пространство. Фотографическое бессмертие настигло ее в момент, когда, как и положено при этом упражнении, она делает глубокий вдох, и кажется, что вместе с грудной клеткой воздух наполнил ее крошечные груди. Словом, это одна из тех фотографий, глядя на которую вы скажете: вот образ, который существует не сам по себе, а внутри чьего-то взгляда, образ, сошедший с сетчатки того, кто его узрел или вообразил.

Еще ничего не «случилось»; еще нет сознания того, что некий рубеж перейден и остался позади; об этом свидетельствует другая особенность данного снимка: подросток, который на ваших глазах превращается в женщину, как бы минуя фазу девичества, модель, изображающая не то физкультурницу, не то начинающую камелию, что в данном случае почти одно и то же, поскольку гипсовые Дианы с мячами и обручами были единственным в те времена официально допущенным эталоном соблазна, — эта модель, эта чахлая Гретхен, застывшая в позе, которую можно было бы назвать картинной, если бы ее не портили угловые скобки локтей и неуверенно расставленные худые мальчишеские ноги, — в сущности, лишена возраста. Точно она сбросила его вместе с одеждой.

Пожалуй, такое впечатление основано на несоответствии между выражением лица и тем, что можно было бы назвать выражением тела. Этот черный косящий взор — что прочитывается в нем: предвкушение эффекта? Страх и восторг перед мгновением, когда зрачок камеры воссет ее в себя, когда она исчезнет в нем без остатка, чтобы воскреснуть в вечно юной, мертвой, потусторонней фотографии? Ожидание — чего? Чего-то восхитительно-чудовищного, сладкого и жестокого, что случится сейчас, в следующую минуту, — чего-то такого, что, как мы знаем теперь, в конце концов состоялось? Так она следила за полетом кошки. Так ожидают выстрела или удара копьем. Но стоит вам оторваться от ее лица, перевести взгляд ниже — и прохладное, нетронутое существо, в котором дремлют оба пола, почти дышит в немыслимой близости от вашего взгляда, в недостижимом отдалении: фотография возвратила девочку в безвременье отрочества, из которого она силилась выбраться. Длинные острые локти, тело с еле намеченной талией, игрушечные соски и прозрачно-лунный живот с выступающими косточками таза, лунный, ущербный свет, который излучает ее кожа, принадлежат подростку, с которого рука ваятеля стерла все мужское, не успев заменить его женским. Оттого что она откинулась назад, как бы отшатнулась, ямка пупка становится центром тела, отвлекая внимание от пухлого удвоения внизу, впрочем, едва различимого: обманчивая треугольная тень есть не что иное, как нулевой знак.

И вы догадываетесь... вас не то чтобы дразнит, но скорей предостерегает и отрезвляет сознание предела, дальше которого идти нельзя; это тело есть некий неосуществившийся замысел. Как поднятая ладонь, он велит вам остановиться. Пожелтевший снимок девочки, этот заговор помраченного мужского интеллекта со светочувствительными солями, мог бы напомнить известные сюжеты подпольного фотоискусства, если бы не был создан любителем, но непрофес-

сиональность как раз и спасает его от банальности. Галогенид серебра одел наивно и нагло обнаженное тело в лунную чешую, превратил вещественность того, что должно было сделать фотографическим «объектом», в призрачную игру форм и теней, словно девочку укрыло ангельское крыло или словно это был снимок, запечатлевший галлюцинацию. Это тело не хочет «говорить», другими словами, не соблазняет, не влечет к себе, но погружает вас в потустороннюю вечность фотографии; перед вами видение, не ставшее действительностью. Выставленный живот с выпуклой дельтой, вертикальные запечатанные уста, зов вздувшихся околососковых кружков и заломленных рук — зов смолкающий, на который запрещено отвечать. Тени реберных дуг над животом индийской танцовщицы, ямка, оставленная Божьим перстом, чтобы опустить в него зернышко: еще несколько щелчков фотокамеры, немного терпения! Из него поднимется стебель лотоса.

## 66. ЖЕНЩИНА КАК ЗНАКОВАЯ СИСТЕМА

Если правда, что образы сна соотносятся с действительностью как черновик и беловая рукопись, если оба пространства нашего бытия равноправны и действительность в свою очередь представляет собою сон, видимый «оттуда», тогда дневная половина есть осуществление плана, набросанного в ночном мире, а не наоборот. Поздно ночью Анатолий Бахтарев лежит без сна, единственный звук, которому он внимает, — это удары его сердца. Мало-помалу к ним примешивается посасывание, ровный плеск воды, волны качают его ладью, и на мгновение он видит себя ребенком, он лежит на дне лодки и смотрит в черное небо. В ту минуту, когда он понимает, что спит, он просыпается окончательно. Из комнатки в конце коридора до него доносится прерываемый короткими приступами удушья храп бабуся. Вслед за тем начинают бить часы; мы знаем, что это случилось с ними нечасто. Он вспомнил странное приключение, феерический блеск свечей и нагого подростка; внезапная мысль поразила его, как будто свет фар, бегущий вдоль черного строя деревьев, неожиданно и с жуткой отчетливостью осветил стоящее на дороге фантастическое белое животное. Его удивило, что он понял это так поздно. Девчонка хотела его соблазнить! Но по каким-то неписанным, неоглашаемым правилам догадку нужно было изгнать из сознания. Она была так же невозможна, как белое видение на дороге. Она, эта мысль, существовала лишь до тех пор, пока ее игнорировали. Голая так голая. Пожав плечами, он поднес к глазам аппарат.



Он отступил на два шага, чтобы она вся уместилась в рамке, присел и навел на резкость, думая о том, насколько проигрывает это неразвившееся существо рядом с роскошным, теплым и податливым телом, которое еще недавно покоилось на этом ложе, рядом с ним. Девочка угодила в расщелину времени, когда прелесть позднего детства миновала, а прелесть юности не наступила, и неизвестно, наступит ли; неизвестно, выберется ли она из этой расщелины, похожей на яму посреди мостовой, а вокруг — злой и распутный мир улицы. Но какое бы объяснение ни придумать ее выходке, ему было ясно (сидя на краю дивана и шаря голой ногой тапочки), что то́, что предстало его глазам, этот изогнутый стан, словно девочка потягивалась со сна, словно она силилась стряхнуть с себя сон детства, — означал нечто превосходящее любые объяснения. Это был особый язык, шифр, непереводимый ни на какие другие языки, непонятный ей самой; она могла лишь инстинктивно знать, что нет события важнее, чем мгновение, когда женщина предстает перед мужчиной. Она дождалась этого мгновения, ощутила себя женщиной, и с этой минуты возраст уже не имел значения. Он спросил себя: если бы она стала его любовницей (мысль, которая все еще казалась ему абсурдной, монстр на дороге), сумел бы он разгадать этот язык? Эти иероглифы тела — что они означают? Да все то же. Всякий раз, когда в жизни его появлялась новая женщина, в конце концов оказывалось, что игра не стоила свеч. Не стоило труда овладеть этой загадочной письменностью: там сообщались вполне банальные вещи. Он читал одно и то же. Но тут... Или все-таки все дело было в возрасте девочки? Он почувствовал, что воспоминание о сеансе при свечах преследует его, как наваждение, и ему захотелось взглянуть на фотографию.

Бахтарев вышел на кухню, прикрыв за собой дверь, щелкнул выключателем, но вспомнил, что свет не горит, поискал глазами чашку, пустил слабой струйкой воду из крана. В ту минуту, когда он поднес чашку к губам, он увидел карточку, выпавшую откуда-то; он поднял ее с пола. Против ожидания девочка была одета: на ней было короткое платье и черные чулки. На этом снимке она казалась старше своих лет, с обозначившейся талией и упрямо-недоступным взглядом, устремленным мимо объектива. Он убедился, что попросту выдумал всю эту историю с раздеванием. Привычка смотреть на женщин, не видя одежды. Он пил и не мог напиться. Теперь надо закрыть кран. Он крутил винт, но нарезка была сорвана, вода лилась все сильнее, шум мог разбудить бабу. Он надавил на винт ладонью, струя пошла слабей, но не мог же он стоять так все время. Где фотография? Карточка белела на полу. Получилось, как будто он передумал, решил зачеркнуть черновик ночи, начать заново. Итак, он вышел в кухню.

Светлый сумрак, мертвый отблеск звезд или свет приближающегося утра. Он увидел на столе карточку и поднес ее к глазам. Она была неразборчивой, он подошел к окну, взглянул еще раз, и то, что он увидел, заставило его отшатнуться.

## 67. БУКВЫ. ОНА ТОЖЕ НЕ СПИТ

Записав этот сон — ибо это, конечно, был сон, — он задумался; вспомнилось, что в какой-то летописи говорится о том, как на небе взошла волосатая звезда, а из реки выплыло тело ребенка, у которого на лице были срамные части. Вычитанное хранилось в глубинах мозга и теперь восстало, как всплыл и закачался на поверхности лунных вод ребенок-монстр. Или, может быть, это дальнейшее воспоминание пришло из детства, из рассказов, услышанных в пору, когда едва только начинают прислушиваться к толкам взрослых. Все еще под впечатлением дикого видения Бахтарев заносил на бумагу свидетельство о своем сне, словно писал донос на самого себя. Свет горел под потолком, мир входил в берега. Он писал торопливым неровным почерком, не дописывая слов и не употребляя запятых, с которыми вообще он был не в ладах, короткими телеграфными фразами фиксировал цепь происшествий: мнимое пробуждение, катастрофа с водой и чудовищный снимок, который он подобрал с пола. Как вдруг ему почудилось, что кто-то идет по лестнице. Собственно, это был не звук шагов, а что-то вроде шлепков ладонью по перилам, словно там поднимались рывками, неслышно прыгая через ступеньку. Потом все смолкло; возможно, она добралась до площадки и чертила знаки на двери. Или высунулась из лестничного окна и увидела свет в окне кухни.

Бахтарев встал, мысль была следующая: глупо предполагать, что Люба придет к нему ночью, но, чтобы успокоиться окончательно, нужно выглянуть и убедиться, что никого нет. Всего лишь убедиться. Возможно, он старался перехитрить судьбу, сделав вид, что абсолютно не допускает, чтобы гостя явилась вновь. Другая мысль была уже совершенно абсурдной. Он должен был удостовериться, что она была нормальной девочкой, а не то, что он увидел на фотографии.

Он вернулся в большую комнату, собрал одежду, подцепил пальцами туфли. На кухне, уже одевшись, он подумал, что следовало бы глотнуть чего-нибудь перед выходом, поискал глазами по полкам и нашел в углу за кружавчиками пустую бутылку; возвращаться в комнату не хотелось; он опрокинул бутылку над ртом и вдохнул остатки коньячного аромата; капля скатилась на язык. Он сказал себе, что тревога вызвана неясностью, как бывает, когда не уверен, выключен ли свет в уборной: пойти взглянуть, только и всего.

Но это было даже не беспокойство, а какое-то безумное волнение по ничтожному поводу, ведь чувства, которые он питал к Любе, даже нельзя было назвать чувствами! Любопытство, быть может. Смутная надежда, что девочка — это некий дар судьбы, что-то вроде запасного выхода из тупика жизни. Ему протягивали на детской ладошке чудный наркотик. Кажется, он угодил в магнитное поле. Ведьма, подумал он. Летучая мышь. С этой мыслью Бахтарев вышел на площадку. Однако его ждало разочарование. «Эй», — сказал он негромко и присвистнул, вглядываясь в затхлую полутьму (за спиной, в окне — сиреневое небо и черный угол соседней крыши). Сошел на несколько ступенек и перегнулся через перила. Итак, он мог спокойно вернуться и лечь. Он с нежностью подумал о Вере. В эту минуту было окончательно решено: он женится на ней. Пьянство, карты, ночные гульбища — все побоку. Куда-нибудь уедем, бабуся возьмем с собой. И вся муторная жизнь прекрасным образом устроится, думал Бахтарев, топтался на площадке и разглядывал на двери надпись мелом, которую он не мог прочесть. Это были еврейские буквы: Вав и Мем.

Он вышел, ежась от холода, во двор и тотчас увидел напротив, на крыльце другого черного хода, фигурку в коротком пальто, лицо, белеющее в темном проеме.

.....

Анатолий Бахтарев понял, в чем состоит мужество жизни: оно было в том, чтобы сопротивляться хаосу. Счастливец, кто знает — вот друг, вот недруг; вот цель, и смысл, и результат борьбы. А ты вот попробуй изо дня в день, из года в год воевать с незримой стихией разрухи, с пылью и плесенью, с заразой, которая не грозит смертью, но незаметно разваливает все, что удалось сложить, стирает все нами написанное, приводит в запустение все, что хоть как-то благоустроено. Этого мужества у него не было. Но его не доставало и другим. Вот отчего в этой стране все валилось и осыпалось: оттого, что хаос поселился в сердцах. Чтобы оправдать распад, эти люди внушили себе, что забота о завтрашнем дне — мещанство, любовь к опрятности — чистоплюйство, бережливость — то же, что скупость, а старание, добросовестность, трудолюбие — нечто и вовсе недостойное их широты; все это было для них пошлость и буржуазность, и вот итог: разбитое корыто, разлезшаяся, как ветхое одеяло, Россия, распад субстанции, который не в состоянии удержать свирепая власть. И чем дальше будет идти разложение, тем страшней будет свирепеть эта власть, и чем больше она будет свирепеть, тем неотвратимей развал. Пока, наконец, всепожирающая стихия не размоет и ее собственные бетонные уступы. Он хотел писать об этом, окрыленный чисто русской верой в литературу и в то, что само по себе описание хаоса есть уже победа над ним; но и

этой веры хватило ненадолго. И он видел словно воочию эту новую Атлантиду, готовую погрузиться в пучину: города, тонущие в грязи, ржавую технику, повалившиеся заборы, покосившиеся кресты, старух, бредущих по пустырям, волков, крыс и насекомых. Жуткое зрелище: эскадрильи крылатых существ садятся на крыши и мостовые. Усатые членистоногие взбираются на кремлевские башни, висят на стрелках часов. Моль пожирает знамена. Текст русской истории распадается на страницы, абзацы, и не огонь пожирает их, а нечто неуловимое, порхающее и ползучее, с чем невозможно бороться.

И вот является эта богиня разрушения и самим своим появлением говорит: *ну и хер с ним*. Чем хуже, тем лучше. Чем глубже упадем, тем выше взлетим. Вернуться в хаос, в бессмыслицу — не в этом ли ее бессонный призыв?

## 68. СОН À DEUX<sup>1</sup>. СУЩЕСТВУЕТ ЛИ БОГ?

То, что бросилось в глаза в черной дыре выхода, была полоска белого платья и бледное пятно лица. Их разделяла мокрая мгла двора. Он окликнул девочку. Она не ответила и не пошевелилась. Бахтарев похлопал себя по карманам, извлек спичечный коробок, папирос не оказалось. «Это ты?» — спросил он снова; ответа не было, платье или то, что он принял за платье, неподвижно белело в глубине крыльца. Он зажег спичку и смотрел на пламя, пока не обжег пальцы. Зажег вторую спичку и бросил.

Затем раздались его шаги, медленные, точно он впечатывал их в собственный мозг. Дождь не то моросил, не то его не было; влага висела в воздухе. Девочка стояла в дверном проеме, прислонясь к косяку, в расстегнутом пальто, из-под которого выглядывало белое платье, он видел черные провалы глаз, но не мог различить ее взгляда. «Ты что тут делаешь?» — спросил он, или: «Ты чего тут околачиваешься?» — что-то в этом роде произнесли его уста. Она слегка посапывала, словно спала. «Ну-ка, вынь руки из карманов». Никакой реакции. «Вынь руки, я сказал». Она усмехнулась. Как педагог на уроке, заставший ученицу за сторонним занятием, он ждал удобного момента, чтобы схватить ее за руку. Рука была сжата в кулачок. «Покажи!» — сказал он строго и принялся разжимать кулак, но девочка оказалась неожиданно сильной. Наконец кулак разжался, ладонь была пуста. Бахтарев перевел дух. «Ну хорошо, — сказал он. — Ты мне все-таки не ответила. Что ты тут делаешь в три часа ночи?» Она смотрела мимо него, вниз и в сторону. «Это ты стояла под дверью?» Она подняла на него лунное, ненавидящее ли-

---

<sup>1</sup> Вдвоем (*фр.*).

цо, несколько времени оба смотрели молча друг на друга. После чего девочка высунула язык, спокойно повернулась и пошла наверх. «Спокойной ночи!» — сказал он иронически. Она не спеша поднималась по ступенькам, растворяясь в затхлой тьме, вынырнула на площадке между маршами, затем послышались снова ее ритмичные топающие шаги. Она шла, как автоматическая кукла. Бахтарев пересек двор, с тупой тяжестью в голове, как бывает, когда встаешь в середине ночи, дошел до своего черного хода и обернулся. На крыльце снова белело ее лицо.

«Это галлюцинация», — пробормотал он. Закрыв глаза и сосчитал до десяти, открыл — расчет был на то, что привидение успеет исчезнуть. Но глазная сетчатка тоже участвовала в заговоре. «Чертова кукла, сгинь, кикимора», — сказал Бахтарев и поплелся назад, к ней. «Ну что, так и будем играть в прятки? Отчего ты молчишь?»

В самом деле, отчего? Оттого что не ее, а его очередь была делать следующий ход? Имела ли она представление о правилах игры? «Послушай, — промолвил Бахтарев, почти непроизвольно беря ее плечи в свои ладони, — послушай... — и так как ему ничего не приходило в голову, он автоматически произнес то, что, по-видимому, полагается говорить в таких случаях, вроде тех фраз, с которыми обращаются к детям: ого, какой ты уже большой! Главное, думал он, чтобы все шло само собой, то есть не то чтобы делать вид, что все происходит против его и ее воли, но чтобы действительно происходило само собой. — Понимаешь, это прекрасно, — продолжал он, — что мы с тобой подружись, но я тебе не пара. И вообще уже поздно. Иди-ка ты спать».

Девочка не сопротивлялась, не смотрела на него, ее руки снова были засунуты в карманы пальто. Обнимая ее, он почувствовал, что пальцы ее шевелятся в карманах, и представил себе, как она пропарывает ему одежду финским ножом сбоку пониже ребер. «Иди домой», — пробормотал он. Она засопела, задергалась в его руках. «Пусти, не хоч!» Наконец-то она разомкнула уста. «Дурочка, — сказал Бахтарев, — ты что думаешь, я всерьез?» Высвободившись, она вздохнула. Мужчина и девочка стояли друг против друга, потом он вынул коробок, чиркнул спичкой. «Ну, я пошла», — сказала девочка. «Валяй», — промолвил Бахтарев, держа перед собой спичку, как свечу. Подняв брови, прикрыв глаза черными ресницами, она раскачивалась, размахивала полами пальто, губы ее шевелились: та, т-та-та-та... — она отбивала мысленно четкетку. «Спляши», — сказал он. «Может, прошвырнёмся?» — спросила она, очевидно, передумав. «Куда? А дождь?» Она передернула плечами.

.....

Она давно забросила школу, просыпалась, когда солнце стояло высоко над крышей, и долго валялась в постели, изучая свое тело; мать оставляла ей на сковородке еду, но девочка не утруждала себя и ела картошку, не разогревая, потом шлялась где-то, вечно у нее находились ка-

кие-то дела, иногда ее видели в подозрительных компаниях, потом оказывалось, что это не она, были приводы в милицию, в чем-то ее подозревали, отпускали, крепко погрозив пальцем; время от времени она пропадала, неделями не появлялась во дворе, как бы репетируя свое окончательное исчезновение. Так что когда она наконец ушла навсегда, это заметили не сразу. Да и мать не вдруг спохватилась, она рада была отдохнуть от девочки и даже некоторое время спустя, когда забеспокоилась, еще долго не решалась обратиться к властям, перед которыми испытывала панический страх. Не говоря уже о том, что весь дом в эти памятные недели был взволнован ужасным происшествием, слухи клубились во дворе, кто-то утверждал, что видел Толю с девочкой, и кому-нибудь, чего доброго, могло прийти в голову связать оба эти события.

В ночь, когда Бахтарев проснулся и сидел на кухне, примерно в это же время девочка шлепала босыми ногами туда-сюда, из постели в уборную, ложилась, снова садилась; сон окончательно оставил ее. Косясь на спящую (мать лежала навзничь на раскладушке, с открытым ртом, уронив руки, точно убитая наповал), она натянула платье, чулки и выпорхнула из окна, мягко приземлилась во дворе, а может быть, сошла, как все люди, по лестнице. Моросил дождь. Она побежала под арку ворот. Там она привела себя в относительный порядок и переложилась в карман пальто предмет, который с некоторых пор носила с собой: это было разумной мерой, принимаемая во внимание террор на улицах. Ей было приятно ощущать его при себе. Решение пришло как бы само собой, другими словами, она почувствовала необходимость действовать, а что именно предстояло сделать, было не так уж важно.

Что-то происходило на маршах и площадках, на этой выученной наизусть до последней щербинки черной лестнице, пахнувшей холодом, тайной, отбросами, которые выносили в ведрах хозяйки, мокрой одеждой мужчин, исчезнувшим дедом. Вперив глаза в темноту, она колдовала и писала на двери тайные знаки. Наконец дверь открылась. Голос спросил: «Эй!» Вздохнув, она сошла вниз, необычайное напряжение вымотало ее. Одной этой пробы сил было достаточно, она вновь испытала свою власть и вновь убедилась, что «может». С нее было довольно этого сознания; но, когда, переправившись через двор, она добрела до своего крыльца, тоска охватила ее с новой силой, тоска любви снедала ее, как тлеющий огонь, она прислонилась, чуть не плача, к дверному косяку, не знала, что делать, не понимала, чего ей хочется.

.....

...Потом эта игра, которая немного развлекла девочку, игра называлась «угадай, что в кулаке». Она знала способ, как заставить разжать кулак, нужно было надавить в определенном месте, отчего человек взвизывался от боли. Бахтарев не знал этого приема, ни за что не разжал бы ей руку, если бы она сама не подчинилась. Где-то в углах сознания

мерцала догадка, что игра имеет другое значение. Это была игра в запечатанную дверь и отмыкание. Запрет и нарушение запрета. Она вырвала руку из его рук. «Дура, я же с тобой играю, — проговорил он, — ты что думаешь, ты мне нужна? Да я, если захочу, ко мне любая прибежит. Скажи спасибо, что я тут с тобой валандаюсь...» Что-то такое он сказал в этом роде, или ей показалось. Она засопела от обиды. Потом он спросил: «Это ты сейчас стояла под дверью? А что это за надпись?» Она сказала: «Это волшебные буквы — не твоего ума дело», вырвалась из его ладоней, показала язык и ушла. Все вдруг разрешилось распрекрасным образом. Она дошла до площадки второго этажа, выглянула в окошко и увидела, что двор пуст. Значит, он остался стоять на крыльце. Она спустилась. Но его не было. Девочка знала, что второй раз колдовство не получится, как будто она исчерпала энергию и надо было подождать, пока заряд накопится снова. Но Бахтарев появился и снова схватил ее, она рвалась прочь, она не могла допустить, чтобы чьи-то руки стесняли ее; то, что мужчина молчал, на минуту наполнило ее паническим ужасом, но в самых дальних и недоступных глубинах ее тела, там, где уже и тела-то не было, а отдыхала, скрывалась от мира и набиралась сил ее любовь, там только усмехнулись от гордости и радости. Бахтарев зажег спичку и держал ее перед глазами, как свечу. Она видела, что он колеблется. Никуда ты не денешься, сказала она себе, шагая по ступенькам; ей не нужно было оглядываться, она знала, что он пойдет следом за ней, движимый если не страстью, то самолюбием.

## 69. ПЯТЬ ЧАСОВ, РАССВЕТ

Остановимся: быть может, мы зашли в своих предположениях слишком далеко. Повесть минувших лет превращается в повествование, действующие лица — в «героев», и летописец, вместо того чтобы реконструировать факты, ставит себя на место участников действия, стремясь представить себе, как бы он вел себя и что чувствовал на их месте.

С другой стороны, очевидно, что факты не исчерпывают действительности. Слишком большое приближение к действительному не делает его реальней, скорее наоборот, как слишком близкое рассмотрение картины разрушает живопись. Комья краски, засохшие мазки — не то же ли остается от правды, когда она деградирует до «фактологии»? Не так уж много, впрочем, этих фактов, и, что хуже всего, они не согласуются друг с другом. Вырвавшись из объятий мужчины, девочка шепнула: «Лучше пойдём погулять», — или что-то такое слышалось Толе Бахтареву, во всяком случае слова эти были для него

так же несомненны, как его собственные слова и мысли. А в системе фактов, относящихся к поведению Любы, такой фразы вовсе не было. Ничего подобного она не говорила. Что тут странного? Поставьте сходный опыт с кем угодно из ваших знакомых — вы убедитесь, сколь многое из того, что вы приписываете другим людям, на чем строится ваше собственное поведение, есть не что иное, как часть гипотезы, какую всегда представляет для нас чужое «я». Предположим, вы ведете перекрестный допрос. Бахтарев заявил бы, что Люба позвала его за собой, добивалась, чтобы он остался с ней: вот что значило приглашение «прошвырнуться». И при этом отнюдь не лгал бы. Девочка же могла бы возразить — и это тоже было бы сущей правдой, — что она просто пошла прочь, нет, бросилась от него стремглав куда глаза глядят; это уж его дело — понять ее бегство как попытку спастись или как зов. Одним словом, непролазная путаница. Рискнем, однако, заметить, что глаза эти все же глядели в определенную сторону. Девочка бросилась в угол двора. К черному ходу на лестницу, где проживал Бахтарев. Он потер лоб, после чего крупным шагом пересек двор. К этому времени уже почти рассвело, дождь прекратился.

## 70. УБЕЖИЩЕ

Все выглядело так, как будто она бежала от преследователя. Она летела вверх, марш за маршем, он шагал через ступеньку. Он не знал, что он предпримет, когда догонит ее на последнем этаже, между квартирой и окошком, из которого когда-то давно она высунулась, держа кошку в протянутой руке, а Бахтарев в это время поднимался по лестнице. Он поднимался. Странная вещь судьба, но что бы ни понимать под этим словом, вопрос, что двигало им в эту ночь, кажется излишним. Чувство судьбы непрекаемо, как страсть. Собственно, страсть и есть веление судьбы, посвист плоти — ее призыв.

Он догнал девочку, оба тяжело дышали. Несколько времени они стояли перед раскрытым окном. На дверях было что-то мелом. Ожидала ли она приглашения войти? Он взглянул на ее ноги, на пуговицы пальто, его глаза скользили снизу вверх, глаза Любы ждали этого взгляда. «Вот такие дела, — проговорил он, — моя дорогая... — Его губы выбалтывали какую-то чушь. — Такие дела... Что же мы с тобой будем делать? Ты знаешь, чем это кончается?» Быть может, последний вопрос не был произнесен. Ее лицо, полумертвое, с черными губами, с померкшим, косящим взором — она смотрела на него и мимо него, — менялось, оставаясь неподвижным. Бахтареву стало не по себе, нужно было кончать эту канитель. Он подумал, что можно овладеть женщиной, для того они и созданы, но вторгнуться можно разве только в тако-



го подростка. «Что ты молчишь, разве тебе не страшно? Ведь я мужик, взрослый дядька, этим не шутят...» Он сжимал ее плечи, как клещами, — она закричала. «Вот видишь...» — пробормотал он. Она смотрела, не отрываясь, ему в переносицу; женщины так не смотрят.

«Ты кто?» — спросил он, словно окликнул: стой, кто идет? «Никто», — ответил, как эхо, ее голос. «Может, ты парень?» — «Пусти, кому говорят!» — прошептала она злобно, вырвалась, но вместо того, чтобы побежать вниз, схватилась за поручни узкой лесенки, ведущей на чердак. Он смотрел на ее мальчишеские ноги в чулках и ботинках, храбро ступавшие по перекладинам. «До свидания!» — сказал он. Люба уперлась рукой и затылком в тяжелую крышку — люк открылся, там оказалось теплей, чем на лестнице, мутный свет проникал сквозь чердачные окна, девочка уверенно вела его за собой, и пространство раздвинулось, крыша сделалась выше; минуту спустя из просторного, мглистого, похрустывающего под ногами осколками стекла чертога они вступили в подобие темного коридора, она схватила его за руку, шагала, отлично ориентируясь в этих надмирных катакомбах; они пробирались пыльными, неживыми покоями, куда едва проникал свет сквозь слуховые окна, мимо старой поломанной мебели, детских колясок, испорченных оттоманок, настольных ламп с разбитым абажуром — зеленое стекло стало черным, стояли перевязанные веревками стопки полугнивших книг: это были вещи, принадлежавшие прежним поколениям жильцов, стулья, на которых сидели давно исчезнувшие люди, кровати любовников, от которых осталась пыль, книги, написанные давно забытыми писателями, и колыбели младенцев, превратившихся в стариков и гнивших на кладбищах. Так они добрались до второй лестницы. Вспорхнув на перекладину, девочка-мышь молча поманила его за собой. Он полез наверх, перекладина подломилась. Подтянувшись, он выбрался наружу. Она ждала его. Помог втащить лестницу и захлопнул люк. Здесь находилось еще одно помещение, чердак над чердаком, сравнительно чистый, не столь обширный, с низким косым потолком, с окном на уровне пола. За окном стояло бледно-сиреневое небо.

«Гм. — Бахтарев огляделся. — Ты тут живешь?» Ибо это в самом деле была обитаемая комната. На ложе, застланном шерстяным одеялом, сидела кукла. Вокруг расставлена детская оловянная посуда.

«Тут живет Маша», — промолвила девочка.

«Так. Что же она тут делает, твоя Маша? Так и сидит одна?..» Подойдя к окну, он обернулся и увидел, что девочка стоит посреди комнаты с выражением оцепенелой решимости, сунув руку в карман. Что-то у нее там есть, подумал Бахтарев.

«А это что?» — спросил он, беря в руки книгу в морщинистом колпоре, с изъеденными углами.

«Наоборот», — глядя исподлобья сказала девочка.

Он не понял.

«Наоборот надо смотреть, с конца».

«С конца? А-а, ну да... Ты что же, можешь читать эту книгу? — Стоя перед окном, он перелистывал серые страницы, от которых шел запах смерти. Девочка покачала головой. Бахтарев разглядывал изображение Адама Кадмона. — А ты вообще-то умеешь читать? Откуда у тебя эта книга?» — спрашивал он, занятый рисунком, но на самом деле зорко следил за девочкой.

Она молчала.

«Я спрашиваю».

«Ниоткуда. Много будешь знать».

Он захлопнул книгу. «А я знаю. Слушай, — сказал он. — Хватит играть в прятки. Я знаю, у кого ты стащила книгу, и знаю, что ты прячешь в кармане. Лучше вынь и положи, пока я сам не отнял... Ну-ка, иди сюда. Давай, тебе говорят...» — приговаривал он, выламывая ей руки. Она вывернулась, ножны остались в руках у Бахтарева, он отшвырнул их. Девочка закусил губу. В кулаке у нее был самодельный кинжал, умельцы изготавливали их чуть ли не в каждом дворе: короткое заостренное лезвие на штыре, который вгонялся в деревянную рукоятку.

Она отступала, играя ножом.

«Ну вот, — вздохнул Бахтарев, — сначала в прятки, теперь в кошки-мышки...» Он стал в позу, предписанную классическими правилами боя, ладони — перед собой. Сделал отвлекающее движение, девочка отшатнулась, ударом ноги он вышиб кинжал и наступил на него.

«Вот, — сказал он. — Учись».

Она подобрала с полу кожаные ножны, кряхтя, упиралась в него обеими руками, сиюсь столкнуть его с места. «Отдай, гад!..» Так они боролись некоторое время. Скоро стало ясно, что нож не имеет значения. Все было чем-то внешним и лишним, и вместе с тем — как труден был каждый шаг, каждая ступенька сближения. Пальто Любы валялось у них под ногами, рука мужчины, невыносимо холодная, проникла под платье. Вдруг оказалось, что она надела лифчик. Зачем, подумал он. Они не могли сесть, потому что ложе было слишком низким и потому что место было занято: оттуда, раскинув ноги, смотрел на них целлулоидный божок. Погрузив лицо в черные, едва уловимо пахнущие углем волосы девочки, Бахтарев видел сквозь полупущенные ресницы голую, изжелта-розовую голову куклы и фарфоровые глаза, следившие за ним. Ложе тянуло к себе, больше стоять было невозможно. После чего произошло нечто удивительное: он почувствовал, что и тело, его тело, почти не отделенное от

девочки, сделалось чем-то внешним. Вот и еще одна пелена спала: они уже не были мужчиной и женщиной, но были одно. Слишком рано. Это должно было наступить после.

Если сексуальность — это ловушка, в которую попадает любовь, то и любовь в свою очередь расставляет невидимые тенета, в которых может запутаться физическое влечение; если любовь, хотя бы на первых порах, есть не что иное, как азбука вождления, то ничто не может помешать знаку стать означаемым, а то, что он означал, станет знаком, и тело, изнемогающее от неутоленной чувственности, окажется несовершенным инструментом любви.

Почуввав неладное, девочка села и обхватила руками колени. «Не бойся, это не больно...» Но это была ложь. Она не боялась дефлорации. Она ничего не боялась. Нужно было оправдать наступившую паузу, и он пытался представить дело так, что она испугалась и, значит, сама виновата. «Мы потихоньку», — бормотал он, обнимая ее, но и это была ложь: она ждала боли, хотела, чтобы потекла кровь. Тяжкие вздохи перешли в стоны, но это был всего лишь стон нетерпения. «Сейчас, сейчас, — лепетал он, — ты только не бойся...»

«Ну!» — крикнула девочка.

Такова одна из версий события, которое окончилось, как мы знаем, трагически.

## 71. БЕГСТВО

Нами не раз на протяжении этой книги предпринимались попытки дать читателю представление о синтетическом методе, который позволил восстановить историю нашего дома в последние годы и месяцы той отдаленной эпохи. Ныне она представляется замкнутой в себе, целостной и отмеченной единым ритмом; именно эта замкнутость времени, дающая множество примеров параллелизма разных сфер жизни, делает правомочным наш метод; мы как будто имеем дело с разными списками одного и того же сочинения; испорченные места одного манускрипта можно восполнить за счет другого, отсутствующие данные экстраполируются. Почерк времени одинаков, возьмем ли мы архитектуру, песенное творчество народа, печать или частную переписку. Вот почему исповедь душевнобольного, зафиксированная рукой врача, представляет не меньшую ценность, не менее правдива, чем речь вождя в Большом театре на собрании избирателей Сталинского района столицы. Единый стиль опознается в песне нищего и в поэме увенчанного наградами стихотворца, в детских рисунках мелом на асфальте, в надписях на стенах сортиров и в плакатах на стенах домов. Завершающая глава нашей хроники, однако, остается гипотети-

ческой. Похоже, сцена в комнате на чердаке (тщетно было бы искать ее на плане дома) представляла собой в известном смысле прорыв действительности.

Сознавали это или нет мужчина и девочка, но эпизод этот означал радикальное расхождение с реальностью, нежелание существовать в ее мутных тепловатых водах. Сознавал это или не сознавал любимец женщин, но силу вырваться из действительности, раздвинуть сетку координат, как прутья тюремной решетки, могла подарить ему только любовь, которой он не знал. Итак: была ли кончина Бахтарева прямым следствием брачного акта, итогом небывалой интенсивности этого акта, сразил ли его, прокатившись по проводящим путям спинного мозга, двойной разряд энергии продолжения рода, энергии мужчины-самца и детской энергии девочки? Или слияние и смерть были разведены во времени? Что произошло в уединенной комнате перед восходом солнца, под взглядом целлулоидного божка?

Короткий бой сменился объятием, словно бурное престо — томительным анданте, некоторое время они стояли, прижавшись друг к другу, привыкая к этому событию, и душа Толи Бахтарева плавилась и испарялась от любви и жалости к девочке, так трогательно искавшей приюта у него на груди; ему представилась какая-то нездешняя, тихая и умиленная жизнь, а что, если, думал он, послать всех к чертям собачьим, что, если уехать и взять ее с собой. Как во сне, он видел изборожденную колеями дорогу от полустанка, высокое серо-голубое небо, себя с чемоданом и ее, он вел ее за руку, он представлял себе, как он сорвет доски с заколоченных окон, наколет щепы, как они растопят холодную печь и будут жить вдвоем, отец с дочкой, муж с женой, в темной и теплой избе; как будут бродить по пустынным холмам, сидеть на опушке леса, и возвращаться в сумерках, и слушать кукушку. Он помог Любе высвободиться из рукавов пальто, она осталась в коротком платье, его ладони, пальцы ваятеля, формовали прохладную глину, полуживую плоть, и она превращалась в тело женщины, лифчик мешал ему, быть может, девочка надела его впервые в жизни, но ничего не было под ним, и он вылепил ей маленькие полукруглые груди с крошечными сосками, смотревшими в разные стороны, он держал в ладонях ее хрупкий таз, как гончар держит только что изготовленную вазу, оставалось лишь вдохнуть жизнь в это творение его рук. Она уперлась головой ему в грудь, и он понял, что страх борется в ее душе с неодолимым любопытством, а любопытство уступает место чему-то, что он силился разбудить в ней. «Ну», — выговорила она сдавленным голосом, дыша ему в грудь, затем они оказались возле куклы, возможно, девочка споткнулась и упала, потянув его за собой. Но мужчина потерял разбег, если можно так обозначить странную в его возрасте неожиданность вдруг приближившейся цели, и теперь ему нужно было время, чтобы вернуть форму.

«Не бойся, — пробормотал он, — я не сделаю больно...» — словно его медлительность объяснялась заботой о ней; но она уже ничего не боялась. «Ну что же ты?» — спросила она удивленно. И тогда, наконец, напряжением воли, боясь нанести ей увечье, боясь раздавить девочку, он совершил над нею этот обряд, без сопротивления, если не считать естественную упругость ее тела, без всякой видимой реакции с ее стороны, не причинив, как ему показалось, боли, но и не доставив ей никакого наслаждения. После этого, едва схлынула судорога, он лег на спину, его рука перебирала кукольную посуду, другую руку он подложил под голову. Больше не было никаких мыслей, душа его парила в холодном безвоздушном пространстве, не было деревни, не было ничего.

Скосив взор, он увидел, что она сидит, обхватив руками колени. Непостижимый взгляд косящих глаз смотрел мимо него.

«Дай сюда...» Перегнувшись через Бахтарева, схватила куклу и стала ее баюкать.

«Ты куда?» — спросил он.

Девочка растворила окно.

«Куда, стой...»

«Мы всегда с Машей гуляем», — был ответ.

«Ты что, с ума сошла? — сказал Бахтарев и вскочил на ноги. Ему стало ясно, что он ничего не добился, не разбудил в ней никаких чувств. Она осталась резиновой девственницей — мужчина всего лишь удовлетворил ее любопытство.

«Вернись сейчас же!» Высунувшись, он увидел, что она карабкается вверх по крыше, еще не просохшей после дождя. «Назад!» — крикнул Бахтарев. Она оглянулась, и вдруг — он увидел это — ее охватил страх. Кукла выпала из ее рук и поехала вниз. «Стой! — скомандовал Бахтарев. — Не шевелись». Девочка распласталась, как лягушонок, на покато́й крыше. «Лежи так», — сказал он, перешагнул через окно, пригнулся и, держась за ставню, почти уже дотянулся до ее ноги в незашнурованном ботинке, но в эту минуту ставня с треском вырвалась из верхнего шпингалета и повисла на нижнем. Девочка медленно сползала по мокрой кровле, у ее ног, в желобе для стока воды, лежала целлулоидная кукла, а Бахтарев лежал внизу, в темном колодце двора, на дне пропасти.

## 72. ВОЗНЕСЕНИЕ

«...Время это, однако, не вовсе было лишено людей добродетельных и оставило нам также хорошие примеры. Были рабы, чью преданность не могли сломить и пытки; мужи, достойно сносившие несчастья, ушедшие из жизни, как прославленные герои древности»<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Тацит.

Оглядываясь, по примеру античного историографа, на нашу полулегендарную старину, вспоминая мертвое время, оставившее такой слабый, стершийся след, мы должны вновь предостеречь себя (и читателя) от ловушки, которая ожидает всякого, кто берется восстанавливать прошлое. Ведь причина искажений чаще всего не в том, что нам не хватает фактических сведений, но в том, что мы разбавляем их фактами, которые совершились потом. Другими словами, мы подсказываем прошедшему его будущее; зная заранее о смерти героя, мы, так сказать, дорисовываем его последние дни и подсказываем ему финальную реплику. Но, может быть, только история позволяет нам видеть то, о чем в жизни мы не догадываемся, чего не замечаем, думая, что живем всегда одной и той же жизнью, ступаем по одной тропе; между тем как к смерти ведут сто дорог.

Вот другая версия.

«Прошвырнёмся?»

Это словечко тогда только что вошло в моду. Что она замышляла? Девочка бросилась бежать, но не к воротам, а к другому черному ходу, мужчина зашагал следом, повинувшись инстинкту охотника, он настиг ее наверху, напротив своей квартиры.

«Давай стирай, — сказал он, — это ты испачкала дверь?»

Как мы уже знаем, они не вошли в квартиру.

Он окинул ее быстрым взглядом с ног до макушки и от макушки до ног; маленький инкуб воззрился на него и мимо него потухшим взглядом. Он схватил ее за руку, намереваясь стереть надпись ее ладонью, но она не далась, быстро и ловко полезла по узкой железной лестнице, упиравшейся в чердачный люк, и оттуда смотрела на него. Замок висел для блезира. Высокие стропила, анфилада чердачных комнат, прах и пыль прошлого окружили любовников настороженной тишиной; несколько времени спустя они взобрались еще выше; тут под ногами у Толи подломилась дощечка, предупреждая о том, чему надлежало произойти.

Бахтарев сел на корточки перед куклой, как садятся перед ребенком, поднял голову — девочка стояла, не спуская с него глаз. Внезапно он понял, что она ждет, ждет, снедаемая любопытством, которое в некотором смысле противоположно желанию, хотя и стремится к тому же. Вдохнув, он встал, некоторое время перелистывал старую книгу, он колебался, пока, наконец, его не потянуло к девочке, и, как мы знаем, между ними произошла схватка из-за ножа. Можно предположить, что девочка, обороняясь, ранила, а может быть, и убила мужчину, а затем сбросила его с крыши. Эта гипотеза, однако, не подкреплена фактами. На трупе не было найдено следов ранения.

Они стояли, обнявшись, не зная, что делать дальше, он целовал ее в голову, в глаза. Быть может, это и было то единственное мгновение, когда оба почувствовали, что больше не надо преодолевать ряды заграждений, колючую проволоку одежды, мертвую полосу стыда, огневые точки пола, потому что нет больше войны и нет надобности овладевать друг другом, потому что, сами того не заметив, они уже соединились, они вместе, они одно, как первоначальный человек каббалистов Адам Кадмон. Перемирие длилось одно мгновение. Вспыхнул беглый огонь. Ноги под девочкой подогнулись. Некоторое время любовники барахтались на ложе. Ему показалось, что он раздавил ее своей тяжестью, он взглянул в ее расширенные от ужаса глаза и понял, что она ждет боли, ждет насилия и, может быть, смерти. Не тут-то было. «Ну что же ты, — вскричала она, почти плача, — ну!.. ну!..» — и била его кулаком. Ее пальцы в отчаянии схватили его липкую, беспомощную плоть, так что он взвыл от боли. Никогда в жизни он не чувствовал себя до такой степени опозоренным. Открыв глаза, он увидел, что девочка сидит рядом с ним в той же позе, в которой сидела Маша, и с невыразимым презрением, не мигая, смотрит на него. Он встал и поправил одежду. Его глаза остановились на окошке мансарды. С минуту он думал о чем-то, потом пошел к окну, вылез, глубоко вздохнул и шагнул в пустоту, подтвердив слова Тацита о том, что дело богов — не заботиться о людях, а карать их.

### 73. ЭПИЛОГ: МОСКВА



Нет ничего легче — по крайней мере так всем нам казалось, так кажется и сейчас, и будет казаться всегда, — нет ничего естественней, чем представить себе великий город как единое тело, точнее, душу, вобравшую в себя тела и души всех; песни и транспаранты, культ столицы, воскресивший обычаи Рима, особый сакральный язык, каким было принято говорить о Москве, — все это было неспроста, все было лишь более или менее неуклюжим выражением веры во всеобщую душу. Эта душа обвевала вас, когда, приближаясь к Москве, вы высывались из окна вагона и вдыхали стальной и угольный воздух, когда трясло и болтало на стрелках, в паутине сходящихся и расходящихся рельс, не кто иной, как она сама, эта душа города, глядела на вас из пыльных окон приземистых железнодорожных зданий, с про-

носящихся мимо пригородных платформ, с замызганных надписей: «Москва-товарная», «Москва-сортировочная» и как они там еще назывались, из серой, ржавой, латанной толем и железом неразберихи складов, сараев, заборов, хибар, жалких цветников, двухосных вагонов, вросших в траву, с занавесками на окнах, с бельем на веревках... и вдруг мост, и под мостом улица, и первый трамвай: вы уже в городе, вы сами — Москва.

Эта душа объяснялась с вами на языке вывесок и знаков улично-го движения, напоминающем язык глухонемых, по вывескам вы учились грамоте и смеялись от счастья, узнавая знакомые кириллические буквы, смесь Востока и Запада, Эллады и Рима, вы рисовали их пальцами в воздухе, варежкой на снегу, и мало-помалу они вытеснили ваши каракули, подчинили себе неловкие пальцы, держащие карандаш, перестали быть чьим-то свободным изобретением и превратились в частицы громадного, вечно мертвого, вечно воскресающего тела: в этих знаках жила Москва.

Сколько бы вы ни странствовали по этому городу, плелись по улицам в скользких резиновых ботах и переправлялись через людные перекрестки, чувствуя, как рука взрослого судорожно сжимает ваше запястье, — упаси Бог потеряться в этой толпе! — сколько бы ни тряслись, сидя на чьих-то коленях в гремучем трамвае с заиндевевшими стеклами, где можно было процарапать ногтем, продуть дыханием темный глазок, похожий на лунку во льду на Чистых прудах, через которую удят рыбу, никогда там не водившуюся, сколько бы ни терпели в полутемном трюме автобуса-корабля, в толчее, уцепившись за кого-то, задрвав голову, задыхаясь в зимнем пальто, в шапке с завязанными ушами и кашне, которым вас обмотали вокруг поднятого мехового воротника, одним словом, куда бы вы ни ехали, хоть на край света, хоть в страну гипербореев, к лестригонам и лотофагам, к легендарным родственникам где-то за Абельмановской заставой, — город не отпускал вас, его улицам, закоулкам, подъездам и подворотням не было конца. Город был так велик, что не мог быть для вас родиной. Город был обитаемой частью мира, той ойкуменой, за которой начинались пустынные дебри, куда не ступала нога человека, лесные чащи, не отзывавшиеся ни на чей голос, моря, по которым никогда не скользил парус. Город был вашей цивилизацией, вашим фаустовским тысячелетием, вашим кругом земель; но истинной родиной, подарившей вам речь, и письменность, и зрение, и слух, родиной, за которую вы сражались под сводом подворотни, в ущелье Фермопил, были для вас дом и двор.

Над вашим телом, над останками павших произнес свою знаменитую речь, изронил слово верное вождь народа и революции. «Афи-



няне! — воскликнул он. — Афиняне...» И простер руку с броневика. В двенадцать часов по ночам в центре города и Вселенной, у розовых стен с зубцами, как ласточкины хвосты, за которыми древнее, органическое, грибное, широкобедрое и широкозодое зодчество уживается с деспотизмом прямых линий, с фаллической мощью увенчанного золотым желудем Ивана Великого. В двенадцать часов по ночам из гроба встает барабанщик. И грому палочек вторят куранты, и растворяются дубовые двери мавзолея, и Ленин в ботинках с болтающимися шнурками, на ходу просовывая руки в рукава пальто, поспешно выходит мимо окаменевшей стражи и сверяют часы: двенадцать часов по московскому времени, в том времени, где секунды означают год, а минуты — столетие. Он засовывает часы в часовой кармашек брюк, одергивает жилет, смотрит наверх, переводит взгляд от циферблата Спасской башни к двуглавой птице: ее нет. Пора! Барабанщик, в буденовке, с черными провалами глазниц, ждет, вознес палочки — малоберцовые кости. Товарищ, куда же делся орел? Русь, дай ответ... Не дает ответа. Чудным звоном заливается колокольчик, стучит барабан, башмаки печатают шаг по брусчатке.

Вы ждали его, не правда ли, и не зря подросток в брезентовом армяке, в слишком просторных брюках и кепке, надвинутой на нос, вперялся косящим взглядом в тусклую мглу переулка, держа наготове игрушечный пистолет, не напрасно стояла битый час у ворот, с окоченевшими руками, с хлебом-солью на подносе, в праздничном сарафане и кокошнике, с месяцем под косой, со звездой во лбу, красивая пышногрудая Вера; только не принял он ее поклона, не взял подарка: некогда, товарищ, спешу на Лондонский съезд, на митинг у Финляндского вокзала; да и во дворе заждались. Сухим горохом рассыпается дробь барабана, звучит команда, звучит, срываясь, дрожа от счастья, от волнения, от страха, рапортующий голос управдома, и жильцам за темными окнами снятся грозные сны и былые походы. И он проходит, ладонь у кепки, вдоль строя, и следом за ним, с шашкой наголо, спешит, не может попасть в ногу управдом Семен Кузьмич.

Сама собою воздвиглась трибуна, вам удалось пристроиться на пожарной лестнице, вы видите всех, а вас никто не замечает, управдому не до вас, и уже кто-то суетится с графином, художник Бродский расположился с палитрой и мольбертом у подножья, — но, человечнейший из людей, он останавливается и говорит с правофланговым. Мягко журит Сергея Сергеевича за недооценку роли революционного пролетариата, за переоценку административного аппарата, и бедняге уполномоченному с мечом на рукаве и со шпалой в петлице нечего ответить, да и нечем: молча тычет он пальцем в

свои замершие, запекшиеся уста, показывает на простреленную голову. Но для каждого найдется задушевное слово, с каждым говорит Ильич, с патлатым старцем по-древнееврейски, с Корнелием Таци- том на серебряной латыни. Карапузу на кривых ножках, внучонку Семена Кузьмича, Толиному сыну, он надел на голову свою кепку, простреленную пулей Фанни Каплан, а коллекционеру отбросов... что же сказать коллекционеру, что ему подарить? И Ленин делает знак рукой. Круглый, белый, как грудь Веры, теплый, как пуховая постель, каравай съезжает с подноса в мешок собирателя, и туда же летит солонка.

В эту минуту вы понимаете, вам не только становится ясно, что все окружающее вас погружено в душу Москвы, как сны в душу спящего, но вы уже догадались, что душа эта, обнимающая всех, — душа ребенка; воистину хаотическое великолепие нашего города есть лишь синоним щедрости и величия детской души. Москва прыгает на одной ножке. Москва распевает песни, карабкается по лестницам и лазает по чердакам, но время торопит стрелки, листает дни, и по мере того, как эта душа взрослеет, она отмирает: живое единство го- рода распадается, разваливается семантика, рассыпается текст. Лет- ние грозы летят на Москву с востока, словно орды азиатских всадни- ков, разверзаются источники бездны, и отворяются небесные окна, дождь грохочет по плоским крышам и низвергается ливнем по углам многоэтажных домов на прохожего. Водосточных труб больше не существует. Нет ворот, дворов, оград, нет площадей и бульваров, пе- реулков и улиц, напрасны попытки расспросить встречного или ста- руху в деревенском платке, укрывшуюся под козырьком подъезда, — здесь никто ничего не знает, здесь живут феллахи. После долгой ез- ды в метро, после тряски в автобусе путешественник, прибывший из тридцатых годов, бредет по залитым водой, там и сям провалившимся тротуарам от одной грязно-белой громады к другой, мимо лужаек и пустырей, мимо искромсанной земли, мимо ветхой новизны, и не знает, где он находится. И так будет продолжаться до тех пор, пока где-то вновь народившаяся младенческая душа не обнимет собою всю эту бессловесность. Темным ночным утром люди сходятся со всех сторон к автобусной остановке, с каждой минутой прибывает толпа, и, кажется, нет для них иных измерений существования: впахнуться в транспорт, отбыть положенные часы на работе, запас- тись продуктами, вечером проделать обратный путь. Им невдомек, что заспанное дитя на чьих-то плечах, у кого-то на руках, дитя, что таращит глаза на этот содом, — и есть та единственная душа Москвы, внутри которой все они обретут подлинную жизнь, как некогда дру- гая младенческая душа вдохнула жизнь в любовника женщин, Веру,

бабусю, в старика-каббалиста, в торговцев будущим и собирателей отбросов, в Орден Интеллигенции, в грезы философов, революционных борцов и самого Ильича: что они без нее? Бессловесность, труха. Толпы выдавливаются из автобусов и текут в подземелье; эскалаторы, платформы, вагоны заполнены до отказа человеческим фаршем. В это время снаружи начинают серебриться окна домов, блестят лужи, и нежнейшим, розоватым, зеленоватым заревом облиты верхние этажи. На миг единственный и неповторимый в своем безобразии город сказочно красив. Москва, МО-С-К... дитя читает буквы, душа города восстала из хаоса в тот момент, когда вы впервые пролепетали это слово: Москва.

1990

ХРОНИКА N.  
ЗАПИСКИ НЕЗАКОННОГО ЧЕЛОВЕКА

## ОТ РЕДАКТОРА

*Нами предпринята попытка придать рукописи по возможности удобочитаемый вид. Текст подвергнут стилистической правке и значительно сокращен, главным образом за счет пространных рассуждений автора. Опущены некоторые второстепенные эпизоды и большая часть «трактатов». Не поддающиеся прочтению места восстановлены по смыслу. Разбивка на главы принадлежит редактору.*

*Сведения об авторе ограничены тем, что он сам сообщил о себе. Датировка сочинения может быть лишь приблизительной. По нашему мнению, оно могло быть написано в шестидесятых или семидесятых годах прошлого века. Неизвестно, являются ли «трактаты» сочинением того же автора; вопреки его заявлению о пропаже архива, можно предположить, что они принадлежат перу К.К. Фотиева либо представляют собой конспекты его лекций.*

*Пользуемся приятной возможностью выразить благодарность за советы и указания г-ну Борису Хазанову и проф. М.М. Феклистову, взявшим на себя труд просмотреть рукопись.*

## РОДОСЛОВИЕ И КРАТКОЕ ЖИЗНЕОПИСАНИЕ КУЗЬМЫ КУЗЬМИЧА ФОТИЕВА-КОЛЬЧУГИНА

(Составлено по устным преданиям и при содействии  
дорогого, незабвенного Ивана Игнатьевича)

**П**ервый человек имел две жены, и было у него от первой жены Лилит три сына. И от младшего сына пошло потомство со своими Авраамом, Исааком и прочими, только это потомство не знало развращения, не сгнуло от потопа и размножалось беспрепятственно. Исаак родил Иакова, Иаков — Симеона, и в числе его потомков был некто, после долгих странствий пришедший в обширную землю, которая простиралась до полуночных стран, и породнившийся там с дочерью варяжского ярла Эрика. От сына его Олафа пошел род бояр, носивших прозвище Треногие, и род этот с многочисленной челядью был истреблен при Иоанне Грозном, один человек уцелел — по преданию, кольчужный мастер. Внук этого кольчужника искал, куда деть свою удадь, и сочетался браком под именем Степана Разина с персидской княжной. Правление шахов Аббас-Треногиных в Исфахане продолжалось семьдесят лет, после чего пресекалась астраханско-персидская ветвь этого рода. Другая же ветвь протянулась до нынешнего столетия и угасла с разорением и смертью князя Косьмы Порфирьевича Кольчугина, потомственного почетного гражданина, действительного статского советника и кавалера орденов. И уже после кончины кн. Кольчугина, в срок, подавший повод к разного рода предположениям, в муках родился у цыганки Ксюши, той самой, что плясала в ресторане братьев Ложкиных и прославилась исполнением песни «Из-за острова на стрежень», сын Кузьма; своё первое воспитание он получил в таборе.

Вытребованный двояродной бабушкой Варварой Аполлинарьевной Аббасовой, младенец Кузьма находился при ней до её кончины, после чего обучался ремеслу в семье плотника Осипа Фотиева, сына крепостной девки князей Аббасовых. Накануне прискорбных событий в Санкт-Петербурге отрок Кузьма был принят в духовную семинарию, где его посетили первые мысли о воскрешении отца. В семинарии же составлено было им сочинение на тему «Как надлежит толковать слово Блаженного Августина: *Fecisti nos ad te, et inquietum est cor nostrum,*

donec requiescat in te (Сотворил еси нас себя ради, и беспокойно сердце моё, дондеже воскреснет в тебе)?» После диспута с наставниками в храме Кузьма Фотиев был исключен из семинарии и далее скитался. Бродячая жизнь привела его в наш город, незадолго до того захваченный, к неопишуемой радости населения, казачьей армией генерал-майора Шкуро, а далее, к столь же бурной радости, войсками батьки Махно, отрядами атаманши Маньки Трехногой (выдававшей себя за принцессу Матильду Аббас-Разину) и, наконец, Первой конной армией Буденного. Дальнейшие годы жизни Фотиева посвящены были путешествиям по отдаленнейшим областям России, отчего след его потерялся на долгие годы вплоть до... (Текст оборван. — *Прим. ред.*)

## I

*Основание города. — Мотивы, побудившие автора предпринять путешествие. — География нашей страны. — Беседа с начальником поезда. — Мысли о возмездии, опровержение провокационных слухов.*

Город N, отсутствующий на большинстве употребительных карт Срединной России, обязан своим происхождением несчастному случаю. В XI веке местный князь Якун упал с коня во время охоты на лесного зверя и дал обет построить обитель. И тотчас некий святитель вышел из чащи и протянул князю костыль. Хотя впоследствии было доказано, что никакого Якуна в действительности не существовало (опровергнуть существование святителя оказалось более сложной задачей), костыль изображен в городском гербе, да и название города намекает на эту легенду. Между прочим, это название приводит в своем поучении Владимир Мономах, который сам был известным охотником и «с коня много падах».

Употребив выражение «Срединная Россия», я мысленно противопоставил его понятию Краевой России, в которой провел некоторое количество лет; по моему глубокому убеждению, она является неподлинной. Я хотел добраться до истинного сердца моей страны. Такова была цель моей поездки, правда, не единственная. По некоторым причинам я не мог жить в больших городах, следовательно, должен был выбрать городок поменьше, а главное — подальше. Особая воронкообразная география нашего отечества объясняет смысл моего намерения: подальше от краев. Или, что то же самое, подальше отовсюду. Моя жена бросила меня за время моего отсутствия. Моя дочь меня никогда не знала. Родители мои умерли, и светила, под которыми я начинал свой малоудачный жизненный путь, успели не раз поменяться

местами. Я всё еще был молод, вернее, я был стар и одновременно молод, как плод, который сморщился, не успев созреть; моё прошлое было старше меня самого; я надеялся, что оно затерялось в архивах учреждений. Я был в полном смысле один как перст — обстоятельство, не лишенное преимуществ, — что же касается формальных условий проживания и трудоустройства в медвежьем углу, то, хотя, как всякий гражданин, я не имел точного представления о правилах прописки и не имел права справляться о них, следовательно, не мог ссылаться на их незнание, опыт бродячей жизни и рассказы бывалых людей позволяли мне рассчитывать на то, что я не встречу особых препятствий у властей в какой-нибудь Тьмутаракани, куда нормального человека калачом не заманишь. «Как-нибудь устроюсь, — думал я, — а нет, так поеду дальше».

Поздно ночью я сел в поезд, отходящий от Савеловского вокзала, и через восемь или девять часов вылез на станции, где мне предстояло сделать пересадку. Было еще темно, что опять-таки объяснялось законами географии: существуют маршруты, по которым вы устремляетесь навстречу минувшему и в объятия ночи. Я сидел на лавке в пустом и холодном станционном зале, усталость сморила меня, и, обняв чемодан, с головой, упавшей на грудь, я лишился представления о времени и брел по равнине, волоча тяжелый багаж. Чемодан бил меня по ногам, я взвалил его на плечи, это был, пожалуй, не чемодан, а сундук. Я боялся, что он раскроется, что меня застанут на дороге собирающим мои тайные вещи и тетради с записками. Оставалось несколько километров до станции, небо темнело, я знал, что глина размокнет под дождем и двигаться станет совсем трудно. Подняв голову, я увидел, что сижу в зале ожидания или, вернее, стою на обочине перед шлагбаумом, поезд вот-вот подойдет. В страшной тревоге, подхватив чемодан, я собираюсь подлезть под шлагбаум, чтобы успеть добежать до станции, и вижу вдали огни паровоза, слышу лязг и шипение; как уже сказано, это был сон. Тело моё дрожало от холода, сердце сжалось от горя и одиночества. Поезд стоял у платформы. Я бросился вон из зала ожидания и через мгновение уже протискивался в тускло освещенном вагоне. Состав, громыхая, набирал скорость, и в такт ему качались, сидя и стоя, угрюмые или дремлющие пассажиры. Тщегно искал я свободное место на полках, чтобы пристроить свой багаж. Повсюду над головами и между ногами сидящих громоздились мешки, сундучки, деревянные чемоданы, на крюках раскачивались сумки с припасами. Лишь спустя некоторое время, расспрашивая людей, я убедился, что спросонья сел не в свой поезд. Контролер вертел в руках мой билет. Мы двинулись вдоль вагона, перешагивая через узлы и хватаясь за



плечи сидящих в проходе, минуя гремучие тамбуры и вихляющие под ногами железные площадки между вагонами, где свистел ветер. Поезд неся вперед в неведомом направлении, на север, точнее, на северо-восток, куда ведут в конце концов все маршруты, к средоточию государства. Оттого получается, что, сколько бы вы ни ехали, сколько ни продремали, качаясь в такт стучащим колесам, видя во сне, как вы едете, — пять ли, десять часов или целые сутки, — всё это будет лишь предварением, лишь началом пути, и навстречу вам всё так же будут лететь лесные и снежные, и разбухшие под дождями, и подсвеченные темным, как охра, солнцем, и облитые лунным оловом, никем не меренные пространства. Так велика, так обширна наша Россия, и всё неотвязней, глубже и неотвратимей тянет и засасывает вас.

Начальник поезда сидел в купе первого вагона у окна за крошечным столиком, в розовом полумраке. Занавески были задернуты. И чай колыхался в стакане. Выслушав доклад контролера, начальник задумчиво взялся за ручку подстаканника, придерживая пальцем ложечку, отхлебнул и обжегся. Был задан вопрос, которого я ждал.

«У меня его... — пробормотал я и хотел сказать: украли, — у меня нет с собой. Сдал на прописку».

«На прописку? — переспросил начальник поезда, глядя на меня усталым взором, и было ясно, что он не верит мне ни на грош. — Куда ж вы теперь едете?»

«Туда и еду».

«Как же вы сдали паспорт, прежде чем приехать?»

«Куда?» — спросил я.

«Туда, куда вы едете», — сказал он, показывая на мой билет.

Контролер вмешался в разговор:

«Я думаю, надо бы товарища сдать в отделение на ближайшей станции. Там выяснят».

«Сдать бы надо», — промолвил начальник поезда и стал с большой осторожностью пить чай. Поезд качался и громыхал на стыках.

«Ладно, — сказал начальник. — Ссади его, а там пускай сам разбирается».

Следующая остановка носила имя, упомянутое в поучении Мономаха, и таким образом я очутился в N.

Тот, кто прочтет мои заметки (если допустить, что их кто-нибудь прочтет), догадается, почему, едва взявшись за перо, я испытываю тяжелые сомнения. Обстоятельства, о которых мне предстоит сообщить, относятся к недавнему, но уже полузабытому прошлому. Между тем пробудившийся с некоторых пор интерес к отечественному духовному наследию не миновал моего учителя. Едва только это имя

стало известно общественности, как его замарали грязные перья фельетонистов. В некоторых статьях были высказаны фантастические утверждения. Клубятся нелепые слухи. Неимоверному искажению — я бы сказал, поруганию — подверглось не только учение Фотиева, но и его судьба.

Читатель найдет здесь рассказ, который, как я надеюсь, рассеет многие заблуждения. Беру на себя смелость утверждать, что я один из немногих, кто знает правду о последних месяцах жизни незабвенного Кузьмича, как мы его ласково называли, вплоть до того дня, когда тело великого мыслителя было найдено на железнодорожных путях. Может быть, преступники рассчитывали скрыть своё злодеяние, бросив убитого на рельсы. Рядом сидел четвероногий друг, не сумевший его защитить...

Я не ищу оправданий. Мы все разделяем вину несчастного пса. Но больше, чем сознание того, что мы не уберегли учителя, меня угнетает другая мысль. Ужасная мысль: я начинаю думать, что, быть может, не так уж важно, в чьей руке оказался топор. Ибо речь идет — договорим всё до конца! — не только о жертве, речь идет о возмездии.

Возмездии? Кому и за что?

Оставим на время в стороне вопрос о том, кто спровадил Фотиева на тот свет, и спросим себя, *почему* он погиб. Потому ли, что стал добычей алчности? Запутался в сетях преступного мира? Весьма возможно, и с таким же успехом можно изобрести (и доказать) другие причины; можно указать на вероятного преступника, рукой которого, бесспорно, водили отнюдь не отвлеченные соображения. И всё-таки это была рука судьбы. Кого она избрала своим орудием — вопрос второстепенный. Тот, кто хочет спасти мир, должен погибнуть, ибо мир не хочет быть спасенным. Великое обольщение влечет за собой и жестокую кару. Скажу больше: подводя итог всему случившемуся, я начинаю подозревать, что в судьбе Кузьмы Кузьмича присутствует отблеск нашей общей судьбы, быть может, разгадка великого возмездия, постигшего наше отечество. Кто знает?

Блаженный Августин говорит о том, что наше существование содержит примесь несуществования. Такова суть бытия, и такова же природа истины: мы жаждем правды, мы хотим говорить правду, ничего, кроме правды, а меж тем выясняется, что правда лишь тогда соответствует истине, когда в ней содержится некоторая доля того, что не может быть названо правдой или по крайней мере не выглядит правдивым. Я сказал, что намерен положить конец измышлениям. Если, однако, читатель найдет в моем рассказе несуразности, если кое-что покажется ему не вполне правдоподобным, то пусть не думает, что причина этому — неуклюжее и недобросовестное перо современника.

Перо, быть может, и неуклюжее, да только всё дело в том, что сама действительность не отличается стройностью и безупречным правдоподобием. Нам приходится то и дело сталкиваться с вещами, о которых трудно с уверенностью сказать, что они произошли на самом деле, но нельзя поручиться и за то, что их не было.

Вот то, чем я хотел бы предварить — или заключить — мой гёсйт. Впрочем, еще два слова. Неисповедимыми путями дошел до меня дивный слух о том, что К. К. не погиб. Говорят, он сумел в последний момент ускользнуть. Говорят, что обезображенный труп принадлежал другому лицу, темному бродяге. Якобы перед тем, как покинуть наши места, Фотиев скрывался в деревне у некоего Митяя. Утверждали также, будто в монастырской библиотеке хранился план катакомб, простигающихся на многие километры, и что будто бы Фотиев завладел этим планом. Народное воображение присоединило к этим домыслам басню о том, что Фотиев сошел в ад. Наконец, меня уверяли, что он сам распустил слух о своей смерти, а на самом деле живет где-то далеко и учит других, и совершенствует своё учение. Здравый смысл запрещает верить легендам, но как хочется в них верить!

## II

*Прибытие. — Первые впечатления. — Дуэт Лариной и няни. — Проблематика заполнения анкет — Счастливое водворение и отход ко сну.*

В сумерках подплыл перрон. У меня были основания опасаться подвоха, например, меня могла встретить милиция, предупрежденная по какому-нибудь дорожному телеграфу. Начальник поезда мог предупредить, контролер мог сойти вместе со мной, и вообще я не знал, какие у них планы. Не дожидаясь, когда вагон остановится, я спрыгнул с чемоданом, упал на скользкой платформе, но, к счастью, не расшибся. Проводник смотрел на меня из темного тамбура. Кроме меня, никто не сошел с поезда. Никто не ждал на полуосвещенной платформе. Лишь впереди, у почтового вагона, фигура в железнодорожном зипуне, подняв диск, рисовалась на перламутровом небе. Раздался свисток, тяжелый вздох локомотива, задумчивое лицо контролера медленно поехало прочь, и три огня, два красных и один белый, растворились в тумане. Итак, я прибыл.

Когда-нибудь я напишу о томительном чувстве, которое вызывал у меня в былые времена вид тускло поблескивающих рельсов, о тоске пустынных станций, о ржавых и скользких железнодорожных сортирах, где не знаешь, куда поставить свой чемодан. Подойдя к зданию вокзала,

я прочел над входом название города, одно из тех архаических наименований, о которых думают, что они давно исчезли. Зал ожидания был пуст; голые стены, потеки в углах. Изрезанная и исцарапанная скамейка, окошечко для продажи билетов и расписание поездов, которое я принялся изучать, напоминали десятки других станций. Как вдруг дунновение судьбы коснулось моих щек, это был сквозняк, дверь не закрывалась. Я подумал: а какого хрена? Родственники знакомых в другом таком же, абсолютно чужом городе должны были помочь мне подыскать жилье. Люди, которых я никогда не видел. Зачем я им?

Неизвестно, какое время показывали вокзальные часы, местное или московское, и даже трудно было с уверенностью сказать, какое было время суток. Светало или, наоборот, темнело. Камера хранения была закрыта. Городок, куда вела воздвигнутая над путями узкая эстакада, потонул в вешних сумерках: казалось, одинокая станция плыла посреди туманных далей, похожих на равнину моего сна. Молчание заброшенного края, ширь небес, тишина и счастье быть ничьим наполнили мою душу целебным покоем; нищий, дремавший у стены перед пустой своей шапкой, с подветренной стороны, где не было снега, привел меня в умиление. Я бросил монетку и услышал в ответ старомодную формулу благодарности: провинция встречала меня со скромным достоинством, приветствовала дружелюбным кивком, благим предзнаменованием.

Мысленно я произносил похвальное слово старинным, вросшим в землю, словно грибки, северо-восточным полутородам-полудеревням, чье растительное прошлое трудно назвать историческим — скорей оно вегетировало рядом с историей — и чье начало всегда одно и то же: некто заблудился и нашел под вязом чудотворную икону, некто удостоился видения и дал обет основать монастырь, некто повстречал нищего старца, щедро подал ему и был вознагражден сторицей; городам с тихими улочками, не настолько крупным, чтобы чувствовать себя под угрозой выселения, но и не таким уж малолюдным, чтобы каждый прохожий мог тебя узнать. Как раз на такой улочке я очутился, переехав мост через реку, уже свободную от льда, сойдя и свернув за угол в переулок. Он назывался улицей Александра Невского.

Итак, здесь даже был трамвай, правда, без номера; очевидно, единственная линия. Сумерки или особая планировка были виной тому, что я попал на окраину; чему, впрочем, был рад. Возможно, весь город состоял из окраин.

Люди моего сорта всегда готовы встретить худшее и загодя обдумывают путь отступления, но тут происходило что-то особенное, я забылся и размечтался. Предчувствие, что я обрету здесь убежище, осенило меня, и, не стану скрывать, не последнее место в этих мечтах занима-

ла женщина. И тотчас я увидел её в серебряных сумерках: она шла вдоль канавы навстречу мне, кутаясь в вязаный платок, не очень молодая и, должно быть, не слишком разговорчивая. У неё были широкие бедра, тонкие волосы, неуловимые черты лица; я замедлил шаг, но она перешла по мосткам на другую сторону улицы и пропала. Между тем из-за цветочных горшков за мной наблюдала пожилая простоволосая тетка неопределенных лет. Я приблизился. Она приоткрыла окошко, оттуда донеслось кошачье пение, это было радио или граммофон. Не сдастся ли где-нибудь, спросил я, прочистив голос, не сдастся ли?..

«А вы кто такой будете?»

Я ответил, не отвечая прямо на вопрос, что хотел бы поселиться постоянно, хозяйка продолжала меня допрашивать: в таких случаях вы всегда становитесь объектом любознательности, которая должна быть удовлетворена, прежде чем вы услышите окончательное «нет».

«У нас тут никто не пускает».

Так я и знал — и взялся за чемодан.

«Погодь, — сказала она, — вон на той стороне у Лукьяновых вроде бы жильцы снимали. Скажи, тетя Лёля послала».

Я пошел к Лукьяновым; это была хибара в три окна. Выглянул старик или, вернее, старуха.

«Чего ж она людей даром гоняет. Нет у нас никаких комнат».

В дальнем конце переулка зажегся фонарь, и от этого улица сделалась глуше, темней и длинней. Снег недавно стаял. Боясь поскользнуться, я пробирался по обочине канавы, рядом с тусклой тропой, по черной клочковатой траве. Чемодан измучил меня. Ночь опускалась на город, небо очистилось и пылало металлическим темно-голубым огнем, стекла приземистых домов блестели, как олово.

Взойдя на крыльцо дома, который указала мне старуха Лукьянова, я долго стучался, потом оказалось, что дверь не заперта. Я окликнул хозяев, никто не отозвался. Так, блуждая от дома к дому, я в конце концов оказался вновь перед домом тети Лёли.

Радио пело из «Евгения Онегина»: «Корсет, альбом, княжну Полину, стихшков чувствительных тетрадь. Я всё забыла! Стала звать Акулькой прежнюю Селину».

«Вот народ, — сказала хозяйка. — Ведь пускали же, сама знаю... Вообще-то есть у меня одна комнатка. Только надо подождать».

Должна была съехать некая жиличка.

«И обновила наконец... Мой муж меня любил сердечно».

«Да, барин вас любил сердечно», — подтвердила няня.

Я стоял перед домом, хозяйка глядела на меня из-за цветов.

«А сколько ждать?»

«Денька через четыре заходи».

Какая разница? Не одна дыра, так другая. Я рассудил, что смогу переночевать на вокзале и утром уехать. Зачем вздыхать? Когда счастливо... С запада, со стороны реки, опять наплывали тучи, я укрылся под козырьком продуктового магазина, преследуемый музыкой, точно компания мурлыкающих кошек с розовыми бантиками на шее переселилась в мой мозг. И всё ниже и ниже, урча от самодовольства: «...мой дни юные текут. Я своенравна и шаловлива. Меня-я ребенком все зовут!» Сам того не замечая, я громко пел. Стало накрапывать.

Магазин был заперт на замок. Видимо, и транспорт уже не работал. Вдоль трамвайных путей я добрел до поворота и оглянулся; тусклые огоньки догоняли меня. Я бросился стремглав обратно, тем временем трамвай успел миновать остановку, я забросил чемодан на площадку второго вагона, схватился за поручни, ноги мои волочились по щебню, трамвай затормозил. Вагон был пуст, гремел и качался, вскоре громыхание сменилось плавным повизгиванием колес, трамвай шел по мосту. Кондукторша в теплом платке, в форменной шинели стояла передо мной, протягивая, словно за подающим, руку в вязаной перчатке с обрезанными пальцами, большим и указательным, чтобы удобно было пересчитывать мелочь. Сунув мне два билетика, она пошла к своему месту, расставляя ноги, как матрос на палубе корабля. Новая мысль пришла мне в голову; я раздумал возвращаться на вокзал.

Кондукторша смотрела в окошко, дергала за веревку, никто не ждал на остановках, не видно было прохожих, в полутьме мы ехали за вихляющим, тускло освещенным передним вагоном по неизвестным улицам. Дождь струился по стеклам. Некоторое время спустя она указала мне на вывеску, трамвай пошатнулся и стал.

Никогда и нигде, ни в одном городе нашего государства нет и не было свободных мест в гостинице, словно в этих учреждениях проживали вместо людей статуи; вряд ли кто и решается туда соваться. Мой проект был скромнее, я надеялся провести ночь в вестибюле, всё лучше, чем на скамье в холодном зале ожидания. В отчаянии я бил ладошью в косяк, стучал костяшками пальцев по темному дверному стеклу, а вокруг бесновался дождь.

Верьте, о, верьте человеку, знающему жизнь: ничто на свете не происходит случайно. Существует закон судьбы. Вы стучитесь в запертые двери, а она ждет, когда вам надоеет; и чем дольше вы упорствуете, чем дольше колотитесь головой об стену, тем дольше она ждет. А когда, наконец, вы поворачиваетесь, чтобы плюнуть и уйти, она хлопает вас по плечу. Я стоял на выщербленной площадке, подобной скалистому островку среди хулиганских стихий, соображая, как перебраться через воды, и в эту минуту дверь отворилась.

Полумертвый от усталости, я ввалился с чемоданом в вестибюль. Заспанная тетка прошлепала в темноте к своему месту за стеклянной перегородкой, зажгла настольную лампу. Обнаружился тесный вестибюль, пальма в кадке и два продавленных кресла. Я сказал, что хотел бы пробыть до утра. Может быть, и подольше.

«Как это: может быть? Вы что, сами не знаете?»

Я пожал плечами.

«Документ».

Вот оно, сказал я себе, с этого надо было начинать. Мне представились глухие улицы, разливы ртути под тусклыми фонарями. Я увидел снова мост-эстакаду, мерцающие железнодорожные пути и крыши товарных вагонов. С этого надо было начать, чтобы этим и кончить. Держа в руках мой паспорт, администраторша разглядывала меня с тем же выражением, которое было на лице у девы-львицы Сфинкс, когда она проверяла документы Эдипа. Я услышал тяжелый вздох.

«Так как же?» — спросила она, разворачивая толстую книгу, возвращая мне мою книжечку.

«Если нет мест, — пробормотал я, — то, может быть...»

«Есть места, — сказала она. — Сколько пробудете?»

«Ну давайте на сутки», — произнес я или, лучше сказать, тот, кто, в отличие от меня, был способен поверить в удачу, после чего администраторша отвела меня в номер, где помещались четыре койки; на одной спал у окна постоялец, накрывшись с головой одеялом, поверх которого было наброшено пальто. Я последовал его примеру.

Вновь и вновь ищешь перекресток, на котором тебя выследила и совершила судьба, гнусный сводник, сутенер. Видит Бог, я не виноват! Я всего лишь очевидец. Если бы я не решил попытать счастья в гостинице, утренний поезд увез бы меня из города. Уехав, я ничего бы не знал о том, с кем предстояло мне подружиться. Случилось бы с ним то, что случилось? Можно ли утверждать, что событий не было бы, если бы не было летописца? Вопреки всякой логике, наперекор здравому смыслу внутренний голос твердит мне, что, не оказавшись я в городе, ничего бы не произошло.

Вопрос о ночлеге, как уже сказано, был решен, теперь нам придется вернуться к той счастливой — как тогда мне казалось — минуте, когда администраторша, не сказав ни слова, возвратила мне паспорт. Я попросил разрешения зажечь свет в вестибюле и углубился в чтение анкеты.

Можно было бы сказать: с радостью приступил к заполнению анкеты, если бы не суеверие, о котором я уже упомянул, не разрешающее

доверять кокетству судьбы. В графе «Цель приезда» я написал: «Посещение родственников». Конечно, меня тотчас же могли спросить, а кто эти родственники: фамилия, адрес. На что я ответил бы, что адрес мне неизвестен, я именно с тем и прибыл, чтобы их разыскать. Проверить фамилию, разумеется, не составляло труда, но в любом случае я выигрывал время. Заполнение анкет есть особого рода искусство, в котором нельзя достичь совершенства. Всё же я кое в чем преуспел и могу поделиться опытом. Не приходится сомневаться в том, что люди, способные добиться успеха в жизни, обязаны этим не чему иному, как умению предугадывать намерения вышестоящих инстанций. Никакая анкета не заполняется просто так, необдуманно и с соблюдением всей правды; ни одна анкета, если вдуматься, на это и не рассчитана. Заполняя анкету, вы должны, как в шахматах, предусмотреть дальнейшую игру на несколько ходов вперед.

Я знал, что бумага, лежащая передо мной, скрывает систему ловушек, в этом, собственно, и состоит смысл всех анкет. Существуют скрытые соответствия, тайное перемигивание далеко отстоящих друг от друга граф. Разные пункты отчасти дополняют друг друга, отчасти же — в этом и заключается подвох — друг другу противоречат. Производя операции, сходные с математическими действиями, можно получить нуль или даже отрицательное число, другими словами, разоблачить носителя неполноценных анкетных данных. В пункте «Документы, подтверждающие цель приезда» я вообще ничего не написал: иногда — в отличие от шахмат — лучше совсем не делать хода.

Всё это время призрак администраторши маячил за полупрозрачным стеклом. Мельком взглянув на анкету, она не стала утруждать себя чтением и даже, что было еще приятней, ни словом не обмолвилась о прописке. Мы двинулись в путь. На ней был синий халат, какие носят уборщицы в канцеляриях, заведующие детских садов и распорядители разного рода приютов, — не была ли и эта гостиница странноприимным домом? Вместе мы поднялись по скрипучей лестнице: она впереди в домашних шлепанцах, я за ней с чемоданом. В конце длинного перехода ступеньки снова вели вниз, в другой коридор. Здесь легко было заблудиться, чему способствовало скудное освещение, а также то, что гостиница служила для разных целей; мы проходили мимо дверей с табличками, с фамилиями начальников и заместителей, мимо чуланов и темных кухонь, где висело бельё. Она объяснила, что приходится идти круглым путем. «Второй год ремонтируют, и конца не видно». В самом деле, мы пробирались по настилам из досок, по замызганным коридорам, обходя носилки с засохшим цементом и козлы маляров. Наконец она вынула из кармана ключ и отперла комнату, где, как я уже говорил, находился еще один жилец.



### III

*Рациональная теория сновидений. — Попытки выбраться из гостиницы. — Этнографические наблюдения. — Обмен мнениями со старшим лейтенантом. — Грезы в послеполуночный час.*

Под утро привиделся мне пуганый эротический сон. Тепло постели после дней и ночей, проведенных в дороге, ублажило тело и развязало язык тайнам души. Но узнать о них мы можем только на полпути между сном и явью. Мне казалось, что я уже бодрствую, между тем как образы сна всё еще мелькали в закоулках мозга, словно шкодливые дети за углами коридоров, но и это сравнение само по себе было сном: дети-карлики, дети-уроды шныряли вверх и вниз по лестницам, ползали под деревянными настилами, заляпанными известкой, и совокуплялись с ленивыми женщинами. Дети — это был я сам. Я чувствовал, что у меня мало времени, так как вот-вот проснусь.

Я лежал в светлом номере напротив пустой койки соседа, точно снова родился, и мне чудилось, что я вижу свои широко открытые, ошеломленные глаза, в которых отражалось голубое небо за окном. Мой чемодан, засунутый под кровать, был на месте. Снаружи не доносилось ни единого звука. Я нашел в конце коридора уборную и умывальник. Похоже было, что я один на всем этаже. Нужно было незаметно выскользнуть из гостиницы. Я был принужден считаться с возможностью того, что меня немедленно выставят, в противном случае должен был встать вопрос о прописке. Проживание в гостиницах всегда подозрительно, и не зря администрация предпочитает, чтобы в гостинице находилось как можно меньше людей. Человек, прописанный в данном городе, не имеет права жить в гостинице, это означало бы, что он прячется или занимается развратом. Человек, приехавший издалека, должен предъявить командировочное удостоверение. Но и оно не внушает доверия, ибо тот, кто прибыл по серьезной государственной надобности, не будет останавливаться в рядовой неведомственной гостинице. И, наконец, в любом случае слишком продолжительное пребывание в гостинице наводит на мысль о нетрудовых доходах.

Вывод: в гостинице нужно проживать, официально не проживая. Жить и в то же время как бы не жить.

Мысли об этом занимали меня, в то время как я заканчивал свой туалет. В сущности, следовало преподнести что-нибудь тетке в синем халате: коробку конфет, дешевые духи, но разве я не сказал себе, что не стану задерживаться в этом городишке? Поболтаться по улицам, перекусить — и adieu.

На цыпочках я продвигался из одного коридора в другой, спустился на первый этаж, дверь, выходящая на задворки, к сожалению, оказалась запертой. Пока я соображал, куда податься, снаружи раздались шаги, заскрежетал ключ, вошел рабочий. Это дало мне возможность выскользнуть на крыльцо. Двор был завален строительными обломками, бочками из-под известки. Прыгая по доскам, обходя лужи, я добрался до ворот. Ворота были закрыты.

Следовало подумать о том, что сказать администраторше, если она остановит меня в вестибюле, между тем ноги сами собой вознесли меня на штабель; отсюда поверх забора можно было обозреть переулок. Я, однако, рисковал быть замеченным из окон гостиницы. Спрыгнув с досок, я снова толкнулся в ворота, створы слегка подались, снаружи качался и гремел замок. Мне пришло в голову, что рабочий запер за собой дверь; я оказался в глупом положении. Мания предугадывать козни противника, все эти шахматные ходы и профилактические маневры — не навязаны ли они мне моим воображением? В конце концов я мог, забрав чемодан, спокойно покинуть гостиницу. Но я не мог туда вернуться. Почти непроизвольно я потянул створы ворот к себе, и вдруг, словно согласившись с моими доводами, ворота открылись.

В эту минуту послышалась дробь игрушечного барабана, звук трубы огласил тихую улочку. Выступил отряд пионеров со знаменем. Вожатая в красном галстуке и короткой юбке шагала рядом, не спуская глаз с марширующих. Что-то не ладилось в их движении. Знаменосец не справлялся со своими обязанностями, барабанщик бил в барабан, несмотря на то, что шествие остановилось. Дети топтались на месте, слышался распорядительный голос вожатой. Видимо, они собирались повернуть раньше, чем следовало. Мало-помалу порядок был восстановлен. Вновь затрещал барабан, слепой горнист вознес свой инструмент, блеснувший на солнце. Раздался жестяной звук. Отряд зашагал по направлению к главной улице. Я пропустил их, стоя у ворот: процессия детей-инвалидов, должно быть, питомцев какого-нибудь интерната, поразила меня неожиданным сходством с моим сном.

Мысленно напевая: «Зачем вздыхать, когда счастливо мои дни юные текут?», махая руками, я замаршировал вслед за жестяной трубой куда глаза глядят.

Отрицание может говорить больше любых утверждений, подобно тому, как истина о Творце доступна, быть может, лишь апофатическому богословию; так и о городе, куда я попал, легче было сказать, чем

он не был, нежели чем он был. Город принадлежал к той распространенной в нашем отечестве разновидности, которую можно определить словами «между тем-то и тем-то», «ни то ни сё». Климат этой части страны ни слишком суров, ни чересчур мягок; весна наступает не рано, но и не поздно.

Тусклое солнце неохотно встало над крышами. От мостовой валил пар. Люди не то чтобы торопились, но брели по своим делам, топтались на углах, побрякивали и помалкивали, стоя друг перед другом. Из окон глядели на улицу бабьи лица. Как и во всем этом крае, принадлежащем сразу двум частям света, а лучше сказать, ни той, ни другой, люди в городе N не вполне могли считаться европейцами, но, конечно, не были и азиатами: женщины с крупными спокойными лицами, с мягкими расплывающимися чертами, мужчины с характерным выражением иронической неприязни посматривали на вас, точно хотели сказать: «Нас не проведешь». «Не на таковского напал!»

Здесь обитала грибная раса, не худшая из человеческих рас и племен. Город был ни велик, ни мал. Блуждая по улочкам, сходя к оврагам, где под кустами блестела вода, переправившись по мосткам и снова шагая по переулку двухэтажных домов, внизу каменных, сверху деревянных, мимо колодцев, скворечников, сугробов черного снега, штабелей березовых дров, мимо сморщенных старушечьих лиц между цветами в низких окошках, вы могли подумать, что очутились в уездном городишке, каким он был сто пятьдесят лет тому назад. Как вдруг за рядами полуизб выставились грязно-белые многоэтажные блоки, на балконах сушились коврики и ржавели велосипеды. Здесь больше не было улиц, дворов, заборов и огородов.

Наугад вы прокладывали себе путь между сараями, обходили по мойки и склоняли голову под веревками с бельем. Между тем на главной улице уже наступило лето. Вам навстречу, настырно звеня и вздымая облако пыли, неся старый трамвай. Вы плелись мимо учреждений, мимо дома культуры и решетки городского сада и косились на посеревший алебастровый бюст, огражденный декоративными цепями, этот бюст был как бы уже памятником самому себе. Вам казалось, что вы подглядели то, что совершалось здесь в течение многих столетий: процесс забвения, который был не чем иным, как процессом пищеварения. Город перетирал беззубыми челюстями, глотал и переваривал историю и в конце концов подчинял всё вторгавшееся извне своей собственной природе. Каждые двести лет он погибал в огне или под градом снарядов, но, в сущности, был бессмертен, как некоторые организмы, способные регенерировать из ничтожных остатков, как

гигантский подорожник, который чем больше его топчут, тем упорней раскидывает по земле свои пыльные листья. Город, как женщина, всё превращал в быт.

Но в таких-то вот городках, уверяю вас, обитают святые безумцы и, как Циолковский в Калуге, блуждая по тусклым улицам, разбегаясь ногами и теряя калоши в грязи, грезят о небывалом будущем.

Некоторое время спустя я поравнялся с низким мутным окошком на уровне тротуара, и ноздри мои расширились, и глаза приковались к жужжащему вентилятору, и я почувствовал, как мой взор потускнел, и внезапное головокружение пошатнуло передо мной Божий мир.

Ветер рая! Жаркий дух бараньего рагу, костей, облитых золотисто-бурой подливкой! Запах хлебного мякиша, которым выгребают остатки жижи и промакивают кружочки жира на краях тарелки с казенным клеймом.

Первые впечатления навсегда врезаются в память, но отсюда вовсе не следует, что я непременно усматривал в них тайный предостерегающий смысл. Все мои размышления о городе и горожанах можно было бы заменить одной фразой: город был как город. Столовая была как все столовые, и ведомство, коему она принадлежала, было не хуже других ведомств и контор. В подвальной комнатке, куда сходили по ступенькам, за стеклом на высоком стуле помещалась пожилая золотоволосая кассирша, напротив перед гардеробом восседал картинный швейцар в форменном халате, с седыми пушистыми усами отставного подполковника.

Из зала выходили утомленные едоки, высасывая из зубов остатки пищи, левая рука в кармане галифе. Старец усердно подавал шнели, опускал чаевые в карман синего халата. У этих людей зоркий взгляд.

Можно было бы написать целое руководство о том, как надлежит вести себя в учреждениях общественного блага, а паче всего избегать мест, куда не положено соваться. Следовало обратить внимание на усы, которые в наших местах имеют огромное социальное, служебное и политическое значение. Но в мозгу у меня произошло короткое замыкание, я находился в сфере влияния злой планеты, ведающей пищеварительным трактом и ответственной за импульсивные поступки, насилие и бунт. «Как это не положено?» — спросил я с неопишым, какого сам не ожидал от себя, высокомерием.

«А вот так, не положено», — мягко сказал подполковник и сделал движение рукой в направлении к выходу.

«Я спрашиваю: что значит?..»

«А вот то и значит. Давай отсюда».

Сердце моё колыхалось тяжкими толчками, я проговорил, с трудом сдерживаясь:

«Где у вас заведующий? Я хочу поговорить с заведующим».

«Гражданин, — вмешалась кассирша, — вам же объяснили».

Мне удалось справиться с собой, но не вполне, а главное, ненадолго. Медленными, недобрыми шагами я приблизился к окошку и заказал борщ со сметаной, рагу из костей и компот.

Проклятая кассирша не шевельнулась.

Я повторил свой заказ.

«Без пропуска не выбиваем», — отчеканила она.

«И четыре куска хлеба, — добавил я. — Два белого, два черного».

«Василий Степаныч, милицию вызвать, что ли?..»

«Давай, давай...» — приговаривал пышноусый старец, обхватив меня сзади.

«Не смей! Не смей меня трогать! Я хочу говорить с заведующим! Где заведующий?»

Уже не испытывая ни страха, ни голода, в каком-то упоении, в восторге я выкрикивал бессвязные слова:

«Сволочи! Устроились тут!.. В вашей провинциальной дыре! Я вас всех, гадов, всю вашу шайку-лейку... На чистую воду! Вы еще меня помните!»

«Это кто тут разорался? — сказал голос сзади меня. — Ты кто такой будешь?»

«Товарищ старший лейтенант...» — швейцар объяснял выходящему из зала посетителю, в чем дело. Сзади толпились другие. Кассирша советовала вызвать милицию.

Воин промолвил:

«Обойдемся без милиции. Ну-ка, в сторонку».

Я прохрипел:

«Только попробуй! Только попробуй тронуть! Сволочи, кругом блат...»

«Чего?» — сказал он, прищурясь.

Кассирша выпрыгнула из своего закутка и растворила дверь, офицер вытащил руку из галифе, согнул крючком, после чего я повалился на ступени, был вытаскен наверх и выставлен напоказ народу. То есть произошло лучшее из того, что могло произойти.

Я благодарен старшему лейтенанту, усатому церберу и кассирше, я благодарен толпе, собравшейся снаружи: мне сунули шапку, слышались рассудительные реплики:

«Ишь нашелся. Этак каждый захочет!».

«Небось не маленький, сам должен понимать...»

«Много вас тут шляется...»

«Не в свои сани...»

«Не в свои оглобли...»

«Шустрый нашелся. Этак каждый...»

Кто-то резюмировал происшедшее, повторив мною уже сформулированную мысль:

«Пускай спасибо скажет, что просто вытолкали».

Святая правда.

И вот вы удаляетесь под рокот народного неодобрения, бредете по переулку, вы всё еще огрызаетесь, вас всё еще не научила жизнь, вы еще не оправились от испуга. Перед вами маячат усы, в вашей безумной полутшибленной памяти мешаются грозные окрики, планы мщения, администраторша, пионерская труба, вагоны железной дороги, неопределенные надежды и сны; шатким шагом, злобно косясь по сторонам, вы выходите на пустынную набережную, и внезапно, о чудо, суета города отлетает прочь, тяжесть постыдного инцидента сваливается, как грязь с подошв, голода как не бывало: перед вами — простор. Справа был виден мост, по которому ехал я ночью. Берег в этой части города был довольно крут и даже одет камнем, вдоль низкой ограды шел тротуар и ряд подрезанных, нагих и колючих деревьев. Низкий противоположный берег казался песчаным, там виднелись деревянные одноэтажные дома и старинная вилла с башенкой. Приглядевшись к воде, зеленовато-молочной близ берега, серой и серебристой вдаль, вы могли заметить её движение, но трудно было решить, в какую сторону течет река. Далее за мостом зеркало вод раздваивалось, это был впадавший в неё приток. Всё было плоско, открыто, тихо и матово отсвечивало под перламутровым небом, и там, на пустынном мысе, с двух сторон омываемый оловянными водами, стоял далекий белый монастырь.

Делать было нечего, я упал на скамейку и в счастливом изнеможении, в трансе созерцал всю эту пустоту и красоту. В ушах звенело, и странные мысли, как отсветы бледного пламени, плясали в голове. Я лежал на дне лодки, меня уносила река. Мне казалось, что я постигаю смысл моей постылой жизни. Некоторое время спустя чья-то рука протянулась ко мне из воды, я спросил, в чем дело, и поплыл дальше. Но человек не унимался и тряс меня за плечо.

«Гражданин, — сказал он, — здесь спать не положено».

«Я случайно... извините, — пробормотал я, — сейчас уйду».

Это был милиционер, но, кажется, уже вышедший на пенсию, в потрепанной шинели без погон. Я встал и пошел прочь нарочито медленным шагом, назначив себе целью дощатый павильон, что-то вроде лодочной станции, заколоченной на зиму, а там бегом в переулок.

«Гражданин! — сказал он, повысив голос. Я остановился. — Гражданин, вернитесь».

«Что такое?» — спросил я, оборачиваясь. «Вы оставили чемодан». «Это не мой», — сказал я. «А чей же?» «Я не знаю». «Кто же знает?» — спросил он. В этот момент я проснулся. Меня в самом деле трясли за плечо.

«Вам плохо?»

Нет, подумал я. Разве только побаливала челюсть от искусного профессионального удара, которым угостил меня старший лейтенант.

«Может, вызвать неотложку?»

Я спросил:

«А сколько сейчас времени?»

«Четверть второго, — промолвил он, посмотрев на часы. — Может, всё-таки вызвать вам неотложку?»

«Нет, нет. Пожалуйста, не надо. — К этому времени я окончательно пришел в себя и даже находился в превосходном расположении духа. Старый человек, не милиция, а просто пенсионер, с палкой, в потертом пальто и толстых очках, за которыми стояли огромные блеклые глаза, наклонился надо мной. А впереди расстилалась гладь реки. — В этом, поверьте, нет необходимости».

«Ради Бога, я ничего такого не думаю. Мне показалось, что вы нуждаетесь в медицинской помощи. Кстати, неплохо бы удостовериться: не пропало ли у вас чего-нибудь».

Только теперь я обнаружил пропажу.

«Чемодан, — сказал я с ужасом. — У меня был чемодан».

«Успокойтесь. Чемодан в гостинице».

«В гостинице? — удивился я. — В самом деле... Представьте себе: я совершенно забыл».

«Я хотел сказать: не обокрали ли вас? Народ, знаете ли, бывает всякий».

«Вы правы. Видите ли, — проговорил я, ощупывая карманы, — я, видимо, просто давно не ел. Сейчас пойду пообедаю».

«Вот как», — сказал он насмешливо.

«Я только вчера приехал, — объяснил я. — А, кстати, где лодка?»

«Уплыла, — сказал он. — Откуда же вы приехали?»

«Как вам сказать? Не то чтобы очень издалека. Короче говоря...»

«Позвольте вас спросить. Не сочтите за навязчивость. Вы кто, собственно, будете?»

«А мне хотелось, — сказал я, — задать тот же вопрос вам».

«Э, нет. Сначала ответьте вы».

«Почему?»

«Потому что я спросил первым».

«Кто я такой? Если бы вы мне могли ответить, кто я такой, я бы вам, знаете... заплатил сто рублей».

«А у тебя они есть?» — спросил он и растаял в воздухе.

И всё так же матово отсвечивала и едва заметно волновалась перед моими глазами ширь безымянной реки, и белела на дальнем мысе колокольня монастыря. Надо было возвращаться в гостиницу или, вернее, надо было как можно дольше не возвращаться. Город мне нравился, и в душе моей шевелилось легкое сожаление о том, что мне предстоит его покинуть. Я не знал, кто я такой, но восхитительное сознание значительности всего, о чем бы я ни подумал, не покидало меня; мне казалось, что я в самом деле ощутил какое-то подобие смысла жизни, причем не собственной моей жизни, не моего отдельного существования, — взятое само по себе, оно значило не больше, чем жизнь насекомого, которое спешит переползти дорогу, пока его не раздавила чья-то подошва, — не моего, но общего бытия, частичкой которого я был. Думаю, что я разделял это убеждение с большинством моих соотечественников. Смысл бытия — это было нечто лишаящее всяких надежд и вместе с тем воодушевляющее. Смысл бытия — это означало: хотя жизнь каждого из нас сама по себе бессмысленна и хаотична, мы все погружены в нечто неоспоримое, нечто высшее, неспешно и незаметно струящееся к дальней цели. Я смотрел на реку и думал: если совокупность наших судеб имеет какую-нибудь ценность, то лишь с точки зрения этого высшего смысла и в виду этой отдаленной цели; как государство не может принести себя в жертву отдельному человеку, но требует от человека, чтобы он сознательно слился с ним и пожертвовал собой ради него, так и смысл бытия не может раздробиться на тысячи частиц.

## **Истина. Трактат о Великом магистерии**

*Некто приехавший в незнакомый город не знал, как ему добраться до места назначения; денег у него было немного, он решил воспользоваться городским транспортом; смеркалось, шёл снег, на вокзальной площади зажглись фонари; он увидел трамвайную остановку, подошёл к вагоновожатому и спросил, с трудом подбирая слова чужого языка, как доехать до *Plata de veritat*. Вы, наверное, имеете в виду *Plaasa d'feritaat*? — сказал водитель и принялся объяснять. Оказалось, что добираться надо тремя трамваями и поездка займёт, не считая ожидания на остановках, не меньше часа. Разве город так велик? — спросил приезжий. Не так чтобы уж очень, ответил вагоновожатый, но всё-таки. Путешественник увидел остановку автобуса. Вам, наверное, до *Plaizza ed veritaa*, поправил его*



шофёр. Можете доехать. Но придётся сделать несколько пересадок. Приезжий посмотрел на тёмное небо, откуда хлопьями валил снег. Может быть, в городе есть метро? А как же, сказал шофёр автобуса, — вон там на углу.

Приезжий сошёл по ступенькам вниз и убедился, что в городе имеется огромная сеть подземных дорог. Он подошёл к большому щиту и после долгих поисков нашёл нужную остановку. Было уже довольно поздно, на разговоры с водителем трамвая и шофёром автобуса ушло слишком много времени. Усевшись у окна, гость поставил чемодан между ног, устроился поудобнее и мгновенно уснул под мерный стук колёс. Проснувшись, он увидел, что сидит один в пустом вагоне, поезд нёсся в чёрном туннеле. Несколько времени спустя достигли конечной станции, приезжий вышел и, миновав длинный, скудно освещённый переход, поглядывая на обрывки плакатов и стрелы направлений, сошёл по лестнице и оказался на другом перроне. Здесь тоже свет горел вполнакала, в этот час городские власти экономили электричество. Подошёл полутёмный состав, и опять путешественник качался в гремящем вагоне, поглядывал на чёрные отсыревшие стены туннеля, видел тёмные фигуры дорожных рабочих, читал названия станций и прикидывал, сколько осталось до конечной остановки. Выйдя, он спустился по эскалатору ещё ниже, дождался нового поезда и ровно в полночь прибыл на станцию с названием, которое более или менее соответствовало — с поправкой на местный акцент — наименованию нужной ему площади.

Но когда он выбрался с чемоданом наружу, он увидел перед собой всё ту же вокзальную площадь; что за чёрт, подумал он. К счастью, снегопад прекратился. Последний трамвай ожидал запоздалых пассажиров. Гость подошёл к вагоновожатому, тот объяснил, что надо ехать тремя трамваями. Но вряд ли удастся поспеть на второй трамвай, не говоря уже о третьем. Приезжий поплёлся к автобусу; шофёр дремал, положив голову на руль. Шофёр повторил то, что сказал его напарник несколько часов тому назад. Впрочем, добавил он, посмотрев на часы, вы всё равно не успеете. Может быть, на метро? — в отчаянии спросил гость. Водитель автобуса покачал головой, метро уже закрылось.

Скиталец двинулся куда глаза глядят, половина фонарей на площади не горела, в полутьме, свернув в переулок, он споткнулся о чьи-то ноги. Это был нищий. Он сидел, прислонясь к стене дома, во всех окнах уже погасли огни. Приезжий рассыпался в извинениях. Ничего, успокоил его нищий, нам не привыкать. А ты кто будешь, спросил он. Приезжий сел на чемодан и рассказал о

своих злоключений. Надо было остаться в метро, я иногда там ночую, заметил нищий. Почему же ты сейчас не там? — спросил приезжий. Да вот, сказал нищий, задремал, а они тем временем уже закрылись. Зато познакомился с тобой. Нищий поглядел на иностранца и спросил: а тебе вообще-то куда надо? Приезжий молчал, и сиделец повторил свой вопрос по-французски. Ты знаешь французский язык, удивился гость. Нищий повторил то же по-английски. Я всё языки знаю, сказал он, оттого и сижу перед вокзалом. И с такой же лёгкостью, догадавшись по акценту гостя, перешёл на его родной язык. На радостях путешественник отвалил нищему щедрую милостыню.

Спасибо, ответил тот, я так и думал. — О чём ты думал? — Я так и знал, сказал нищий, что мы встретимся. Но ты не ответил: куда тебе надо?

Куда мне надо, повторил гость и вздохнул. Я теперь уж и сам не знаю. Я иду площадь Истины. Вот так здорово, сказал нищий, подобрал с тротуара бесформенную шляпу и поднялся сам. Площадь Истины — да ведь она тут перед тобой. И он протянул руку в сторону вокзала. Пошли, сказал он, покажу. Они подошли к гостинице «Великий магистерiuм», газовая вывеска светилась над подъездом. А ты? — спросил приезжий. Нет, отвечал собиратель подаяний, таких, как я, туда не пускают.

#### IV

*Следствие по делу о простыне. — Разоблачение недобросовестного свидетеля. — Вмешательство Бориса и Глеба. — Пир в честь моего прибытия. — Удачная контратака Алевтины.*

«Гражданин!»

Мерзкое слово, равнозначное окрику: стой, кто идет! Я попытался проскользнуть внутрь. Не тут-то было.

«Гражданин, — словно она видела меня в первый раз, — вы кто будете?»

Я пролепетал:

«Как это — кто? Я здесь живу».

Она покачала головой.

«Это кто ж это вам сказал, что вы тут живете? Вы пока еще тут не живете. Вот когда будете жить, тогда и будете шастать туда-сюда!»

«То есть как, позвольте».

Совершенно очевидно, что она имела в виду прописку. Вероятно, намекалось и на подарок. Я предпочел сделать вид, что не слышу намеков; пожав плечами, двинулся к лестнице, но администраторша преградила мне путь.

«Вас вызывают».

«Куда вызывают?»

«Вас вызывают в милицию».

«В милицию? — спросил я упавшим голосом. — По какому поводу?»

«Там узнаете», — сказала она и ушла к себе.

Итак, меня выслали из города, а может быть, мне грозило нечто худшее. Причина была достаточной: я жил без прописки. Попытки свалить вину на администрацию гостиницы, ссылки на то, что меня не предупредили, в этих случаях бесполезны. Равным образом не имело смысла отговариваться незнанием правил прописки: хотя эти правила никому не известны, такой человек, как я, должен был знать, что не имеет права проживать в городе, во всяком случае, обязан считаться с возможностью того, что не имеет на это права. Ибо нарушение закона влечет за собой кару не только в силу самого нарушения; я должен был явиться к властям, не дожидаясь, когда меня призовут к ответу. Сам обязан был осведомиться, не нарушил ли я закон, и удостовериться в том, что нарушил.

Рассуждая сам с собой в этом роде, я доплелся до отделения. Вахтерша в мундире, с вязаньем в руках, спросила документы, я начал было объяснять. Она показала пальцем, куда идти. Вдоль череды дверей, за которыми помещалось начальство разного калибра, я добрал до нужной таблички, там стояла очередь просителей, но оказалось, что они ждут другого начальника. Я постучался, ответа не было. Из кабинета доносились голоса. Я вошел. За столом под государственным портретом сидел начальник в капитанских погонах и пристально смотрел на меня из-за спины стоявшего перед ним человека.

«Фамилия, документы».

Я протянул паспорт.

«Когда прибыл? — спросил начальник, листая мой документ. — Проживаете в гостинице?»

Я не имел силы разомкнуть уста и только кивал головой. Посетитель, высокий, костлявый, мигавший вытекшим глазом мужик в драном ватнике, повернул ко мне голову, как бы беря сторону начальства: оба смотрели на меня, и получалось, что подозреваемым был не он, а я.

Капитан перевел взгляд на драного мужика.

«Ты его знаешь?»

«Как же, — отвечал одноглазый, — он там каждый Божий день ошивается».

«Я спрашиваю: ты сам, своими глазами его видел?»

«Своими глазами и видел. А то как же», — подтвердил одноглазый мужик.

Дар речи вернулся ко мне, я возразил:

«Где это я ошиваюсь?»

«Помолчите. Будете говорить, когда вас спросят, — промолвил начальник. Тем временем он переписывал что-то из паспорта в протокол допроса. — Вот видите, — проговорил он, поднимаясь из-за стола, — какая история. — Он выглянул в коридор. — Тося! Как там насчет?..»

Я взглянул на мужика в ватнике, он смотрел, не отрываясь, на меня, но не здоровым глазом, а вытекшим и мигал кустиками ресниц.

Вахтерша вошла с чаем.

«Свидетель показывает, что видел вас на рынке, — продолжил капитан, принимая от неё стакан. — Вы подозреваетесь в том, что, украв простыню, продали её на толкучке».

Простыня! Не могу передать, каким счастьем для меня было услышать эти слова. Каждый знает, что начальство не может заниматься двумя делами сразу, оно может расследовать только одно нарушение, остальные в этом случае его не интересуют. Осмелев, я спросил: «Какая простыня?»

«Обыкновенная; которую вы загнали».

Я возразил, что моя простыня лежит на месте в номере, хотите, справьтесь у администрации.

«Да не ваша, — с тоской сказал начальник, — а у соседа». Дело, таким образом, выяснилось просто: некто, ночевавший накануне в моем номере, исчез, прихватив казенную простыню. Как же этот кривой мужик мог меня видеть на рынке, спросил я, ежели я только приехал этой ночью?

«А это ты у него спроси», — сказал начальник.

«Врет он, я его вчера же видел. И на прошлой неделе видел. Он с безногими в домино играет».

«Кто, я?!»

«А кто же».

«Ах ты, сволочь», — сказал я.

«Тихо! — гаркнул капитан. — Попрошу соблюдать порядок. Отвечать, когда спрашивают. А то, понимаешь, начинают галдеть... Ну, а ты, — спросил он, — с ними тоже играешь?»

«Не, — сказал одноглазый. — Они меня выгнали».

«Так. Значит, говоришь, выгнали. А, между прочим, за что?»

«Почем я знаю».

«Как же это ты не знаешь? Тебя выгнали, и ты не знаешь. А вот я тебе сейчас напомню. Ты в воскресенье играл?»

«Ну, играл».

«Проиграл?»

Следствие продолжалось, капитан пил чай и делал пометки в протоколе.

«Что, играть нельзя, что ли?» — спросил одноглазый.

«Я спрашиваю, — сказал начальник, — ты за проигрыш расплатился? Не расплатился. Тебе велели в понедельник принести долг? Велели».

«Ну и что. Все играют».

«Во-первых, обращаю внимание, что азартные игры запрещены. А во-вторых, ты долг не принес, и тебя твои дружки не только прогнали, но и по шеям надавали. Вот теперь отвечай, какой из этого следует вывод».

«Какой?» — спросил кривой мужик.

«Надо было где-то доставать деньги».

Быть может, то, что всегда вредило мне в сношениях с властями — мой интеллигентный вид — произвело на этот раз благоприятное впечатление. Я вернулся в гостиницу, а на другое утро, не изведав никаких видений, освеженный крепким сном, сел в трамвай и поехал на улицу Александра Невского.

Тетя Лёля сидела на скамейке перед домом, точно ждала меня. «Я уж думала, другую квартиру нашел».

Что бы ни означали эти слова, я понял, что мне идет счастливая карта. Жиличка съехала. Мы взошли на крыльцо. Из сеней вела наверх узкая крутая лесенка. Дом, казавшийся небольшим, внутри был устроен довольно сложно; наверху находилось несколько дверей, одна из них, как можно было догадаться, выходила на чердак; был еще чулан, и была комнатка с кроватью и табуреткой. Мы сговорились о цене. На заднем дворе была вытряхнута из матраса старая труха, жертва и очевидец бессонных ночей неведомой мне квартирантки; свежую солому надо было купить на рынке. Я вручил тете Лёле задаток, почти опустошив свой кошелек, оставалось съездить в гостиницу за чемоданом. Не без злорадства представлял я себе разочарованную мину администраторши, в чьей снисходительности более не нуждался.

Необходимо упомянуть о разговоре, который предшествовал моему вселению. Было бы странно, если бы данная тема осталась не затронутой. Как уже сказано, я поспешил внести плату вперед, хотя от

меня этого не требовали. «А паспорт?» Я замялся. «Надо тебя прописать», — сказала она. «Видите ли, дело в том...» — «Что, нет паспорта?» — «Есть, но... насчет прописки. У вас это сложно?» — «Да ты жить-то у меня хочешь али нет?» — «Тетя Лёля, — сказал я, — это просто счастье, что я вас нашел». — «Ну, так в чем дело, где он у тебя».

Было решено вечером устроить новоселье. Меня ожидал еще один приятный сюрприз. Сойдя вниз в пиджаке, в чистой рубашке, при галстукe, я увидел в просторной горнице застеленный белой скатертью обеденный стол, в кухне за перегородкой журчало сало; и тут в комнату вошла с тарелками в обеих руках женщина в светлом платье, с клипсами в ушах, с красными бусами на груди, молодая или, по крайней мере, казавшаяся молодой, так что я с трудом её узнал.

Из угла похожий на большой зеленый цветок раструб граммофона издавал низкий звук, к которому подмешали песку: «Я неспособна к грусти томной. Я не люблю сидеть в тиши!»

«Вот уж не знала, что встретимся», — промолвила она, расставляя закуски.

«И на балконе ночью темной. Вздохать! Взды-ха-ать!»

Я спросил:

«Вы тут живете?»

Она не ответила. Явление тети Лёли с огромной сковородой вывело её из затруднительного положения. Хозяйка посчитала стулья, её заскорузлый палец описал в воздухе ромб. «Чего ж земляк-то опаздывает?» Мы уселись с трех сторон стола. Четвертый стул был, очевидно, предназначен для мужа Алевтины.

«Ну-с, чтобы всё у нас было по-хорошему, — вздохнув, промолвила тетя Лёля. — С Богом...» Мы подняли граненые рюмки с той непонятной неловкостью, почти неохотой, какой всегда начинается русское застолье. Женщины принялись за еду, я же счел своим долгом взять инициативу, то есть бутылку, в свои руки. Выпили по второй. Понемногу смущение рассеялось.

«Часу так в одиннадцатом, — рассказывала с заблестевшими глазами Алевтина, — еду я, вагон пустой, совсем меня сморило. Еду и сплю...»

Она объяснила, что любит работать во вторую смену. С шести до семи, конечно, толкотня, зато потом такая благодать.

«Ты гостя-то угощай, — заметила тётя Леля, — небось соловья баснями не кормят».

«Кушайте... Ну, вот, сию и вдруг вижу, пассажир входит, по всему судя, приезжий. Вежливый: товарищ кондуктор, обращается ко мне».

Обе женщины рассмеялись.

«А ты из каких краев будешь?» — спросила тетя Леля.

Я сообщил кое-что о себе, деликатно обходя главное, и моя сдержанность была оценена; мне не задавали лишних вопросов. Тетя Леля сказала со вздохом:

«Жизнь есть жизнь. Алевтина, ты кудамотришь?»

Граммфон пел:

«Зачем вздыхать, когда счастливо?..»

«Мне нравится ваш город, — сказал я, берясь за вилку. — Красивый город».

«Город-то красивый, — возразила тетя Леля, — да вот только...»

«И очень древний. О нем еще Владимир Мономах упоминал».

«Кто?»

«Владимир Мономах. А ваша улица названа в честь святого Александра Невского, знаете, кто это такой?»

«Да заткни ты ему глотку, ну его к Богу в рай...»

Алевтина поднялась, одернула платье, мельком взглянула на себя в зеркало, висевшее над комодом, и отвернула головку граммофона.

Я продолжал:

«В житии говорится, что слава Александра Ярославича разнеслась по всем соседним землям, так что магистр Ливонского ордена решил самолично познакомиться с ним. “И возвратися ко своим, и рече: прошед страны и языки не видех такового ни во цари царя ни во князех князя”. Ни об одном князе нет такого множества преданий, — сказал я. — Но видите ли, в чем дело: любое, даже самое фантастическое известие содержит зерно исторической истины».

«Кушайте», — сказала Алевтина.

«Спасибо. Вот, например, есть такая легенда, а может, и не совсем легенда. Биргер, шведский воевода и зять короля, вторгся из полуночной страны во владения Александра. И вот, представьте себе: на рассвете, когда шведы еще не успели подойти к Новгороду, дозорные услышали шум на море. Имеется в виду Ладожское озеро... Они решили, что враг приближается на кораблях, подбежали к берегу и видят: в тумане по морю плывет ладья под серебряным парусом. Посреди судна стоят два мужа в красных плащах, а гребцы “аки тьмой одеани”. Братья-князья Борис и Глеб, убитые двести лет тому назад, стоят, положив руки на плечи друг другу, и смотрят вдаль пустыми глазами... Вдруг один из них шевельнулся и показал рукой на берег. “Брате Глебе, — сказал он, — поможем сроднику своему великому князю Александру Ярославичу”. И тотчас корабль растаял в утренней мгле. Князь узнал об этом и сказал дозорному: “Никому не рассказывай”. И в тот же день шведы были разбиты на Неве, причем Александр ранил Биргера в лицо копьём».

Женщины слушали меня очень внимательно. Тётя Леля сказала:

«Ты прямо как профессор. И откуда ты всё это знаешь?..»

«Тут, правда, есть одна неувязка, — заметил я, — если он не велел рассказывать, то откуда же автор жития узнал об этой истории?»

После некоторого молчания тётя Леля промолвила:

«Да, жизнь... есть жизнь. Я вот тоже одна четырёх воспитала».

Она вышла из-за стола и вернулась с ветхим альбомом фотографий. В альбоме лежала церковная справка о браке. Тётя Леля вышла замуж за лодочника, всё Заречье в то время было еще деревней. После революции построили деревянный мост, в войну он сгорел, а уж потом соорудили нынешний каменный и провели трамвай. Муж тёти Лели, как можно было догадаться, спился. Оба сына не вернулись с фронта, старшая дочь была где-то замужем. Свой рассказ тётя Леля поясняла, водя пальцем по фотографиям.

Увлеченные разговором, мы не сразу услышали стук в дверь.

«А! — раздался голос тёти Лели в сенях. — Явился, не запылится».

Поразительное стечение обстоятельств продолжалось: опоздавший гость был не кто иной, как тот самый человек, который сидел с шапкой на вокзале в день моего прибытия и первым приветствовал меня в этом городе.

Он принарядился, на нем был потертый пиджак, несколько немело повязанный галстук и сапоги — обыкновенный наряд интеллигентного человека в провинции. Могу сказать — в наших краях. То, что случилось позже, не изменило моего отношения к приютившему меня городу. Вечер в гостеприимном доме тёти Лели, чистая скатерть, абажур, граммофон, общество двух женщин, старавшихся выказать мне свою симпатию, и, наконец, чудесное явление учителя... как мог я не благословлять судьбу?

Не то чтобы я внезапно утратил никогда не покидавшую меня бдительность. Помнится, меня даже осенила на короткий миг абсурдная догадка — так загорается красный огонь светофора, — слишком уж складно выглядела вся история нашего знакомства, слишком благоприятны были обстоятельства. И я подумал, что гость успел каким-то образом сообщить обо мне матери и дочери, что за легкостью, с которой мне дали пристанище, прячется коварный план. Мысль, повторяю, совершенно несуразная, ни на чем не основанная, разве что на уверенности, будто ничто в нашем мире не происходит случайно.

«Явился, — говорила хозяйка, — философ!.. Чай, много заработал? Грех один, и сказать стыдно».

«Можете не извиняться, Ольга Харитоновна, мы с товарищем в некотором роде знакомы...»



Тётя Леля с удивлением посмотрела на меня.

«Да ты никак уж всех тут знаешь».

Алевтина пошла разогревать остывшую еду.

Я спросил:

«Почему они вас так называют?»

«Не знаю. Впрочем, я в самом деле философ, вернее, тот, кто доказал ненужность философии. Это ведь тоже своего рода философия, не правда ли?.. Итак, — сказал Фотиев, усаживаясь и берясь за рюмку, — с новосельем?»

«С новосельем!»

«Я вам объясню, — продолжал он. — У меня нет времени ходить на службу».

«Он у нас...»

«Да ладно тебе. Это потом; Бог даст, не последний раз видимся. Вы ведь к нам насовсем?...»

«Я неспособна к грусти томной! Я не люблю мечтать в тиши!»

«Ты подумай, — сказала тётя Леля. — Сам включился».

«Я просто хотел сказать, — говорил Фотиев, не дожидаясь, когда Алевтина выложит на тарелку всё содержимое сковороды, и энергично жуя, — я хотел сказать, м-да... что моя профессия, в сущности, ничем не хуже всякой другой. Все мы на земле нищие, все просим милостыню у природы. Чего ты мне всё наливаешь, я же не пью!»

«Авось не помрешь», — отвечала хозяйка.

«Другой раз, если вы согласны продолжить знакомство, я поясню свою мысль подробней. Кстати сказать, у нас бездельников нет, поверьте мне, сбор подаяния — это тоже труд. Ваше здоровье».

Тётя Леля подошла к зеленому пластмассовому цветку сменить пластинку, это был уже не «Евгений Онегин», а что-то попроще, и приблизилась к Фотиеву, притопывая, поводя плечами и приговаривая: «Их! Их!..» Алевтина пригласила меня. Я не решился встать. Гость сидел боком к столу, заложив ногу за ногу, и смотрел на женщин. Тётя Леля, приплясывая, вышла и вернулась. Спустя минуту граммофон умолк, жестяной скрежет раздался над ухом, заставив меня вздрогнуть и обернуться: было что-то богатырское в развороте плеч, горделивая беззаботность во взгляде, с которым Кузьма Кузьмич, вознеся свежесвыбранный подбородок, раздвинул половинки баяна. Алевтина, выставив скрещенные руки перед грудью, склонив голову, с подпрыгивающими красными бусами, с затуманенным взором била каблуками на одном месте. Тётя Леля упала на стул, обмахиваясь платочком: «Ух! Сил моих нет». Баян заливался и рокотал вовсю.

Жизнь приглашала меня, как Алевтина, сплясать вприсядку, а я боялся встать. Отделенная от меня, она называлась судьбой. И ныне

я задаю себе всё тот же вопрос: был ли я на высоте своего предназначения, своего, так сказать, сюжета? Повесть моей жизни обратилась в вязкое многословие, в ворох всяческих «хотя» и «в то время как», и, листая её, я не могу прочитать на её страницах простой и убедительный смысл.

Баянист дремал, уронив голову на свой умолкший инструмент. Тетя Лёля, казалось, витала мыслью в невозвратимом прошлом. Стук каблуков и веселье сменились тихой скорбью.

Вдруг Алевтина спохватилась, что уже поздно. Она стояла в пальто и без конца поправляла платок на голове.

«Проводи девушку», — сказала тётя Леля.

Я спросил Алевтину:

«Что, у вас тут шалят?»

«Всякое бывает. Бывает, и разденут».

«Ваш муж так и не пришел».

«Он и не придет», — сказала она.

«Он что, работает?»

«Работает...»

Мы брели впопыхах в сторону, противоположную трамвайной линии. Было скользко. Алевтина взяла меня под руку.

С Александра Невского свернули на соседнюю улицу. Я спросил о Фотиеве. «Помешанный», — сказала она. По зыбким мосткам перебрались через кювет. Вдруг она остановилась. Мы стояли, затаив дыхание, и ждали, когда люди, если это были люди, пересекут улицу. Там тоже остановились. Мигнул карманный фонарик. Их было двое или трое. Возможно, они старались разглядеть нас. Теперь было ясно, что они нас ожидают. Раздался свист.

«Та-ак, — пробормотала она. — Чужало моё сердце... Сволочи. Говноеды».

Но смотрела она не на них, а вокруг.

«Дай-ка мне...» — прошептала она. Я подкрался к канаве и выдернул доску из мостков.

«Ты их знаешь?»

«Еще бы не знать. — Алевтина протянула мне небольшой предмет. — Держи губами, вот так».

Позволю себе небольшое отступление: мне кажется, это была черта, унаследованная от древнейших времен. Я имею в виду знакомство всех «говноедов» друг с другом, кого бы ни подразумевала под этим словом моя спутница. Через столетия ночи, минув эпохи, когда о городе не было никаких известий, когда он погрузился, как затонув-

шее судно, в ил и суглинок истории, сохранилась эта семейственность, и кто знает, не была ли она залогом того, что город N не исчез, не превратился в другую букву алфавита. Вы не сразу замечали узы родства, давно переставшего быть кровным, но постепенно вам открывалось сходство лиц и голосов, стигмы наследственности, если не генетической, то иной, которую можно назвать геолого-почвенной, наследственности известняка и глины, мало-помалу она подчиняла себе и пришельцев. Внутреннее знание всех друг о друге, понимание, которое не нуждалось в дружеских формах общения, да и самая обыкновенная вероятность встретиться друг с другом в лавках, в трамвае, в закоулках Заречья подпитывали эту общность, лапидарно выраженную в реплике Алевтины.

С воинственным криком предков, подняв доску над головой, она бросилась вперед. Я за ней, разбрызгивая грязь и отчаянно вереща милицейским свистком. «У! У-у!» — выла Алевтина. На перекрестке улиц мы остановились. Высоко над нами в прозрачном дыму облаков стояла луна. Алевтина поправляла платок. Мы рассмеялись.

«А ты говоришь, — сказала она, тяжело дыша. — Снимут всё и спасибо не скажут. Испугался? Свисток верни».

Мы вошли в дом.

## V

*Сомнения, вызванные предложением молодой женщины остаться на ночь. — Роль телосложения в истории народов. — Знакомство с влиятельным лицом. — Не вполне ясная цель поездки в рабочий поселок.*

Дом был темный, как погреб. Алевтина вела меня за руку. Взойдя на второй этаж по скрипучей лестнице, мы прокрались по коридору, она вставила ключ в скважину, скрипнула дверь, сухо щелкнул выключатель. Над столом висел матерчатый абажур. Потолок и вся остальная часть комнаты были погружены в зеленоватый сумрак. В углу, на широкой кровати с никелированными украшениями, спали дети. Мне понравилось жилище Алевтины.

«Пожевать бы чего-нибудь, — бормотала она, раскрывая створки буфета, — я толком и не поела... Может, стопочку примешь?»

Я ответил, что мне надо идти, тётя Леля ждет, неудобно.

«Чего неудобно? В этакую темнотищу».

Мы оба взглянули на будильник. Алевтине надо было выходить в утреннюю смену.

«Когда ж ты спать-то будешь?»

«Небось высплюсь. Как пройдет толкучка, часикам к девяти, самое время покемарить. Да я могу спать в любое время, — сказала она, — отрываю билеты, а сама сплю. Даже сны вижу».

Я спросил: «Какие?»

«Чего?»

«Какие сны?»

«Всякие. Бывает, толкаюсь между пассажирами и сплю, мелочь считаю и сплю, и представь, вижу то же самое, вот как наяву: будто я на работе, объявляю остановки, и будто вагон едет всё быстрее и быстрее, вожатый не слышит, что я объявляю, а всё почему? Потому что он сам тоже спит. И вот мы несемся, несемся...»

Она умолкла.

«А то бывает, настоящие сны вижу. Тебя раз видала».

«Как это?»

Я рассматривал фотографии на стене.

«А вот так. Какой ты есть. Даже, пожалуй, еще лучше, — засмеялась она, — не такой голодный».

«С чего это ты взяла, что я голодный?»

«Да по тебе видно...»

Мы снова замолчали.

«Муж? — спросил я, глядя на статного молодца в фуражке набекрень, с чубчиком и в сержантских погонах. Рядом помещалась она сама.

«Это когда еще женихались... Что, красивая я была?»

«Ничего».

На мой вопрос, где работает её муж, она ответила:

«Да здесь и работает. В нашем парке, ремонтником».

Я пробормотал:

«Знаешь, я всё-таки пойду».

«Да не придет он. Чего ты забоялся? Его... ну, в общем, он не придет. Его в командировку послали».

Всё еще принаряженная, она подошла к кровати поправить одеяло, девочки-близнецы барахтались во сне, свет и голоса тревожили их. Мы сидели за столом друг против друга под зеленым абажуром, между нами стояла пригубленная рюмка с водкой, лицо Алевтины было погружено в тень, пальцы перебирали бусы.

«Не найдется ли там работа и для меня?» — спросил я.

Она усмехнулась.

«Найдется, никуда твоя работа не денется. А зачем тебе работать? У нас мужики только числятся, а не работают. Баб вокруг вон сколько...»

«А твой?»

«Чего мой?»

«Твой мужик работает?»

Она вышла и вернулась с матрасом. Расстелила его на полу.

«Думаешь, я бы побоялась идти домой одна? Пусть бы только попробовали, я бы им голову проломила. Это они парочку увидели... Ну что, парочка, баран да ярочка, будем укладываться, что ли? Я завтра уйду, ты спи, не вставай. Если тебе куда надо, в коридоре».

Если несколько миллиметров носа Клеопатры решили судьбу Рима, то какую же огромную роль должно играть соотношение продольных и поперечных размеров тела у тех, кто правит государственным кораблем и вершит историю. Не идеи и не классовая борьба, а телосложение вождей решает участь народа. Тощие расставленные ноги в трубчатых сапогах, в галифе, съезжающих с плоских ягодиц, дикая воля в провалах глазниц и отсутствие аппетита. Лихорадочный обмен веществ, отчего эти люди как бы сгорают в собственном пламени. Вот где коренятся идеалы братства и равенства, самоотверженной битвы за освобождение угнетенных. Вот вам вся программа революции, воплощенная в астенической конституции вождей. Но в дальнейшем она уступает место иному типу, костлявые идеалисты становятся ненужным и нежелательным элементом. Выдвигается бычья конституция людей с хорошим пищеварением. Расширяется нижняя половина лица и сужается верхняя. Люди-дыни приносят с собой новое понимание государственных задач. Вдвое увеличивается число дырочек в поясных ремнях, государственные галифе отражают более просторное мировоззрение. Представитель власти не может быть нищевродом.

Дородный человек в пальто начальственного покроя, в шляпе и в сапогах с достоинством поднялся по ступенькам. Он не успел постучаться, как навстречу выбежала разодетая в пух и прах тётя Леля.

«Багюшки, гость-то у нас какой! — закричала она. — А я-то думаю, кто ж это к нам пожаловал: никак сам Борис Борисович? Да нет, думаю, не может быть, Борис Борисович человек занятой».

«Вот, решил прогуляться по городу, — отвечал начальник. — Поглядеть, как народ живет».

«Да неужели пешком?»

«Отчего ж? Полезно. Кгм! Эге, — крикнул Борис Борисович, сдавая пальто на руки хозяйке, и то, что оказалось под пальто, было выдержано в аналогичном стиле: штатский бостоновый пиджак, под пиджаком форменная рубашка с галстуком. Ансамбль дополняли просторные синие галифе. — Да у тебя всё уже на мази!»

«Сердце чуяло, Борис Борисович. Во сне видела, коляска едет. Спрашиваю у людей: к чему бы это?»

«Ладно болтать-то...»

«Может, освежиться хотите, руки помыть?.. Ты где? — спросила тётя Леля озабоченно. — Ты тут?.. — Я стоял на лесенке, одетый как положено, словно загримированный актер, который дожидается выхода. — А это вот, познакомьтесь... новый жилец у меня. То есть пока что еще не жилец».

Я выдвинулся на порог, отвесил поклон, между тем как хозяйка сдержанно расхваливала мои достоинства, как бы примеряя их к ображаемой анкете.

«Попрошу садиться», — кратко промолвил гость. Хоть и без погон, Борис Борисович, без сомнения, находился по крайней мере на одну ступень выше капитана, перед которым я предстал по случаю пропажи простыни.

«Весна-то какая ранняя, Борис Борисович, благодать».

«Да, климат у нас здоровый».

«Батюшки, у меня там всё сгорит».

Начальник стал накладывать себе закуску.

«Давно в городе? — осведомился он. — Профессия есть?.. — С бутылкой в руке он грозно осматривал стол. — Хрустали у тебя, конечно, отменные, — заметил он подоспевшей тёте Леле, — только ты бы лучше нормальные стопки поставила... М-да! Работать кем собираешься?»

«В трампарке бухгалтера ищут, Борис Борисович. Человек самостоятельный, непьющий...»

«А ты за него не отвечай, он сам ответит. Посмотрим сейчас, какой он непьющий, хе-хе... Угм. Ну-с! Будем, как говорится».

«Борис Борисович, — голос тётки Лели, не теряя подобострастия, становился задорнее и фамильярней, — я ведь сразу угадала. Как шаги закрипели под окном, так сейчас и подумала: а ведь это Борис Борисович!»

«Ладно болтать...»

В свою очередь и начальник мало-помалу спускался со своих высот; это выражалось в том, что он снял и развесил на стуле пиджак, оттянул книзу галстук и принял из рук хозяйки полотенце, которым время от времени утирал чело и затылок.

«Так, говоришь, зятя себе нашла?»

«Какой зять. Борис Борисович, дочка у меня замужняя».

«Знаем, всё знаем...»

«Человек самостоятельный, отчего, думаю, не пустить. Колбаски берите... Вроде, думаю, город у нас не режимный».

«Много ты знаешь...»

«Да где уж нам! Откуда? Кушайте, вон селедочка. На рынке брала. У Лукьяновых тоже зять вернулся, вроде бы, слышно, его прописала».

ли. А тут человек одинокий, желает стать на правильный путь. Нет, думаю, чем в паспортный стол толкаться, дай сперва посоветуюсь с Борис Борисычем».

«Да знаем мы его, — сказал начальник. — Привлекался по делу о банде, ворующей белье из гостиниц».

«Батюшки! Да неужто...»

«Привлекался, говорю. А ты тоже: пускаешь кого ни попадя».

«Да ведь откуда нам, Борис Борисович?.. Вот, может, селедочки».

«Я не говорю — член банды. Нами он проверен, состава преступления нет».

«Ох, я уж напугалась. — Тетя Лёля повернулась ко мне. — Чего ж ты мне-то ничего не говоришь?»

Некоторое время спустя постучали в дверь, это оказалась Алевтина. К тому моменту, когда она появилась в платке, с озабоченно-деловым видом, точно заглянула мимоходом, атмосфера визита переменялась, пиршественный стол выглядел не столь официально, а начальник милиции Борис Борисович являл собой зрелище одновременно величественное и скорбное. Он сидел, точнее, полулежал со съехавшим набок галстуком, с расстегнутой грудью, был покрыт крупными каплями пота и произносил нечто вроде инструктивного доклада для узкого круга. Тётя Леля сидела, пригорюнившись и подперев щеку кулаком. Комнату заливал багровый закат, малиновым огнем вспыхивали граненые рюмки, потолок плыл в дымных облаках. Борис Борисович медленно встал, раздавил в тарелке окурок и побрел в сени.

«Проводи», — очнувшись, шепнула теля Леля.

Прежде чем я сообразил, кому она доверяет это важное поручение, Алевтина, скинув пальто, бросилась за ним. Немного погодя начальник вернулся в значительно лучшем виде, с подтянутым галстуком, умытый и умиротворенный.

«Эх, дочка у тебя, — проговорил он, — кабы я был помоложе лет на десять...»

Мы с Алевтиной делали вид, что едва знакомы друг с другом.

«От нас ничего не скроется, — продолжал Борис Борисович. — Ты вот небось думаешь, окосел майор, сейчас он тебе все секреты и выдаст. А зачем тебе их знать? Откуда такое любопытство? Может, ты тоже связана с преступниками, так и скажи, всё равно от нас не скроешься. Ладно, не бзди...» — сказал он хитро-добродушно, подцепил на вилку снесь и внимательно оглядел её, как криминалист — вещественное доказательство. Получив подтверждение своей версии, он отложил вилку с едой в сторону.

«У нас, чтоб ты знала, везде свои люди. Опять же возьмем для примера это белье... Мы эту банду обезвредили. И зятя твоего заодно проверили. Пушай живет. Пушай включается в трудовую деятельность... Где у тебя... давай его сюда...»

Я взглянул на тетю Лелю, она важно кивнула головой и вручила мой паспорт Борису Борисовичу. Он запихнул его в нагрудный карман.

«М-да... Но в том-то вся закавыка, что дело с бельем только ма-алый корешок, — он показал кончик пальца, — а надо выкорчевать весь бурьян, все сорняки полностью. Плевелы, едри их... Вот возьмем такой пример: в горторге на Комсомольской, сама знаешь».

«Как не знать», — поддакнула тётя Леля.

«Крупнейшая недостача. Только еще начинаем разбираться... В привокзальном ресторане — недостача. В занюханной, понимаешь, лавчонке на трамвайном кольце, на окраине, у черта на рогах, домишко еле видный, товара на три копейки. Громадная недостача: тысяча десять как минимум. Это что, случайное совпадение? Что они, друг о дружке не знают?.. О чем это говорит? Это говорит о том, что все друг на друге завязаны. Единая, глубоко законспирированная сеть. Значит, надо искать связных. Где сидят связные? Ясно где: в конторах. В потребсоюзе, в промкоопе, в снабжении. Спрашивается: а ревизия была? Была. Межведомственная инспекция приходила? Приходила. Вот и акты: всё чин чином. Рука руку моет. Значит, и туда ведут нити. Вдруг, понимаешь, старушонку на базаре ловят с цветами. Сотрудник спрашивает: “Что, бабуся, торгуешь помаленьку?” — “Да какая у нас торговля!” — “А большой у тебя огород?” — “Да какой огород, нет у нас, — говорит, — никакого огорода”. — “Ясенько, а цветочки откуда?” — “Дома выращиваю...” — “Ну пошли посмотрим твою оранжерею, опытом поделишься”. Конечно, ничего нет, живет в одной комнате, на окошках чертополох. Это что, отдельный, так сказать, случай? Откуда, спрашивается, у старушонки цветы? Случайностей не бывает! Всё связано. А где главари? Главарей надо искать выше. И не только в области, может, даже и не в Москве. За океаном! Главари — там: направляющие центры, службы».

Сказав это, он выпил и закусил вещественным доказательством.

Мы сидели, подавленные этой жуткой картиной.

«Туда мы, конечно, не доберемся, — жуя, сказал Борис Борисович. — Но уж в городе всю паутину подметим, всю сеть раскроем! Преступники всегда друг дружку находят, закон уголовного мира. Ты — мне, я — тебе, там дядя Вася, здесь тётя Маруся, рука руку моет, рыбак рыбака видит издалека! Или вот возьмем проституцию. Конечно, у нас проституции как социального явления нет. Но ты как-нибудь сходи на автовокзал, для интереса. Ты небось и не знала, что там целый бор-



дель существует? Да, и не догадаешься, где. В рейсовом автобусе! Есть такой автобус: снаружи всё чин чинарем, а внутри бордель. И, конечно, никуда такой автобус не ездит, плати деньги и входи. Только билетик будет подороже. А ревизия нагрянула, кругом все свои люди, — где автобус? Нет автобуса. В рейс ушел! Значит, нити ведут в кассу, а в кассе, заметь, тоже нехватка».

«Господи милостливый Иисусе, да откуда ж всё это берется, Борис Борисович? — сокрушалась тётя Леля. — Раньше народ был честный».

«Америка, всё Америка».

«Раньше люди Бога боялись».

«Насчет Бога не знаю».

«А правду говорят, я всё хотела спросить, что американцы у нас рак распространяют?»

«Этот вопрос, — сказал начальник, — в настоящее время расследуется».

Всё складывалось наилучшим образом, теперь я мог, не дожидаясь, когда мне вернут паспорт с пропиской, заняться своим трудоустройством.

Выйдя переулками к невысокой насыпи, мы остановились, немного погодя за поворотом раздался скрежет колес. Алевтина поднялась на насыпь и помахала рукой. Мы вошли в пустой вагон, Алевтина осталась на передней площадке и болтала там с вагоновожатыми, лузгая семечки.

Я ни о чем не расспрашивал мою спутницу, полагая, что она лучше меня знает, к кому обратиться. Мы, однако, не доехали до трамвайного парка, вернее, мы ехали в другую сторону. Местом назначения оказался рабочий поселок имени кого-то, улица вела нас мимо грязно-белых бараков, помоек, веревок с бельем, дощатых столов, за которыми сидели пенсионеры. Дикие подростки выплясывали над футбольным мячом, с кудахтаньем разбегались куры.

Я поглядывал сбоку на Алевтину... По мере того как мелочи повседневной жизни, обсуждение моих дел, в котором принимали участие, не слишком интересуясь моим мнением, обе женщины, по мере того как всё это приближало и привязывало нас друг к другу, Алевтина становилась для меня всё более загадочной, непроницаемой и недоступной. Мне казалось, что, заботясь обо мне, она в то же время мною пренебрегает. И то, что я не мог толком понять её намерений (я полагал, что мы идем договариваться с кем-то о моей работе), было частью всё той же неизвестности, которая окружала её, как дымовая завеса — воинский отряд или полупрозрачный наряд — невесту. Ви-

димо, она питала ко мне симпатию. Но это была симпатия коренного жителя к бестолковому гостю, сострадание закаленного аборигена к бледнолицему пришельцу, снисходительность женщины к недотепе-интеллигенту, жалость, не отделимая от презрения.

Пусть не упрекнут меня в пристрастии к громким словам: она была не что иное, как истина жизни. Простая и непроницаемая, подобно тому как непроницаемым, неразличимым в облаке тумана предоставлялось мне её тело. Странно было бы, не правда ли, если бы я не подумывал о ней как о добыче. Была ли она красивой? В платье с красными бусами, в лифчике, поднимавшем грудь, она могла показаться юной и привлекательной, в грубой одежде кондукторши выглядела почти уже не женщиной. Ей могло быть сильно за сорок, могло быть и меньше тридцати. И всё же я не был настолько самонадеян, чтобы тотчас расценить её готовность прийти мне на помощь как обещание близости: мысль о том, что мы могли бы сойтись, — тем более что её замужество выглядело сомнительным, да и мамаша, кажется, не имела ничего против, — мысль эта хоть и мелькала в моем сознании, но как-то не занимала меня. Скорее это был вопрос власти и порабощения. Словом, ко мне относились, как принято было относиться к мужчине в этих местах: как к чему-то хотя и необходимому, но не заслуживающему уважения. Меня взяли с собой, как берут, отправляясь по делам, ребенка. Сбитый с толку, приниженный и пристыженный, я едва поспевал за ней.

В нас летел мяч, словно пушечное ядро; она отшибла его. Нас обогнал грузовик. Мы прошли замусоренный поселок. Ряды приземистых дощатых сараев, над которыми кое-где торчали железные трубы, отделяли его от бугристого поля, прорастающего первой нежной травой, впереди стоял синий лес.

«Ты отдохни маленько... — проговорила она, поглядывая по сторонам. — Я сейчас».

Она пошла между сараями, прыгая через лужи, там сидел старик на солнышке, перед дверью на табуретке. Некоторое время они толковали о чем-то, словно двое глухонемых: он мотал головой и разводил руками. Алевтина порылась в кошельке и дала ему денег. Дед, согнувшись в три погибели, силился почесать спину под ветхим пиджаком: Алевтина, выпятив губы, сунула руку и стала чесать; постепенно его борода опустилась на грудь. Он спал. Она вернулась.

«Зря тащились, ети его мать...»

«А в чем дело?»

«Да ни в чем, — буркнула она. — Я думала, он тут ошивается».

«Кто?»

«Да никто».

«Мы же хотели...» — пробормотал я.

«Чего мы хотели, ничего мы не хотели. Я-то, дура, нарочно отгул взяла... Поехали».

Послышался слабый возглас, старец звал Алевтину.

Она обернулась и крикнула:

«Ну чего тебе?»

Он ковылял к нам с табуреткой в руках.

«Некогда мне с тобой лясы точить».

«Алюшка, доченька», — сказал старик.

«Какая я тебе доченька? Ты мне больше не родня. Надоели вы оба, глаза бы мои вас не видели».

Он сел на табуретку.

«Да как же я-то?»

«Авось не пропадешь».

«Аля! А ведь ты меня любила».

«Это тебе приснилось».

«Эва! Приснилось. Небось забыла. А я помню. Я всё помню! Если надо, и на суде вспомню».

«Чего?! А ну-ка повтори. Ах ты, старая мотня! Еще грозит мне. Да я сама сейчас пойду и всё расскажу».

«И ступай! Рассказывай!.. Чего ты будешь рассказывать? Меня первого послушают, не тебя, сучку. Старикам везде у нас почет. Мне терять нечего. Нищему пожар не страшен».

Разговор в подобном роде продолжался еще несколько минут, а когда мы вернулись домой к Алевтине, нас ждала неприятная новость.

## VI

*Отец семейства. — Проблема юридического статуса. — Снисходительность жены конунга. — Совместное исполнение песни о летчиках. — Созерцание жареных рыбных молок в витрине продовольственного магазина.*

Новостью, впрочем, она была только для меня: Алевтина если и была удивлена, то лишь в первую минуту. Дверь оказалась запертой изнутри. Она постучалась, стукнула кулаком. Там как будто колебалась. Алевтина тоже находилась в некотором раздумье.

«Отворяй, — сказала она наконец. — Думаешь, я не догадалась?.. Ты где взял? — спросила она, когда мы наконец вошли в сумрачное жилье. — Где ключ взял, я спрашиваю!»

Сильный голос ответил:

«Где взял, там и взял».

Человек вернулся на своё место, он сидел у окна (занавеска была задернута) в чисто прибранной комнате, повернув к нам лицо, темное на фоне светлого окошка.

Гость смотрел не на Алевтину, а на меня.

«Это кто?»

«Свои».

Помолчав, он спросил:

«Небось не ждала?»

«На ждала. И папаня твой ни слова».

«Чего папаня? Папаня тут ни при чем».

Она села, развязала платок.

«Это как надо понимать: ты откуда взялся?»

«Оттуда. А ты, я вижу, время даром не теряешь!»

Он поднялся, приблизился и оглядел меня с головы до ног. Он был ниже ростом, но крепче, в темной рубашке, в сильно потертом пиджаке и сапогах-кирзачах, с кирпичным лицом, похожий и непохожий на свой портрет на стене.

«Вас как звать, позвольте узнать?»

«Ну, ты, — вмешалась Алевтина, — ты полегче, небось не у себя дома...»

«Я? Не у себя дома? Интересное кино получается. Чей же это дом, может, твой?..» — Гость схватил со стола пустую пачку из-под папирос, скомкал, порылся в пепельнице, добыл чинарик.

Она снимала пальто и платок.

«Разбежалась, сука, — бормотал он, досасывая окурок, — хахаля привела».

Алевтина вынимала из комода белье и рубашки.

«Ну-ка, милый, — промолвила она, — покажи документы».

«Чего?»

«Документы, говорю, покажи».

Человек повернул голову в мою сторону.

«Вали отсюда, — сказал он коротко, не повышая голоса. — Муж с женой разговаривают, не х... тебе тут ошиваться».

«Слышал, что я сказала? Паспорт!»

«Нет у меня паспорта».

«Куды ж он делся?»

«Никуда. На прописку сдал».

«Так, значит, на прописку. Вот я сейчас пойду в милицию и проверю».

«Проверь, мне-то что».

«Вот пойду и проверю».

«Иди. Беги».

«Ну вот что, — сказала она после некоторого молчания, — я твое барахло собрала, забирай, и чтоб я духу твоего...»

Он закричал:

«Ты чего здесь стоишь? Чего торчишь тут, едрена вошь, вали отсюда!»

«Легче. Разорался», — буркнула Алевтина.

Муж посмотрел на неё долгим взглядом.

«Аля, — сказал он вдруг, — чего ж ты делаешь? Чего ж ты человека топишь? Я к тебе, может, по-хорошему пришел. Отец пришел, — закричал он, — супруг твой, поняла?..»

Она вздохнула, уселась на табуретку, он смотрел на её колени.

«Где дочки? В садике?»

«Дочки, — проговорила она. — Вспомнил. Какой ты им отец? — Усталым голосом она позвала меня: — Мойсеич... не в службу, а в дружбу. Сходи, милый».

«Может, мне лучше...?»

«Ни в коем разе».

Вернувшись несколько позже, чем требовалось для того, чтобы выполнить её поручение, я увидел накрытый стол, оба сидели друг против друга. Алевтина молча приняла от меня покупки, муж с откупоренной бутылкой, с деловым видом ждал, когда она разложит по тарелкам снесь. Первая стопка была выпита молча.

«Ты не удивляйся, всё бывает... (Я согласился, что всё бывает.) А что я могу поделать? По правде-то сказать, я на него давно рукой махнула...»

Гость усмехнулся, но о паспорте речи больше не было, она лишь спросила: «Надолго?»

«Чего надолго?»

«Надолго к нам прибыл?»

«Не. Надо на восток подаваться. Дела...»

«Какие это такие у тебя дела?»

«Есть один керя в Челябинске».

«Челябинск — режимный город», — сказал я.

«Ты-то откуда знаешь?»

«Откуда и ты», — сказала Алевтина.

Человек закричал:

«Землячок! Чего ж ты молчал, едрена вошь!»

«Не тебе чета», — заметила она.

«Фашист, что ль? Давай выпьем. Фашисты, не фашисты, один хрен».

Наступило время подвести некоторый итог, и она промолвила:

«Ладно, меня твои дела не касаются, ничего не знаю, ты меня не видел, я тебя тоже не видела. Ты только по-честному скажи: ты в бегах?»

«С чего это ты взяла? Ну, ты даешь...»

«Тебя выпустили?»

Он ответил:

«Хер они кого выпустят».

Трапеза продолжалась, из отрывочных реплик мало что можно было понять: не драпанул, но и не был освобожден; паспорта, разумеется, не было; отбывал срок где-то недалеко, очевидно, в колонии, был расконвоирован, может быть, даже выпущен, последнее, впрочем, представлялось сомнительным; если и освобожден, то без разрешения покинуть предприятие; якобы отпросился на два дня, но и это выглядело неправдоподобным.

Короче говоря, не беглец, но и не законный человек; а впрочем, кто знает? Короче, обретался в некоей расщелине между законами. Но такой ли уж это невероятный случай? Я сам, в сущности, находился в такой же щели.

«Ты мне только скажи. Тебя кто-нибудь видел?»

Он покачал головой.

«Небось Федосья кривая уже прибежала?»

«Какая Федосья; я дверь запер».

«Небось прибежала. Или от дружков прячешься?»

«Нет у меня никаких дружков. Завязал».

«А если ночью придут?»

«Кто придет-то?»

«Кто, кто... Известно кто».

«Не придут. Говорят тебе, я отпросился».

«Чтой-то я не слышала, чтобы отпускали».

«А энтог кто тебе будет?» — спросил он осторожно.

«Не твое собачье дело. Жилец у матери; он никому не скажет».

Стало смеркаться, но свет мы не зажигали.

«Пойти сходить...» — пробормотала она, поднимаясь.

«Ты куда? — Он вскочил. — Сука буду, пришью на месте».

«Да сиди ты, — сказала она лениво. — Чего всполошился? Пришью... Моё дело, куда хочу, туда иду».

«Аля, — сказал он грозно и стукнул кулаком по скатерти. — Алевтина!»

Она завязывала платок на затылке. Гость — или хозяин — сидел, тупо уставившись перед собой. Я вышел следом за ней. В сумерках она пересекла наискось пустынную улицу. Близнецы были у соседки, Алевтина хотела попросить её оставить детей у себя на ночь. Я поджи-

дал её, сидя на ступеньках. Дом дышал, как усталое животное. Это был бревенчатый двухэтажный дом, полный жильцов и в то же время нелюдимый; кто были его обитатели? Едва ли за всё время мне навстречу попался кто-нибудь из них. Старый дом опустился на подстилку ночи. Находился он посреди посада, недалеко от торговой площади; на спусках к реке теснились клети, спокон веков здесь обитал ремесленный люд. Дом возвышался над избами и клетушками, словно терем, и в нем останавливался каждый раз богатый гость, когда приплывал с товаром из сказочных южных царств.

И случилось однажды, что Олаф, так его звали, увидел на площади, в толпе народа, человека, убившего много лет назад его благодетеля, от которого Олаф перенял торговлю. Он подошел и окликнул убийцу. «Узнаешь меня?» — спросил Олаф и, не дожидаясь ответа, всадил ему топор в голову. После этого Олаф побежал к Сигурду, своему родичу, а Сигурд повел его к конунгу. Дело в том, что в те времена не только в городе, но и за стенами, в посаде, строго охранялось спокойствие, и каждый, кто убил другого без суда, сам подлежал суду и смерти. Но Сигурд надеялся, что конунг пощадит богатого гостя.

Тем временем сбежался народ, искали убийцу и требовали расправы. На крыльцо вышла княгиня и кое-как успокоила их, сказав, что властитель сам разберется и накажет преступника. На самом деле князь, или конунг, как его всё еще называли, ничего не знал о случившемся; княгиня вошла в горницу, где стоял с опущенной головой Олаф и рядом с ним его родственник Сигурд. «Неприлично, — сказала она, — убивать среди бела дня безоружного человека, даже если он виноват. Но еще неприличней будет, если мы казним такого пригожего молодца». Гость упал на колени и посмотрел ей прямо в глаза. Она же взирала на Олафа как бы в некотором замешательстве. Наконец, она сказала: «Теперь я вижу, что ты можешь убить. Встань. Мало тебя наказать, — добавила она, уходя к себе. — Тебя надо повесить». Несколько дней спустя властитель присудил денежную пению за убийство, и Олаф, заплатив пению, при содействии супруги конунга скрылся.

«Алевтина», — сказал в темноте голос гостя, незнакомый, неузнаваемый голос.

«Чего тебе?»

«Алевтина! Иди к мужу».

Она не отвечала, и наступила бесконечная звенящая тишина.

«Иди к мужу!» — повторил он строго.

«Какой ты мне муж?»

«Алевтина, твой муж вернулся. Последний раз говорю».

«Спи. Мне завтра рано вставать. — Тяжко вздохнув, она села на краю кровати. — И ты тоже. — Это было сказано мне, пишущему эти страницы. — Делить меня, что ли, хотите?»

«Алевтина».

«Сейчас из дому выгоню. Вот как Бог свят, выгоню. — После некоторой паузы она проговорила: — Кровя у меня».

«Врешь, сука. Ты с хахалем легла».

Снова наступило молчание.

«Я завтра сам уйду, ты и не услышишь. Последнюю ночь с тобой... Рядышком положим... Последний раз встречаемся. Аля, больше ты меня не увидишь. Ну прости меня... Ну, чего ты мерзнешь, чего мерзнешь-то? Я же слышу, ты совсем закоченела... Говорю тебе, не трону: положим рядом, и всё. Падла буду. Ты меня знаешь. Алюша... Ну, уважь хоть последнюю просьбу».

Она сидела в ногах кровати, и в темноте, как сквозь удушливый газ, до меня доносился её плач.

«Еще бы мне тебя не знать... — лепетала она, — кровосос, всю мою душу вымотал. — И вдруг со злобой: — Катитесь вы все подальше! У, сволочи! Нужны вы мне... Уйду от вас. Разбирайтесь тут сами».

С этими словами Алевтина встала и приблизилась к ложу, устроенному на полу. В темноте белела её рубашка.

Некоторое время там лежали не шевелясь, затем раздались слабый стон, шорох, шум борьбы, злое сопение мужчины, жестокий натиск, и оборона, и блаженный вздох. И наступила окончательная, глубокая и непроницаемая тишина, ночь сгустилась до полного мрака; мы лежали втроем в глубокой, как колодец, комнате, и все трое видели один и тот же сон.

Да, во сне мы были вместе, нас связала общая судьба, двое мужчин каким-то образом уместились в одной женщине. Во сне мы были одно и то же лицо, я и гость, и во сне я как будто угадывал смысл того, что в дневной жизни было только простой данностью. Мгновенное событие замедлилось, как если бы растянулась резиновая ось времени. Горечь переполняла моё сердце, единственным утешением было то, что всё это совершалось не со мной: не я, а он лежал на кровати и внимал происходившему на полу: я сам был занят тяжким трудом проникновения, не он, а я исполнял эту повинность. Я должен был опуститься на дно, добраться до сути вещей, я понял, что не зря оказался в городе, ибо город и был женщиной и засасывал меня в свою воронку. И всё же я не достиг цели: струна времени, растянутая до предела, до небытия, лопнула: наступил рассвет.



Утром, вопреки своему обещанию, муж Алевтины не исчез, молча сидел, поглядывая в окно. Пили чай. Алевтина резала колбасу.

«Слушай сюда, как тебя... — сказал он, дожевывая еду. — Сядь-ка ближе; я чего сказать хотел. Ты мою Алевтину... — он погрозил пальцем, — понял? Чтоб у меня был полный порядок! Всё равно узнаю. У меня тут свои люди. Чтоб всё у вас было чин чинарем. Бросишь её, приеду, убью. Я тебе её доверяю».

Подкрепившись, он прочистил горло и запел:

«Пора в путь-дорогу!»

«Тихо, ты!» — испугалась Алевтина.

«А чего? Не бзди, не услышат. В дорогу дальнюю, дальнюю».

Алевтина подтянула тонким голосом:

«Следить буду строго, мне сверху видно всё, ты так и знай!»

Делать было нечего, я присоединился к поющим:

«Над милым порогом качну серебряным тебе крылом».

«Пущай! — заорал он. — Пущай судьба забросит нас далеко, пущай».

Алевтина — нежным грудным голосом:

«Ты к сердцу только никого не...»

Ублаготворенные идиотизмом этой песни, ярким солнечным утром, сознанием близкого расставания, мы сидели за столом, мы были одна семья.

«И ты тоже, — говорил он. — Ты у меня смотри! Чтоб никому, ни с кем!.. Приеду, всё узнаю. Вот тебе твой муж заместо меня... Пока не вернусь. С ним живи, и больше ни с кем, поняла?.. С бабами, — продолжал он, повернув ко мне коричневое лицо, — надо строго. Извини, я по-простому: мы тут все свои. Как у тебя насчет мужского дела? — Я пожал плечами. — Алевтина! Тебя касается. Как он, на высоте?»

«На высоте», — сказала она смеясь.

«То-то».

Я возразил, что у нас с ней ничего не было.

«Чего ж ты врешь? — сказал муж Алевтине. — А может, он того? Ты скажи прямо: мне надо быть спокойным. Я семью оставляю. Я должен быть за свою семью спокоен (он говорил: семью). Бабе что надо? Чтоб с ней спали, так я говорю. Алевтина?»

Чаепитие было закончено. Наступила пауза. Гость пригорюнился, что-то соображал, отогнув занавеску, пристально смотрел в окно.

«Такие дела... — проговорил он. — Пора в путь-дорогу. Землячок! Подь сюда...»

«Чего тебе еще надо?» — сказала Алевтина.

«Одолжи столик».

«Чего, чего?»

«Сто рублей, говорю, одолжи. На карманные расходы».

«На какие такие расходы?»

«Верну. Некогда мне тут с вами лясы точить».

«Вот и вали отсюда. Нет у него денег, понял?»

К несчастью, это соответствовало истине.

«Ах ты, сучий потрох! — сказал он, — Нет денег! И еще к бабе мой подкатился. Давай живо; некогда мне тут с вами...»

«Вот сейчас пойду позову милицию. Вот как Бог свят, пойду позову милицию»...

«Ладно. Полста».

«Сейчас пойду!»

«Куда? Стой, сука! Тридцатку, больше не прошу».

Она вырвалась, схватила платок, пальто.

«Всё расскажу, — бормотала она, — а там пуцай разбираются. Пуцай, сами решают...»

«Пу-у... — негромко затянул муж Алевтины, развел руками, весь затрясся, шлепнул в ладоши и притопнул ногой. — Пуцай судиба забросит нас далеко, пуцай! Аля! Жена!... Последний раз видимся. Червонец, лады? Больше не прошу. Сле-е-едить буду строго!»

«Вот сейчас... как Бог свят...» — бормотала Алевтина. Она сунула ему деньги, скомканную бумажку, и больше мы его не видели.

Дни становились длиннее, из морщин и выбоин земли, из-под строительных обломков вылезла буйная трава, пыль клубами летела за громыхающим трамваем, мухи грелись на солнцепеке, за заборами бушевала черемуха. Наступление шло такими темпами, что, казалось, в считанные дни сопротивление будет окончательно сломлено и наступит вечный день. Лунная цитадель врага была обложена со всех сторон, последние резервы ночи еще держали оборону; оборотни и вурдалаки, дрожа, сидели в подвалах: утро, словно разведчик, подкрадывалось к траншеям; войска шли вперед, добывая всё еще не желавший сдаваться май.

Делать было нечего. Лежа у себя в каморке на соломенном тюфяке, как Марк Аврелий в походной палатке, я предавался философским мечтаниям. Я мог оценить преимущества моего положения. Никто не покушался на моё одиночество, никто меня ни о чем не расспрашивал, не навязывался в приятели, не оскорблял хамскими приветствиями, никто не спрашивал у меня документы и не гнал на работу.

Наметившееся устройство моей жизни, тишина старого дома настроили меня на возвышенно-отвлеченный лад, мысли мои текли, как туманный ландшафт перед взором усталого путешественника. И если

я не решался в силу известного лицемерия назвать себя счастливецem, то по крайней мере понимал, в чем состоит счастье, одинаковое для человека и улитки.

Крадучись по привычке, я сошел вниз и выглянул из дома тётя Лели; стоял прекрасный день. Как и тогда, в день моего приезда, продуктовый ларек у остановки был закрыт на учет, трамвай перевез меня через мост, в город, где, бездомный и мучимый комплексом неполноценных документов, я провел мои первые дни. Как давно это было!

Незаметно для себя я усвоил это словоупотребление. Так говорили мои новые знакомые: тётя Леля и соседи. Они говорили: «Была в городе». «Поехала в город», — как будто сами не были горожанами, как если бы их отношение к городской цивилизации еще хранило память о временах, когда всё, что составляло нынешнее Заречье, было не городом, а предместьем. Но и на другом берегу обыватели, отправляясь в недалекий путь, говорили: «Пойду в город», так что в конце концов получалось, что «город» — это просто улицы, на которых они не жили, и даже те, кто проживал в центре на главной улице, говорили, выходя из дому: «Пошла в город». Город всегда был рядом, но он не был ничьим домом, и все жили вокруг него. Может статься, никакого города не существовало, а был один сплошной пригород, вечный посад. Со своими князьями и башнями город предстал как фантом истории, посад был её реальностью. Город воплощал тайну бюрократии и величие власти; посад являл собой прозу жизни. Века кое-что переменили: и теперь конторы, отделы, комитеты и управления — это был, так сказать, невероятно размножившийся князь, между тем как жители, хоть и были прописаны в городе, оставались слобожанами. Город возвращался в посад, как блудный сын, как беглая жена. Город можно было разрушить, даже стереть с лица земли. Посад был бессмертен.

Однако забота о хлебе насущном гнала слободского жителя вон из его берлоги. Неподалеку от столовой Военторга (той самой), на другой стороне знакомой улицы виднелась вывеска магазина, я приблизился к толпе и спросил, кто последний; неизвестно было, что дают, неизвестно, начали ли давать. Подвизайтесь войти сквозь тесные врата, говорит апостол. По прошествии некоторого времени очередь пришла в движение, теснимый сзади, я достиг ступенек входа, поднялся, был сброшен, снова поднялся и понемногу втиснулся внутрь. Там колыхался какой-то туман, видны были головы со сбившимися платками, с гребенками, повисшими на растрепанных волосах: и вопли женщин метались, как птицы в вольере. Две очереди, в кассу и к прилавку, двигались друг другу навстречу. Пронесся слух, что дают по

полкило на руки. Немного спустя стали продавать по триста граммов. Наконец, воображение уступило место действительности, и действительность превзошла мечту. Лоснящиеся руки продавщицы накаляли щеки, накладывали товар большой ложкой на чашу весов, заворачивали в оберточную бумагу. «Люся! Больше не пробивай», — раздался её приказ. Давка повернула к кассе, я был среди последних счастливых. Толпа, сотрясаемая родовыми схватками, выдавила меня перед хрустальным саркофагом прилавка. У прилавка происходил яростный торг. Задние торопили передних, продавщица, сложив руки на перепачканной груди, с величавым спокойствием обозревала толпу, и все поносили друг друга. Запах кружил мне голову. Притиснутый к витрине, я не мог оторвать взгляд от серо-оранжевой горки в плоской вазе из флексигласа на толстой ноге: это были жареные в масле тресковые молоки в панировочных сухарях.

Разрешишь ли мне терпеливый читатель поделиться давним воспоминанием об огромном далеком городе, который я никогда больше не увижу? В квартире над нами, в комнатке с попугаем, с китайскими веерами на стенах, с портретами томных красавиц, проживала некая дама, чье имя потонуло вместе с Атлантидой моего детства. Время от времени она посещала нас и награждала меня карминовым поцелуем против моей воли, ибо я знал, что он мысленно предназначался не для меня, а для моего отца. И вот однажды, сходя по лестнице с пирожными, — это не были прославленные *madeleines*, но, клянусь, не уступали им, оранжевые с белой прослойкой крема, с нежной кремовой лепниной на глазированном верху и, должно быть, красиво уложенные веером по краям, с круглым бисквитным шедевром посередине, — однажды с вазой в руках, которую она несла перед собой, как жрица священную чашу, облаченная в переливчатый шелковый наряд, в туфельках на шатких каблуках, она поскользнулась и, рыдая от горя и неудач одинокой жизни, подбирала искалеченные пирожные и осколки стекла, когда я выбежал на лестничную площадку и взирал на неё с откровенным злорадством. Задаешь себе вопрос: где хранилась эта энграмма памяти, где пролегал извилистый ход, пробудивший во мне перед витриной с молоками воспоминание об этой вазе?

### **Книга Судьбы. Трактат о паспорте**

*К числу великих открытий нашего времени, сравнимых с открытием генетического кода или расшифровкой экзотических письменностей, по праву нужно отнести разгадку паспортного шифра. Истолкованию четырехбуквенного алфавита наследственности предшествовала гениальная догадка о том, что мы имеем дело*

именно с алфавитом; мысль о том, что древняя наскальная надпись представляет собою текст, а не орнамент, была первым шагом, за которым последовали попытки чтения. Разгадать смысл, таящийся в сочетании букв и цифр, из которых состоит номер паспорта, было бы невозможно, если бы не был осознан фундаментальный факт: это сочетание не может быть случайным.

Единство знака и означаемого, нерасторжимая связь буквы и сущности: текста и мира — такова основополагающая концепция, позволившая проникнуть в тайну паспортного кода; идея, восходящая к гениальным прозрениям классиков иудейской Каббалы.

Как известно, паспортный номер состоит из римских цифр, букв русского алфавита и арабских цифр. Примером расшифровки поверхностного, наиболее доступного слоя значений может служить истолкование римских цифр как индикаторов политической иерархии граждан. Четыре группы, на которые разделено население, подразделяются на сорок разрядов. Первая группа, от I до X разряда, — чины государственной безопасности, ответственные партийные работники, высшие офицеры, работники идеологического фронта, писатели, артисты. Вторая группа (разр. XI — XX) — члены их семей. Третья группа (XXI — XXX) — лица со стигмами государственной неполноценности: рабочие, служащие, труженики села, нищие и некоторые другие. Особый случай представляет четвертая группа, состоящая из заключенных. Строго говоря, разряды XXXI — XL не являются гражданами, так как у них вообще нет паспорта. Иными словами — этот любопытный вывод был сделан в последние годы, — паспортный код предусматривает наряду с реальными паспортами существование воображаемых паспортов. Имеются сведения о существовании пятой группы; по некоторым предположениям в неё входят лица с так называемым, пятым пунктом. Эти сведения нельзя считать доказанными. Помимо разряда, римская цифра имеет несколько других значений, в частности, может указывать на класс похорон — от кремлевской стены до лагерных полей захоронения.

Как уже сказано, эти и сходные с ними интерпретации, давно вошедшие в обиход, представляют собой образцы наиболее простого декодирования. Значительно больший интерес представляет комбинаторика, основанная на переводе букв в цифры (римские и арабские) и переключении цифрового кода на буквенный; появляется возможность кодировать важнейшие даты жизни (рождение, окончание средней школы, женитьба, арест и т. п.). Важно отметить, что элементами кодирования являются не только сами знаки паспортного номера и их группы (кодона), но и места в последовательности знаков, а также — в определенных случаях — пропущенные (подразумеваемые) знаки. С другой стороны, каждому символу отвечает понятие, выражающее ту или иную черту характера,

внешнего облика, анатомического строения, нервно-эндокринного аппарата и общей психофизиологической конституции индивидуума. В итоге мы получаем совокупную характеристику владельца данного паспорта. К сожалению, до сих пор невозможен *experimentum crucis* паспортистики — сравнение результатов чтения паспортного кода с расшифровками, хранящимися в государственных канцеляриях и архивах.

Удобства свернутой информации, какую представляет собой паспортный номер, очевидны. Материалы многостраничного досье упакованы в компактную формулу. Каждый знак номера отправляет к целым пластам информации о данном индивидууме, его анамнезе, поведении, окружении, его образе мыслей. Изобретение паспортного кода является гениальной находкой. Вновь напрашивается сравнение с генетическим кодом. Как уже говорилось, самым трудным в проблеме кода было понять, что код существует.

Упомянем о существовании параллельных трактовок. Их взаимное согласование — общая теория кода — есть задача будущего. В качестве примера можно указать на астрологическую интерпретацию: буквы и цифры паспортного номера соответствуют планетам, домам и другим элементам астрального статуса в день выдачи паспорта владельцу либо в момент его рождения.

До сих пор говорилось об описательной дешифровке. Другое, в настоящее время наиболее перспективное направление паспортной науки можно назвать динамической дешифровкой, или паспортной алгеброй. Дело в том, что паспортные номера представляют собой не только код (шифрованную информацию о гражданах), но и род математического исчисления. Операции над знаками этого исчисления позволяют описать весь жизненный путь человека, то есть не только разоблачить его прошлое, но и прогнозировать будущее вплоть до естественного конца. Паспорт сопоставим с талмудической Книгой жизни, о которой мудрец Аквива сказал: «Книга раскрыта, рука пишет, и заимодавцы взимают с человека положенное — знает он это или не знает». Выражаясь лапидарно, паспорт — это Судьба.

## VII

*Дорога к храму. — Воскресение Лазаря. — Сущность любви. — Честь, оказанная мне членами Общества старины.*

В один из тех дней я решил осмотреть главную достопримечательность города — по моим расчетам, она должна была находиться совсем близко, — но углубившись в улочки правого берега, заблудился. Встречные давали мне маловразумительные указания, иные с недоумением

глядели на меня или молча махали рукой в неопределенном направлении. Конца не было полуразрушенным палисадником, домишкам, где, казалось, никто не жил, огородам, где ничего не росло.

Некий старичок благообразного вида обрадовался возможности поговорить.

«Как же, как же!» — пропел он, кивая.

Я просил его объяснить, как пройти по возможности кратчайшим путем или, может быть, проехать. Он улыбнулся.

«Нет, сынок, туда не доедешь».

«А пешком?»

«И пешком не дойдешь. Нет его давно, милый! Снесли».

«Как это — снесли, — сказал я, — когда я сам его видел?»

«Где ж это вы видели?»

«С того берега, с набережной». И я пояснил, что монастырь должен находиться на речном мысе.

«А, да это всё одна видимость. Фата-моргана!»

«Я вас не понимаю».

«Так ведь и наука, — сказал он, — до сих пор не объяснила, отчего бывает обман зрения».

«Странно... Куда же он всё-таки делся?»

«Монастырь-то? А никуда не делся; взорвали. Подложили динамит и... Помню, как-то ночью, — продолжал он, — просыпаюсь от грома: что такое, неужто война началась? Мне моя супруга отвечает: “Спи спокойно. Это очаг суеверия взрывают”».

Я двинулся было дальше, старик смотрел мне вслед, я вернулся.

«Послушайте, — сказал я, — мы говорим о разных вещах. Монастырь, который я хочу осмотреть, — памятник общенационального значения, его основали еще греческие монахи. Он был построен на том самом месте, где по преданию князь Якун...»

«Верно, всё верно. А вы кто такой будете?»

«Не имеет значения: приезжай... Так вот. Отсюда пошло и название города. В то время здесь были густые леса. Только узенькая тропинка вела к обители. Потом стали селиться рыбаки, за ними земледельцы. Монастырь был окружен деревянным тыном. Ему принадлежали рыбные ловли, соляные варницы. А когда его опоясали каменными стенами, была построена особая водяная башня, где стоял котел на сто ведер. Во время осады в нем варили смолу и обливали ею захватчиков».

«Ах ты, батюшки».

«Это было во время первого набега татар. А во время второго набега...»

«Вот, а я что говорю? Я и говорю: разрушили. Подложили динамит и...»

«Вы полагаете, что в то время существовал динамит?» — сказал я, усмехаясь.

Мы добрались до конца пыльной улочки; впереди показались остатки леса или парка. Молодая поросль еще не успела вытеснить жухлую прошлогоднюю траву вокруг ржавых решеток и холмиков, почти сровнявшихся с землей, — это было заброшенное кладбище. Собор уже стоял над нами в голубом небе. Было очевидно, что старичок по каким-то причинам пытался отговорить меня от паломничества, и всё же он был не совсем неправ: нам понадобилось немало времени, чтобы достигнуть цели. Сквозь колючий кустарник мы спустились к оврагу, проваливаясь в снегу, добрались до ветхих мостков, вскарабкались наверх и по узкой тропинке вдоль стен, огибая башни и едва не срываясь в овраг, дотащились до ворот. От ворот, правда, остались одни столбы.

«Гостя к тебе привел», — сказал он, представляя меня человеку, который шел нам навстречу. Человеку, обладавшему сверхъестественным свойством появляться там, куда влекли меня случай, судьба или предназначение.

«Добро пожаловать, — весело сказал Фотиев. Мы обнялись. — Ладил баба в Ладогу, а попала в Тихвин! Я почему-то был уверен, что увижу вас здесь».

Мы обходили обломки упавших каменных крестов, прыгали по вросшим в землю, похожим на пемзу надгробным плитам. Вокруг раскачивался бурьян.

«Вы не обижайтесь, — говорил он, между тем как старичок, которого звали Иваном Игнатьевичем, следовал за нами на некотором расстоянии. — Все тут у нас сумасшедшие, знаете ли... Впрочем, он не зря морочил вам голову. Наряду с людьми, которые серьезно интересуются стариной, шляется всякое отребье. Эти ханыги одно время устроили у нас ночлежку, насилиу Бог избавил. Кстати, динамит или порох — не просто плод фантазии или, скажем так, прихоть народной хронологии. Есть известия, что он применялся уже в четырнадцатом веке».

Я сказал, что давно собирался посетить монастырь, о котором кое-что слышал, хоть и не был уверен, что он находится именно в этом городе.

«В нашем городе, — сказал Кузьма Кузьмич, делая ударение на слове «наш». — Вы ведь к нам насовсем, не так ли?»

«Угу».

«Тут иногда устраиваются экскурсии. Есть даже энтузиасты, члены Клуба охраны памятников старины, я сам его член... Мы добиваемся отмены решения снести монастырь».

«Неужели?» — вскричал я.



«Что неужели?»

«Так значит, его в самом деле хотят...?»

«Как вам сказать. Было решение снести. Только это, знаете ли, еще вилами на воде писано. Начальство сменилось, вопрос отложен для доработки... Но мне не нравится это слово. Какой такой Клуб? Мы намерены ходатайствовать о переименовании Клуба в научное общество. Кроме того, мы вошли в горсовет с инициативой организовать здесь музей истории города. Только ведь сами знаете: пробить стену бюрократического равнодушия трудней, чем пробить вот эту каменную стену!»

Я представил себе воинов в лисьих шапках, визжащую орду, лезущую из оврага с луками, со смоляными факелами. Века смешали память многих нашествий, и то, с чем не справились кривая сабля и таран, перетерли беззубые десны времени. Миновав наружный двор, мы вошли в проход, точнее, пролом между остатками второй стены; руины, поросшие кустарником, с островками еще не растаявшего почернелого снега, всё, что осталось от братских келий. Несколько поодаль находилась сравнительно хорошо сохранившаяся трапезная. Внутренний двор являл собой свалку столетий. Посередине стоял черный остов сгоревшего автобуса без стекол и колес. На шестах была натянута веревка, висело бельё. И над всем этим нависла, заслоняя небо, темная громада собора.

Как бывает, когда стоишь у подножья очень большого здания, — он казался ниже, чем был на самом деле. Чудовищная храмина почти архаической архитектуры: подклет из посеревшего белого камня и казавшийся укороченным, уходящий в небо шатер. Где-то там его венчала крошечная продырявленная луковица. Солнце блистало в проеме неба между шатром и звонницей; рядом с собором колокольня выглядела, как поводырь подле слепца.

«А он мне тут, пока шли, — прошелестел сзади нас старичок Иван Игнатьевич, — всю, что ни на есть, историю рассказал».

«Ученый человек, — отвечал, не сводя глаз с собора, Фотиев. — Чего ж ты хочешь?»

Он оказался много ловчее меня и помог мне взобраться по развалинам каменной лестницы на паперть. Иван Игнатьевич остался внизу, мы с Фотиевым вступили в сумрачный полукруглый зев. Внутри было холодно, пусто, там и сям под ногами блестели лужи. Циклопические прямоугольные столпы поддерживали нижний ярус, выше можно было различить перекрытия следующего яруса. Дальше всё терялось в мгlistой высоте. В углу находился круглый и полый столб с лестницей, ведущей на хоры, на его облезлой поверхности среди черных подтеков угадывалась единственная сохранившаяся роспись: выходящий из склепа Лазарь.

Послышался плеск воды, шлепанье лап и цоканье когтей по каменному полу — к нам бежало, махая хвостом, косматое вислозадое существо неопределенной породы и, если можно так выразиться, национальности.

«Знакомьтесь», — пробормотал хозяин. Мы выбрались из огромной пустой гробницы собора сквозь пролом на месте алтаря и задней стены. Здесь была галерея, некогда окружавшая храм. «Побудьте тут, походите, я сейчас...» — сказал Фотиев и как будто провалился сквозь землю: вместе с ним ретировался и пес. Если мне не изменяет память, в этот день должно было состояться пленарное заседание Клуба. Я устал, но не мог отклонить любезное предложение Кузьмы Кузьмича почтить, как он выразился, своим присутствием собрание, тем более что у меня возникла одна мысль.

Насколько мне известно, не сохранилось никаких фотографий архитектурного комплекса в городе N. Отсутствуют и сколько-нибудь подробные описания. В сущности, мне следовало бы ради удобства рассказа присовокупить к моим записям что-нибудь вроде плана, не говоря уже о том, что любая подробность, связанная с памятью о Кузьме Кузьмиче, с местами, где прошла его жизнь, драгоценна. Должен, однако, заметить, что топография монастыря была не просто запутанной, что объяснялось и многократными перестройками, и столь же частыми разрушениями. Она казалась мне непостижимой, в известном смысле ею и была: и вообще я давно уже не понимал, где я нахожусь. Быть может, только одно существо располагало исчерпывающим знанием всей планировки — немолодой желтоглазый и вислозадый пес, о котором здесь уже было сказано несколько слов. Вслед за ним и Фотиевым мы проникли в какое-то подобие каменоломни позади собора. Пес взбежал по узкой лестнице. Хозяин вытащил связку ключей. Низкая дверь с надписью «Посторонним вход воспрещен» была заперта на три замка, внутренний и два висячих. Фотиев объяснил, что кругом шляется всякое отребье. Темный тамбур, за ним еще одна дверь, и мы очутились в довольно просторной комнате. Я увидел стол с графином и председательским колокольчиком, несколько табуреток, в углу помещалась железная кровать. Над ней висела черная отсвечивающая икона. Стены и сводчатый потолок покрыты известкой, кое-где облупившейся. Пятна сырости. Железная печурка с трубой, выходящей в окошко-амбразуру в углублении стены. Стопки книг на полу. Полукруглый вход в соседнюю комнатку, очевидно, каморку келейника, занавеска. Всё это и сейчас стоит у меня перед глазами.

Комната, судя по всему, служила некогда обиталищем схимнику высокого ранга. От этого времени остался и черный, окованный желе-

зом сундук, на котором, как сфинкс на пьедестале, разлежся вислозадый пес (Фотиев величал его коадьютором). Некоторое время ушло на организационные вопросы. Председательствующий сообщил важную новость: представителей Общества, сказал он, будут слушать в отделе культуры горсовета, для чего необходимо подготовить документацию, диаграммы, показывающие рост числа проведенных мероприятий, и прочее. Тут же было сделано несколько дельных предложений как по порядку ведения заседания, так и по вопросу подготовки к отчету, и единогласно постановлено, что докладчиком в горсовете будет Кузьма Кузьмич.

Мы... но мне, очевидно, следует сказать, что, кроме меня, Фотиева (он и был, как следовало ожидать, председателем), брата Амвросия и милейшего Ивана Игнатьевича, на собрании присутствовали еще два или три лица, о которых я решительно ничего не могу сообщить; неизвестно, были ли они членами Общества или составляли публику. Безмолвные и невзрачные, они разместились на табуретках позади нас, кутаясь в свои сюртучки, а может быть, кофты. С того дня я их больше не видел. Неслышно поднялись они один за другим и исчезли, когда были окончены прения по докладу, не издав за всё время заседания ни звука; лишь однажды, когда Кузьма Кузьмич процитировал Достоевского, один из них, вздохнув, произнес: «Верно, ух как верно, батюшка!» — из чего по крайней мере можно было заключить, что он был интеллигентным человеком.

Следующим пунктом повестки дня были выборы новых членов. Единогласно новым членом был избран я. Одновременно я был кооптирован в президиум. Это была незаслуженная честь. Я не знал в точности, каковы обязанности члена Общества охраны старины, но было ясно, что принадлежность к организации, представителей которой слушают в горсовете, а в дальнейшем, как знать (об этом тоже шла речь), будут слушать и в горкоме партии, давала мне определенный общественный статус. Неизвестно еще, как получится в трамвайном парке, думал я, а тут по крайней мере... Я встал и растроганным голосом поблагодарил присутствующих, добавив, что приложу все старания, чтобы оправдать оказанное мне доверие, и буду хранить в чистоте высокое звание члена Общества, высоко нести знамя охраны нашей национальной старины, как учил нас...

Тут я почувствовал, что несколько зарাপортовался. Фотиев, улыбаясь, захлопал в ладоши, избавив меня от необходимости закончить речь. Другие тоже заплодировали, а коадьютор стучал хвостом.

«Ну-с. Что там у нас дальше?»

Дальше был доклад, предназначавшийся для сборника научных трудов Общества. За столом, рядом с председателем занял место мо-

лодой монах; как я уже сказал, его звали Амвросий. Черное одеяние делает стариков старше, а молодых еще моложе. Этому Амвросию было, вероятно, не больше двадцати лет, можно было дать и меньше. Можно было подумать, что бритва еще не касалась его щек. Что касается доклада, то мне трудно представить себе, как могло бы отнестись начальство к этой теме. Фреска с выходящим из грота Лазарем была, собственно, лишь отправной точкой для докладчика, основным же предметом брат Амвросий избрал изображение христианской любви в древнерусской живописи, точнее, любовь как её понимали иконописцы и православные мыслители. Однако рассуждения брата Амвросия вполне укладывались в рамки тематики и практической деятельности Общества; он сумел даже ввернуть несколько цитат из «Диалектики природы» Энгельса, что служило своего рода охранной грамотой. И я подумал, что начальству должно было нравиться, что во вверенном ему городе ведутся научные и патриотические изыскания; ближайшее будущее подтвердило мою оценку.

Кроме Энгельса, референт ссылался еще на одного автора, и автором этим, как нетрудно догадаться, был наш дорогой наставник. В докладе употреблялись такие выражения, как «по данным исследований К. К. Фотиева», «работами К. К. Фотиева установлено...». Докладчик сообщал, что «нами произведено диахроническое сопоставление по методу Фотиева». Заинтригованный, я слушал, стараясь не пропустить ни слова. Любовь древнерусские мыслители и следом за ними брат Амвросий понимали как борьбу противоположностей (здесь и пригодился Энгельс). Она представляла собой столкновение эроса и агапэ, то есть плотского вожделения и той любви, которую заповедал мифический — этот эпитет был вызван очевидной необходимостью — Иисус Христос. То есть в конечном счете борьбу Бога с дьяволом. При упоминании о враге рода человеческого коадьютор спрыгнул с сундука, потянулся и хищно зевнул, что у животных, как известно, служит знаком повышенного внимания. Тем не менее председатель счел нужным призвать пса к порядку. Чтение продолжалось. Бледные щеки брата Амвросия порозовели. Глядя вперед большими пустыми глазами, он нарисовал широкую метафизическую картину единоборства двух начал, двух видов энергии, эфирной и половой, двух стихий — света и тьмы; в этой борьбе, предваряя грядущую и окончательную победу высшего начала, поочередно одерживают верх власть сердца и темный бунт плоти.

Последние слова потонули в овациях. Начались прения, точнее, слово взял Кузьма Кузьмич Фотиев. Мне запомнилось лицо юного монаха во время выступления учителя; Амвросий смотрел в окошко, где по голубому небу проплывали его мысли. Несомненно, доклад был

предварительно просмотрен Фотиевым. Сам Кузьма Кузьмич держал в руках несколько исписанных листков. Зацепив за большие уши оглобельки железных очков, он поднес к глазам бумагу и прочел:

«Всякий великий народ, если он великий...»

Откровенно говоря, я не совсем понимал (в то время), какое отношение к докладу имела эта цитата. Правда, я не уверен, точно ли он передал слова, произносимые героем знаменитой книги в лихорадке, ночью, в доме, похожем на дом тёти Лели, и в городе, сходство которого с городом, куда я попал, не должно удивлять. Добавлю, что тут было некоторое противоречие с кардинальной идеей Фотиева. Ведь она основывалась не на вере, а на знании; научные основания его теории, подобно всякому объективному знанию, обладали свойством принудительности. Отсюда, мне кажется, и задача, выдвинутая Фотиевым, выглядела как некая повинность, как приказ. Но опять-таки я тогда еще не был в курсе дела, так что незачем забегать вперед.

«Всякий великий народ, — сказал Фотиев, снимая очки и откладывая бумажку, ибо он знал эти слова наизусть, — верит и должен верить, что в нем одном заключается спасение мира, что живет он на то, чтобы приобщить все народы воедино и вести их в согласном хоре к окончательной цели, всем им предназначенной. Вот так, — закончил он. — Таким макаром».

«Верно, батюшка. Ух как верно!» — промолвил кто-то из заднего ряда. Желających выступить больше не оказалось, и председатель объявил заседание закрытым.

После того, как все разошлись, я задержался на некоторое время в келье моего друга Фотиева. Мне хотелось узнать подробнее, в чем состоят обязанности члена Общества. Вошел Амвросий, держа под мышкой таз с высохшим бельем. Он поднял крышку сундука и стал складывать белье. Кузьма Кузьмич смотрел на меня с улыбкой.

«Обязанности? Присутствовать на собраниях, слушать доклады — вот и всё. Может, сами что-нибудь захотите доложить».

«У меня к вам просьба, — сказал я, дождавшись, когда молодой монах выйдет. — Вы сказали, что о Клубе знают в горрке партии. Так вот, нельзя ли... я даже не знаю, как сформулировать».

«Формулируйте, не бойтесь».

«Не могли бы вы как-нибудь за меня замолвить словечко?»

«Не понял», — сказал Кузьма Кузьмич.

«Видите ли, — я прочистил голос, — у меня имеются некоторые сложности с документами».

«У кого их нет! Но ведь вы, как я слышал, уже прописаны».

«Пока еще нет, то есть меня обещали прописать. Но мало ли что...»

«Как член Общества охраны старины вы являетесь полноправным гражданином нашего древнего города. Мы же со своей стороны можем войти с ходатайством».

«А что это за работы, о которых упоминалось в докладе?» — спросил я, выражая свою благодарность Кузьмичу тем, что проявляю интерес к его научным исследованиям.

«Могу ответить; откровенно говоря, я ждал этого вопроса. Видите ли, в чем дело: у меня есть несколько важных, э-э... мыслей, над которыми я работаю уже много лет. В сущности говоря, дело всей моей жизни... Фрося! — позвал он. — Вообще-то его зовут Амвросий, красивое имя, не правда ли? Означает буквально «пахнущий амброй».

Ученик заглянул в комнату.

«Приготовь-ка нам что положено».

Открылась дверь, в келью снова взошел брат Амвросий, неся что положено... Или нет: взошла. Ибо случилась неожиданная метаморфоза. Брат Амвросий был теперь без рясы, без скуфьи, весь в белом, а вернее, вся в белом, так как брат Амвросий оказался девушкой.

«Ладно, мы не смотрим, — сказал Кузьма Кузьмич. — Стесняется», — пояснил он.

Я не знал, что ответить, и сделал вид, что осматриваю келью.

«Ну он, ну она, — пробормотал Фотиев, — какая разница?»

## VIII

*Заметки о погоде. — Поездка по живописным окрестностям. — Рапорт дозорного и сомнения князя. — Вечернее чаепитие. — Мысли на сон грядущий.*

Мне было предложено зайти на следующей неделе, когда вернется из отпуска директор, — администрация не возражала против принятия меня на работу, но и не могла без его резолюции окончательно решить вопрос, — и, выйдя из конторы трампарка, мы с Алевтиной направились к воротам депо, чтобы сесть в поезд, выходящий на линию. Был конец дневной смены, сырой, прохладный, темноватый день, сиреневые небеса над городом густели и разгорались темным огнем; металлический отблеск упал на лица людей, на стекла пустых составов, которые медленно двигались нам навстречу с зажженными фонарями; кондукторши спрыгивали со ступенек; кто-то подошел к площадке нашего вагона и позвал Алевтину. Ветер нес предчувствие непогоды. Охваченный тревогой, я сидел в полутемном вагоне. У колес стояли двое, к ним присоединилась моя подруга, донеслись об-

рывки разговора, смех и сплевывание; мужики поглядывали на небо, затем один из них затер башмаком окурки, и оба двинулись к конторе. Она крикнула им что-то вслед, один обернулся. Вспыхнули ртутные лампы на столбах. Я наблюдал за происходящим, которому мертвенно-яркое освещение придало тайный зловещий смысл. Алевтина небрежно махнула мне — это был знак подождать — и побежала вслед за ними. Я убеждал себя, что мне некуда спешить, не надо ничего делать, впереди целая неделя пустых, спокойных и свободных дней, у меня есть жилье и будет прописка. Сейчас она вернется, говорил я себе, мы успеем доехать до Александра Невского, пока не начался дождь, и разоидемся, она к себе, я к хозяйке.

Я испытал судорогу одиночества. Тот, кому она не знакома, едва ли это поймет. Я сидел в пустом вагоне трамвая, уговаривал себя, что свет не сошелся клином на этом парке, что скорей всего меня или нас обоих водят за нос, что ж, найду себе другое место, подумаешь — горе, а если и не найду, какая разница? Я всё понимал и прекрасно отдавал себе отчет в свойствах моей несчастной, отравленной вечной подозрительностью натуры. И всё же за этим что-то стояло, и я не мог не поддаться соблазну строить умозаключения, не мог забыть о том, что жизнь в конечном счете всегда оказывается хуже наших ожиданий. Обстоятельства были сильнее меня, и люди вокруг меня были, по видимому, солидарны в своем желании подставить мне подножку. Меня охватило чувство злокачественного народа; тот, кому оно знакомо, поймет меня. Мне стал понятен смысл разговора, стало ясно, зачем явились эти двое. Первые капли, словно капли свинца, упали на песок, на рельсовые пути. Отрывочные реплики сложились в заговор. В этом городишке известия распространялись неизвестными мне путями, мгновенно, как электрические импульсы; люди подмигивали и кивали друг другу, обменивались незначачими словами, лапидарным матом, и многозначительно сплевывали, и сладострастно растирали ногой окурки, и всё это делалось с умыслом, всё становилось известно, все знали всё друг о друге. Я был почти уверен, что, вернувшись домой, услышу от хозяйки, что она передумала. Борис Борисович вернул ей мой непрописанный паспорт, и это было еще самое лучшее, что он мог сделать. В эту минуту появилась Алевтина.

Сквозь редкие струйки дождя, ползущие по стеклу вагона, я видел, как она взялась за поручни, через мгновение поехала дверь. Алевтина заглянула внутрь. Я угрюмо смотрел на неё и не мог сообразить, о чем она говорит.

«Ну его к Богу в рай, он там никак не разберется...»

«Кто?» — спросил я.

«Да ну его...»

Оказалось, что, пока мы тут дожидались кого-то, несколько составов уже вышло на линию.

«Эй, Петухова!» — крикнул кто-то. Она с досадой отмахнулась.

«То да сё, — сказала она. — То вдруг закусывать сел. Дружки явились. Я говорю: “Сколько тебя ждать?” — “А нам спешить некуда!” — “Тебе некуда, — я говорю, — а меня человек ждет”. До меня наконец дошло, что она говорит о вагоновожатом. — “В общем, поехали”», — сказала Алевтина, провела гребнем по мокрым волосам и уселась на тумбу вожатого.

«Как это?» — спросил я.

«А вот так. Наука будет. Придет — а нас уже ищи-свищи». — Она засмеялась.

Дуга толкнулась о провод, вспыхнул свет в двух пустых салонах, под ногами у Алевтины заурчал мотор. Внезапно молния осветила грифельное небо, и грянул гром. «Дворник», махая из стороны в сторону, не успевал стирать со стекла потоки воды. Она ударила ступней о педаль сигнала, вагон выворачивал из ворот.

«Петухова!» — слабо заорал голос позади нас.

То был старый трамвай, поезд тридцатых годов, какие ходили по улицам моего детства, гремучий, мотающийся и продуваемый ветром, с ручкой скорости, которую вожатый крутил к себе, с открытыми площадками, с искрами, сыпавшимися из-под овальной дуги, с пением и скрежетом колес на поворотах. Но еще ни разу в жизни мне не приходилось стоять рядом с водителем, держась за никелированную штангу, ни разу в жизни я не ездил в качестве сотрудника, хотя еще и не принятого на службу, но уже своего человека. Трамвай, качаясь и разбрызгивая воду, шел к кольцу, где ждали под дождем первые пассажиры. Глядя прямо перед собой неподвижными, мертвенно-блестящими глазами, Алевтина била ногой в педаль, трамвай со звоном пронесся мимо остановки, машущие руками люди остались позади. Таким же аллюром мы проскочили следующую остановку.

«Сзади, — проговорила она, вперяясь в мутную даль, — Да не там... Сзади меня, под сиденьем. Поставь в окошко...»

Я прикрепил справа перед ветровым стеклом фанерку с надписью «В парк». Вагон летел вперед.

Она сказала: «Обними меня».

Навстречу нам шел с зажженными огнями товарняк — и прогремел мимо; едва разминувшись, мы оказались перед развилкой, трамвай круто свернул с визгом и пением, рассыпая снопы искр, ослепительно лиловых, зеленых, оранжевых, мотор рокотал, Алевтина вела



пустой состав одной ей известным путем. «Дворник» равномерно, неумолимо скользил по стеклу, дождь лил, не усиливаясь и не переставая, больше не было пассажиров и остановок, возможно, это была хозяйственная ветка. В полутьме с обеих сторон уносился назад кустарник, проплывали заброшенные склады, пустыри, штабеля полусгнившей древесины, затем мы углубились в лес, кто-то стоял на путях. Алевтина отчаянно зазвонила. Поезд промчался мимо неподвижной серой фигуры, человек был в брезентовом армяке и кашпошоне. Немного погодя мы обогнали лесной отряд. Лошадиные копыта разбрызгивали лужи, всадники с копытами качались в седлах.

Вдруг показалась мачта с табличкой. Алевтина отвела ручку от себя. Трамвай остановился, и одинокий пассажир, стряхивая воду с картуза, прошел мимо нас в салон. Алевтина повернула ко мне блестящие глаза.

«Испугался?.. Да куда мы денемся».

В самом деле, мы очутились в городе, и я узнал маршрут, по которому ехал в день моего прибытия; вскоре показался и мост. Клубы серых облаков ползли над рекой, дождь прекратился. Вместе с тем было впечатление, что мы подъехали к мосту с другой стороны. Алевтина затормозила, на площадку вскочил мужик, один из тех, что разговаривал с ней в трамвайном парке.

«Что ж ты, етить твою! Куды тебя понесло?»

«А вот будет тебе наука, — отвечала Алевтина. — Скажи еще спасибо, что остановилась».

«Ох, Петухова, доиграешься. А карта где?»

«Я почем знаю».

«Путевая карта, едрить твою!..»

«Не моё дело», — сказала Алевтина, после чего мы спрыгнули со ступенек вагона; улица Александра Невского была за углом.

Победа князя была обеспечена с того момента, когда он узнал о том, что победа предрешена, другими словами, когда он исполнился решимости победить во что бы то ни стало: чудесное знамение должно было придать этому решению высшую и неопровержимую объективность. Тучи разошлись, и день, клонившийся к закату, стал светлей и прозрачней. Дозорный, один из тех, кто заметил ладью под серебряным парусом, стоял на своем; в конце концов его привели к князю. Александр, выслушав его, сказал: «А ты не брешешь? Побожись». Дозорный осенил себя двуперстием. «Сам видел, — спросил Александр, — своими глазами? Ты, может, выпил?»

Дозорный отвечал, что не брал в рот ни капли; вот так же, как теперь видит князя, видел святых братьев в коротких, темных, как закипающая кровь, плащах и гребцов, одетых тьмой. «Так близко видел?» — перебил его Александр. По словам дозорного, сажень в ста от берега. «Пошел, — сказал князь. — И никому ни слова».

Спрашивается, почему он велел гонцу помалкивать? Почему сам не вышел к дружине, чтобы возвестить о знамени, зачем не огласил окрыляющую весть? Затем, что весть эта могла ослабить волю бойцов, вместо того чтобы её укрепить. Каждый мог сказать себе: коли всё решено, для чего рисковать жизнью? Это один ответ. Другой ответ — что князь и после допроса не был уверен в случившемся, ибо создатель во все не щедр на чудеса. Полководец мог поверить искренности дозорного, как верят в искренность больного, описывающего галлюцинацию. Третий ответ состоит в том, что князь увидел в явлении братьев истинную волю небес. Именно поэтому нельзя было показывать, что он доверился счастливому предзнаменованию. Напротив, он должен был вести себя так, словно никаких обещаний не было. Ибо истинно верующий не верит. Провидение не любит, когда его намек слишком поспешно толкуют как обязательство; поступай так, словно знаешь, что небесной воли нет или что она постановила не вмешиваться. «Управляйтесь сами, — сказал Господь, — а Меня нет».

Она пробормотала: «Может, зайдешь? Чайку попьем». Итак, мы должны были делать вид, что не видим, как судьба взмахнула рукавом. Вести себя так, словно ничего не случилось. Но разве решение уже не было принято, разве мы не были тем, чем должны были стать, чем уже стали в глазах соседей, тёти Лели, да и в нашем собственном представлении? Мораль предместья не осуждала супружескую неверность, но требовала замены брака, в конце концов на этом настаивал и муж Алевтины. В темной глубине моего мозга еле слышно запел рожок вожделения, словно мелькнул вдали серебряный парус, и ноги понесли меня к дому Алевтины.

«Чайку попьем», — сказала она. С детства я любил темные лестницы, они давали мне ощущение, похожее на ощущение зверя, когда он забирается в берлогу, и мне стало тепло и уютно, едва только мы вошли в подъезд и поднялись по скрипучим ступеням. Она отворила дверь ключом.

«Идите поиграйте...»

Девочки были изгнаны на улицу и больше не появлялись. Алевтина заварила напиток, молча подала и смотрела, как я пью.

«Что это за сорт такой?» — спросил я.

«Нравится?»

Я выпил чашку, она налила мне еще, медленно прихлебывала из своей. Чай странно действовал на меня, всё замедлилось. Медленно хрустели баранки в её сильной руке; она подносила блюдце ко рту, вытягивала губы и дула, медленно поднимала на меня потемневший взгляд. Я уже не удивлялся тому, что дети не вернулись домой, что наступил поздний вечер.

«Куды ж ты теперь, кругом балуют».

«Пойду, — сказал я. — Перед тетей Лелей неловко. Она, наверное, уже легла».

«Тем более, разбудишь».

Поднявшись было, я упал на стул. Сидя над пустой чашкой, я слышал, как Алевтина ходит между кроватью и шкафом. Из сундука явилось большое стеганое одеяло, она несла его к кровати, как взрослого больного ребенка. Затем, словно в замедленном фильме, она вышла из комнаты. Вышел и я. Когда я вернулся, Алевтина лежала под одеялом и оглядывала широкую кровать, как прилежный работник проверяет чисто прибранное рабочее место. Убедившись, что всё на месте, она опустила глаза на грудь, прикрытую кружевной рубашкой, приподняла край одеяла и оглядела всю себя. Одеяло опустилось, как пелена снега. Я присел на край кровати. Она смотрела перед собой, поджав губы, перевела взгляд на меня.

«Что, так и будем сидеть?» — сказала она спокойно.

«Ты меня чем-то опоила», — сказал я смеясь.

«Чай как чай», — возразила она.

Я покачал головой.

Она сказала мягко:

«Уже поздно. Ложись. — Прижав к груди подбородок, она провела пальцами по кружевам. — Нравится тебе?.. В универмаге вчера купила. Нет, пожалуй, — проговорила она, — лучше снять. А то сомну. — Она села и с большой осторожностью сняла с себя рубашку. — На, повесь».

Я повесил рубашку на спинку кровати.

«Туши свет».

Мы молчали.

«Чего ты? Ну, тогда я сама встану и потушу».

Я поплелся к выключателю, ощупью вернулся и сел. Понемногу стали видны никелированные шишечки кровати, лицо Алевтины белело в сумраке, мертвые губы были сжаты. Из двух окон, между черными растениями, в комнату сочился свинцовый сумрак, серебристый свет.

Шорох, угрюмые вздохи вещей.

«Может, я пойду?..»

«Иди», — был ответ.

«Аля», — сказал я.

«Чего Аля? — сказала она насмешливо. — Завлек девушку, а сам! Иди, чего сидеть-то...»

«Всё как-то смешно получается. Как-то неожиданно...»

«Вот те раз».

«Не могу», — сказал я.

«Ну, не можешь, и не можешь. Что я, силком, что ль, тебя затаскивала?»

Я нагнулся и стал в темноте расшнуровывать ботинки. Некоторое время спустя она осведомилась, в чем дело.

«Узел...» — пробормотал я.

Она села на кровати.

«Давай ногу».

«Грязный ботинок. Аля...»

«Давай ногу, говорю».

Я положил ногу на одеяло, она пыталась развязать шнурок зубами. Взялась двумя руками и разорвала шнурок. Ботинок упал на пол; она стянула носок.

«Другую ногу давай».

Я стоял перед кроватью, освободившись от одежды, моё разоблачение продолжалось страшно долго, но волнения, как ни странно, я не испытывал, разве только стыд и неловкость за то, что не сумел проявить подобающий пыл. Не было у меня и отвращения к этой женщине, о, нет, мне было хорошо с ней, я, можно сказать, даже любил её. Я любил её, потому что был ей благодарен. Мягкий голос Алевтины, спокойная деловитость, с которой она готовилась к брачной ночи, её грудь, белевшая в темноте, внесли покой в мою душу. Или это был чай? Предательский любовный напиток, вместо того чтобы возбудить во мне страсть, парализовал меня. Я ощутил сладость безволия, мужское бремя инициативы свалилось с меня, я больше не отвечал за собственное тело. Я понимал, какой ценой куплена эта безответственность: ценой порабощения. Ну и что? Жизнь укатала меня настолько, что временами я мечтал о самоубийстве.

Смешно сказать, но и очутившись в постели рядом с Алевтиной, я продолжал с каким-то упоением думать о самоубийстве. Разве оно не было лучшим способом освободиться от ответа на любые вопросы, избавиться от решений, уйти, ускользнуть? Я вспомнил странную мечту моей юности: одеться невидимой броней и оставить с носом всех, кто был сильнее меня. Вот так же выглядело в моих фантазиях самоистребление: как будто я нахлобучил шапку-невидимку; меня больше не

было, я был неуязвим. И в то же время я оставался в этой жизни, может быть, оттого, что не мог вообразить абсолютное небытие. Жизнь с Алевтиной, комната с цветами на окнах, никелированная кровать, независимость под видом покорности, свобода внутри рабства, — не была ли она этой самой жизнью под шапкой-невидимкой? Сейчас, думаю я, соберемся с силами, и я исчезну. Вперив глаза в прозрачную тьму, мы покоились в кровати-саркофаге, словно царственные супруги.

«Спишь?» — спросила она, зная, что я не сплю.

«А ты?»

«Я тоже... Обойдемся», — сказала она.

«Ты на меня рассердилась?»

«Я думала, наоборот: ты на меня сердит».

«За что?»

«Да за это самое. За то, что мы тогда с ним при тебе... А что мне было делать? Он бы всё равно не отвязался. Еще начал бы буяннить... Забудь. Это всё ерунда. Он мне всё равно не муж».

«А я?»

Она усмехнулась.

«Не думай. Чем больше думаешь, тем хуже».

«Если хочешь, — сказал я, — попробуем».

«Чего пробовать. Давай спать».

Прошло сколько-то времени, её губы снова зашевелились.

«Я думала тебе угодить, рубашку купила. Но раз не хочется, то и не надо».

«Да?» — пробормотал я. Она обняла меня и сказала: «Другой раз. Родный ты мой. Главное, не думать».

«Ступайте поиграйте...» Я помню её голос, фразу, брошенную близнецам, тихим и послушным девочкам, которые всегда перешептывались, всегда сидели вдвоем на полу и если играли, то непременно в маленькие предметы: перышки, клочки бумаги, в какую-нибудь отломанную руку от целлулоидной куклы. Эту руку, завернутую в тряпицу, они понесли с собой, обе в одинаковых пальтишках, в стоптанных башмаках, меж тем как мать следила за ними в зеркале, распустив свои тонкие, казавшиеся негустыми волосы, со шпильками во рту. В коридоре девочки побежали, детский топот затих на лестнице. С вялой медлительностью она свернула волосы узлом, принялась заваривать чай, я спросил: «Что это за сорт?» И она сидела напротив меня и с хрустом давила сушки.

И еще: «Чем больше думаешь, тем хуже».

Я помню всё, что происходило в этот вечер, но всякий раз, когда я перебираю подробности, они выстраиваются по-новому. Я собрался идти на улицу Александра Невского. «Иди, — сказала она насмешливо. — Чего сидеть-то». Немного погодя она прошла по комнате с толстым стеганым одеялом, так несут одетого ребенка. Я вышел, отхожее место находилось в конце коридора. Во всем доме не слышно было ни звука. Я намеренно задержался, и когда вошел в комнату, Аля уже лежала, прикрытая до середины груди одеялом, в нарядной кружевной рубашке, сквозь которую просвечивала её кожа. Незаметно ступила ночь, девочек приютила соседка. Алевтина приподняла одеяло. Медленно и вдумчиво она оглядывала себя, свою грудь, плечи. Мне показалось, что чай странно действует на меня, и я сказал ей об этом. Она ответила: «Чай как чай».

Но рубашка была слишком дорогая и красивая; как царская мантя не предназначена для того, чтобы в ней заниматься делами, так и рубашка не предназначалась для того, чтобы в ней, ну да, чтобы в ней спали. Аля села в постели, придерживая подбородком одеяло, протянула мне рубашку, я выключил свет, уселся рядом с кроватью и стал думать о самоубийстве. Это было что-то вроде эквивалента любви. Но одновременно я помнил о том, что под одеялом на ней ничего нет. Я представил себе, какое это восхитительное чувство — прохладное прикосновение толстого одеяла к животу и соскам. Потом эта история со шпурками.

Мы лежим рядом. На стене чернеет серебристый провал зеркала, рядом темно отсвечивает стекло в рамке, смутно белеют лица, официальная история семьи. Муж-молочага в фуражке и с чубчиком, молодая ясноглазая тётя Леля, голова к голове с покойным супругом, Аля с двумя младенцами в обеих руках. Мне не нужно вглядываться, я знаю эти фотографии наизусть. И когда я исчезну, то буду тоже красоваться в этой рамке, паспортной «фоткой» с уголком для печати в самом низу. Кто-нибудь будет разглядывать этот иконостас, спросит: «А это кто?»

Мне кажется, что она сердится на меня, и она в самом деле разочарована, обескуражена, подозревает, что сделала что-то не так, она простая баба, а я образованный; или что у меня что-нибудь не в порядке, ей хочется меня успокоить, ободрить, и она начинает говорить мне, чтобы я ни о чем не думал, не придавал значения. Чутьем она понимает, что вместе с одеждой спадают все преграды, всё становится условностью, мы наедине друг с другом, мы древняя пара прародителей. Казалось бы, всё упрощается до предела. Ничуть не бывало. Мы лежим в темноте. Мы ничего не называем, подавленные стыдливостью, другое имя которой — суверенный страх. Мы не можем называть

вещи своими словами, потому что слова обладают магической властью, слова могут испортить всё окончательно, могут навсегда искалечить. Должно быть, она считает своей обязанностью внушить мне, что совокупление для неё не так уж важно. Не в этот раз, так в другой. Она просит меня погладить её, словно просит прощения, и сама кладет руку мне на живот, водит рукой по моей коже, по груди и животу; мне становится легче, я начинаю чувствовать себя несправедливо обиженным, гонимым, вся моя жизнь исковеркана, я нахожу в этой мысли сладость и утешение. Ночь разгорается, и я различаю все подробности, металлические украшения на спинке кровати, фотографии в рамке; окна пылают оловянным огнем. С улицы раздается свист, мы оба смотрим туда, где в молчаливой муке извивается кактус, и в это мгновение её рука, воспользовавшись тем, что мы смотрим в окно, сползает к моим ногам, мимоходом задев вялую взбудораженную плоть, затем снова поднимается к животу, скользит вниз, так повторяется несколько раз; Алевтина что-то шепчет, я поворачиваюсь к ней, я думаю, что «он» таки добился своего, издав себя к себе её руку, теперь он требует, чтобы она завладела им, опасная игра, она не поддается, бродит вокруг и не слышит трубного зова, ибо теперь он трубит во тьме, он сам как тромбон.

## IX

*Высокий уровень культуры в городе. — Долг по отношению к учителю. — Паломничество к местам, с которыми связано столько воспоминаний. — Скромный призыв к милосердию. — Poleмика с ветераном. — Неприятность, постигшая автора на железнодорожной станции.*

Признаюсь, для меня было неожиданностью встретить в провинциальном захолустье столь интенсивную умственную жизнь. Я привык стесняться своих духовных интересов, даже скрывать их: как известно, они сильно осложняют жизнь. Не говоря уже об агрессивной народности начальства, которое, впрочем, вполне справедливо видит в человеке, умеющем писать без ошибок и изъясняться правильным языком, вражеский элемент, сам народ — я это твердо знал — без всякой подсказки свыше относится с подозрением к лицам этого сорта, смутно чувствуя в них угрозу своему образу жизни, подобную угрозе, которую таит в себе присутствие инородцев или иностранцев; а народ, как известно, не ошибается. Тем неожиданней были для меня терпимость и внимание тёти Лели, проявленные буквально с первых минут нашего знакомства. Не менее приятным сюрпризом оказалось существование в нашем городе Общества ревнителей старины.

В свою очередь, я оказался близок членам Общества благодаря моей любви к истории. Погрузиться в историю значило спрятаться в ней — и не это ли свойство города останавливать время влекло меня, сознавал я это или нет, на дно воронки? Повторю то, что уже сказал: нечто засасывающее, нечто, если позволено будет так выразиться, влагищное было в этом краю; распростертый под одеялом небес, город не отличал любовника от насильника, не отпускал пришельца, обволакивал его и высасывал из него всю самость. Город N, существующий ныне лишь в моей памяти, подменил моё существо: «я», которое водит сейчас рукой, держащей перо, уже не то «я», что некогда озидало неизвестный перрон, рельсы и станционные здания; не то, которое трепетало в сознании своей государственной неполноценности, столь похожей подчас на мужскую неполноценность. То было зябкое, зыбкое, студенистое «я», жалкое, но живое, и город пожрал его. Новое «я», уже не человеческое, но авторское, больше не обретается в «реальной жизни», его заменил текст, так что вся прежняя моя жизнь, и та, что заставила меня искать убежища на дне страны, и та, что вынудила вновь бежать, оказалась не чем иным, как предварением этих записок.

Воротаясь на другое утро домой — ибо всё же дом тёти Лели, а не кров моей любовницы оставался для меня домашним очагом, — я как-то мало и неохотно думал о том, что было у нас с Алевтиной. Если бы она тотчас пожелала развестись с мужем и зарегистрироваться со мной, я бы и тут не сопротивлялся; правда, такого намерения она пока что не выражала. Обо всех этих вещах, повторяю, я почти не думал, они были как бы даже и не моей заботой. Утро сияло, как в первый день творения. Едва завидев меня, тётя Леля ушла в огород, я усмотрел в этом новый знак молчаливого и тактичного согласия. Происшествия жизни, как времена года, сменяли друг друга сами собой, им не надо было противиться, их не следовало торопить. Я поднялся к себе, чтобы записать то, что услышано было мною из уст Фотиева.

Дело в том — пора сказать об этом со всей определенностью, на какую уполномочили меня память об учителе и наша дружба, — дело в том, что никаких «работ», на которые ссылался в своем докладе брат Амвросий, на самом деле не существовало; сам Кузьмич не раз подчеркивал свою неприязнь к печатному слову. Вопреки подозрению, которое, может быть, возникло у читателя, Общество старины не носило никакого конспиративного характера, упаси Бог. Напротив. Общество признавалось полезным патриотическим начинанием. На особо торжественных заседаниях практиковался похвальный обычай избирать символический почетный президиум во главе с секретарем горкома. Вместе с тем, я думаю, каждому понятно, что не могло быть и речи о публикации трудов Фотиева; даже соваться с ними в какую-нибудь редакцию было бы рискованно.



И всё же не внешние препятствия были причиной тому, что Кузьма Кузьмич Фотиев, как Сократ, не оставил письменных трудов, а принципиальное отношение учителя к вопросу, которого я не могу не коснуться, восстанавливая свои тогдашние записи. Именно: вопросу о собственности и деторождении. Отказ от потомства находился в числе главных требований, предъявляемых Кузьмой Кузьмичом к человечеству. Духовное детище, каковым должен был стать его *opus magnum*, будь он написан и обнародован, воплощало бы именно то, чему противился, от чего предостерегал наш учитель, в чем видел соблазн и грех. Духовное детище — трактат, статья, какие-нибудь наброски, *pensées*, всё что угодно — неизбежно превратилось бы в собственность, столь же непозволительную в его глазах, как и собственность материальная.

Мне представилось, что сама судьба указывает мне на моё призвание. Я понял, для чего я оказался в городе, и более того — я обрел цель жизни. Мысль эта была настолько важной, что отвлекла меня от других забот, от устройства на работу, от прописки, от моей подруги. Я должен был зафиксировать на бумаге то, что наставник не пожелал выпустить в свет в качестве основополагающего философского труда. Сохранить для потомков образ и учение Фотиева — вот моя жизненная задача, я должен был стать его евангелистом, его Плутархом, его Эккерманом. Конечно, трудно было не примешать к услышанному из его уст собственные домыслы или, вернее, собственные мои чувства. Увы! Даже эти наспех сделанные заметки утрачены. Мне предстоит проделать работу заново, лучше сказать, предстоит труд воскрешения, если позволено будет воспользоваться любимым словом и фундаментальным понятием покойного К. К. Фотиева.

Кстати, о работе. Хотя вопрос был в принципе решен, поступление моё на работу в трампарк вновь задержалось, теперь уже, правда, по другой причине. Как мне объяснили в расчетном отделе, где я должен был занять место женщины, болевшей уже много месяцев, женщина эта прошла инвалидную комиссию, заключение направлено в отдел кадров, но в отделе кадров ничего не могли предпринять, так как заключение пока не поступило; мне было предложено зайти через две недели. Но это было даже к лучшему, так как всё еще не вполне был разрешен вопрос о прописке. Паспорт мой хотя и находился в милиции, откуда ожидался самый благоприятный ответ, но о том, чтобы я отправился за ним, не могло быть и речи, пойти самой тётя Леля тоже не решалась, не желая докучать Борису Борисовичу. К тому же начальник, как оказалось, находился в отпуску; по некоторым сведениям, он проводил его у родни в деревне. Идти же к заместителю, не дожидаясь возвращения «самого», было неудобно.

Куда спешить? Я чувствовал себя легко и спокойно в доме тѣти Лели, спокойно и просто у Алевтины, обыкновенно уходившей на работу, когда я еще спал; напившись чаю, я отводил девочек в детский сад на продленный день, а затем брел пешком в город, через мост, под которым с величавой медлительностью влеклась одетая в сизую чешую река — куда она текла? Невозможно было понять, глядя на зыблющиеся, мерцающие, стальные и молочные воды. Я сидел на набережной перед оградой, на скамье, где некогда очнулся, разбуженный пенсионером, которому я сам, быть может, приснился. Почему бы и нет? Мне казалось, что я вижу сон о самом себе, о человеке, который был мною или мог бы стать мною. Как и в тот день, с набережной открывался широкий вид. Как зачарованный, погруженный в воспоминания о том, чего никогда не было, я созерцал противоположный берег, мыс, образованный притоком, и наш монастырь. Лишь боязнь показаться навязчивым мешала мне немедленно направиться к Кузьме Кузьмичу.

Я льстил себя надеждой, что моѐ общество для него небезразлично. Похоже, он был не прочь приобрести в моем лице не только ученика, но и равноправного собеседника. За свою жизнь я наслушался рассказов о том, что сбор подаяний будто бы чрезвычайно доходный промысел. Не касаясь вопроса о том, в какой мере это относилось к Фотиеву, — его отношение к собственности и наживе делало, впрочем, такое обсуждение излишним. — замечу, что, соединяя в образе нищего два противоположных представления, народная молва выражает амбивалентное отношение к этой профессии; с одной стороны, грех не подать убогому, а с другой — за ним подозревается неслыханное богатство. Как бы то ни было, пренебрегая ради наших бесед добыванием хлеба насущного, Кузьмич рисковал потерять выгодное место на вокзале.

Позволю себе короткое отступление. Должен сознаться: мысль о том, что и я мог бы стать нищим, что я рожден быть нищим и, кто знает, в одно прекрасное утро надену рубище и пойду по вагонам пригородных поездов, уже тогда не казалась мне абсурдной. Может быть, меня останавливала только высокая конкуренция. Предмет занимал меня с разных сторон, так что я не мог не задуматься о некоторых особенностях этой специальности. Наставник говорил мне о своем проекте создать профессиональную школу в монастыре, предлагал мне даже занять должность доцента. «Что же я буду преподавать?» — спросил я. «Теорию, — отвечал Фотиев. — На первых порах вы могли бы прочесть курс общего нищенства, развить тезисы, которые вы только что изложили».

Я поделился с ним своими опасениями относительно потери вокзального места. Он ответил:

«Представление о том, будто на вокзалах хорошо подают, преувеличено. А у нас — вы сами видели. Приезжих мало. Хотя, конечно, многое зависит от сезона. В среднем можно сказать, что подаваемость растет летом и снижается в холодное время года, но при этом колеблется в зависимости от разных факторов, которые не всегда легко учесть. В общем, — заключил он, — это мало разработанная тема».

Я спросил К.К., не приходила ли ему в голову мысли самому написать руководство по теории и практике нищенства.

«Приходила. Но такие труды существуют. Например, известный учебник Рейдиха и Кнехта, перевод с немецкого... Но, видите ли, чему нас могут научить немцы? У них и нищих-то настоящих нет. В этом отношении, как и в других областях, Россия — уникальная страна. Как вы понимаете, я говорю не о вульгарном попрошайничестве, а о нищем страннике как об особом типе, если хотите, олицетворении народного духа. О богомольцах на папертях церквей, о поющих слепцах... Конечно, — добавил он, — если вернуться к прозаическим будням, то огромное влияние на подаваемость оказывает количество просящих».

Всё же, побуждаемый беспокойством за своего друга, я заглянул однажды на железнодорожную станцию. Может быть, мне не следовало это делать. Может быть — и даже почти наверняка, — я причинил вред учителю. Мне неприятно об этом рассказывать. К тому же я как-то плохо помню, что произошло. Если бы не все последующие события, я бы сказал, что случилось то, чего следовало ожидать. Нечто нормальное, закономерное. Когда я добрался до дому, тётя Леля ужаснулась. Я напел ей что-то. Фотиеву я, разумеется, не сказал ни слова.

Посетить знакомые места, вспоминая, как ты впервые здесь очутился, — всё равно, что увидеть оригинал, некогда прочитанный в переводе. Всё то же самое и совершенно другое. Я шагал по эстакаде, поглядывая сверху на мерцающие рельсовые пути, на видневшиеся невдалеке домишки рабочего поселка, куда мы ездили однажды с Алевтиной, на далекие молчаливые леса. На перроне перед камерой хранения, запертой, как и тогда, — обеденный перерыв, очевидно, длился весь день, — на солнышке грелся сиделец. Я было решил, что это Кузьмич, хотел незаметно уйти, чтобы не отвлекать его, но на рабочем месте Фотиева восседал другой проситель. Некто, чьи черты изображали профессиональную скорбь, а манеры выдавали наглость и неуважение к правилам и законам. Старый знакомый.

Завидев прохожего, он громко прочистил горло:

«Вот умру я, умру я, похоронят меня! И никто-о...»

Омерзительный козлиный голос и устаревший репертуар: я знал эту песню с детства. Но мы находились в отсталой провинции.

«Подайте больному, убогому, раненному на фронтах Отечественной войны... Наше дело правое, вечная слава героям, павшим за нашу родину. По силе возможности, кто сколько может».

Я приблизился.

Узнал ли он меня? Подняв голову (я стоял спиной к солнцу, как Александр перед Диогеном), прищурившись своим единственным глазом, он ответил, что не знает никакого Кузьмича.

«Как это так не знаешь?»

«А вот так».

«Ты занял его место».

«Чего?»

«Чужое место, — повторил я, — здесь сидит Кузьма Кузьмич Фотиев. Ясно?»

Он высморкался двумя пальцами, энергично стряхнул сопли и вытер пальцы о штаны.

«Пошел на х... отсюда», — буркнул он.

«Сам пошел, гад, — ответил я. — Если Кузьма Кузьмич узнает, знаешь, что он тебе сделает? Да ты больше ни копейки не соберешь, кусошник». Что-то в этом роде сказал я ему, ибо меня не так просто было запутать, я уже был не тот, каким приехал. Не тот, бесправный и беззащитный, в которого можно было без зазрения совести ткнуть пальцем и сказать: «Это он свистнул простыню в гостинице!» У меня было местожительство, и сам Борис Борисович взялся меня прописать.

«Не твоя забота, — ответил одноглазый. — Е... ли мы твоего Кузьму Кузьмича. Сволочи, ходют тут... Человек с голоду помирает, а они ходют».

Я рассердился.

«С голоду? Ах ты, едрена вошь! Небось опять всё проиграл? Я тебя знаю! По-моему, мы где-то виделись».

«В гробу я тебя видел».

«Ты меня заложить хотел. Сука поганая. Ты сказал, что я продал простыню на базаре».

«Чего?! Какую простыню? Русского солдата оскорбляют! — заорал он. — Инвалида Отечественной войны! В душу плюют!»

На перроне, в некотором отдалении от нас, возвышался в форменной фуражке дежурный, я быстро подошел к нему и спросил, кто этот человек.

«Который? А хрен его знает».

«Давно он тут?».

Дежурный пожал плечами.

«Он занял чужое место».

«Какое такое место?»

«Там раньше сидел другой...»

«Хрен их знает. Всех разве упомнишь?»

«Мне кажется, вы как ответственное лицо...»

Дежурный смотрел вдаль, потом, повернувшись ко мне, окинул меня сумрачным взглядом.

«А ты кто такой?»

«Не всё ли равно... Я тут по делу».

«Ну и занимайся своим делом, не мешай работать. Встречаешь, что ль, кого?»

«Подайте! — закричал одноглазый. — Наше дело правое! Раненому инвалиду Отечественной войны! Кто сколько может!»

«Он кровь проливал, — сказал наставительно дежурный, — а ты небось в тылу ошивался».

«Я к вам обращаюсь как к официальному лицу!..» Опомнившись, я бежал следом за ним, свистки и шумное дыхание приближающегося локомотива заглушили мой голос. Поезд подошел к станции. Дежурный важно шагал вдоль вагонов. Головы пассажиров выглядывали из окон, никто не вышел. Издалека доносилось козлиное пение нищего:

«И никто-о не узнает!..»

«...где могилка моя!» Мусорные стихи преследовали меня. Мой мозг распевал проклятую песню. Темнело. Одноглазый исчез, пропал и дежурный, словно укатил вместе с поездом. Тишина заброшенной станции вновь охватила и околдовала меня, как в первый вечер. Город вымер. Мнимый покой и коварная тишина, ибо, как уже говорилось, визит на вокзал окончился для меня плохо.

Грязный, сопливый карлик — или скорее подросток — вынырнул из-под земли.

«Дяинька...»

Из-за станционного здания, отталкиваясь деревяшками, похожими на утюги, выкатился еще один: инвалид на колесиках, с лицом, на котором невозможно было различить глаз и носа. Я повернул к эстакаде — там стояли два лба. «Дяинька, — это был гнусавый голос подростка, — дай закурить!»

В сущности, я был сам виноват, сунувшись куда не положено.

«Ребята, — сказал я, озираясь, — вы чего?»

«Дай мальцу закурить, чего жмешься-то».

«Я не курю», — сказал я.

«Ты смотри, какой фраер».

«Небось здоровье бережет».

«А чего, может, и нам бросить?»

«Ыы! М-мы!»

«Жорик, ты чем недоволен?»

«Ыы!» — отвечал инвалид.

«Дяинька, а это чего у тебя? Дай рубль».

«Дождешься от него... Пидор вонючий. Ну-ка. Жорик, врежь ему».

«А может, отпустим? Бздиловатый конек».

«Мы-мы. Ыхы!»

«Между рог врежь ему, у, п-падла».

«Ребята, я ж ничего не делаю... Чего вы?»

«Ничего не делаешь, паскуда? А зачем солдата обидел, героя Отечественной войны. Он за тебя кровь проливал».

«Пять копеек пожалел, шмуль. Пидар-рас. Врежь ему, Жорик».

«А может, отпустим?»

Некоторое время продолжалась эта игра, обычные фокусы: на меня замахивались, делая вид, что хотят почесаться или сунуть руку в карман. Комически охали, взвизгивали, точно я их ударил. Инвалид катался вокруг, отталкиваясь деревяшками, похожими на утюги, подросток, хлопая носом, обыскивал меня.

Разумеется, я был сам виноват.

«Где лопатник, сука, давай лопатник».

«Вмажь ему. Между рог. По хоботу. По хохотальнику. Й-ех! Для здоровья полезно. Сучий потрох. Детей обижает. Солдата Отечественной войны оскорбил, фашист. И еще пасть разевает, сука, пасть разевает! Й-ех!»

Я лежал ничком, обхватив голову руками.

«Иии-йех-х!»

«Кончай дрочить. Разойдись. Врежь ему».

Инвалид Жорик с продавленным лицом разогнал на колесиках и молотнул меня деревянными утюгами.

«Еще разок врежь. Чтоб помнил!»

Меня перевернули рывком на спину, инвалид Жорик откатился еще дальше, чтобы разогнаться. Но споткнулся и повалился на бок. Роог Yoricck. Его подняли. Он въехал мне на живот и молотнул еще раз.

«Кончай дрочить. Сесть!» Я приподнялся. Инвалид расставил культяпки ног, мыча и трясясь, вытащил из лохмотьев налитый кровью член, долго тужился и, наконец, облил меня мочой. Я сидел, опираясь руками о землю, босой, без пиджака, без рубашки, с разбитым в кровь лицом; вокруг не было ни души.

## Ж

*Ученые бдения в библиотеке. — Пир Валгаллы. — За обедом у Кузьмича и брата Амвросия. — Недостойное поведение коадьютора. — Всемирно-историческая миссия русского народа.*

Я получил общественное поручение: Фотиев от имени Клуба старины просил меня привести в порядок книгохранилище. Его история примечательна. Верстах в шестидесяти от нас, выше по течению реки, находился другой монастырь. Говорят, библиотека была вывезена отсюда неким краеведом-энтузиастом. Попутно замечу, что версия, которую он яростно отстаивал — будто именно ту, а не нашу обитель основал упавший с коня князь, — решительно отвергалась мною, Иваном Игнатьевичем и другими экспертами Общества. Монастырь был взорван, и сторонник ложной гипотезы погиб под развалинами. Фолианты в полустгнившей коже, крышки с болтающимися застежками и перевязанные шпагатом кипы распавшихся серых страниц перекочевали к нам в ожидании следующего удара судьбы, однако времена, как казалось нам, переменялись. Любопытна эта всеобщая уверенность в том, что времена уже «не те».

Кузьма Кузьмич пропадал в городе или занимался у себя наверху. Никто меня не торопил. Нужно было ознакомиться со свалившимся на нас богатством. Кутаясь в драную телогрейку, я сидел за щербатым столом под сводами в подземелье, точнее, в одной из подвальных комнат; зрелище старых книг, аромат плесени, желтый блеск керосиновой лампы погружали меня в оцепенение, близкое к трансу. Часть библиотеки была размещена на грубо сколоченных стеллажах, остальное свалено на пол.

Изредка я слышал шаги, человек останавливался в раздумье, может быть, как и я, прислушивался к капанью воды и молчанию камня. Как и я, он испытывал потребность открыть душу. Наконец, изъеденная дубовая дверь заскрипела, заскрежетали петли, заметался огонь в стекле; учитель стоял на пороге.

«Зачем портить глаза?» — сказал он мягко. Перешагивая через груды книг, приблизился и протянул мне электрическую лампочку. Не без усилий я ввернул её в ржавый патрон. В темном углу отыскался выключатель. Брызнул слепящий свет, и некоторое время мы созерцали явившиеся нам в новом блеске полуразложившиеся сокровища.

Осмелюсь ли упомянуть о том, что это благодеяние прогресса тоже принадлежало баснословному прошлому... Какому прошлому. В отличие от великой национальной легенды, позолоченного ларца, в котором покоились нарумяненные князья и витязи, это прошлое бы-

ло заколочено в черный гроб, сгнило и распалось; почернелые изоляторы на ржавых крюках, провода под каменным потолком, тянувшиеся неизвестно откуда, были реликтом эпохи, о которой не полагалось вспоминать. О ней и не помнил решительно никто во всем городе, за исключением, может быть, одного только милейшего Ивана Игнатьевича.

Что происходило в этих подвалах, по которым скрипели сапоги и метались тени адъютантов, где засел со своим штабом генерал Гражданской войны в царских погонах, с голым блестящим черепом, с запекшейся стружкой крови на щеке? В этом последнем убежище, откуда остался единственный путь отступления — ввысь, сквозь бетонные перекрытия в заоблачные чертоги, в славянскую Валгаллу. Там он и пребывал ныне и на вечные времена, сидел там за дубовым столом; сидит и сегодня, с простреленным черепом, с обломком старорежимной сигары в золотых зубах, рядом со всеми, перед кубком высотой в самовар. С князем Александром Ярославичем, с убиенными братьями Борисом и Глебом, с батюшкой Махно, с Чапаевым и Буденным. Сосет потухшую сигару, пьет напиток бессмертия, тычет вилкой в мясо вепря и подмигивает мертвым глазом девам-валькириям в кокошниках и похлопывает их по пышным задкам. Сидит, вспоминает, как защитники города отступали к реке, как взлетел мост и загорелись лачуги правого берега, как отставшие захлебнулись в воде, помнит всё, но не может припомнить, как звали его самого.

«Всё никак не примусь за дело. Вообще здесь столько интересного...»

«Не всё сразу. А это что у вас? О! Вас интересуют такие вещи?.. Вы правы: тут работы по меньшей мере на несколько месяцев... Конечно, можно было поднять вопрос о передаче библиотеки в какой-нибудь институт или где там полагается всё это держать. Но, во-первых, надо еще найти этот институт: сложная канитель, как всё у нас... А главное, мне бы не хотелось. Мне книги нужны самому, для моей работы... Любопытное, кстати, сочинение, известно ли оно вам?»

Внезапно Кузьма Кузьмич умолк, приложил палец к губам и показал глазами в угол: из-под груди книг торчал длинный заостренный хвост. Он начал еле слышно насвистывать, дирижируя пальцем. Крыса выскочила наружу, повела усатой головой и уселась на задних лапках, как суслик. Кузьма Кузьмич медленно опустился на корточки, вытянул из кармана что-то завернутое в бумагу: кусочки еды. Несомненно, он был наделен сверхъестественным даром гипнотизировать животных. Он владел их языком. Свист становился всё громче, крыса облизывалась. Между тем Кузьма Кузьмич совершал в воздухе пассы указательным пальцем. Зверек послушно поворачивал голову. Кругом слышался шелест, мелкое постукивание лапок. Что-то мелькало в



темных углах, жалобно попискивало под столом. Фотиев шелкнул пальцами, крыса высоко подпрыгнула и завертелась на месте. «Это очень умные существа, — пробормотал он, — пошла, пошла... Оставьте телогрейку здесь, она принадлежит этому кабинету».

«Вы моложе, чем кажетесь, — говорил он, поднимаясь впереди меня по узкой лестнице, — сколько вам, собственно, лет?.. Вы знаете латынь? Чтобы одолеть такую книгу, крысе требуется приблизительно четыре месяца... Сейчас я вам покажу одно место. Одно поистине замечательное место».

Беседа, мы вошли в кухню.

«Вот. Воистину всё новое есть лишь хорошо забытое старое. Ut Christus Jesus de stirpe Davidica pro liberatione et dissolutione generis humani... sic etiam in arte nostra... ну и так далее... Текст служит прекрасным подтверждением этой мысли».

«Какой мысли?»

«Что всё новое — это хорошо забытое старое... Дорогой мой, — сказал Кузьма Кузьмич с укоризной, — вы что, ворон считаете? Для кого я трачу мою умственную энергию?»

«Извините, — пролепетал я, — для меня это действительно так ново...»

Почти сразу же вслед за нами вошел, стуча когтями, упомянутый мною выше парень, впрочем, уже не молодой, скорей даже дедушка, бородатый и вислозадый коадьютор Общества памяти и охраны старины. Кузьма Кузьмич вперил в него испытующий взор; пес остановился в замешательстве, глаза его выражали глубокую скорбь жизни: Кузьма Кузьмич указал ему пальцем место возле своих ног.

«Как вы уже догадались, это тот самый Лулл...»

«Раймундус Луллиус, изобретатель логической машины, родился в 1235 году, погиб в Северной Африке в 1316-м», — отбарабанил с пола коадьютор.

«Совершенно верно. Не устаю удивляться твоей эрудиции... Так вот... Не удивляйтесь тому, что я так легко перевожу, я просто хорошо знаю эту цитату; вообще-то мои знания не так обширны, как кажется, — продолжал Кузьмич, водя пальцем по книге. — “Подобно тому, как Христос по имени Иисус из отрасли Давидовой обрел человеческую природу ради освобождения и отпущения рода человеческого... так и в нашем искусстве то, что одним веществом пятнается, другим, противоположным, очищается от нечисти, отпускается и разрешается...” вот таким макаром... “и то, что удалилось от совершенства, становится совершенней, а совершенное оказывается несовершенным!” Это из его завещания. Мысль понятна: он хочет сказать, что подобно

тому, как Христос искупил грехи человечества, так философский камень искупает и очищает нечистую материю... Вы спросите, какое это имеет отношение к моим исследованиям».

Беседа всё больше интриговала меня, и больше того: я сам чувствовал себя объектом гипнотического сеанса.

«Амвросий, — промолвил Кузьма Кузьмич, — у меня к тебе настоятельная просьба. Не пользуйся керосином. Умоляю тебя. Еще не хватало, чтобы к нам нагрянула пожарная инспекция».

«Дрова сырые», — буркнул брат Амвросий. Чуть ли не половину кухни занимала печь с плитой и дымоходом.

«Не сердись. Не смотри на меня так... Что я хотел сказать? На чем мы остановились?»

«На Лулле», — сказал коадьютор.

«На Лулле. Смех смехом, но я напомним вам другое произведение классической литературы, в некотором смысле, э-э, продолжающее великую мысль средневековья. Помните, во второй части “Фауста” доктор и его спутник посещают лабораторию Вагнера. Очаг, какие-то колбы или кастрюли: вроде этой кухни. Ставится решающий эксперимент. Только бы получилось... Но, чу! Кто там скрипит дверью?»

Пес вскочил и повернул бородатую морду к выходу.

«Да сиди ты, — сказал Фотиев, — это я просто рассказываю. Входят Фауст и Мефистофель. Только, пожалуйста, говорит Вагнер, ведите себя потише».

«А что такое?» — пролаял коадьютор.

«Сейчас на свет явится человек. Вы, наверное, не читали вторую часть?»

Я сделал неопределенный жест.

«Ничего, прочтете, вы еще молоды... Очень советую. Ведите себя тихо, сейчас на свет появится человек. А где же, спрашивает дьявол, спряталась влюбленная парочка? На что профессор Вагнер — он ведь уже стал профессором — отвечает: “Избави Бог! Что прежде было модой, для нас отныне лишь ненужный фарс!..” У тебя что-то горит», — прохрипел Фотиев.

Суп клокотал в кастрюле, и одна странность следовала за другой. Кашляя от чада, мы принялись за еду. Перед своей миской в углу пес, положив голову на передние лапы, дожидался, когда суп остынет. Молодой монах стоял у плиты, скрестив руки на груди.

«А ты?»

«Я сыт», — возразил Амвросий.

«Смех смехом, — обжигаясь, говорил Кузьма Кузьмич. — Однако обратите внимание. В уста этого алхимика Гете вложил очень важную, я бы сказал, пророческую идею. Вагнер говорит: если зверю положено

предаваться сладострастию, то человек призван к более высокому и благородному происхождению. И вот в кипящем супе рождается гомункулос, колба парит в воздухе, человечек рассказывает о каких-то там невероятных видениях, всё это может показаться чепухой».

«Еще бы, — буркнул коадьютор. — Еще бы не показалось».

«Да? Ты так думаешь?.. А, скажем, черепки, которые откапывает археолог, это тоже чепуха? Между тем среди этих обломков оказываются истинные произведения искусства... Да если угодно, я тоже археолог. Мифология и суеверие соединены с утраченным знанием, просто так махнуть на него рукой было бы непростительно. Древнее знание должно быть оплодотворено современной наукой».

«Сравнил хер с пальцем».

«Но-но, полегче! — закричал Фотиев. — Древняя мудрость оставила нам ряд основополагающих идей, а лучше сказать, ослепительных догадок. Дело науки — уточнить эти догадки и претворить их в практику... Я вам скажу, — продолжал он, — одна из главных, главнейшая, может быть, идея средневековой алхимии, и медицины, и вообще всякой учености формулируется просто: только природа способна преодолеть природу. То, что вначале может показаться противоестественным, фантастическим и недостижимым, на самом деле достигается естественными средствами. Соединить Христово учение с достижениями земной, теллурической науки, вторгнуться в естественный кругооборот веществ, повернуть вспять процессы разложения, вдохнуть жизнь в умершее и восстановить распавшееся — подумайте, так ли уж это фантастично?»

«Сколько можно терпеть? — захныкал над своей миской коадьютор. — Он никогда не остынет...»

«Эротическая терминология алхимии как раз и подразумевает преодоление низменного в человеке. Все эти соединения и отталкивания, цари и царицы, химические любовные истории и страстные смешения элементов, свадьба в реторте... Роман души проецируется на превращения веществ. Наконец, кусающий себя за хвост уроборос. Разве это не прямое указание на возврат к порождающим истокам? Наша земля — это земля наших предков. Всё вещество есть прах предков, мы живем на планете, которая представляет собой не что иное, как утрамбованный прах наших предков. Их души, их угасшее сознание изнывают там, в земле. Мы топчем предков в буквальном смысле слова!»

С супом было покончено, после чего самым естественным образом, как вывод из двух посылок силлогизма, на столе воздвиглась бутылка. Я вспомнил вечер у тёти Лели, когда Кузьма Кузьмич предвзврил возлиянием сообщением, что он не пьет.

«Тебе тоже? Сколько?»

«Стакан сам покажет», — важно ответил пес.

Кузьма Кузьмич поднял брови. Выпили, он потер ладони и шелкнул пальцами.

«Если химические реакции суть отражение бессознательной душевной жизни человека, то тут открывается, не правда ли, прямая дорога к собиранию души из её элементов».

«К воскресению?» — спросил я.

«Dixisti! — так и взыграл Кузьма Кузьмич. — Ты сказал! Давай-те, — продолжал он, потирая руки и ударяя ладонями по коленкам, — посмотрим в корень зла».

«Давайте, — вскричал я, — посмотрим в корень зла!»

«В чем корень зверского, небратского, нелюдского состояния человека, отчего человек человеку волк?»

«Оттого, что он человек, а не собака», — ответил коадьютор.

«Совершенно верно, мой милый... — Учитель наклонился и погладил пса. — Так вот! Причина двоякая. Перво-наперво, эгоизм. Фрося, ты бы села, что ли... Эгоизм, доведенный до крайней степени капиталистической системой».

Если не ошибаюсь, мне уже приходилось говорить о том, что компания моих новых друзей, странное существование посреди развалин — о разговорах и говорить нечего — у каждого нормального человека должны были вызвать подозрение. Общество охраны старины, патриотизм, национальные корни — всё это прекрасно и замечательно. А всё же криминал налицо: подпольная организация. Под видом научных докладов, и так далее, и тому подобное. Отсюда недалеко до чего угодно: до заговора, до террора, до связи с иностранными разведками. Одним словом, не требовалось никаких усилий, чтобы подвести всех нас под статью уголовного кодекса. Вот почему меня так ободрили аргументы Кузьмы Кузьмича, в частности его критика капиталистического общества. А услышав сквозь винные пары (весьма ослабившие мою бдительность) ссылки на Маркса, я просто обрадовался.

«Ты, кажется, ворон считаешь, вместо того чтобы следить за моей мыслью», — промолвил Фотиев. Как-то незаметно мы перешли на «ты», вернее, Кузьма Кузьмич стал говорить мне «ты». Я чувствовал себя польщенным. Я поспешил заверить его, что слушаю с неослабевающим вниманием. Так оно и было.

«На чем мы остановились?.. При капитализме истинной первоматерией становится что? — Он сделал движение двумя пальцами. — Деньги! Текучая, многоликая, бесконечно изменчивая материя, но она основа всего. Имущество — это деньги, природа — деньги, человек — тоже деньги. Какой-то политэконом даже вычислил,

сколько стоит Бог. Он имел в виду сумму, в которую обошлась человечеству выработка понятия Божества. Сколько-то там миллиардов... И в самом деле. Возьмите вы, например, лютеранство. Ведь они так прямо и говорят: чем больше у человека денег, тем он благоднее Богу».

«Я лютеран люблю богослуженье», — прорычал коадьютор.

«Совесть, мораль, искусство — всё, как сказал Маркс, становится в этом обществе товаром, любую вещь можно продать, купить, превратить в собственность. А там, где начинается собственность, там кончается братство. Это первое. Ну-с, а во-вторых, наряду с этой силой, вложенной дьяволом в общество, силой богатства, чьим орудием, скажем прямо, является буржуазная демократия, плутократия и, конечно, — он поднял палец, — еврейство... Наряду с ними есть другая дьявольская сила, вложенная в самого человека. Это сила, заставляющая два пола соединяться, чтобы породить третье существо. Сила эгоистическая, ибо направлена она на обладание, а в перспективе — продолжение себя в потомстве. Жажда породить третье существо, которое, в свою очередь, будет искать для себя пару, чтобы снова совокупляться, и так далее, вот что вносит вражду в мир, заставляет думать только о себе и о продолжении себя и забыть о тех, кому мы обязаны всем, — о предках, об отцах».

«Слыхали мы всё это...» — буркнул коадьютор, встал и, шатаясь, направился к выходу. Кузьма Кузьмич укоризненно покачал головой, глядя ему вслед. После этого некоторое время было слышно, как кобель жалостно скулил снаружи.

«Спивается, — сказал Фотиев, — спивается на глазах у общественности, и никто пальцем не пошевелит! Как будто так и надо».

«Что ж я могу поделатъ, — возразил угрюмо брат Амвросий, — вы сами его угощаете...»

«Это тем более странно, что он еврей».

«Кто, пес?» — спросил я.

«Конечно, разве вы не заметили? Откуда, вы думаете, у него такие способности? А это вечно кислое, вечно недовольное выражение на морде? Я думаю, он даже обрезан».

День померк за глубоким окошком-амбразурой. Юный черноризец стоял, прислонясь к остывшей плите, сложив руки под грудью. Кузьма Кузьмич возобновил свою речь:

«Сейчас мы можем лишь смутно представить себе, каким будет общество братства, родственности, общество-семья. Но ведь мы и есть одна семья, дети единого Отца... Вот говорят: семья создается по образцу общества, — чепуха. Наоборот, общество должно быть пересоздано по семейному образцу и подобию! И тогда в нынешней

семье, в существующем сейчас институте больше не будет надобности. Зачем нужна эта замкнутая, отгородившаяся от других людей, эгоистическая псевдосемья, основанная на половом сожительстве? Для чего?»

«Но вы же не можете, — заметил я, — заставить людей отказаться от половой жизни».

«Плохо ты читал Фрейда, любезный, — качая головой, промолвил Фотиев. — Сублимация! Фрейд был великий очернитель человечества. О-о, худшей, гнуснейшей клеветы на человека придумать невозможно. Но он был прав в одном: всё зло началось с восстания против отца. Вся западная цивилизация, если хочешь, выросла из этого восстания против отца, из бегства от отца. Куда? К женщине. Вниз, в разверстую... Пардон. Отучить людей от желания спариваться — хм, да, увы. Отучить невозможно. Но можно — и нужно! — это желание переключить, возвысить, сублимировать. Нужна великая цель».

Я больше не прерывал моего учителя, речь его лилась вдохновенным потоком, глаза сверкали.

«Произойдет великий синтез религии с наукой, метафизического и позитивного. Время разбрасывать камни, и время собирать камни... В древности был обычай: друзья при расставании разламывали пополам общий предмет, символ их связи, и уносили половинки с собой. Через много лет, при встрече, достаточно было соединить половинки, и старые товарищи узнавали друг друга. Представь себе, что наука в конце концов научилась — а это так и произойдет — распознавать те особые маркировки, которыми помечены родственные частички, когда-то принадлежавшие общему телу. Вещество Земли как бы осветится изнутри, мы сможем соединить рассеянные частицы плоти, сложить разъединенные молекулы, как это происходит при встрече друзей, мы будем отчетливо видеть, в каком доме они гостили вместе».

«Время собирать камни, — сказал Кузьма Кузьмич. — Христос всё соединяет. Христос не копит, не приобретает, не владеет собственностью. Это во-первых. А во-вторых, он не женится. Женщины и девушки, которые следуют за ним, — это не жены и не любовницы. Это сестры. Христос не женится и не рождает детей; зато он воскрешает умерших. Понятно, почему необходимо, чтобы Христос был зачат сверхъестественным путем, почему естественное зачатие отпадает. Потому что нет никакого резона размножаться, если веришь в бессмертие... О-о, я вижу в этом великий символ, великий пример и пророчество. Удрученный ношей крестной... ты не забыл эти стихи? Кто ж их не помнит. Христос указывает нам на единственную страну, которая возродит человечество, погрязшее в стяжательстве, в похоти, в небратстве. Вы догадываетесь, о какой стране идет речь... Я хочу сказать — дога-

дываешься. Если не ошибаюсь, у Иоанна в одном месте Иисус говорит: “Будете искать меня и не найдете, и где буду я, там вас не будет...” Так вот. Есть серьезные соображения в пользу того, что здесь имеется в виду нечто вполне конкретное и в смысле времени, и в смысле пространства. Он говорит иудеям: там вас не будет... И видит перед собой огромную страну на северо-востоке... Этот хрен моржовый ушел, мы можем говорить начистоту... Христос указывает на Россию. На единственную страну, где его слово, его учение, его светлый образ не заляпаны грязными руками еврейско-капиталистического стяжателя. Страну, сохранившую глубокое целомудрие в обоих смыслах этого слова. Вопреки всей своей грешной истории... Но я спрашиваю: где эта греховность? В чем она? В неумении оправдываться, восхвалять себя? Заноситься перед миром? Я напому вам... То есть тебе. Давай уж окончательно на ты, по-нашему, по-простому...»

Мы растроганно обнялись и выпили на брудершафт.

«А вы... А ты?» — спросил я у Амвросия.

«Он монах в миру, вроде Алеши Карамазова, не трожь его. Он не пьет. Я тоже не пью. Разве что за компанию. Раз пошла такая пьянка, режь последний огурец. Так вот. Что я хотел сказать... Напому еще один эпизод. Оттуда же... К Спасителю приводят женщину, обвиненную в распутстве. Закон велит побивать блудей камнями. “А ты что нам скажешь? Надо или не надо?” Иисус молчит и чертит пальцем по песку. Его спрашивают, а он молчит. Наконец он поднимает голову, обводит всех глазами, всю толпу, и говорит: “Пущай, кто из вас безгрешен, швырнет в неё камнем. Бросайте, я разрешаю”. И снова чертит пальцем. Молчание. Никто ни с места. Безгрешных-то ведь нет! И стали все потихоньку расходиться. Тогда Христос говорит блуднице: “Подойди ко мне. Где твои обвинители? Никого нет! Может, ты и не виновата? Тебя оболгали? Иди. Ты самая целомудренная из всех”. Можете... виноват: можешь. Можешь меня называть фантастом, но я вижу в этой сцене аллегорию. Эта молчаливая женщина, осмеянная, ославленная, без вины виноватая, кроткая, у которой нет слов в свою защиту, ведь это Россия! Россия!»

Дрожащими руками, со слезами на глазах Кузьма Кузьмич налил себе, налил мне и, немного успокоившись, промолвил:

«Нам не привыкать. Разве этому народу не приходится тяжелее всех в огромной стране, где всякий им командует, где всякому иностранцу почет и привилегия и всякому инородцу — богатство, а наш брат-русак... эх... Не думай, что я пьян. Я просто устал. От хорошей жизни милостыню просить не станешь. Вот так, брат. Таким макаром. А впрочем, всё это... — Он махнул рукой. — Суета сует!»

«Что суета сует?» — спросил я.

«Всё!.. Всё суета. Иди ко мне, — сказал он вдруг. — И ты. Фрося... По-братски, по-сестрински... Брат Мойсеич! Амвросий! Милые вы мои! Идите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и аз упокою вы...»

Я понял, что мне пора уходить, и, кое-как выбравшись, побрел прочь из монастыря.

### **Лазарь. Трактат о жизни вечной**

*Укажем на два недостатка распространённой концепции бессмертия. Во-первых, она недоказуема. Человеческая душа оказывается бессмертной после того, как человека уже нет. Переселение в загробный мир равнозначно, по удачному выражению поэта, путешествию в страну, откуда ни один турист не возвращался, другими словами, не представил доказательств, что такая страна существует. Второй недостаток — тот, что эта теория игнорирует целостность человека. Даже утрата отдельного органа воспринимается как невосполнимая потеря. А умерший теряет все органы. Невозможность представить себе дальнейшую жизнь без головы и тела есть не что иное, как признание факта целокупности — на неё-то и посягает теория. Ибо она повторяет старинное заблуждение, противопоставляя психическое телесному, субъекта — объекту. Между тем тело есть «объект» лишь когда это не моё тело: когда его обозревают извне, когда оно может стать предметом лечения для врача, целью возжелания для сластолюбца, моделью для живописца, мишенью для стрельбы и так далее. Постигаемое изнутри — здесь приходится признать правоту немца Шопенгауэра, — тело уже не предмет, а ближайшая очевидность, и, добавим, в качестве таковой неотлично от души. Тело — это душа.*

*Опровержение дуализма христианской теории бессмертия содержится в практике самого Христа, который возвращал жизнь умершим на этой земле, не прибегая к разграничению души и тела. Итак, каковы же пути реализации вечной жизни? Их два. Заметим, что наши размышления не вовсе отменяют христианскую философию, но скорее поднимаются над ней. Рациональная концепция воскресения сочетает интуицию веры с достижениями положительных наук. Брак науки и веры сливается их воедино: вера — это и есть наука.*

*С некоторой точки зрения душа предстаёт как форма, задаваемая не природой образующих её элементов, но их конфигурацией, взаимным расположением и соподчинением. Это как бы книга, со-*



держание которой не меняется от перепечатки; круги Архимеда, начертанные на песке, спустя века — на воске, ещё позднее — на бумаге. Аналогичным образом можно транспонировать личность человека с тленного субстрата на другой субстрат, из умирающих мозговых клеток на искусственную конфигурацию молекул. Таков первый путь. Но его надо отвергнуть, ибо он означает попытку пересадить душу в новоеместилище. Иначе говоря, протащить всё ту же теорию иноприродности души и тела.

Сие было бы неуместным и кощунственным обновлением давно отброшенной дальневосточной ереси о переселении души — изменой Новому Завету. Вопрос не в том, чтобы сохранить душу, но в том, чтобы воскресить человека целиком и человечество в целом. Очевидно, что гниение тела не есть нечто таинственное и непостижимое; смерть не есть событие сверхъестественное. Вместе с тем частицы тела не могут рассеяться за пределами ограниченного пространства, как рассыпавшиеся бусы не могут выкатиться из комнаты. Соберите их, соедините частицы мозга, печени, сердца, мышечных волокон и клеток кожи — и сознание вспыхнет в воскресшем теле; ибо телесность — это и есть сознание. А отсюда вытекает, что дальнейшее размножение людей, ухаживание, соблазнение, совокупление и далее роды, и пелёнки, и детский сад — вся эта старая песня станет ненужной, отвлекающей от дела. Посему уже теперь, не откладывая, нужно подумать, целесообразна ли, в числе прочего, реконструкция органов похоти.

## XI

*Домашние обязанности. — Выгоды пребывания в колонии. — Брат Амвросий. — Является ли деторождение целью брака? — Кража сосисок. — Военные действия в атмосфере.*

Нечасто высшая действительность глаголет языками огненными, обыкновенно она изъясняется на диалекте будней. Понемногу я привык вести ежедневные записи. Ничто не казалось мне недостойным внимания, и я старательно заносил на бумагу всё, что происходило с нами изо дня в день или, лучше сказать, заменяло нам происшествия: разговоры с тетей Лелей, капризы погоды, мелкие дневные дела, которые я выполнял в отсутствие Алевтины, и ночной изнурительный труд любви. По своей привычке к секретности я пользовался шифром, изобрел собственную систему и находил особое удовольствие в том, что дополнил её второй системой символов, обозначающих комбинации знаков. Нет худа без добра, и, может, к лучшему, что мои письме-

на пропали. Они могли бы внушить властям больше подозрения, чем если бы я пользовался нормальным языком. Нечего и говорить о том, что с особым тщанием я конспектировал поучения Кузьмича. В конце концов я перестал таиться, вынимал тетрадку и торопливо записывал за ним, против чего он, впрочем, не возражал.

Я был доволен, и всё же странное существо человек! Временами мне становилось жутко. Я спрашивал себя: чего мне не хватает? Мне было не по себе, оттого что ничего не происходило. Возвращаясь по улице Александра Невского, я видел всё то же: заборы, дома и старых женщин. То здесь, то там я замечал в низком окошке между цветочными горшками сморщенное лицо в темном платке. Все жители в этой части города были старухи, одни постарше, другие помоложе, оказалось, что старость — это не возраст, а этнографическая черта; были древние старухи, ничего не помнившие, были совсем молодые старухи, были девочки-старухи; все, независимо от возраста, носили кофты и длинные юбки, прятали жидкие волосы под платок, подтягивали концы платка под подбородком старушечьим жестом, поджимали губы и отводили глаза, взглядывали исподтишка, говорили, закрывая рот рукой, словно стеснялись плохих зубов; ничего не менялось, и, в сущности, это было прекрасно, это было то, о чем я мечтал. Я больше не совался не в свои сани, старался не показываться на базаре и вблизи железной дороги. Утром, поднимаясь с подушек — Али уже не было, на столе ждал завтрак, близнецы были отведены в детский сад, — я знал, как пройдет этот долгий день, как наступит ленивый солнечный вечер, и я отведу детей к соседке, не чаявшей в них души, или уложу спать в нашей комнате. Иногда мы их брали к себе в кровать, немного спустя Алевтина в темноте уносила их в угол комнаты на приготовленное ложе, возвращалась ко мне и ложилась, и я заступал, как шахтер, на ночную смену. В молчании совершал я свою работу, точно выполнял норму, кровать скрипела и скрежетала, и Алевтина оседала и осыпалась подо мной, как порода. Время от времени я заходил в контору трамвайного парка. Вопрос был решен, не хватало каких-то формальностей. Ничего не менялось. И всё же что-то готовилось, что-то затевалось в подземельях жизни.

Однажды ни с того ни с сего тётя Леля обронила:

«Не ходи к ней».

Я взглянул на неё с удивлением, она удалилась, не дав себе труда объяснить, в чем дело. Был вечер, лампочка под матерчатым абажуром освещала скатерть, тикали ходики — слабый родничок времени, пробившийся из-под земли. Я вышел на кухню следом за хозяйкой, там никого не было. Стало невыносимо жутко, вещи поскрипы-

вали и посапывали, в углах слышался шорох. С улицы донесся истошный крик. Я высунул голову на крыльцо. Всё было мертво и сонно, я вернулся. Журчали ходики. Тётя Леля сидела в очках за столом и читала газету.

«Чего ты носишься, — промолвила она, — садись, посиди... Вот я тебе сейчас прочту. Ты подумай, американцы-то что затевают! Живем, ничего не знаем».

«А что такое?» — спросил я с притворным интересом.

«Нет, что творится, ты только представь!» — продолжала она, не отрываясь от газеты.

«Я ничего не знаю».

«Вот то-то и оно, что никто не знает, ни ты, ни я. Ничего люди не знают. А они там... Жучок этот, как его?»

«Колорадский?»

«Вот. Засылают к нам насекомую».

«Как это — засылают?»

«По почте. К примеру, ты получаешь посылку. Открыл, а там...»

«Тётя Леля, — сказал я. — Мне очень неудобно перед вами. Я уже столько времени живу, а моё положение до сих пор не прояснилось. Я знаю, что я вам задолжал...»

Подняв голову, она поглядела на меня поверх очков.

«Не твоя забота; живешь и живи. Вот послушай, я тебе лучше прочту...»

«Вы не хотите меня выслушать».

«Чего тебе, плохо здесь? Живи».

«Мне неловко быть нахлебником. Мне в отделе кадров твердо обещали, вроде бы даже проект приказа уже написан; и вот которую неделю хожу, и каждый раз то делопроизводителя нет, то директор в отпуске; теперь директор приехал, но у него, видите ли, нет времени наложить резолюцию. Я говорю секретарше: “Может, мне самому пойти к директору?” — “Нет, — говорит, — директор на совещании”. Я обратился снова в отдел кадров, мне говорят: “Сначала надо прописаться”. Я говорю, меня прописали. Ведь меня же прописали, договоренность уже есть? Ведь Борис Борисович обещал?»

«Да чего ты суетишься, — возразила она, — леший с ними со всеми. Свет, что ль, на них клином сошелся? Другую работу найдешь. А то вовсе плюнь. Живи так».

«Как это?»

«А вот так: хошь так, хошь эдак; авось не объешь нас. Костюм тебе какой-никакой справим. Евоный можно перешить, укоротить чуток, вполне тебе подойдет. — Имелся в виду выходной костюм мужа Алев-

тины. — Будешь где-нибудь подрабатывать, а устраиваться необязательно. А то справку тебе достанем, у меня есть врачиха знакомая. Она тебе что хочешь напишет. Будешь, как Кузьмич».

Последняя фраза прозвучала странно, но тётя Леля объяснила, что Фотиев числится инвалидом детства. Это легализует его статус.

«А я думал...» — пробормотал я.

«Чего ты думал?»

«Я думал, как председатель Общества, он...»

«Какой еще там председатель, — сказала она презрительно. — В общем, если кто прицепится, пожалуйста — у него справка. И тебе справку сделаем».

От души поблагодарив хозяйку, я повторил, что мне всё же советно сидеть у неё на шее и, кроме того... Тётя Леля перебила меня:

«Не у меня сидишь... Да что это вообще за разговоры: на шее! Мужик на то и мужик. Ты на меня не серчай, — сказала она, — я женщина простая. Чего уж там крутить, природой так положено. Главное, на других баб не заглядываться. Я так считаю».

«Разве я заглядываюсь», — сказал я смеясь.

«Кто тебя знает. Ну, шучу, шучу!»

Я напомнил тёте Леле, что мне до сих пор не вернули паспорт.

«Никуда твой паспорт не денется».

«Но всё-таки что-нибудь там получается?»

«Милок, я разве знаю? Получается... Получится».

Я вздохнул. Так я и знал: с моим паспортом...

«Да не в паспорте дело».

«А в чем?»

«В больнице он».

«Кто?»

«Кто, кто. Борис Борисович».

«Что случилось?»

«Господи, да ничего не случилось! Да я не знаю, — мялась она. — Люди говорят...»

Это была какая-то путаная история о том, как начальник в ожидании ревизии уволил двух подчиненных, они настучали на него в область, вместо знакомого ревизора прибыл чужой человек, что и вынудило Бориса Борисовича срочно захворать: предынфарктное состояние. Тётя Леля расценивала ситуацию оптимистически:

«Обойдется, чай, не первый раз... Недельки две подождем, всё уляжется, он тебя и пропишет. Может, уже и прописал... А справку, — добавила она, — мы уже тебе сделаем».

Я встал.

«Сиди».

«А что случилось?»

«Побудешь дома», — молвила она кратко, не поднимая головы от газетного листа.

«Да в чем дело?»

«В чем, в чем. Всё тебе надо знать. Петух приехал».

Вот тебе раз: Петух... Огорошенный неожиданной и неправдоподобной новостью, я не знал, что сказать. Прежде всего я не понимал, как это может быть, что ему позволяют свободно шататься. А вот-вторых, было абсолютно непостижимо, почему Алевтину до сих пор, не взяла за ж... Прошу прощения за общепринятый оборот речи. Я хочу сказать: почему до сих пор её не тягали?

Почему не вызывают меня? Значит, он всё-таки освободился? С другой стороны, он как будто собирался в Челябинск... Надо же, а я еще роптал на то, что жизнь становится слишком однообразной. Едва я успел почувствовать себя вольготно, расслабился, разленился, даже подумывал о женитьбе, как беда выросла на пороге.

«Говорила ей: не смей больше к нему ездить, не муж он тебе. И детям он не отец... Нет, опять потащилась».

Из этих слов как будто следовало, что муж Алевтины не был освобожден и никуда не уезжал. Разумеется, режим в колонии не сравнить с лагерем. Всё же я спросил: «Как ему удастся во второй раз?» — «Деньги есть, — сказала тётя Леля, — вот и удаётся».

Значит, это она привезла ему денег. Зачем? Рассчитывала на то, что уедет навсегда за тысячу верст? Может быть, и паспорт ему добыла. Учитывая связи тётки Лели — почему бы и нет?

«Зачем он приехал?»

«Известно, зачем. За деньгами».

Получался заколдованный круг.

«Что же теперь делать?» — подумал я или сказал вслух.

«Сиди... Без тебя обойдутся».

Она прибавила:

«Ничего ты ему не объяснишь, только хуже будет».

Мы сидели за столом, свет падал на седые волосы хозяйки, в углу блистала икона. Разве, думал я, моя собственная жизнь в городе не была побегом? Как дитя прячется от жестокой матери в её же подол, так и мы бежали из страны в её глубины.

В дополнение к сказанному по поводу топографии города упомяну о совершенно новой дороге к монастырю. Можно предположить, что ручей на дне оврага, через который мы перебирались с Иваном Игнатьевичем в день нашего знакомства, был некогда речкой, и, следовательно, обитель первоначально стояла на острове, а не на мысе.

Новый путь, открытый мною, проходил по ветхому деревянному мостику через приток, чье устье было видно с противоположного берега. Но и тут, сойдя с моста, вы должны были долго блуждать по безлюдным улочкам, продираться в кустах, обходить топкие места и взбираться наверх, к циклопическим стенам, за которыми неподвижно плыл в облаках белый шатер с проржавевшей луковицей.

Войдя во двор, я остановился; я не подозревал, что казавшийся нелюдимым, хмурый и неприветливый брат Амвросий обладает таким красивым грудным голосом. Он ходил между веревками и пел, за мокрыми простынями мелькали его ботинки и черный подол рясы. Немного погодя он показался с пустым тазом, с гирляндой прищепок на шее. Я спросил, дома ли Кузьмич. Мы молчали, я смотрел на Амвросия, он — на облачное небо, как бы спрашивая себя, можно ли доверять погоде. «На вокзале?» — спросил я. Он пожал плечами и двинулся прочь, держа таз под мышкой. Мне показалось, что на этом разговор закончился. Вскоре, однако, черный юноша воротился, поглядел вокруг и присел на край большого тесаного камня. «Может, на стадионе», — сказал он. «Разве в городе есть стадион, — удивился я, — и много ли удастся там заработать?» — «Как когда, — отвечал брат Амвросий. — Да он на стадионе не работает. Он болеет». — «Как это, болеет?» — «Как все. За нашу команду».

Из-под обгоревшего автобуса вылез и поплелся к нам вислозадый пес-коадьютор.

«Пошел вон, прохвост».

«В чем дело?» — спросил я.

«Он сам знает, в чем дело. Паршивец».

Кобель смотрел на нас с умоляющим видом.

«Я битых два часа простоял в очереди, а он, паршивец...»

«Это не я, — просипел пес. — Это кот».

«Рассказывай; будто я не видел».

«Это он. Мне только обеды достались».

«Не хочу ничего слышать; пошел отсюда».

Несколько осмелев, коадьютор Общества старины проворчал, что он так дело не оставит и будет жаловаться.

«Ах ты, тварь! — возмутился Амвросий. — Он еще грозить мне вздумал. Иди жалуйся! Хоть в Верховный Совет».

Кoadьютор ничего не ответил, понурил голову и сел поодаль. Там он принялся яростно искать блох, щелкал остатками зубов и горестно озирал руины монастыря слезящимися глазами.

«Сколько ему лет?»

«Старый... лет двадцать. Старый, а губа не дура. Я за этими сосисками два часа стоял; по полкило давали; думал, не достанется».

Я спросил у брата Амвросия, не пробовал ли Кузьма Кузьмич устроиться куда-нибудь на службу.

«А зачем?»

Мы сидели на камне вполборота друг к другу, я не видел выражения его лица.

«Можешь ли ты мне объяснить...» — начал я. Барбос в отдалении от нас с трудом поднялся и сделал неудачную попытку пройти на задних лапах.

«Это он старается обратить на себя внимание, — промолвил Амвросий. — Вы что-то хотели спросить?»

«Да, — сказал я. — Вот ты носишь рысу...»

«Подрячник».

«Я хочу сказать, ты монах. Но ведь монастыря, собственно говоря, давным-давно нет. Тебя могут привлечь к ответственности за тунеядство, как у них это называется...»

«Я не монах», — перебил он меня.

«А кто же ты тогда?»

«Монахиня».

В продолжение этого разговора я наконец разглядел его несколько ближе. Не то чтобы забылось его внезапное явление в белой одежде после заседания Клуба. Но, как ни странно, я согласился считать брата Амвросия мужчиной (а лучше сказать, существом неженского пола) не только потому, что так здесь было принято. Похоже было, что он и в самом деле не был женщиной. Подросток? Да, пожалуй; взрослый подросток. Короткие волосы спрятаны под скуфейкой. Серые глаза, прозрачные до пустоты, впалые щеки. Лицо казалось смуглым. Он был худ, несколько угловат. Помолчав, он добавил:

«Это не секрет».

«Ты хочешь сказать...»

«Для наших».

«Зачем же тогда?..»

«Затем, что мы все братья. Если бы я не была братом, меня бы не взяли в члены Общества».

Я спросил, живет ли она здесь, в монастыре.

Амвросий пожал плечами, покачал головой.

«У тебя есть родители?»

«В деревне: мать. Да что вы на меня так смотрите. Я учусь. В педике».

Она имела в виду педагогическое училище.

«Извини, Фрося, что я у тебя выпытываю. Это не пустое любопытство. Или, вернее, нет... то есть мне действительно очень интересно. Как же ты с Кузьмой Кузьмичом познакомилась?»

«Очень просто, там же, где и вы, — улыбнулась она. — Ездил к отцу и на вокзале встретила».

«У тебя и отец есть?»

«Есть, но он с нами не живет... Я его уже давно там заметила».

«Кого заметила?»

«Кузьмича. Подошла и подала. Ну, и как-то так получилось, что мы разговорились. Я даже поезд пропустила. Он мне тогда рассказал притчу о Лазаре».

«Знаешь, Фрося, — проговорил я, — мне ужасно интересно тебя слушать. Но разве ты не боишься? Ведь я для тебя чужой, посторонний человек. И вообще. Вы тут собираетесь... Вы не боитесь, что на вас донесут?»

«Всё в руках Божьих», — возразил Амвросий.

«Я говорю так, потому что у меня есть некоторый опыт».

«А что мы такое делаем?»

«Видишь ли... что вы тут делаете или что мы тут делаем, не так уж важно, важен сам факт, что собираются и рассуждают на общие темы».

«Ну и что?»

«Пахнет организацией».

«Вы хотите сказать...?»

«Да».

«Ах, у нас тут такая глушь... Все и так друг друга знают. Тем более Кузьму Кузьмича. Его в горкоме знают. Наше Общество даже в газете упомянули как пример патриотической работы».

«Так-то оно так... я просто хотел сказать: у меня есть опыт».

«Кузьма Кузьмич тоже сидел, — возразила она. — Он там и решил главный вопрос».

Её лицо порозовело. Она расстегнула ворот своей черной одежды, под ним была нежная и тонкая, почти детская шея. Мне хотелось спросить еще кое о чем, меня томило любопытство, но она перебила меня:

«Вы у этой поселились, как её?..»

«Ты знаешь тетю Лёлю?»

«Да её каждая собака знает, — сказала она презрительно. — А как вы на Кузьмича набрели? То есть я хочу сказать: как вы с ним подружились?»

Я рассказал о вечере у хозяйки.

«Так я и знала. Она его приманивает к себе. Ведь приманивает, не отрицайте».

Мне хотелось её разуверить, тем более что подозрения её были, на мой взгляд, неосновательны.

Фрося проговорила, глядя перед собой:



«Хочет, чтобы он у неё поселился. Вы у Алевтины, он у неё».

Я предпочел придать разговору другой смысл и возразил:

«Что же тут плохого? Пожилой бездомный человек».

«Почему же это пожилой? — сказала она надменно. — И с чего вы взяли, что он бездомный?»

Наступила пауза. Пес исчез под кузовом автобуса. Я спросил:

«Как же теперь к тебе обращаться? Сестра?»

«Я не сестра. Я же вам сказала: я брат... Как вы не понимаете? Кузьма Кузьмич не создан для мещанской жизни. Ничего у этой ведьмы не выйдет. Если хотите знать, Кузьма Кузьмич вообще против брака — против всякого брака».

«Мне это известно, Фрося, я совсем не то имел в виду...»

Помявшись, я спросил, знает ли тётя Леля о том, что Фотиев живет здесь.

«Знает, как не знать. Сама сюда прибежала. Якобы ей кто-то сказал, что Кузьмич нездоров. Я её прогнала».

«Твой доклад, — сказал я, — произвел на меня большое впечатление. Ты, наверное, учишься на историческом отделении?»

«При чем тут я, мне почти всё Кузьма Кузьмич написал. Конечно, ссылки на его работы — это мною добавлено».

Она встала и остановилась передо мной, спиной к солнцу: тонкая черная фигура, одетая в сияние.

«Насчет тётки Лёли это ты напрасно».

«Я знаю, что говорю. Только, пожалуйста, не думайте, что я из каких-то там особенных чувств, из ревности или... Мне Кузьма Кузьмич как отец. Кузьма Кузьмич против брака, — сказала она надменно, — потому что брак ведет к продолжению рода».

«Какое уж там продолжение, люди-то немолодые».

«Да что вы всё заладили. Не такой уж он старый; знаете, сколько ему лет?.. Дайте мне договорить, что вы меня перебиваете!»

«Извини, Фрося...»

«Разница между Ветхим и Новым Заветом, между еврейской верой и христианской, — та, что там вам говорят — плодитесь и размножайтесь! А Христос победил язву сладострастия тем, что он не плодил детей, а, наоборот, воскрешал умерших».

«Ты хорошая ученица, — возразил я, — но мне немного странно слышать всё это от женщины».

Амвросий пылко возразил:

«Я его дочь. Кузьмич говорит, истинный образ женщины — это Корделия, которая верна отцу».

Она встала. В эту минуту в воротах показался Фотиев. Усталый, он издали прошествовал мимо нас, и я поспешил откланяться.

То, что мною сейчас изложено, я воспроизвел по памяти, то есть невольно привел в относительный порядок, придал рассказу, так сказать, беллетристическую форму. Другими словами, оказался в ловушке, можете называть её логикой повествования или как вам будет угодно. Мы думаем, что честно вспоминаем, а на самом деле причесываем действительность. Чем хаотичнее действительность, тем жестче эта логика. На самом деле чем дальше, тем разговор мой с двуполым братом Амвросием всё меньше походил на непринужденный обмен мнениями. И тем меньше было в нем последовательности. Скорее это было какое-то взаимное ощупывание. Словно я был слепцом и наткался то на одно, то на другое. Не говоря уж о том, что некоторые намеки в словах Амвросия, а вернее сказать, кое-какие нюансы смысла, дошли до меня позже. Подводный ход мыслей влек нас к запретным темам, к чему-то такому, до чего опасно было дотронуться, как до голых электрических проводов, и тянуло дотронуться.

Может быть, стоит добавить, что разговор принял рискованное направление, когда я осведомился у брата Амвросия, значит ли сказанное им, что Кузьма Кузьмич — противник всякой любви между мужчиной и женщиной. Своим неуклюжим вопросом я хотел дать понять, что если традиционный христианский брак имеет целью деторождение, против которого наш учитель решительно возражал, ссылаясь на пример самого Христа, если брак, понимаемый в таком смысле, отвергается, то ведь можно любить друг друга без намерения продолжать род, ибо любовь и зачатие — не одно и то же.

Задав этот вопрос, я тотчас устыдился: получалось, что я как бы подталкиваю девицу к сожителству с духовным отцом и руководителем. Я притворялся — теперь можно в этом признаться, — будто меня интересуют не взаимоотношения ученицы и учителя, а его учение. Но учение само по себе представляло, если угодно, зашифрованную теорию антилюбви. Как любовь женщины и мужчины была залогом того, что на земле будут рождаться всё новые и новые поколения, так любовь к отцам давала новый смысл сексуальности: она обращала её вспять. Я понимаю, что выражаюсь туманно.

В те дни над нашим краем, над невозделанными нивами и всё еще не вырубленными лесами, над плоской чашей, на дне которой копошилась жизнь, ползли игрушечные трамваи, кренились книзу дома, текла и пропадала за горизонтом река и доживала свои столетия руина монастыря, песчаная крепость несовершеннолетних богов, — в те дни совершались события, чье грозное космическое величие не иссякало от того, что они повторялись из года в год, из века в век. Холодный фронт теснил область высокого давления, которая смещалась к востоку, фланги этого наступления простирались на севере до сказоч-

ных варяжских утесов, на юге — до астраханских степей; обманный маневр, который должен был, согласно искусному стратегическому плану, создать впечатление, будто на центральном участке фронта наступило затишье, удался. Солнце палило вовсю. И тогда в назначенный срок, с точностью до минуты, рванул грозовой ветер с Атлантики, он гнал перед собой танковые колонны кучевых облаков; птицы кружили низко над темнеющей рекой, словно несли на крыльях несчастье; вся гигантская толща атмосферы всколыхнулась, и оборона дрогнула. Затрещали деревья. Громыкнуло так, что сотряслись древние стены монастыря. Рухнула луковица шатровой церкви. Потоп дождя низвергся на крыши обреченного города, на опустевшие улицы, на поблескивающие трамвайные пути и спустя несколько мгновений превратился в град. Свинцовые воды реки вскипели. Тяжелый полог туч заслонил горизонт; бомбардировка закрепила стратегический успех. Никто не знал, что случилось с птицами; как и люди, они затаились в своих убежищах, иные были убиты. В канавах лежали обломки снарядов, ледяная шрапнель. На другой день моросил осенний дождик, запоздалый рассвет превратился в сумрачный вечер, комендантский час погоды; новых распоряжений не поступило, никому не было ведомо, что намерены предпринять оккупационные власти; тем временем воздушное пространство очистилось, и над городом засверкал гигантский, живой и дышащий гороскоп небес.

## ХII

### *Праздник*

Рискуя быть выслеженным, схваченным, препровожденным куда следует, я направился к Алевтине. Что-то труднообъяснимое происходило в воздухе. В считанные часы переулки успели зарости высокой травой, похожей на осоку. Повсюду блестела и хлопала под ногами вода. Там и сям потоп оставил песчаные наплывы, похожие на отмели, и дорогу пересекали упавшие столбы. Я думал, что делать дальше. Если бы уговорить Петуха уехать навсегда, она могла бы развестись с ним. Что тогда? Жениться на Алевтине. Я готов был без сожалений начать новую жизнь, забуриться в её доме — почему бы и нет? — днем прибирать комнату, отводить близнецов в детский сад, а ночью скакать на ней, отрабатывать в поте лица свой хлеб. Перекресток неподалеку от её дома, где мы когда-то лихим контрударом обратили в бегство шпану, превратился в болото. Был выходной день. Слышались стоны гармошки. До меня донеслась любимейшая песня тех лет — или это был граммофон?

Она открыла мне, едва я успел постучаться, одетая по-праздничному, запыхавшись, точно в спешке.

«А-а, — проговорила она, — заходи... Заходи, друг милый! Соскучилась я по тебе!»

«У тебя гости?» — сказал я.

«Все свои! А я тебя ждала».

Она была выпивши. Мы стояли перед дверью, она жарко обняла меня, в полутьме, в светлом платье она выглядела молодо, с блестящими глазами, с высоко стоявшей грудью; в ней было что-то раздражающее, какой-то зуд исходил от неё. Никогда еще, я думаю, она не вызывала во мне такого внезапного желания овладеть ею и причинить ей боль; так расчесывают до крови зудящее место.

«Потом расскажу, — зашептала она, дыша мне в лицо, — ничего не спрашивай... Всё нормально, все помирились... Мы с тобой как были, так и будем. Родный ты мой...»

Из приоткрытой двери слышались шум, нестройное пение, возгласы.

«Да, да, иду, идем! — закричала Алевтина. — Вот... хочу тебе сказать. — Она схватила мою руку и прижала к своей груди. — Чуешь, как сердце бьется? Господи, где сердце-то, — говорила она, водя моей ладонью, — никак остановилось?.. Фу, жарко даже стало...»

Мы стояли, не зная, что делать. Если бы я захотел её увести, она пошла бы за мной куда угодно.

Чем дольше мы жили вместе, тем загадочней казалась мне моя подруга: загадка — если это была загадка — состояла в том, что Алевтина никогда не была тем, чем она казалась. Можно было подумать, что наш союз держался исключительно на плотском вожделении, всё рассказанное мною до сих пор как будто служит этому подтверждением. Можно было подумать, что ради «этого» меня и держали, что я был каким-то чернорабочим любви. Ничего подобного.

На работе, во время смены, в теплом платке, в шинели, с рулонами билетов на груди, Алевтина была существом без пола и возраста. На самом деле она вся с головы до ног была женщиной, во всяком случае, становилась ею с определенного момента, и чем позже был вечер, тем больше она была женщиной, в которой всё, от распущенных волос до маленьких плоских ступней, которые она вытягивала, сидя на краю кровати и шевеля пальцами, говорило об одном и было устремлено к одному, всё было заряжено электричеством, — казалось, стоит только коснуться её сосков, поднимавших рубашку, и посыпятся искры. Но и это только казалось, а на самом деле она жила в своем теле, равнодушная к его сексуальной природе. Она несла своё предназначение, как носят бусы на груди. Она отлично понимала,

что значат каждое её движение, каждый видимый или подразумеваемый изгиб, и, уж конечно, не оставалась в неведении относительно ресурсов страсти, которые таились на дне её тела, в темной воронке, в крохотном придатке, который уравнивал её с мужчиной. А с другой стороны, это было знание, как бы не ведающее о себе. Внутри своего опыта она оставалась невинной, как девственница. В сущности, она не нуждалась в половой жизни. По крайней мере могла бы «обойтись». И потому оставалась немым, безвольным объектом любовного насилия и простиралась передо мной, как пашня вожделения. Если я был ей нужен, то, очевидно, потому, что «так было нужно». Так полагалось. Я обязан был регулярно соединяться с ней и выкачивать из неё ресурсы наслаждения. Была ли это любовь? В определенном смысле — да. Алевтина, я думаю, искренне любила меня, потому что так было нужно. Она как будто хотела сказать: ничего не поделаешь, никуда не денешься. Так уж положено, чтобы у женщины был дом и был мужчина. Да и какое там к черту «вожделение», сказала бы она, когда работаешь целыми днями и света белого не видишь.

Однажды я шел следом за ней по переулку, который не мог узнать, в одну из тех, теперь уже далеких ночей. Чем больше я старался её догнать, тем проворней она уходила от меня и наконец исчезла за домами; в отчаянии я бросился за угол. Мне неловко об этом рассказывать, но не потому, что сон был непристойный, наоборот: он был антинепристойный. Она стояла на узкой тропинке рядом с канавой, темная на фоне серебряного неба, совершенно нагая и без сосков, с гладким, как у статуи, лоном, без всего, что отличает один пол от другого. И я почувствовал ненависть к этой статуе.

Мы едва успели посторониться, дверь распахнулась, в коридор ворвался граммофон. Голос певицы, звонкий голос разухабистой народной бабуся, выплеснулся, как выплескивают во двор помои: «Валенки, валенки!..» Фигура мужчины загородила проем.

«Петя, вот друг мой пришел... да вы, чай, знакомы».

Как все, она называла его по имени, которое само собой образовалось от фамилии, настоящее же имя, я думаю, никогда не употреблялось. Песня — кто её не помнит? — плыла и колыхалась, как папиросный дым, в дыму был виден пиршественный стол, кровать была вынесена, граммофон с бабусей воздвигнут в углу.

«И-эх... валенки, валенки! Ой да не подшиты стареньки».

Хор подхватил:

«Чтобы к милому ходить, надо валенки подшить!»

Меня усадили. Я подпевал поющим.

Веселье было в полном разгаре или, лучше сказать, разливе. Стол загромождали остатки еды, пирующие частью сидели на своих местах, частью толкались по комнате. Петухов усердно подливал мне. Сперва мне показалось, что я ни с кем, кроме него, не знаком. Одного, впрочем, узнал: это был вагоновожатый, в чьем трамвае мы совершили наше свадебное путешествие. Он плясал вприсядку. Еще один человек, по имени Май Феклистов, сидел на другом конце стола и дирижировал двумя вилками.

«Слушай, Петя...» — пробормотал я и тут же забыл, что хотел сказать.

«Валенки!» — закричала Алевтина. Она не могла усидеть и, сорвавшись с места, стуча каблуками, с подсакивающей грудью, понеслась по комнате. Вагоновожатый, с каменным лицом, уставясь в пол, выбивал дробь на одном месте.

«Валенки! У них! И-и-и...»

«Аля, что с тобой, тебе плохо?» — спросил я, когда, задыхаясь, закатив глаза, она упала на стул.

«Это ты во всем виноват», — проговорила она.

«Я? В чем?»

«Сам должен знать».

«Ах, так. Ты с ним снова путаешься, а я виноват. Где он?» — спросил я, заметив, что Петуха нет в комнате.

«Я почему знаю».

Музыка умолкла.

«Ты моей любви не стоишь. Все вы хороши».

«Что ж ты не сказала, что именинница».

«Сам должен знать... Не слушай меня, я пьяная. Ва-аленки! — запела она тонким голосом, подражая бабуся. — Ты порядочный, а я пьяная».

«Петухова! — крикнул кто-то. — За твое здоровье! Сто лет жизни! Дай Бог не последнюю! Горько!..»

«Горько!» — заорали со всех сторон. Алевтина целовалась с Петухом, целовалась со мной, всё происходило как-то само собой, точно мы сидели не в комнате, а плыли по реке на плоту.

К моему удивлению, за столом сидела еще одна знакомая гостья, в платье с вырезом, с бархоткой на шее, в ушах — голубые сережки.

«Говорю тебе, тут все свои, — пробормотала Алевтина. — А ты пей, не обращай внимания».

Старый граммофон тётки Лели очнулся, вознес свою изумрудную трубу, похожую на цветок. Бабий голос всхлипнул: «И-эх!» и пошло-поехало.

«Валенки, валенки, ой да не подшиты, стареньки! Валенки! Чтобы валенки носить...»

«Вот заладила», — буркнула Алевтина.

Я подумал, что меня сюда никто не звал, и стал подниматься.

«Куда? Сиди... Пушай все видят, какой друг у меня степенный, образованный. Закушай. А то впрямь окосеешь. Хватит тут пьяных без тебя».

Муж Алевтины сидел, опустив голову, волосы падали ему на лицо.

«Чтобы валенки носить...»

«И Петю я тоже люблю. Я всех люблю. Друзья вы мои дорогие, подруги милые...»

«Чтобы к милому ходить, надо валенки... Валенки!»

«Да что это за наказание», — сказала она в сердцах, подошла к граммофону и свернула ему шею. Но не успела сесть, как опять раздалось: «Чтобы валенки носить!»

«Леночка!» — воскликнула Алевтина. На пороге стояла девочка в короткой рубашонке и пялила блестящие и сонные глаза.

Петухов мрачно воззрился на ребенка.

«Папка приехал, Леночка», — сказала вкрадчиво Алевтина.

Мне как-то вдруг стало тепло и хорошо. Я не был пьян, точнее, опьянение время от времени обдавало меня теплой волной, чтобы тотчас отхлынуть. Абажур сиял, окруженный туманом. Сладко зевал и тер глаза кулачком ребенок на коленях у Фроси. Я напевал:

«Валенки, валенки...»

И опять, собравшись с силами, поникший цветок распрямылся, граммофон рявкнул песню с середины. Певицу было не узнать, теперь это была словно расцветшая поздней молодостью, загадочно-коварная, высокогрудая, пышущая жаром свекольная красавица.

«Валенки, валенки!!! Эх! Неподшиты...»

Я встал, пригладил волосы. В коридоре Фрося преградила мне дорогу. Гости, шатаясь, выходили из комнаты, шаги гремели по ступеням. Там тоже пели «Валенки». Я сказал:

«Можешь ли ты мне объяснить?...»

«Что?» — спросила она.

«Можешь ли ты объяснить, я ничего не понимаю. По каким дням ты мужчина: по четвергам, по пятницам?.. И по каким дням девушка? Это первое... Куда все делись, где Аля?.. И, наконец, абсолютно непонятное поведение этого прибора. Объясни мне, пожалуйста: чтобы валенки сносить, надо валенки носить, это же чушь собачья!»

«По-моему, там другие слова».

«Хорошо, — возразил я, — пусть другие. Что от этого меняется?»

«И-и! — раздалось из комнаты. — Чтобы... йэх!»

«Идиотка. Ничего другого она петь не в состоянии. И как соседи терпят?»

«Соседей нет, — сказала Фрося. — Они уехали. Не ходите туда...»

«Ты уложила девочку спать?»

«Не надо туда заходить».

«А в чем дело?»

«Они там... вдвоем»

«Не вдвоем, а втроем, даже вчетвером».

«Вдвоем. Не переживайте. Это так надо. К тому же он настолько пьян, что, наверное, уже спит. Пойдемте лучше посидим».

«Ты принарядилась, — сказал я, — никогда не видел тебя такой».

Она дотронулась до сережек.

«Идет мне?»

Мы вернулись в комнату, где, отбивая такт вилками о тарелку, нас приветствовал Май Феклистов: лучше валенки носить, чем без валенок ходить. «Валенки!» — заорал, загремел чуть ли не весь дом. Я обхватил свою даму за талию, и мы принялись выделывать па фокстрота. Обойдя таким манером комнату, точно барахтаясь в воде, мы приблизились к граммофону, который качался, как буй; Фрося высвободилась, остановила машину и сняла с диска пластинку. Плот плыл по реке. Май дремал, окунув ноги в воду.

«Вы спросили, кто я такая...»

Она поискала глазами пустой бокал, налила и не спеша выпила. Я пододвинул ей тарелку с ломтиками свиного сала, она положила ломтик на хлеб, откусила: некоторое время мы молчали.

«Вас удивляет, почему я здесь, — проговорила она. — я и сама не знаю... То есть, с другой стороны, ничего странного в этом нет».

«Нет, я не удивлен. Ты пришла ради меня, поговорить со мной? Ты ждала меня?»

«Я? Откуда вы взяли? А впрочем, может быть, вы правы».

«И-эх!»

Кто-то стоял возле граммофона или нам показалось.

«Валенки! Ва...»

Вагоновожатый снял с диска пластинку, поглядел, подумал и шмякнул бабусяю об пол.

«Не обращайтесь внимания: туда ей и дорога. Выпьем».

«Я же с копыт свалюсь, Фрося...»

«Ничего, подниму».

«Эй, Петухова, — горестно сказал вагоновожатый, — куда же ты...»

Он ползлелся прочь, черные обломки валялись на полу. Затем диск завертелся сам собой, из раструба понеслось: «Валенки, валенки...».



Мистик сказал бы, что мы приблизились к божеству, буддист — что готовились погрузиться в нирвану. Врач констатировал бы у нас высокий уровень этилового алкоголя в крови, а психолог усмотрел бы в нашем поведении новое подтверждение гипотезы трансперсонального сознания. Под пологом туч нас несла темная, как чернила, река, нас сплотило одиночество зыбких вод, и светлым видением на берегу стоял сонный ребенок. Мы сидели за обезображенным, опустошенным столом, стол — это и был плот, мы сгрудились на плоту; гости вставали и возвращались, явились другие, кто-то пытался надеть на себя гармонь, совал руки в лямки и не мог попасть, нечесанные мужики курили махорку в дверях, вошла Алевтина с блестящим от слез лицом, это были не слезы, а дождь. Завесы дождя преградили нам путь, все жались друг к другу, шарахались, разворачивались, плот вздымался и падал на перекатах, и вдали погромыхивал гром. Голос Али вернул меня к действительности, я всё еще был в состоянии отличать себя от других, собственное одиночество от одиночества всех, но что такое была эта действительность? Явь, от которой я оттолкнулся, была мнимым берегом, а подлинной и окончательной была явь несущейся воды, действительность хаоса и распада. Напрасно она опровергала себя, притворялась бредом и сновидением: она и вправду была такой, в самом деле была той, за кого себя выдавала, она была безумной, эта действительность, и нужно было не мешкая подкрепиться спиртным, чтобы заглушить чувство ужаса перед этим открытием. Оглушить себя, и тогда почувствуешь себя своим человеком в сумасшедшем доме бытия. Мистик сказал бы, что мы приблизились к постижению шизофренического божества, патриот — что мы потерялись, как малые дети, и нашлись, презрели свой разум, своё жалкое «я», и соединились в народной стихии.

И понемногу кошмар нашей участи рассеялся, река посветлела, горизонт очистился от чернильных туч, заблестела вода, очистились и окрепли голоса, и незаметно мы все, сидящие за столом среди рюмок, стаканов, тарелок с недоеденным винегретом, с ломтиками белого лоснящегося сала, с кружками колбасы, успевшими принять выпуклую форму, мы все, усталые, и бормочущие, и плачущие, и поющие, стали общей душой, и душа эта выговаривала себя, созерцала будущее и вещала о нем. И, ощутив себя в этом расплавленном состоянии, в общем вместилище, мы испытали то, что может пережить и постигнуть каждый, кому она раскрывает объятия: придите ко мне, труждающиеся и обремененные, и аз упокою вы. Мы возвратились туда, отколе мы вышли. Мы стали одной семьей, мы были братья, и сестры, и отцы, и дочери, и мужья, и жены друг для друга. Единая душа, мандорла древних икон, золотая византийская вечность, — это она обни-

мала нас, каждый был её органом и порождением. Ей не нужен был ничей интеллект, она обладала собственным неразумным разумом, слепым зрением, глухим, но безошибочным слухом: она не знала противоречий, не ведала расстояния между злом и добром, между хаосом и порядком; если она говорила о себе «я», то лишь притворялась личностью, мною или тобою; если каждый из нас, как во сне, время от времени вспоминал о своей особости, то это был общий сон, её сон, это она надевала на себя личину мужчины или женщины, раздвигала вход, и входила, и принимала входящего. Испытай эту сладость, говорила она, не рассчитывай, не думай, не соображай: всё давно решено за тебя; ляг ничком на плоту и отдайся течению.

Тут я снова заметил Мая Феклистова, он делал мне знаки, я ответил ему слабым кивком. Фрося коснулась моей руки. «Мне пора в общагу», — сказала она вполголоса. «Он нас зовет». — «Он мне надоел. Давайте от него убежим!» — «Разве ты живешь в общежитии?» — спросил я. «Ну да, а где же еще. Наверное, трамваи уже не ходят. Вообще-то, — добавила она, — я в общежитии скорее числюсь. Но надо время от времени показываться, а то выгонят. Скажут, у тебя есть другое жилье». — «В монастыре?» — спросил я. Она пожала плечами. Мы дошли до трамвайных путей и увидели столб с названием остановки. «Сейчас всё узнаем. Налево пойдешь — голову сложишь. Очень приятно. Направо — замуж выйдешь. Тоже неплохо... Вы, наверное, думаете, я его жена?»

Довольно долго мы брели, стараясь держаться ближе к домам, хватаясь за изгородь, чтобы не соскользнуть в грязь. В темноте кашляли собаки. Кончилась улица, вдали над полем стояло голубое сияние. Мигали огни. «Вот так здорово: это что — аэродром? Слушай, Фрося, — мне вдруг стало весело, — у меня идея. Давай с тобой улетим!» — «Куда?» — «Всё равно. Решим по дороге». — «А как же Алевтина?» — «А как же Май?» — смеялся я. «Это военный аэродром, — сказала она, — нас не пустят». — «Мы попросимся. А потом им всем напишем. Знаешь, что мы им напишем? — Смех разбирал меня. — Мне сверху видно всё, ты так и знай!»

«Мы сбились, — промолвила немного спустя моя спутница, — я хотела короткой дорогой. Надо было взять левой. Может, вернемся?»

«А ты знаешь дорогу назад?»

«Нам надо выйти к реке. Может, вернемся совсем?»

«Зачем?» — спросил я.

«А то она еще Бог знает что подумает».

«Ей не до меня...»

«Очень даже ошибаетесь». Мы шли по широкой грязной дороге, справа тянулись огороды, сияние вдали над полем то разгоралось, то меркло.

Наконец, заблестел булыжник, выбрались на большак. Она сказала:

«Я хотела спросить вас... Вы пьяны или трезвы?»

«Ты это хотела спросить?»

«Вы не ответили».

«Будем считать, что пьян».

«И что, завтра ничего не будете помнить?»

«Ни одного слова не вспомню, Фрося».

«Вы Алевтину любите?»

«Люблю».

«Расскажите, — сказала она, — как у вас бывает».

Я пожал плечами.

«Вы же говорите, что вы пьяны. Я тоже пьяная. Я хочу знать...»

«Как у всех людей».

«У людей бывает по-разному. У некоторых совсем не бывает».

«Об этом не говорят, Фрося...»

«Я пьяная и хочу знать. Ведь вы нормальный мужчина, да?»

«Не знаю. Думаю, что нет».

«Значит, и у вас ничего не бывает».

«Нет, почему же».

«Тогда почему ненормальный?»

«Возможно, я не так выразился. Видишь ли, я незаконный человек и поэтому...»

«Незаконными бывают дети, — возразила она, — вернее, были. До революции».

«А я после революции. Это трудно объяснить, хотя, в общем, вещь довольно обычная. Вот мы с тобой идем, так сказать, гуляем. А я, может быть, и гулять не имею права. Может быть, таким, как я, не положено. С одной стороны, вроде бы ничего особенного, а с другой... Я сам не знаю, что мне положено, а что не положено. Люди думают, что я нормальный человек, а на самом деле...»

«Всё это не то, я не об этом», — сказала она, и дальнейший путь мы продолжали молча.

«Вот вы говорите, что не знаете... — промолвила она наконец. — Я тоже не знаю, кто я такая. Можете себе представить? Я ни мужчина, ни женщина».

«Кто же ты?»

«Хотите, скажу?»

«Конечно, Фрося, ты можешь мне довериться».

«Я девушка».

«Я знаю, что ты девушка».

«Вы меня не поняли. Я девственница. Я с ним уже два года, даже больше... и всё еще девственница. В самом обыкновенном и пошлом смысле девица».

«Да, но... Что ты хочешь этим сказать?»

«А то, что все думают, будто я его жена... или там любовница... и вы тоже так думаете. Да я и сама считаю его своим мужем, я буду с ним до конца, я его не оставлю».

Я спросил:

«Что значит до конца? Что ты имеешь в виду?»

«До самой смерти».

«Мы правильно идем?»

«Откуда я знаю... Он ужасно боится смерти, — сказала она. — Вы даже себе не представляете».

Наш путь во тьме петлял и возвращался, и точно так же петлял, путался и обрывался наш ночной разговор. Она рассказывала мне о мальчике в черных чулках и ботинках, в костюмчике из черного бархата, с кинжалом на бедре.

«Что это за мальчик?»

«Он говорит, видел его».

«Кузьмич?»

Молчание. Мы старательно обходили лужи.

«Скрипнет дверь, и войдет черный мальчик. Вот такую смерть он себе придумал».

«Впервые слышу, — сказал я. — Он чем-нибудь болен?»

Она усмехнулась: «Ничего вы не понимаете. Я для него тоже мальчик».

Конечно, если быть откровенным, эта мысль и прежде приходила мне в голову; исполненный благоговения перед учителем, я гнал её от себя.

«Притом что... мы живем как муж и жена».

«Как же вы живете?»

«Так и живем. По сениям так и сяк, а в избу никак».

«То есть ты хочешь сказать...?»

«Да, да, всё верно, — раздраженно возразил брат Амвросий, — сам Иисус подал нам пример воздержания. Но я его люблю и не знаю, что плохого в том, что люди любят друг друга. Он же не Иисус. И какое уж там воздержание, если он всё-таки со мной живет! Понимаете?»

«Понимаю», — сказал я, хотя, говоря откровенно, мне было понятно далеко не всё.

«Вы не смотрите на меня, я человек сильный. Я женщина. Я своего добьюсь... Только я вас предупредила, — закричала она, — я пьяная и за свои слова не отвечаю!»

Я хотел взять её под руку. Она с ненавистью оттолкнула меня.

«Не я первая... или не первый... И не я единственная. Да чего там... он и не скрывался». Всё повторилось, мы снова шлепали по грязи, выбрались на мощеную дорогу, впереди светилось тусклое марево. Аэродром оказался рабочим поселком. Какой к черту мог быть аэродром в нашем городе?

### ХІІІ

*Обитель милосердия. — Знакомство с боговдохновенным о. Зуем. — Честное соблюдение правил игры как залог добрососедских отношений. — Приятное времяпрепровождение в саду.*

Помнится, в моем пропавшем дневнике находился подробный отчет о посещении Дома крестьянина. Так назывались в наших краях ночлежные дома для приезжающих в город деревенских жителей. Дом крестьянина имел то неоспоримое преимущество, что там не требовалась прописка, другими словами, там не спрашивали паспорт; требовалась справка о разрешении отлучиться из колхоза. Сомнительно, чтобы все постояльцы ночлежки были тружениками колхозных полей, и я бы не удивился, если бы оказалось, что никаких тружеников полей в наших краях вообще не осталось, как не осталось древлян или печенегов. Замечу, что и Кузьма Кузьмич Фотиев числился колхозником, следовательно, не имел паспорта и в городе проживал по справке, которую ему регулярно продлевала чья-то небескорыстная рука.

Он вел меня задворками позади каменных торговых рядов прошлого века — от лавок не осталось и следа, под арками сидели бабки с цветами или семечками, мочились пьяные, шныряли подростки; оттуда мы повернули к автовокзалу, на улицу, перерытую по случаю ремонтных работ, которые начались много лет тому назад и продолжают, надо полагать, по сей день. Улица уперлась в тупик. Кузьмич подал мне руку, я — ему, помогая друг другу, мы перебрались через фановую трубу на дне траншеи, в заборе была выломана доска, мы оказались на пустыре; автовокзал был позади нас. За углом стоял Дом крестьянина. Как и следовало ожидать, это учреждение выглядело менее презентабельно, чем гостиница, где я провел свои первые дни; хотя и сюда попасть было непросто. Над крыльцом висела ржавая вывеска: дом, как положено, был имени кого-то. Кого? Вот этого я уже не помню.

Войдя через сени в коридор, Кузьма Кузьмич постучался в дверь с табличкой «Комendant». Никто не откликнулся, он взглянул свысока на двух путешественников, мужчину и женщину, ожидавших приема; в углу был свален их багаж — узел и деревянный чемодан, на подоконнике была разложена на газете еда, стояла бутылка с водой, заткнутая бумажной пробкой. Мужик, продолжая жевать, молча указал пальцем на дверь подальше. Оттуда доносился стук костяшек. Кузьма Кузьмич приоткрыл дверь. Гром домино и восклицания всколыхнули чинное спокойствие ночлежного дома, послышались скрежет отодвигаемых табуреток, шорох шлепанцев, толстая низкорослая женщина в затрапезе выплыла и расцеловалась с Фотиевым; следом показались еще две или три физиономии. Комната была заставлена железными кроватями. «Вот, — сказал Кузьма Кузьмич, — знакомься...» — «Что, к нам?» — «Да нет, он уже давно в городе. Зашли тебя проведать». — «Родной мой, ты куда-то запропастился; может, чайку выпьем?» — «Может, и выпьем, — откликнулся Кузьма Кузьмич. — Сперва хочу показать Мойсеичу твои владения». — «Чего ж тут показывать, народу у нас сейчас немного. Вот зало... вон там умывальня. А вам чего надо?» — спросила она у ожидающих. Оба поспешно утирали губы, точно их застали на месте преступления.

Дом, однако, был больше, чем казался снаружи; двинулись дальше, комендантша смотрела нам вслед. В конце коридора на дверях было начертано мелом два нуля; от деревянных помостов с дырами, от мокрого пола и исцарапанных стен несло хлоркой. Толкнув вторую дверь, мы оказались в темном помещении, это было тоже что-то вроде сеней или тамбура, соединявшего дом с флигелем.

Кислое зловоние встречало каждого, кто решался сюда заглянуть, подобно надписи над воротами преисподней, подобно воспоминанию об утраченном отечестве; однако я не жалел, что пошел с Фотиевым, каковы бы ни были цели этого путешествия. Одной из них, несомненно, было намерение моего учителя представить меня общественности, имея в виду мой проект вступить в гильдию нищих. Разумеется, я не мог не вспомнить о прискорбном случае на железнодорожной станции; моих мучителей здесь, кажется, не было, но инвалид Жорик, полчеловека на тележке, с лицом, на котором трудно было различить глаза и нос, был тут как тут. Он катался, отталкиваясь утюгами-деревяшками, по проходу между нарами, взад и вперед, с размаху наехал сзади на кого-то, тот упал под общий гогот, поднялся и с бранью набросился на Жорика. Запах тряпья, висевшего на веревке над железной печкой, помещавшейся у входа, несколько умерялся махорочным дымом. Впереди за столом резались в карты, а в углу между окном и нарами совершенно голый человек играл на пианино.

Нас обступили, кто-то сзади запустил руку мне в карман; учитель, обернувшись, бросил: «Он со мной... а ну отзынь». Мы приблизились к играющим. Пахан приветствовал Кузьмича лапидарным матом. Кузьма Кузьмич подошел под благословение; отец Зуи осенил его размашистым крестным знаменем и протянул руку для поцелуя. «А это что за хмырь?» — спросил он, видя, что я не последовал примеру Фотиева, на что учитель ответствовал неопределенным жестом, приглашающим к снисхождению. «Нехристь», — строго заметил о. Зуи.

Обстоятельства мимолетно свели меня с таинственной и мифической фигурой, с одним из самых знаменитых людей в городе. Отец Зуи был мужчина могучего сложения, плешивый, бровастый, с расплюсценным носом, с усами, росшими из ноздрей; из-под черно-седой бороды, прикрывавшей полутолую грудь, свисал до пупа кованый архиерейский крест. Отец Зуи воздвигся из-за стола, гулко прочистил горло, сплюнул через плечо. Воцарилась тишина. Он оглядел всё общество. Лежавшие на нарах вскочили со своих мест, Жорик поднял с тележки бугристое лицо к пахану.

Подтянув штаны, отец Зуи возвел глаза к закопченному потолку, втянул воздух и проревел древний текст Климента:

«Миром Господу помолимся!»

Тощий, нагой, как Иов, пианист с черной зарослью внизу живота, сотрясаясь, брал мощные аккорды на своем расстроенном инструменте. Все усердно крестились и били поклоны. О. Зуи стащил с себя цепь и помахал тяжелым крестом в воздухе.

«Миром Господу помо-о-олимся. В рот вас всех».

Затем, по окончании торжественной части, игроки освободили место. Кузьма Кузьмич, перешагнув через скамью, сел за стол. Я встал за его спиной. Папаша Зуи стасовал карты, протянул Фотиеву колоду; Фотиев вздохнул. Папаша стасовал еще раз. Кузьма Кузьмич снял. Банкомет сдал карты, прищурился, приподнял свою верхнюю, заглянул в неё и присвистнул; глаза его засверкали. Кузьмич невозмутимо держал святцы веером перед собой. Пианист подбирал что-то одним пальцем: польку Рахманинова. Или рыбку съесть...

«... или на х... сесть!» — рывкнул густым басом чернобородый отец Зуи, шлепнув картой об стол. Кузьмич шлепнул своей.

«Тиририм-пам-пам. Жопой гвозди дергать, норма сто, выдернул сто пятьдесят, премировать лишней пайкой, — бормотал отец Зуи. — Или рыбку съесть, или трим-пам-пам!»

«Или рыбку съесть, или тра-та-та», — отвечал, сгребая взятки. Кузьмич.

«Любовь изысканное чувство. Ловить п... ю мух — искусство. Норма сто мух, поймала двести. Стахановка, ети её... премировать премблюдом».

«Или рыбку съесть...»

«Принес?» — спросил отец Зуй.

«Ась?» — сказал Кузьмич.

«Спрашиваю: принес?»

«Может, и принес», — сказал Кузьмич.

«Едрена вошь, — сказал о. Зуй. — Когда старший по званию спрашивает, отвечать по делу, кратко, стоять по стойке смирно».

«Так точно, ваше благородие».

«Когда духовный отец спрашивает, духовному отцу отвечать по всей совести, за лжу Бог накажет».

«Слушаюсь».

«В рот их всех, — резюмировал папаша. — Давай бабки».

Кузьма Кузьмич извлек из-за пазухи приношение, завернутое в тряпицу. Какая-то личность из малолеток подкатилась поглядеть.

«Отзынь, — замахнулся локтем папаша. Он развернул сверток, сопя, пересчитал купюры — Где остальные?.. Пес смрадный! — загремел о. Зуй. — Духовного отца объе...ть хочешь?»

Кузьма Кузьмич развел руками.

«Обыщу, — сказал Зуй. — Как Бог свят, сейчас обыщу!»

«Лучше не надо», — сказал Кузьмич.

«Вот то-то!»

«Слушай, дядя, — проговорил Фотиев. — У меня к тебе есть разговор. Твои люди плохо себя ведут... Ты как со мной дальше жить будешь: кузь-кузь или вась-вась?»

Папаша Зуй засопел, выглядывая из-под лохматых бровей, как волк из чащи. Фотиев сказал:

«Мойсеич... ты бы сходил, погулял, что ли».

Последующие события мало что прояснили в характере деловых отношений, которые связывали К.К. Фотиева с отцом Зуем. Такого рода детали познаются постепенно, сами собой, что и произошло бы, не случись того, что случилось. Не буду забегать вперед. Для меня по крайней мере было ясно, что наш визит носил предварительный характер, учитель дал мне подышать четверть часа сладкой вонью ночлежки. Выйдя наружу, досадуя сам не знаю на что, я с усилием и наслаждением расправил грудь.

Была прекрасная погода. Небо сияло. Заметив, что народ входит в ворота городского сада, не обращая внимания на кассу, я направился к воротам. Время было уже послеобеденное, я уселся на скамейке рядом с гипсовой статуей вождя, расставив ноги, чтобы не закапать штаны мороженым. В это время мимо меня прошагали две девушки, обе были в одинаковых легких пальто; обе шествовали в уверенном сознании



своего тела, бессознательном сознании, если можно так выразиться; я не мог оторвать от них взгляда. Непостижимым образом я чувствовал себя в одно и то же время и восхищенным соглядатаем, и той, за которой подглядывают; я следил то за одной, то за другой и одновременно спиной и ногами, всей кожей, всеми тайными уголками тела ощущал на себе мужской взгляд. Они отошли уже довольно далеко, когда одна из них обернулась, словно хотела подать мне знак. Я смотрел ей вслед, капли мороженого стекали по моим пальцам, как если бы эта летучая улыбка была взглядом самой весны.

### **Лесная быль. Трактат о волосатых мужиках**

*Тот, кто застал дебаты на эту тему, возможно, вспомнит Снежного целовека, чудовище озера Лохнесс и тому подобные сенсации, кончившиеся ничем; но если споры о таинственном ящере упёрлись в тупик оттого, что так и не удалось доказать его существование, то интерес к волосатым мужикам иссяк, когда стало ясно, что сомневаться в их реальности нет оснований. Отсюда следует, что существовать на просторах мифа выгодней, чем влачить жалкую жизнь в клетке банальной действительности. С волосатыми мужиками произошло то же, что случилось бы со Снежным человеком, если бы вместо того, чтобы бродить по горным склонам фантазии, он угодил в зоопарк.*

*Феномен волосатых мужиков даёт, таким образом, пищу для размышлений о критериях действительного; можно представить себе довольно широкую, хоть и лишённую чётких границ, дымно-серую зону между абсолютной реальностью и тем, что не имеет никаких шансов реально существовать; можно говорить о градациях реальности. Существуют, если угодно, вещи, не вполне существующие, — не в том смысле, что их реальность недостаточно засвидетельствована, а потому, что она сама по себе является неполной.*

*Сказанное выше о волосатых мужиках нуждается в уточнении. Хотя их подлинность ни у кого (или почти ни у кого) не вызывает сомнений, страх перед волосатыми мужиками и мистическая зачарованность, рождающая легенды, отнюдь не исчезли, и задача серьёзного исследователя состоит в том, чтобы отшелушить зерно от половы, очистить факты от домыслов, — не посягая на упомянутую серую зону.*

*Не подлежит сомнению, что загадочное племя существ, для которых чуть ли не единственной одеждой служил их волосаяной покров, появилось давно, хотя вопрос, откуда они пришли, остаётся открытым. Другой беспорный факт — тот, что волосатые*

мужики суть именно и только мужики: соплеменников с признаками женского пола среди них нет. Данные об их численности отсутствуют, можно лишь догадываться о том, что она непостоянна и в целом снижается по мере истребления лесов; бывают, однако, эпохи, когда волосатым мужикам становится тесно в их обиталищах, и тогда они массами, молча (примечательная черта их поведения) высыпают из чащ, нападают на деревни, мигрируют по течению рек, обычно вплавь, реже на стволах деревьев, и даже могут появляться в городах. Сведения о языке волосатых мужиков (при том что они отнюдь не являются глухонемыми) и сколько-нибудь развитой материальной культуре отсутствуют. Труднообъяснимая особенность их образа жизни состоит в том, что за ними невозможно наблюдать в их естественной среде обитания. Все попытки такого рода были неудачны.

Особого рода урюмая сосредоточенность, тупой, но вместе с тем и пронзительный взор, какая-то неотступная задняя мысль, написанная на их широких, покрытых растительностью лицах, то, что называется себе на уме, не раз обманывали натуралистов. Странствия вступить в контакт, попытки объясниться жестами, предложить еду или подарки в лучшем случае вызывали мимолётное любопытство. Никто, однако, не может преодолеть присущее волосатым мужикам недоверие к цивилизованному человеку, и переговоры, если это можно назвать переговорами, неизменно заканчивались бесследным исчезновением таёжных аборигенов. Но можно ли назвать их аборигенами? Как уже сказано, никто никогда не видел лесных мужиков в лесу. В одном из фильмов, снятых скрытой камерой, можно видеть, как группа волосатых людей (они никогда не являются меньше чем в количестве 8–10 особей) медленно отступает к опушке и растворяется в сумраке деревьев; с этого момента всякая попытка продолжать знакомство бесцельна.

Идти за ними бессмысленно, искать их бесполезно: они словно перестают существовать.

Появившееся несколько времени тому назад короткое сообщение не привлекло бы особого внимания, если бы кто-то не догадался сопоставить его с двумя-тремя фактами, отмеченными в других местах и при других обстоятельствах. Речь шла о престарелом колхознике-бобыле в забытой Богом деревне, где половина домов стояла с заколоченными окнами, а в остальных доживали свои дни впащие в слабоумие инвалиды. Когда через две или три недели после того, как старик в последний раз выходил на улицу, спохватились и взломали дверь, обнаружен был труп в шапке, валенках и ватной телогрейке, с признаками разложения; лишь в районной больнице, в морге, было установлено, что умерший покрыт от шеи до ног густым и свляющимся от времени волосатым покровом.

*К числу парадоксов, какими отмечено явление волосатых мужиков, принадлежит и тот удивительный факт, что, с одной стороны, мифы об этих существах по-прежнему волновали умы, по-прежнему кочевали из уст в уста самые невероятные вымыслы, изобретались псевдонаучные гипотезы, муссировались страхи, — а с другой стороны, вполне достоверные сообщения, так или иначе подтверждавшие только что описанное наблюдение, воспринимались как что-то давно знакомое и будничное. Отношение к волосатым мужикам напоминало отношение к цыганам. Правда, мало кому приходилось видеть представителей цыганского племени в роли начальников. Между тем доподлинно известно, что в ряде районов волосатые мужики — да, она самые — состояли секретарями местных партийных комитетов. Некоторое время они вели двойной образ жизни, заседа в кабинетах и периодически исчезая в лесах, но мало помалу перешли к оседлому образу жизни. Место в иерархии предполагало необходимость дальнейшего продвижения; открылась возможность ускоренного краткосрочного образования; волосатые мужики приспособились носить сапоги и полувоенную форму, а позднее овладели искусством завязывать галстук. Им удалось научиться произносить отдельные фразы, а также подписывать бумаги, сидеть в президиуме, аплодировать самим себе и выполнять ряд аналогичных действий. Всё это имело следствием успешное перемещение волосатых мужиков в областные центры. Оказалось, что Политбюро в значительной части состоит из переехавших из лесов в Кремль волосатых мужиков. Сравнительно недавно поступили сообщения о том, что лидер страны сумел уничтожить с помощью заграничных средств растительность на лице; всё остальное, спрятанное под одеждой, было покрыто не поддающимся истреблению, не выпадающим и не седеющим, густым смолистым волосом.*

#### **XIV**

*К чему может привести злоупотребление черным кофе. — Идеино-философские основы учения об отцах. — Гостеприимная мать. — Симпозион, или Диалог о любви.*

В рабочем кабинете учителя, в уединенной келье, где много веков назад другой отшельник размышлял о смерти и воскресении, и вечной жизни, я побывал единственный раз, да и то ненароком. Не там, где происходили собрания Общества старины, нет, я имею в виду другую, абсолютно секретную комнату. Блуждая в катакомбах, я попал в коридор, о существовании которого не подозревал; капли воды падали мне

на затылок, временами я переступал через пороги, хватался за прито-  
локи, сходя по неровным ступенькам, я чуть не расшиб себе темя. По-  
сле чего наконец оказался перед дверью и потянул за скобу. Послы-  
шался недовольный голос Фотиева; я рассыпался в извинениях. «Чего  
уж там, — буркнул он, — заходите...»

В зависимости от времени дня, от расположения духа, от того,  
был ли он мною доволен или сердился, он обращался ко мне то так,  
то эдак, но какое обращение служило знаком милости, я не понимал.  
Какая-то напряженность присутствовала в наших отношениях. По-  
рой мне казалось, что я удостоен его дружбы; в другие дни, напро-  
тив, и фамильярное «ты», и церемонное «вы» равно служили спосо-  
бом держать меня на расстоянии. Он повернул ко мне голову, не вы-  
пуская из рук логарифмическую линейку; на нем была старая каца-  
вейка, хотя в комнатке было тепло благодаря электрической плитке,  
рдевшей в каменной нише, словно неугасимая лампада. В колбе на  
керосинке пузырилась и клокотала черная жидкость. Кузьма Кузь-  
мич прикрутил фитиль. Несмотря на бедность, он никогда не эконо-  
мил на кофе, готовил особенные смеси по собственным рецептам. Я  
попенял ему, показывая на керосиновую лампу, зачем он портит себе  
глаза. «Привычка, — возразил он, — великие мысли не требуют яр-  
кого света...»

Была ли это ни к чему не обязывающая шутка или он имел в виду  
так называемый свет разума?

Разглядывая чертеж, прикрепленный к стене (К. К. стоял рядом,  
подняв лампу), я испытывал то, что не могу назвать иначе, как возбу-  
жденным оглушением. Я мало что понял, хотя старался не пропустить  
ни слова. Нервы мои были напряжены, сердце колотилось, был ли ви-  
ной этому слишком крепкий кофе или усталость после занятий в биб-  
лиотеке, не знаю; я боялся показаться идиотом и оттого соображал  
еще хуже. Я оказался в положении чужестранца, который плохо знает  
язык и не поспевает за беглой речью, но вынужден делать вид, что по-  
нимает все её тонкости. Я кивал головой, следил за пальцем Кузьмы  
Кузьмича, но видел не линии, круги и знаки планет на стене, а желтый  
и заскорузлый ноготь, нечистый ноготь человека с полутемной ски-  
тальческой биографией; поддакивая учителю, я осмеливался время от  
времени задавать вопросы и рисковал окончательно себя скомпроме-  
тировать.

Знаменитые меморабии Ксенофонта были написаны, если не  
ошибаюсь, после смерти Сократа, для чего нужно было обладать пре-  
восходной памятью. Или тот, кого называли аттической пчелой, за-

благовременно копил свой мед, записывая по свежим следам беседы учителя? В который раз мне приходится оплакивать потерю моих записей. Не так уж много времени протекло с тех пор, как не стало Кузьмы Кузьмича Фотиева, а между тем восстановить его учение во всей полноте — задача, быть может, не менее трудная, чем реконструкция философии Сократа. Постараюсь по крайней мере не исказить досужим домыслом уцелевшее в памяти, подобно тому как исказился образ Сократа, донесенный до нас его учениками.

Так, он объяснял мне значение старинных слов «теку», «течение». Светила не просто перемещаются с места на место, они текут, и для Кеплера, говорившего о душах планет, это было так же очевидно, как для нас очевидно, что река, катя вперед свои волны, остается на всем своем протяжении единым потоком. Так электрон вращается на орбите, любая точка которой есть его местонахождение в любой момент времени. Планеты — это не что иное, как их путь. К.К. попросил меня обратить внимание на двенадцать знаковых комбинаций, позволяющих переводить систему отношений из одного кода в другой. При всей кажущейся сложности чертежа (это был Гороскоп Мира, составленный, по словам Кузьмича, в десятом столетии), в нем нет ничего таинственного, всё понятно: изображен путь Солнца через двенадцать созвездий зодиакального пояса. Однако рядом с общепринятыми знаками стоят алхимические символы, это второй код, а также аббревиатуры, обозначающие имена апостолов. — третий код. В алхимии Солнце, как известно, отождествляется с золотом; в третьем коде Солнце — это Христос. Евангельские события приравниваются к небесным явлениям, что, вообще говоря, не должно нас удивлять, умудрился же Морозов в Алексеевском равелине расшифровать Откровение Иоанна как астрономический календарь. Вопрос лишь в том, как далеко простирается такое сопоставление. Следует ли его понимать как метафору? Или речь идет о чем-то большем? Палец Фотиева вознесся к низкому потолку. Лицо, снизу освещенное лампой, приняло почти безумное выражение. Где мы? Откуда мы вышли? Куда идем? Сидя друг против друга, мы прихлебываем напиток, черный, как магия, и густой, как смола. Плитка тлеет в каменной нише. Разные коды действительности, три перевода одной и той же истины — вот что представляет собой этот чертеж. Двенадцатibuквенный алфавит астрономии отвечает такому же количеству букв в алфавите истории. Двенадцать блуждающих звезд включают семь планет верхнего, наблюдаемого неба, и пять планет нижнего, ненаблюдаемого. Заходя за горизонт, верхние планеты вступают в парный танец с невидимыми планетами нижнего неба, две остаются без партнера. В этом случае они текут друг подле друга, как это видно на примере Вельсунгов —

планет-близнецов. Важно отметить, что Гороскоп Мира учитывает конstellации планет обоих небес. Переходя к истории, к третьему алфавиту, мы обнаруживаем количество букв, не только равное числу апостолов (соответствующее числу колен Израилевых), но и числу исторически значимых племен и народов. Существуют вечерние народы, существуют народы полдня, наконец, существуют утренние, восходящие народы, таков еще один смысл этого чертежа. Теперь, сказал Фотиев, посмотрим, где у нас тут Россия.

Споры учителя с Маем Феклистовым позволили мне еще глубже проникнуть в смысл идеи возвращения отцов, нового слова, которое Россия, по убеждению учителя, призвана сказать миру, и всеобщего грандиозного дела, которое она возглавит. Что, однако, едва ли был способен осознать оппонент Кузьмы Кузьмича. О Феклистовах здесь уже упоминалось. Появился как-то раз человек не первой молодости, но и не старый, близко к сорока, аккуратно одетый, с длинными бесцветными волосами, несколько испитого, пожалуй, даже скопческого вида, больше похожий на семинариста, чем на преподавателя общественно-политических дисциплин. Появился невзначай, мимоходом, но потом зачастил к нам в монастырь — думаю, не столько ради удовольствия пикироваться с Кузьмичом, сколько из-за Фроси, ради возможности видеться с ней вне стен педагогического техникума. Собственно, она его и привела; и то, что этот Феклистов был не только преподаватель, но и жених, так сказать, претендент на её руку, тоже довольно скоро перестало быть тайной.

Жених? Что еще за жених? На мои вопросы брат Амвросий пожимал плечами, словно сам недоумевал, — из чего, однако, не следовало, что визиты Мая были ему неприятны. Может быть, тут был особый женский расчет. Правда, едва лишь начинался диспут, как Фрося удалялась.

«Прошлый раз, многоуважаемый Кузьма Кузьмич, — лепетал Феклистов, растерянно глядя ей вслед, — прошлый раз вы говорили...»

«Что я говорил? Ничего я не говорил».

«Нет, вы утверждали...»

«Ничего я не утверждал».

«Вы забыли».

«Дорогой мой, — сердился Кузьмич, — до сих пор я как-то не замечал за собой провалов памяти».

«А я вам напомню. Прошлый раз вы сказали, что...»

Тут, конечно, сразу может возникнуть мысль (и возникала), не стучал ли он на нас. Не с этим ли заданием втерся в доверие, не говоря уже о том, что был избран в члены Общества. Думаю, что такое подозрение нужно отвергнуть. Последующее подтвердило то, что и без того было очевидно: полемический пыл Мая Феклистова подогревался ревностью. Май надеялся блеснуть перед Фросей своим умом, эрудицией или уж не знаю чем; попросту говоря, он хотел отбить Фросю у Кузьмича. Хотя, как уже сказано, единственным слушателем этих словпрений был я.

Чтобы покончить с зыбкой темой осведомительства, добавлю, что, во-первых, Май отстаивал ортодоксальную точку зрения, тогда как провокатор, напротив, поддерживает и подогревает ересь. А во-вторых, наш учитель защищался весьма умело. Никаких рискованных слов не произносилось, более того, решительно отменялось всякое подозрение в симпатиях к враждебному нам мировоззрению. И уж само собой разумеется, никогда не упоминалось о Гороскопе Мира, о Христе и всех этих делах. Кузьма Кузьмич предпочитал вести военные действия на территории противника.

«Опять он за своё. Вы же учите молодежь диалектике. А что говорит диалектика? Диалектика говорит: всякое утверждение...»

«Нет, давайте уж по порядку».

«Давайте», — сказал Фотиев, глядя на Мая Феклистова, как полководец обозревает в бинокль расположение вражеских войск. Но вместо ожидаемой атаки Май встал и прошелся по комнате, посматривая в окно.

«Кстати, — промолвил он, — не знаете, чем кончилось вчерашнее заседание в горисполкоме?»

«Об этом должно быть в газете».

Я вмешался в разговор, заметив, что горисполком не уполномочен решать такие вопросы; это дело горкома.

«Или даже обкома», — сказал Фотиев.

«То есть?»

«Спущена установка».

«В каком смысле?»

«Вопрос о сносе монастыря снят с повестки дня. Признано нецелесообразным Памятник архитектуры и народное достояние. Мало, что ли, дров наломали? Между прочим, — добавил едко Кузьма Кузьмич, — ваши единомышленники».

Май предпочел пропустить эту колкость мимо ушей и пробормотал что-то в том смысле, что он «искренне рад».

«Вы-то? Сомневаюсь. Ведь вы тоже небось считаете меня идеалистом, реакционером или как там это у вас называется».

«Я считаю, — сказал Май, — что вы скатываетесь на идеалистические позиции».

«Дорогой мой, процесс собирания рассеянных частиц...»

«Ах, бросьте».

«Позвольте вам, однако, напомнить, что гниение отнюдь не сверхъестественное явление и рассеяние атомов не может распространяться за пределы конечного пространства. Позвольте напомнить, — сказал Кузьмич, начиная раздражаться, — что организм есть машина, да, очень сложная, можете мне не объяснять, но всё-таки машина, и сознание есть то, что она вырабатывает. Соберите организм — и сознание вернется к нему!»

«А вот уже вульгарный материализм, давно опровергнутый Энгельсом. Крайности сходятся!»

«Не пытайтесь поймать меня на слове, вы имеете в виду сравнение мозга с печенью, дескать, мозг вырабатывает мысль, как печень — желчь; но вы же прекрасно понимаете, что это не более чем сравнение. Если угодно, я приведу другое. Где-то я читал, что в Ленинграде спасли картину Рембрандта, совершенно сгнившую, — знаете, что они сделали? Перенесли живопись на другой холст. Или еще проще: возьмем какую-нибудь великую поэму, Гомера, например. Сам по себе текст есть нечто нематериальное, но существует он на материальном субстрате: сегодня на восковых дощечках, завтра на пергаменте, на каком-нибудь там свитке и так далее. Пергамент можно сжечь, бумагу порвать, но от этого, согласитесь, «Илиада» не перестанет быть «Илиадой». Представьте себе, что вы собираете по кусочкам разорванный лист. То же можно сказать об индивидуальном сознании».

«А вот это уже дуализм!»

«Послушайте... я не договорил».

«Нет, лучше вы послушайте. Вы протаскиваете реакционную идею бессмертия души».

«Во-первых, почему реакционную, а во-вторых, какая тут идея, что это за жаргон? Что вы называете идейкой? Не станете же вы отрицать, что душа, сознание, психика, субъект, называйте как хотите, — порождение материи».

«Бытие определяет сознание», — изрек Май Феклистов.

«Правильно; а я что говорю? Я говорю: создайте соответствующие материальные условия, восстановите констелляцию молекул, и вы сможете восстановить утраченную потенциальную энергию субъекта. Сознание — это энергия. Где же тут идеализм?»

«Не энергия, а вид движения материи».

«Допустим; и что же?»

«А то, что вы отрицаете будущее. Отрицаете прогресс».



«Я? — удивился Фотиев. — Как же я могу отрицать прогресс, ежели я все свои надежды возлагаю на успехи науки. Я верю в науку, дорогой и высокочтимый Май, или Октябрь, или как вас там... И я знаю, что в конце концов, что бы там ни было, наука победит смерть. Заметьте еще одно, драгоценнейший. И вы, и я, мы сходимся в самом важном. Мы оба верим в великое братство будущего. И мы оба знаем, что эту великую миссию призвана выполнить наша страна».

Таковы были эти прения, в которых я хоть и не участвовал, но всецело — нужно ли говорить об этом? — был на стороне моего наставника и, зная, что Май мухи не обидит, всё же не мог не заметить, как передергивалось длинное скопческое лицо «драгоценнейшего» и «дражайшего» оппонента всякий раз, когда Май слышал эти эпитеты.

По дороге мы перебрасывались незначашими словами; оказалось, что Май живет в Заречье, чуть ли не в двух шагах от Алевтины и тёти Лели. Признаться, я был несколько удивлен его приглашением, сделанным как бы невзначай. Дескать, раз уж нам по пути, зайдем и выпьем чайку. По русскому обычаю чаем дело не ограничилось. Мамаша встретила нас так, словно мой визит был для неё приятнейшей неожиданностью, однако стол был уже накрыт, тарелки, фужеры, бутылка портвейна, в центре стола — блюдо с жареными молоками трески. Откуда в наш город, за тысячу верст от всех морей, могли завезти эти молоки?

И всё поехало само собой, известного рода этикет в наших местах соблюдается так же неукоснительно, как на дипломатическом приеме. Этикет предписывал ритуальное смущение, топтание на пороге, восхищение квартирой, преувеличенную суетливость хозяйки. Май озабоченно оглядывал стол. «Чем же ты гостя-то собираешься потчевать?» — «Маюша, да ведь я не знаю, — возразила она, — может, они не употребляют? Вот красное...» — «Мойсеич, ты как?» — спросил Май, переходя на ты. Я пожал плечами. Май побежал за «рабочекрестьянской».

Мать Мая Феклистова была грузная усатая женщина со страшным лицом. Когда она ходила, скрипели половицы. Она отдернула пеструю занавеску, заменявшую дверь в соседнюю комнатку, там находился рабочий кабинет: кровать, письменный стол, алебастровый бюстик Ленина, на полке сочинения классиков единственно правильного учения. Между столом и кроватью стоял деревянный конь на колесиках. Май писал диссертацию об антагонистических и неантагонистических противоречиях. В большой комнате, между окнами, в общей рамке за стеклом, как принято, висели фамильные фотографии.

Родители Мая головами друг к другу. Мать, молодая и высокогрудая, с накрашенными губами, отчего они казались черными, с массивной брошкой в вырезе платья, в шестимесячной завивке, и отец, худосочный человек в пиджаке и при галстук; оттопыренные уши, жидкие волнистые волосы и впалые виски, как у Мая. На другой фотографии Май, в коротких штанишках и белых чулках, на деревянном коне, рядом со старшим братом. Брат убит на фронте.

«Ваш муж жив?»

«Точно неизвестно. Я почему-то уверена, что жив».

Она пояснила, что времена теперь переменялись, партия осудила культ личности, и происходит восстановление ленинских норм. Люди возвращаются, даже те, о которых двадцать лет ничего не было слышно. Должно быть, все эти годы фотография лежала где-нибудь на дне сундука.

Еще одна полусвернувшаяся фотокарточка была воткнута в уголке рамы поверх стекла, я расправил её: Фрося. Перед кустами, может быть, за городом. В летнем коротком платье, тонконогая, в белых носках и босоножках, она стояла, держа за рога велосипед, приоткрыв губы, как будто хотела сказать фотографу, что он напрасно теряет время. Я перевел взгляд на мать Феклистова. Она сокрушенно кивнула головой. Карточка выпала из рамы. Я поднял её. Брат Амвросий стоял с велосипедом, но теперь его губы были плотно сжаты. Мать положила фотографию на подоконник. Стукнула дверь в сенях.

«А вот и я!» — возвестил Май.

Из буфета были вынуты стопки, задвигались стулья, он сорвал с бутылки крышечку и стал разливать, не дожидаясь, когда все рассядутся.

«Мне самую чутельку».

«За компанию, мать, — строго сказал Май. Мы сели. — Ну-с... за что пьем?»

«За твою диссертацию, — сказал я. — За антагонистические и неантагонистические противоречия! Ваше здоровье».

«И за ваше тоже... Фу, гадость какая».

«На, мать, понюхай хлеба. Заешь винегретом».

«А кстати, — спросил я, — что это такое?»

«Что вы имеете в виду?» — спросила она.

«Антагонистические противоречия».

Май усмотрел в этом вопросе насмешку и буркнул: «Не знаешь, что ли? Небось ведь учил диамат».

«Мне Маюша рассказывал, вы знаток истории нашего города. Вы, наверное, окончили университет?»

«Да нет. Куда там».

Явились котлеты. Мать Мая Феклистова подняла фужер с портвейном и со вздохом произнесла, глядя на сына страшным взглядом:

«А теперь, Маюша, я хочу выпить за то, чтобы ты был счастлив».

Май осведомился, ковыряя вилкой в тарелке:

«Это как понимать?»

«Ты сам знаешь. Мать тебе плохого не желает. Только добра!»

Май искусственно захохотал, налил по второй, выпил и вышел из-за стола. Мать испуганно следила за ним. Он нырнул в кабинет, оттуда послышалось: «Н-но!», и Май выехал из-за ситцевой занавески верхом на коне, помогая себе ногами. Он проехал вокруг стола, погоняя лошадь, и вернулся в кабинет.

«Вот, например, противоречие, — раздался оттуда его голос, — между производительными силами и производственными отношениями при капитализме. Это противоречие антагонистическое. Оно ведет к взрыву. А в социалистическом обществе...»

Из рамы, за поблескивающим стеклом, на нас взирали бесследно исчезнувший отец и молодая мать со страшным лицом.

«Кушайте».

«Очень вкусные котлеты».

«Это из телятины».

«Ваше здоровье».

«И за ваше. Кушайте... Я считаю вас другом своего сына. Он защитит диссертацию. Он один из лучших преподавателей училища. Он будет доцентом, профессором, я ни минуты не сомневаюсь. Объясните ему. Повлияйте на него...»

В неловком молчании мы сидели за столом, Май накалывал вилкой зеленый горошек, мать вертела в руках фужер с портвейном.

«Как подумаю, — сказала она, — в какой он компании оказался!»

«Компания одно, а она совсем другое!»

«Не знаю, не знаю...»

«А не знаешь, так не говори».

«Она его любовница, — в сердцах сказала мать и стукнула вилкой об стол. — И ты еще будешь после этого со мной спорить!»

Май криво усмехнулся. «Ты-то откуда знаешь?»

«Знаю. Все знают».

Она поднялась, взяла с окна фотографию.

«Дай сюда, — сказал Май. — Отдай сейчас же!»

«Это ты так с матерью разговариваешь?»

«Не сердитесь на него, — сказал я, — он немножко перебрал, это бывает».

«Кто, я перебрал? У меня, если хочешь знать, ни в одном глазу! Я... я вас всех насквозь вижу. Всю вашу шайку-лейку... Отдай фотографию».

«Столько хороших девушек вокруг. — Она разглядывала Фросю. — У них на кафедре есть преподавательница. Ты знаешь, Маюша, о ком я говорю».

«Отдай фотографию!»

«По лицу видно, что за птичка...»

Май перегнулся через стол, задел фужер с портвейном, мать вскрикнула. Май воспользовался этим, чтобы выхватить из её рук карточку, но она крепко держала её двумя пальцами. Началась борьба. Мать швырнула обрывок фотографии в лужу на скатерти и залилась слезами.

В эту минуту произошло то, чего никто из нас не ожидал. Даже теперь, когда всё выстраивается в какое-то подобие порядка, скорее всего воображаемого, я с трудом могу подыскать объяснение этому визиту; подозреваю, что сама Фрося не знала толком, зачем пришла. Ибо это была она.

На дворе лил дождь. Она стояла на пороге сумрачной комнаты в почерневшем от влаги непромокаемом плаще, слишком просторном для неё, с мокрыми прядями, которые она пыталась пригладить.

«Ты?!» — пролепетал Май. Он встал и включил свет.

«Заходите, барышня, — промолвила мать Мая ледяным голосом, — раз уж пришли. Раздевайтесь».

Она пробормотала:

«У меня ноги грязные».

«А вы снимите туфли».

«Я вас искала, — сказала Фрося, присев рядом со мной на краешек стула и поджимая ноги в промокших чулках, — мне надо с вами поговорить».

«Со мной? Что случилось?»

«Мать, — Май метался по комнате, — ты бы дала чего-нибудь теплого надеть, кофту какую-нибудь...»

«Спасибо, не надо. Извините».

«Что случилось, Фрося?» — спросил я снова.

«Ничего не случилось... Я хотела поговорить».

«Вот и прекрасно, — сказала мать Мая. — Вот сейчас и поговорим. Раз уж вы нас удостоили».

«Перестань, мать. Может, водочки выпьешь, Фрося?»

Она кивнула.

«Ты откуда? — спросил я. — Из монастыря?»

Она снова кивнула.

«Вот я хотела у вас спросить, девушка... Кушайте».

«Мать!»

«Котлетки остыли, может, разогреть?»

Гостья беспомощно озиралась.

«Май Александрович, — сказала она. — Вы извините, Май Александрович, я лучше пойду».

«Что вы, что вы, — закричала мать Мая, — мы вас не отпустим. Кушайте, вот, может, портвейну... или вы больше к водочке привыкли?»

Фрося подняла на неё глаза, полные ненависти, и промолвила:

«Так точно. Я только водку и пью».

«Девушка, что же вы так? Я ведь вас не хотела обидеть. Люди вы молодые, откуда мне знать... Я в ваши дела не встраваю».

«Нет у нас никаких дел».

«Ну, нет и нет. Вы меня поймите. Я ведь ему не чужая».

«Лучше давайте выпьем», — сказал Май.

С рюмкой в руке Фрося смотрела на обрывок фотографии: белое платье, босоножки и колеса велосипеда.

«С этими мужчинами, — бормотала мать, — хлопот не оберешься, ишь какой свинарник устроили...» Она постелила поверх винного пятна салфетку, собрала грязную посуду, фотография исчезла в кармашке её платья. Она огляделась, ища вторую половинку.

«Маюша, принеси поднос. Помоги мне...»

Мы остались одни в комнате и молча смотрели друг на друга.

Мать Мая явилась из кухни с чашками и блюдами, следом шел Май, неся нарезанный горкой сладкий пирог. Затем на столе воздвигся электрический самовар.

Фрося сидела за столом в черном платье, волосы её высохли, изредка она взглядывала на Мая своими пустыми глазами, Май отвечал ей восторженным взором, свет горел в комнате, чай сиял в синих чашках, блеснул самовар, и отсвечивало стекло в рамке с фотографиями.

Мать вдумчиво ела пирог, разглядывала начинку. Стряхнув крошки с губ, она сказала:

«Не буду скрывать, да и вы сами, чай, догадались».

«Легка на помине!» — весело сказал Май.

«Не буду скрывать. Мы говорили о вас».

Фрося посмотрела на неё и кивнула.

«Не пропечен, — сказала мать. — Надо было еще хотя бы десять минут подержать».

Я поспешил заверить её, что пирог превосходен.

Она шумно вздохнула.

«Я вам хочу сказать, Фросенька... вас ведь Фрося зовут? Вот теперь наконец мы познакомились, я хочу наконец... понимаете, я мать. Я мать!»

«Да, — сказала Фрося спокойно. — Вы хотите спросить, в каких я отношениях с ...»

«Боже упаси! Я в вашу личную жизнь не вмешиваюсь».

«Но ведь вы хотите знать, не правда ли?»

Мать Мая тяжело всколыхнулась и устремила на Фросю страшный и умоляющий взгляд.

«Попробуйте мой пирог», — пролепетала она.

«Фотиев — бедный, обездоленный человек. И я считаю своим долгом помогать ему, — проговорила Фрося. — Как могу».

«Конечно, конечно. Но, знаете... Это, конечно, не моё дело. Почему он не работает?»

«Он работает. Он ведет большую общественную работу. Он председатель Общества по охране памятников старины».

«Что? Господи, какого общества? Это там, среди этих развалин?..»

Я осторожно заметил, что монастырь представляет собой ценный архитектурный комплекс. Мать Мая презрительно покосилась в мою сторону; я постепенно терял её доверие.

«Общество или что там у вас, меня не касается. Но я не понимаю, как это можно: быть председателем и в то же время, извините... сидеть с шапкой ... я просто не понимаю!»

«Тунеядец», — сказал Май.

Фрося быстро взглянула на него, он смутился, пожал плечами и начал мешать чай ложечкой.

Я проговорил:

«Кузьма Кузьмич ведет научную работу...»

При этих словах Май вдруг поднял голову.

«А ты, Мойсеич, молчи. Он ведь и к тебе подкатывался».

«Что значит — подкатывался?» — спросил я.

«Что значит... — сказал Май зловеще. Ноздри его раздувались, и глаза тлели желтым огнем. — А вот то и значит; сейчас тебе объясню, что это значит. Мать! Дай водки».

«Маюша... что это вдруг?»

«Принеси водки, говорят тебе... Вот тут мамаша интересовалась насчет отношений, — заговорил он, наливая себе полную рюмку, — она думает, что ты... что вы с ним... ну, в общем, пора сказать правду!»

«Какую правду?» — прошептала Фрося в ужасе. Май Феклистов опрокинул рюмку в рот, поискал глазами на столе, мать совала ему ку-

сок пирога, он отталкивал её руку, она снова протягивала, и вдруг Май громко всхлипнул. И казалось, что он расплакался оттого, что не нашлось чем закусить.

«Маюша...»

«Отстань! — крикнул он. — Со своим пирогом... Я уж не говорю, какие идеи, какой... смрад распространяет этот Фотиев, я об этом не говорю... Я думал, ты всё знаешь... а ты ничего не знаешь... ты тоже какой-то блаженненький. Тем лучше. Так вот!..»

Он умолк, уставился в тарелку, потом утер глаза кулаком и жадно откусил кусок пирога. Буря прошла, мы оба, я и мать, растерянно смотрели на Мая; я покосился на Фросю: она напряженно думала о чем-то, покусывая губы.

Май прожевал пирог.

«В конце концов я как педагог обязан вырвать тебя из этой среды. Ты даже не понимаешь, с кем ты связалась! Этот ваш пророк... он ведь не только проповедник самой реакционной мистики, чуждых, враждебных взглядов! Ты, юная, неопытная... и этот педераст! Да, — сказал он с торжеством, — а ты об этом не знала? Он извращенец, с мужчинами, с продажными гнилозубыми мальчиками...»

Он не успел договорить, как мать, грузная женщина со страшным звериным лицом, величественно поднялась и сказала, что теперь ей всё ясно.

«Вы можете сидеть, барышня».

«Ты куда?»

«Куда надо», — отвечала она.

«Мать, постой, куда ты...» — растерянно сказал Май.

«Я иду в милицию».

«Не делайте этого», — сказал я.

«Вот как? — сказала она надменно. — Вы его покрываете».

«Мать, подожди, нельзя же так... Мы должны всё обсудить».

«Нет! — сказала она. — Не в милицию. Я знаю, куда надо идти. Там разберутся!»

«Ты что, рехнулась, что ли? Ты куда собралась?»

«Они разберутся. Слава Богу, времена теперь переменились, теперь в органах сидят совсем другие люди... Это же надо, это надо только! — говорила она, сжимая руки и расхаживая по комнате, так что тряслись половицы. Через минуту она красила губы перед зеркалом и торопливо совывала руки в пальто. — Зонт, зонт дай мне, где зонт?» Май говорил ей, что уже поздно. Она возразила, что там работают круглые сутки. Да, но приемная закрыта, говорил Май. Ничего, отвечала она, я попрошу, чтобы дежурный связал меня с начальником.

«Фрося!» — пролепетал Май, но Фроси уже след простыл.

## XV

*Подготовка к юбилею. — Карьера о. Зуя. — Неожиданные известия. — Информация, полученная тетей Лелей. — Родословная Ивана Игнатъевича и позднее раскаяние коадьютора.*

Происшествие, которое должно было потрясти город, а на самом деле мало кого потрясло, оказалось за пределами моего поля зрения. Ужаснуло ли оно меня самого? Еще бы... Но его истинный смысл дошел до меня много позже. Поначалу оно представлялось мне всего лишь событием криминальной хроники. Жизнь в захолустье приучила нас к мысли о том, что мы обретаемся за тридцать земель от мировых событий, от тех мест, где грохочут воды и вращаются роторы турбин, и вырабатывается смертоносная энергия истории: кто мог подумать, что история вершится у нас под носом? Жизнь шла своим чередом, по утрам за заборами кукарекали петухи, лето пылало вовсю, и ничего такого не предвиделось, и ветер вздымал клубы пыли.

Приходится согласиться с тем, что историческое событие принадлежит к числу самых неуловимых явлений истории. Никто так мало не знает о своем времени, как те, кто в нем живет.

Приблизительно в эти дни, разыскивая Кузьмича, я встретил в монастыре кроткого, всегда приветливого Ивана Игнатъевича и узнал от него вдохновляющую новость. Начальство, или, как принято было говорить, руководство, — никто его никогда не видел, если не говорить о портретах, этих канонических изображениях, вывешиваемых в праздничные дни, всегда одинаковых, словно это был один размножившийся человек, и даже когда состав руководства менялся, никто этого не замечал, и о нем было известно только то, что оно существует и печется обо всем и обо всех, и это сознание осеяло народ нашего города, как свет из невидимого источника, — начальство одобрило инициативу рабочих фабрики по производству столярного клея. Фабрика числилась передовым предприятием нашего города, и полагалось, чтобы передовое предприятие выступило с инициативой, а кто-нибудь другой должен был эту инициативу подхватывать.

Начем объяснять, что означали эти слова: инициатива, соревнование и т. п., так как они ничего не означали. И в этом заключалось их огромное положительное значение, ведь было бы гораздо хуже, если бы они что-нибудь означали. Инициатива фабрики клея называлась так: «Встретим юбилей нашего города новыми трудовыми успехами».

«Вы ведь не хуже меня знаете, — сказал Иван Игнатъевич, — какую роль в народном хозяйстве играет столярный клей».



«Да, но... какое отношение он имеет к...»

«Как какое? — хитро ухмыляясь, возразил мой собеседник. — Может быть, город по случаю юбилея получит орден!»

Выяснилось, что дело не в самой инициативе, а в том, по какому поводу она объявлена. По своему обыкновению начальство выражало свои пожелания косвенно. Хотя окончательно еще не было решено, сколько лет исполняется городу, но само упоминание о юбилее означало, что руководство придаст ему важное значение и ожидает соответствующих мероприятий. Иван Игнатьевич поднял палец. «Сами понимаете, — добавил он, — как важно, что на областной юбилейной сессии город будет представлен нашим земляком, видным ученым, который не собирается предпочесть карьеру в столицах скромному и самоотверженному служению родному краю». Из всего этого разговора я по крайней мере понял причину отсутствия Кузьмича: он поехал на сессию. Оказалось также, что он намерен представить в своем докладе некоторые новые данные. Мы стояли посреди двора. Брат Амвросий, занятый хозяйственными делами, не имел времени со мной разговаривать и, молча кивнув, прошел мимо.

Я спросил: «Что же это за данные?»

«Точно сказать затрудняюсь, — отвечал Иван Игнатьевич, — он мне объяснял, да ведь память, сами знаете, какая. Вроде бы известная вам легенда отражает самые что ни на есть подлинные события. Вроде бы получены неопровержимые доказательства».

«Доказательства чего?»

«Того, что костыль был подан на самом деле».

«Костыль? Ах, да. Но позвольте, ведь это же...»

«Понимаю вашу мысль, вы хотите сказать, что это религиозная легенда. И что начальство насчет этих дел, того... Батенька, — сказал, улыбаясь, Иван Игнатьевич, — время-то изменилось! Никто уже теперь религию не преследует, наоборот даже. Мне говорили даже, — зашептал он, — что сам секретарь горкома ходит в церковь. Хотите верить, хотите нет!»

Я было возразил, что в городе давно нет в помине никаких церквей, но он перебил меня:

«Есть. Бывший антирелигиозный музей; недавно освятили. Отец Зуи такую проповедь закатил, вы бы только послушали».

«Как это? Какой отец Зуи?»

«Протоиерей».

«Кто же его назначил?»

«Как кто: епархия».

«Вы разве знаете отца Зуя?» — спросил я.

«Помилуйте, — сказал Иван Игнатьевич, — кто ж его не знает».

Однажды, это было очень давно, мне приснился сон: кто-то стучит, я встаю с постели и иду открывать. В коридоре стоит, прислонясь к притолоке, человек, весь в черном, и смотрит мимо меня. Через несколько дней, ночью, за мной пришли. Если бы не было сна, они бы не пришли. Если бы не было ареста, не было бы вещего сна: я бы не вспомнил о нем. Я бы его забыл, как забывается большая часть того, что нам снится. Если бы сны не стирались в памяти, наше знание о действительности было бы иным, может быть, более полным, а быть может, и невыносимым. Быть может, наш собственный мозг щадит нас, охраняя от слишком глубокого, слишком страшного знания. Сейчас мне кажется, что у меня было предчувствие того, что произойдет: оттого, что это произошло, мне кажется, что я это предчувствовал.

Усталый от зноя, я взшел на крыльцо и собирался постучаться в окошко (в эту минуту мне и вспомнился сон), как вдруг дверь отворилась, хозяйка впустила меня, сказав вполголоса: «Ступай наверх, только тихонько». Лестница скрипнула у меня под ногами. Голос из комнаты спросил: «Алена, кто там у тебя?» Знакомый голос.

«Свои, свои, — отозвалась тётя Леля. — Ладно, чего уж там, — сказала она мне, — заходи».

За столом сидел Борис Борисович.

«Н-да...» — проговорил он, и было непонятно, относилось ли это ко мне или он пребывал наедине со своими мыслями. Я поспешно поздоровался. Борис Борисович не ответил, не спеша налил себе водки, выпил. Некоторое время прошло в молчании. Начальник закусывал.

«Борис Борисович, — вкрадчиво сказала тётя Леля. — Он еще не в курсе...»

«Я знаю», — сказал я.

«Откуда ты знаешь?»

Я пожал плечами. В сущности, этого надо было ожидать. Мне стало ясно — давно уже можно было догадаться, — почему так затянулось моё оформление в трамвайном парке. Очень просто: очевидно, они послали запрос в милицию. Правда, повестку срочно явиться в милицию должен был мне вручить курьер, и там уже полагалось расписаться в получении предписания о выезде в 24 часа. Таков был порядок. Уважая старую, хоть и не вполне понятную мне дружбу с тетей Лелей, начальник сам пришел известить её о том, что меня вышибают из города.

«Ну что ж, знает, еще лучше», — промолвил он.

«Кушайте, Борис Борисович...»

«А я что делаю? Ладно, — сказал он, берясь за бутылку, — давай, что ли...»

Ошеломленный, — хотя, повторяю, этого надо было ожидать, — я ждал дальнейших распоряжений, ждал неизбежного удара.

«Чего стоишь?»

Я сел.

Тётя Леля поставила передо мной рюмку, Борис Борисович налил себе, плеснул мне. «Давай и ты», — сказал он тётке Леле.

К моему удивлению, она перекрестилась, чего я никогда за ней не замечал.

«Так, — сказал начальник. — А теперь рассказывай».

Я спросил: «Что рассказывать?»

«Всё, что знаешь».

«Ну...» — Я замялся. Хотел объяснить, что приехал в город, можно сказать, случайно. Забормотал о том, что я не скрывался, сразу же по приезде предъявил паспорт в гостинице.

«Да что ты дурочку-то валяешь! — загремел начальник. — Не скрывался... От нас не скроешься».

Помолчав, побарабанив пальцами по столу, он спросил: «Ты в этих развалинах был?»

«В каких развалинах?»

«Ну, в этом памятнике старины, едри его мать. В монастыре вашем...»

«Когда?»

«Когда, когда... — сказал он раздраженно. — Сегодня был?»

«Не был», — сказал я на всякий случай.

«От кого же ты тогда узнал?»

«Да ни от кого», — сказал я, начиная понимать и в то же время не веря, что дело, возможно, идет не о моем выселении. Ибо суеверие или, что то же самое, мудрость жизни повелевает не доверяться надежде.

«Ни от кого, — проговорил я, — просто сам догадался».

«Догадался. Ишь какой догадливый!»

«Что ж теперь будет, Борис Борисович?» — спросила тётя Леля.

Начальник нахмурил брови.

«Принимаются меры. Петрухин занимается. Идет следствие».

Следствие?.. Я пытаюсь передать этот разговор так, как он происходил. Холодный страх, пронизавший меня, едва только я услышал это слово, заслонил перед мной всё остальное, заслонил действительность. Вернее, обнажил её изнанку, её ненадежность, её коварство. Следствие! Высылка из города была пустяком по сравнению с тем, что стояло за

этим словом. Несколько сценариев один за другим пронесли в моей голове: из центра пришло указание; вновь поднято моё старое дело. Обнаружились новые данные в истории с простыней. Я представил себе прибытие какого-нибудь высокого начальства, паспортного контролера, уполномоченного по надзору за соблюдением паспортного режима. Контролер указал местному начальству на некий секретный шифр. Новая разрядка: изоляция всех, у кого стоит этот шифр в паспорте. Перепроверка документов... Такова была последняя гипотеза, догадка, представшая во всей своей неопровержимости, словно из задней комнаты неожиданно вышел прокаженный, о котором забыли. Словно вышел призрак. Я потерял всякую надежду и вместе с тем осмелел, как человек, которому нечего терять. Упавшим голосом я спросил:

«Вы что-нибудь нашли в документах?»

«Чего?» — рассеянно спросил Борис Борисович.

«Я говорю, вы... что-то обнаружили в паспорте?»

«В каком паспорте?.. Ах, да, — сказал он, — чуть не забыл. Полу-чай».

Он вынул из пиджака мой паспорт, который я с величайшим облегчением сунул в карман. Я ошибся, о, счастье.

«Мафия, — вздохнув, загадочно произнес Борис Борисович. — Вот так, Елена: мафия! Известно тебе, что это такое?»

Тётя Леля смотрела на него с каким-то влюбленным ужасом.

«Мафия — это особая, крайне опасная, организованная разновидность криминала. Подчеркиваю: организованная. Занесена к нам из-за рубежа».

«Батюшки, — пробормотала тётя Леля, — опять?..»

«Америка, — подтвердил начальник. — Мы подчас проявляем беспечность, забываем о капиталистическом окружении. А они заинтересованы в том, чтобы у нас росла преступность. Вот теперь сама соображай».

«Да ведь мы темные, — сказала тётё Леля, разливая остаток водки, — Мойсеич, друг милый, сходи в шкаф; у меня там кой-что припасено...»

«А! Вот это другое дело; а ты говоришь, темные люди. Знаем мы вас. Дай-ка мне, я сам разберусь!» — Он принял из моих рук бутылку трехзвездного коньяку, из рук хозяйки особую рюмку.

«Ну как?» — спросила тётя Леля.

«Хорош! Ух, ты... уж и не спрашиваю, где достала».

«Добрые люди везде найдутся, Борис Борисович».

«Вот, — сказал начальник, подняв палец. — Вот что нас губит: наша доверчивость. Русский человек всех считает добрыми да хорошими. А кругом — темные силы, мафия, едри её!»

Тётя Леля подвинула к нему блюдо с нарезанным лимоном.

«Ну, ты даешь!.. Н-да, — продолжал он, — мафия нищих. Тоже бывает. И где? Под носом, можно сказать, у руководства. Я давно уже ставил вопрос, надо принимать меры! А мне отвечают, вот и принимайте. Им легко говорить, а что я могу сделать? С моим штатом. Когда у меня следователей раз-два и обчелся. Оперативный отряд, понимаешь, из трех бойцов: из них двое пенсионеры. И это в нынешней сложной международной обстановке. Подключайте, говорят, Органы. Им легко говорить! У Органов небось своих дел по горло. Как я могу их подключить: вы руководство, вы и подключайте».

Со смешанным чувством испуга и облегчения, опустошения, похожего на то, какое бывает после трудного экзамена или после бурного опорожнения кишечника, я слушал диатрибу Бориса Борисовича о трудностях работы в новых условиях.

«Нужны облавы. Нужен транспорт. Эту шатию голыми руками не возьмешь. Нищие, понимаешь, божии угодники... На самом деле это сила! Пострашнее всяких банд, а почему? Потому что это богатые люди. Ты не смотри, что он стоит в лохмотьях, поет, понимаешь, Лазаря! У этого Лазаря — будьте спокойны! Он тебя с потрохами купит. У него золото припрятано. У него брильянты. У него в глубинке, в деревушке какой-нибудь засратой, верст за пятьдесят, дом стоит под железной крышей, за забором, и волкодав сидит на цепи. А что в этом доме? — Борис Борисович покачал головой. — В этом доме вино льется рекой, коньяк вот этот, как воду, пьют. Блядей к себе из области возят. А потом глядишь, как ни в чем не бывало опять он сидит где-нибудь, Христа ради клянчит. И все заодно, все, сучьи дети, друг друга знают: у них и начальство своё. Кому где сидеть положено и сколько надо платить атаману ихнему, всё у них известно, всякий своё место знает. Псы вонючие... И до чего все обнаглели! До чего обнаглели! Как-то прохожу мимо рынка. Сидит».

«Он?» — спросила тётя Леля.

«Да не он... Тоже апостол ихний какой-то. Иов многострадальный. Народ мимо ходит; само собой, подают. Я тоже ему бросил... Потом говорю: “Ну-ка, дядя, предъяви документ”. — “А в чем дело?” — спрашивает. “Да ни в чем, — говорю, — проверка паспортов”. Веришь ли, он делает вид, что меня не узнает. “Да пошел ты, — говорит, — к такой-то матери...” Я спокойно расстегиваюсь, у меня там гимнастерка с блямбой. “А, — говорит, — начальник, так бы и сказал”. И, представляешь, глазом не моргнул. Достает из-за пазухи, всё завернуто аккуратно в тряпочку, там у него и паспорт, и пенсионная книжка; комар носа не подточит. Мало того, — продолжал Борис Борисович, разливая коньяк, — смотрю, еще один подъезжает. За ним еще, и слепые, и на

тележках, и хрен знает кто. До чего обнаглели. Видят, что начальник пришел, и никакого страха, наоборот даже. “Вот что, — говорю, — отцы, что-то вас слишком много развелось. Конкуренции не боитесь?” Они мне в ответ: “Гы-гы-гы!” Понравилось. Потом один говорит: “У нас коммунизм, мы друг с дружкой делимся, по-братски!” Понятно тебе, что это значит? Вот то-то и оно».

Помолчав, Борис Борисович спросил:

«Сколько у него было денег?»

Тётя Леля развела руками.

«Ты не увиливай, не увиливай!»

«Истинный крест, Борис Борисович, как на духу: не знаю. Люди болтали...»

«Что болтали?»

«Да всякое. Говорили, что человек не бедный».

«Не бедный. Х-ха! Да он нас с тобой с потрохами бы слопал, и с твоим жильцом в придачу! Всё маскировка, — сказал убежденно Борис Борисович. — Нам всё известно. И что он там какие-то памятники охранял, доклады делал, всё маскировка. С целью скрыть преступное прошлое и завуалировать источники обогащения. У нас есть точная информация. Мафия попрошаек, вот тебе и разгадка. Занесся, слишком много награбастал, с начальством ихним не поделился, вот они с ним и расправились. Теперь ты мне вот что скажи... Я по старой дружбе тебя вызывать не буду, ты мне неофициально скажи. Он ведь у тебя бывал?»

Тётя Леля молча кивнула...

Пораженный страшной вестью, я лишился слов, я был не в состоянии собраться с мыслями; поздно вечером мы сидели, не зажигая огня, со стола были убраны остатки еды и питья, тётя Леля задумчиво разглаживала рукой скатерть, стучали ходики, шелестел дождь, с улицы донеслось урчание грузовика, потом как будто кто-то прошлепал мимо крыльца, кто-то крался по ступенькам; нет там никого, сказала она, сиди... Одним словом, то, что для моего предполагаемого читателя не является неожиданностью, для меня было ударом грома среди ясного неба. Я спросил, знает ли она, что Фотиев был великим человеком, великим русским мыслителем, что он был святым и оттого был нищим, святость и нищета нераздельны, и в Евангелии сказано: птицы и звери лесные имеют кров, а Сыну человеческому негде преклонить голову! Тётя Леля молчала и гладила рукой скатерть. Утирая слезы, я сказал, что не верю во все эти рассказы, не было у него никаких денег, зачем ему богатство? Всю жизнь я слышу легенды о золоте и бриллиантах, о нищих старухах и тысячах, найденных под матрасом. Да и откуда убийцы могли знать? Где он хранил эти тысячи?

«На себе носил, — сказала она. — У нищих и странников в обычае носить под рубищем, на голом теле кошель».

«Где это произошло?»

Она ответила, что не знает и знать ничего не хочет об этой истории. Однако сослалась, по своему обыкновению, на рассказы других людей.

Из того, что сообщили «люди», можно было заключить следующее: Кузьмич сидел на своем законном месте, дожидаясь вечернего поезда. Два раза в неделю на нашей станции останавливался скорый из Москвы забрать почту; пассажиры вылезали подышать воздухом. Кузьма Кузьмич вставал со своего места и, патрулируя вдоль вагонов, успевал обойти весь состав.

Очевидно, убийца знал, что поезд опоздает. Когда перрон окончательно опустел, стояла уже глубокая ночь. Кузьмича нашли поблизости, с пустой сумой и без кошеля.

Тётя Леля ходила по кухне, я слышал, как она наливает воду в чайник. Я сидел, схватившись за голову. Она просунулась в дверь.

«Мойсеич». Я взглянул на неё.

«Может, водочки хочешь?»

Я покачал головой.

Она вошла с чайником и стаканами. Щелкнул выключатель. Она подтянула гири на часах.

«В аккурат в это время», — сказала она.

«Это вам Борис Борисович рассказал?» — спросил я.

Мы пили чай.

«Что тебе сказать? — промолвила тётя Леля, глядя в черное запотевшее окно. — Царство ему небесное. Ты у нас, как бы сказать, стал членом семьи. С тобой можно начистоту. Алевтина-то ведь, как бы это сказать... — Она провела рукой по лицу и добавила: — Жизнь-то не зачеркнешь. Вот в чем дело, Мойсеич. Она его дочь».

«Кузьмича?»

«Да при чем тут Кузьмич».

Я уставился на неё, один сюрприз следовал за другим.

«Вот так. Очень просто, — сказала тётя Леля. — А почему, ты думаешь, он хлопочет?»

«Вы были за ним замужем?»

«Да куда там, — она усмехнулась, — я была замужем за Андреем, покойником. А это так... любовь до гроба. Мой мужик пил, а я с Борей жила, с Борис Борисычем. Он тогда был молодой да стройный, из армии только вернулся. Это у него потом брюхо выросло. Как пришел из армии, поступил в милицию; его и на фронт не взяли. Ужас, — сказала она. — Сядь-ка поближе...»

Она зашептала:

«Это всё одни разговоры. Для отвода глаз... Это он нарочно слухи распускает. Теперь, значит, следовательно мафию ищет. На мафию всё свалить хотят. А на самом деле... Я тебе скажу. Его Петух прикончил. Он уже давно замышлял. И Алевтина знала. Петух его и пришил, это я тебе точно говорю».

Я спросил, где же он теперь.

«Смылся с денежками», — был ответ.

«А где Алевтина?»

«Алевтину, — сказала она, — Борис Борисович, как только услышал, отправил подальше».

«Куда отправил?»

«Всё тебе надо знать. Ну, в деревню, от глаз подальше».

В страшном беспокойстве я озирался по сторонам, не решаясь идти и понимая, что не могу сидеть сложа руки. Новости валились на голову одна за другой, но меня уже не интересовало следствие, не интересовал убийца, я хотел знать, что будет с Обществом старины, а главное, самое главное...

«Ты куда это собрался? — сказала она строго. — Сиди! Никуда тебя не пущу».

«Тётя Леля, — забормотал я, — это очень важно. Мне надо идти. Пока не поздно... Я должен спасти бумаги...»

«Какие еще бумаги?»

«Рукописи. Научные труды. Это важно! Не для нас, для всей России. Для потомства...»

«Э! — сказала она. — Друг милый... Снявши голову, по волосам не плачут. Садись, я тебе не досказала».

Было около одиннадцати часов вечера. Я выскочил вон.

Непроглядно-темное небо накрыло меня, словно одеялом. Город был погружен в глубокий сон. Город сам сделался сновидением, чем же, как не сном, были глухие переулки Заречья, ряды мертвых домов со смутно отсвечивающими окнами, канавы, где блестела вода, старая пожарная каланча, рисовавшаяся на беззвездном небе. Я метался по этим закоулкам сна, мне показалось, что я кружу по одним и тем же улицам, я понял, что заблудился, хотя успел за время жизни в городе изучить правый берег; постепенно вязкая субстанция сна, мертвая, призрачная жизнь города охладили мою тревогу, я шел, внимательно глядя под ноги, пахло глиной, только что прошедшим дождем, слабый ветер шевелил мои волосы.

Я не мог хладнокровно взвесить обе версии — для этого у меня не было ни времени, ни способности объективно взглянуть на вещи. Обе были чудовищны и неправдоподобны. И обе, увы, не представляли



ничего невозможного. Разве правдоподобна сама наша жизнь? Всё могло быть, и это «всё» в конце концов и случилось. Однако теория Бориса Борисовича начинала казаться мне более убедительной; вспомнился разговор с кривой рожей, сидевшей на вокзале, на том самом месте, рабочем месте Кузьмича, где когда-то я впервые встретил его. С другой стороны, и моей доброй хозяйке нельзя было отказать в трезвости и здравомыслии; тётя Леля судила о вещах беспристрастно: как-никак Петух был её зятем, казалось бы, куда спокойней было бы согласиться с мнением начальника, свалить вину на банду нищих, чем подозревать, пусть даже в доверительном разговоре, своего родственника. Обе версии сходились в одном, и уж это-то по крайней мере было неопровержимой истиной: уголовный мир плескался вокруг нас, мы дышали его испарениями, этот мир невозможно было очертить четкой границей, отделить его от «народа», он сам был частью народной жизни. Наивностью было думать, что, уйдя от всех и от всего в самую дальнюю и глухую провинцию, опустившись на дно воронки, я оставлю навсегда этот черный мир — вернее, что он меня оставит; он был здесь, рядом, и его нельзя было обойти стороной, как невозможно было, не ступив ногой в грязь, после дождя перейти улицу.

Я убежден: вернись я в город, я не узнал бы ничего нового. Разве только то, что руководство приняло меры. Власти отреагировали. Произведены облавы и проверки документов, базар, вокзал и другие общественные места временно очищены от бродяг и попрошайек, кого-то посадили, кого-то, может быть, и пустили в расход. Разумеется, обо всем этом можно было узнать только от «людей», всё это, как и любые новости в городе, могло расходиться лишь в виде слухов, в фольклорно-рапсодическом исполнении! Пожалуй, пронесся бы и слухок о том, что Петуха где-то далеко поймали, в Челябинске или по дороге, а может, он и вовсе никуда не уезжал, скрывался в рабочем поселке, в сарае своего отца или, чего доброго, у Алевтины, пировал и бушевал, и однажды среди бела дня, что называется, голыми руками был взят стукнувшим в дверь милиционером. Вот что я мог бы услышать, если бы я снова приехал в город, и, по совести говоря, никакой другой «истории» предложить не могу, дело не в том, что преступление скорее всего не было распутано до конца, а если было распутано, то никто об этом ничего толком не узнал. Очень может быть, что начальство, не имея возможности остановиться на одной окончательной версии, последовало старинному мудрому правилу и покарало всех возможных виновников, не смущаясь тем, что вина одного исключает виновность другого, но, повторяю, не в этом дело. А в том, что сама жизнь — плохой сочинитель. Ведь это только в полицейских романах все концы сходятся и узлы развязываются.

Жизнь — плохой сочинитель, неумелый, не владеющий повествовательной техникой, и народный гений отдает себе в этом отчет и правит бездарный черновик. Смерть Кузьмы Кузьмича достоверна лишь в том смысле, что его нет больше на свете. Человек, для которого возгорелись новым смыслом евангельские глаголы и смерть перестала быть непреложным законом, этот человек умер по особому злобному замыслу судьбы, приготовившей несколько смертей, несколько волчьих ям на случай, если одной окажется недостаточно.

Естественней всего было предположить, что бумаги Кузьмы Кузьмича лежат в монастыре. Но сперва я решил навестить нашего общего друга и спросить у него совета. Пожарная каланча служила мне ориентиром. Впотьмах я отыскал домик-развалюху, ветер хлопал полуоторванным краем толевой крыши, глухо кашлял пес. Женщина в белом платке и темном платье, жена Ивана Игнатьевича, выглянула и впустила меня. Наклонившись, чтобы не ушибиться о притолоку, я перешагнул высокий порог. Из сеней мы вошли, минуя оголенную занавеской кухню, в полутемную, жарко натопленную горницу, на столе стояла лампа с прикрученным фитилем, в углу мерцала красная лампада. Я присел на табуретку возле кровати больного. Хозяйка прибавила огня. Над кроватью был приклеен картон с родовым словом. Последний отпрыск легендарного князя-охотника покоился на высоком ложе под стеганым одеялом, как некогда сам Якун лежал распростертый на лесной поляне в ожиданий чуда.

«Слышали ли вы, — спросил я, — что случилось?» — «Как не слышать», — ответила хозяйка. Несколько мгновений я сидел, не решаясь тревожить Ивана Игнатьевича. Он не подавал признаков жизни. Я пробормотал:

«Уже поздно. Зайду завтра».

«Да вы позовите его. Он не спит. Ваня! К тебе гость пришел».

Ответа не последовало, я спросил:

«Что с ним?»

«А ничего... задумался».

«Что врач говорит?»

«Скрылёз», — сказала она и вышла из комнаты.

Местный художник изобразил генеалогическое древо предков Ивана Игнатьевича с корнями, имевшими вид второго дерева, как бы отраженного в воде. Другими словами, была сделана смелая попытка восстановить род и происхождение самого прародителя. История продолжалась в мифе, как дерево продолжается в своем перевернутом отражении, баснословные пращурсы сошлись толпой из далеких земель, подобно тому, как за каждым из нас стоит целое человечество матерей и отцов! Фантастическими плодами на подводных

ветвях, почти на уровне одеяла, под которым лежал больной, висели греческие царевны, хазары, варяги и печенеги. Несколько выше длинные извивающиеся побеги протягивались к Золотой Орде. Было плохо видно. Я устал, позади был долгий, кошмарный вечер, между тем как главное дело не было сделано.

С высокой подушки Иван Игнатьевич смотрел на меня ясными, отсутствующими глазами.

«Все там будем», — сказал он вдруг.

«Вы слышали... вы знаете, что произошло?»

«Слышать не слышал, — возразил он, — а знаю».

«Иван Игнатьевич, — заговорил я торопливо, боясь, что он снова впадет в беспамятство, уйдет к далеким предкам, где все мы будем. — Иван Игнатьевич... нам необходимо спасти его рукописи; знаете ли вы, где они спрятаны?»

«Чего?»

«Где спрятаны рукописи? Его труды?»

«Какие труды?»

«Иван Игнатьевич, вы меня слышите?»

«Слышу; а в чем дело?»

«Рукописи Кузьмича. Где они?»

«Которого Кузьмича?»

«Его зарезали!» — закричал я.

«Кого?»

«Кузьму Кузьмича! Фотиева!»

Больной вдумчиво смотрел на меня.

«Ну и что», — сказал он.

Из-под кровати вылез старый, обвислый, с растерзанной бородой, безнадежно пьяный пес-коадьютор Общества памятников старины и, роняя слезы на половик, уточнил, что учитель не зарезан, а зарублен топором.

### **Страшный суд. Трактат о Боге**

*Великое обновление наук, которое связывают с именем лорда Бэкона, не могло не коснуться и науки о Высшем Существо; оглядываясь назад, мы можем сказать, что в эту эпоху произошло второе рождение теологии. Насущная необходимость реального доказательства бытия Божия, после того как схоластические аргументы потеряли свою убедительность, равно породила и «Размышления о первой философии» Картезия, и вычисление даты Второго пришествия, занимавшее учёными мужей Королевского общества в Лондоне, и заносчивое убеждение Готфрида Лейбница,*

будто люди, подобные Архимеду, Кеплеру и ему самому, составляют круг советников Творца. Не может быть так, чтобы Всевышний преступал законы, установленные им самим. Бог учёных XVII века в свою очередь уподобился великому учёному — математику, изобретателю и инженеру.

Такое умонастроение не могло не иметь предшественников и предтеч: вспомним Лулла, чьё «Великое всеобщее искусство», реализованное в виде логической машины, притягивает не только на исчерпывающее описание свойств Божества, но в известной мере и на их воспроизведение.

Уже здесь брезжит догадка о теологии как экспериментальной науке. Сперва ощупью, а затем всё уверенней шла она по этой стезе в последующие века. Но не такова ли эволюция других опытных наук? Не будучи в силах охватить природу в целом, физика, химия и биология на время отказываются от всеобъемлющих теорий, чтобы посвятить себя изучению частных свойств природного объекта. Вот так же и теология, перекочевавшая из монастырских библиотек в лаборатории, пытается в качестве первого шага воспроизвести *in vitro* отдельные свойства и эманации Высшей воли. Как и в истории других естественных наук, девятнадцатый век — классическая пора богословского позитивизма.

Экспериментальная теология постулирует принципиальное согласие «предмета» исследований, иначе говоря, исходит из молчаливого допущения, что Бог не ставит палки в колёса экспериментатору. Бог не противится стать объектом лабораторных экспериментов, подобно тому как он не возражал против схоластических диспутов; более того, он вообще равнодушен к теологии. Задолго до Эйнштейна опытное богопознание руководствуется правилом: Господь хитроумен, но не злокознен.

Поистине революционным было открытие, сделанное почти одновременно с появлением теории электромагнитного поля: около 1870 года Шимон бар Йохай получил в эксперименте сфирот — божественные «искры» каббалистической теологии. Продолжительность их существования оказалась невелика, всего несколько секунд. Докладывая о своих результатах, исследователь отметил поразивший его факт: искровой разряд вёл себя так, как если бы события развивались в обратном порядке — от полного угасания к вспышке.

Значение этого прорыва в неведомое было осознано позже; укажем на некоторые из его последствий. С конца XIII в. было известно, что сфирот служат инструментом сотворения мира: будучи эманациями абсолютно непостижимого Божества, они перебрасывают мост между запредельной реальностью и посясторонним миром. Что же означает открытие Йохая? Оно означает,

что отныне перед нами открывается возможность заглянуть во внутреннюю динамику божественной жизни, лежащей в основе творения... Далее, это открытие положило начало исследованиям, которые привели к фундаментальному выводу: важнейшим физическим атрибутом Бога является время. Впервые удалось объяснить, почему математическое время Ньютона течёт от прошедшего к будущему. Потому что в обратном направлении — из будущего в настоящее — течёт время Бога!

Так было раз навсегда покончено со всеми поползновениями отождествить божественное волеизъявление со случаем. Экспериментальная теология дала окончательный ответ на старый вопрос: существует ли свобода воли? Почему монета упала кверху орлом, а не решкой, случайность ли это — или монета обладает свободой воли? Физический процесс взлета и падения монеты в обоих случаях один и тот же. И в этом всё дело. Ибо в действительности не имеет место ни то, ни другое: ни случайность приземления решкой или орлом, ни свобода выбора, присущая самой монете.

Другой пример: данные нейрофизиологии — о чём они говорят? О том, что всё то, что кажется нам проявлением нашей свободной воли, обусловлено игрой импульсов, проходящих через синапсы нервных клеток. Представим себе сеть железнодорожных путей, по которым в кажущемся беспорядке перемещаются локомотивы: движутся ли они по собственной воле или по воле случая? Ни то, ни другое. Ими руководит диспетчер, в руках у которого находится расписание. Случаю, как и личному произволу, нет места в мире, где наличное положение вещей есть результат божественного предвидения; если классический детерминизм исходил из того, что будущее содержится в настоящем, как свойства треугольника — в его определении, то экспериментальная теология доказывает, что, напротив, настоящее вытекает из будущего. Настоящее есть функция будущего.

Понятно, как велико значение этого факта для решения главной проблемы экспериментального богопознания — создания Искусственной Вселенной. Овладев божественным временем, мы сможем установить законы и формы мира до того, как он будет создан. Манипулирование божественными эманациями откроет нам доступ к рычагам бытия. Появится новое человечество. Таков реальный смысл пророчества: «И увидел я новое небо и новую землю» (Откровение св. Иоанна Богослова, 21:1). Мир, сконструированный теологом-экспериментатором, мир, свободный от случая и произвола, бесконечно более совершенный, чем нынешний, перестанет быть сказкой — он станет необходимостью.

## XVI

*Ночные странствия по незнакомому городу. — Мысли о бренности бытия. — Стремительное развитие событий. — Мудрое решение Бориса Борисовича.*

Не могу отделаться от ощущения, что потеряна важная мысль, упущено из виду нечто существенное; вместо этого лезут в голову не заслуживающие внимания подробности. Мелочи засоряют память. Вытесняя главное, они узурпируют его значение и смысл. Покинув жилище Ивана Игнатьевича, я добрался до улицы, мощенной булыжником, через сто метров меня нагнал громыхающий фургон. В кабине сидели двое. Всё это совершенно не относится к делу.

Водитель удостоил меня презрительно-равнодушным взглядом, соседка неохотно потеснилась, я вскарабкался на сиденье.

Несколько времени ехали молча. Наконец, она проворчала: «Ты зачем его посадил?» Это была маленькая, щуплая, высосанная жизнью женщина, похожая на старую девочку, с птичьим профилем, с голыми ногами, в туго запахнутом домашнем халате, словно её подняли с постели. Возможно, я оказался свидетелем семейной сцены.

«Нам поговорить надо. А ты кого ни попадя сажаешь».

Грузовик трясся по бесконечной улице мимо темных домов и заборов.

«Остановись! Остановись, говорю!»

«Ну чего ты», — вяло отозвался водитель, рыжий детина, сидевший за своим рулем, как за столом, не отводя глаз от дороги.

«Паразит, — закричала она, — не хочу больше видеть тебя, пропади ты пропадом!»

«Ну чего ты».

«Сейчас сама дверь открою. Ну-ка, ты... пусти».

На ходу она попыталась перелезть через меня и оказалась у меня на коленях.

«Вот так, — процедил водитель, косясь на нас. — Сама, значит, мужикам на х... садишься».

Кое-как мы менялись местами, она схватилась за ручку дверцы, в эту минуту нас начало сильно трясти, шофер свирепо крутил баранку вправо и влево, тяжелая колымага боком съехала в яму, с ревом выбралась и стала. Шофер стоял возле машины с задумчивым видом, сдвинув кепку на глаза. Он хотел срезать часть пути и въехал на заброшенную стройку.

География города была такова, что, куда бы вы ни направлялись, дорога приводила вас к началу путешествия: город подчинялся

закону искривленного пространства. Мост был недалеко, я давно уже мог бы дойти до него пешком. Я рылся в карманах, маленькая женщина топталась в своем халатике, обхватив руками грудь. «Не давай ему! — сказала она. — Что, больше не нашлось?.. Сволота, чего ты мне суешь!» Я хотел высыпать ей мелочь, всё, что было в карманах, она оттолкнула мою руку. Но едва я выбрался наружу через пролом в заборе, окружавшем строительную площадку, и вышел на берег, как силы оставили меня. Пустота воды, пустота огромного неба мгновенно высосали из меня остатки решимости.

Ни единого огонька не светилось в Заречье, не угадывалось признаков жизни и на том берегу. Лиловое небо слилось с темной массой, это могли быть тучи, леса или остатки древних сооружений. Не было больше ни улицы Александра Невского, ни тёти Лели, ни Алевтины, ни убийцы-Петуха. Ничего не было. Город пропал, погрузился в расщелину времени, как это не раз с ним случалось в былые века, и кто знает, не пропал ли он на этот раз окончательно. Одним словом — это предположение напрашивается само собой, — я находился на грани чего-то близкого к сумасшествию, и в то же время меня не покидала холодная уверенность, что это не я свихнулся, а мир, окружавший меня, обнажил свою трухлявую сердцевину, свою абсурдную, шизофреническую суть. Случайные люди, с которыми я сидел в грузовике, вспомнились мне, в их явлении заключался некий ответ, и мысль о том, что нет нужды ломать голову, спрашивать себя, что здесь призрак, а что истина, никакой необходимости нет тащить дальше этот мешок с трюхой, волочить этот чемодан с кирпичами, эту тусклую лживую и отвратительную жизнь, — достаточно двух шагов, и всё будет решено, развязано и закончено, — мысль эта изумила меня своей простотой. Как будто я решал запутанный арифметический пример, потел и исписывал один лист за другим, а ответ оказался — ноль. Добредя до громады моста, я опустился на деревянный помост для пешеходов, посреди черной реки, и чувствовал спиной холодные прутья решетки, отделявшей помост от рельсов.

Я так устал, что мог бы уснуть в ту же минуту и, кажется, провалился на одно мгновение в небытие, как вдруг вскопился на ноги. Сверкнула голубая молния, из-за горбом поднимающегося моста шел трамвай. Желтое око выкатилось над заблестевшими рельсами. Две пустых освещенных коробки прогремели над головой, вихляясь, съехали с моста, повернули и окунулись во тьму. Некоторое время спустя, перейдя на другой берег, я добрался до общежития педагогического техникума.

Общежитие находилось во дворе двухэтажного дома на набережной, у ворот висела табличка, вход находился сбоку под аркой. В кори-

доре, к моему ужасу, сидела неподвижная фигура. Старик с белыми усами, — не тот ли, кто преградил мне путь в столовую Военторга? По сравнению со столовой здешний пост был явным понижением в должности. Старик открыл глаза. Меня он, разумеется, не узнал.

Удар судьбы не умерил его усердия. «Каникулы, нет никого». Я возразил, что такая-то здесь. «После одиннадцати никого не пускаем». — «Мне только на одну минуту». — «Хоть на сколько». — «Хорошо, — сказал я, — позовите её». — «Еще чего». — «Я её родственник». — «Много вас тут ходит». В отчаянии я предложил старому хрычу оставить в залог мой паспорт. «Как фамилия», — сказал он, берясь за телефон. Кому он собирался звонить? «Хорошо, — поспешно сказал я, — вы сами сходите, а я тут побуду». — «Да говорят же вам, каникулы, ничего не знаю!» Заевшая пластинка крутилась до тех пор, пока мне не удалось выведать, в какой комнате живет Фрося.

Почему я был уверен, что застаю её в общежитии? Был ли я уверен? Скорее действовал по наитию. Выйдя из-под арки, я огляделся. Город спал. Мне пришлось обойти почти целый квартал, чтобы добраться до общежития с другой стороны. Продрался через кусты. Темные окна были задернуты одинаковыми занавесками и слабо отсвечивали, под ногами шуршала трава. Я шел, отсчитывая номера комнат. Постучал в стекло. Никакого ответа.

Мы рассмеялись, это напоминало историю о любовнике, который лезет ночью в окно. Некоторое время мы шептались о пустяках, она рассказывала, как ей почудилось, будто стукнули в дверь, но оказалось, что стучат в окно, как она всматривалась в темноту, но стучали на другом конце дома, и как ей снилось, что кто-то ломится в комнату. Я сидел на пустой койке, в комнате жили еще три девушки, койки были свободны, студентки разъехались по домам.

Она сказала, что её вызывали в милицию, и была удивлена тем, что меня не интересуют эти подробности. «А я думала...»

Я перебил её.

«Фрося. Мы должны спасти его рукописи. Это сейчас самое главное».

«Рукописи?»

«Да. Где они могут быть?» — Я добавил, что только что был у Ивана Игнатьевича.

«Рукописи...» — повторила она задумчиво.

«Может быть, — предложил я, — двинуться, не дожидаясь утра, в монастырь?»

«Зачем?»

«Как зачем? Неужели ты не понимаешь?»



«Там ничего нет».

«А где же они?»

Она усмехнулась, покачала головой.

Сбитый с толку, я уставился на неё, на этого отрока с таинственными пустыми глазами, в кофте, накинутой на ночную рубашку.

«Никаких рукописей нет, — сказала она, — с чего вы это взяли?»

«Он говорил, что работает над книгой, я хорошо помню. Или что-то в этом роде. Да и ты в докладе ссылалась на его работы. Послушай, девочка...» И я стал говорить о том, что наш долг — сохранить наследие учителя. Каждое слово, написанное его рукой, драгоценно. Когда-нибудь мир узнает о Фогиеве. Когда-нибудь...

Светлый, пустой, неподвижный взгляд. Серебристый сумрак ночи, струящийся из окна. Из предосторожности мы не зажигали свет.

Я пробормотал:

«Ты меня слушаешь?»

«Да, — сказала она. — Ссылалась. На труды, которые никогда не были написаны. Что тут удивительного? Христос тоже не написал ни одной строчки. Если не считать...»

«Фрося...»

«Если не считать того, что он писал пальцем на песке. А что он писал? — Она усмехнулась. — Никто не догадался подойти и взглянуть, что он там пишет. Все смотрели на блудницу... Подождите. Тихо!»

Мы прислушались, она постояла у двери, вернулась.

«Нам надо подумать, — проговорила она. — Нам надо хорошенько подумать... Вы уверены, что вас никто не видел?»

«Фрося, — сказал я, — они же понимают, что мы тут ни при чем».

«Они меня вызывали. Между прочим, и про вас спрашивали. Вы ведь часто бывали у Алевтины».

«Ну и что».

«Я не знаю. Я думаю, что... вам не надо возвращаться к хозяйке. Я сама утром схожу за вашими вещами».

«Что ты хочешь сказать?»

«Ничего особенного, — сказала она, глядя на меня. — Просто вам надо сматываться».

«В каком смысле?»

«Мотать из города. И чем быстрее, тем лучше».

«Из города?»

Она кивнула.

«Фрося, не такие уж они дураки. В конце концов что я такого сделал? Я сам был поражен, когда услышал... Тётя Леля считает, что

убил Петух, а они, кажется, подозревают мафию нищих. Начальник милиции при мне рассказывал... говорил даже о какой-то даче, где они все собираются. Я, конечно, понимаю, что во всем этом есть элемент мифологии, но мне-то по крайней мере он ничего не сказал. Он даже принес мой паспорт, меня прописали в городе. Неужели ты думаешь...»

И в то же время я понял каким-то чутьем, что она права.

Уму непостижимо, как до сих пор мне не пришла в голову эта элементарная мысль. Даже не мысль — мгновенный позыв к бегству. Лишь теперь, с непростительным запозданием он дал о себе знать; как человек, в которого целятся из окошка, я ощутил — спиной, кишками — наведенный на меня оптический прибор. Не имело никакого значения, что в действительности случилось с нашим учителем. Он был мертв, надо было спасаться.

«Да, но как же это...»

«Мы поедем вместе».

«Куда, Фрося?»

«Там будет видно».

«А как же...»

«Тётя Леля поймет. Она умная женщина».

«А как же Алевтина?»

Брат Амвросий пожал плечами. «Может быть, она сама к вам придет».

«Нет, Фрося. Если я уеду, то уеду навсегда. Слушай-ка... — Я вдруг спохватился. — Ведь меня потом нигде не пропишут. Сначала надо выписаться».

Она спросила:

«У вас паспорт с собой?»

Я вынул паспорт.

«Вот видите», — сказала она.

Онемев, я листал эти странички, я вперялся в паспорт, в то место под рубрикой «Отметки о прописке», где должен был стоять штамп и где не было ничего, никаких отметок, — и это было всё равно, как если бы там стояло: «Вон отсюда!» Как будто судьба двинула бровями, как если бы начальство, по своей лености или милости, ограничилось тем, что коротко прорычало: «Живо! И чтоб духу твоего, сволочь...»

Я взглянул на брата Амвросия, взглянул на паспорт и подумал, — что же я мог подумать? Надо быть благодарным Борису Борисовичу! Надо было поклониться ему в ножки. Вернув пустой документ, он преподал мне, в сущности, отеческий совет. Я даже не ис-

ключал того, что сама тётя Леля подсказала ему такое решение. Я был лицо без определенных занятий, без места жительства, человек-подождник, — и в одно мгновение я сообразил, что произойдет, если я не последую молчаливому указанию.

Только что я твердил Фросе, что ни в чем не виноват, ни к чему не причастен. Какая чушь. Криминал был налицо: достаточно того, что я не донес о побеге Петуха из мест заключения (если это был побег), о встречах на конспиративной квартире — а чем же иным было жилище Алевтины? Короче говоря, я был уже не свидетель, а соучастник. Обе версии убийства отнюдь не исключали друг друга: очень может быть, что Петух пришел Фотиева по наущению нищих. Или даже конкретно по заданию отца Зуя. Добыча пополам. А ведь я присутствовал при разговоре Кузьмича с папашей Зуем. Всё это прочертилось мгновенно передо мной, со всеми разветвлениями, как молния на черном небе.

Мотать, сказала она. Смешно даже сомневаться, оправданны ли мои опасения. Но, намекнув, что мне лучше убраться подбурпоздорову, начальство не могло ждать до бесконечности. И надо было только удивляться тому, что меня всё еще не загребли. Мотать, рвать когти, не мешкая и не оглядываясь, бежать куда глаза глядят, и чем дальше, тем лучше! Меня знобило, я спросил, который час, оказалось, около трех часов ночи. До ближайшего поезда оставалось целых четыре часа. Я лег не раздеваясь на соседнюю кровать.

Обдумывая дальнейшие действия, а также возможный маршрут, — хотя какой тут мог быть маршрут, я был вынужден пуститься в путь наугад, как наугад ехал сюда, — я время от времени ловил себя на том, что мои мысли принимают причудливый оборот, словно за меня думает кто-то другой; в конце концов этот другой придумал нечто совсем странное, а именно, что никакого убийства не было и не было усатого деда, но что будто бы Фрося — это моя жена. Сон этот продолжался одно мгновение, потому что в дверь постучали. Это была милиция, которую привел сторож.

Надо было не мешкая вылезти из окна. Вместо этого я лежал, парализованный страхом, и ждал, когда стукнут снова. В комнате стоял молочный сумрак ночи. «Фрося», — сказал я шепотом. Она не отвечала. Её не было в комнате! Я приподнялся. «Фрося! — позвал я. — Ты спишь?» — «Нет», — сказала она спокойно. «Я тебя зову, ты не отвечаешь». — «Разве?» — спросила она. «Ты слышала?» — «Что?» — «Кто-то стучался». — «Это вам приснилось. Отдыхайте... у нас еще много времени». — «Может, лучше дождаться на вокзале? Я пойду, а ты потом придешь».

Я сел на кровати. Она тоже поднялась.

«Фрося. Посмотри там...»

«Где?»

«Там кто-то есть. Я сам слышал».

Она подошла к двери, повернула ключ в скважине и выглянула наружу. «Спите спокойно», — сказала она.

Я спросил: «А вахтер?»

«Какой вахтер?»

«Вахтер!»

«А-а. Да он сам спит без задних ног. И потом, откуда ему знать, что вы здесь».

«Нет, я всё-таки пойду», — сказал я, подумав.

Запахнув халат, она села на койку рядом со мной.

«Мойсеич...» — сказала она.

«Да», — отозвался я и повернулся к ней, она положила мне руки на плечи. Она была в одной рубашке. Я сказал: да, или просто кивнул, потому что то, что произошло, не было неожиданным. То, что произошло, не могло не произойти, потому что вся моя жизнь была бессознательной дорогой к ней, сквозь лабиринт, который мы называли городом, и я думаю, то же чувство в эту минуту испытывала Фрося. Человеческая душа непостижима, и лишь в очень редкие минуты можно заглянуть в неё, как заглядывают в чуть приоткрывшуюся дверь. Она положила руки на мои плечи. В отчаянии, как перед казнью, мы обнялись. Она была худенькая, как мальчик, с едва выступающими бугорками груди. Нам было тесно на узкой койке, каждому стало тесно в собственном теле, мы перевалились с низкого ложа на пол, но она всё еще не могла насытиться и молила, и требовала, чтобы я ей помог. «Там... да, туда... — бормотала она в тревоге, — скорей, туда... — и какая-то паника овладела нами, точно счастье стремительно уплывало от нас, и мы не могли его поймать, — туда... давай, ну!.. — и еще что-то, задыхаясь и стеноя, так что нас могло услышать старец в коридоре, и никак не могло прийти, всё еще не могло прийти и, наконец, пришло, и там, на самом дне, в невыносимой судороге, окончилось наше приключение. Я был измучен и мгновенно уснул.

«Я хотела у вас спросить...»

«Да».

Это было всё той же ночью, и она, как прежде, говорила мне «вы».

«Я хотела сказать. Вот вы говорили о даче».

«О какой даче, Фрося?»

«Вам начальник рассказывал».

«Разве я тебе об этом говорил?» — спросил я удивленно.

«Ах, да не всё ли равно, — рассердилась она. — В общем, эта дача... она действительно существует».

«Ты в этом уверена?»

«Не дача, какая там дача. Деревенская развалюха».

«А у меня, — проговорил я, — не выходит из головы Кузьмич. Если бы он только знал...»

«Вот именно: если бы он знал! Слушай, дядя, — сказала она вдруг, — что мы всё говорим загадками. Вот мы любим друг друга... или, может, нам показалось, что любим?»

«Нам не показалось, Фрося».

«Хорошо. Что я хотела сказать... В общем, мы любили друг друга. А он что проповедовал? Что этого не должно быть. Нельзя мужчине спать с женщиной. А мужчине с мужчиной, выходит, можно?»

«Фрося, что ты повторяешь эту сплетню?»

«Это не сплетня. Он туда любовников своих возил».

«Ты там была?»

«Май был».

О существовании Мая Феклистова я совершенно забыл. Что же он там узнал? Деревня, где остались две-три старухи да еще какой-то полусумасшедший Митяй, разве что числилась деревней: одни печные трубы и полусгнившие сараи. Избяные срубы и вообще всё, что можно было разобрать, разобрано и увезено в рабочий поселок, целая улица в этом поселке заселена бывшими деревенскими жителями. И в этой деревне?.. «Да, — сказала она, — в этой деревне. У Митяя».

«Бог с ним, Фрося».

«Он его там прятал».

«Кто?»

«Кто, кто. Кузьмич. Он к нему пришел. Он у него жил...»

«Кто жил, Фрося?»

«Черный мальчик. Помните, я вам рассказывала. Скрипнет дверь, и войдет черный мальчик».

«Что ты плетешь?»

«Ничего я не плету, — буркнула она. — Я пока что еще не помещанная. Вы знаете, кто его убил?»

«Точно не знаю, — сказал я. — Никто еще толком не знает. Скорее всего Петух».

Она усмехнулась.

«Ты считаешь это маловероятным?»

«Его убил любовник».

«Какой любовник?»

«Обыкновенный. — И она добавила нечто непереносимо грубое. — У него много их было...»

Этот разговор, как и следовало ожидать, ничем не кончился. Начинало как будто светать, надо было каким-то образом выбираться из общежития. Вот так же когда-то, давным-давно, я соображал, как мне выбраться из гостиницы. Вылезать из окна было уже опасно.

Совершив рекогносцировочную вылазку в коридор, Фрося ворочилась в комнату, я ждал её одетый. Прошептала: «Сходите пока в туалет...»

Она снова говорила мне «вы».

После чего она двинулась первой; на наше счастье, старик спал. Я стоял перед дверью, Фрося у поворота в следующий коридор; она дала знак, я бросился вперед, мы выскользнули, дурачки хихикая, на улицу.

Вдалеке, на том берегу, над темным Заречьем едва занималось утро. На мысе белел монастырь. Река дымилась и отливала тусклым металлом, весь город казался отлитым из олова; светлело, город становился воздушней, и вдруг заблестела мостовая, и в окнах домов отразилась оранжевая заря. «Фрося... — Мы шли по безлюдной набережной. — Фрося, мы поедем вместе, да? Мы больше не расстанемся?»

«Да, да, — отвечала она, — мы не расстанемся. Мы поедем на юг, я всегда мечтала жить на юге».

«И мы запишем всё, что говорил Кузьма Кузьмич, все его мысли, чтобы ничего не пропало, мы восстановим его учение».

«Да, мы восстановим».

«У нас будут дети, Фрося».

«Да, да! У нас будут дети. Много детей!» — крикнула она и побежала на мост, за моими пожитками, потому что мне уже не было смысла возвращаться к тётё Леле.

### **Престол славы. Трактат о нищенстве, милосердии и монашеской жизни.**

*Достоин удивления, что некоторые писатели всё ещё полагают, будто профессиональный сбор милостыни есть усовершенствованная (или вырожденная) форма некоего самочинного попрошайничества. Близость латинских слов mendicis (нищий) и mendacium (надувательство) могла бы служить наглядным опро-*

вержением этого тезиса. Представление о несчастных, которым ничего не остаётся, как вымалывать себе бесплатное пропитание, есть не что иное как романтизация нищеты.

На самом деле никакого золотого века нищенства никогда не существовало: уже на заре человеческой истории нищенство предстаёт как социальный институт. Нищенство вырабатывает собственную систему преемства и подготовки кадров под наблюдением опытных мастеров. Дитя, начавшее собирать милостыню под покровительством старших, научается к двадцати годам взимать налог милосердия с самых чёрствых и равнодушных и собирать обильную жатву даже на истощённых нивах. Легитимация нищенства содержится в словах Спасителя о птицах небесных (Мф. 6:26), немаловажную роль собирателю милостыни отводит и закон Моисея. Ср. псалом хваления Анны в 1-й Книге Царств, 2, 8: «Из праха подьмет Он бедного, из брения возвышает нищего, посаждая с вельможами, и престол славы даёт им в наследие».

«Жить в обществе и быть свободным от общества нельзя» (Ленин, соч., т. 99, стр. 580). «Блаженны нищие...» (Мф. 5:3). Нищенство — не свобода от общества, а социальная функция. Нет и не было общества без нищих — и никогда не будет.

Считается (Encyclopaedia Britannica, XXXIV, 720), что нищенство состоит в испрашивании подачек у случайных людей под предлогом мнимого или действительного оскудения. Легко заметить неполноту и даже некорректность такого определения. Прежде всего оно игнорирует фундаментальный факт — общественную полезность просителей. По меньшей мере три обстоятельства оправдывают необходимость института нищих. Демонстрация нищеты, смиренная поза просящего с протянутой ладонью пробуждает в гражданах чувство довольства собой и государственным строем, который не дал им дойти до такого состояния. Искатель милостыни являет собой некий полюс отсчёта, абсолютный нуль благосостояния, рядом с которым любой уровень бедности представляется положительной величиной, нужда выглядит благополучием, голоштанник кажется богачом. Так публичная женщина служит контрастом для самой сомнительной добродетели; это первое.

Во-вторых, нищета и нищенство удовлетворяют психологическую потребность в активном сострадании. Подав просителю, рядовой человек не только возвращает себе столь непрочное сознание собственного благополучия, но и проникается чувством своего высокого нравственного достоинства. В сравнении с нулём мо-

нета достоинством в пять копеек — драгоценный дар; бросив пятак нищему, скупец шествует далее, гордый своей щедростью. Вновь напрашивается параллель с особой лёгкого поведения, чья социально-этическая функция — внушать самоуважение порядочным женщинам. Наконец, третий резон нищенства состоит в том, что оно предлагает достойный выход неудачникам всех сортов.

О богатстве, блеске и преуспевании нищих будет сказано ниже, пока же заметим, что традиционные жанры, виды и стилевые направления нищенства, как-то: уличные певцы и просители, убогие и слепцы, сидельцы и стояльцы, странствующие собиратели пожертвований и подаяний, транспортное, жилищное, церковно-папертное, индивидуальное и театрализованное нищенство — известны с незапамятных времён; каждое поколение культивирует наследие веков. Тем самым нищенство выполняет метаисторическую роль цемента цивилизации, нищенство обеспечивает единство человечества. Миссия нищенства совпадает с миссией культуры, более того, нищенство — это и есть культура.

Образ Вечного побиральца в эпосе многих народов заставляет вспомнить бессмертного Агасфера, если не идентичен ему: гипотеза семитического происхождения нищенства находит авторитетных сторонников. Обречённый скитаться из-за проклятья, произнесённого над ним, Вечный Жид становится регулярным объектом христианской ненависти, которая есть не что иное, как проявление христианской любви. Но возвратимся к истории нищенства.

Чрезвычайно высокого уровня искусство выманивания подаяний достигло, как мы знаем, в Средние века. О процветании нищих, *Stabkerle*, как их называют источники, свидетельствует статистика: около 1300 г. в Трире профессионалы ежегодно собирали до 15 тысяч гульденов при общем количестве нищих около 2 тыс. На аугсбургской деревянной гравюре 1477 г. кавалькаде вельмож, въезжающих в городские ворота, преграждают путь три просителя: слепец, профессиональный страждущий и обладатель костылей. Уличный промысел сравнивается с трудом земледельца. Выражения типа «урожай милосердия» можно встретить уже в диалогах Хротсвиты из Гандерсгейма (X в.).

Анонимный автор учебного пособия, известного под названием *Codex mendarius* (XIII век), излагает важные сведения по физиогномике и жестикеляции. Последнюю можно назвать пластикой сбора подаяний. Так, мы узнаём о том, что просящему ни в коем случае не следует вызывать к себе презрительное снисхождение,



оскорбительную жалость. Напротив, он должен улыбаться; рука должна быть согнута в локте, а не протянута во всю длину. Сдержанный жест, исполненная достоинства мина полууголого нищего, которому св. Мартин бросает свой плащ (на известных изображениях святого), иллюстрируют это правило. Исполнение оптимистически окрашенных куплетов служит художественным обрамлением промысла. Автор кодекса предостерегает против агрессивного вымогания милостыни (очевидно, распространённого в его время), практики шантажирования муками ада и т.п.

Утрехтское уложение о нищенстве, старейший из дошедших до нас регламентов этого рода, устанавливает правила эксплуатации хлебородных угодий: десант добытчиков высаживается на ярмарочной площади. Вместе с тем растущий престиж этой профессии привёл к опасной инфляции, обесценив в большой мере ценностные установки нищенства, — процесс, который можно сопоставить с моральной деградацией монастырей. В 30-тысячном Страсбурге в 1530 году было 23 тысячи вымогателей подаяний. Это заставило некоторые города ввести квоту на нищенство. В ряде мест просителям вменялось в обязанность носить особые знаки своей профессии, нечто вроде регалий нищенства. Известны случаи награждения заслуженных нищих специальными титулами, символическими почётными веригами и т.п., а также возведение нищих в рыцарское достоинство. (Это приближает профессиональное нищенство к рыцарским монашеским орденам с их обетами бедности и т.п.) В правление кардинала Мазарини в Париже была выпущена генеалогическая книга родовитых нищих. В Испании, на конкурсе попрошайек, во время которого нищие состязались в ловле монет зубами, победитель проехал по улицам Кордовы в колеснице. В середине шестнадцатого столетия 82-летний нищий в городе Оснабрюк был избран бургомистром. А на другом конце Европы московский самодержец, в рубище и колпаке, с протянутой рукой обходил бояр.

Таким образом, уже в те далёкие времена два широко распространённых предрассудка подверглись решительному пересмотру: убеждение, будто нищенство есть некоторое исключение, неправильный, ненормальный образ жизни, и представление о нищете нищих. История свидетельствует о непрерывном обогащении нищих. Полагают, что этот процесс шёл рука об руку с обнищанием богатых; но лишь до определённой степени. Не следует забывать о том, что нищие являются консервативным классом, жизненно заинтересованным в сохранении социального и политического

*status quo. Нищие — опора трона, алтаря, гарант социального мира и всякого законного порядка. В годы общественных потрясений, войн, разрухи и упразднения собственности, пресловутой экспроприации экспроприаторов, количество просящих возрастает в арифметической прогрессии, а сумма сборов падает в геометрической прогрессии. Некому подавать! Вот почему революция — злейший враг нищего. Нищий страдает от революции ещё больше, чем богатый; нищий — первая жертва революции. Это вытекает из противоположности между нищенством и нищетой, и обнищание нищих, возврат к примитивному попрошайничеству, пресловутому золотому веку, — на самом деле знак надвигающегося века смут.*

## XVII

*Интерес автора к историческому прошлому выдает его желание возместить пропажу собственного прошлого.*

Звездопад 1338 года, поразивший воображение современников, послужил летописцу прологом к рассказу, который с некоторыми вариациями повторяется в других хрониках, но принадлежит, по моему глубокому убеждению, истории нашего города. Семь ночей подряд метеоры чертили небо, на восьмой день в окрестных лесах появились узкоглазые всадники.

В это время в городе заканчивались работы по украшению храма, и некое знамение было явлено иконописцам.

Им было велено изобразить благословляющего Спаса, однако, войдя в церковь, епископ увидел, что Иисус держит руку сжатой в кулак. Дважды переписывали руку, дважды она сжималась. Под конец прогремел голос в пустом соборе: «Писари! не пишите меня с рукой распростертой, ибо держу город в руке моей». Но епископ не мог допустить, чтобы рука оставалась закрытой. И едва лишь переписали её в третий раз, как забил набат.

Татары подъехали к воротам, ведя на веревке пленника, и стали спрашивать, где князь. В ответ горожане пустили по стреле, татары ответили тем же и подвинулись еще ближе. «Узнаете ли, — сказали они, — вашего княжича?» Князь с меньшим братом и воеводой стоял на воротах и с трудом узнал своего сына: одежда на нем висела лохмотьями, и один глаз был выколот. «Ежели не откроете ворота, — закричали татары, — вырежем ему второй глаз».

Тогда спросили у них, можно ли откупиться. «Можно, — отвечали татары, — только смотря чем». Спросили у них: жемчугом, горно-

стаями, белыми волками, моржовым зубом, драгоценными книгами? «На что нам книги, — сказали татары, — а впрочем, мы еще посмотрим». После этого князь, обернувшись к дружине и воеводе, сказал: «Лучше нам умереть, чем быть в их воле». Князя, большой и малый, вошли в церковь и постриглись в монахи. В это время Спаситель на иконе сидел с благословляющей рукой, в чем увидели они одобрение своему поступку. На рассвете татары вступили в город через пролом в стене. Князя бежали в Печерный град, княгини с дочерьми и снохами, бояре и разный люд затворились в соборе. Епископ с двумя черноризцами поднялся на колокольню и бросился вниз головой. Татары обложили храм лесами и подожгли. Вспыхнуло дерево, высохшее за лето, люди, запертые в соборе, умерли от великого зноя, пожар объял весь город, приняли смерть и захватчики и сквозь дым видели в небе раскрытую руку с двуперстием; утром оказалось, что огонь не оставил ничего, кроме черного от копоти храма, крепостных стен и печных труб.

Мы шли, мы почти бежали на вокзал, когда раздался глухой удар и громовым эхом пронесся над рекой и набережной.

«Что это?»

«Бомбардировка».

«Что?!»

«Разве не слышали, война началась».

«Какая война, что ты несешь?»

«Татары. Варяги. Тевтонский орден. Всё повторяется, дядя...»

Я поглядел на неё.

«Успокойтесь. Я пошутила. Я хотела вам сказать... то есть тебе... Ты, может быть, думаешь, что я с ним жила?»

Я пожал плечами. Солнце уже вставало над городом, окна верхних этажей сверкали.

«Слушай — раз уж зашел об этом разговор... У меня какое-то странное впечатление...»

Произнеся эти слова, я тотчас пожалел о них. Я слишком возмнил о себе. Любила ли она меня в самом деле? Брат Амвросий... Как я не догадался? Он хотел доказать... то есть *она* хотела доказать. Самой себе доказать, что она женщина. Как бы там ни относился к ней Кузьма Кузьмич, она — женщина. Может быть, поэтому она отдалась мне.

«Я слушаю вас», — сказала она спокойно.

«У меня было такое впечатление, что ты... и то, и другое».

Она усмехнулась: «Оттого, что я такая тощая?»

«Нет, не только».

Я умолк.

«Договаривайте, — сказала она, — чего уж там стесняться».

«Мне показалось, Фрося... он ведь должен быть совсем крошечным».

«Я не виновата, — она пожала плечами, — что он у меня так развит...»

В эту минуту снова грохнуло. Мы остановились.

Она криво усмехнулась.

«Я же вам сказала: война. Татары пришли. — Потом добавила: — Ничего страшного; это взрывают монастырь».

На вокзал мы примчались, когда поезд уже приближался и дежурный, тот самый, с которым я однажды имел удовольствие беседовать, вышел из станционного здания. Стоянка три минуты, ровно столько, сколько нужно для того, чтобы выгрузить почту. Мысленно я прощался с Алевтиной, с тетей Лелей. Поезд пыхтел, замедляя ход. Я сунул Фросе кошелек, она бросилась за билетами. «Докуда?» — крикнула она, обернувшись. Я развел руками.

Три минуты, теперь уже две. Она подбежала ко мне.

«Обними меня».

«Ты купила только один билет!» — закричал я.

Но в глубине души я знал, что так будет, и был даже рад.

«Я без тебя не поеду. Мы еще не решили. Мы можем ехать вечерним поездом».

Мы стояли у подножки вагона.

«Уезжай скорее. Ты меня предашь».

«О чем ты, Фрося?»

«О том же. Тебя прижмут, и ты меня предашь. Это я его уколошила».

«Всё равно, — бормотал я. — Ты или не ты... Какая разница... У меня никого нет, кроме тебя... Фрося... Как же я теперь?»

Поезд мерно стучал на стыках, фигура дежурного с поднятым диском стояла вдали, понемногу уменьшаясь и загоразивая другую.

Мне остается добавить... впрочем, об этом я уже говорил: если эти каракули найдут внимательного читателя, буду рад, но пусть он не думает, обнаружив в моем отчете кое-какие несообразности, что виной этому неумелое перо рассказчика. Я согласен, что перо неумелое. Если бы всё дело было только в нем!

С последним днем моего пребывания в городе, на его улочках и пустырях, под гостеприимным кровом тети Лели, в подвалах монастыря, в комнате Алевтины заканчивается хроника N. Впоследствии

я тщетно пытался отыскать наш город на карте. Водил пальцем по реке, по всем её изгибам, и нашел два-три населенных пункта. А город? Абсурдное предположение, что он мог значиться под другим названием, следовало отвергнуть именно потому, что оно было абсурдным. Другое объяснение — что города попросту не было, что он исчез с лица земли в первой половине четырнадцатого столетия, после небывалого звездопада, и с тех пор уже не возрождался, — кажется, тоже вздор, но, по правде говоря, кажется мне не более нелепым, чем первое, разве что более смелым. Но мало ли городов на Руси, которых не отыщешь ни на одной карте?

*Finis commentariorum*

ТРЕТЬЕ ВРЕМЯ

*Tes cheveux, tes mains, ton sourire rap-  
pèlent de loin quelqu'un que j'adore. Qui donc?  
Toi-même.*

M.Yourcenar. Feux<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Твои волосы, твои руки, твоя улыбка напоминают мне издали кого-то, кто мне дорог. Но кого же? Тебя. *Маргерит Юрсенар, «Огни» (фр.).*

С тех пор как живой огонь смоляных факелов, масляных плашек, свечей, керосиновых ламп больше не озаряет человеческое жильё, уступив место беспламенному освещению, мир стал другим, вещи смотрят на нас иначе, и бумага ждёт других слов. Но нет, это всё те же слова.

В области технологии попятное движение возможно так же, как и на лестнице живых существ. Приспособление, которое стоит на столе — и требует особого описания, пока о нём окончательно не забыли, — представляло собой с инженерной точки зрения регрессивную ступень, зато имело важное преимущество перед своим предком, а именно, экономило дефицитный керосин. Уничжительное название «коптилка», возможно, указывало на недостатки с точки зрения экологии и защиты окружающей среды, но экология была изобретением позднейшего времени.

Проще говоря, это была всё та же керосиновая лампа, с которой сняли стекло и отвинтили железный колпачок с узорным бордюром. После чего можно было прикрутить фитиль до чахлого огонька, повторённого в тёмном окне, где виднелось призрачное лицо пишущего. За вычетом некоторых частностей, — к ним следует отнести прошедшие годы, — это тот же персонаж, который теперь описывает комнату, архаический осветительный прибор и склонённого над тетрадкой недоросля. Пишущий описывает пишущего. С пером в руке, словно зачарованный собственной решимостью, он застыл, вперив в огонь сузившиеся зрачки; в этот момент его застаёт наше повествование.

Жёлтый огонёк в запотевшем оконном стекле прыщет искрами, перо, забывшись, ворошит маслянистые чёрные останки, труп таракана в чашечке горелки. Двойной тетрадный листок, лежащий перед подростком, исписан до конца. Остаётся перечитать, он медлит, как Татьяна над письмом Онегину.

Остаётся сложить и сунуть в конверт. Но в те годы почтовые конверты вышли из употребления, письма сворачивали треугольником. Он, однако, сам клеил конверт. И чем дольше он вперяется в огонь, чистит перо о край чашечки и вновь пытается подцепить обугленный остов насекомого, тем сильнее зудит и поёт в его душе восторг небывалого приключения. Чувство, которое испытывает человек перед тем, как сигануть с вышки в воду. Он встаёт. Ему представились сумрачные леса, отливающий оловом санный путь.



Грёзы памяти прочнее зыбкой действительности. Случись нам однажды посетить места далёкого прошлого, мы увидели бы, что с действительностью произошло что-то ужасное. Всё изменилось, разве только лес и река под пологом туч остались как прежде; и мы с трудом узнали бы этот жалкий сколок с немеркнувшего воспоминания; пытаюсь подселить новые впечатления к тому, что живёт в памяти, мы совершили бы насилие над собой, надругательство над памятью, которая попросту не верит в обветшалую действительность и не желает её признавать: так богатое процветающее государство не хочет впускать к себе оборванцев.

Мальчик стоит посреди комнаты, в коротком пальто, из которого он вырос, шапка-ушанка в руке, взъерошенный вид; перед тем, как дунуть на огонёк, он видит в окошке своё лицо, освещённое снизу, как у преступника. Он выходит из дому, вернее, сейчас он выйдет. Та же дорога, что и тогда. Но тогда, две недели назад, был солнечный день, снег скрипел под ногами. Тогда... о, сколько лет этот день ещё будет стоять перед глазами. С него, похоже, всё началось. Она шагала в полущубке, в платке, из-под которого выбились её пряди, в юбке чуть ниже колен и маленьких чёрных валенках, глядя под ноги, держа правую руку в варежке перед грудью, левой помахивая в такт шагам, от бедра в сторону. Все эти мелочи... прежде он не обратил бы на них внимания. Когда он догнал её при выходе из больничных ворот, она сказала: «А я даже не знаю, в каком вы классе». Вместе прошли весь путь, два или три километра от больницы до районного центра, о чём говорили, забылось, осталась звук её голоса, морозный румянец, ослепительный день и то, как она шла — легко и уверенно ставя ноги в валенках по утоптанному скрипящему снегу, в юбке немного ниже колен и хлопчатобумажных чулках, какие в то время носили все женщины; шла, внимательно глядя под ноги, чтобы не поскользнуться, рука в шерстяной варежке перед грудью, другой помахивая от бедра, что придавало ей забавный деловой вид. Оба должны были идти по сторонам скользкой дороги, отступали в снег, чтобы пропустить встречную подводку, снова шли по обочинам, сходились, шагали рядом.

В этот день что-то случилось; но когда же началась эта история? Всегда одна и та же, сколько о ней ни вспоминать, ибо она держится на нескольких более или менее прочных фактах, словно палатка на колышках под порывами ветра, — и всегда другая, оттого что «факты» разбухают подробностями, ветвятся, соединяются и даже меняют свою последовательность. Образ девушки, неколебимый, как фатаморгана, стоит над всеми событиями. Ибо, как уже сказано, ничего в памяти не меняется, ни лес, ни дорога, по которой она шагала, откидывая руку в сторону, глядя под ноги, чтобы не поскользнуться, а может быть, для того, чтобы не смотреть на спутника. Всё как прежде, и если бы через

много лет по неслыханному стечению обстоятельств мы увидели её снова, если бы нам сказали: вон та сморщенная старуха, это и есть она, — возмущённая память отшвырнула бы её прочь.

В который раз воображая всё сзынова, — для чего не требуется усилий, достаточно вспомнить одну какую-нибудь сцену, одну подробность, огонёк на столе, перо, называемое «селёдочкой», с загнутым кончиком, стоит вспомнить, и тотчас придёт в движение весь механизм, — в который раз, снова и снова воображая или, лучше сказать, возрождая эту историю, наталкиваешься на трудность особого рода, грамматическую проблему. Всё просто, пока вы пишете о других. И насколько сложнее найти в хороводе лиц и событий подходящую роль для себя, подобрать подходящее местоимение: «я», «он», «тот самый»? Странная коллизия, которая показывает, как трудно уживаются память и язык, память и повествование. Оба лица глагола несостоятельны — и первое, и третье. Пишущий говорит о себе: «он», «его отражение в запотелом стекле», представляя себе того, кем уже не является. Он пишет о другом. Но другой, тот, кого давным-давно не существует, был как-никак он сам, был «я». Он тот же самый, он другой. И он чувствует, что местоимение первого лица расставляет ему ловушку, тайком выпускает через заднее крыльцо в заколоченный дом памяти того, кому входить не положено. Говоря «я», невозможно отделить себя от того, прежнего, — вернее, отделить прежнего от себя нынешнего.

К этому времени — четырнадцать, пятнадцать, надо ли уточнять? — окончательно утвердилось, кем он будет или, вернее, кем он стал. Чем фантастичней были его представления об этой профессии, тем прочней была эта уверенность. Предвкушение этой судьбы давно давало себя знать — в ту баснословную старину, обозначаемую словами «до войны» и от которой подростка отделяло, пожалуй, такое же расстояние, как от юноши до дремучего старца. Идея, прочитав что-нибудь, сочинить нечто подобное и даже ещё лучше, — когда она родилась? Он прятал тетрадки с рассказами и стихами, рисовал на узких бумажных рулонах приключенческие фильмы и писал пояснительные титры, как было принято в настоящем кино. *Это случилось в Париже, в один из тёплых летних вечеров 193... года.* Его литературные амбиции распространялись на все роды словесности, он писал романы, поэмы, критические статьи, учёные трактаты; мало что доводилось до конца, большей частью ограничивалось вступительной главой или прологом; новый замысел оттеснял предыдущие. Всё становилось литературой. Было ли ею и это письмо? Любовь и словесность вступили в заговор. Вот оно, уже заклеенное, которое автор вертит в руках. В десятый раз перечитывает адрес. Мальчик стоит посреди комнаты, тень в огромных валенках, в пальто, из которого он вырос, дважды перело-

милась от пола до потолка, и чьё-то лицо, освещённое снизу, подглядывает в окне. Он сунул конверт за пазуху, нахлобучил ушанку, слабая керосиновая вонь от потухшего светильника повеяла ему вслед. Влажный ветер ударил в лицо. Была оттепель.

Под тёмным небом в оловянной ночи он брёл краем дороги, чтобы не промочить валенки, неся в кармане письмо с адресом, который не отличался от его собственного, — ведь она жила в том же доме-бараче, второе крыльцо, — письмо, содержащее нечто такое, что никогда и ни под каким видом не может быть произнесено вслух. Как если бы он прошептал ей на ухо секретный пароль, оставаясь невидимым, *parlant sans parler*<sup>1</sup>, как выражается персонаж одного романа, где объяснение происходит во время карнавала, в полубреду, *sans responsabilité, ou comme nous parlons en gêve*<sup>2</sup>. Разумеется, подросток никогда не слышал об этой книге. Но в конце концов все наши поступки уже описаны кем-то. В это время та, для которой предназначалось оглушительное известие, дремала в коридоре инфекционного отделения, называемого заразным бараком, на топчане рядом со столиком для дежурной сестры, накрыв ноги казённым одеялом, ни о чём не подозревая.

Но когда всё-таки это началось? С чего началось? Был летний день, один из первых горячих дней, народ собрался на пологой лужайке, вероятно, это были дети больничной обслуги, две-три женщины в светлых платьях сидели на траве, не решаясь раздеться, и вода сверкала так, что было больно смотреть. И кто-то уже сходил босиком, придерживая подол, к узкой песчаной полоске, а вдали, на тёмно-сверкающем просторе, вдоль кромки противоположного берега, длинная чёрная баржа тянулась следом за пароходиком, над которым курился дымок; кто-то, приставив ко лбу ладонь, старался прочесть название в полукруте над пароходным на колесом. Не оттого ли мы склонны приписывать особенное значение ничего не значащему, мимолётному эпизоду, что смотрим на него из будущего? Зная о том, что было позже, мы говорим себе: вот решающее мгновение, вот когда сделана первая инъекция эротического наркотика, — а ведь, может статься, на самом деле ничего такого и не было.

Несколько минут спустя докатившаяся волна плеснула на прибрежный песок, забрызгав подол платья; и ватага с визгом, с уханьем бросилась вперёд, в блеск реки и бледную голубизну неба. Посреди этого детского лягушатника, белея круглыми плечами, в воде до нача-

---

<sup>1</sup> Говорить, ничего не говоря (*фр.*)

<sup>2</sup> Ни за что не отвечая, как мы говорим во сне (*фр.*). Т.Манн, «Волшебная гора».

ла грудей стояла чужая и незнакомая, неизвестно даже, как её звали, с ещё не отросшими волосами. Кого же она напоминала теперь, в воспоминаниях? Конечно, ту, которой стала позже.

Или, может быть, не тогда, на реке, когда она стояла, шурясь от солнца, среди кувыркающихся мальчишек, ещё слабая, круглоголовая, сама похожая на болезненного крупного мальчика, стесняясь выйти и не решаясь пуститься вплавь, — а ещё раньше зародилась эта история, в день, когда в комнате за перегородкой, где потом поселилась с матерью Маруся Гизатуллина, в просвете занавески, заменяющей дверь, лежала на подушке её наголо остриженная голова?

В те дни, после разгрома под Харьковом, армия панически отступала. Повторился кошмар молниеносной войны. Враг нёсся по степным просторам к Дону, после чего войска, наступавшие в южном направлении, прорвались к Кавказу. Горные егеря вскарабкались на Эльбрус и всадили в каменную расщелину красное знамя с белым диском и свастикой. Другое полчище устремилось к излучине Волги. Когда завоеватели увидели бесконечную, залитую солнцем водную гладь, они были поражены. Ничего подобного они не видели у себя на родине. Город на реке был окружён с трёх сторон. В Виннице, в новой штаб-квартире, фюрер изнывал от украинской жары. Город на Волге нужно было взять во что бы то ни стало. Вождь в Москве, никогда не выезжавший на фронт, издал приказ: ни шагу назад. Город удержать во что бы то ни стало. Эвакуация гражданского населения запрещена. Армия Чуйкова схватилась с завоевателем. Две трети развалин с их обитателями были уже в руках врага. В подвале универсама на площади Героев Революции, перед телефонными аппаратами и картой города, сидел, с дубовыми листьями на воротнике и Рыцарским крестом на шее, главнокомандующий. Город на Волге утратил стратегическое значение, но его надо было взять. Река, вся в пламени, стояла перед глазами и оказалась недостижимой. Город удалось отстоять, но его уже не существовало. Это была война, в которой победа была в конечном счёте такой же катастрофой, как и поражение, когда героизм, страх, самоотверженность и звериная жестокость обесценили все остальные чувства и перечеркнули культуру. Война разрушила европейское человечество, но об этом никто не думал; выпотрошила души людей, но они этого не заметили. Эти годы уже никто не помнит.

Мальчик слушал радио — одна победа за другой. Между тем войска давно уже оставили Украину, отступили к Волге. Так, непрерывно побеждая, армия оказалась прижатой, как к стене, к берегу, но тут кое-что переменялось. В ста пятидесяти километрах от города части, незаметно подтянутые с фланга, применили тактику, заимствованную у врага. Артиллерия ударила всей мощью на узком участке. В прорыв

устремились танковые подразделения и пехота. Навстречу, с юго-востока, двигались войска, чтобы сомкнуться с ними. Фланги охраняли румынские части, чей боевой дух уступал немецкому. Над половецкой степью пошёл снег. В темноте танки подошли к станции Калач и включили фары перед мостом через Дон. На пятый день завершилось окружение. Фюрер запретил попытки прорвать кольцо, что означало бы отступление; оставалось погибать под бомбами, в летних шинелях, от мороза и нехватки продовольствия. Красная Армия потеряла два миллиона солдат. От 250-тысячной армии генерал-фельдмаршала Паулюса осталось 90 тысяч. Юная Лизль из Аахена послала слёзное письмо девятнадцатилетнему гренадёру Рольфу Бергеру, зачем он сделал её такой несчастной, она не вынесет позора: все смотрят на её раздувшийся живот. Мать написала сыну, что она знает о том, что он сидит в котле под «Шталлиградом», письмо было написано при свечах в подвале разбомблённого дома. Оно успело вернуться, как и письмо Лизль, со штампом «Пал за Великогерманию». Сотни мешков с письмами были сброшены с самолётов в расположение окружённых войск, и снег засыпал их. И снова...

Снова эта дорога, мглистое пространство сна, армада туч, тёмных на тёмном. По правую руку берег, невидимый, не отличимый от запорошенной снегом реки, по левую руку холмы, замороженные леса и где-то там, между елями, лыжный след на крутизне, сейчас не различишь. Пристыжённый рекордом неизвестного смельчака, мальчик решил было тоже съехать с обрыва, стоял там, наверху, шурясь от солнца, сделал робкий шаг, подтянул другую ногу, лыжи висели над пропастью, в следующее мгновение он уже летел вниз в свисте и громе ветра, почувствовал слабость в ногах и несколько раз перекатился через голову, раскинув ноги с лыжами, растеряв палки, в фонтанах снега. К счастью, никто не видел его позора. Мальчик спешит по ночной дороге, стало жарко от быстрой ходьбы, он стащил с головы шапку, вытер шапкой потный лоб, расстегнул пальто, он шагает, марширует налегке в облаке пара, письмо в кармане, голова мёрзнет, он нахлобучивает холодную влажную шапку. Отстапают, уходят во тьму леса и овраги, всё ближе редкие огоньки, подросток бредёт по безлюдной улице, ещё шагов полтора, ещё каких-нибудь десять домов до каменного двухэтажного дома с вывеской почты.

Сунув в щель самодельный конверт, он медлит, мгновение, и он скользнет, как тогда, с обрыва, в громе ветра. Разжать пальцы, только и всего. Письмо упало в ящик. Мальчик представил себе, как утром по пути в школу успеет перехватить почтальонку, как её здесь называли, представил, как она роется в сумке, я передумал, скажет он и сунет письмо в карман. На другой день, подходя к школе, он думает о том,

как она бредёт в тёплом платке, в кацавейке и старушечьей юбке, с сумкой через плечо, мимо лесистых холмов, мимо взрыхлённой крутизны в просвете елей — след его падения, уже запорошённый снежком. И вот уже видны дымки из труб, больничный посёлок. Старая женщина свернула с тракта. Сейчас, думает он, избегая на второй этаж деревянного здания школы, сейчас она вошла в ворота. Сейчас... среди беготни и гама, словно сомнамбула, никого не видя, не слыша звонка, он пробирается в класс, опускается на своё место, вскакивает вместе со всеми при появлении учительницы, — сейчас она шагает мимо конюшни.

Направо за воротами жёлтая от навоза и конской мочи площадка, сарай для телег, саней и кибитки главного врача. Налево заваленный снегом огород, брёвна, сваленные Бог знает когда, штабеля дров. Барак для персонала. Вестник в юбке и кацавейке поравнялся с крыльцом, где жили подросток и его мать, где в комнате за перегородкой, с занавеской вместо двери проживала и Нюра в те далёкие времена, когда она выздоравливала от брюшного тифа, а потом здесь поселилась Маруся Гизатуллина, она-то всегда ждала писем, и мать подростка ждала писем, но почтальонка прошла мимо и остановилась перед следующей секцией. Кто-то выглянул, поговорили о чём-то; тётя Настя рылась в сумке; женщина, с самодельным конвертом в руке, воротилась на кухню и, держась рукой за поясицу, наклонилась подsunуть письмо под дверь соседки, всё это он представил себе, как будто стоял рядом, но что если письмо затерялось? Старая тётя Настя плелась дальше к проходу в плетне, отделявшем жилую зону от больничных корпусов, мимо дома завхоза, мимо бани на пригорке, избушки из толстых брёвен, с единственным слепым оконцем. И тотчас, ни того ни с сего, эпизод, принадлежащий совсем уже архаической эпохе, воскрес в его памяти.

Не считая главврача, завхоза, да ещё полусумасшедшего конюха Марсули, каким-то образом прибывшего к больнице, он был единственным представителем мужской половины человечества в этом маленьком мире; мелкая ребятня, дети полузамужних сестёр и санитарок, разумеется, тоже не в счёт. Главный врач, человек с негнущейся ногой, вместе с падчерицей эвакуировался с Украины, где заведовал чем-то, и здесь стал важным лицом в районе, председателем врачебной комиссии, мог всегда положить к себе двух-трёх призывников с сомнительными болезнями, говорили даже, вовсе здоровых. Главврач с падчерицей мылись первыми; за ними, следующим по рангу, шагал в баню завхоз Махмутов, пожилой мужик с картофельным лицом, жена в тёплом платке, закутанная до глаз, несла следом тазы для ног, для

головы; а далее женщины, их было много, так что мальчик должен был мыться последним, когда горячей воды оставалось на доньшке. На худой конец можно было идти вдвоём с матерью, но мать была не настолько важной персоной, чтобы одной с мальчиком занять баню, а главное, время шло очень быстро; время казалось нескончаемым, как товарный поезд, — один месяц этого грузного времени был равен многим годам жизни взрослого человека, одной недели хватило бы на целую книгу, — и, однако, мчалось вперёд, словно экспресс, просто он этого не замечал, как пассажир, дремлющий в купе, не замечает расстояний. Из ребёнка, каким его привезли в начале войны, он словно за одну ночь превратился в подростка. И уже неудобно было брать его в баню вместе с собой. И оттого, что время так несло, этот эпизод отступил в незапамятные времена; придавать ему тайное значение могла только поздняя память, наделённая свойством беллетризовать хаос жизни, манипулировать прошлым, и позапрошлым, и будущим, которое, в свою очередь, стало прошлым. Этот случай погрузился в легендарные времена, в те времена, когда Ньюра ещё жила через стенку от них и никакого волнения это обстоятельство не вызывало, женщины не обращали на него внимания, а он был слишком занят, чтобы их удостоить вниманием, рисовал карты несуществующих государств, из которых одно напало на другое, рисовал линию фронта, стрелы наступающих армий и кружки осаждённых городов, писал статьи для задуманной астрономической энциклопедии, вечерами, глядя на небо, убеждал себя, что открыл новую комету, хотя три звезды, которых он не различал из-за близорукости, по всей вероятности, были Стожары. Потом астрономия как-то забылась, рисовать стратегические карты надоело, литературные замыслы отеснили все другие увлечения; словом, всё это было ещё до того, как Ньюра лежала в бреду и за ней ухаживала строгая чернобровая Маруся Мухаметдинова, до того, как Ньюра стояла на крыльце, бледная и остриженная, как мальчик, босиком, в чём-то белом, вероятно, в ночной рубашке, смежив глаза под весёлым солнышком, до того, как её плечи белели в воде посреди барахтающейся детворы, и до того, как в комнатке за стеной поселилась Маруся Гизатуллина с матерью, а Ньюра перебралась в соседнюю секцию. В эпоху до нашей эры, вот когда это было — и представлялось далёким островком в океане времени, и лишь много лет спустя стало казаться, что с этого эпизода всё и началось, что островок был не чем иным, как вершиной скрытого под водой континента.

Женщин было слишком много. Все мысли ужасно долго. Поздно вечером мальчик всё ещё сидел в холодных снях с заиндевелым окошком, дожидаясь своей последней очереди, дверь из предбанника приоткрылась, и высунулось красное и блестящее, окружённое косма-

ми мокрых волос лицо Нюры, пахло влажным, гниловатым теплом, затхлостью сырого дерева, хозяйственным мылом и ещё чем-то свежим, блестящим, это был запах женского тела; от неожиданности он открыл рот, она замахала руками, ей было холодно, захлопнула за собой дверь. Когда он переступил порог предбанника, там никого не было. В полутьме на крюках висели пальто, платки, стояли валенки, на лавках валялось бельё. Он стащил с себя пальто и ушанку, поколебавшись, снял всё остальное, толкнулся в забухшую дверь, толкнулся ещё раз изо всей силы и ввалился в жаркий, жёлтый, тускло-блестящий туман, где, слава Богу, было плохо видно, тела двух женщин белели в тумане. В углу на полке справа от двери, в светящемся облаке, стояла в стеклянной банке керосиновая лампа. Гулкий голос окликнул его. Мальчик всё ещё не понимал, зачем его позвали, стеснялся своей наготы, но увидел, что, занятые своим делом, они не обращают на него внимания, и сам старался не смотреть на их блестящие покатые плечи, крутые бёдра, несоразмерные с верхней половиной тела, большие круглые груди с розоватыми плоскими сосками у Нюры и маленькие, сужающиеся татарские груди Маруси Гизатуллиной. Вдвоём с Нюрой держали за руки худенькую Марусю, которая, как он помнил, носила имя Марьям, была рукодельницей, целыми часами пела за перегородкой «Тёмную ночь», и «Про тебя мне шептали кусты», и «С неба звёздочка упала» и что там ещё, и сейчас казалась совсем маленькой, на голову ниже мальчика, и не сводила зачарованных глаз с бочки. «Ну, давай, шагай», — приговаривала Нюра. Маруся, застыв от ужаса, не двигалась с места.

«Давай...»

Маруся Гизатуллина поставила ногу на табуретку и, поддерживаемая с двух сторон, встала на табуретку перед бочкой, задев мальчика круглым влажным бедром. Внутри, в бочке стояла другая табуретка. Маруся попробовала воду ногой и охнула. «Ну чего», — сказала Нюра сурово. Маруся сунула ногу в воду. «Держи, держи, — говорила Нюра, — привыкнешь... Другой ногой становись». Подросток ждал со страхом, что сейчас её придётся вытаскивать и звать на помощь, потому что она сожгла себе всё тело кипятком, но Маруся героически сидела на корточках там, на табуретке, схватившись руками за края бочки, и громко, со свистом дышала открытым ртом, моргая круглыми и блестящими, чёрносморозинными глазами с огромным неподвижным зрачком. «Терпи», — сказала Нюра, строгая, словно на работе, вся розовая, полногрудая, в шлеме тёмнорусых, кое-как свёрнутых волос, теперь уже совершенно не стесняясь подростка. «А ты, — она показала рукой на предбанник, — посиди там... — И когда он толкнулся в тяжёлую дверь, крикнула вслед: — Смотри никому ни-ни!» Процедура помогла лишь отчасти. Ночью хлынула кровь, полуживую Марусю



принесли на руках в хирургию, и главврач, в халате, кое-как завязанном на затылке, в ботинках на босу ногу, облив спиртом руки, при свете керосиновых ламп сделал то, что было необходимо.

Случай, как уже говорилось, забылся — и не забылся; забвению, как ни странно, способствовало то, что последовало за этой сценой: кровотечение и всё остальное, немедленно распространившееся, — ведь в этой крошечной вселенной женщин ничто не оставалось тайной. Разве что не узнали о том, что он был там и помогал. Услыхав краем уха о том, что случилось, мальчик испытал не жалость, а брезгливость, непонятную ему самому; можно предположить, почему обо всём этом хотелось забыть: аборт (слово, точное значение которого он не знал) означал некоторый взлом женского тела, которое в его представлении было и чем-то аномальным, и вместе с тем целостно-неприкасаемым, кругло-замкнутым, с плотно сжатой складкой; всё, что его разжимало, будь то естественные отправления, кровь или насилие, вызывало в нём отвращение. Мальчик был мужчиной, иначе говоря, адептом девственности. Так получилось, что обе части ночного приключения — баня и то, что за ней последовало, — разъединились в его сознании, и несчастье, едва не унёсшее Марусю Гизатуллину, было репрессировано памятью. Но зрелище, представшее перед ним в тускло-блестящем, пахучем банном тумане, не пропало бесследно; оказалось — в тот момент, когда, сидя в классе, он думал о почтальонке и о письме, — что оно хранится в дальнем закоулке памяти, словно под замком, который отомкнуло одно единственное слово-ключ; он и стыдился вспомнить, и не мог воспротивиться этому воспоминанию. Пробуждало ли оно чувственность в подростке? Нет, мы этого не думаем; скорее чувство экзотики и внезапное откровение красоты и гибкости этого тела, чьё совершенство, может быть, нарушала лишь слипшаяся от влаги дельта внизу живота; не зря ваятели древности избегали изображать эти волосы. Но, как и все архаические воспоминания, образ нагой, полногрудой и круглобёдрой девушки-богини не мог связаться с Нюрой их совместного пути по скрипящему снегу, морозным утром из больницы в село.

Лето кончилось, уже не купались, и горячий солнечный день, когда она стояла, круглоголовая, похожая на крупного мальчика, с серёжками в ушах, щурясь от пляшущих бликов, и её круглые плечи и начало грудей белели над водой, день этот в свою очередь ушёл в легендарное прошлое. Подросток жил тем, чего было в избытке: будущим. Подросток вышел на крыльцо, весь захваченный новым замыслом, словно внезапно налетевшим ветром, то была грандиозная драматическая поэма, долженствующая отразить всю историю человечества, с прологом на небесах, как в «Фаусте», и эпилогом в коммунистическом обществе.

Между тем было нетрудно догадаться по голосам и смеху за перегородкой, что у Маруси Гизатуллиной гостит муж. Как спящего будит тревога, а он от неё отмахивается во сне, словно от чего-то несущественного, мешающего, так мальчику, которого настойчиво будила жизнь, казались досадной помехой вздохи и скрипенье кровати за стеной. Он дунул на пламя и вышел, ночь была синей, серебряной, где-то за тысячи километров гремела война. И вся жизнь была впереди.

Возвращаясь по узкой тропинке из домика на отшибе, похожего на скворечник, он увидел человека в наброшенной на плечи шинели, который сидел перед домом на брёвнах, сваленных Бог знает когда, ещё до войны. «Что, спать не дают тебе?» — спросил человек. «Рано ещё», — сказал подросток. «Чего ж ты делал?» — «Читал». — «А? Ты извини, я плохо слышу. Уроки, что ль, делал? Сядь, чего стоять».

Солдат добавил:

«Вон какая луница».

Потом спросил, в каком он классе, вопрос, означавший только одно: сколько осталось ещё до призыва? Выгнув ногу, извлёк из штанов-галифе серебряный портсигар, из кармана гимнастёрки вынул мелко сложенную газету, оторвал листок, добыл щепоть махорки из портсигара — всё левой рукой. Правая, обрубок, замотанный во что-то, висела под шинелью на перевязи. «Куришь? — сказал он, защёлкивая портсигар. — Давай, приучайся». Подросток свернул и стал слюнить цыгарку. «Бумага херовая, очень-то мочить не надо», — заметил инвалид. Он поднёс зажигалку к самому его носу. Мальчик закашлялся. Луна стояла в пустом небе, чёрным оловом обливая лицо солдата, его сапоги, пуговицы шинели. «Откуда будешь?» Эвакуированный, сказал подросток. Солдат кивал, он, очевидно, не расслышал. «Ну, и как ты тут живёшь, среди баб. Небось какая-нибудь уже... а?.. А самому хочется? — спрашивал он. — Х... стоит?»

«Ты извини, — пробормотал он, — это я так, в шутку. Ты не обращай внимания. И курево, того. Побаловался, и хватит». Он отобрал у него цигарку, к большому облегчению для мальчика, загасил плевком, ссыпал остаток махорки в портсигар.

«Женщины, это, брат, такое дело, без них невозможно, а свяжешься, тоже одна морока».

Оба смотрели на чёрно-маслянистую траву, начавшую кудрявиться, как бывает осенью, на слабо отсвечивающую дорогу, по этой дороге брела старая почтальонка тётя Настя, с тайным посланием. Конечно, письмо и всё, что за ним последовало, было позже, зимой; но в воспоминаниях ничего не стоит перетасовать события, и в конечном счёте всё происходит одновременно. «Ну, я пошёл», — проговорил подросток.

«Куда? Посиди, ещё рано. Посиди со мной... Ты её знаешь?» Солдат имел в виду, очевидно, Марусю Гизатуллину. Очевидно, не заметил, что подросток проживает с мамой в этой же секции за перегородкой.

Он сказал, что у него был друг в госпитале; теперь ждёт, обещали какие-то особенные протезы. Такие, что хоть пляши. Одно враньё, сказал инвалид. Нельзя же у человека отнимать надежду.

«Адресок дал, велел привет передать... Что народу покалечено, это я тебе рассказать не могу».

Следовательно, это был не тот муж, который приезжал в прошлый раз, и вообще было непонятно, который из них муж. Подростку казалось, что уже тогда он был достаточно взрослым, чтобы понять, что означало происходившее в бане, зачем понадобилось лезть в горячую воду. Но на самом деле только сейчас, слушая нового мужа Маруси, он уловил чудовищную связь событий, он понял, что кровотечение было расплатой за то, что происходило за перегородкой.

В середине ноября рано ударившие холода сковали грязь на дорогах, это способствовало успешному продвижению: спустя две недели передовые части вступили в пригороды; двадцать, самое большое двадцать пять километров оставалось до центра столицы. Командир артиллерийского дивизиона, справившись по карте, увидел, что из десятисантиметровых дальнобойных орудий можно уже обстреливать Кремль. Командир был убит осколком снаряда на другой день, когда началось русское контрнаступление. Мороз рассвирипел, столбик ртути опустился так низко, что его больше не было видно, в прецизионных прицелах ручных и станковых пулемётов замерзло масло. Пехота закопалась в снег. Ночные патрули расталкивали замерзающих. Битюги, тащившие орудия, вязли на разбитых дорогах, теперь это была уже не грязь, а снежная каша. К концу первой недели декабря пришло утешительное известие: на Тихом океане императорская авиация успешно бомбардировала Перл-Харбор. Потоплено столько-то кораблей и так далее. Значит, Америка будет отвлечена и не сможет помогать англичанам в Европе. Япония протянула руку рейху. Рейх объявил войну Америке. Фюрер в Берлине отдал приказ войсковой группе «Центр» стоять во что бы то ни стало. В Москве вождь и верховный главнокомандующий чуть было не покинул столицу в роковые дни октября, но теперь воскрес духом. Несмотря на потерю трёх с половиной миллионов, сдавшихся в плен врагу, армия, пополняемая новыми резервами, численно превосходила рать завоевателей. После неслыханной, нигде и никогда не бывалой артподготовки армия двинулась вперёд. Позади наступающих стояли заградительные отряды. Поля и перелески были усеяны трупами. Умиравших было некому подбирать. И среди тех, кого некому было подбирать, где-то у Наро-Фоминска, всё

ещё живой, с раздробленными ногами, лежал летний муж Маруси Гизатуллиной, тот, который дал адресок; и было это после того, как он гостил у Маруси; и, может быть, в тот самый день, когда подросток и Нюра держали за руки маленькую, не решавшуюся ступить в бочку Марусю, он подорвался на mine; кровь была обоюдной расплатой.

«А я тебе так скажу, — продолжал солдат, — можно и на колёсиках ездить. Зато списан вчистую. А? Чего говоришь-то, не слышу».

Подросток топтался перед сваленными на землю брёвнами. Человек с лопнувшими барабанными перепонками устремил на него вопросительный взгляд.

«Завтра уезжаю, — сказал он, — ночь переночую, и...»

Поближе всмотреться, описать её, вспомнить, какой была она в ту минуту, три или четыре месяца спустя, когда, постучавшись, вошла к нему в полутёмную келью. Представить себе ночное бдение Фауста (только что прочитанного), свечу и пульт с толстой книгой, а в ней таинственный знак Макрокосма. Или нет — кино, мятущийся огонёк на экране, идут титры, музыка из «Бориса Годунова»: 1603 год, келья Чудова монастыря. Камера отъезжает. Коптилка, край стола, рука, держащая школьную вставочку, в полутьме зрачки сидящего, которые он переводит навстречу еле слышному стуку в дверь. Кто там, спросил подросток. По-видимому, она ужасно стеснялась. Она пришла попросить «что-нибудь почитать».

Теперь она звалась Анной, Аней. Прошлое было репрессировано; время, когда она ничем не отличалась ни от Маруси с её мужьями, ни от строгой, молчаливой, преданной своему полумифическому жениху Маруси Мухаметдиновой, ни от глупенькой регистраторши Зои Сибгатуллиной, вообще от всякого другого существа женского пола, время это прошло. Словно не она стояла в воде среди визжащей детворы, не она лежала в бреду, бледная и стриженная, как мальчик, а позже переселилась в соседнюю секцию. Все воспоминания гаснут в магнелиевой вспышке настоящего; все сравнения отменены, настоящее ни с чем не сравнимо. Она явилась, выбрав поздний час, когда маленький посёлок спал, экономя керосин, и только в двух лечебных корпусах, общем и родильном, и в заражном бараке теплились огоньки; когда мать подростка дежурила в общем отделении, где помещались терапия и хирургия. Скрипнула тяжёлая дверь на кухне, мальчик услышал жалобу ржавых петель, и всё стихло, словно кто-то не вошёл, а вышел; должно быть, гостя медлила несколько мгновений и, совсем было решив, что всё это ни к чему, приблизилась к его двери. Мальчик сидел, устремив глаза на тусклый лепесток огня, впав в бесчувствие; он спросил почти автоматически: «Кто там?»

И она вступила в комнату, неуклюжая, слишком большая, в шерстяном платке, в накинутом на плечи коротком, до бёдер, собранном в талии пальто на вате и белом платье с прямым вырезом, которое скорее всего было ночной рубашкой. Значит, она уже легла — и раздумывала, что предпринять и стоит ли что-нибудь предпринимать, — и, наконец, встала, сунула ноги в валенки и накинула пальтецо и платок, так что соседи могли подумать, что она вышла по нужде. Но, похоже, все спали. Она побежала, скрипя маленькими валенками, по снежной тропе к домику на отшибе и, озябая, на обратном пути остановилась возле первого крыльца, думая о письме и о том, что всё это ни к чему, и не зная, что она скажет. Она поскреблась в дверь, там что-то ответили. Она вошла. Было полутемно, стол освещён коптилкой. Она вошла в блеске и красоте своих девятнадцати лет, пунцовая, нелепо улыбаясь, «а вы ещё не спите?» — пролепетала она, как бы в извинение за поздний визит. Ответа не последовало, ошеломлённые глаза уставились на неё. «Нюра?» — сказал он наконец. Она села, сжимая на шее воротничок из дешёвого меха. Не найдётся ли чего-нибудь почитать?

В школе, сказала она, её всегда называли Аней, и в училище Аней, только здесь кто-то придумал. Нюра и Нюра, так и пошло. «Но это красивое имя», — возразил мальчик. «Чего ж в нём красивого». — «Хорошо, — сказал он, — так я и буду вас называть».

«Аня», — сказал он.

«А вы всё не спите. Глаза портите».

Он пожал плечами.

«Всё учитесь, так поздно».

Она хотела сказать, делаете уроки. А может быть, подразумевала другое: тетрадь, лежавшую перед ним, ведь это из неё был вырван двойной лист для письма, которое неотступно стояло между ними, связало их и вместе с тем разделило; о котором ни слова, как если бы оно пропало, как если бы оставалось неизвестным, получила ли она письмо.

«Да нет, — пробормотал он, — какие уроки».

Ещё не легли, всё сидите, что-то в этом роде произнесла она, не эти слова, так другие, надо же было что-то сказать. Но фраза имела мысленное продолжение, было очевидно, что она пришла неспроста, никто на свете не усомнился бы в том, что она пришла неспроста. Мальчик не смел этому поверить. Значит, ты точно так же сидел три дня тому назад, вот что означала эта фраза, сидел и писал мне... а знаешь ли, что я твоё письмо действительно получила? Вот — как видишь, я пришла. Капли инея блестели на её волосах. Мельком взглянув в окно, она отвела со лба выбившуюся прядь, — на среднем пальце левой руки она носила оловянное колечко, — поддёрнула пальто, её глаза скользнули по столу, по раскрытой тетрадке.

«Какие уроки», — пробормотал мальчик.

«Что же вы пишете?»

«Дневник».

Она обрадовалась этой возможности говорить о чём-нибудь, в конце концов можно было повернуть дело и так, что никакого письма не было, и в то же время держаться близкой темы; и что же это, спросила она, демонстрируя несколько преувеличенное любопытство, что за дневник?

Мальчик ответил, что он записывает события своей жизни и всё, что он думает о людях.

Она снова поправила пальто на плечах, уселась удобнее на табуретке, отвела прядь волос, разговор, сперва напомилавший осторожное продвижение по минному полю, как будто принял более или менее естественный характер, и письмо заняло своё место в распорядке вещей, показалось даже нормальным, что оба помалкивают о нём. И, укрепившись на занятых позициях, она расхрабрилась до того, что задала следующий вопрос, но сейчас же почувствовалось, что они снова приблизились к mine, зарытой в землю: «А мне...?» — спросила она, кладя локти на стол и слегка наклонясь, конечно, это был произвольный жест. Её грудь слегка выдавилась из выреза рубашки. «А мне — можно почитать?» И много лет спустя, — если представить это как фильм, как замедленную съёмку, где мгновение бесконечно, — много лет спустя она всё так же сидит в чахлам сиянии коптилки, опираясь локтями, отчего её груди стоят в вырезе платья или, может быть, ночной рубашки. Её тень простёрлась по дощатому полу, достигла кровати. Мальчик невольно взглянул на её шею и ниже, тотчас же она изменила позу, сомкнула пальто на груди, другой рукой, с колечком на пальце, подпёрла щеку ладонью, подняла на подростка глаза, серый жемчуг, и словно приготовилась выслушать, что он там написал.

Нюра Привалова никогда не получала любовных писем. За свою жизнь она сменила пять пар туфель и прочла десять книг. Судоходство было главным средством сообщения между городком, где она родилась, и остальным миром, лишь два или три раза в жизни ей приходилось ездить по железной дороге. Как все её сверстницы, она была озабочена тем, что её время, время любви, проходит даром. Как многие девушки её поколения и социального круга, она видела жизнь без прикрас, а, с другой стороны, показалась бы ребёнком девицам её возраста, которые будут жить полвека спустя. Нюра Привалова ещё не получала таких посланий. (Можно предположить, что оно было не только первым, но и последним в её жизни.) То, что она прочла там, перечитывала дома и на дежурстве, разбередило её воображение, как только может разбередить воображение литература. Письмо, словно

горячий шёпот, звучало в её ушах. Письмо было от ребёнка, и не стоило принимать его всерьёз. Письмо было от мужчины. Письмо возвестило ей голосом чревоушателя о том, что она могла бы сказать и сама, если бы умела найти такие слова, о сладостно-стыдном, сокровенно-откровенном; что-то ворвалось в её жизнь, как порыв ветра в хлопнувшую дверь, вознесло её над самой собою, исторгло из монотонного быта, — и вот, она постучалась в комнату. Она пришла. Зачем? Всякое обожание льстит, и Нюре по крайней мере хотелось взглянуть поближе на того, кто прислал ей такое письмо. Значит, она пришла, чтобы поговорить о письме? Но вышло так, что дразнящая тайна, о которой знают оба, становится ещё увлекательней, когда о ней умалчивают. Вместе с тем оказалось, что непроизнесённые слова мешают продолжению; тайна, не высказанная вслух, парализовала мысль о том, чем могло бы стать это продолжение; слова служат смазкой, которая застывает, если механизм стоит на месте. Она ждала, что он заговорит первым. Оба, мальчик и женщина, ещё не понимали, что уголь, пышущий жаром, подёрнется золой, если его не раздувать.

Нюра была медсестрой и знала, что человек состоит из кожи, костей, мышц и желёз; знала, что жизнь проста и шершава и что мужчины хотят от баб всегда одного и того же; знал ли об этом автор письма? Ему бы следовало родиться в век Маймонида и Святого Фомы. Обречённый вечному сидению перед лампадой, он унаследовал от неведомых предков культ молчаливого слова, перенял их надменную застенчивость, близорукость, размывающую контуры женских лиц, и у него было только одно преимущество, если это можно считать преимуществом: за вычетом двух-трёх человек он был единственным мужчиной в больничном посёлке.

Он не ответил на вопрос, можно ли заглянуть в дневник, и спросил, глядя на её руку: из какого это металла? «Это дешёвое кольцо», — сказала Нюра, или Аня, всё-таки он не мог привыкнуть к этому имени, — и с усилием стянула колечко с пальца. Дикое воспоминание на секунду представилось подростку, был такой случай: он сидел в отделении, где работала мать, в комнатке дежурного врача, и листал огромную книгу, подшивку газеты «Врачъ», целая кипа таких книг в твёрдом картоне лежала на шкафу. Глянцевые страницы, дореволюционная орфография, условия подписки, учёные статьи, письма с мест, хроника, смесь — он перелистал дальше, случай из практики. Десятилетний пациент надел себе кольцо из любопытства или озорства, — и ему представилось, что он сам его насаживает, — доставлен с сильными болями из-за отёка головки члена.

«Почитайте, — сказала Нюра, надевая кольцо, — что вы там написали».

Он помотал головой.  
«Отчего же? Это секрет?»

«Там написано о вас».

«Вот и прочитайте».

«Там ничего плохого нет, наоборот».

Она насунула колечко на средний палец левой руки, помогая себе винтообразными движениями пальца, у неё были довольно толстые, сужающиеся к концам пальца, пухлый, с ямочками тыл ладони.

«Ну тогда я сама прочту, можно?»

Уставясь на огонёк копилки, подросток покачивал головой и спустя много лет не мог припомнить, о чём, собственно, были эти страницы. Должно быть, всё о том же, об открытии, которое он ей поведал, так что, в сущности, ничего нового для неё там не было, но именно это ей хотелось прочесть. Сама же тетрадка, сгинувшая вместе со всеми его сочинениями, сероголубая обложка с линейками посредине: «по...» (вставить предмет), «ученика, ученицы», с римской цифрой, начертанной наверху, четвёртый или пятый том дневника, — тетрадка эта стоит перед глазами, словно ещё вчера он сидел над ней перед голодным огоньком; его почерк, говоривший об авторе больше, чем он мог о себе написать, даты, беззвучный грохот войны, которая шла уже на Волге. Ни за что на свете подросток не показал бы тетрадь никому, слишком велики были его авторская стыдливость и авторское самолюбие, но тут перед ним был совершенно особый читатель.

«Дайте, — сказала Нюра, угадав его мысль, — я сама прочту...»

Он закрыл дневник. В этом жесте было что-то от девственной барышни, как бы уже готовой сдаться. Он захлопнул тетрадь, как сжимают коленки. Они поменялись ролями, теперь она наступала, деликатно и осторожно; ей хотелось услышать ещё раз то, что уже было в письме.

«Значит, вы написали обо мне неправду. Раз не хотите дать почитать».

«Нет, — возразил он. — Это правда».

«Написали, наверно, Бог знает что. Вдруг ваша мама узнает».

«Что узнает?»

«Что я у вас так поздно сижу».

Сердце заколотилось от этой фразы. От признания, что она пришла не случайно, что об их свидании никто не должен знать, от того, что их уже связала тайна. И, может быть, пришла не от скуки или не совсем от скуки, не из любопытства или не только из любопытства. Если такая мысль и могла притти ему в голову, то додумать её до конца возможно было лишь спустя годы. Мальчик не догадывался, что в этот вечер он одержал победу как писатель.

Встаёт вопрос, чего он, в свою очередь, ждал, чего «добивался».



Да, собственно, ничего.

Нельзя сказать, что он был чужд тайных и, как считалось в то время, постыдных помыслов и желаний, однако ни в каком другом возрасте расстояние между идеальной и площадной любовью не бывает так велико, ничьи романтические вздыхания не могут сравниться с целомудрием, с упоительным ханжеством подростка. Это была любовь, которая кормилась взглядами, одним лишь видом живой, реальной женщины, цвела и томилась, как тепличное растение, в лучах её физической красоты и тут же отворачивалась от неё, не искала свиданий и могла бы сказать себе, ах, всё это неважно, я буду её любить даже если её краса несовершенно, даже если возлюбленная глупа и вульгарна, любить в ней то, о чём она сама не подозревает, любить ради того, чтобы любить. В конце концов такая любовь могла дорасти до того, что её «объект» — женщина, какая она есть, во всей её живой реальности, — становился уже чем-то малосущественным.

Он употребил несколько смелых выражений, навеянных чтением книг, — кажется, там даже говорилось о «ночах, полных огня», — так что можно предположить, что в особенности они, эти выражения, взволновали Ньюру, усмотревшую в них неприкрытое желание. Она не могла представить себе, что письмо — как и писательство — может быть в некотором роде самоцелью. Или, лучше сказать, никак не сумела бы согласиться с тем, что объяснение в любви уже было в определённом смысле осуществлением любви. Потому что всё, что хотел автор, — это «сказать» ей. Она должна была знать, вот и всё; знать, что её походка (а что в ней особенного?), манера откидывать руку в сторону (так делают тысячи девушек), её выпуклые серо-жемчужные глаза, пухлые губы, хриловатый голос и самый звук её имени, что всё это — род наваждения: чарует, парализует и не побуждает ни к каким тактическим замыслам. Это была любовь рыцаря Тоггенбурга. Женщина была польщена. Но с этой любовью нечего было делать. Такая любовь рисковала обесцениться именно по той простой причине, что с ней нечего было делать.

Как всякая в её положении, она ожидала дальнейших действий, не особенно задумываясь, чем и как на них пришлось бы ответить. Сказать себе: глупости, не хватало ещё связаться с младенцем, — или сделать встречный шаг, впрочем, еле заметный, поддаться неопределённому соблазну, сказать себе, какой же он малолетка, если пишет такие письма. Перейти в открытое наступление она была неспособна, для этого она была слишком скована репрессивной моралью своего времени, слишком поработана, чтобы просто подумать, а не переспать ли с ним. Отсутствовало ли слово «спать» в лексиконе её ровесниц? Мы в этом не уверены. Между тем Ньюра была девственницей. Она чувствовала, что с ней и ведут себя как с девственницей, хоть и не отдают себе в этом отчёта, и что робость мальчика

должна соответствовать её стыдливости. Довольно было уже и того, что она отважно постучалась к нему, выбрав время, когда мать подростка дежурила в отделении (впрочем, мама дежурила часто, через ночь); довольно было того, что, увлечённая бессмысленным разговором, забывшись, — мы допускаем, что это произошло непроизвольно, — она склонилась над столом и её груди, теснясь под рубашкой, поднялись и выступили из выреза. Ей показалось, что глаза подростка скользнули по ним, это был опасный момент. Она мгновенно выпрямилась, убрала руки со стола и подтянула пальто. Итак, робость и отвага руководили обоими, — точнее, робость, неотличимая от отваги. Скучный быт районной больницы, река, похожая на вечность, метели и оттепели — всё сместилось и отступило перед этим событием, и обоим, каждому на свой лад, показалось, что их ожидает что-то неизведанное, восхитительно-роковое; обоих соединила высокая тайна и отгородила их от окружающих, ветер судьбы приподнял их, может быть, для того, чтобы больно шмякнуть об землю. По неписанным правилам игры, уже учредившей над ними свои права, женщина должна была делать вид — перед ним, перед самой собою, — что выходит из дому вовсе не ради того, чтобы встретиться; в темноте она бежала по снежной тропке от крыльца к домику на отшибе, за конюшней, подросток стоял на крыльце барака, она возвращалась, медленно шла, опустив голову, кутаясь в короткое ватное пальто, над головой у неё горели Стожары, её лицо казалось чёрным в ртутном сиянии звёзд, и волосы окружал, точно нимб, серебряный иней. Она озиралась. В полутёмных сенях стояли друг перед другом, дрожа от холода, с окоченевшими ногами, неподвижные, печальные, словно брат и сестра, словно суженые перед тысячевёрстной разлукой, не зная, что сказать друг другу, и когда, наконец, удавалось преодолеть немоту, по-прежнему говорили друг другу «вы».

Но сны, проклятье, насылаемое богами! Такая гипотеза по крайней мере перекладывает на богов ответственность за всё постыдное, что является воображению. О снах можно сказать, что не мы их видим, но они взирают на нас из каких-то уже не подведомственных нам низин. Сны не то чтобы отрицали величие любви. Не то чтобы демонтировали хрустальный дворец, но как будто водили вокруг него, чтобы впустить с чёрного хода, — и что же там оказалось? Сон приснился с такой достоверностью, какой не бывает наяву. Оба, он и Нюра, были одни, это было решающее свидание, кругом тишь и тьма, где-то в поле и в то же время на крыльце, вернее, в сенях, и мальчик силился что-то сказать, но она не слушала, повернувшись спиной, что-то делала там, он видел её шевелящиеся локти, склонённый затылок, пока, наконец, не понял, что она снимает с пальца оловянное кольцо, чтобы отдать ему. Он хочет её обнять, наконец-то наступил этот момент, она не даёт, в конце концов ему удалось почти овладеть ею, он думает, что можно всё

совершить стоя, здесь же, в тёмных сенях, но за спиной у неё стоит тень, Нюра её не видит и совсем уже как будто согласна, но он-то видит, что это тень Ченцова закрыла звёзды в дверном проёме. Мерзкий сон! Вновь наступила оттепель, с утра хлестала мокрая метель, подросток пришёл в село, весь облепленный снегом. Сидя на скучном уроке, он всё ещё вспоминал случившееся ночью, свидание и обманную близость, и, стыдясь самого себя, не мог отделаться от сожаления о том, что сон, неожиданно прервавшись, оказался всего лишь сном.

Большой по имени Ченцов, тот, кто стал местной знаменитостью после того, как однажды утром исчез из отделения, сидел с папироской на табуретке, греясь на жидком солнышке; он спросил, когда подросток вышел на крыльцо: «Тебе кто разрешил сюда ходить?» Подросток держал на ладони завёрнутую в бумагу селёдочную голову, лаккомство, которое мать добывала для него на больничной кухне. Он смотрел на человека с проплешинами в бесцветных волосах, точно они были трачены молью, с неестественно высоким лбом, с блестящими серебряными глазами; Ченцов был бледен, худ, одет в старую пижаму из больничной байки и байковые, наподобие лыжных, штаны, тощая нога закинута за ногу, на голый ступне болталась туфля-полуботинка с незавязанными шнурками. «У меня есть предложение, — промолвил он, щурясь от дыма, — даже два. Первое. Ты ведь в школе учишь немецкий? Давай с тобой переведём заново всего Гейне».

Его хватились во время завтрака, как на зло в ту ночь дежурила лучшая сестра, строгая и чернобровая Маруся Мухаметдинова, ей и пришлось отвечать. Маруся уже раздала градусники, когда пришла сменщица, для ходячих больных измерение температуры было скорее формальностью; при сдаче термометров по счёту одного не хватило, пропал и сам Ченцов, прошло полтора часа, он не появлялся, его не было на территории больницы; кладовщица, ехавшая со своей фурой из села, не встретила никого. Случайно подвернулся парнишка из деревни, в пяти верстах от больницы, если идти в сторону, противоположную райцентру, — все русские деревни располагались вдоль берега, потому что казаки (объясняла учительница географии) плыли когда-то на своих ладьях вверх по реке и оттесняли местное население вглубь страны. Пацан сообщил, что какой-то человек стоял на дороге с часами в руках. Человек показал ему часы, они были с одной стрелкой, не часы, а компас.

Его нашли, согбенная фигура виднелась у кромки берега, — река уже потемнела, лёд покрылся водой. Ченцов сидел весь посиневший от холода на вмёрзшей в ноздреватый снег коряге, в глубокой задумчивости, с термометром под мышкой, он даже не заметил прибли-

жавшихся санитарок и до смерти перепуганную Марусю. Без всякого сопротивления дал себя отвести в больницу. На другой день он во второй раз напугал Марусю Мухаметдинову, явившись поздно вечером к ней домой, с букетиком, чтобы сделать ей, по его словам, предложение, даже два. Первое было предложение руки, к которому Маруся отнеслась очень серьёзно, опустив глаза, поблагодарила, но сказала, что у неё есть жених и она выйдет за него, когда он вернётся с фронта; что касается второго, то оно автоматически отпадало после того, как было отвергнуто первое: Ченцов предлагал ехать вместе с ним в Москву.

Было холодно, стояли хрустальные лунные ночи, лёд только ещё собирался двинуться далеко в низовьях; что-то происходило во мраке, потрескивали сучья, кричала загадочная птица, — и вот, выкатилось слепящее солнце, блеснули трубы, грянул небесный оркестр. Дорога поднялась над осевшим, посеребрившим снежным полем, между грязножёлтыми колеями с голодным верещаньем неслись, криво ставя короткие ножки с копытцами, тряся тощими задами, плоские, почерневшие за зиму свиньи. Подросток швырял в них комьями мёрзлого снега и всю дорогу от дома до школы горланил песни. Он сорвал с головы шапку и крутил её за верёвочку для подвязывания под подбородком. Всё было кончено или казалось, что кончено. Триумф свободы, избавление от изнурительной любви.

«А второе?»

Ченцов не понял.

«Второе какое предложение?» — спросил подросток.

Больной насупился, засопел, уставился на окурок и швырнул его в сторону.

«Второе, угу... Хотите знать? — медленно, перейдя на вы, проговорил он. — Я вам доверяю. Хотя, возможно, это несколько преждевременный разговор».

Он поманил пальцем собеседника и продолжал вполголоса: «Надо дожидаться, когда установится дорога».

«Дорога?» — спросил мальчик.

«А также судоходство».

«Судоходство?»

«Да. Неужели вам здесь не надоело?»

«Где?»

«Здесь. В этой дыре».

Мальчик сказал, что нужен вызов.

«Э, чепуха, можно без вызова; когда ещё вызов придёт... А кто вас, собственно, должен вызывать?» — спросил Ченцов.

«Папа».

«Он в Москве?»

«Он на фронте».

«Ваша мама получает от него письма?»

Подросток был вынужден признаться, что писем нет с тех пор, как они уехали. Ченцов задумчиво поддакивал, кивал головой.

«Он в особых войсках», — объяснил подросток.

«Гм, это, конечно, убедительное объяснение... а вы уверены, что он...? Я хочу сказать, вы уверены, что он жив?»

«Оттуда нельзя писать письма».

«Угу. Разумеется. Да, конечно. Ну что ж. Будет даже лучше. Отец вернётся, а ты уже в Москве!»

Подросток сошёл с крыльца. Ченцов снова поманил его пальцем.

«Это пока ещё сугубо предварительный разговор. И сугубо конфиденциальный. Ты меня понимаешь?»

Подросток кивнул.

«Лучше всего сесть на какой-нибудь другой пристани, — сказал Ченцов. — Например, в Сарапуле. У меня есть сведения, что там не проверяют... Главное, сесть на пароход, в крайнем случае можно договориться, чтобы нас взяли на баржу. А там — прямой путь до Москвы. Как у тебя с документами? Паспорта у тебя, разумеется, нет, это ещё лучше».

Подросток колебался. Вообще-то, заметил он, у него был другой план.

«Можешь мне открыться».

Подросток всё ещё молчал.

«Я нем, как могила», — сказал Ченцов.

Мальчик спросил, слышал ли он когда-нибудь об Иностранном легионе.

«О! Легион! Ещё бы. Но ведь, э...»

«Ну и что, — возразил мальчик. — Иностраннный легион на стороне генерала де Голля. Иностраннный легион воюет против Гитлера».

«Я думаю, — промолвил Ченцов, поглядывая по сторонам, — нам надо найти место поудобней... — Стемнело. Они обошли с задней стороны длинный бревенчатый барак инфекционного отделения. — К тому же, как вы понимаете, дело не подлежит оглашению».

Поднялись на крыльцо регистратуры.

«Надеюсь, вы не поставили в известность вашу матушку. Женщин вообще не следует ставить в известность. Должен вам признаться, — продолжал он, — что я и сам когда-то подумывал. Да, подумывал, не записаться ли мне, чёрт возьми, в Иностраннный легион! Я был здоров и молод. Но, знаете ли, с нашими порядками... Послушайте. Я вновь и вновь убеждаюсь, что лучшие идеи всегда приходят внезапно. Их не нужно изобретать. Это то, что роднит поэтов и учёных. Как я рад, что нашёл в вашем лице родственную душу. А теперь представьте себе: че-

рез каких-нибудь две недели, может быть, через десять дней. Мы с вами шагаем по торцам московских площадей. Любуемся зубцами Кремля, колокольной Ивана Великого, дышим этим неповторимым воздухом... Ах, друг мой! Вы не представляете себе, что значит само это слово, этот звук: Москва! В Москве я человек. А здесь?.. Вы здесь, кажется, с самого начала войны? Или нет: вы говорили мне, что эвакуировались в июле. После речи Сталина... О, не беспокойтесь, — говорил он, впуская подростка в комнатку, где стоял письменный стол, — здесь нас никто не потревожит. Смотрите только, никому не проговоритесь. Я здесь работаю по вечерам. Зюечка мне разрешает. Чудная девушка, прекрасный человек. Тяжело, знаете, всё время в палате; хочется побыть наедине с собой... Я хотел вам рассказать, как я покинул Москву. Вернее, как меня заставили покинуть Москву, они всех заставляли; просьбы, мольбы — ничего не помогло; я, разумеется, сопротивлялся; какие-то два мужика, огромного роста, якобы санитары, втащили в вагон, представляете себе, в товарную теплушку, битком набитую! Но вы, наверное, тоже ехали в теплушке... Самый страшный день моей жизни. Я ничего не видел, ничего не слышал, я только смотрел глазами, полными слёз, на этот дорогой город, на эти башни, Ярославский вокзал или, кажется, Савёловский, не помню... Ничего не помню! Крики, плач, всё смешалось. Люди давят друг друга, толпа осаждает поезда, пассажирские, товарные, всё равно какие, вы этого не застали, и слава Богу... Вдруг все сорвались, все захотели уехать, оказывается, немцы подошли к Москве. Уже, говорят, по Дорогомиловской идут танки, уже... не знаю, может, уже и в городе».

«Вот, — сказал он торжественно. — Здесь всё записано. Всё, чему я был свидетелем. Для будущих поколений. *А между тем отшельник в тёмной келье здесь на тебя донос ужасный пишет!* Угадайте, откуда это?.. Правильно! Нет, нет, — он замахал руками, — не подумайте, что я тут... что-нибудь такое... Какие-нибудь там выпады, клевета на нашу действительность, никоим образом, я лояльный советский гражданин. Я русский патриот! — грозно сказал Ченцов. — И я признаю правоту... да, я сторонник нашего строя. Ну, может быть, там, с некоторыми оговорками, это уже другой вопрос».

Он гладил ладонью бухгалтерскую книгу, разворачивал, разглаживал страницы, засеянные причудливым стрелчатым почерком с широкими промежутками между словами, — признак, на который, несомненно, обратил бы внимание графолог. Он захлопнул книгу, и раздвоенный язычок огня взметнулся в колбе, повевая чёрной кисточкой копоти, уже оставившей полосу на стекле; да, на столе сияла высокая лампа, роскошь тех лет, предусмотрительно заправленная регистраторшей Зоей Сибгатулиной. Ченцов слегка прикрутил фитиль.

«Задача этих заметок, этой *Historia arcana, arcanissima*<sup>1</sup>, — увы, мой друг, латынь из моды вышла ныне, — представить человеческую жизнь на фоне всеобщей жизни. На фоне нашей эпохи. Нашей великой и, знаете, что я вам скажу, чудовищной эпохи... Все этажи нашего существования, от мнимого, навязанного, иллюзорного — до подлинного. Поэтому я здесь большое внимание уделяю моим собственным переживаниям, моей внутренней жизни. Что значит подлинное существование? Мой юный друг! — сказал вдохновенно Ченцов. — Меня назовут сумасшедшим, пусть! Я не возражаю. Я вам скажу вот что... Мало кто отдаёт себе отчёт. Мало кто осмеливается! Мы живём не в одном времени, вот в чём дело. Если по-настоящему, философски взглянуть на вещи, мы существуем не в одном, мы существуем в двух, даже в трёх временах».

Подросток слушал и не слушал. Подросток думал о легионе. Он писал о нём в дневнике. В Иностраный легион брали всех. Не спрашивали ни документов, ни откуда ты взялся. Подросток чуть не проговорился, что он тоже ведёт дневник. Он думал о том, что за стеной находится инфекционное отделение и там дежурит Нюра Привалова. Теперь, когда он выздоровел от любви, он мог бы равнодушно и высокомерно, с лёгким сердцем, сообщить ей кое-что под большим секретом; если быть честным, ему не просто-таки не терпелось намекнуть ей об этом при первом удобном случае; он представлял себе её ошеломление и восхищение. Его спохватятся, возникнет подозрение, что он покончил с собой. И только она будет знать, куда он исчез, но он взял с неё слово, что она не проговорится.

Большой устремил на мальчика тоскливый вопрошающий взор — словно потерял нить мыслей.

«Я не говорю о временах грамматики, настоящее, прошедшее, будущее, в других языках вообще целая куча времён, не об этом речь... Мы живём в трёх временах. Объясняю. Во-первых, мы живём в историческом времени. Нам всем внушают, что мы живём в истории, мы — народ, мы — нация, мы — общество, и что будто бы это даже самая главная, единственно важная жизнь. Якобы ради неё мы только и существуем. Так сказать, вертикальное время. От царя Гороха и до... ну, словом, вы меня понимаете. Но, с другой стороны, каждому приходится жить обыкновенной жизнью, в скучной повседневности, в тусклом быту. Это горизонтальное время, ползучее время рептилий. Получается, знаете ли, такой чертёж... Всё равно как битюги идут по мостовой, тащут возы, а воробьи клюют навоз между колёсами. И воробьи, и битюги вроде бы делают общее дело, а между тем что у них общего? Так

---

<sup>1</sup> Тайная, секретнейшая история (*лат.*).

и оба времени, историческое и бытовое, очень плохо согласуются между собой, по правде говоря, даже отрицают друг друга. Битюги тащут возы, а воробьи — что воробьи? Что они значат? Попробуйте-ка связать жизнь, которая происходит вокруг вас, с тем, что вам рассказывают на уроке истории; вот то-то же».

«По-настоящему, — он перешёл почти на шепот, — если хотите знать, мы не живём ни в том, ни в другом времени. Потому что это мнимая жизнь. Приходит день, иногда для этого нужно прожить много лет... так вот, приходит день, и до сознания доходит иллюзия и труха стадного существования, да, иллюзия и труха... И начинаешь понимать, что ты жил в царстве ложного времени. Суета повседневности, воробьиное чириканье — с одной стороны. Зловещий фантом истории, вот эти самые битюги, — с другой. Жуткая игра теней... Всё это тебе навязано... Ты потерял себя, свою бессмертную душу... Я вам скажу... Я открою вам страшную тайну. Быт, рутина, обывательщина — это, конечно, враг человека. Но не самый главный. Самый ужасный враг человека — история. Или ты человек и живёшь человеческой жизнью, или ты живёшь в истории, в пещере этого монстра, и тогда ты — червь, ты — кукла. Тебя просто нет! Этот Минотавр пожирает всех! Я вам вот что скажу. Мой друг...»

И он раскашлялся.

«Мой юный друг, — хрипел Ченцов. — Настоящее, подлинное время — на чертеже его нет. Это время нелинейное, внутреннее время, и ты всегда в нём жил, с тех пор как Бог вложил в тебя живую душу, только ты не отдавал себе в этом отчёта. И поэтому как бы не жил! Время, которое принадлежит тебе одному, только тебе, вот, вот оно здесь, — он стучал пальцем по бухгалтерской книге, — истинное, непреложное, в котором самые тонкие движения души важнее мировых событий, в котором память — это тоже действительность и сон — действительность, в котором, если уж на то пошло, только и живёшь настоящей жизнью...»

Он перевёл дух. «Мы увлеклись, пора заняться делом. Где у вас эта... ну, эта... Живо, время не ждёт».

Лампа опять коптила. Ченцов сказал, что он обещал вернуться в отделение не позже одиннадцати. «Они, знаете ли, за мной следят, а сейчас надо быть особенно осторожным... не возбуждать подозрений. Сейчас я вам покажу, как это делается; пустяк; ловкость рук, никто даже не заметит».

«Сейчас мы это быстренько, комар носа не подточит... — бормотал он. — Что такое бумажка? Фикция, формальность. Бумажка не может управлять судьбой человека. От какой-то ничтожной пометки, от закорючки, от того, что кто-то когда-то написал одну цифру вместо



другой, зависит вся жизнь... От этой идиотской цифры зависит, зачахнет ли смелый, талантливый молодой человек в глуши, в мещанском болоте, или перед ним откроется дорога в столицу! Ну что ж, коли мы живём в таком мире — можно найти выход. Нет таких крепостей, хе-хе, которых не могут взять большевики, как сказал товарищ Сталин. Подумаешь, важное дело. Был малолеткой, теперь станет взрослым. Дайте-ка мне... Отлично; теперь заглянем в стол; тут у Зоеньки должна быть, во-первых, бритвочка...»

Прежде всего, сказал он, выдвигая и задвигая ящик, следует оценить качество и сорт бумаги. От этого зависит дальнейшая тактика.

«Тэк-с, чернила обыкновенные, это упрощает задачу. — Он разглядывал потрёпанное, износившееся на сгибах метрическое свидетельство мальчика. — Бумага, конечно, не ахти. Из древесины, разумеется. Слава Богу, в нашей стране лесов достаточно... Плохая бумага обладает двумя отрицательными свойствами. Во-первых, она рыхлая и легко впитывает в себя чернила. А во-вторых... Ну, не в этом суть. Надо иметь практику, сноровку, это главное... Теперь бланки уже не изготавливаются на такой бумаге, теперь бумага для документов ввозится из-за границы, это я могу вам по секрету сказать, особо плотная, что, между прочим, облегчает подобные процедуры... Вообще должен вам доложить, что поправки в документах не такая уж редкость, можно сказать, обычное дело, просто вы с этим ещё не сталкивались. Когда-нибудь, — рассуждал Ченцов, держа в одной руке резинку для стирания, в другой безопасную бритву, которую регистраторша употребляла для очинки карандашей, — когда-нибудь, через много лет, когда вы будете знаменитым писателем, а я — глубоким стариком, мы с вами где-нибудь, за стаканом, знаете ли, хорошего вина, далеко отсюда! Будем вспоминать, как мы сидели вечером при керосиновой лампе, как по стенам метались наши тени, а кругом на тысячи вёрст расстилалась бесконечная ночь, и в вышине над тёмной рекой трубила неслыханная весна, и мы читали стихи... *Трубят голубые гусары. В этой жизни, слишком тёмной...* Гейне. И я говорил вам, — да, и не забывайте об этом никогда, как я вам говорил, предсказывал вам, что у вас впереди блестящее будущее. А теперь за дело».

Большой крякнул, отложил свои орудия, потёр ладони и на минуту задумался. После чего схватил бритву и начал царапать уголком по бумаге. Отложив бритву, принялся тереть по расцарапанному резинкой. Снова взялся за бритву, процедура была повторена несколько раз, под конец мастер загладил место, где прежде стоял год рождения, жёлтым ногтем.

«Тэк-с, — промолвил он. — Аусгецайхнет. Угадайте: что это слово значит?»

«Отлично».

«Правильно! Далеко пойдёте, молодой человек. И так... один росчерк пера, всесильного пера! И — позвольте поздравить вас с совершеннолетием».

Ченцов занёс перо над метрическим свидетельством и остановился.

«М-да. Угу».

Он отложил ручку, подпёр подбородок ладонью.

«Я же говорил вам: отвратительная бумага. Во-первых, рыхлая... Они просто не умеют изготавливать настоящую бумагу».

Оба рассматривали документ, на обороте отчётливо была видна дырка.

«Дорогой мой, — промолвил Ченцов, — я думаю, что теперь нам ничего не остаётся, как выкинуть метрику. Лучше уж никакой, чем такая...»

«А как же...» — спросил подросток.

«Что? Очень просто. Когда придёт время получать паспорт, нужно объяснить, что метрика пропала... ну, скажем, во время поспешной эвакуации. Ничего не поделаешь, военное время».

«Я не об этом, — сказал мальчик. — Как же мы теперь поедим?»

«Ах, друг мой...» — шептал Ченцов, глядя не на собеседника, а скорее сквозь него; и почти невыносим был этот сухой, опасный блеск глаз, похожий на блеск слюды. В палате было сумрачно, на койках лежали, укрытые до подбородка, безликие люди, от всего, от белья, от тумбочек между кроватями, от полусидящего, тощего, подпёртого подушками Ченцова исходил тяжёлый запах. А снаружи был ослепительно яркий, голубой, звенящий птицами день, было уже почти лето, был май. Значит, думал подросток много лет спустя, когда он уже не был подростком, значит, должно было пройти ещё около двух месяцев. Как, однако, условны эти вехи. Повествование — враг памяти. Оно вытягивает её в нить, словно распускает вязку, и смотрите-ка, дивный узор исчез.

«Друг мой. Только вы меня понимаете».

Он повернул лицо в подушках — небритые щёки, острый нос, остро-бесцветные глаза, синие губы, полуоткрытый рот. Мальчик обернулся: в дверях дежурная сестра. Пора уходить.

«Ещё пять минут, — прошелестел больной, взглянув на сестру, — Марусенька... Что я хотел сказать. Мне надо немного окрепнуть. Обострение пройдёт. И мы с вами... о, мы с вами! — Он покосился на соседей. — Они не слышат...»

Поманил подростка пальцем.

«Я придумал другой выход, никаких справок вообще не нужно... Это хорошо, что ваша матушка ничего не заметила, лучше её не волновать... Мне нужно многое вам сказать, многое записать, чтобы не пропало. Я буду вам диктовать... Мою Historia arcana... У меня столько важных идей! Друг мой единственный, ведь от этого я и болен. Оттого, что не могу больше здесь жить. Если бы я вернулся в Москву, всё слетело бы мгновенно. Я был бы здоров, уверяю вас! Человек — непредсказуемое существо. Он может болеть такой болезнью, о которой медицина не имеет представления. Это не туберкулёз и не абсцесс лёгкого. Это абсцесс души. Исцелить его может только воздух Москвы. Пройтись по этим тротуарам... От одной мысли можно с ума сойти».

Подросток брёл по коридору, в палате кашлял Ченцов, шелестел в ушах вечный голос, уже сколько лет он шепчет, говорит без умолку о том, что скоро кончится война и начнётся новая, невообразимо прекрасная жизнь, не такая, как до войны, нет, это только сейчас довоенная жизнь кажется идиллией, но об этом не будем, не надо об этом... Друг мой, мы ещё будем с вами вспоминать. Далеко отсюда, за стаканом хорошего вина. Будем вспоминать о том, как мы...

Скоро! Скоро! Никто не знает в точности, где идут бои. Но враг отступает. В такой же лучезарный день они сядут на теплоход. И ведь так и случилось, вернее, почти так, или, пожалуй, совсем не так; но не будем сейчас об этом. Это — будущее, ставшее настоящим, а затем и прошлым. Но пока что всё это в будущем. В такой же вот майский, звенящий, сияющий день они проедут вниз по великой реке мимо дальних зеленеющих берегов, мимо дебаркадеров, мимо низких белых стен татарского кремля, мимо башни царицы Сумбеки, которая бросилась вниз головой, чтобы не попасть в полон к русским. И дальше, дальше, до канала, до шлюзов, до Химкинского речного вокзала, и отец, весёлый, в распахнутом пальто, встретит их в порту. Он жив и вернулся целым и невредимым. «А я уж хотела идти за тобой», — сказала дежурная сестра Маруся Гизатуллина, маленькая, темноглазая и белолицая, должно быть, такой же была ханша Сумбека в расшитой шапочке с покрывалом.

«Нельзя так долго сидеть, — говорила она, шагая по коридору. — Ему вредно».

«Он поправится?» — спросил подросток.

Она направилась в дежурную комнату. Выходя, сказала:

«А, ты всё ещё здесь. Пора ему укол делать. Подожди меня... Что ж, ты разве не заметил, — говорила Маруся, когда они снова шли вместе по коридору. — Это же такая палата».

Он спросил:

«У него есть родные?»

«У него никого нет. И местожительства нет никакого, иначе давно бы выписали. Чего держать умирающего. А ты, я вижу, здорово вырос за это время!».

Там, где лыжи проваливались в снегу, на плоских холмах, где цепенели леса, бесшумно падали белые хлопья с отягощённых ветвей и время от времени что-то потрескивало, постанывало вдалеке, откуда съехал неведомый смельчак, оставив на крутизне двойной вертикальный след, там теперь всё заросло кустарником, там плещут папоротники, ноги топчут костянику, заячью капусту, лес уводит всё дальше. Посреди поляны стоит пожарная вышка, четыре столба, сколоченных наподобие пирамиды, с берёзовой лесенкой и площадкой на верхотуре. Сверху не видно уже ни берега, ни больницы, зелёная сплошная чаща, голубоватые верхушки, провалы оврагов, и постепенно всё застилает сизо-лиловая пелена. Там начиналась Удмуртия, где обитали древние меднолицые люди в лисьих шапках, где, может быть, ещё длился век Ермака и Грозного.

«А-у!» Звук повторился совсем рядом. Выкликали его имя. Подросток вышел к малиннику. «Мы уж думали, тебя волки утащили», — смеясь, сказала Маруся Гизатуллина. «Здесь волков нет», — возразил он. «А в позапрошлом лето, тебя тогда ещё не было, — помнишь, Нюра?»

Это звучало так, словно его считали младенцем. Так говорят: ты ещё пешком под стол ходил.

«Такой волчище стоял, прямо перед воротами».

Что-то он не помнит такого случая. Два года назад они с матерью были уже здесь. Ехали на нарах из неоструганных досок, в товарном вагоне, женщины устраивались, копошились, ссорились, качали младенцев, толстая тётка сидела, спустив голые ноги между головами у сидевших внизу, было жарко, состав подолгу стоял на узловых станциях, пропуская встречные поезда. «Эй, бабоньки, куда путь держим?..» — кричали из эшелонов.

«И второй с ним, — сказала Маруся Гизатуллина, — волчица, наверно». — «Это были не волки», — сказала Аня, но теперь она снова звалась прежним именем Нюра.

С какой независимостью, с каким величавым спокойствием он приблизился к ним, не моргнув глазом взглянул на вышедшую из кустов Нюру с лукошком. Надо сознаться, она стала ещё прекрасней, в сиреневом лёгком платье с белым воротничком и «кружавчиками» вокруг коротких рукавов-фонариков, в левый рукав засунут платочек, и на загорелых ногах лёгкие тапочки, — да, сказал он себе, он знает, что она здесь, и приближается к ней без волнения, потому что прошли эти томительно-безысходные зимние ночи, это ожидание на

крыльце, всё прошло, он избавился от этой каторги и может спокойно смотреть на эту красоту. Конечно, она не могла не заметить его равнодушия, несомненно, её снедает тайная ревность. И он почувствовал гордость, тайное злорадство мужчины, который знает, что ради него цветёт эта красота; но удостоится ли она его внимания, это уж, извините, его дело.

«Ох, — сказала Маруся Гизатуллина, — умаялась. Мы тут весь малинник обобрали. Пока ты там шастал».

Два года назад было такое же лето. Высадились на пристани, шли, волоча свои чемоданы, оказались в физкультурном зале с большими окнами, с шведской стенкой и сдвинутыми в угол гимнастическими снарядами, прожили на полу недели две, пока всех не распахали по учреждениям; теперь-то он знал, как свои пять пальцев, и школу, и базар, где в те дни ещё толпился по воскресеньям народ; война ещё не чувствовалась в этих местах. Выпряженные лошади стояли вдоль коновязи, с мешками сена на мордах, с возов торговали луком, лесным орехом, молодой картошкой; бабы-марийки в узких расшитых шапочках под белыми платками, в зипунах, несмотря на жару, в новеньких лаптях и шерстяных чулках, продавали масло, обрызганные холодной водой, блестящие, как слоновая кость, шары на тёмнозелёных листьях лопуха. Мать пробовала масло кончиком ногтя. Ещё можно было обменивать на продукты городские вещи, шляпку с бантом, кружевную сорочку.

Было или не было, о чём говорит Маруся, — что волки подошли к больнице, да ещё в летнее время, — но он отлично помнит первый год, первое лето, помнит, как подошёл к реке, в это время они уже получили комнату в больничном посёлке; и стоило лишь подумать о реке, как тотчас воспоминание перенесло его, как на ковре-самолёте, через осень и зиму, — и опять этот солнечный день, и девушка, стриженная под ноль, среди визга и плеска, с круглыми белыми плечами и началом грудей над водой. Как и прежде, он не мог связать этот образ с Ньюрой. Река унесла его. И так же, как ни с того ни сего перед ним вновь мелькнул этот эпизод, в котором лишь задним числом можно было предположить что-то значащее для будущего, так многие годы спустя вспоминался пикник на поляне, разговор о волках, пожарная вышка, заросли малины, щедро уродившейся в тот год.

«Ох, умаялась, надо бы ещё разок придти, варенья наварим, чай будем пить».

Корзинки с похожими на шапочки тёмнорозовыми ягодами стояли в холодке под деревом. Маруся Гизатуллина раскладывала харчи на старой больничной простыне, расставляла стаканы, явилась бутылка с водой, заткнутая бумажной пробкой, и пузатая бутылочка.

«А вот почему говорят: малиновый звон, когда почта едет, все говорят — малиновый?»

«Красивый, значит. Как малина», — сказала Нюра.

Подросток объяснил, что название происходит от города, где раньше отливали колокольчики.

«Ты у нас учёный. Всё знаешь. А мы с Анютой тёмные, да, Нюра?»

И всё-таки было что-то обидное в том, что она цвела, несмотря на то, что они расстались, очевидно, ждала кого-то другого, — кого же? — и сердце подростка царапнула ревность. Словно мимо него по солнечной глади проплывал и медленно удалялся нарядный белый корабль, а он остался стоять на берегу.

«Ты записочек мне не пиши. Фотографий своих не раздаривай. Кто со мной выпьет? — Маруся налила больничный спирт в два стакана и развела водой. — Вот Нюра меня поддержит. Да чего ты... самую чутельку. *Голубые глаза хороши, только мне полюбилися карие!*»

«А ты как, попробуешь?» — спросила она.

«Да брось ты, — сказала Нюра. — Ребёнка спаивать».

«Какой он ребёнок. Скоро усы вырастут. *Полюбились любовью такой...*»

Нюра — хриловатым голоском:

«*Что вовек никогда не случается!*»

Маруся Гизатуллина:

«*Вот вернётся он с фронта домой. И па-а-ад вечер со мной по-встречается.*»

Выпив спирт, она задумалась. Нюра, сделав глоток, отставила стакан, потянулась к корзинке, — её грудь слегка колыхнулась, — и положила в рот ягоду. «Ты зажми нос, — сказала Маруся Гизатуллина, — и одним махом, раз!» Подросток громко и часто задышал открытым ртом. Маруся проворно сунула ему в рот малину. «Люблю мужчин с усами. Вот мой вернётся, я ему велю, чтобы непременно отстралил... На-ка вот ещё закуси».

«Это что весной приезжал?» — спросила Нюра рассеянно.

Маруся помотала головой. «Это так... знакомый. Да ну его. Не хочу о нём говорить. *А тебя об одном попрошу...*»

«*Понапрасну меня не испытывай...*»

И незаметно всё изменилось. Как там дальше? *Я на свадьбу тебя приглашу.* Мальчик знал эту песню наизусть, он запомнил все песни, которые пела за стеной Маруся Гизатуллина, никогда не входил в их комнату, но знал, что Маруся сидит на кровати, поджав ноги в шерстяных носках, и вышивает. Вся комната убрана её вышивками. А на узенькой раскладушке, на том месте, где когда-то лежала ост-

риженная голова Нюры, когда Нюра заразилась тифом, — но тогда у ней вообще не было имени, — теперь спала мать Маруси, сморщенная бледная старушонка, всегда ходившая в одном и том же белом ситцевом платье с оборками, в вязаных чулках и носках, в белом платке, который в этом краю носили не уголком на спине, а широким прямоугольником до половины спины, из-под платка свисал чёрный хвостик косички. Она пела другие песни, тонюсеньким голоском на своём языке.

*«Я на свадьбу тебя приглашу. А на большее ты не рассчитывай»*, — пела Маруся

Всё вокруг изменилось; он не был пьян, а если и опьянел, то лишь на одну минуту: брызнуло стружкой в мозг, и вселенная пошатнулась; но тотчас же мы овладели собой, мы были, что называется, в полном ажуре, зато мир вокруг стал другим, приобрёл другое значение, как бывает во сне; мир проникся ожиданием. «Могу и пройтись, пожалуйста», — смеясь, сказал подросток, вскочил и замаршировал по поляне. Стало припекасть. Нюра в сиреновом платье сидела, сложив руки на вытянутых загорелых ногах, и смотрела на него или, может быть, сквозь него, и от этого взгляда его охватила беспричинная радость, в этом взгляде было неясное обещание; темноокая Маруся Гизатуллина, на которой теперь были только чёрные трусики и бюстгальтер, белая и худенькая, с впалым животом, приподнявшись на локтях, так что обозначились ямки над ключицами, следила за ним насмешливо-испытующим взором; он плюхнулся на траву.

«Давай, давай, для здоровья полезно. Так и просидишь в комнате всё лето... Худющий, как Кашей, — приговаривала Маруся, стаскивая с него рубашку. — И брюки; нечего стесняться. Господи, в чём душа только держится». Подросток улёгся на живот. «А ты что сидишь? — сказала она. Снимай, он не смотрит. Да если посмотрит, тоже не беда. Я загорать буду, а вы как хотите», — сказала Маруся. Подросток перевернулся на спину и увидел верхушки деревьев в ослепительной лазури. Всё пело, всё смеялось.

Лёжа он старался глазами остановить медленно плывущее небо. Женская рука коснулась его руки, голос Маруси Гизатуллиной спросил: «Спишь?» Не сплю, хотел он ответить и вдруг подумал, что пока он так лежал, потеряв чувство времени и, может быть, в самом деле провалившись в сон на одну минуту, Нюра незаметно покинула их, очевидно, ей было неинтересно с ними; белый и нарядный, изукрашенный флагами пароход уплыл, а они здесь остались. В тревоге он открыл глаза и, повернув голову, увидел, что она лежит рядом, увидел её руку, заложенную под голову, рыжеватые волосы под мышкой и высокий холм под белым лифчиком. Всё ещё сон, думал он, а на

самом деле она ушла. Маруся Гизатуллина склонилась над ним, он увидел близко перед глазами её маленькие татарские груди с чёрными почками сосков. «Мужичок, — пропела она, — спишь?» Не знаю, может, и сплю, подумал подросток. Он глядел на Марусю сквозь ресницы. А ты, а вы? Она тоже спит, ответила Маруся Гизатуллина, жарко-то как стало, это к грозе. Мы все спим и снимся друг другу, добавила она. Да не съем я тебя, не бойся. Но он не дослышал, что она говорила, в эту минуту он окончательно пробудился, услышал лёгкое посапывание и увидел, что обе женщины спят.

Лето в разгаре, и, как всегда в это время года, враг пытается сызнова перейти в наступление. Семь ночей и дней продолжается танковое сражение вдоль дугообразной, как излучина, линии фронта вокруг Курска. План — ударить одновременно с севера и юга; командующий фронтом знал, что если план провалится, ему не миновать разжалования и расстрела. План удался; армейская группа «Центр» потеряла тридцать восемь дивизий; сколько потерял Рокоссовский, никто не знает. В этой войне полководцы имели дело с двойным сопротивлением: огневой мощью противника и некомпетентным самовластием вождей. Война перевалила за вторую половину. Война катилась назад, на Украину и в Белоруссию. Армия шла вперёд, оставляя широкий кровавый след. От генерала до солдата все знали, во имя чего идёт война. Сильной стороной московского вождя была подозрительность. Этот дар усилился. Сильной стороной германского фюрера была способность импровизации. Этот дар угас. В густых лесах Восточной Пруссии, в главной квартире, фюрер с застывшим взглядом, с лицом, напоминавшим маску, объявил, что народ окажется недостойн своего фюрера, если война будет проиграна. Вождь в Москве объявил: и на нашей улице будет праздник. В селе, о котором теперь никто не помнит, партизаны застрелили старуху и двух других, подозреваемых в связях с врагом, забрали тёлочку, поросят и ушли. Поп отслужил панихиду по убитым. Поп сидел в огороде, когда прибежала девчонка сказать, что немцы явились, чтобы сжечь село. Два бронетранспортёра выехали из леса. Священник облачился в церкви и, красный от волнения, с непокрытой головой, с большим золочёным крестом в руках вышел за околицу, надеясь остановить карателей. Он был скошен автоматной очередью. Лето в разгаре, давно освобождены калмыцкие степи. Некто Иван Бадмаев, стрелок-радист, сбитый в воздушном бою к югу от Сталинграда, остался в живых и получил боевую награду. Ему было 18 лет. Триста лет тому назад его предки перекочевали в низовья Волги. Этого делать не следовало. Если бы они оставались в Монголии, ничего бы не произошло. В госпитале, где Ива-



ну Бадмаеву ампутировали ногу, было велено явиться утром на вокзал. Площадь перед вокзалом была оцеплена войсками. Бадмаева вместе с костылями затолкали в вагон. Сто тысяч степных жителей были посажены в товарные вагоны и отправлены на восток, доехала половина.

Пришла осень, и жизнь изменилась. Вечером чёрная коза по имени Лена не пришла к крыльцу, её разыскали на другой день, она скатилась в овраг, простояла всю ночь по брюхо в глине и равнодушно смотрела на людей, пытавшихся к ней подобраться. Лену внесли на кухню. С глазами как олово, медленно моргая тёмными ресницами, она лежала на соломе, у неё отнялись ноги, пропало молоко, подросток, сидя на корточках, кормил её листьями почернелой капусты. И было что-то в этом эпизоде, который всё же по счастью закончился благополучно, что предвещало новые беды. Лили дожди. В крошечной тьме (он перешёл в следующий класс, ходил теперь во вторую смену), подросток, сбившись с пути, увяз в трясине, упал и, весь перепачканный, потеряв галоши, добрёл кое-как до больницы. Поздним, чёрным вечером он вышел однажды из комнаты, чувство надлома, близкой опасности не давало ему покоя; бич судьбы уже посвистывал над ним; это чувство сидело во внутренних органах, в тёмной глубине тела; много лет спустя ему пришло в голову, что судьба есть на самом деле не что иное, как упорядочивающее начало, которое мы вносим задним числом в расплывающиеся клочья существования, бессознательный механизм, задача которого — сохранить единственность и единство нашего «я».

Всё неспроста, всё оказывается неслучайным; всё тянет в одну сторону: дождь, и ночь, и одиночество; слабый, стонущий скрип двери за его спиной, тень, перешагнувшая через порог. Он стоит на крыльце, вздрагивая от озноба, а вокруг всё струится и чмокает. Тень выходит из сеней на крыльцо, долго, сладко зевает, кутается в платок. «Ты чего не ложишься?»

Нелепый вопрос, ведь ещё не было и десяти часов. «Прошлую ночь совсем не спала, — сказала Маруся Гизатуллина, — сперва с припадочной возилась, а потом ещё этого привезли». — «Кого?» — спросил он скорее из вежливости, весь посёлок говорил наутро об этом человеке, который выстрелил себе в сердце из охотничьей двустволки; одни рассказывали, что он был дезертиром, жил у любовницы в дальней деревне, прятался на сеновале, потом осмелел, стал приставать к хозяйкиной дочке, она на него донесла; другие — что дочка эта была его собственной дочерью и жил он с обеими. Милиционер в лаптях, в шинели с новенькими погонами, которых здесь ещё никто не видел, привёз самоубийцу, вышел покурить на крыльцо общего отделения, да так и не успел его допросить.

«Чего ж допрашивать, и так всё ясно. А вот её, наверно, посядут».

Мальчик спросил, глядя в мокрую тьму: за что?

«За укрывательство. Вот любовь-то к чему приводит», — заметила Маруся. Сама того не ведая, она высказала мысль, которая четверть века спустя стала тайной жалобой женщин: мысль эта была не что иное, как ностальгия по великому мифу любви.

Он был жив, этот миф, до тех пор, пока общество воздвигало перед ним препоны. Великая и самоотверженная страсть чахнет, не наталкиваясь на осуждение окружающих, на мораль общества и беспощадность закона. В новом обществе для свободной любви уже нет препятствий. Не осталось и времени на сердечные дела, и приходится обходиться голой «сутью». Прошлое, о котором вспоминал подросток, когда он давно уже не был подростком, было не то прошлое, которое тащится, словно пыльный хвост, следом за «настоящим». Наоборот, настоящее есть не более чем его отзвук.

«Простудишься. Ну и погодка». Он молчал, смотрел во тьму. «Её ждёшь?.. Не бойсь, никому не скажу. Я ведь всё знаю», — добавила она. Он спросил: «Что ты знаешь?» — «Всё знаю. И всё понимаю. Сама мучилась, когда любила». Он молчал, остолбенев. «Хочешь сказать, что больше её не любишь? Чего ж тогда стоишь — не боись весь околеченел. Спать пора, — сказала Маруся Гизатуллина, — пошли домой».

Неужели, думал подросток, Нюра ей всё рассказала. Он вспомнил о письме, теперь уже таком далёком, и ему стало стыдно. Тайна его сердца была выставлена напоказ. Они читали вместе и смеялись. Сколько там было нелепых, выпретенных выражений. Он не знал, что женщины иногда берегут такие письма. Вернувшись в комнату, продрогший до костей, он думал о том, что с наслаждением порвал бы это письмо в мелкие клочки, если бы оно сохранилось; в конце концов он мог бы потребовать его назад, мог набраться смелости напомнить о нём. А ему бы ответили: какое письмо? Да я его давно выбросила. Через много лет он представил себе, что каким-то невероятным образом увиделся снова с Нюрой — и спросил: получила ли она тогда его послание? Чем больше он об этом думал, тем ясней становилось — нет, она не получила. Чем настойчивей он вспоминал, тем очевиднее было, что да, получила. Когда Нюра постучалась в его дверь, придумав какой-то предлог, разве это не было доказательством, что письмо получено? Но теперь, через много лет, чего доброго, оказалось бы, что она ничего не помнит! Была война, больница, это она помнила; какие-то люди приехали в эвакуацию.

Что стало с Нюрой? Он попытается представить себе. Придумать — что в общем не представляло труда с его даром фотографиче-

ского воображения — эту Анну Федосьевну или как там она звалась по имени-отчеству, и представить, как она существовала всё это время. Наверняка это была ничем не примечательная, тусклая жизнь в глухой российской провинции. Этот климат всё обесцвечивает. Память старой, изглоданной жизнью женщины в сравнении с памятью того, кто когда-то сидел за столом с коптилкой и клеивал самодельный конверт протёртой сквозь марлю варёной картошкой, была бы всё равно что мутно-жёлтая фотография, на которой с трудом удаётся различить чьё-то лицо, — рядом с только что проявленным, чётким и влажным снимком.

Бессмысленное занятие: образ, реконструированный таким манером, образ сегодняшней, не имеет ничего общего с тем подлинным, который мгновенно ожил, едва лишь подросток прикрыл за собою дверь в комнату, где всё так же изнемогал на столе жёлто-голубоватый огонёк. Нюра, в пальто, брошенном на плечи, в шерстяном платке, в белом платье с прямым вырезом, отороченным дешёвыми кружевами, которое на самом деле было не платьем, а ночной рубашкой. Светлые волосы с искрами инея. Должно быть, она уже легла, но что-то её томило, любопытство или Бог знает что, бес подмывал. Она попросила что-нибудь почитать и забыла об этом, поинтересовалась, что он пишет в тетрадке, вероятно, тотчас узнав бумагу, на которой написано было письмо. Он спросил, — чтобы что-нибудь сказать, — из какого металла кольцо на её пальце, и тотчас кольцо сделалось необыкновенно важным, как всё, как огонь на столе и его дневник, прядь волос, которую она смахнула со лба, как её грудь; она сняла кольцо, постепенно сдвигая его, это далось ей не без усилий, он попробовал надеть его себе на указательный палец, оба рассмеялись. Он пытается представить себе, что с ней стало, но видит только ту, какой она была. И ему кажется, теперь, через много лет, смехотворным открытие учёных психологов, будто отсутствие мужского органа, щель на месте, где он должен был находиться, рождает у женщины чувство неполноценности, будто может существовать какая-то зависть; странная, в самом деле, теория! По крайней мере, в те времена, если бы он услыхал о ней, она показала бы ему абсурдной. Жалеть о том, чего нет! Наоборот, тёмное чувство говорило ему о несчастье быть подростком, о проклятии пола, который делает его неловким, неуверенным, одержимым боязнью, что об этом узнают, проклятия, которое мешает жить. Между тем как девушка, лёгкая и свободная, без тёмных помыслов, без тягостных снов, не стыдясь за себя, проходит мимо с независимостью царевны, избавленная от этого позора, и соблазна, и страха оскотления. Для него пол был новостью и скандалом, а для них всех чем-то таким, что разумелось са-

мо собой. Он чувствовал, что для девушки, у которой там *ничего нет*, быть такой, какова она есть, значит просто *быть*, что она живёт в согласии с миром, что она часть природы, сам же себя представлял подчас чуть ли не выродком.

Он услышал в темноте за спиной: «Посижу у тебя маленько, ты не против?..» — пожал плечами, уселся на своё место у окна и прибавил огня. «Хорошо, тепло, — сказала она и поправила платок на плечах. — Что же ты, так поздно, — всё ещё уроки делаешь?» — «А сколько сейчас времени?» — спросил подросток. И разговор иссяк, в заплаканном окне маячил его двойник, отражался тусклый светоч и в глубине, бледным пятном — лик Маруси Гизатуллиной. Он ждал, когда она уйдёт. «Завтра на работу, — проговорила она, — я теперь дежурю через день. Что за жизнь... А ты небось всё думаешь о ней?» — «О ком это я думаю, ни о ком я не думаю», — проворчал подросток, вдруг стало ясно, что Маруся ничего не знает и «она», «о ней» — попросту ничего не значащие слова. Или всё-таки знает?..

«Как это ни о ком, — продолжала она, смеясь, — значит, ты уже её позабыл, вот и верь после этого мужчинам. А небось клялся в вечной любви».

Подросток метнул на неё взгляд исподлобья, игривое выражение исчезло на лице у Маруси.

«Ну, не сердчай, у бабы язык — сам знаешь... Я что хотела сказать... — Она уставилась на огонёк коптилки. — Вот дура, забыла, что хотела сказать. — Опустила глаза. — Спать пора... Ты в какую смену ходишь, в утреннюю или днём? А это что у тебя, сочинение? Ты в каком классе, в восьмом? Или уже в девятом?» И так как он по-прежнему не отвечал, она сказала: «Ты только не подумай, что я над тобой смеялась. Я ведь знаю, как это бывает». Он взял ручку, ворошил что-то в чашечке горелки.

«Мне цыганка нагадала, — сказала Маруся Гизатуллина, — ты веришь цыганкам? А я верю».

Он спросил, подцепив пером обугленные останки: что же она ей нагадала?

«Ещё в Мамадыше; я сама из деревни, в Мамадыше семилетку кончала. Такая была шелапутная, совсем учиться не хотела... Курсы окончила, думала, на фронт попрошусь, а тут похоронка пришла, папу убили сразу, в первую неделю, нет, думаю, хватит вам одного, вот так мы с мамусей здесь и очутились. Что ж я хотела рассказать-то... Да, цыганка раз ко мне подошла, уже старая, хочешь, говорит, девушка, я тебе открою, что тебя в жизни ждёт. Ничего с тебя не возьму, что подаришь, на том и спасибо, только ты, говорит, не старайся

сердце от меня скрыть, откройся сердцем... Ты, говорит, много будешь грешить. А жизни тебе будет ровно тридцать лет. — Она помолчала. — Я ей брошку подарила... Зачем это я рассказываю, голову тебе дурю?».

Он спросил, как гадают на картах.

«Шайтан его знает, меня учили, да я всё равно не умею. Надо сперва карту выбрать, вот ты, к примеру, будешь крестовый король».

«А не валет?»

«Какой ты валет — ты уже взрослый. Проживёшь, говорит, на свете тридцать лет. А до той поры можешь веселиться, всё тебе будет прощено. Вот я и веселюсь», — сказала она печально.

Подросток поднёс перо к огню, он не мог понять ни себя, ни её, не знал, куда клонит ночная гостья, если она вообще куда-то клонила, а не просто коротала с ним бесконечную ночь. Он скосил глаза на Марусю Гизатуллину, она сидела, сложив руки на коленях, и воистину понадобились годы, чтобы понять, что означал её взгляд, устремлённый вовсе не на него, а в себя, понять ту, которая сидела перед ним на месте, где сидела Нюра, и скорее задумалась, чем задумала что-то. Словом, надо было долго учиться умению видеть людей такими, каковы они сами по себе; но подросток не умел освоиться и в собственной душе.

«Может, пройдемся немного, дождь перестал», — сказала она полувопросительно. И вот, словно не было всех этих лет, словно всё ещё шарить в темноте: в кухне висят на гвоздях армяки, кацавейки; изодранный, ставший общей собственностью тулупчик, «вот его и надену, — пробормотала Маруся, — мы недолго, пробежимся туда-сюда...» Оба, крадучись, вышли в сырую свежесть ночи. Всё ещё капало на крыльце, и капало с крыш, дул ветер, серые, как дым, облака неслись по небу, и в просветах, в чёрной синеве, сверкали, как ртуть, звёзды. Побрели мимо конюшни к воротам, маленькая женщина уцепилась за руку подростка.

«Одна бы ни за что не пошла, вот дойдём дотуда, и назад». Он спросил, чего она боится. «А всего. Сама не пойму; то, бывает, такая храбрая, что всё могу, на всё решусь. И никто меня не остановит. А то вдруг каждого куста боюсь. Кто его знает, может, правду говорят, что ночью покойники бродят. Да я однажды сама видела. Иду по дороге, летом, ночь светлая, лунная. Вдруг вижу, стоит... И точно: мертвец; весь в белом. Меня поджидает. Ну их, лучше не говорить. А то ещё впрямь кто появится. Ты держи меня крепче, — сказала она, смеясь, — поскользнусь, да и повалимся вместе». И они дошли до того места, где дорога из больничного посёлка соединялась с трактом; постояв, повернули назад.

«Бр-р, к утру подморозит, это точно, — говорила, разматывая платок, Маруся Гизатуллина, — ну что же ты, согрей девушку... — Она подошла к столу. — А это нам не нужно, это мы сейчас потушим». Дунула, и острый запах керосина провеял по комнате.

«Чего уж тут, раздевайся, что ли; всё равно спать ложиться... Ну? Не съем же я тебя».

Сказано было так просто, что он подумал, ничего такого вовсе и нет, просто она устала, хочет спать, и ей холодно.

Отблеск звёзд, смутно-свинцовый свет из окна, казавшегося огромным, лунноликий призрак на его кровати, с провалами блестящих глаз. Что-то она там перебирала вокруг себя, стряхивала и расправляла, сидя, повернувшись, взбила подушку, и просто и естественно, как у себя дома, скрестив руки на бёдрах, взявшись за платье и что там ещё было, одним движением сняла всё сразу через голову, встряхнула чёрными волосами и подняла тонкие руки к затылку, чтобы собрать волосы. Что там произнесли её губы, может быть, не по-русски, было невозможно вспомнить, остался голос, приглушённый, почти воркующий, уговаривающий, осталось чувство жгучего стыда; и много лет спустя эта ночная сцена предстала как в замедленной съёмке, прокручивалась вновь и вновь. Тебе ведь всё равно пора ложиться, говорила Маруся Гизатуллина, только эти слова и запомнились, в нашей деревне да-а-вно-о-о уже спят, почти пропела она и, справившись с одеждой, не зная, куда её деть, сложила у себя на коленях, встряхнула головой, подняла к затылку белеющие в сумраке руки с тёмными впадинами подмышек, и одновременно слегка поднялись тёмные кружки её грудей. «В нашей деревне, а-а...х», — и она потянулась, точно в самом деле собралась лечь и уснуть.

«Ну чего ты оробел. Полежим, и всё».

«Я не оробел», — сказал он мрачно.

Оба едва успели придти в себя, когда странный звук, невозможный звук раздался в кухне, жалобный стон петель и осадистый вздох вернувшейся в пазы двери. Подросток перекатился на бок. Всё стихло. В полутьме отворилась дверь в комнату, и вошёл призрак. Мать подошла к столу. Чиркнула спичка. Язычок коптилки взвился и осел, мать подростка прикрутила фитиль. Мальчик лежал спиной к женщине, на краю кровати. Он поднял голову. Но мать смотрела не на него. «Вылезай», — сказала она. Там не пошевелились.

«Вылезай, — повторила мать подростка. — Так я и знала...»

Она наклонилась, подняла с пола то, что там лежало, и швырнула на кровать. Из-под одеяла показалась чёрная растрёпанная голова Маруси Гизатуллиной.

«Развратная проститутка, — сказала мать подростка, — я просто глазам своим не верю».

Маруся голой рукой, придерживая одеяло, нашла рубашку в ворохе одежды и, кое-как просунув голову и руки, напялила на себя.

«Чего ругаетесь-то...» — пробормотала она.

«Да я слов не нахожу!»

«А чего такого...»

«Чего такого! Ах ты бесстыдница. А ты знаешь, как это называется, а?.. Это называется растление малолетних! Нет, я это так не оставлю. Все знают, кто ты такая...»

«А кто я такая?» — спросила Маруся.

«Все знают! Нет, я так не оставлю. Я на тебя напишу!»

«Ну и пишите, — осмелев, надменно возразила Маруся. — Какой он малолетний? Он мужчина. Я его люблю».

«Люблю... Ха-ха. Насмешила. Развратная тварь! Я тебе ещё покажу, ты меня будешь помнить. Господи, Гос-по-ди!» — повторяла мать подростка, стискивая руки, между тем как Маруся, прижимая к груди ком одежды, другой рукой подхватив полусапожки, пропала из комнаты.

«Ну вот, — тоскливо сказала мать, кивая головой, подняв глаза на подростка. — Что значит нет отца... А я, как проклятая, день и ночь на работе... Чтоб его сберечь, чтоб его накормить... Что же нам теперь делать?» И это был вопрос, который, как ночной гость, не уходил, сидел на кровати, после того как исчезла Маруся Гизатуллина, после того как дверь на кухне захлопнулась за матерью, она прибежала с дежурства. Что же теперь делать, повторял подросток, тупо глядя перед собой, он медленно повернул голову, дверь в комнату отворилась, там стояла Маруся, он ничего не сказал, дверь закрылась, он смотрел в пол, в одну точку.

Каждая эпоха оставляет свою археологию запретов, подобных надписям на неизвестном языке; их можно расшифровать, но их истинный смысл остаётся загадкой, ибо они составлены с помощью иносказаний. Вся область их применения окутана тайной. Таков обычай сверхдобродетельной эпохи. Но, добившись права произносить вслух то, что прежде лишь подразумевалось, наивно было бы думать, что мы вовсе отказались от умолчаний: кажется, что умолчания возникают сами собой, словно они часть нашей природы. Или словно они охраняют некий клад.

Мать успела застать его утром, когда он запикивал учебники в портфель, разве вы снова занимаетесь в первую смену, спросила она, подросток не ответил. Хорошо, я всё понимаю, вздохнув, сказала мать, то есть я ничего не понимаю, но чаю выпить хотя бы можно?..

Он вышел из дому. Дорога слегка подмёрзла, в воздухе кружились редкие снежинки, он миновал место, до которого ночью они дошли с Марусей Гизатуллиной, немного погодя, шагая по тракту, обернулся и увидел, что больница растворилась в тумане. Тогда он сошёл с дороги и двинулся через поле к холмам. Пожухлый дёрн проваливался и хлопал у него под ногами. Вскарабкавшись по скользкому склону, весь мокрый от холодной росы, сыплющейся с кустов, он вступил в лес. Его ученический портфель валялся между опорами пожарной вышки, подросток стоял наверху, на смотровой площадке. Туман становился всё гуще, исчезли леса, вокруг был серый, непрозрачный океан. Может быть, к полудню проглянет солнце. Может быть, через несколько дней он почувствовал бы желание вновь повидаться с горячей и жадной, словно зверёк, маленькой женщиной. Сейчас он не мог вспомнить о ней, о себе без стыда и отвращения. Он был загажен с головы до ног, от мысли о том, что произошло ночью, у него вырвался стон, — сейчас, когда он стоял, вцепившись в сырой дощатый барьер, в промокших ботинках, с лицом, залитым злыми слезами. Всё пропиталось горечью, горечь капала с веток. Всё оказалось так омерзительно-просто. Он усиленно моргал, его веки слиплись, надо было что-то предпринять. Что-нибудь сделать. Бежать! Или, может быть, изувечить себя. Злорадная, сладострастная мысль, взять всё в руку — и ножом р-раз. Несколько успокоившись, он поднял голову, выпрямился, он набрёл на другой выход. Он сам не заметил, как выbralся из леса, спустился с холма возле самой больницы, заглянул домой, зная, что матери нет дома, запасаю необходимым; оглядевшись, вышел на крыльцо. Он действовал с безупречной точностью и всё время думал об одном. Несколько мгновений спустя он вошёл, озираясь, в конюшню. Было слышно, как кто-то стучал и скрёб копытом по деревянному полу. Старая, серая в яблоках одноглазая лошадь по кличке Пионерка стояла, понурившись, за загородкой, он прошагал мимо неё, мимо второй рабочей лошади, за ними, в стойле почище, беспокоилась молодая пегая кобыла Комсомолка, на которой выезжал главврач. Каморка конюха находилась в конце прохода. Он поступался.

Узкий подоконник был заставлен иссохшими цветами в консервных банках, в углу и под самодельным столом помещались старые картонные коробки с имуществом хозяина. Сам Марсуля лежал на топчане, в картузе и грязных сапогах, накрывшись армяком, под портретом маршала Пилсудского. Мальчик расцепил крючки у ворота, отстегнул пуговицы пальто, которое стало совсем коротким.

«День добрый», — прохрипел Марсуля.

Мальчик стоял, опустив торчащие из узких рукавов руки.

«Что пан желает мне сказать?»



Гость вытащил из портфеля приношение.

«Так, — сказал Марсуля. — И что же?»

Мальчик выдавил из себя что-то. Хозяин осклабился, подложил руку под голову.

«Nie rozumem», — сказал он внушительно.

Кашлинув, подросток повторил свою просьбу.

«Nie rozumem. Ты хочешь меня подкупить или что ты хочешь?»

Подросток пожал плечами.

«Нет, ты говори прямо. Ты пришёл меня подкупить. Я не возражаю».

Марсуля спустил сапоги со своего ложа и указал гостю на полку с утварью. Подросток достал с полки мутный гранёный стакан. Марсуля молча показал два пальца. Подросток поставил на стол второй стакан и жестяной чайник.

Марсуля развёл спирт водой из чайника, разболтал, стащил картуз с лысой головы, посмотрел питьё на свет и, нахмурившись, с суровым видом провозгласил:

«Na zdrowie!»

Мальчик не стал пить. За стеной был слышен конский храп, стук копытом. Хозяин отдувался, хрустел солёным огурцом.

«Скоро, — сказал он сиплым голосом и погрозил пальцем. — Скоро протрубит труба. — Он приставил ладонь ко рту. — Ту-ру, руру! Тебе понятно?»

Понятно, сказал подросток. Марсуля качал головой.

«Не думаю, что было понятно. Но ты увидишь. Все увидят. Когда придёт день, и Марцули больше здесь не будет. Генерал Андерс собирает армию в поход. Кто такой генерал Андерс, знаешь? Мы им всем покажем. Мы и вам покажем», — сказал он, подмигнув.

«Кому это, нам?»

«Вам всем».

Хозяин каморки обозрел своё жильё и прислушался к перестуку копыт. «Я вообще никакой не Марцуля, если пану угодно знать. Это я только здесь Марцуля... Я жду приказа, — он понизил голос. — Теперь тебе ясно, зачем у меня этот przedmiot?»

Он перелил спирт из стакана гостя в свой стакан.

«Na zdrowie».

Опрокинул в рот. Огурцом: хрясь!

«Я так думаю, что это будет слишком опасно. Не одного меня, и тебя могут заарештовать, если увидят. А ты ещё молодой. А вот ты мне скажи, ты откуда знаешь?»

Подросток что-то пробормотал. Марсуля покачал головой.

«Нет, скажи. Откуда узнал, что у меня это есть?»

«Ты сам говорил».

«Я?.. тебе говорил, про этот...? Что-то не помню. Клянись!»

Подросток поклялся, что никто не узнает.

«С другой стороны, ты меня подкупил, — рассуждал Марсуля. — Я человек честный. Я выпил спирытус, значит, должен выполнять. Иначе будет нечестно. И я даже не знаю, умеешь ты с ним обращаться?»

«У нас в школе...» Мальчик хотел сказать, что в школе проходят военное дело. Самозарядная винтовка Токарева образца 1942 года. Затвор служит для досылания патрона в патронник, для плотного запираения канала ствола, для производства выстрела, для выбрасывания стрелянной гильзы! После уроков, строим, по улицам села. «За-певай!» *Кра-аснармеец был герой. На разведке боевой. Да эх! Э-эх, герой.* Он сидит у подножья пожарной вышки, на поляне, прислоняясь к врытой в землю опоре, и осматривает «пшедмёт», крутит большим пальцем барабан, заглядывает в дуло. У него в запасе три патрона. Он отводит предохранитель, закрыв один глаз, открыв рот, целится в толстую ель. Рот всегда в таких случаях нужно держать открытым. Страшный гром потрясает лес и катится вдаль. Отлетела гильза, барабан мгновенно повернулся, наготове следующая пуля, отлично. Оружие функционирует как полагается. Подростка страшит боль, особенно если стрелять в висок. Кроме того, бывают случаи, когда человек остаётся жив. В живот, чтобы пробить аорту... о, нет. Ему приходит в голову, что лучше всего это сделать на берегу, тело упадёт в воду, и его унесут волны. *На разведку он ходил, всё начальству доносил, да эх.* Он подходит к реке, поглядывая по сторонам, тёмно-серые, тусклые воды влекутся на всём огромном пространстве под небом туч. Далеко впереди, почти вровень с водой узкой полоской чернеет другой берег, мальчик выпрастывается из пальто, бросает рядом шапку, озираясь, усаживается на песок, разувается, ему холодно. Скорей, больше некогда рассуждать, он и так потерял уйму времени. Слишком медленные приготовления ослабляют волю. Едва успев войти в ледяную воду, стуча зубами, он прижимает холодное дуло к груди, к тому месту, где должно находиться сердце, нажимает на курок, и — никакого результата. Он осматривает револьвер. Барабан повернулся, патрон стоит на выходе напротив ударника с бойком, ничего другого нельзя предположить, как только то, что оружие дало осечку. Такие дела в суматохе не делаются. Спешка унижает достоинство человека. Со стволом, прижатым к груди, преодолевая дрожь в руке, сжимающей рукоятку, вскинув голову, он смотрит вдаль, на кромку берега, на низко стелющееся, серо-жемчужное, холодное небо. После чего проходит неопределённое время, а лучше сказать, время исчезает.

Дневник, начало большой поэмы и что там ещё, закинуто в портфель. Мать хлопчет вокруг чемоданов. Марсуля, необыкновенно серьёзный, выпивший, в низко надвинутом картузе грузит вещи на телегу. Старая Пионерка моргает единственным глазом, второй глаз, вытекший, слипшийся, зарос седыми ресницами. Их никто не провожает. Темнеет, когда они подъезжают к пристани. Двухпалубный теплоход, очень большой вблизи, скудно освещённый, грузно покачивается у дебаркадера, трутся резиновые покрышки, привязанные к борту, очередь, давка, трап трещит и качается под ногами, на нижней палубе не протолкнуться. Они стоят в проходе, мать пересчитывает пальцем вещи. Медленно отодвигается, отступает, сливается с темнотой пристань. Сколько ночей и дней предстоит ещё ехать, пока вдали, на солнечном разливе, не покажется высокая, узкая, украшенная звездой башенка речного вокзала — Химки, Москва.

ЧАС КОРОЛЯ

*Я знаю, что без меня Бог не может прожить и мгновение; и если я превращусь в ничто, то и ему придется по необходимости испустить дух.*

Ангел Силезий («Силезский вестник» Иоганн Шефлер),  
Херувимский странник, 1657 г.

*Благодарение прозорливому Господу — жить со спокойной совестью больше невозможно. И вера не примирится с рассудком. Мир должен быть таким, как хочет Дон Кихот, и постоялые дворы должны стать замками, и Дон Кихот будет биться с целым светом и, по видимости, будет побит; а все-таки он останется победителем, хотя ему и придется выставить себя на посмеище. Он победит, смеясь над самим собой...*

*Итак, какова же эта новая миссия Дон Кихота в нынешнем мире? Его удел — кричать, кричать в пустыне. Но пустыня внимает ему, хоть люди его и не слышат; и однажды пустыня заговорит, как лес: одинокий голос, подобный павшему семени, взрастет исполинским дубом, и тысячи языков его воспоют вечную славу Господу жизни и смерти.*

Мигель де Унамуно,  
О трагическом ощущении жизни, 1913 г.

*В том-то и дело, что вы примирились с несправедливостью нашей участи настолько, что согласились усугубить ее собственной несправедностью, я же, напротив, полагаю, что долг человека — отстаивать справедливость перед лицом извечной неправды мира, твердить свое наперекор всесветному злу. Оттого, что вас опьянило отчаяние, оттого, что в этом опьянении вы нашли смысл жизни, вы осмелились замахнуться на творения человека, вам мало, что он от века обездолен, — вы решили добить его. А я отказываюсь мириться с отчаянием; я отметаю прочь этот распятый мир и хочу, чтобы в схватке с судьбой люди держались все вместе... Я и теперь думаю, что в этом мире нет высшего смысла. Но я знаю: кое-что в нем имеет смысл. Это «кое-что» — человек. Ведь он единственное существо, которое требует от мира, чтобы мир наполнился смыслом. И в его правде заключается все оправдание мира.*

Альбер Камю,  
Письма к немецкому другу. Письмо 4-е, июль 1944 г.

Со времен Нумы Помпилия обычай предупреждать врага о нападении казался до такой степени естественным и даже необходимым, что никому не приходило в голову, насколько проще и удобнее подкрасться сзади и, не окликая жертву, навалиться на нее и схватить за горло. Эта стратегия могла родиться лишь в стране, испытавшей очистительную бурю национал-социалистической революции. Однако к тому времени, когда канцлер и вождь германского народа подписал приказ о вторжении в маленькую страну, о которой здесь пойдет речь, страна эта была уже, кажется, восьмым или девятым по счету приобретением рейха, и стратегия молчаливого молниеносного удара успела потерять новизну.

Как и в предыдущих кампаниях, вторжение произошло без особых неожиданностей для командования, в точном соответствии с планом. Не имеет смысла подробно описывать весь поход, ограничимся краткой сводкой событий, происшедших на главном направлении удара. Около пяти часов утра на шоссе, ведущем к пограничной заставе, показалась колонна наездников. Они двигались на первой скорости, по четыре в ряд, как бы приросшие к рогам своих мотоциклов, за ними, громыхая, ползли бронетранспортеры, огромные, оставлявшие вмятины на асфальте, за транспортерами ехал лимузин с полководцем, а за лимузином, мягко покачиваясь, катили чины штаба. Все это двигалось из тумана, точно рождаясь из небытия. Застава представляла собой два столба с перекладиной. В стороне, у обочины, стоял двухэтажный кирпичный домик. Когда первая четверка, в серо-зеленых шлемах, напоминавших перевернутые ночные горшки, подкатила к перекладине, пограничник, стоявший у рукоятки шлагбаума в каком-то опереточном наряде, казалось, никак не реагировал на их прибытие: в величественной позе, стройный и недвижимый, точно на праздничной открытке, с секирой в руках, он стоял, устремив прямо перед собой светлый, восторженный взгляд. Унтер-офицеру пришлось вылезти из седла и самому крутить колесо. Полосатое бревно со скрипом начало подниматься, но застряло на полдороге — и унтер-офицер, чертыхаясь, дергал взад и вперед ручку ржавого механизма. Промедление грозило нарушить правильный ход кампании, расписанной буквально по минутам.

На крыльцо кирпичного дома вышел начальник заставы, мальчик лет восемнадцати; он сладко зевал и ежился от утренней прохлады. Туман еще стелился над холмами; в синеющих перелесках, на ветках, унизанных росой, просыпались птицы. Барсук выбирался из норы, тараща заспанные глаза. Некоторое время мальчик-начальник хмуρο взирал на подъезжавшее войско, очевидно, спрашивая себя, не снится ли ему сон, затем с флегматичностью только что разбуженного человека начал расстегивать кобуру.

Он остался лежать перед порогом своего дома, — фуражка с вензелем валялась на земле, золотистые волосы шевелил ветер. Часового, все еще оцепенело стоявшего у шлагбаума, вразумили пинком; ударом приклада вышибли из рук бутафорское оружие. Тем временем солдат в зеленом горшке, взобравшись на крышу, отдирает от флагштока полотнище государственного флага, за которое ему полагался орден. Затем все потонуло в пыли и грохоте.

То же происходило на других заставах; и менее чем за пятнадцать минут армия повсеместно пересекла границу. Отряды парашютистов — крепких ребят с засученными рукавами, вооруженных ножами и автоматами, — высадились в пунктах, которые командованию благоугодно было обозначить как стратегические. Одновременно шла высадка морских десантов в портах. Торговый флот королевства, насчитывавший шестьдесят пять судов, рассеянный по всему миру, как только начали поступать известия о случившемся, не пожелал вернуться на родину; однако его поджидали в прибрежных водах и у выхода в пролив специальные корабли. Все совершалось быстро, точно, таинственно и неотвратно. Цель, которую руководитель указал командованию, а командование — войскам, была поражена и достигнута в предельно короткий срок: так было всегда, так произошло и на этот раз. В штабах непрерывно звонили телефоны, лакированные козырьки полководцев склонялись над картами, телеграф выстукивал шифрованные депеши. Армия была слишком громоздким и многосложным механизмом, генералы получили слишком высокое жалованье, а военная наука с которой они сообразовывали каждый свой шаг, была слишком серьезной, слишком важной и возвышенной наукой, чтобы можно было просто так, без зловещей помпы и секретности, без всеобъемлющего плана и многостраничной, многопудовой документации подмять под себя безоружную и беспомощную страну. Вдобавок завоеватели, в силу некоего атавистического романтизма, испытывали полуосознанную потребность представить суровым подвигом то, что на деле было едва ли опаснее загородной прогулки. С трех сторон, направляясь к столице, двигалась, поднимая пыль, гремящая, тархтящая масса; и навстречу ей в жидком блеске апрельского солнца под-

нимались из-за пригорков маленькие города с высокими шпилями соборов, на которых звонили колокола. Государство, жившее какой-то призрачной, сказочной жизнью, было в самом деле не больше воробьиного носа — *lächerliches Ländchen*, как называл его германский фюрер. Мелкие стычки, кое-где омрачившие это утро, не могли задержать нашествие, как не могут остановить слона выстрелы из детской рогатки. Весь поход длился не более трех часов, и бомбардировщики, гудевшие над страной, не успели истратить запас горючего.

## 2

Такова была ситуация, с которой столкнулось правительство в этот роковой, но удивительно солнечный день. Утренний пар еще поднимался над ослепительно блестящими крышами; узорные стрелки на двух тускло отсвечивающих циферблатах башни Св. Седрика показывали восемь, когда, как стало известно позже, посол рейха вручил правительству меморандум. В нем кратко говорилось, что империя, озабоченная поддержанием мира на континенте Европы, нашла необходимым защитить северную страну от агрессии западных союзников; если же правительство придерживается на этот счет другого мнения, то пусть пеняет на себя: страна будет стерта с земли в течение десяти минут. Само собою разумеется, что ссылка на агрессию с Запада с равным успехом могла быть заменена иной и даже противоположной формулировкой, так как суть дела заключалась отнюдь не в том, что было написано в этой бумаге; бумага была запоздалой данью обычаям, о которых время от времени и совершенно неожиданно вспоминали властители рейха; тем не менее она была необходима хотя бы потому, что существовал посол, обязанный ее вручить, и как-никак существовало правительство, которому этот меморандум — род повестки — был адресован.

К чести королевского правительства нужно сказать, что оно проявило благоразумие. Оно помнило пример соседа, дорого заплатившего за попытку сопротивляться, о чем, впрочем, предпочитали не говорить вслух. Войскам — их в стране было четыре дивизии, — хоть и с некоторым запозданием, был отдан приказ не оказывать сопротивления; а те небольшие попытки дать отпор, которые все же кое-где предпринимались, не имели, как мы уже говорили, последствий. Правительство официально сняло с себя ответственность за подобные акции.

Не требовалось особой догадливости, чтобы понять: то, что на них надвигалось, превосходило обычные человеческие масштабы; надвигалось нечто бессмысленное, с чем бесполезно было пререкать-



ся; но кто знает, не был ли этот новый и высший порядок внутренне справедлив в своем стремлении водвориться везде, ведь слишком часто люди принимают за насилие то, что является законом. Нашествие нависало над всеми подобно туче, правильное сказать — двигалось мимо всех: его цели были одновременно и ясны, и непостижимы; и о нем нельзя было сказать, что оно несло, как смерч: мотоциклисты, мчащиеся по улицам, были лишь вестниками того, что не летело, не несло, не бесновалось, но спокойно и грозно близилось. Новый порядок нес новую философию жизни, новое зрение и новый слух. Новый порядок разматывался, как ковровая дорожка.

В восемь часов город — мы говорим, разумеется, о столице — все еще как будто спал: улицы были безлюдны, одни только полицейские с поднятыми жезлами высились на своих тумбах среди пустых сверкающих площадей; их позы напоминали иератическую застылость египетских барельефов или оцепенение кататоника; а мимо них, мимо закрытых магазинов, занавешенных окон, мимо свежевскопаннных клумб и памятников королям и мореплавателям, через весь город с рокотом неслись куда-то вереницы мотоциклистов.

Как большая лужа притягивает малую каплю, заставляя ее слиться с собой, так и оккупация совершилась почти мгновенно и с естественностью физического закона. Может быть, поэтому в городе не наблюдалось никакой паники. Первое время обыватели отсиживались по домам. Большинство учреждений не работало, а продовольственные лавки открылись с запозданием. Ощущение было такое, словно самое главное успело произойти, пока все спали, и город с удивлением привыкал к своему новому состоянию, подобно тому, как больной, пробудившись после наркоза, с удивлением узнает, что операция уже позади и теперь ему остается лишь привыкать к тому, что у него нет ног. Однако, уважая всякую власть, жители города инстинктивно доверяли и этому порядку. Должно было пройти немало времени, прежде чем в их честные, туго соображающие головы могла проникнуть мысль, что порядок может быть личиной преступления. Разумеется, нравы и философия страны, чьей добычей они стали, были слишком известны. Но это еще не давало повода сходить с ума, выстраиваться в очереди за мылом и спичками или пытаться всеми силами покинуть тонущее отечество.

Не без основания многие говорили себе и окружающим, что такой поворот событий все-таки лучше, чем если бы страна сделалась ареной военных действий. С некоторым романтическим замиранием сердца и, пожалуй, с тайным облегчением, понимая, что уже ничего нельзя поделать, владельцы особняков на Санкт-Андреас маргт наблюдали из-за оконных занавесок, как на площади перед зданием

парламента выстроилось тевтонское войско. Генерал, тощий, как червь, в крылатых штанах, обходил стремительным шагом ряды, после чего, должно быть, рапортовал на гортанном наречии Фридриха Великого своему фюреру, тоже похожему на гельминта, но более упитанного, которого представляли себе парящим над городом в огромном аэроплане, — рапортовал фюреру о том, что повсюду в стране царят спокойствие и лояльность. Ведь лояльность, понимаемая как доверие к людям, откуда бы они ни явились, была всегда отличительной чертой этого маленького народа, национальной чертой, не так ли? И, в конце концов, немцы, что бы о них ни говорили, — цивилизованная нация и не допустят бесчинств в стране, традиционно чуждой какой бы то ни было политике. Словом, много было приведено доводов, высказано всевозможных домыслов, соображений и осторожных надежд за глухо задернутыми шторами окон, под круто спускавшимися черепичными крышами, ярко блестящими в жидком утреннем солнце. Прислушиваясь к неопределенному гулу и рокоту на улицах, люди гадали, что будет с их тихой жизнью; с их городом, где каждый день на рассвете хозяйки мыли тротуары горячей водой, каждая перед своим домом; с их сухим и чудаковатым, похожим на старого пастора, королем. Но гул, слышный вдали, не был гулом крушения, а лишь предвестником нового, может быть, более усовершенствованного порядка, и это их утешало.

### 3

«Трам-там-там! Тра-ля-ля!» Две девочки в бантах, в незастегнутых пальто скакали, взявшись за руки, в прохладной тени одной из узких улиц, ведущих к Острову, а сверху на черепичные крыши низвергался целый потоп света, и зловещая тишина города, по-видимому, нисколько не смущала девочек. Сцепившись руками, они неслись по асфальту особенным, лихим и независимым аллюром, который был известен у всех детей города под именем «африканского шага» — несомненно, знакомого и читателю — и от которого взлетали их косички и колыхались банты, как вдруг со стороны бульвара донесся стрекоучущий звук, похожий на треск пулемета. Обе остановились, переглянулись и, прыснув, бросились в ближайший подъезд, испытывая страх и восторг. Там они, поднявшись на цыпочках, стали выглядывать в щель, через которую швейцар обыкновенно смотрит на посетителя.

Звук, а с ним и еще что-то приближались, потом на минуту стихли; вдруг совсем близко раздалась оглушительная очередь, как будто — позволим себе экстравагантное сравнение — бегемот присел за нуждой: из-за угла, правя рогами, выехал серо-зеленый мотоциклист,

на нем был горшкообразный шлем, на груди висел бинокль. Несколько мгновений спустя в нараставшем гуле из-за поворота, едва не задев за угол дома, вывалился многоколесный боевой фургон, в котором ровными рядами, как грибы, покачивались шлемы. Еще два таких фургона ехали следом и загромоздили всю улицу. Шум моторов, вероятно, поверг жителей в никогда еще не испытанный ужас. Колонну замыкал бронированный автомобиль с важными дядьками в задранных фуражках; они с необыкновенной серьезностью, блестя моноклами, смотрели вперед. Девочки проводили их восхищенными взглядами, и вся процессия, громыхая, постепенно исчезла в узкой горловине улицы, выходящей на Остров.

Островом издавна именовали часть города, отделенную каналом от остальных кварталов. В будни здесь всегда было пустынно, зато по воскресным дням на набережной и по сторонам широкого плаца толпилась публика, следя за парадными экзерцициями стражи. Направо от площади, если стоять спиной к мосту, возвышается башня, весьма известная историческая реликвия, вот уже триста лет выполняющая функцию национального будильника. Налево открывается вид на дворец. Три бронетранспортера и машина с офицерами вермахта с грозной неторопливостью перевалили за мост и поехали с ужасным шумом наискосок через пустынный плац. В машине (это стало известно позже) находился личный уполномоченный только что назначенного рейхскомиссара с представлением бывшему королю и инструкциями по наведению порядка во дворце. У ворот обычно маячили фигуры часовых, одетых чрезвычайно живописно, с аркебузами на плечах. В этот час, однако, перед воротами никого не оказалось. Тускло сияли золоченые копыя ограды, подняв лапы, по обе стороны входа застыли крылатые львы. А за оградой, на чисто выметенном газоне, едва успевшем зазеленеть, в боевом порядке выстроилась полусотня всадников: это была великолепная когорта, обломок славного прошлого, гордость нации, золотой сон девушек — конная королевская гвардия, учрежденная по указу основателя династии 446 лет назад. Гвардия стояла под знаменем, в полной неподвижности на фоне дворца, точно позировала для видового фильма.

Прошло еще немного времени (немцы ехали по площади), и на башне начали бить часы. Пробило девять. И тотчас за оградой слабо и мелодично пропел рожок. Шелковый, голубой с зеленым штандарт на копьевидном древке в руке передового слегка наклонился вперед, и на нем расправился и заблестел на солнце некий символ — герб, вышитый, по достоверным данным, золотыми нитями из кос девушки, которая вышла из вод Северного моря, дабы сочетаться браком с королем. Не доезжая ворот, солдаты спешились. Вот тогда это и произошло.

Нелепая история, абсурд, достойный сумасбродного феодального захоластья, каким-то чудом сохранившегося на задворках Европы! Примерно в таких выражениях характеризовали случившееся иностранные газеты, в двух строках сообщившие об этом инциденте, который уже тогда был воспринят как маловероятный анекдот. Прежде чем солдаты успели подбежать к решетке дворца, кованые ворота распахнулись и эскадрон с саблями наголо, сверкая касками, вылетел навстречу гостям.

От неожиданности немцы попятились. Машина с уполномоченным дала задний ход. Завоеватели были скандализированы. К восьми часам утра, как уже упоминалось, кампания считалась законченной; по крайней мере, так предусматривал план, и решительно ни у кого не было причин сомневаться в том, что этот план будет неукоснительно выполнен. И если для высшего командования операция сохраняла свое военное значение ввиду общей обстановки и географического положения страны, то личный состав до последнего солдата буквально был лишен способности принимать что-либо в этой стране всерьез. Подразделение, получившее приказ занять Остров, двигалось, вооруженное фотоаппаратами. Офицеры ехали с сигарами в зубах. Есть сведения, что атака рыцарей была поддержана пулеметным огнем из верхних окон дворца. Эти сведения сомнительны. Иначе трудно объяснить, почему не была разрушена до основания резиденция «старой куклы» — выжившего из ума короля.

Совершенно очевидно, что ни глава государства, ни его министры не имели ровно никакого отношения к этой неожиданной вылазке. Монарх дрожал от страха, запершись в своем кабинете. Что касается правительства, то, как уже было сказано, оно старалось подать пример благоразумия. Давая объяснения, бывший министр национальной обороны, мэр города, а также гофмаршал, в ведении которого находилась дворцовая стража, согласно заявили, что ими не было отдано никаких приказов; тем самым они признали, что были не у дел, а значит, и не могли нести ответственности за случившееся. Отвечать надлежало командиру эскадрона, человеку с длинной и труднопроизносимой фамилией, двадцатитрехлетнему отпрыску древнего рода. Но он лежал на мостовой в роскошных голубых рейтузах, запачканных кровью, в расколотой каске, окруженный четырьмя с половиной десятками своих подчиненных и трупами поверженных лошадей. Вся гвардия лежала на площади и уже не могла предстать перед судом. Вокруг бродили солдаты с засученными рукавами, бранясь вполголоса, поднимали за ноги и за руки искалеченные тела и швыряли их в подбывавшие грузовики. Спустя полчаса по площади проехала водоструйная машина, и все следы короткого боя были уничтожены.

## 4

Итак — подведем еще раз итоги, — оккупация более или менее благополучно состоялась. Нельзя сказать, чтобы такое развитие событий оказалось неожиданным для Седрика. Примерно с осени 1940 года, когда жертвой необъявленного нападения пал северный сосед, подобный исход начал представляться весьма вероятным. Очевидно было и то, что страна не могла рассчитывать на чью-либо помощь извне. Об этом ясно и жестко, в своей обычной манере, заявил, выступая перед журналистами, первый лорд британского адмиралтейства. Он сказал, что северные страны представляют, по его мнению, наиболее вероятный в ближайшем будущем объект военных операций. Но если Швецию и Норвегию отделяет от хищника, так сказать, ров с водой, если Дания имеет шансы откупиться путем территориальных уступок, то *эта* страна, *this unfortunate country*, находится в столь неблагоприятной ситуации, что помочь ей будет чрезвычайно трудно. «That's why, — добавил Черчилль, — I would in any case not undertake to guarantee it»<sup>1</sup>.

Рейх одержал еще одну из своих бесчисленных побед. Во имя чего? С точки зрения абстрактных надчеловеческих сил, этих зловещих выкормышей гегельянской философии, — с точки зрения Истории, Нации, Политики — все это, возможно, имело какой-то смысл. С точки зрения реального живого человека, все случившееся было бессмыслицей. Омерзительное и тоскливое чувство, в котором он физически отождествлял себя со страной-ребенком, сбитым с ног кулаком бандита, повергло Седрика не то чтобы в уныние, но в состояние, знакомое душевнобольным, — ощущение нереальности происходящего.словно до сих пор он был зрителем и глядел из удобного кресла на сцену, где разыгрывалась пьеса какого-то сумасшедшего авангардиста, и вдруг актеры прыгнули с подмостков и, держа в каждой руке по пистолету, начали грабить зрителей. И тогда стало ясно, что абсурдный спектакль, вся соль которого была в его очевидном неправдоподобии, на самом деле вовсе не мистификация, не бред, не вымысел автора, а самая настоящая действительность.

## 5

День Седрика начинался в восемь часов. Он часто просыпался перед рассветом, потом задремывал, но в урочный час не разрешал себе лежать ни одной лишней минуты: в его жизни, как и в жизни его близких, господствовал дух протестантской строгости и простоты.

---

<sup>1</sup> Вот почему я ни при каких обстоятельствах не получил бы за нее. (англ.)

Душ, массаж, утренний туалет перед высоким тусклым зеркалом в дубовой раме — все совершалось с меланхолической торжественностью, как если бы неукоснительное соблюдение распорядка было целью и смыслом существования. Этот порядок предусматривал даже утреннюю боль в затылке, вызываемую, однако, отложениями солей, а не спазмом сосудов, вопреки мнению доктора Каруса. После завтрака, которому можно было бы посвятить специальное исследование, настолько глубокий — медицинский и христианский — смысл был вложен в его изощренную убогость, Седрика ожидал в кабинете секретарь, следовало выслушивание доклада, визирование бумаг и прочие дела его основной должности. С двенадцати до часу — прогулка в седле. После ленча Седрик уезжал в клинику. Последнее время он подолгу задерживался там. Конгресс в Рейкьявике, объявленный на конец мая, был отложен ввиду международной обстановки; Седрик надеялся использовать эту отсрочку для пополнения своего материала.

Обед — в семейном кругу; за длинным столом на высоких стульях с длинными спинками, под стать самому хозяину, сидели: супруга Седрика, его младший сын Кристиан, жена Кристиана и внуки. (Старший сын, согласно официальной версии, находился на длительном лечении за границей.) Обыкновенно за столом присутствовал доктор Карус. Кристиан, презираемый сын, был профессором немецкой классической философии — отрасли, демонстрирующей ныне, по мнению Седрика, позорный крах; ибо нельзя же было отрицать, что от Иоганна Шефлера, «Силезского ангела», тянется нить, на другом конце которой болтается, увы, Альфред Розенберг; не говоря уже о Гегеле, которого Седрик обвинял в легкомысленном потакании «всеобщему», в торжестве человекоядного этатизма; словом, не кто иной, как Кристиан, здесь, в мрачноватой столовой, над остывающим крупяным супом, обязан был *ex officio* нести ответственность за роковое вырождение германского духа, за грезы Шиллера, обернувшиеся бессмыслицей пролетарской революции; вообще судьба уготовила Кристиану роль отступника — даже в чисто конституциональном смысле. Достаточно было взглянуть на него: толстый, благодушный, с крупными женоподобными чертами лица, не чуждый радостям жизни, снисходительно-покладистый, наивно-эгоистичный, «беспринципный». Подруга жизни его была немка из августейшей семьи, тусклая и худосочная особа. Обедали поздно, и зимой в это время в столовой уже горели лампочки в виде свечей. После обеда Седрик писал в библиотеке; вечером чтение с внуками, партия в шахматы с доктором и любимый Гендель. Так проходил его день.

Ровно в двадцать три часа тридцать минут Седрик, седой и тощий, прочитав молитву, взбирался на высокое и неудобное ложе подле ло-

жа Амалии. За сорок с лишним лет брака он, можно сказать, ни разу не видел свою стыдливую и чопорную супругу всю целиком. В описываемое время Амалия изображала из себя маленькую пожелтевшую старушку ростом почти вдвое ниже Седрика. Оба лежали в одинаковых позах, на спине, изредка обмениваясь короткими фразами; в их общении слова играли роль камертона: как это бывает у долголетних супругов, они давно научились беседовать молча. На высоко взбитых подушках узкая, старчески сухая голова Седрика покоилась точно на одре смерти; глаза, угасавшие под морщинистыми веками, походили на желваки. В рюмке на столике, рядом с ночником, стояли капли датского короля, стояла минеральная вода на случай изжоги. Для Амалии был приготовлен нитроглицерин. Над изголовьем висела сухая ветка багульника, отгоняющая дурные сны. Звон курантов на башне Святого Седрика пробуждал видения безвозвратно ушедших времен. Седрик вздыхал, и тихо вздыхала возле него молчаливая Амалия. Длинные, сложные, ветвистые воспоминания, точно водоросли, поднимались вокруг, и постепенно король Седрик X погружался в сон.

## 6

В одно утро привычный многолетний уклад жизни был разрушен. Это крушение, ощущаемое ежеминутно, удручало еще больше, чем крушение мирового порядка. Так человек, со стоическим равнодушием взирающий на пламя, которое пляшет над кровлей его дома, не может сдержать слез при виде какой-нибудь обугленной безделушки. Но разве вся страна не была его домом, его семьей? Седрик привык получать к Рождеству или ко дню рождения сентиментальные поздравления от незнакомых людей; когда десять лет назад у него открылась язва желудка, родители говорили детям, что надо вести себя хорошо и не огорчать папу и маму теперь, когда у всех такое горе. Карикатуристы изображали короля, высокого, как Гулливер, и тощего, как Дон-Кихот, стоящим на одной ноге на пяточке своего крошечного королевства, поджав другую ногу, для которой не хватило места. Ему бы еще дедушкины латы и бритвенный тазик на седую голову. Да, монархия — пережиток, подобный рыцарским аксессуарам чудака из Ламанчи; он и не спорил против этого. Но что поделаешь, если в глазах сограждан он был Государством, воплощенным в образе человека, и оттого, что он был живым человеком, который находится здесь, поблизости, которого легко увидеть, государство все еще воспринималось в этой стране — в этом и состоял ее удивительный анахронизм — как нечто близкое всем, как общее дело и общая жизнь. Теперь всему этому пришел конец. Новое государство, поглотившее их, несло в мир

порядки концлагеря; принцип человеческого общежития оно заменило принципом всеобщего беспрекословного служения некоторой абстракции, лишенной, как легко было понять, какого-либо реального, жизненного содержания. На знамени этого государства были начертаны слова: рабочий класс, нация и социализм; но чем оно было по существу, об этом можно было судить по тому образу, который оно подняло над собой как священную хоруговь; ибо оно тоже было персонафицировано в одном человеке — и в каком человеке! В человеке, который словно нарочно был выбран, дабы проиллюстрировать невиданное доселе падение человечества. Рядом с ним — а судьба, что ни говори, поставила их рядом — Седрик чувствовал себя поистине неизвестно для чего сохраняемой фигурой — бесполезным стариком, которому время убираться на погост.

Это малодушие, коему поддался король в памятное апрельское утро, объясняет его странную бездеятельность перед лицом событий на Острове, о которых мы уже говорили. Да и в дальнейшем, когда понадобилось его участие в решении неотложных государственных дел, король уклонился от каких бы то ни было действий. Можно сказать, что государь уподобился своему народу. Да и что он мог предпринять? С утра он находился в своем кабинете; только что башенные часы пробили девять, время, когда у ворот дворца пел рожок; длинные ноги Седрика в узких черных брюках были скрещены под столом, длинные и худые пальцы с короткими ногтями, пальцы хирурга, безостановочно барабанили по краю стола; костлявый подбородок зло и отрешенно вознесся кверху, и на тощей шее перекатывался кадык. Король был при полном параде, с лентой и Рыцарской звездой, его фрак украшала цепь. Он не мог заставить себя подойти к окну, глотал кислую волну изжоги и колотил пальцами. Налево от него, в высокой раме окна, стоял секретарь с видом человека, который с минуты на минуту ждет телефонного звонка — а может быть, и трубы Страшного суда; направо — утопала в глубоком кресле тщательно одетая и причесанная Амалия.

На плоской груди ее висело только одно — но очень дорогое — украшение. Несомненно, из трех присутствующих королева нашла для себя наиболее достойное занятие. Она вязала. Не далее как на прошлой неделе ее величество завершила работу над семьдесят четвертым по счету набрюшником для мужа; ныне она трудилась над шерстяным кашне, вещь во всех отношениях необходимой в теперешние тяжкие времена. И ничто на свете не могло заставить ее прервать это занятие. Но оно имело и другой, более возвышенный смысл. Желтовато-седой шиньон Амалии и ее детские ручки, занятые работой, излучали чисто женскую уверенность в торжестве жизни, они внушали на-



дежду, что все как-нибудь обойдется, наконец, они внушали мужество. Пока там, у ворот, мальчик с длинной и трудно выговариваемой фамилией, крестясь, горячил коня перед первым и последним в своей жизни боем, Амалия готовилась встретить недруга на пороге своего дома со спицами в руках.

А тот, чья честь была поставлена на карту, кто против своей воли позвал на смерть это игрушечное войско, — оцепенел, застыл как бы в параличе, устремив в пространство бессмысленно блестящий и загадочный взор. Честь? Но что скрывалось за этим понятием? Подобно некоторым оптическим иллюзиям, оно исчезало, едва только взгляд рас­судка пытался фиксировать его. Честь — это могло значить только одно: долг перед самим собой. Так в чем же состоял его долг? Он был стар, а на площади лилась кровь. Он был стар, а они были молоды. И самое лучшее, что он мог сделать, — это встать и выйти пешком на улицу, и умолять немцев пощадить его безрассудных детей; выйти безоружным, с седой головой и с именем Христа на устах, как выходили священники в некоторых селах России навстречу карателям. Но он не был способен на это. Он знал, что в эту минуту с ним спорит его собственный предок — тот, который был нарисован на стене в малом зале. Да, он видел себя мысленно на площади: солнце слепило глаза, вдали гроыхало тевтонское полчище. Он сидел на коне во главе своей гвардии.

Снаружи донеслось приглушенное расстоянием хлопанье противотанковых ружей. Желтый луч заиграл на шиньоне Амалии, и стальные спицы с судорожной быстротой замелькали в ее руках. Секретарь стоял, как гипсовое изваяние, глаза его медленно расширялись. Ударил пушка. Затем раздались шаги в приемной, вошел свитский полковник, вполголоса доложил, что бой на площади окончен.

Казалось, что-то немедленно должно было произойти, ворваться в двери, загреметь сапогами по лестницам; в ушах уже звучали хриплые команды, звон разбитых стекол... Но все молчало. В завесах света трепетали сверкающие, как искры, пылинки. Время, казалось, повисло в воздухе, как эта пыль. И так мирно, так солнечно было на едва успевших покрыться зеленым пушком лужайках перед фасадом дворца, так светло и счастливо горели вдали золотые копьевидные прутья ограды, что странный покой на минуту снизошел в душу. И настал мир на земле и в человеках благоволение.

Не дождавшись ответа, полковник попятился и неслышно закрыл за собой высокие темные двери. Седрик поднялся. В глазах у него стояли слезы. Стыдясь этой старческой слабости, он опустил сухую серебристую голову, точно провинившийся ученик. Ситуация выглядела нелепой: о короле забыли. И он почувствовал себя горько обиженным, как только можно быть обиженным в детстве. В этом

пустынном и, очевидно, покинутом всеми дворце он и впрямь превратился в никому не нужный музейный экспонат. Его даже не нашли нужным арестовать!

Когда он снова поднял голову, глаза его блеснули сухим, почти мертвенным блеском. Из приемной донесся шорох — Седрик словно ждал его. Он выскользнул из-за стола. Выщипанные бровки королевы взлетели кверху; медленно поползли на лоб холеные соболиные брови секретаря. Седрик распахнул двери. Обстоятельства прояснились. В приемной стояли фигуры с автоматами. Внезапное их появление напоминало фокус в театре, когда вспыхнувший свет открывает действующих лиц, неизвестно как очутившихся на сцене.

Седрик почувствовал необычайное облегчение. На руках у всех были повязки: то был знакомый по киножурналам, по фотографиям в газетах знак тарантула. Некто в сверкающих сапогах, со стеклом в глазу двигался ему навстречу. Однако Седрика постигло разочарование. К вечеру этого дня жители прекратившей свое существование страны узнали, что их король жив и невредим и находится под домашним арестом — впрямь до особого распоряжения оккупационных властей.

## 7

Здесь позволим себе упомянуть об историческом событии — церемонии, состоявшейся в малом тронном зале дворца. Не потому, чтобы она имела действительное значение в ходе дальнейших происшествий, — весьма скоро для всех стало ясно, что отныне события совершаются не по свободному решению свободно собравшихся людей, а в силу таинственного приговора никому не ведомых высших инстанций, от людей же требуется лишь восторженная готовность исполнять приказания, — но потому, что она, эта церемония, была последним испытанием, последним вопросом, который судьба задала королю и на который он волен был ответить так, как ему заблагорассудится; как уже говорилось выше, он и на сей раз уклонился от ответа. Но ведь и это был своего рода ответ. Седрик, хотел он этого или не хотел, сказал: да. И больше его уже ни о чем не спрашивали.

Название «тронный зал» не должно вводить в заблуждение. Уже много лет сюда наведывались только туристы да школьники. Не так давно зал арендовала, загромоздив его осветительной аппаратурой, всемирно известная фирма Скира. Ее сменила какая-то кинокомпания. Быть может, не все читатели знают, что именно здесь находится мозаичное панно — прославленный памятник искусства Северного Возрождения. Панно создано в начале XVI столетия. Оно изображает батальную сцену: король Седрик Святой бок о бок с архангелом Михаилом во главе победоносного воинства.

Эта картина и послужила своего рода живописным задником для процедуры, имевшей произойти в зале. В зал внесли длинный стол, расставили пепельницы и бутылки с минеральной водой, разложили автоматические перья и бумагу — весь этот реквизит, явно бесполезный, как бы подчеркивал ненужность ритуала, единственной целью которого было придать видимость благообразия последним корчам умерщвленного государства. Король вошел, и все встали — жалкое собрание склеротических старцев, незадачливых правителей, страдающих одышкой и избытком сахара в крови. Над их белоснежными воротничками нависали складки розоватого жира. Военный министр слепил взоры парадным мундиром, но нужно ли говорить, насколько неуместно выглядела здесь эта выставка крестов и звезд? Окинув взглядом собрание, король Седрик сел (точно подломился), и тотчас уселся и посол Германии, но, заметив, что все стоят, вскочил почти непроизвольно, — это маленькое происшествие доставило облегчение присутствующим. Седрик, окаменелый, посвечивал перед собой прозрачным взором, лишенным какого-либо выражения. Наконец он выдал: «Прошу». Все сели. Теперь посол стоял, монокль сверкал у него в глазнице. «И вы, сударь», — сказал Седрик по-немецки.

Премьер-министр, похожий на мистера Пиквика и, кстати, бывший пациент клиники, где его величество удалил ему года полтора назад опухоль простаты, голосом, каким говорят в классических пьесах благородные отцы обесчещенных дочерей, прочел заявление кабинета. В изысканных выражениях правительство протестовало против насилия. Оно напоминало об институтах международного права, традициях, восходящих ко временам Рима; сослалось на пакт о ненападении, заключенный между его страной и Веймарской республикой. (Посол пожал плечами.) Все это служило, однако, лишь поэтическим предисловием. Премьер остановился, чтобы подкрепиться минеральной водой. Он продолжал. Под гнетом обстоятельств, уступая силе, королевское правительство сочло себя вынужденным принять оккупацию как факт. Оно обещает выполнять волю победителя. Границы будут закрыты; всякие сношения с западным миром будут прерваны. Будет учрежден контроль над радио и печатью. И так далее.

Внимая этой обиженной речи, посланец рейха на другом конце стола блистал, точно прожектором, стеклянным оком. Упоминание о гарантиях порядка и справедливости, на которые притязал оратор, слишком мягко произнося немецкие слова, приподнимая левой рукой старомодные очки и чуть ли не водя носом по тексту, вновь заставило посла пожать жирными плечами. Со стены, воздев крестообразный меч, на посла взирал зеленоглазый король-рыцарь; другой король

возвышался на председательском кресле, и его коротко остриженная серебряная голова приходилась вровень со шпорами всадника. Прямой, как бамбук, со зло задраным подбородком, с тусклым бешенством в хрустальных старческих очах, Седрик стоически терпел благообразную ахиною, которая лилась из округлых уст премьер-министра. Чувствовал, как кислая волна медленно поднимается к горлу со дна желудка. В кругах, близких ко двору, да и не только в этих кругах, хорошо было известно, что его величество страдает повышенной кислотностью, по крайней мере, сорок лет.

Было ясно, что ход событий, как и движение светил, ни от кого не зависит. Означает ли это, что мы беспомощны перед лицом этого извечного ультиматума? Безвыходность избавляет от ответственности — перед кем? Перед другими. Но не перед самим собой. Именно так оценил ситуацию кузен, северный сосед.

Положим, прав Спиноза, говоря, что упорство, с каким человек отстаивает свое существование, ограничено, и сила внешних обстоятельств бесконечно превосходит его; положим, не в нашей власти одолеть бурю. Но от нас будет зависеть, какой флаг взвьется над гибнущим кораблем. В цветах этого флага — вся наша свобода! Скандинавские государства, как известно, сохранили традиционную форму правления. Что же сделал кузен? В ситуации, как две капли воды похожей на эту, он заявил, что отречется, если нация примет условия захватчика. Поразительная вера в себя, граничащая с безумием уверенность в том, что твой голос будет услышан в этом лязге и грохоте механизированного нашествия, фанатическая верность идее, представителем, нет, заложником которой ты ощущаешь себя на земле! Король — есть символ свободы. Но нация не состоит из королей. Чем обернулось все это для его народа, для незащищенных женщин, стариков и детей? Страна была раздавлена.

Посол рейха взял слово, и собрание с дипломатической грацией обратило к нему розоватые лысины с седыми венчиками волос, словно ничего не случилось в мире, словно время не сорвалось с оси в замке Эльсинор, и красные флаги с тарантулом не плескались над зданиями, и кровь убитых не смывала с брусчатки водоструйная машина. Посол стоял, мерцая моноклем, с листочком текста, точно певец с нотами; все почтительно слушали. Да, они создавали историческую важность этой минуты и долгом своим считали хранить спокойствие и благообразие, они называли это выдержкой, а на самом деле старались задобрить хищника своей покорностью, угодливо заглядывали ему в глаза, участливо внимали его нечленораздельному рыку, делая вид, что слушают человеческую речь! Приступ изжоги вновь с небывалой силой настиг короля. Желудок и пищевод, казалось, тлели, снедаемые

подспудным огнем. Как человек воспитанный, он знаками успокоил певца — мол, продолжайте, я сейчас — и на цыпочках пробалансировал мимо копыт христианнейшей рати; посол метнул в него грозный луч, затем вновь возвысил голос; король молча вышел из зала.

## 8

Мы не смеем предложить читателю собственное решение того, что позднее было названо загадкой рейха; однако не чувствуем себя в силах удержаться от искушения мимоходом бросить взгляд на феномен, в котором по крайней мере одна черта пленяет и поражает воображение. Мы имеем в виду ту особенность национал-социалистического государства, благодаря которой атмосфера жизни в нем неожиданно и своеобразно воспроизводила мир душевнобольного, с его чувством исчезновения реальности и незримого присутствия таинственных сил, управляющих его помыслами и всем его поведением.

Рейх и поныне таит в себе нечто завораживающее; сошедший со сцены, он и теперь чарует душу, зовет, как мираж, и притягивает, как взгляд василиска. Рейх казался грандиозной мистификацией. Все его граждане, от привилегированных до обездоленных, от высших партийных чиновников до уличных чистильщиков сапог, состояли как бы в общем заговоре отнюдь не того, что надо и чего не надо говорить, и все вместе производили впечатление людей, однажды и навсегда условившихся говорить друг другу неправду, только неправду, ничего, кроме неправды. Но в том-то и дело, что, убежденные в необходимости скрывать истину, убедившие себя, что не следует даже пытаться вникнуть в суть вещей, как не следует поднимать крышку дорогих часов и заглядывать в механизм, они и не знали истины.

Таинственность была характерной чертой этого порядка; подобно тому, как большинство людей имеет весьма смутное представление о принципе действия телефона или электрического утюга, подобно тому, как деятельность их собственного тела остается для большинства людей непроницаемой тайной, так огромное большинство подданных рейха не имело ни малейшего представления о том, что происходит в их стране. В этом государстве все было засекречено, все было окутано ревнивой тайной, начиная от внешней политики и кончая стихийными бедствиями и статистикой разводов; никто ничего не знал и не имел права знать, все подлежало тщательной утайке от ушей и глаз всякого, ибо каждый состоял под подозрением, и люди жили в уверенности, что государство внутри и снаружи окружено сонмом врагов. Предполагалось, что эти враги жадно ловят каждое неосторожно оброненное слово, чтобы обратить его во вред стране. И враги, число ко-

торых, несмотря на истребительные меры, не уменьшалось, составляли предмет главных забот партийных и государственных инстанций; существовал подлинный культ врагов; уже недостаточно было содержать для борьбы с подрывной агентурой одну тайную полицию: на обширной территории рейха трудилось пять независимых друг от друга полиций и столько же контрразведок; они напоминали быстро размножающиеся предприятия в перспективной отрасли промышленности. Враги и враждебные элементы составляли подлинный смысл существования огромной массы государственных учреждений, и, таким образом, противодействие рейху, мнимое или действительное, в известном смысле было условием его существования.

Мистическая природа рейха сказывалась в том, что он управлялся законами, исходящими неизвестно откуда. Нет, не теми законами, которые торжественно объявлялись народу, записывались в золотые книги и высекались на мраморе, за которые полагалось денно и нощно благодарить правительство и партию; эти законы, может быть, и действовали в стране, но на жизни ее они не отражались. Для бесчисленных исполнительных органов основой и руководством служило другое. Тайнственность частных толкований, именуемых установками, большей частью засекреченных, непреложных, как слово Божье, хотя нередко противоречащих друг другу, заключалась в том, что сколько бы вы ни поднимались по лестнице управляющих инстанций, вы нигде не находили составителей этих законов, не находили инициаторов и творцов режима, партийные товарищи, как бы высоко они ни сидели, всегда лишь исполняли какой-то еще выше составленный завет, и, значит, все они несли равную ответственность за происходящее или, что то же самое, никто ни за что не отвечал.

Высшая же таинственность рейха состояла в том, что весь он, от вершин до подножия, был пропитан мифом. Точнее, он сам представлял собой воплощенный в действительность, замкнутый в себе и всеобъемлющий миф. Этот миф был поистине универсален, ибо он обнимал все стороны жизни. Он содержал в себе последний и окончательный ответ на все вопросы. Огромное государство, возникшее, как феникс, в центре Европы на исходе первой трети двадцатого века, представляло собой мифическую нацию с мифологией вместо истории, с мифологической нравственностью и мифическим идеалом впереди; во всех своих отправлениях оно неизменно обнаруживало свою внереальную сущность. Народ, однако, принял ее за истину. Это произошло потому, что подлинная истина представлялась ему жуткой и бесприютной; стихия таинственности, напротив, манила и согревала. Точно повредившийся в уме, он не сознавал своего помешательства. Разумеется, миф рейха, как и любого подобного ему государства, если судить

о нем по трудам его теоретиков, по творениям его поэтов, по житиям святых, по школьным прописям, по словоизвержениям вождей, по любым экскретам национального самосознания, — носил вполне бредовый характер. Это придавало ему ни с чем не сравнимое очарование. И развивался этот миф по хорошо известным законам бредообразования, и было бы поучительно проследить, как, миновав продуктивную стадию систематизации, он приблизился к той ступени, на которой бред душевнобольного бледнеет и рассыпается, — к стадии распада психики. Но рейх не дождал до гибели своего мифа, режим не успел надоесть самому себе — и, может быть, поэтому остался навеки юным. Забили барабаны, птица феникс захлопала крыльями — рейх, ощутивший neodолжимую потребность расширяться, начал войну. С новой силой ударила в бубны неслыханная по размаху и наглости пропаганда, и миф, как бы омытый грозой, ожил и заиграл всеми красками на солнце.

## 9

Бамм! Бамм! Бамм!..

Двенадцать раз прогудел башенный колокол, потом что-то перевернулось в громадных часах, и куранты несколько монотонно и гнусаво начали вызывать гимн. Боже, убереги нашего короля, и нас, и наши нивы!

И наши квартиры. И наши клумбы с фонтанчиками. И наши счета в банке. И туманы над нашим морем. И наших лысых министров. И...

Тогда раздвинулись кованые ворота со львами на столбах (один лев так и сидел без лапы). Часовой отдал честь кавалеристу на белой лошади древних кровей, чья родословная восходила ко времени славного Росинанта. Ее копыта, похожие на точеные основания шахматных фигур, четко зацокали по мостовой. Король Божьей милостью, в узких штанах, обшитых серебряным шнуром, в лазоревом мундире навсегда ушедшего в вечность лейб-эскадрона, почетным шефом которого он все еще числился, выехал на прогулку.

Сограждане с удовлетворением отметили восстановление стародавнего обычая. Слава Богу, король на лошади! Силуэт, знакомый с детства, оттиснутый на почтовых марках, выдавленный на шоколадных торгах, привычный образ, почти домашний, как этикетка на старой шляпе, воскрес и одним этим звонким цоканьем отогнал зловещее видение оккупации, видение серо-зеленых горшков, серых мышинных мундиров и морковных знамен. Король на лошади — значит, все в порядке. Это они усвоили с детства.

Седрик пустил коня по улице, той самой, где полгода назад две подружки прятались в подъезде. Моросил дождик. Он выехал, по-

скрипявая седлом, на бульвар. Прохожие ухмылялись. На углу стук копыт примолк; потомок Росинанта, плеча пышным хвостом, при-танцовывал задними ногами. Можно было не глядя сказать, что там происходило: король перегнулся через седло, чтобы пожать руку старому хранителю университетской библиотеки, как всегда, поджидавшему на углу. The King's Hour<sup>1</sup>, картинка, напечатанная в школьных хрестоматиях! Конь рысью пошел вдоль блестящих трамвайных рельсов, а у библиотекаря произошел разговор с зеленым горшком, в ранге фельдфебеля, случайно очутившимся рядом. Немец с недоумением смотрел на удалявшегося всадника.

«Почему нет охраны?» — спросил он.

Рефлекс, воспрещающий откликаться на звук тевтонской речи, как если бы никто в этой стране никогда не слышал ни одного немецкого слова, не сработал; старик влажными глазами провожал уменьшающийся конский круп. Когда лошадь исчезла за кленами бульвара, старик сказал:

«Видите ли, сударь...»

Он остановился, достал из кармана потрепанного пальто платок, такой большой, что он мог бы служить национальным флагом, осушил розовые мешочки под глазами, потом гулко высморкался и закончил свою мысль так:

«Видите ли, — а зачем его охранять?»

«Как зачем?» — сказал фельдфебель.

«В этом нет надобности», — сказал старик.

«Почему?»

«Потому что, видите ли, мы все его охраняем. Если он упадет, мы подбежим и поднимем его. Но, слава Богу, — сказал библиотекарь, — он старше меня на десять лет, а ни разу не падал».

«Да не об этом речь, — сказал немец с некоторым раздражением. Ему уже приходилось сталкиваться с этим странным слабоумием местных жителей. — Почему он без охраны, без телохраниителей? Или как там это у вас называется».

«Виноват, — возразил библиотекарь, — от кого же его охранять?»

«От врагов!»

«Это легло бы слишком тяжелым бременем на бюджет, — заметил библиотекарь. Несколько осмелев, он взглянул выцветшими глазами на собеседника. — А ваш... руководитель, — спросил он, — бывает на улицах?»

«Фюрер не ездит верхом. Лошадь — устарелый способ передвижения».

---

<sup>1</sup> Час короля. (англ.)



«Но красивый», — сказал библиотекарь.

«К тому же, — продолжал фельдфебель, — фюреру некогда».

«О да, — с готовностью подтвердил библиотекарь. — На автомобиле он мог бы доехать быстрее. Но, видите ли, важно знать, куда едешь».

Человек в зеленом шлеме в ответ на эти слова усмехнулся и сказал, что вождь немецкого народа и всего передового человечества знает, куда он едет. А вот куда едет король?

«Никуда, — ответил библиотекарь. Разговор принимал опасный характер. — Это традиция его семьи, — пояснил библиотекарь. — И отец его, и дед тоже, знаете ли, так катались».

Дождь накрапывал все сильнее, и на бульваре почти не осталось прохожих.

«В ваших словах, — произнес немец, — я усматриваю проявление неуважения к фюреру. Кто вы такой?»

«Что вы, — испугался старик, — что вы, mein Herr! Я питаю к фюреру самые лучшие чувства. Он великий человек. Мы все его обожаем».

Солдат перебил его: «Я полагаю, это происходит не от злого умысла, но от недостатка политической зрелости. Советую подумать над этим».

«Слушаюсь, mein Herr», — сказал старик и на всякий случай сдернул с головы шляпу. Дождь не утихал. Старый хранитель взглянул на часы и увидел, что стрелки приблизились к часу — время, когда все королевство садится за ленч. Он снова приподнял шляпу.

«Всего хорошего, — презрительно отозвался немец, у которого шлем блестел и плечи с серо-голубыми полосками погон начинали темнеть от воды. — Впрочем, еще минутку, — сказал он. — Вы не могли бы показать мне ваш Passierschein?»

«Что?» — осторожно осведомился библиотекарь.

«Я говорю, пропуск. Пропуск на право передвижения по главной улице. Долг службы, — объяснил человек в шинели. — Впрочем, чистая формальность».

«Но... у меня нет пропуска, — пролепетал библиотекарь. — Я даже не слышал об этом».

«О! — сказал немец. — Я удивлен. (Он действительно был удивлен.) Я удивлен и огорчен. Улица, по которой проезжает глава государства, есть правительственная магистраль. Я вынужден вас задержать».

«Но, сударь! — воскликнул в отчаянии библиотекарь. — У меня камни».

«Какие камни?»

«У меня камни в почках. Сам король меня лечил... У меня жена. Господин офицер! Она сойдет с ума, если я не приду домой».

Солдат наклонил горшок в знак сочувствия. Потом вскинул подбородок. Они направились в ортскомендатуру, библиотекарь жался к стенам домов, хотя погода уже не имела для него никакого значения, а солдат шагал твердо, цокая подковками сапог, через пенистые потоки, струившиеся из водосточных труб.

## 10

Богиня счастья отвратила свой лик от Седрика. Итог решающей схватки был плачевен. Под радостный рев валторн из «Иуды Маккавеев» заколыхались черные стяги; пришли в движение остатки все еще грозной неприятельской армии. Рослый ферзь, словно египетский фараон, мчащийся в колеснице, обогнал наступающие войска и с разбегу врезался в боевые порядки окруженной, отчаянно отбивающейся пехоты белых.

Один за другим пали телохранители короля. Тела их были унесены с поля боя, и вот настал момент, когда ничего другого не оставалось, как самому взяться за меч.

«Итак...» — проговорил доктор Карус, намекая на последнюю возможность спасти честь заключением перемирия.

Король уклонился от ответа. Отскочил в сторону. Тщетная попытка выиграть время. Издалека, с другого края дымящейся равнины, белый конь рванулся на помощь, поскакал кривым скоком на верную гибель. Унесли и его. С высоты своего длинного тела Седрик глазами удрученного Бога взирал на свой образ и подобие, на короля, еще ворочавшего мечом в углу доски; вокруг сопел тесный ряд смуглых ландскнехтов... Не слишком-то отважны были они в этом неравном бою, но один уже крался к заветной черте. «Осанна!» — воззвал ликующий хор, в ответ грянул великолепный оркестр лейпцигского Гевандхауза. Лазутчик превратился в маршала. А Седрик все еще белел в гуще битвы запачканным кровью плащом.

С мечом, вознесенным, как крест, рукоятью кверху, он стоял, прикрывая собой последние квадратики своей земли.

«Итак!» — вскричал доктор Карус.

И с последними тактами оратории Генделя король, последний солдат своего войска, закололся.

Игроки молча склонили над ним головы. Кристиан, наблюдавший за ходом событий из уютного кресла, почтил погибшего дымовым залпом.

(И еще много лет спустя этот вечер в октябре, почему-то выхваченный памятью из длинного ряда подобных ему вечеров, с люстрой, сиявшей лампочками в виде свечей, с молчаливой, точно заколдован-

ной королевой, с черными шторами затемнения на окнах, много лет спустя этот вечер вспоминался Кристиану, которого конец войны застал в концентрационном лагере на острове Лангеланн, далеким и неправдоподобным видением счастья; как живой вставал перед ним отец, седой, очень высокий, с глубокими вертикальными морщинами на щеках, отец, который не любил его и посмеивался над его профессией, — чудаковатый монарх, занятый своей медициной, он стоял над шахматной доской, вперившись в пустые клетки, как будто заново проигрывал в уме партию, потом, все еще глядя на доску, похвалили отличную запись.)

«Кстати, — сказал Седрик, — он ведь, кажется, разрушен?»

Он имел в виду концертный зал Гевандхауза, где в молодости приходилось ему бывать в обществе дяди, кронпринца Гуго. (Ни Гуго, ни тети Оттилии, разумеется, уже не было на свете, немецкие кузины доживали свой век кто где.)

Коллега Карус в ответ на эти слова заметил, что налеты английской авиации стали совершаться с периодичностью, которую нельзя назвать иначе как фатальной.

На что толстяк Кристиан возразил, что фатум, собственно говоря, есть не что иное, как метафизический парафраз высшей справедливости.

Идея рока безрассудна, но при ближайшем рассмотрении оказывается детищем оптимистического рационализма.

«Я что-то не понял, — отозвался король, расставляя фигуры. — Не будет ли профессор столь любезен дать научное определение этому понятию?»

«Какому?» — спросил Кристиан.

«Высшей справедливости, *bien sûr*»<sup>1</sup>.

Кристиан пристроил сигару в уголке шахматного столика, извлек из кармана домашней куртки *sagnet*<sup>2</sup> и перелистал странички, исписанные бисерным почерком. Такой почерк всегда бывает у людей с хорошим пищеварением и ясным, незамутненным взглядом на мир. (Спустя десять месяцев эта книжка была отобрана у Кристиана при обыске в санпропускнике в числе других предметов, при этом ему велели снять одежду, нагнуться и раздвинуть ягодичцы.)

Кристиан обвел сияющим взором отца, мать и доктора. «Вот», — сказал Кристиан.

Он прочел: «Справедливость и несправедливость зависят не только от природы людей, но от природы Божьей. Исходить же из Божест-

---

<sup>1</sup> Конечно. (*фр.*)

<sup>2</sup> Записная книжка. (*фр.*)

венной природы значит основываться отнюдь не на произвольных посылках. Ибо! (Кристиан поднял палец.) Ибо природа Бога всегда покоится на разуме».

Королева считала петли. Доктор Карус оком полководца озираал шахматную доску.

Король промолвил:

«Неплохо сказано. Кто это?»

«Лейбниц», — сказал Кристиан и, закинув ногу на ногу, величественно выпустил дым.

«Что ж, — заметил Седрик, — ему это простительно».

Доктор сделал первый ход: теперь белыми играл он.

«Так», — сказал Седрик. Вдали слабо запел рожок. На мгновение король закрыл глаза. Простер руку над строем войск — медленным провиденциальным жестом. И под звуки рожка черные, издав боевой клич, ринулись на врага.

## 11

В ноябре по случаю Дня Независимости король выступил с традиционной речью по радио. Нужно признать, что она была не самым удачным из его выступлений. Это почувствовали все граждане, но кто на его месте поступил бы иначе? Радиовещание контролировалось оккупационными властями, точнее, полностью находилось в их руках, в комнате, соседней со студией, сидел техник, готовый при необходимости прервать передачу по техническим причинам, а рядом с Седриком за пультом находился некто в штатском, который помогал королю переворачивать страницы.

Речь была отчасти посвящена инциденту на железнодорожном вокзале. Упомянув о нем, мы отнюдь не хотим сказать, что этот инцидент каким-либо образом повлиял на международную обстановку. Ничто из происшедшего в маленькой стране — читатель должен был понять это с самого начала — решительно не могло оказать влияния на ход мировых событий. Это в равной мере относилось и к мелким недоразумениям, время от времени омрачавшим мирное соитие завоевателя с покоренной страной, и к тому беспрецедентному нарушению порядка, о котором нам предстоит рассказать позднее. Случай, происшедший на вокзале, был едва упомянут газетами, да и в речи короля о нем говорилось не так уж много. Дело в том, что здесь была допущена ошибка. Не было никакой необходимости в публичной акции, не надо было устраивать никаких митингов, а надо было просто сообщить о митинге, сочинив репортаж и подходящие речи; вместо этого пошли на поводу у дурацких обычаев страны, где привыкли все

видеть своими глазами, страны, где премьер-министр ездил на заседания кабинета в трамвае, где король катался по улицам на лошади, где не имели никакого представления о государственном престиже. И вот результат! В честь стрелков добровольческой роты, не без значительных усилий сформированной для отправки на фронт в Россию, на вокзальной площади были устроены торжественные проводы. На митинге собирався выступить военный министр. В новых шинелях и плоских блинообразных беретах с двухцветной, голубой с зеленым, национальной кокардой солдаты выстроились на мостовой напротив входа в зал для продажи билетов; несколько в стороне на тротуаре стоял народ. Ни с того ни с сего в этой толпе произошло движение: как передавали, там неожиданно начались родовые схватки у какой-то добровольческой жены. По другим данным, там задавили собаку. Так или иначе, но министр не успел раскрыть рта, а немецкий капитан, стоявший рядом, не успел дать знак полиции, как толпа слушателей шарахнулась, кордон полицейских, впрочем довольно малочисленный, был оттеснен, и в течение последующих десяти минут неизвестные, в количестве примерно тридцати человек, храня молчание и даже относительный порядок, избивали добровольцев, испачкали обмундирование и сорвали с них национальные блины, после чего так же молча и таинственно рассеялись. Не останавливаясь на этих подробностях, выяснением которых вот уже целую неделю были заняты компетентные инстанции, король нашел лишь необходимым обратиться с увещеванием к народу, прежде всего к молодежи, призывая ее воздерживаться от действий, могущих осложнить отношения с оккупационным режимом.

Еще была неприятность с уличным хулиганом, неким Хенриком Седрикссоном. В четверг 9 ноября этот недоросль подошел к воротам ортскомендатуры и плюнул в часового. Это произошло днем на глазах у прохожих и возвращавшихся с уроков детей. Инцидент получил огласку. Король призвал родителей и педагогов уделять больше внимания искоренению дурных манер у подрастающего поколения. Похороны подростка были приняты на государственный счет. В заключение своей речи его величество обратился к Богу, прося его о спасении страны и народа.

Вообще следует сказать, что поддержание дисциплины в столице и за ее пределами натолкнулось на одну непредвиденную трудность: в стране не удавалось наладить обычную для всего рейха систему сыска. Трудность, собственно, состояла в том, что не удавалось привить населению этой страны мысль о естественности и необходимости доносов. Люди не понимали — или притворялись, что не понимают, — чего от них требуют. И все же, в общем и целом, оккупационный режим (это тоже надо отметить) оказался мягче, чем можно было ожидать. Победитель щадил маленькую страну, словно в самом деле питал уважение

к ее очевидной беспомощности. Возможно, сыграло роль и то, что этническая принадлежность этого народа к германскому племени давала ему право, с известными оговорками, считаться арийским. Разумеется, и в этой стране повсеместно был установлен комендантский час, действовали карточная система, трудовая повинность, паспортизация, прописка, «кружка победы», ежегодная подписка на заем, запрещение самовольного ухода с промышленных предприятий, запрещение свободного передвижения по стране, безусловное запрещение выезда за ее пределы, хотя бы и к родственникам, хотя бы и к детям, хотя бы и мужу к жене, жене к мужу; были упразднены все намеки на политическую деятельность, была установлена цензура на все, что выходит из-под печатного станка: от телефонных книг до объявлений в брачной газете, от романов до трамвайных билетов и талонов на керосин. Разумеется, ни одно публичное выступление, включая проповеди в церквях, не обходилось без выражений горячей благодарности вождю, этому отцу народов и лучшему из людей. Разумеется, английская блокада, распространенная на все территории, подвластные рейху, не сделала исключения для маленькой страны, и, например, по улицам столицы двигались автобусы, запряженные лошадьми, ввиду отсутствия бензина. Но достаточно было сравнить положение в стране хотя бы с участью северного соседа, чтобы понять, насколько судьба была милостива к этому патриархальному краю. Жизнь продолжалась с ее обычными заботами, радостями и печальями, и погода стояла обычная для этих мест: как тысячу лет назад, туман висел над морем викингов; в предутренней мгле, точно призраки, маячили на перекрестках продрогшие полисмены в серебристых от измороси плащах, обыватели просыпались на рассвете в своих спальнях за черными шторами, под веточкой багульника, женщины зачинали в сонных утренних объятиях, это была весьма сносная жизнь, без ночных облав, без заложников, даже без отправления людей в Германию, уходили только бесконечные эшелоны с продовольствием: рейх нуждался в колбасе, маргарине, мороженой рыбе, картофеле, беконе; все же остальное — колокольни соборов, памятники морским разбойникам, ключья тумана, герб, сплетенный из волос русалки, даже опереточный страж у ворот дворца — представлялось несъедобным и до поры до времени не привлекало внимания вечно голодного победителя. Утверждали, что в стране нет ни одного концлагеря. Дети брели в школу, волоча старые отцовские портфели с тетрадками из серой и очень тонкой бумаги. Хозяйки стояли в очередях и не роптали.

В канун Рождества, когда по улицам от дома к дому ходили пожилые серьезные господа в котелках, несли на палках деву Марию, волхвов и мулов, фюрер в речи, переданной из Нюрнберга, вновь ошастливил крошечную нацию: она была названа «образцовым протек-

торатом». По этому поводу газеты разразились ликующими передо-вицами. Засим последовал новый, столь же многозначительный жест — поздравительная телеграмма по случаю семидесятилетия короля. В этот день разрешено было развесить на улицах штандарты с буквой С и римской цифрой Х, а рядом, само собой, развевались морковно-красные стяги Третьей империи.

Начался зимний семестр в университете. После десятимесячного перерыва Седрик возобновил курс лекций. Он продолжал работу по обобщению материалов о результатах лечения рака предстательной железы, но конгресс в Исландии был снова отложен.

## 12

В промозглую весеннюю ночь, густым туманом окутавшую Остров, королю приснился сон. Ему привиделось, что огонек ночника потух и, открыв глаза, он пытается сообразить, где он, пока наконец глаза не привыкают к мраку, и он видит перед собой два высоких, выступающих в темноте окна спальни.

Сон был явно дурной, непонятный и ничем, по-видимому, не спровоцированный, и опять-таки мы упоминаем о нем вовсе не потому, что хотели бы приписать ему какое-нибудь символическое значение; пожалуй, в нем сказалась невысказанная тревога тех дней, глухое нечто, вползавшее через щели и дымоходы с лохмотьями тумана, — и только.

Открыв глаза, Седрик увидел, что черные шторы затемнения закатаны чьей-то рукой кверху и во тьме перед ним выставились два окна — совершенно пустые. Но что-то мешало ему разглядеть предметы в комнате и даже мебель. Что-то зыбкое окружало кровать, скрыло пол, и в этой массе тонули внизу окна. Вглядевшись, он понял, что вся комната заросла водорослями.

Недовольный и даже огорченный, он встал и нашарил ночные туфли — они оказались полны ила — и в туманной зеленоватой воде стал пробираться к выходу, стараясь не поднимать шума. Ему удалось выбраться в залу, никого не разбудив, а потом и на галерею, и он начал спускаться по лестнице, крепко держась за перила, чтобы не поскользнуться. Это была историческая лестница, известная тем, что на ней, на ее ступеньках, умер его дедушка Седрик IX — вышел утром из спальни и вдруг сел и умер. Внизу Седрика ожидал сюрприз. Когда он шел по бельэтажу, волоча мокрые туфли, и по привычке оборачивался на зеркала, приглаживая на голове ежик, то вдруг оказалось, что в зеркалах никого нет: кто-то двигался, кто-то шелестел в полутьме туфлями по эту сторону зеркал, но ничего не отразилось в их тусклой бесконечности, они остались пусты, и по тому, как он спокойно отнес-

ся к этому, Седрик понял, что и он умер, умер в самом деле, или, как принято выражаться о королях, почил в Бозе. Что было, в общем, не удивительно в его возрасте.

Очевидно, об этом еще никто не знал. Седрик пожалел Амалию и пожалел государственный бюджет, на который в эти трудные времена свалилось неожиданное бремя — катафалк, лошади и прочее. Но формальности уже не имели для него значения, вот только медицинского заключения он не мог избежать, уважая хотя бы профессиональную этику. Проще говоря, предстояло вскрытие, и скрепя сердце он поплелся в тех же домашних шлепанцах и в халате со следами морской травы в морг, досадуя на себя за то, что не успел привести себя в порядок перед неприятной, но необходимой процедурой.

Он лежал на мраморном столе в зале со стенами из кафеля. Ровный свет струился из невидимых источников, лежать на мраморе было очень холодно, и он попытался натянуть сползшее одеяло, но тут же вспомнил, что никакого одеяла нет и быть не может, потому что он мертв и лежит в прозекторской университетских клиник, в хорошо знакомом ему секционном зале, и какое счастье, что вокруг него не было студентов; уже слышны были шаги служителя, шорох его клеенчатого передника и звяканье эмалированных лотков. Затем чьи-то руки подхватили его под мышки, рывком подтянули к себе — под головой у Седрика оказалось деревянное изголовье. В это время дверь открылась, и вошел г-н Люне, прозектор.

Прозектор встал на пороге, в пустой раме, и лишь теперь стало ясно, кто он такой: в белой одежде, с парусами накрахмаленных крыльев за спиной, он держал перед собой двумя руками, как крест, длинный блестящий меч. Ангел смерти шагнул к столу и одним взмахом рассек тело Седрика, расщепил его от подбородка до лобка. Производя исследование, г-н Люне шевелил губами. Слов не было слышно, по-видимому, он диктовал протокол. Слава Богу, они не стали распиливать череп; прозектор полагал, что ничего существенного там не найдет. Он диктовал, а Седрик сторал от любопытства, тшилса прочесть его слова по движениям губ, следя за прозектором из-под полуопущенных век, но ничего не понял. Вскрытие кончилось, и, понимая, что через минуту его унесут и он никогда уже не сможет изложить свои доводы, Седрик напряг все силы, пытаясь встать: он хотел оправдаться перед прозектором, объяснить ему, на каком основании был поставлен ошибочный диагноз; объясниться было необыкновенно важно; прозектор уже направился к дверям. С невероятным усилием Седрик пошевелил губами, но язык оцепенел, воздух застрял в груди, руки не слушались его, прозектор уходил, Седрик тянулся к нему... Беззвучный, безголовый хрип выдавился из глубин его существа, как это бывает во сне, и, поняв, что это сон, услышав свой хрип, он проснулся.



Он проснулся в липком поту, ночник горел перед ним; он выпил воды и упал на подушки, измученный пережитым и обессиленный до изнеможения, но заснуть снова ему не дали: впереди была дорога; задувал ветерок, было зябко, как перед дождем, надо было поторапливаться. Все небо обложила глубокая, дымно-лиловая туча. Лишь на горизонте не то светился закат, не то тлели пожары. С мешком за спиной, уныло стуча палкой, он шел по дороге, и ветер доносил запах обугленного дерева: где-то горели леса; мало-помалу Седрика стали обгонять другие путники; дорога сделалась шире, вдали показался забор, в заборе ворота.

Огромная толпа с мешками, с корзинами, с перевязанными бечевкой чемоданами осаждала ворота, и было видно, как охранники били людей прикладами автоматов, стараясь восстановить порядок. С вышки на это столпотворение равнодушно взирал часовой, топал затекшими ногами по дощатому помосту и пел песню, вернее, разевал рот, а слов не было слышно. То и дело лязгал засов, чтобы пропустить одного человека. Ясно было, что ждать придется долго. У ворот маячила высокая светлая фигура Св. Петра.

Вместе с толпой Седрик медленно продвигался вперед. Сзади толкали. Стражник у входа листал захватанный список. Все это тянулось невероятно долго. Наконец подошла его очередь. Апостол не торопил его, с презрительным терпением наблюдал, как Седрик развязывал мешок. В мешке были свалены органы — ужасное липкое месиво. Дождь накрапывал, толпа нажимала сзади, загораживая свет; дрожащими руками он стал вытаскивать почки, сердце, желудок, вынул и показал большую скользкую печень. Все было сильно попорчено господином Люне.

Петр мельком взглянул на органы, поморщился и махнул рукой; Седрик принялся торопливо закидывать все обратно. У него было тяжелое чувство, что он не сумел угодить. Такое чувство испытывает человек, у которого не в порядке документы. Но что именно не в порядке, он не знал. Предстояли еще какие-то формальности. Толпа сзади бурно выражала нетерпение, а он все еще собирал свое имущество; органы были липкими, он перепачкал руки и вытирал их о мешковину. Из толпы неслась брань. Никому из них не приходило в голову, что каждого ждет такая же участь. Апостол хмурился: Седрик задерживал очередь. Вдруг раздался оглушительный треск мотоциклов. Толпа шахрахнулась в сторону, и большой черный автомобиль подкатил к воротам, окруженный эскортом мотоциклов.

Выражение отчужденности исчезло с лица апостола Петра, он приосанился, приняв какой-то даже чрезмерно деловой вид; стражники, молча дирижируя толпой, оттеснили всех подальше; ворота рас-

пахнулись. Стражники взяли под козырек. Седрик стоял в толпе, испытывая общие с нею чувства — сострадание, любопытство и благоговейный страх. Медленно пронесли к воротам гроб; мимо сотен глаз проплыли кружева газета, проплыл лакированный черный козырек фуражки и под ним туплеобразный крупный нос с усами, растущими как бы из ноздрей. Усы были крашеные. Седрик узнал человека, лежащего в гробу. Толпа, объятая священным ужасом, провожала взглядом гроб; на минуту она как бы прониклась уважением к себе, раз и «он» здесь. Гроб исчез в воротах, и створы со скрежетом сдвинулись; громыхнул засов. Тотчас все, словно опомнившись, бросились к воротам. Произшла давка, и те, кто раньше стоял впереди, оказались сзади.

С вышки послышалась песня часового, кажется, это был какой-то духовный гимн; очередь шла, апостол был занят: люди торопливо развешивали мешки, показывали содержимое корзин, один за другим проходили в ворота. О Седрике же как будто забыли. «Черт знает что такое, — проворчал Петр и, обернувшись, сказал: — Да отойдите вы, ради Бога. Мешаете работать». — «Это произвол, — возразил Седрик, — исходить из природы Божьей значит основываться не на произвольных посылках». — «Кто тебе это сказал?» — грубо бросил апостол Петр и отвернулся. Очередь все шла и шла мимо него.

«Я буду жаловаться», — сказал Седрик упрямо.

«Кому?» — спросил брезгливый голос.

«Королю», — сказал Седрик, забыв, что он и есть король. Впрочем, к лучшему: в толпе его подняли бы на смех, а может быть, и избили бы, вздумай он заикнуться об этом. Внезапная мысль осенила его, и он спросил, показывая на расщелину ворот: «А он? Почему его пропустили?»

«Он — это он», — буркнул голос.

«Но ведь он... вы понимаете, кто это?» — в отчаянии крикнул Седрик.

«Надо быть самим собой, — был ответ. — А ты — ни то ни се. — Говоря это, апостол жестом подозвал стражника. — Убрать, — приказал он коротко. — Под домашний арест».

Слова застряли в горле у короля, но на него уже не обращали внимания. Сзади нажала многоголосая, тяжело дышащая толпа, слышались крики раздавленных. Пламя вспыхнуло за забором. Затрещали доски... Вдруг стало ясно, что деваться некуда и нет спасения.

Таков был этот сон, о котором король поведал Амалии, каковое обстоятельство и сделало возможным для автора настоящих строк упомянуть о нем на страницах своей хроники. Повторяем, мы не склонны разделять мнение ее величества (см. ее «Мемуары»), будто странное это сновидение могло иметь влияние на судьбу короля или

как-либо отразиться на его политической позиции. Было бы нелепо предполагать, что человек трезвый и реалистически мыслящий, каким был Седрик X, мог испытать душевный переворот под впечатлением ничего не значащего ночного кошмара. Вместе с тем мы понимаем, что смерть Седрика, последовавшая относительно скоро (примерно через полгода), ретроспективно могла дать повод ко всякого рода суеверным сближениям. Как известно, монарх был расстрелян по приговору трибунала в связи с происшествием, о котором нам предстоит рассказать ниже. Королева Амалия, некоторое время содержавшаяся в небезызвестном секторе «Е» женского лагеря Равенсбрюк, осталась в живых и здравствует по сей день: в нынешнем году ей исполняется 94 года. Быть может, психоаналитическая интерпретация упомянутого сна, если он заинтересует специалистов, способна пролить дополнительный свет на личность Седрика X; мы же привели его единственно с целью охарактеризовать общее настроение тревоги, повидимому, владевшее королем даже в относительно спокойное время, когда ничто, казалось, не предвещало близкого поворота событий.

### 13

Итак, подытоживая сказанное в предыдущих разделах, можно утверждать, что весной 1942 года в стране наступила относительная стабилизация. Восстановилась будничная, размеренная, почти спокойная жизнь. Абсурд способен «вписаться» в реальную жизнь, где его присутствие оказывается как бы узаконенным, подобно тому как бред и фантастика в мозгу умалишенного уживаются с остатками реализма, достаточными для того, чтобы позволить больному кое-как существовать в среде здоровых. Специалистам известен замечательный феномен *симуляции здоровья* у больных шизофренией. Но нет-нет и внезапная эскапада выдаст пациента и сорвет завесу, за которой скрывается сюрреалистический кошмар его души. Тогда оказывается, что тени, пляшущие там, — порождение пустоты... Пронизывающим холодом веет из этого ничто, из погребца души, над которым в опасной непрочности воздвигнуто здание рассудка; и тянет в этот подвал, где живут только тени...

Тенью, вышедшей из царства абсурда, показался Седрику странный визитер, о прибытии которого с подозрительной многозначительностью возвестил секретарь. В этот час венценосец сидел в кабинете, как обычно просматривая текущие дела. *Sidericus Rex* — длинными и узкими, как он сам, полупечатными буквами на старинный манер выводил он под бумагами, теперь уже явно потерявшими смысл, с тем же успехом он мог бы расписываться на листках отрывного календаря. Однако,

как уже говорилось, внешние контуры жизни в эту полосу затишья вновь обрели устойчивость, и, как будто после наводнения старую мебель, сильно попорченную, но высохшую на солнце, расставили на старые места, и старые часы, кряхтя и постукивая маятником, вновь пошли с того места, на котором застала их катастрофа, — король ежеутренне выслушивал доклад, визировал документы, принимал просителей...

Человек этот, с нарочито нейтральной фамилией, с невыразительной внешностью, так что через пять минут после его ухода король не мог припомнить его лицо, человек неопределенной национальности, то ли натурализованный немец, то ли соотечественник, долго живший за границей, — сослался на дело, не терпящее отлагательства, одновременно личное и государственное, и потребовал аудиенции с глазу на глаз.

Выходя из кабинета, секретарь обнаружил в приемной незнакомых молодых людей, неизвестно как оказавшихся здесь, они были в костюмах разных оттенков, но одного покроя, подобно маркам из одной и той же серии; в коридоре тоже прохаживались неизвестные лица; персонал дворца куда-то исчез, в рабочую комнату войти было невозможно, и вообще в эту минуту секретарь его величества явственно ощутил присутствие в окружающем мире чего-то потустороннего.

В это время в кабинете шел вежливый, очень тихий и очень странный разговор.

«Прошу, — Седрик указал на кресло. — Чем могу служить?»

«Государь, — отвечал гость, — первая услуга, которую вы окажете нам, — сохранение в безусловной тайне всего, что здесь будет сказано. И всего, что последует за этим».

«Что вы имеете в виду?» — слегка подняв брови, спросил король. Он напомнил посетителю, что в его распоряжении имеется всего десять минут. «О! — отозвался тот. — Я отлично понимаю, что ваше величество перегружены делами».

«Да, — ответил Седрик. — Я занят».

«Итак?» — сказал гость.

«Что — итак?» — не понял Седрик.

Он снова напомнил г-ну Шульцу, что в приемной ждут другие посетители. Не угодно ли ему будет перейти к сути дела.

«Не извольте беспокоиться, — улыбнулся гость, очевидно, сознательно пародируя старомодную формулу вежливости. — Я отослал всех».

«Что?» — спросил Седрик.

Вместо ответа человек беспечно попросил разрешения закурить.

Это было нарушением этикета, несколько неожиданным у столь благовоспитанного визитера, но уже через минуту Седрик заметил любопытную метаморфозу, которая происходила с гостем: точно сце-

ну с актером осветил новым светом боковой луч. Безупречный туалет г-на Шульца, его жидкие, слегка волнистые зеленоватые волосы, тускло блеснувшие, когда он выстрелил из крохотного стального пистолета перед кончиком сигареты, — все это осталось прежним, но и как будто переменялось, и глаза, медленно поднявшиеся на Седрика, принадлежали другому человеку. Перед королем сидел гангстер, похожий на рисунки в романах, которые продаются на вокзалах, — так сказать, дежурный гангстер. Что ж, это упрощало обстановку.

Вытянув длинные ноги под столом и скрестив руки, Седрик ждал, что последует за этим перевоплощением.

«Итак, — сказал Шульц, — вы обязуетесь сохранить в секрете наш разговор».

«Смотря о чем мы будем разговаривать», — заметил король.

«Предмет нашей беседы, — сказал Шульц с некоторой торжественностью, — есть дело сугубой государственной тайны».

«Гм, видите ли, содержание этого понятия толкуется в Германии иначе, чем в других государствах. Что касается моей страны, то у нас не принято скрывать от нации что-либо затрагивающее ее интересы».

«Пусть так, — сказал гость. — Но врачебная тайна в вашей стране соблюдается?»

«Конечно. Но при чем тут врачебная тайна?»

«А при том, что вопрос, интересующий моего поручителя, носит, так сказать... медицинский характер. Вот что, профессор, — неожиданно сказал Шульц и швырнул сигарету в угол, где стояла корзина для бумаг. Седрик с любопытством проследил за ее полетом. — Оставим эту дипломатию. Речь идет о больном, которому вы должны помочь».

«По этим вопросам, — произнес король, — прошу ко мне в клинику. Я принимаю по пятницам от двух до...» — и он потянулся к блокноту с гербом на крышке, чтобы записать фамилию пациента.

Г-н Шульц вынул пистолет и вставил в рот вторую сигарету. При этом блеснули его стальные зубы.

«К сожалению... — проговорил он сквозь зубы. Щелкнул курок, но пистолет дал осечку. Очевидно, бензин был на исходе. — К сожалению, больной не имеет возможности посетить вас в клинике. Поэтому, — Шульц выстрелил, — вам придется посетить его. Впрочем, мой поручитель готов пойти вам навстречу — точнее, выехать. Свидание можно устроить где-нибудь на границе».

«А кто он такой?» — спросил Седрик.

«Вашему величеству угодно задать вопрос, на который я не уполномочен ответить. Впрочем, могу сказать, что это самый высокопоставленный, самый великий и самый гениальный человек, с которым вам как врачу когда-либо приходилось иметь дело».

«Вы уверены, — спросил Седрик, — что этому самому великому человеку нужен именно я? Я уролог».

«Вот именно, — ответил гость, заволакиваясь дымом. — Ему нужны именно вы».

«Разве в Германии нет специалистов?»

«Есть. Но они не оказались на должной высоте. К тому же, — он развел руками, это было слабым подобием реверанса, — к тому же репутация вашего величества как специалиста... Поверьте, — заключил г-н Шульц, пристально глядя в глаза собеседнику и понижая голос, — мы в Германии умеем ценить выдающихся ученых независимо от...»

«Независимо от чего?»

«Ну, — гость пожал плечами, — хотя бы... от международной обстановки».

«Так, — сказал король. — Может быть, вы ознакомите меня с историей болезни? Разумеется, в общих чертах».

«Разумеется, разумеется, — подхватил Шульц. — Всенепременно и обязательно. Вам будет представлена вся документация. Во время осмотра».

«Так», — промолвил Седрик. И опять, подумал он, судьба задает ему вопрос, на который он волен ответить отказом. Какое это было бы наслаждение — выгнать вон это ничтожество, спустить его с лестницы! Выскобленный до неестественной гладкости фиолетовый подбородок короля сам собой вознесся вверх, и глаза утратили всякое выражение. В эту минуту он был похож на старого, костлявого и непреклонного зверя — пожалуй, на своего геральдического льва.

Несколько мгновений прошло в обоюдном молчании.

Лев закашлялся.

«Перестаньте курить», — прорычал он.

Шульц покосился на собеседника, скомкал сигарету, пробормотал «Excusez-moi...»<sup>1</sup> — и стал смотреть в окно, казавшееся матовым от густой завесы тумана.

В непостижимой дали смутно угадывалась башня с часами, она точно парила над клубящейся бездной, и едва заметно золотился ободок циферблата.

Шульц сказал:

«Я бы не советовал упрямитесь. Поймите, мы обращаемся к вам как к частному лицу. Я подчеркиваю: как к частному лицу».

Король молчал. Странное дело, но на минуту — не больше — почувствовалось вдруг, что их что-то объединяет. Казалось, помолчи он так еще немного — и гость начнет умолять его сжалиться над ним. Их объединял общий страх.

---

<sup>1</sup> Извините. (фр.)

Г-н Шульц выдержал паузу, затем поднялся и произнес — торжественно, выделяя каждое слово:

«Благодарю вас, ваше величество. От имени имперского правительства, руководства нашей партии и от имени всего германского народа — примите мою сердечную признательность».

## 14

Свидание состоялось во второй половине апреля (по некоторым данным, в последних числах). Автор не считает себя вправе умолчать о нем, тем более что в западной историографии этот факт не получил освещения. Достаточно сказать, что не только в широко известной книге Й. Феста, но даже в шеститомном труде доктора наук Карла фон Рубинштейна «Жизнеописание Адольфа Гитлера» о нем нет никаких упоминаний. Вряд ли архивные изыскания последних лет приведут к открытию документов, проливающих свет на эту историю. Можно предполагать, что таких документов не существует.

Таким образом, учитывая скудость информации, наше сообщение приобретает определенный научный интерес.

Мы уже имели случай сослаться на записки ее величества королевы. Пожалуй, это единственный заслуживающий внимания источник, в котором имеется упоминание о поездке Седрика на уединенную загородную виллу. Будучи крайне лаконичным, оно отягощено домыслами в духе скандинавского мистицизма (Амалия пишет о свидании с «князем тьмы») и как будто имеет целью намекнуть на особый таинственный смысл этой встречи, якобы предreshившей дальнейшие события. Естественно, мы не можем вдаваться в обсуждение подобных вопросов. Представляется вполне очевидным, что встреча была лишена какого бы то ни было политического значения; читателю будет нетрудно убедиться в этом. Речь идет о любопытном и малоизвестном эпизоде, но не более.

Точно так же следует опровергнуть слухи, одно время распространившиеся, будто король, воспользовавшись этим рандеву, просил не применять к его стране некоторых санкций репрессивного характера, в частности возражал против проведения так называемой акции «Пророк Самуил», разработанной Четвертым отделом Главного имперского управления безопасности по крайней мере на полгода позже. Здесь очевидным образом сказывается влияние той самой ретроспекции, на которую мы указали, когда описывали пасхальный сон Седрика. К тому же приватный характер встречи исключал возможность обсуждения государственных вопросов. Фактически там не была затро-

нута ни одна проблема за пределами специальной цели, которую преследовала встреча. Стороны вели себя так, как если бы они вообще не имели никакого касательства к государственным делам.

Более того: стороны делали вид, будто они и представления не имеют, кто они такие на самом деле. Если позволено будет воспользоваться рискованным сравнением, они вели себя подобно тайным любовникам, которые ночью сочтались в мучительной страсти, а на другой день, не подавая виду, спокойно и отчужденно беседуют о делах. Обе стороны точно сговорились не замечать глухой таинственности, которою было окружено их свидание; и то, что вся местность на сто километров вокруг была прочесана патрулями, пронюхана собаками, просмотрена с самолетов, что специальные войска были приведены в боевую готовность на тот случай — абсолютно невозможный, — если бы кто-нибудь вздумал нарушить их уединение, — все это и многое другое точно не имело к ним никакого отношения: они как бы и не подозревали об этих чрезвычайных мерах. Словом, это была встреча больного с врачом — и только.

Газеты поместили краткое сообщение о том, что король покинул на несколько дней столицу для непродолжительного отдыха на лоне природы. Так оно, в сущности, и было. Вилла «Амалия» — крохотный островерхий домик, расположенный в прелестном уголке в тридцати километрах от границы. Вокруг холмы, поросшие буком. Это — самое сердце малонаселенного лесного края, раскинувшегося к северу от линии Бремер Окс — Люнебург — Фрауэнгау.

Седрик приехал на виллу в закрытом автомобиле в сопровождении неизвестных лиц, именуемых «представителями»; один из этих людей сидел с шофером, двое других — по обе стороны от профессора, одетого в скромное дорожное платье.

Пациент прибыл неизвестно каким способом и неизвестно откуда.

Пациент вошел в небольшую гостиную, переоборудованную под смотровой кабинет, — письменный стол, ширма, кушетка, столик для инструментов. Посередине стояло высокое, сверкающее никелированными подколениками кресло.

Снедаемый любопытством (совершенно неуместным), Седрик не спускал глаз с двери — пациент медлил, но когда он наконец появился, то, как и следовало ожидать, совершенно разочаровал профессора; мы сказали: «следовало ожидать», ибо едва ли нужно объяснять читателю, что тот, кто вошел в кабинет, был лишь телом, далеким от совершенства, как все земное, тогда как великий демон, обитавший в нем, демон могущества и всеведения, обретался где-то очень далеко, на недостижимых вершинах. И лишь время от времени это тело, облаченное в мундир, должно было позировать перед миром, дабы мир знал, что демон, владычествующий над ним, — не призрак.



Воздержимся от описания внешности этого человека, предполагая ее хорошо известной; тем более, что это был тот случай, когда, перефразируя древнее изречение, можно было сказать, что важен не сам предмет — в данном случае человек, — а впечатление, которое он оставляет. Вошедший производил впечатление самозванца. Причем самозванца накануне своего разоблачения. Дело не в том, что лицо его с крупным угреватым носом, воспроизводившим очертания дамской туфли, и с небольшими, крашеными, как бы растущими из ноздрей усами — знаменитыми усами, вошедшими в историю, подобно габсбургской губе, — показалось Седрику одновременно и незнакомым, и знакомым, и, пожалуй, даже более располагающим в своей обыденной заурядности; в памяти Седрика как бы сама собой ожила старая и давно развенчанная легенда, будто прославленный диктатор есть не что иное, как круг заместителей, по очереди выступающих под его именем, — так сказать, род коллективного псевдонима.

Не то чтобы в нем сквозило что-то наигранное. Распространенное мнение об «актере», о фокуснике-иллюзионисте, по крайней мере здесь, на уединенной вилле, никак себя не оправдало. Речь идет о другом: о том, что невозможно было отделаться от впечатления, будто перед нами двойник или заместитель. Ничто в его облике не отвечало представлению о демоническом властелине, о гении зла.

Если уж попытаться позитивно охарактеризовать наружность пациента, какую она представилась восседавшему у окна Седрику, то это был директор треста, человек бывалый, выходец из народа, не из тех, кто кончал университета, а из тех, кто своим горбом пробил себе дорогу в жизни, из каких-нибудь счетоводов-письмоводителей; человек-практик, знающий жизнь и, должно быть, немало встревоженный неожиданным вызовом к высшему начальству по какому-то щекотливому делу. То, что у этого человека должно было существовать начальство, и притом очень строгое, не вызывало сомнений.

Человек этот был прекрасно одет и sprыснут духами, чуть заметной лысел и слегка тряс щеками — словом, лишь самую малость был тронут старостью; губы его с какой-то скорбной предупредительностью были сложены почти вровень с каштановыми усиками, о которых мы уже упоминали. Под мышкой вошедший держал папку — как бы с бумагами для доклада (в действительности это были рентгеновские снимки и анализы). Закрыв дверь, пациент — каблуки вместе, под рукой папка — поклонился сдержанно-подобострастным поклоном.

При этом он не мог удержаться, чтобы не метнуть молниеносный взгляд вправо и влево. Он даже успел скосить взор под стол, на ноги Седрика. Быстро оглядел окно, застекленное пуленепробиваемым и размывающим предметы стеклом.

Профессор пригласил пациента к столу.

Оба как-то легко и без насилия освоились со своими ролями. Пациент приблизился, слегка виляя задом и всем своим видом демонстрируя почтительный трепет, — это было почтение профана к медицинской знаменитости и дань уважения одного делового человека другому. Опасливо сел, уложил папку на колени. Робко приосанился. Седрик, величественный, как судья, сурово воззрился на него из-под косматых бровей.

Седрик принял папку с анализами. Пронзительно поглядывая на пациента, он предупредил, что в интересах дела ему придется задать, э-э, несколько специальных вопросов, относящихся, так сказать, к интимной стороне жизни. Больной кивал с серьезным и понимающим видом: дело есть дело. И вкрадчивым голосом, с подобающей скорбью, почтительно наклонив плоскую, блестящую и лысеющую голову, поведал он о своем недуге.

Он старался не упустить ни одной подробности, был многословен, даже красноречив. В этой добросовестности пациента было что-то угодливое, точно он доносил на себя.

По его мнению, причина болезни заключалась в бремени дел, которое он самоотверженно возложил на себя. Поистине мы живем в трудное время; себе не принадлежишь. Так и случилось то, что служебные обязанности, поглотив все его силы, лишили его личной жизни не только в переносном, но и в буквальном смысле: лишили счастья быть мужчиной. Вот уже много лет он знает лишь уродливую форму наслаждения; но женщины по-прежнему привлекают его, как это и должно быть в его возрасте: ведь он еще молод. Увы, он не в силах ответить на их страсть!

Он знает, что пользуется успехом. Неизвестные девушки пишут ему о своей любви; он получает множество писем из-за границы. Секретарь ежедневно извлекает из его корреспонденции десятки фотографических карточек. Некоторые совсем недурны... И что же?

Важно кивнув, доктор остановил этот поток признаний внушительным и умиротворяющим жестом. Просмотрел архив пациента. Ни в одном из документов страдалец не был назван своим настоящим именем. Впрочем, кому было известно его настоящее имя? История болезни демонстрировала все последние достижения медицинской науки. Это был какой-то нескончаемый каталог всевозможных исследований, диагностических и лечебных процедур, и Седрик подивился терпению пациента и его неистощимой вере в могущество врачебной науки. Были мобилизованы лучшие силы. Фирма ИГ Фарбеиндустри синтезировала новейший, сугубо секретный гормональный препарат. Предпринимались героические меры реанимации —

вплоть до особой, весьма изобретательной психотерапии посредством кинофильмов. По-видимому, были приглашены особо искусные партнерши.

Отчаявшись получить исцеление от врачей, больной прибег к услугам специалистов оккультного профиля: так, его пользовал маг Тобрука Ишхак 2-й, знаменитый гипноспирит, весьма сведущий в области нервно-половых расстройств. После его консультации директор несколько ободрился, но первое же свидание с прелестной огненно-волосой Марикой Рёкк повергло его вновь в пучину разочарования.

Седрик встал. Тотчас поднялся и пациент, стал навывтяжку, ожидая приказаний. Глаза его выражали бесконечную преданность.

Величественно-гостеприимным жестом профессор указал на ширму.

Анализируя последующие впечатления Седрика, нужно прежде всего сказать, что он постарался отрешиться от каких бы то ни было «впечатлений». С момента, когда он задал первый вопрос больному, весь комплекс профессиональных рефлексов направил его внимание на сущность болезни, и лишь путем, так сказать, вторичной рефлексии ум Седрика возвратился к пониманию совокупной личности пациента. Так в течение десяти минут абстрактный человеческий орган, именуемый *locus minoris resistentiae*, превратился вновь в персону директора треста. Но теперь многое из того, что могло озадачить или даже изумить стороннего наблюдателя, по зрелом размышлении выглядело не столь уж неожиданным.

Выражаясь яснее — начиная с известного момента Седрик ничему уже не удивлялся.

Не удивила его и татуировка. Директор предстал в нежно-голубой нижней сорочке и шелковых носках; и когда по знаку врача, пожелавшего произвести общий осмотр, он покорно и целомудренно приподнял сорочку, обнажилась несколько избыточная грудь и на ней — длинный кинжал с изогнутой рукояткой и надпись «*Смерть жидам*», — разумеется, на родном языке владельца. Надпись подтверждала версию о демократическом происхождении директора. На левой руке, ниже локтя, были изображены гроб и пронзенное сердце и начертан второй девиз: «*Es gibt kein Glück im Leben*» («Нет счастья в жизни»).

Слегка смутившись, пациент пробормотал что-то насчет заблуждений юности... В эту минуту осмотр был неожиданно прерван. Ни с того ни с сего пациент попятился; глаза его расширились. Руки судорожно вцепились в детородные части. «Ни с места, — зашептал он. — Ни с места!» Седрик, с трубками фонендоскопа в ушах, обернулся. С большим трудом ему удалось успокоить больного, но так и осталось непонятным, что он там увидел под столом.

Как и подобает человеку зрелых лет, недостаточно тренированному и к тому же больному, он протянул дрожащую руку профессору, и тот помог ему вскарабкаться на высокое кресло. Отсутствие ассистентки несколько удлинило исследование.

Когда оно было закончено, Седрик дал время пациенту привести себя за ширмой в порядок, еще раз задумчиво перелистал бумаги, просмотрел на негатоскопе рентгеновские пленки. И наконец взглянул на пациента тусклым, старчески-невыразительным взглядом. И в этом взгляде пациент прочитал свой приговор.

По-видимому, впервые в своей многолетней практике Седрик изменил врачебному долгу, повелевающему ни при каких обстоятельствах не лишать больного надежды. Само собой разумеется, что, не будучи специалистом, автор лишен возможности дать компетентную оценку заключению Седрика о характере заболевания директора треста, однако не директор является героем этих страниц. Характеристика же Седрика нисколько не пострадает от того, что мы опустим заключительные подробности этой замечательной консультации. Прикрыв глаза рукой, Седрик сказал, что болезнь неизлечима. Он даже позволил себе заметить, что в некотором смысле она может быть истолкована как Божий перст. Перспектива могла бы быть несколько более утешительной, если бы пациент согласился сложить с себя, э-э, свои обязанности. Так сказать, удалиться на покой. Однако и в этом случае рассчитывать на исцеление трудно.

## 15

«...Этот народ, который загрызла волчица, расплющенный под пятой легионов, народ, на глазах у которого рухнул и превратился в пыль его храм, этот трижды обреченный, отвергнутый собственным Богом народ пережил и единственное в своем роде крушение духа, после которого он, подобно восставшему от болезни, навсегда понес в себе семя тлена, заразу разложения, ибо, как сказал германский поэт, проклятие зла само порождает зло».

Раскрывая утренние газеты, обыватели без труда узнавали в этой статье, перепечатанной из философского еженедельника «Дер баннертрегер», полный экспрессии стиль выдающегося мыслителя рейха Ульриха Лоэ, человека, прозванного «совестью века», ныне генерала СС и заместителя начальника отдела теоретических изысканий при Главном Управлении безопасности.

«К этому крушению, — продолжал Ульрих Лоэ, — народ этот был подготовлен десятью веками своей истории; его летопись и символ веры, в котором устами Всевышнего он провозглашает себя избранным

народом, — пресловутое Священное Писание — рисует его таким, каков он на самом деле: избранным народом преступников, ибо это летопись нескончаемой цепи убийств, подлогов и кровосмешений.

Однако даже противоположное толкование Библии в равной мере уличает этот народ, так как если он записал в свою книгу (как уверяют его адвокаты) заповеди добра, то сам же первый их и нарушил: проклятие зла, тяготеющее над ним, состоит, между прочим, в том, что против него, против этого народа, одинаково свидетельствуют как исторические улики, так и то, что служит их опровержением. Докажут их или докажут противоположное — он все равно будет достоин кары.

Так, он виновен в том, что совершил преступление против человечества, истребив своего мессию Христа, и вместе с тем виноват в том, что создал и распространил христианство. Этот народ одинаково виноват и с точки зрения верующих, и с точки зрения атеистов. Запятнанный кровью Богочеловека, он несет ответственность и за то, что породил его, и за то, что его никогда не существовало, если окажется, что этого Богочеловека не было. В конечном счете проклятие зла состоит в том, что этот народ виноват уже самим фактом своего существования.

Потерпев крах, он рассеялся среди других племен, чтобы бросать повсюду семена разложения и упадка, и мог бы неслыханно преуспеть в этом деле, если бы нордические народы своевременно не разгадали его. Они поняли, с кем они имеют дело в лице этих хитрых, изворотливых, даровитых, необычайно живучих, потентных в сексуальном отношении, но физически слабых пришельцев с дегенеративной формой лба, бегающими глазами, длинным и крючковатым носом, склонных к шизофрении, диабету, болезням ног и сифилису. Юные нации Европы приняли свои меры, и менее чем за двести лет, с начала XIV века по 1497 год, этот народ был изгнан из Германии, Франции, Испании и Португалии.

Тогда второй раз в истории открылась возможность покончить с ним навсегда. Нации не воспользовались этой возможностью. И очень скоро евреи, со свойственной им изворотливостью, наверстали упущенное. С необычайной энергией они взялись за дело, вредя всюду, где только можно, провозглашая буржуазный прогресс, ратуя за демократию и незаметно опутывая весь мир властью денег. Они захватили в свои руки торговлю и кредит, с рассчитанным коварством утвердились в медицине, монополизировали ремесла и втерлись в доверие к государям, подавая им губительные советы. Не кто иной, как еврейские плутократы были виновниками всех несчастий, поразивших Европу, да и не только Европу, на протяжении последних столетий. А во тьме своих синагог они тайно торжествовали победу

и с мстительной радостью причащались опресноками, замешенными, как это неопровержимо доказано еще в XII веке, на крови невинных детей.

К числу наиболее зловредных последствий буржуазно-либерального прогресса следует отнести равноправие евреев, провозглашенное сначала в Америке, а затем во Франции в результате Французской буржуазной революции, инспирированной самими евреями. Следствием этого было глубокое *проевреивание* населения в упомянутых странах. Постепенно по всей Европе они захватили гражданские права, так что к началу нашего века лишь две нации оставались на позициях здорового инстинкта самозащиты — Россия и менее безупречная в других отношениях Румыния...

Все это привело к тому, что внешне евреи зачастую *перестали отличаться от неевреев*. Умение принимать облик обыкновенных людей нужно считать особо опасным свойством иудейской мимикрии. *Но субстанция еврейства не изменилась*. Она не исчезла и не растворилась. В полной мере она сохранила свою губительную силу, о чем предостерегает пример большевистской лжереволюции, все главные деятели которой, как известно, были евреи.

Ныне перед народами вновь открывается возможность решить историческую задачу ликвидации иудейского ига. Задача эта всесторонне обоснована достижениями эрббиологической науки. Путь к ее осуществлению указывает народам Великая Февральская националсоциалистическая революция. Совесть революционеров всех стран, все прогрессивное человечество больше не могут мириться с засильем еврейского плутократического капитала, с международным сионистским заговором. *Пролетариат всех стран, объединяйся в борьбе с еврейством*. Народы требуют покончить с заклятым врагом человечества — международным сионизмом. Народы требуют покончить с угнетением. Самуил, убирайся прочь! — твердо говорят они. — Ревекка, собирай чемоданы!»

## 16

О том, что власти собираются осуществить мероприятие под кодовым названием, уже упомянутым нами в одном из предыдущих разделов, король узнал не по официальным каналам. Он услышал о нем в клинике, в ту минуту, когда, облаченный в белую миткалевую рубаху и бумазейные штаны, в клеенчатом фартуке, шапочке и полумаске, он стоял над дымящимся тазом, осторожно опуская в воду, пахнущую нашатырем, свои тонкие и длинные руки.

Привычными движениями он растирал комком марли в воде свои пальцы — с таким усердием, как будто хотел стереть с них самую кожу, — и в это время до него донеслись две-три фразы. Он не терпел посторонних разговоров в операционной и тотчас потребовал, чтобы ему объяснили, в чем дело.

Оказалось, управление имперского комиссара расклеило в городе приказ о регистрации некоторой категории гражданских лиц, с какой целью этим лицам предписывалось явиться в местную комендатуру и в дальнейшем носить нагрудный опознавательный знак.

Мера эта не должна была никого удивить, да и не скрывала в себе никакой тайны относительно дальнейших мероприятий в этом направлении, ибо на всех территориях, контролируемых рейхом, уже начато было проведение программы, имевшей целью радикально ограничить европейские нации от соприкосновения с чуждым и пагубным элементом.

Седрик промолчал, дав понять, что здесь не место обсуждать подобные темы. Да и вообще они не заслуживали обсуждения. Впрочем, среди персонала клиники евреев не было. Он выпрямился, морщась от боли в пояснице, вдумчиво осушил складки кожи между пальцами стерильной марлей. Мякоть пальцев собралась в складочки, как у прачки. Вытирание рук представляло собой сложный ритуал: вначале кончики пальцев, основания ногтей, суставы, ладонь, которую он держал на отлете, как женщина держит зеркало; затем тыльные стороны кистей, наконец, опасливо свернув комок марли, — запястья. Последний взмах от косточки к локтю — марля летит в эмалированное ведро. Шурша передником, полузакрыв старческие глаза, король прошествовал к стеклянным дверям. Свои руки он нес перед собой, словно некий дар. Двери распахнулись. Больная спала, над ней сверкала круглая лучезарная лампа.

Наркотизатор ждал у изголовья. Другой доктор, ответственный за переливание крови, стоял, утвердив, как алебарду, блестящую стойку с ампулой. За своим лотком стояла операционная сестра, закутанная в марлю. Приготовления к операции наводили на мысль о богослужении. Седрик любил эту торжественность.

Иностранец-стажер усердно помахивал палочкой — обрабатывал йодом операционное поле. А напротив всей этой группы, за спиной стажера, вся верхняя часть стены была вырезана и заменена толстым стеклом, и там видны были тесно придавленные друг к другу неподвижные лица студентов.

Последовала церемония надевания стерильного халата: две сестры суетились вокруг него. Одна завязывала на спине тесемки, другая подала перчатки — король нырнул сначала в правую, потом в левую,

сложив шепотью персты. Ему подали щипцами шарик, плеснули спирт; подтянули и перебинтовали у запястий перчатки. Ему заботливо поправили шапочку. Оглядели его напоследок — точно ища последние пылинки. И Седрик подошел к столу.

Седрик ни о чем больше не думал. Он не думал о бездне абсурда, в которой эта белая операционная, — где он вполне принадлежал самому себе, где ему по праву принадлежало первое место, — казалась ему единственным островком разума и покоя. Он повернулся к сестрам, они сняли простыню и придали спящей женщине нужное положение на столе. Иностранец узкими раскосыми глазами над маской смотрел на Седрика. В его жизни это был великий момент. Иностранец был мал ростом, и ему подвинули скамеечку. Затем с его помощью Седрик набросил стерильную простыню на прекрасное обнаженное тело. В ней было вырезано четырехугольное окно.

Сестра, покрытая марлевой фатой, подъехала со своим лотком.

Седрик стоял над столом, неправдоподобно высокий, халат доходил ему до бедер; склонив сухую голову с большим хрящеватым носом, торчавшим над маской, как клюв, он всматривался в оливковый от йода квадрат кожи в операционном окне. Большая глубоко и мерно дышала; это было видно по движениям груди под простыней. Пальцы короля как бы струились по ее коже: он отыскивал ориентиры. Ассистент, с тупфером и раскрытым наготове кровоостанавливающим зажимом, навис над его руками. Сказав что-то ассистенту по-французски, Седрик взял скальпель и не спеша провел длинную дугообразную линию от паха к пояснице. Эта линия, называемая разрезом Израэля в честь предложившего ее врача, удачно открывала доступ к почке и мочеточнику, но в других обстоятельствах никому не пришло бы в голову увидеть в таком названии некое предзнаменование.

## 17

Приступая к заключительному эпизоду этой краткой хроники последних лет жизни короля Седрика X, эпизоду, достаточно известному, почему он и будет изложен максимально сжато, без каких-либо экскурсов в психологию, — мы хотели бы предпослать ему несколько общих замечаний касательно малоисследованного вопроса о целесообразности человеческих поступков. Мы решаемся задержать внимание, читателя на этой абстрактной теме главным образом потому, что хотим предостеречь его от распространенной интерпретации упомянутого эпизода, согласно которой король отважился на этот шаг или, как тогда говорили, «отколол номер» в результате обдуманного решения, так сказать, взвесив все pro и contra, и чуть ли не рассчитал наперед все



общественно-политические последствия своего поступка — кстати сказать, сильно преувеличенные. Слишком многие в то время видели в короле своего рода оплот здравого смысла, слишком многим он казался образцом разумного конформизма, человеком, который в чрезвычайно сложных обстоятельствах сумел найти правильную линию поведения, избежать крайностей и спасти от катастрофы свой незащищенный народ, сохранив при этом свое доброе имя. И когда этот умудренный жизнью муж совершил поступок явно нелепый, почти хулиганский и имевший следствием неслыханное нарушение общественного порядка в столице — поступок, в конечном счете стоивший ему жизни, — многие, тем не менее, склонны были за бросающейся в глаза экстравагантностью видеть все тот же расчет. Казалось, Седрик преследовал определенную цель, действовал по заранее разработанному плану. Ничего подобного. На основании анализа всего имеющегося в нашем распоряжении материала автор заявляет, что шаг короля был именно таким, каким он представлялся всякому непредубежденному наблюдателю, — нелепым, бессмысленным, не обоснованным никакими разумными соображениями, не имеющим никакой определенной цели, кроме стремления бросить вызов всему окружающему или (как выразился герой одного литературного романа) «заявить своеволие».

Где уж там было рассчитывать общественные последствия своей выходки! На короля нашел какой-то стих. Хотя, надо сказать, внешне это никак не проявлялось. (См. ниже описание утренних приготовлений, совершившихся с обычной для нашего героя унылой методичностью, словно он собирался на прием к зубному врачу.)

Впрочем, воспоминания королевы, да и другие источники указывают на некоторые отклонения от привычного стандарта, имевшие место накануне обсуждаемого события: так, например, было отмечено, что король вернулся из клиники в необычно приподнятом настроении. Это настроение сохранялось у него весь вечер. Вместо вещей Генделя и Букстехуде исполнялись фрагменты из оперетки Оффенбаха — кстати, строжайше запрещенного к исполнению на территории рейха и подопечных стран — «Великая герцогиня Герольштейнская» и даже просто вульгарные песенки, которые его величество напевал хриплым фальцетом. По некоторым данным, он склонял свою невестку — ту самую особу немецкого происхождения, не скрывавшую своей влюбленности в фюрера, — протанцевать кадрили. Ночью Седрик пил в больших количествах щелочную минеральную воду.

В этой связи представляют интерес наблюдения королевы о наследственной черте, периодически проявлявшейся у различных представителей династии, черте, которую она определяет как «любовь к безумию». Именно эта любовь (*prédilection*) объясняет, по мнению

мемуаристки, необъяснимое поведение двадцатитрехлетнего командира гвардии, приходившегося внучатым племянником королю, в первый день оккупации; следствием этого поведения была, как помнит читатель, бессмысленная гибель гвардейского эскадрона вместе с его командиром. Она же позволяет понять поступок кронпринца Седрика-Эдварда, старшего сына короля, покинувшего страну якобы для лечения, а на самом деле для того, чтобы вступить в британские военно-воздушные силы. И уже совершенно излишне говорить, насколько эта черта была свойственна пресловутому «северному кузену» Седрика, не однажды упомянутому на этих страницах.

Сугубо схематически поведение человека в ответственные моменты его жизни можно представить как следование одному из трех заветов, из которых наиболее почтенным с философской точки зрения надо признать завет недеяния, возвещенный тысячу лет назад мудростью даосизма. Однако реально мыслящему человеку, вынужденному считаться с эмпирической действительностью, более импонирует завет разумного и целесообразного действия — того действия, которое основано на трезвом учете объективных обстоятельств и, более того, априори как бы запрограммировано ими. Априори известно, что плетью обуха не перешибешь. Тезис, который находит себе значительно более изящную формулировку в положении о свободе как осознанной необходимости.

Третий завет есть завет абсурдного деяния.

Абсурдное деяние перечеркивает действительность. На место истины, обязательной для всех, оно ставит истину, очевидную только для одного человека. Строго говоря, оно означает, что тот, кто решил действовать так, сам стал живой истиной. Человек, принявший бессмысленное решение, тем самым ставит себя на место Бога. Ибо только Богу приличествует игнорировать действительность.

(Можно предполагать, что именно это соображение было источником явного неодобрения, с которым встретили эскападу Седрика и все, что за ней последовало, конфессиональные круги.)

Самым решительным опровержением доктрины бессмысленного деяния (если это вообще можно назвать доктриной) служит то, что оно не приводит ни к каким позитивным результатам. Опять же всем и каждому ясно, что плетью обуха не перешибешь. И дело обычно кончается тем, что от плетки остается одна деревяшка. Смерть Седрика не повлияла на исход войны, этот исход решили другие факторы — исторические закономерности эволюции рейха, реальная мощь противостоящих ему сил. Акт (или «номер»), содеянный монархом, не облегчил даже участи тех, в чью защиту он выступил, вопреки легенде о том, что-де под шумок удалось кое-кого переправить за границу, спря-

тать оставшихся и т. п.; это как раз и доказывает, что акт был совершен по наитию, без всякого плана. Подвиг Седрика, этого новоявленного Дон-Кихота, был бесплоден. И если можно говорить о его реальных последствиях, то разве лишь о том, что король заразил на какое-то время своим безумием более или менее ограниченное число обывателей. После этих замечаний читателю станет понятным то очевидное пренебрежение, с которым биографы короля описывают этот нелепо-романтический жест, завершивший долгую и в целом не лишнюю привлекательных сторон жизнь Седрика Десятого.

## 18

Утро следующего дня, мягкое и пасмурное, не было ознаменовано никакими событиями, если не считать того, что тотчас после обычных занятий в кабинете король распорядился принести ему *эту вещь*. Он потребовал даже два экземпляра сразу. Секретарь слышал этот приказ и ломал голову над тем, что бы это могло значить. Затем, на половине королевы (Амалия с ужасом следила за этими приготовлениями), Седрик отослал камеристку, попросив оставить все необходимое на столике перед зеркалом. В конце концов он был хирург и старый солдат и вполне мог управиться с нитками сам. Однако он придавал значение тому, чтобы это сделала Амалия. Нужно было поторопиться, ибо близился Час короля, а Седрик не мог позволить себе опоздать хотя бы на минуту.

Он успел переодеться — как всегда, на нем был зелено-голубой мундир лейб-гвардейского эскадрона, шефом которого он считался; Рыцарскую звезду, однако, пришлось снять, так как инструкция предписывала ношение гексаграммы на той же стороне, то есть слева. И теперь он стоял, терпеливо вытянув руки по швам и задрав подбородок, пока Амалия, едва достававшая ему до плеча последнею волной своего пышного желто-седого шиньона, возилась с иглой и откусывала зубами нитку, словно какая-нибудь жена почтаря, пришивающая мужу пуговицу перед тем, как отправить его на работу. Но оба они, в конце концов, походили на пожилую провинциальную чету и ни на кого более. По его указанию она пришила и себе. Произошло некоторое замешательство, почти смятение немолодой дамы, вынужденной совлечь с себя платье в присутствии мужчины. Закатился под стол наперсток. Словом, на все ушла уйма времени.

А затем некий молотобоец начал на башне бить кувалдой в медную доску. Двенадцать ударов. И что-то перевернулось в старом механизме, и куранты принялись торжественно и гнусаво вызванивать гимн. Часовой в костюме, воскрешающем времена д'Артаньяна, поч-

тительно отворил ворота. По аллее шел Седрик, длинный как жердь, ведя под руку торопливо семящую Амалию. Происходило неслыханное нарушение традиций, ибо конь рыцаря тщетно гневался, бия копытом в прохладном сумраке своего стойла. Король отправился в путь пешком.

Прохожие остолбенело взирали на это явление, впервые видя короля не в седле и об руку с супругой, но главным образом были скандализованы неожиданной и ни с чем не сообразной подробностью, украсившей костюмы шествующей августейшей четы. Перед тем как свернуть на бульвар, навстречу идущим попался низкорослый подслеповатый человек, он брел, клейменный тем же знаком. На него старались не обращать внимания, как не принято смотреть на калеку или на уроду с обезображенным лицом; зато с тем большей неотвратимостью, точно загипнотизированные, взоры всех приковывались к большой желтой шестиугольной звезде на груди у Седрика X и маленькой звезде на выходном платье королевы.

Эта звезда казалась сумасшедшим видением, фантастическим символом зла; невозможно было поверить в ее реальность, и непонятен был в первую минуту ее смысл. Иные решили, что старый король рехнулся. Приказ имперского комиссара чернел на тумбах театральных афиш и на углах домов.

Закрывать глаза. Немедленно отвернуться. А эти двое все шли...

Родители уводили детей.

Нет сомнения, что в эту минуту в канцелярии ортскомиссара уже дребезжал тревожный телефон. Оттуда неслыханное известие понеслось по проводам дальше и выше, в мистические недра власти. Было непонятно, как надлежит реагировать на случившееся.

В это время выглянуло солнце, слабый луч его просочился сквозь серую вату облаков, заблестели мокрые сучья лип на бульваре. Ярко заблестела мостовая... Быть может, читатель замечал, как иногда атмосферические явления неожиданно решают трудные психологические проблемы. Вдруг все стало просто и весело, как вид этих двух стариков. Король все чаще приподнимал каскетку, отвечая кому-то; Амалия кивала тусклым колоколом волос, улыбалась засушенной улыбкой. Король искал глазами библиотекаря. Библиотекаря нигде не было.

Король со стариковской галантностью коснулся пальцами козырька в ответ на поклон дамы, которая быстро шла, держа за руку ребенка. У обоих на груди желтели звезды, это можно было считать редким совпадением: согласно церковной статистике, в городе проживало не более полутора тысяч лиц, имеющих право на этот знак.

Далее он заметил, что число прохожих с шестиугольником становилось как будто больше. Седрик покосился на Амалию, семящую

рядом, — на каждый шаг его приходилось три шажка ее величества. Амалия поджала губы, ее лицо приняло необыкновенно чопорное выражение. Похоже было, что эти полторы тысячи точно сговорились выйти встречать их; эти отверженные, отлученные от человечества вылезли на свет Божий из своих нор, вместе с ними маршировали по городу, разгуливали по улицам без всякой цели, просто для того, чтобы показать, что они все еще живут на свете! Однако их было как-то уж слишком много. Их становилось все больше. Какие-то люди выходили из подъездов с желтыми лоскутками, наспех приколотыми к пиджакам, дети выбегали из подворотен с уродливыми подобиями звезд, вырезанных из картона, некоторые нацепили раскрашенные куски газеты. На Санкт-Андреас маргт, напротив бульвара, стоял полицейский регулировщик, держа в вытянутой руке полосатый жезл. Полисмен отдал честь королю, на его темно-синем мундире ярко выделялась канареечная звезда. И он был из этих полутора тысяч. И так, статистика была посрамлена, либо приходилось допустить, что его подданные приписали себя сразу к двум национальностям, а это, собственно, и не означало ничего другого, как только то, что статистика потерпела крах.

Королева устала от долгого пути, король был тоже утомлен главным образом необходимостью сдерживать чувства, характеризовать которые было бы затруднительно; во всяком случае, он давно не испытывал ничего похожего. Ибо это был счастливый день, счастливый конец, каковым мы и завершим нашу повесть о короле. По дороге домой Седрик воздержался от обсуждения всего увиденного, полагая, что комментарии по этому поводу преждевременны или, напротив, запоздали. Он обратил внимание Амалии лишь на то, что липы рано облетели в этом году. Они благополучно пересекли мост, ведущий на Остров, и обогнули дворцовую площадь. Мушкетер, опоясанный шпагой, с желтой звездой на груди, распахнул перед ними кованые ворота.

## СОДЕРЖАНИЕ

Нагльфар в океане времен. <i>Роман</i>	5
Хроника N. <i>Записки незаконного человека</i>	195
Третье время. <i>Повесть</i>	349
Час короля. <i>Повесть</i>	395

## **Борис Хазанов**

Третье время

Главный редактор издательства *И. А. Савкин*  
Дизайн обложки *И. Н. Граве*  
Оригинал-макет подготовлен *Б. Н. Марковским*

ИД № 04372 от 26.03.2001 г.  
Издательство «Алетейя»,  
192171, Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 53.  
Тел. / факс: (812) 560-89-47  
E-mail: office@aletheia.spb.ru (*отдел реализации*),  
aletheia@peterstar.ru (*редакция*)  
**www.aletheia.spb.ru**

### **Фирменные магазины «Историческая книга»:**

Москва, м. «Китай-город», Старосадский пер., 9. Тел. (495) 921-48-95  
Санкт-Петербург, м. «Чернышевская», ул. Чайковского, 55.  
Тел. (812) 327-26-37

*Книги издательства «Алетейя» в Москве  
можно приобрести в следующих магазинах:*

«Библио-Глобус», ул. Мясницкая, 6. www.biblio-globus.ru  
Лом книги «Москва», ул. Тверская, 8. Тел. (495) 629-64-83  
Магазин «Русское зарубежье», ул. Нижняя Радищевская, 2.  
Тел. (495) 915-27-97  
Магазин «Гилея», Нахимовский пр., д. 56/26. Тел. (495) 332-47-28  
Магазин «Фаланстер», Малый Гнездниковский пер., 12/27.  
Тел. (495) 749-57-21, 629-88-21  
Магазин издательства «Совпадение».  
Тел. (495) 915-31-00, 915-32-84

Подписано в печать 26.03.2010. Формат 60x88 1/16.  
Усл. печ. л. 28. Печать офсетная. Тираж 1000 экз.  
Заказ № 63.



**Борис Хазанов** (псевдоним Г.М.Файбусовича), родился в Ленинграде, вырос в Москве. Учился в Московском университете, на последнем курсе филологического факультета был арестован, получил 8 лет по обвинению в антисоветской агитации, отбывал наказание в Унженском исправительно-трудовом лагере. Позднее окончил медицинский институт, работал врачом, кандидат медицинских наук. В связи с участием в Самиздате был вынужден покинуть Советский Союз и поселился в Германии. Автор романов, рассказов, эссеистических произведений. Многократно переводился на европейские языки, *публиковался в России* и за границей. Премия «Литература в изгнании» (Гейдельберг), несколько премий Международного ПЕН-клуба, Русская премия (Москва). Живёт в Мюнхене.

Время и место действия романов «Нагльфар в океане времен» и «Хроника N», повестей «Третье время» и «Час короля», вошедших во второй том Собрания сочинений Бориса Хазанова, различны: предвоенная Москва, провинциальный русский город, районная больница в далеком тылу, вымышленное миниатюрное скандинавское государство в годы оккупации. Но все они связаны одной темой — достоинство суверенной личности. Третье время — автономная внутренняя жизнь одинокого человека, взрослого или подростка, которую он отстаивает вопреки враждебному окружению, перед лицом жестокого Государства и абсурдной Истории.

К северу от будущего. Романы и повести

**Третье время.** Романы и повести

После нас потоп. Романы и повести

Пусть ночь придёт. Повести и рассказы

Опровержение Чёрного павлина. Повести и рассказы

Литературный музей. Статьи и эссе